

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ОБЗОР

1938



K. A. Гельвеций.

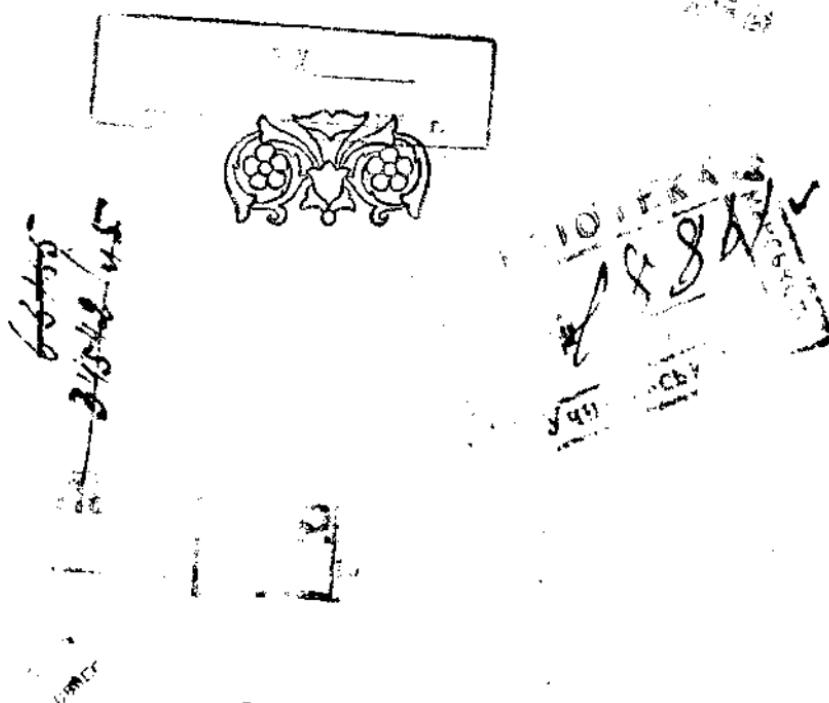
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

2-32

К.А.ГЕЛЬВЕЦИЙ

1957

ОБ УМЕ



О Г И З

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА • 1958

Важнейшее произведение выдающегося французского материалиста и атеиста К. А. Гельвеция «Об уме» посвящено критике феодального общественного строя, идеализма и религии. В книге «Об уме» Гельвеций излагает свою сенсуалистическую теорию познания и пытается на ее основе построить социально-политическое и этическое учение, отражающее интересы и требования революционной французской буржуазии XVIII века.

Книга Гельвеция — яркий образец талантливой и остроумной атеистической литературы XVIII века, которую высоко ценил и рекомендовал Ленин.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Клод Адриен Гельвеций (1715—1771) — выдающийся французский философ-материалист и атеист. Он принадлежит к числу передовых мыслителей идеологов революционной французской буржуазии XVIII в., боровшихся с феодальными порядками за установление прогрессивного для того времени буржуазного способа производства. Идеологи французской революционной буржуазии XVIII в., выступая с критикой феодального строя, идеализма и религии, расчищали дорогу развивавшемуся капитализму. «Нельзя забывать, — пишет Ленин, — что в ту пору, когда писали просветители XVIII века (которых общепризнанное мнение относит к вожакам буржуазии), когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов, все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые общественно-экономические отношения и их противоречия тогда были еще в зародыше в состоянии. Никакого своеокорыстия поэтому тогда в идеологиях буржуазии не проявлялось; напротив, и на Западе и в России они совершенно искренно верили в общее благодеяние и искренно желали его, искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал из крепостного»¹. В деятельности и теориях просветителей XVIII в., поскольку они были направлены против феодального строя, находили свое выражение интересы «третьего сословия», боровшегося под руководством революционной тогда буржуазии с феодализмом.

Материализм и атеизм, с позиций которых Гельвеций подверг критике идеализм, религию и общественные порядки феодализма, имели глубоко революционное значение.

Более поздние положения учения Гельвеция нашли свое блестящее выражение в основном его произведении «Об уме».

Выдающийся французский материалист XVIII в. Дени Дидро оценивает книгу Гельвеция «Об уме» как «здоровенный удар дубиной по предрассудкам всех родов». Дидро заявлял, что сочинение это будет «полезно людям... оно будет отнесено к числу великих книг нашего века».

После выхода в свет книги «Об уме» (1758 г.) придворно-шоповская клика подняла бешеный вой. Цуховенство считало, что взгляды Гельвеция, выраженные в книге «Об уме», представляют собой «мерзкое учение», стремящееся «нарушить мир в государстве». Государственный совет оценил эту книгу как «опасную, скандальную и развратную».

Книга «Об уме» была осуждена за восхваление материализма, за проповедь ненависти к христианству и католичеству и сожжена рукой палача.

Материалистическое мировоззрение Гельвеция сложилось под влиянием учения Спинозы о субстанции, физики Декарта и в особенности учений Локса и Толанда. Единственной реальностью Гельвеций признает материальные тела. Пространство не есть какая-либо субстанция, отделенная от материи, оно есть свойство самих материальных тел, называемое протяженностью. К числу основных свойств материи Гельвеций относит и способность ощущения, «которая хотя и проявляется в организованных телах животных, но может быть присуща и всем индивидам». Гельвеций проводит строгий детерминизм. Основной закон всех явлений природы — причина, из которой не изъята и человеческая воля. Свобода состоит в свободном упражнении всех способностей, основанном на «просвещении», т. е. знании путей, которые приводят к счастью. В теории познания Гельвеций является материалистом и сенсуалистом. Чувства — основной источник познания. Понятие, суждение, умозаключение основываются на материале, представленном чувствами. Правильно истолкованные чувства не могут нас обманывать. Материалистический сенсуализм Гельвеция является фундаментом его учения о нравственности, о формировании ума и характера, о роли воспитания и законов, которые представляют основное ядро его общественно-политических взглядов. Таким образом, общий вывод Гельвеция: «все в человеке сводится к чувствованию».

Разделяя со всем французским материализмом его слабые стороны (сосредоточенность, непонимание роли практики, исторического характера познания и ступеней в раз-

¹ Ленин, Соч., т. II, стр. 315.

ее постоянные декламации так способны соблазнить души более добродетельные, чем просвещенные, что пишешь, так сказать, дрожа от страха. Уныние, в которое приводили многих гениальных людей часто клеветнические обвинения, предвещает, повидимому, возврат веков невежества. Только в посредственности своих талантов находишь в любой области творчества убежище от преследований завистников. Посредственность становится в настоящее время защитой, и эту защиту я, повидимому, приберег себе помимо своей воли.

К тому же я полагаю, что вряд ли зависть может приписать мне желание оскорбить кого-либо из моих сограждан. То, что в этой книге мне приходится говорить не о ком-либо в частности, а о людях и народах вообще, ставит меня вне всякого подозрения в злорадстве. Прибавлю даже, что читающий эти рассуждения увидит, что я люблю людей, что я желаю им счастья и никого в частности не ненавижу и не презираю.

Некоторые из моих идей, может быть, покажутся слишком смелыми. Если читатель найдет их ложными, то я прошу его: осуждая их, не забывать, что часто именно смелости мы бываем обязаны открытием величайших истин и что страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины. Тщетно низкие и трусливые люди пытаются изгнать истину и называют ее иногда распущенностью; тщетно повторяют они, что истина часто опасна. Если даже допустить, что она иногда опасна, то во сколько раз большая опасность угрожает тому народу, который согласился бы коснуться в невежестве. Всякий народ, покончивший с диким и зверским состоянием и оставшийся непросвещенным, есть народ презренный, который рано или поздно будет порабощен. Над галлами одержали верх не столько храбрость, сколько военное искусство римлян.

Знание какой-нибудь истины может быть не совсем удобно в известную минуту, но пройдет эта минута — и та же самая истина станет полезной на все времена и для всех народов.

Такова судьба человеческих дел: нет такого блага, которое не было бы опасно в некоторые моменты, но только при этом условии можно им пользоваться. Горе тому, кто по такому мотиву захотел бы отнять его у человечества.

В тот момент, когда запретят знание некоторых истин, не позволят и говорить ни об одной из них. Многие могущественные и часто даже злонамеренные люди охотно изгнали бы совершенно истину из вселенной под тем предлогом, что иногда мудро умолчать о ней. Поэтому люди просвещенные, которые только и знают всю цену истины, непрестанно требуют ее: они не боятся подвергнуть себя возможным страданиям, лишь бы пользоваться теми действительными преимуществами, которые она доставляет. Из всех человеческих качеств они больше всего уважают благородство души, отказывающейся от лжи. Они знают, как полезно обо всем думать и все говорить, знают, что самые заблуждения перестают быть опасными, когда дозволено их опровергать. В этом случае их быстро признают за заблуждения; вскоре они сами собою падают в пучину забвения, и только одни истины всплывают на обширной поверхности веков.

Р А С С У Ж Д Е Н И Е I

ОБ УМЕ САМОМ ПО СЕБЕ

ГЛАВА I

Изложение принципов

Постоянно спорят о том, что следует называть умом: каждый дает свое определение; с этим словом связывают различный смысл, и все говорят, не понимая друг друга.

Чтобы иметь возможность дать верное и точное определение слову *ум* и различным значениям, придаваемым этому слову, необходимо сперва рассмотреть ум сам по себе.

Ум рассматривается или как результат способности мыслить (и в этом смысле ум есть лишь совокупность мыслей человека) или он понимается как самая способность мыслить.

Чтобы понять, что такое ум в этом последнем значении, надо выяснить причины образования наших идей.

В нас есть две способности, или, если осмелюсь так выразиться, две пассивные силы, существование которых всеми отчетливо со-зывается.

Одна — способность получать различные впечатления, производимые на нас внешними предметами; она называется *физическими чувствительностью*.

Другая — способность сохранять впечатление, произведенное на нас внешними предметами. Она называется памятью, которая есть не что иное, как длящееся, но ослабленное ощущение.

Эти способности, в которых я вижу причины образования наших мыслей и которые свойственны не только нам, но и животным, возбуждали бы в нас, однако, лишь ничтожное число идей, если бы они не были в нас связаны с известной внешней организацией.

Если бы природа создала на конце нашей руки не кисть с гибкими пальцами, а лошадиное копыто, тогда, без сомнения, люди не знали бы ни ремесл, ни жилищ, не умели бы защищаться от животных и, озабоченные исключительно добыванием пищи и стремлением избежать диких зверей, все еще бродили бы в лесах пугливыми стадами¹.

При этом предположении во всяком случае очевидно, что ни в одном обществе цивилизация (*la police*) не поднялась бы на такую ступень совершенства, какой она достигла теперь. Если бы вычеркнуть из языка любого народа слова: *лук, стрелы, сети* и пр., — все

вияния мышления), Гельвеций ближе, чем другие материалисты, подходит к исторической точке зрения на человеческое познание, отмечает значение физической организации человека (роль руки), роль орудий (лук, стрела, сеть и т. д.) и форм хозяйства (земледелие, охота) в развитии умственных способностей человека¹. Основным источником нравственности является интерес, настоящим мотивом которого служит стремление к удовольствию и к счастью: «В вопросах морали, как и в вопросах ума, нашими суждениями руководят только интерес».

Но этот личный интерес человека не может сводиться к узкому эгоизму, так как счастье отдельного человека находится в тесной зависимости от других людей. Личный интерес тесно связан с общественным интересом и перерастает в него. Мораль из узкогедонистической становится общественной; принципом человеческих добродетелей становится общественная польза, которая должна стать основанием всякого законодательства. Все общественные недостатки и пороки являются следствием испорченности или невежества законодателей, а так как нравственность зависит от государственного устройства, то реформу нравов надо начинать с реформы законов.

Все эти требования Гельвеция были направлены против богословских идей, против отжившего феодального государственного строя и стали знаменем борьбы революционной французской буржуазии XVIII века. Хотя Гельвеций, как и другие французские материалисты, не понимает классового характера морали, но он признает ее историческую обусловленность. Гельвеций подчеркивает естественное равенство людей.² Для Гельвеция все люди по своим природным задаткам гениальны, и проявление этой гениальности зависит от воспитания и общественных условий, которые сами, по Гельвецию, являются результатом хорошего или плохого законодательства. Отсюда Гельвеций придает огромное значение общественному воспитанию и вступает в страстную борьбу с деспотическим, абсолютистским строем, подавляющим свободное развитие личности и являющимся причиной общественных бедствий. В своих социально-политических требованиях Гельвеций, выступая ярким выразителем интересов «третьего сословия», т. е. идущей к власти буржуазии, выдвигает требование уничтожения праздного сословия — духовенства, уничтожения привилегий дворянства и законодательного устранения слишком большого неравенства в распределении национальных богатств. Его политическим идеалом является буржуазная демократия с равномерным распределением верховной власти между всеми сословиями, федеративное устройство государства и устранение резкого имущественного неравенства.

Объясняя положительные и отрицательные стороны общественного строя хорошим и плохим законодательством, благородством или невежеством правителей, выводя общественный строй из состояния разума, Гельвеций оставался на позициях идеализма. Однако решительное подчеркивание значения общественных интересов, роли о, удий в развитии человека и хозяйственных форм в образовании общества выделяет его из ряда других материалистов как мыслителя, ощущую под собой подстилку историко-материалистическому пониманию общественного процесса. Гельвеций был самым выдающимся представителем того направления французского материализма, которое, по выражению Маркса, в ранний период, предшествовавший созданию материалистического понимания истории, приводит непосредственно к утопическому социализму: Из учения французских материалистов о прирожденной склонности к добру, о равенстве умственных способностей людей, роли воспитания, влияния внешних обстоятельств на поведение человека исходил утопический социализм Фурье, Оуэн и др.

Учение Гельвеция, несмотря на его исторически-обусловленную ограниченность — механицизм и идеализм в понимании истории, — сохранило свое значение и для нашего времени. Ленин указывал, что: «...Бойкая, живая, талантливая, остроумно и открыто нападающая на господствующую поповщину публицистика старых атеистов XVIII века сплошь и рядом окажется в тысячу раз более подходящей для того, чтобы про. удить людей от религиозного сна, чем скучные, сухие, не иллюстрированные почти никакими умело подобранными фактами, пересказы марксизма, которые преобладают в нашей литературе и которые (нечего греха таить) часто марксизм искажают»¹.

К числу тех, живых и талантливых произведений, которые так высоко оценил Ленин, относится книга Гельвеция «Об уме».

Перевод книги Гельвеция «Об уме» на русский язык вышел в 1917 г. под ред. Э. Радлова. В настоящем издании использован этот перевод, текст которого проверен и исправлен. Указатели составил В. Ф. Родкович.

¹ Ленин, Соч., т. XXVII, стр. 184.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предмет, который я предполагаю исследовать в этом труде, интересен и даже нов. До сих пор рассматривали ум только с некоторых его сторон. Великие писатели касались этой проблемы лишь мимоходом, это и придает мне смелость заняться ею.

Знание ума, — если взять это слово во всем его объеме, — так тесно связано с знанием сердца и страстей человеческих, что нельзя было писать о нем, не затрагивая хотя бы той части этики, которая обща людям всех наций и которая при всех формах правительства имеет в виду только общественную пользу.

Устанавливаемые мною относительно этого предмета принципы соответствуют, как мне кажется, общему благу и опыту. Я восходил от фактов к причинам. Я полагал, что этику следует трактовать так же, как и все другие науки, и создавать ее так, как создается экспериментальная физика. К этой мысли меня привело убеждение, что всякая нравственность, принципы которой полезны для общества, необходимо соответствует нравственности религиозной, которая есть не что иное, как усовершенствованная человеческая нравственность. Впрочем, если окажется, что я ошибся и если — против моего ожидания — некоторые из моих принципов не будут соответствовать общему благу, то это будет ошибкой моего ума, а не моего сердца, и я заранее заявляю, что я от них отказываюсь.

От читателя я прошу одной милости: выслушать меня, раньше чем осуждать; проследить всю цепь моих идей и быть моим судьей, а не стороной. Эта просьба не есть результат глупой самоуверенности; я слишком часто вечером находил плохим то, что утром мне казалось хорошим, чтобы быть высокого мнения о своей проницательности.

Может быть, я взялся за предмет, превышающий мои силы, но кто же знает себя настолько, чтобы верно их оценивать! Во всяком случае я не буду упрекать себя за то, что не употребил всех усилий, чтобы заслужить одобрение публики. Если я его не получу, я буду более огорчен, чем удивлен; чтобы получить одобрение в подобном случае, еще недостаточно одного желания.

Во всем мною изложении я искал только истины, не ради липких чести провозгласить ее, а ради того, что истина полезна людям. Если я уклонился от нес, то даже в своих заблуждениях я найду повод к утешению. «Если, — как говорит Фонтенель, — люди могут достигнуть в любой области сколько-нибудь разумных результатов только после того, как они в этой области исчерпают все возможные глупости», то и мои ошибки пригодятся моим согражданам; мое крушение укажет на опасный риф. «Сколько глупостей, — прибавляет Фонтенель, — нам пришлось бы теперь говорить, если бы древние уже не сказали их раньше нас, и, так сказать, не предвосхитили бы их».

Итак, повторяю: в своем труде я гарантирую только прямоту и чистоту своих намерений. Однако, как бы мы ни были уверены в своих намерениях, крики зависти так охотно выслушиваются и

что предполагает употребление рук, — то он оказался бы в умственном развитии ниже некоторых диких народов, не имеющих двухсот идей² и двухсот слов для выражения этих идей, и его язык, подобно языку животных, соответственно был бы сведен к пяти-шести звукам или крикам³. Отсюда я заключаю, что без определенной внешней организации чувствительность и память были бы в нас бесплодными способностями.

Теперь следует выяснить, действительно ли обе эти способности, при помощи данной организации, произвели все наши мысли.

Прежде чем я начну обсуждать этот предмет, меня могут спросить: не являются ли обе эти способности видоизменениями какой-нибудь материальной или же духовной субстанции? Этот вопрос, некогда поднятый философами⁴, обсуждавшийся отцами церкви⁵ и вновь вставший в наше время, не входит необходимым образом в план моего труда. То, что я хочу сказать об уме, согласуется с любой из названных гипотез. Я замечу только, что если бы церковь не установила наших верований относительно этого пункта и если бы необходимо было лишь при свете разума возвыситься до познания мыслящего начала, то мы должны были бы признать, что ни одно мнение по этому предмету не может быть доказано; нам пришлось бы взвесить доводы за и против, принять во внимание трудности, высказаться в пользу наибольшего числа вероятностей и, следовательно, судить лишь приблизительно. Этот вопрос, как и множество других, мог бы быть решен лишь при помощи теории вероятности⁶. Поэтому я больше не буду на нем останавливаться; возвращаясь к моему предмету, я утверждаю, что физическая чувствительность и память — или — чтобы быть еще точнее — одна чувствительность производит все наши представления. Действительно, память может быть лишь одним из органов физической чувствительности: начало, ощущающее в нас, должно по необходимости быть и началом вспоминающим, ибо вспомнить, как я докажу это, собственно значит ощущать.

Когда вследствие течения моих представлений или благодаря колебаниям, возбужденным определенными звуками в органе моего слуха, я припоминаю образ дуба, тогда состояние моих внутренних органов должно по необходимости быть приблизительно таким, каким оно было, когда я видел этот дуб. Но это состояние должно неоспоримо производить ощущение: отсюда ясно, что вспоминать значит ощущать.

Установив этот принцип я скажу еще, что в нашей способности замечать сходства и различия, соответствия и несоответствия различных предметов и заключаются все операции нашего ума. Но эта способность есть не что иное, как физическая чувствительность: все, значит, сводится к ощущению.

Чтобы удовлетвориться в этой истине, рассмотрим природу. Она нам являет предметы; эти предметы находятся в определенных отношениях с нами и между собою: знание этих отношений и составляет то, что называется умом: наш ум более или менее обширен в зависимости от большей или меньшей широты наших познаний.

в этой области. Ум человеческий поднимается до познания этих отношений; но здесь положен предел, которого он никогда не переступает. Поэтому все слова, которые составляют всевозможные языки и которые можно рассматривать как собрание знаков всех человеческих мыслей, либо воспроизводят образы (как дуб, океан, солнце), либо обозначают идеи, т. е. различные отношения предметов между собой, простые (как величина, малость) или сложные (как порок, добродетель), либо, наконец, выражают различные отношения предметов между собою, простые (как величина, малость) или сложные (как порок, добродетель), либо, наконец, выражают различные отношения между нами и предметами, т. е. наши действия по отношению к ним (как в словах: я разбиваю, я копаю, я поднимаю), или впечатления, получаемые нами от предметов (как в словах: я ранен, я ослеплен, я испуган).

Если я здесь сузил значение слова *идей*, которому придают самый разнообразный смысл, так как одинаково говорят и об идее дерева и об идее добродетели, то это потому, что неопределенное значение этого выражения может иногда ввести в заблуждения, происходящие всегда от злоупотребления словами.

Из всего сказанного вытекает следующее: если все слова различных языков не обозначают ничего, кроме предметов и отношений этих предметов к нам и между собой, то весь ум, следовательно, состоит в том, чтобы сравнивать наши ощущения и наши идеи, т. е. замечать сходства и различия, соответствия и несоответствия, имеющиеся между ними. И так как суждение есть лишь само это отображение (аррефлексе) или, по крайней мере, утверждение этого отображения, то из этого следует, что все операции ума сводятся к суждению.

Поставив вопрос в эти границы, я рассмотрю теперь — не есть ли суждение то же, что *ощущение*. Когда я сужу о величине или цвете данных предметов, то очевидно, что суждение о различных впечатлениях, производимых этими предметами на мои чувства, есть в сущности лишь ощущение, что я могу одинаково сказать: я сужу или я ощущаю, что из двух предметов первый, который я называю *туаз**, производит на меня иное впечатление, чем предмет, называемый мною *фут*; и что цвет, называемый мною *красным*, действует на мои глаза иначе, чем цвет называемый мною *желтым*; и я заключаю в подобных случаях: судить есть не что иное, как ощущать. Но, скажут мне, предположим, мы хотим узнать, что предпочтительнее — сила или величина тела; можно ли утверждать при этом, что судить — то же самое, что ощущать? Да, отвечу я: действительно, чтобы судить об этом предмете, моя память должна царисовать мне в последовательном порядке картины различных положений, в которых я могу находиться чаще всего в течение своей жизни. И судить — означает узреть в этих различных картинах, что сила мне чаще более полезна, чем величина тела. Но, возразят мне, если дело идет о решении вопроса:

* Мера длины в 6 футов.

что предпочтительнее в короле — справедливость или доброта, т. е. можно ли утверждать и в этом случае, что суждение есть только ощущение.

Такое утверждение должно, несомненно, сперва показаться парадоксом. Однако, чтобы доказать его истинность, предположим, что у человека есть знание того, что называется добром и злом, и что человек, кроме того, знает, что поступок более или менее дурен в зависимости от того, насколько он вреден для счастья общества. Предположив это, спросим: к какому искусству должен прибегнуть поэт или оратор, чтобы заставить наиболее живо чувствовать, что справедливость предпочтительнее в короле, чем доброта, справедливость сохраняет государству большее число граждан.

Оратор представит воображению предполагаемого нами человека три картины: в одной он нарисует справедливого короля, который произносит приговор и велит казнить преступника; во второй — доброго короля, освобождающего из тюрьмы того же преступника и снимающего с него кандалы; в третьей картине он покажет этого же преступника, вооружившегося, по выходе из тюрьмы, кинжалом и убивающего пятьдесят граждан: кто же при созерцании этих трех картин не почувствует, что смертью одного справедливость предупреждает смерть пятидесяти и что в короле она предпочтительнее, чем доброта! Между тем это суждение есть в действительности только ощущение. В самом деле, если благодаря привычке связывать определенные идеи с определенными словами можно, как показывает опыт, поражая слух определенными звуками, возбудить в нас приблизительно те же ощущения, которые мы испытывали бы в присутствии самих предметов, то ясно, что при представлении этих трех картин судить о том, что в короле справедливость предпочтительнее доброты, значит чувствовать и видеть, что в первой картине приносится в жертву один гражданин, а в третьей гибнут пятьдесят, — откуда я заключаю, что всякое суждение есть ощущение.

Но, скажут мне, следует ли причислить к ощущениям суждения, например, о большем или меньшем превосходстве некоторых методов, таких, например, как метод запоминания наибольшего количества предметов, или метод абстракции, или метод аналитический?

Чтобы ответить на это возражение, следует прежде всего определить значение слова *метод*. Метод есть не что иное, как средство, употребляемое для достижения поставленной цели. Предположим, что некто намеревался бы закрепить в своей памяти определенные объекты и определенные идеи и что случайно они так распределились бы в его памяти, что воспоминание одного факта или идеи вызывало бы воспоминание бесконечного ряда других фактов и идей и что таким образом он запечатлел бы более легким способом и более глубоко определенные предметы в своей памяти: тогда сказать суждение, что этот порядок распределения *наилучший* и назвать его *методом*, значит сказать, что было приложено меньшее

усилий внимания, что было исцято менее неприятное ощущение при изучении в таком порядке, чем было бы это в порядке ином; но вспоминать неприятное ощущение значит ощущать; очевидно, следовательно, что и в этом случае *судить* значит *ощущать*.

Предположим еще, что для доказательства истинности некоторых геометрических теорем и для облегчения их усвоения геометр решил предложить своим ученикам рассматривать линии независимо от их ширины и толщины: тогда высказать суждение о том, что этот отвлеченный способ или метод наилучшим образом облегчает ученикам понимание данных геометрических теорем, значит сказать, что ученикам приходится меньше напрягать внимание и испытывать менее неприятное ощущение при применении этого метода, чем при употреблении какого-либо иного.

Предположим еще, как последний пример, что рассмотрением в отдельности каждой из истин, заключающихся в некотором сложном положении, удалось бы с большей легкостью понять это положение: в таком случае высказать суждение, что такой аналитический способ или метод наилучший, это то же, что сказать, что было приложено меньше усилий внимания, а значит и было испытано менее неприятное ощущение при рассмотрении каждой в отдельности из истин, заключающихся в этом сложном положении, чем если бы мы попытались рассматривать эти истини все сразу.

Из сказанного вытекает, что суждения, относящиеся к способам или методам, случайно нами употребляемым для достижения определенной цели, суть по существу лишь ощущения и что все в человеке сводятся к ощущению.

Но, — скажут мне, — каким образом до сих пор предполагалась в нас способность суждения, отличная от способности ощущения? Это предположение, отвечу я, основывалось на воображаемой невозможности объяснить иным путем некоторые заблуждения ума.

Чтобы устранить это затруднение, я покажу в следующих главах, что все наши ложные суждения и наши заблуждения происходят от двух причин, предполагающих в нас лишь способность ощущения; что было бы, следовательно, бесполезно и даже бесмысленно допускать в нас способность суждения, не объясняющую ничего такого, чего нельзя было бы объяснить без нас. Приступая к изложению этого вопроса, я заявляю, что нет такого ложного суждения, которое не было бы следствием или наших страстей, или нашего невежества.

ПРИМЕЧАНИЕ К ГЛАВЕ I

¹ О душе животных написано много. То им приписывалась, то у них отрицалась способность мыслить, и, может быть, недостаточно тщательно искали в различии физического строения человека и животного причину более низкого развития того, что называется душой животного.

а) Все конечности животных снабжены или копытом, как у быка и ² оленя, или ногтями, как у собаки и волка, или когтями, как у льва или

кошки. Это различие в строении между нашей рукой и лапой животного лишает его, как говорит Бюффон, почти полностью не только чувства осязания, но и ловкости, необходимой, чтобы владеть инструментом и чтобы сделать какое-либо открытие, требующее применения рук.

б) Жизнь большинства животных короче и не дает им возможности сделать достаточное количество наблюдений и иметь, следовательно, столько представлений, сколько имеет человек.

с) Животные, будучи от природы лучше нас вооружены и покрыты, имеют меньше потребностей и, следовательно, не могут не иметь меньше изобретательности: если животные плотоядные вообще более умны, чем прочие животные, то это потому, что голод всегда изобретателен и заставляет их прибегать к хитрости, чтобы ловить добычу.

д) Животные чувствуют страх перед человеком, который при помощи сделанного им оружия стал страшнее самым сильным животным.

К тому же человек — самое распространенное животное на земле: он рождается и живет во всех климатах, тогда как некоторые животные, как, например, львы, слоны, носороги, живут лишь под определенной широтой. Чем распространеннее какая-нибудь порода животных, способная к наблюдательности, тем больше у этого рода животных представлений и ума.

Но могут спросить, почему обезьяны, у которых руки приблизительно так же ловки, как и наши, не достигают тех же успехов, как человек. Потому что во многих отношениях они ниже человека; потому что люди более распространены на земле; потому что среди различных пород обезьян немного таких, сила которых могла бы сравняться с силою человека; потому что обезьяны — животные травоядные и у них меньше потребностей и, следовательно, меньше изобретательности, чем у людей; потому также, что жизнь их короче, что они бегут от людей и таких животных, как тигры, львы и т. д.; потому, наконец, что благодаря врожденной склонности их тело, подобно телу детей, находится в постоянном движении, даже когда их потребности удовлетворены; обезьяны не знают поэтому скуки, которую следует признать, как я это докажу в третьем рассуждении, одной из основных причин совершенствования человеческого ума.

Принимая во внимание все эти различия между строением человека и животного, можно объяснить, почему чувствительность и память — способности, присущие и людям и животным, — являются для последних способностями бесплодными.

Мне возразят, может быть, что бог, не будучи несправедливым, не может обречь на страдания и смерть невинные существа и что, таким образом, животные являются просто машинами. Я отвечаю на это возражение, что, поскольку в св. писании и в учении церкви ниже не говорится, что животные суть только машины, мы можем с успехом игнорировать мотивы поведения бога по отношению к животным и предположить, что мотивы эти справедливы. Нет надобности прибегать к остроте Мальбраша, который, когда при нем утверждали, что животные подвержены страданиям, ответил шутя, что «очевидно, они отведали запрещенного плода».

* Представления о числах, которые столь просты и столь легко приобретаются и в которых мы постоянно нуждаемся, так поразительно ограничены у некоторых народов, что они не умеют считать дальше трех и выражают число больше трех словом *много*.

* Таковы народы, найденные Дампьером на одном острове, на котором ни произрастали ни деревья ни кусты. Жители питались здесь рыбой, которую морские волны выбрасывали на берег маленьких заливов острова, и не знали другого языка, кроме звуков, похожих на крик индейского петуха.

* Сенека был убежденным стоиком, и тем не менее он не вполне был уверен в духовности души. «Ваше письмо, — пишет он одному из своих друзей, — принципиально некстати: когда я его получил, я упивался грезами надежд; я приспособился уверенностью в бессмертии моей души; мое воображение, притянутое воспламененное речами некоторых великих людей, не допускало уже сомнений в бессмертии ее, которое они больше обещают, чем доказывают; и уже начинал смотреть на себя с неудовольствием, превирал остатки несчастной жизни и с наслаждением предвкушал открытие врат вечности. Пришло Ваше письмо, и я очнулся, и от этого приятного сна осталось сожаление о том, что это был только сон».

Одним из доказательств того, что прежде не верили ни в бессмертие, ни в имматериальность души, — говорит г. Дефланд в своей *«Histoire critique de la Philosophie»*, — служит то, что во времена Нерона в Риме жаловались, что недавно появившееся учение о загробной жизни ослабляет мужество солдат, делает их робкими, лишает несчастных главного утешения их и усиливает страх смерти, угрожая новыми страданиями после этой жизни.

* Св. Ириней утверждал, что душа — дыхание. *«Flatus est enim vita»* (*«Ведь жизнь есть дыхание»*). См. *«Théologie païenne»*. Тертуллиан доказывает в своем *«Tractat о душе»*, что она телесна (*Tertull. De Anima* cap. 7, p. 268).

Св. Амвросий учит, что только пресвятая троица нематериальна (*Ambr. De Abrahamo*). Гиларий утверждает, что все сотворенное телесно (*Hilar. In Matth.*, p. 633).

На втором Никейском соборе ангелов еще считали телесными: поэтому здесь можно было без соблазна прочесть следующие слова Иоанна Фессалоникского: *«Pingendi angelī quia corporei»* (*«Ангелов можно изображать, ибо они телесные»*).

Св. Юстин и Ориген признавали душу материальной; они считали бессмертие ее простой божьей милостью; они утверждали далее, что души дурных людей через известное время будут уничтожены. Бог, говорили они, который по своей природе склонен к милосердию, устанет наказывать их и лишил их своего дара.

* Невозможно придерживаться аксиомы Декарта и опираться лишь на очевидность. Если эту аксиому повторяют ежедневно в школах, то потому, что она там недостаточно понята; так как Декарт, если возможно так выразиться, не поместил вывески над убежищем очевидности, то всякий считает себя вправе поселить в нем свое мнение. Действительно, всякий, кто полагался бы только на очевидность, был бы уверен лишь в своем собственном существовании. Как, например, быть ему уверенным в существовании тел! Разве всемогущий бог не мог бы вызывать в наших чувствах те же ощущения, какие вызывает присутствие предметов? Но, если бог может это делать, как доказать, что он в этом отношении не пользуется своим могуществом и что вся вселенная не есть только явление? Кроме того, если мы во сне переживаем те же ощущения, какие мы испытывали бы в присутствии предметов, то как доказать, что наша жизнь не есть лишь длительный сон?

Это не значит, что я пытаюсь отрицать существование тел; я хочу лишь показать, что существование их для нас менее достоверно, чем наше собственное бытие. А так как истина есть нечто неделимое и нельзя сказать о какой-нибудь истине, что она более или менее истина, то очевидно, что если мы более уверены в нашем собственном существовании, чем в существовании тел, то последнее, следовательно, является лишь вероятностью — вероятностью, которая, без сомнения, очень велика и практически эквивалентна очевидности, но которая остается, все же лишь вероятностью. Но если почти все наши истины сводятся к вероятностям, то какую благодарность стяжал бы гениальный человек, который взялся бы составить физические, метафизические, моральные и политические таблицы, где были бы с точностью указаны все различные степени вероятности и, следовательно, уверенности, с которой надо принимать каждое мнение!

Существование тел, например, было бы помещено в физических таблицах, как первая степень достоверности; в них было бы затем определено, какова достоверность того, что солнце завтра взойдет, что оно взойдет через десять, через двадцать лет и т. д. В таблицах моральных или политических равным образом помещалось бы, как первая степень достоверности, существование Рима или Лондона, затем существование гербов, как Цезарь или Вильгельм Завоеватель; и так спускались бы по ступеням вероятностей до фактов менее достоверных и, наконец, до мнимых чудес Магомета — чудес, которые восвидетельствованы столь многими арабами, но ложность которых, тем не менее, весьма вероятна здесь на земле, где лжецы встречаются так часто, а чудеса так редко.

Тогда люди, которые чаще всего расходятся во мнениях только потому, что не находят надлежащих знаков для выражения различных степеней достоверности, которую они придают своим мнениям, могли бы с большей легкостью обмениваться своими идеями, потому что они всякий раз могли бы подвести, так сказать, свои мнения под соответствующий номер этой таблицы вероятностей.

Так как поступательное движение ума всегда медленно, а научные открытия обыкновенно не следуют непосредственно друг за другом, то в однажды составленные таблицы вероятностей пришлось бы последовательно вносить лишь незначительные изменения, которые сводились бы к тому, что, в зависимости от этих открытий, увеличивалась бы или уменьшалась бы вероятность некоторых положений, которые мы называем истинами и которые в действительности суть только более или менее накопленные вероятности. Благодаря этому средству людям легче будет переносить состояние сомнения, которое всегда невыносимо для гордости большинства людей; тогда сомнения перестанут быть неопределенными, — они станут доступны вычислению и, следовательно, оценке и обратятся в утвердительные предложения: тогда школа Карнеада, которую в древности называли эклектической и, следовательно, считали философской по преимуществу, очистилась бы от тех небольших недостатков, за которые сварливые певежды так резко упрекали эту философию, учение которой способствует как просвещению ума, так и смягчению нравов.

Хотя эта школа, согласно со своими принципами, не допускала истин, она во всяком случае допускала видимость их; она требовала, чтобы люди руководствовались в жизни этой видимостью; чтобы они действовали, когда

кажется, что лучше действовать, чем размышлять; чтобы они здраво обдумывали, когда есть время для обдумывания; чтобы поэтому они принимали более надежные решения и чтобы в душе всегда оставалась открытой дверь для новых истин, которую держат закрытой догматики. Далее, она требовала, чтобы люди не были так крепко уверены в своих мнениях, не так скоро осуждали бы чужие мнения и были бы поэтому более дружелюбны; наконец, чтобы привычка сомневаться, делая нас менее нетерпимыми и противоречиво, заглушила бы весьма плодоносные семена ненависти между людьми. Здесь мы совсем не касаемся истин откровенных, которые суть истины иного порядка.

ГЛАВА II

О заблуждениях, вызываемых страстями

Страсти вводят нас в заблуждение, так как они сосредоточивают все наше внимание на одной стороне рассматриваемого предмета и не дают нам возможности исследовать его всесторонне. Вот король, жаждущий прослыть победителем: военные успехи, говорит он, влекут меня за край света; я буду воевать, я одержу победу, я унижу гордость моих врагов; я закую их руки в кандалы, и страх перед моим имением, как непреодолимая твердыня, оградит мое государство от их вторжения. Опьяненный этой надеждой, он забывает, что счастье изменчиво, что тяжесть лишений почти одинаково ложится на победителя и на побежденного; он не сознает, что благосостояние его подданных служит лишь предлогом его воинственному ныту, что гордость заставляет его поднимать оружие и развертывать знамена; все его внимание сосредоточено на колеснице победителя и на триумфальных торжествах.

Страх, не менее могущественный, чем гордость, производит то же действие: он создает призраки, населяет им кладбища, в сумраке леса представляет эти призраки глазам испуганного путника, овладевает всеми способностями его души, не оставив ни одной свободной, чтобы увидеть нелепость причия столь напрасного страха.

Страсти не только заставляют нас видеть лишь известные стороны предмета, но они еще и обманывают нас, часто показывая нам эти самые предметы там, где их нет. Рассказывают историю про одного священника и даму легкого поведения: они слышали, что луна населена, и верили в это; при помощи телескопа оба старались разглядеть обитателей луны. «Если я не ошибаюсь, — сказала сперва дама, — я вижу две тени; они склоняются одна к другой: нет никакого сомнения — это два счастливых любовника...» — «О, что вы, сударыня, — возражает священник, — две тени, которые вы видите — это две соборных колокольни». Так и в нашем случае: мы замечаем в вещах чаще всего то, что желаем в них найти; на земле так же, как и на луне, наши страсти заставляют нас видеть всегда или любовников, или колокольни.

Иллюзия — непременное следствие страстей, глубина которых измеряется степенью ослепления, в которое они нас погружают. Это прекрасно почувствовала одна женщина: застигнутая своим

возлюбленным в объятиях его соперника, она смело отрицала факт, свидетелем которого он был. «Как, — сказал он ей, — ваше бесстыдство заходит так далеко?..» — «О, коварный, — воскликнула она, — ты разлюбил меня: ты веришь больше своим глазам, чем моим словам!» Эти слова можно применить не к одной лишь любовной страсти, но и ко всем страстям. Все они поражают нас полным ослеплением.

Приложим это самое замечание к более высоким материям. Обратимся к мемфисскому храму. Показывая быка Аписа испуганным и простершимся перед ним наци египтянам, жрец воскликнул: «Народы, познайте в этом животном божество Египта; пусть весь мир поклонится ему; пусть рассуждающего и сомневающегося безбожника, эту мерзость земли, этого жалкого отверженца человечества, поразит небесный огонь! Надменный смертный, кто бы то ни был, ты не боишься богов, если видишь в Апипсе лишь быка и веришь больше тому, что ты видишь, чем тому, что я тебе говорю».

Таковы были, несомненно, речи мемфисских жрецов, которые должны были думать, подобно вышеназванной женщине, что люди перестают испытывать сильную страсть в тот самый момент, когда они перестают быть ослепленными. И могли ли они думать иначе! Мы наблюдаем ежедневно, что гораздо более слабые интересы оказывают на нас подобные действия. Когда, например, честолюбие вооружает друг против друга два могущественных народа и когда охваченные тревогой граждане спрашивают друг у друга новости, то как легко, с одной стороны, верить в хорошие вести, а с другой — не верить в дурные. Как часто слишком глупое доверие к невежественным монахам заставляло христиан отрицать возможность антиподов! Нет такого века, который каким-нибудь нелепым утверждением или отрицанием не готовил бы материала для насмешек следующего века. Прошлое безумие редко раскрывает людям глаза на их теперешнее безумие.

Все же страсти, в которых следует видеть зародыши бесчисленных заблуждений, служат, тем не менее, двигателями просвещения. Если они и сбивают нас с пути, зато только они одни и дают нам необходимую для движения вперед силу. Только они одни могут освободить нас от того бездействия и той лени, которые всегда готовы владеть всеми способностями нашей души.

Но здесь не место исследовать истинность этого утверждения. Перехожу теперь ко второй причине наших заблуждений.

ГЛАВА III

О недостаточном знании

Мы ошибаемся, когда увлеченные страстью и сосредоточив все наше внимание на одной из сторон предмета, хотим по одной этой стороне судить обо всем предмете. Мы ошибаемся также, если, принимаясь судить о каком-либо вопросе, не имеем в нашей памяти всех фактов, от сравнения которых зависит в этой области

правильность наших суждений. Это не значит, что не всякому дан правильный ум. Всякий ясно видит то, что он видит. Но мы не сознаем недостаточности своего знания и верим слишком легко, что то, что мы видим в предмете, есть все, что в нем вообще можно видеть.

В вопросах несколько затруднительных незнание должно считаться главной причиной наших заблуждений. Чтобы показать, как в этом случае легко ввести самого себя в обман и как, делая вполне правильные выводы из своих принципов, люди могут притти к совершенно противоречивым результатам, я изберу для примера вопрос несколько сложный: вопрос о роскоши, о которой судили весьма различно, смотря по тому, с какой стороны ее рассматривали.

Так как слово *роскошь* неопределенно, не имеет никакого совершенно определенного смысла и обыкновенно есть лишь выражение относительное, то необходимо прежде всего с этим словом, взятым в строгом значении, связать точное представление и дать затем определение роскоши, рассмотрев это попытке как по отношению к целому народу, так и по отношению к отдельному лицу.

В строгом смысле под роскошью следует понимать всякий род излишества, т. е. все, что не безусловно необходимо для существования человека. Когда речь идет о цивилизованном народе и отдельных лицах, его составляющих, это слово имеет совершенно другой смысл; оно становится совершенно относительным. Роскошь цивилизованного народа есть употребление им своих богатств на то, что считает излишеством другой народ, с которым его сравнивают. Англия находится в таком положении по отношению к Швейцарии.

Роскошь частного лица есть также употребление им своих богатств на то, что следует назвать излишеством в отношении к положению, занимаемому этим человеком в государстве, и к стране, в которой он живет: такова была роскошь Бурвалэ.

Дав это определение, рассмотрим те различные точки зрения, с которых судили о роскоши народов, когда одни ее считали полезной, другие — вредной для государства.

Первые указывали на возводимые благодаря роскоши фабрики, привлекающие иностранные богатства в обмен на произведения национальной промышленности. Увеличение богатства должно, по их мнению, повлечь за собой усиление роскоши и усовершенствование ремесел, служащих для удовлетворения ее. Век роскоши представляется им веком величия и могущества государства. Необходимо связанные с роскошью обилие и приток денег, говорят они, приводит народ к внутреннему благосостоянию и внешнему могуществу. Только деньги дают возможность содержать много войска, делать запасы, наполнять арсеналы, заключать и поддерживать союзы с могущественными государствами, и, наконец, деньги дают возможность народу не только противостоять, но и повелевать народами, более многочисленными, следовательно, в действительности более могущественными, чем он сам. Если роскошь доставляет государству внешнее могущество, то каких только благ не приносит

она во внутренней его жизни! Она смягчает нравы; создает новые удовольствия и этим дает средства к существованию бесконечного числа рабочих. Она возбуждает благотворную алчность, отрывающую человека от безделия и скуки, которые следует признать самыми распространенными и самыми жестокими болезнями человечества. Роскошь распространяет всюду живительное тепло, поднимает приток жизненных сил во всем государственном организме, будит промышленность, открывает гавани, строит корабли, отправляет их за океан и предоставляет, наконец, людям произведения богатства, которые скучая природа прячет в глубине морей, в недрах земли или которые она рассеяла в самых различных климатах. Такова, я думаю, приблизительно точка зрения на роскошь тех, кто находит ее полезной для государства.

Рассмотрим теперь взгляд философов, считающих роскошь гибельной для народов.

Счастье народов зависит как от благополучия их внутренней жизни, так и от уважения, вспыхаемого другим народам.

О первой стороне предмета мы думаем, скажут эти философы, что роскошь и богатства, которые благодаря ей притекают в государство, сделали бы его подданных счастливее, если бы эти богатства были распределены равномернее и если бы каждый мог доставить себе те удобства, которых он лишен вследствие бедности.

Следовательно, сама по себе роскошь не вредна; она вредна лишь как следствие слишком неравномерного распределения богатства между гражданами¹. Поэтому роскошь не бывает никогда чрезмерна там, где богатства распределены не слишком неравномерно; увеличиваясь по мере сосредоточения богатства во все меньшем числе рук, она достигает, наконец, своего последнего предела, когда нация разделяется на два класса, из которых один утопает в излишествах, а другой нуждается в необходимом.

Такое состояние государства тем более тяжело, что оно неизлечимо. Как привести тогда к некоторому равновесию имущественное положение граждан? Вот богач скучил огромные поместья; пользуясь несостоятельностью своих соседей, он присоединил в короткий срок к своему имению множество мелких. Число земледельцев уменьшилось, число поденщиков увеличилось; если число последних увеличится настолько, что рабочих станет больше, чем работы, тогда поденщик разделит судьбу всякого товара, ценность которого падает при его обилии. Кроме того, богачу, у которого роскоши больше, чем богатства, выгодно попрекать цену поденного труда и предлагать поденщику плату, едва хватающую на поддержание его существования²; нужда заставляет последнего довольствоваться и этим; но, если случится болезнь или увеличение семейства, тогда вследствие нездешевой пищи или недостатка ее рабочий заболевает, умирает и оставляет государству семью нищих. Чтобы предупредить подобное бедствие, пришлось бы прибегнуть к новому переделу земель, — переделу, пеизбежно несправедливому и неосуществимому. Очевидно, что когда роскошь достигает известного предела, то становится уже невозможным внести равновесие в распределение

имущества граждан. Богачи и их богатства сосредоточиваются тогда в столицах, куда их привлекают удовольствия и предметы роскоши; деревня забрасывается и беднеет; семья или восемь миллионов людей прозябают в нищете³, а пять или шесть тысяч живут в изобилии, которое делает их гнусными, не делая их более счастливыми.

В самом деле, что может прибавить к счастью человека более или менее утонченная пища? Не достаточно ли проголодаться, сопротивляясь своим физическим упражнениям или продолжительность своих прогулок с неумением своего повара, чтобы находить преисходящим всякое кушанье, если оно не отвратительно? Кроме того, разве воздержанность и мотоны не ограждают от болезней, причиняемых объядением, вызываемым хорошим столом? Счастье, следовательно, не зависит от изысканности кухни.

Оно не зависит также от великолепия одежд или экипажей: когда человек появляется публично, покрытый расшитыми тканями и в блестящем экипаже, он не испытывает удовольствий физических, — единственных реальных удовольствий; в лучшем случае он испытывает удовлетворение своего тщеславия, неудовлетворение которого было бы, быть может, невыносимо, но наслаждение от которого вовсе не чувствуется.

Выставлением напоказ своей роскоши богач, не прибавляя себе счастья, лишь оскорбляет человечество и несчастного, который, сравнивая свои пищевые отрепья с великолепными одеждами, воображает, что между счастьем богача и его счастьем такое же различие, как между их одеждами; при этом в нем поднимается тяжелое воспоминание об испытанных лишениях, и он оказывается благодаря этому лишенным единственного утешения обиженнего судьбой человека, временного забвения своей нищеты.

Следовательно, несомненно, скажут далее эти философы, что роскошь не дает никому счастья и что слишком неравномерное распределение богатств между гражданами обусловливает несчастье большинства их. Народ, среди которого водворилась роскошь, не может быть, следовательно, счастлив во внутренней своей жизни; посмотрим, пользуется ли он внешним уважением.

Избыток денег, привлекаемый в государство роскошью, действует вначале на воображение; в течение некоторого времени это государство кажется могущественным, но эта выгода (если можно допустить какую-либо выгоду, независимо от счастья граждан) есть лишь, как замечает г. Юм, преимущество скоро преходящее. Подобно морям, последовательно покидающим и покрывающим тысячи различных прибрежных пространств, богатства должны последовательно обойти множество различных стран. Когда красота мануфактурных изделий и совершенство предметов роскоши в какой-нибудь стране привлечет золото соседних народов, то ясно, что цены на предметы первой необходимости, а также цена на рабочие руки у этих обедневших народов неизбежно упадет и что эти народы, переманив известное число предпринимателей и рабочих у разбогатевшей нации, могут в свою очередь разорить ее, спабжая ее за более дешевую цену товарами, которые прежде до-

ставлялись ею⁴. А как только недостаток денег дает себя чувствовать в стране, привыкшей к роскоши, государство перестает пользоваться прежним уважением.

Чтобы избежать этого, следовало бы упростить жизнь, но и нравы и законы противятся этому. Поэтому эпохе усиленной роскоши у каждого-нибудь народа непосредственно предшествует обыкновенно эпоха его падения и унижения. Каждущиеся счастье и могущество, которые временно сообщают народам роскошь, похожи на припадки сильной горячки, придающие невероятную силу пожираемому ею больному и удесятеряющие силы человека лишь для того, чтобы, по окончании припадка, отнять у него и эти силы, и самое жизнь.

Чтобы убедиться в этой истине, скажут далее те же философы, постараемся выяснить, что может действительно доставить государству уважение его соседей: без сомнения — численность и сила его граждан, их привязанность к родине и, наконец, их мужество и добродетель.

Что касается численности граждан, то известно, что страны, где царит роскошь, не являются самыми населенными: Швейцария гуще населена, чем Испания, Франция и даже Англия.

Истребление людей, неизбежное при ведении крупной торговли⁵, не является единственной причиной сокращения численности народа населения в стране: роскошь порождает тысячи других причин, привлекая капиталы в столицы, оставляя деревню в нужде, покровительствуя произволу и, следовательно, увеличению податей, и, наконец, облегчая возможность богатому государству заключать займы⁶, покрыть которые невозможно, не облагая народ тяжелыми налогами. Все эти разнообразные причины уменьшения народа населения, погружая страну в бедствие, должны неизбежно ослаблять и физическую силу граждан. Народ, предавшийся роскоши, не бывает никогда здоровым народом: часть его граждан расслаблена изнеженностью, другая — истощена лишениями.

Если дикие или бедные народы, как замечает кавалер Фолар, имеют в этом отношении преимущество перед народами, живущими в роскоши, то это объясняется тем, что земледелец у народа бедного часто оказывается богаче, чем земледелец, принадлежащий к богатой нации: крестьянин в Швейцарии имеет больше достатка, чем крестьянин во Франции⁷.

Чтобы создать здоровое тело, нужна простая, здоровая и достаточно обильная пища; сильное, хотя и не чрезмерное движение; выносливость в отношении к резким переменам погоды, выносливость, приобретаемая крестьянами, которые поэтому несравненно легче, чем фабричное население, привыкшее большей частью к сидячей жизни, выносят тягость военных походов. И именно среди бедных народов создаются неутомимые армии, изменяющие судьбу империй.

Что может противопоставить таким народам страна, погруженная в роскошь и изнеженность? Она не может их устрашить ни

численностью, или силой своих граждан. Привязанность к родине скажут, может заменить и численность и силу граждан. Но что вызовет в такой стране добродетельную любовь к родине? Крестьянство, составляющее две трети населения каждого государства, здесь обездолено; ремесленники не имеют собственности; переселившийся из деревни на фабрику или в чавку, из этой лавки в другую ремесленник приобрел привычку к передвижению: он не может привязаться ни к какому месту; имея возможность везде обеспечить себе существование, он является не гражданином своей страны, а как бы обитателем всего света.

Такой народ не может, следовательно, долго отличаться мужеством, потому что мужество народа является обыкновенно следствием его телесного здоровья, слепой веры в свои силы, скрывающей от человека половину угрожающей ему опасности, или следствием пламенной любви к родине, — любви, заставляющей пре-небрегать опасностью; но роскошь, в конце концов, иссушивает оба эти источника мужества⁸. Может быть, алчность и открыла бы третий источник, если бы мы жили еще в жестокие века, когда народы обращались в рабство, а города отдавались на разграбление. Солдат, не возбуждаемый теперь этим мотивом, может быть мужествен лишь из чувства чести, но чувство чести гаснет в народе, в котором загорается любовь к богатству⁹. Напрасно стали бы говорить, что богатые народы выигрывают, по крайней мере, в счастье и удовольствии то, что теряют в добродетели и мужестве; спартанцы¹⁰ были не менее счастливы, чем персы. Первые римляне, мужество которых вознаграждалось даровой раздачей припасов, не позавидовали бы участи Красса.

Каю Дуиллю, которого, по распоряжению сената, каждый вечер провожали домой при свете факелов и звуках флейт, этот грубый концерт был не менее приятен, чем самая блестящая соната. Но допустим, что богатые народы доставляют себе некоторые удобства, известные бедным народам, — кто воспользуется этими удобствами? Небольшое число привилегированных и богатых людей, которые, считая себя представителями всего народа, полагают, что раз они довольны, то и крестьянин счастлив. Но если бы даже эти удобства были распределены между большим числом граждан, что стоит это преимущество, по сравнению с тем, что дает бедным народам сила духа, мужество и ненависть к рабству? Народы, среди которых распространяется роскошь, рано или поздно делаются жертвой деспотизма. Они подставляют свои слабые, обессиленные руки оковам, которые хочет наложить на них тираны. Как избежать этого? В этих государствах одни живут в изнеженности, а изнеженность не задумывается и не предвидит; другие прозябают в пищете, а неотложная нужда, требующая удовлетворения, мешает подняться до мысли о свободе. При деспотическом правлении богатство народа принадлежит его повелителям; при республиканском — оно принадлежит людям могущественным и пограничным мужественным народам.

«Принесите нам ваши сокровища, — могли бы сказать римляне

карфагенянам: — они нам принадлежат. И Рим, и Карфаген хотели приобрести богатства; но они избрали различные пути для достижения этой цели. В то время как Вы покровительствовали промышленности среди ваших граждан, заводили фабрики, покрывали море вашими кораблями, открывали неведомые берега и привлекали к себе золото Испании и Африки, мы, более благоразумные, приучали наших солдат к тягостям войны, воспитывали в них мужество, — мы знали, что трудолюбивые работают на храбрых. Время торжества настало; отдайте нам богатства, которых вы не в силах охранять». Если римляне и не говорили этого, то их поведение доказывало, что они испытывали чувства, выраженные в этих словах. Как могла бедность Рима не распоряжаться богатством Карфагена и не сохранить в этом отношении превосходства, которого достигают почти всегда бедные народы над народами богатыми! Разве умеренный Лакедемон не восторжествовал над богатыми торговыми Афинами? Разве римляне не попирали своими ногами золотые скипетры Азии? Разве Египет, Финикия, Тир и Сидон, Родос, Генуя, Венеция не были покорены, или, по крайней мере, унижены народами, которых они называли варварскими? И кто знает, не увидим ли мы в будущем, как богатая Голландия, менее счастливая в своей внутренней жизни, чем Швейцария, противопоставит слабое сопротивление своим врагам! Вот с какой точки зрения смотрят на роскошь философы, считающие ее губительной для государства.

Вывод из только что сказанного тот, что люди, хотя и понимают хорошо то, что видят, хотя и делают весьма правильные выводы из своих положений, приходят все же часто к результатам противоречивым потому, что в памяти их не собраны все объекты сравнения, из которых должна вытекать разыскиваемая ими истина.

Бесполезно, я думаю, говорить, что, изложив вопрос о роскоши с двух различных точек зрения, я не берусь решать, вредна ли действительно или полезна роскошь для государства; для того чтобы решить в точности эту моральную проблему, необходимо было бы говорить о вещах, не имеющих отношения к предмету, который я обсуждаю; я хотел лишь показать на примере, что в сложных вопросах, обсуждаемых беспристрастно, ошибки происходили лишь от недостатка знания, т. е. от того, что мы воображаем, будто та сторона, которую мы видим в предмете, есть все, что в нем можно видеть.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ III

¹ Роскошь вызывает обращение денег, она извлекает их из сундуков, в которых готова хранить их скрупость, поэтому, — утверждают некоторые, — роскошь уравнивает имущества граждан. На это рассуждение я отвечаю, что она совершенно не производит такого действия. Роскошь всегда предполагает существование причины неравномерного распределения богатства между гражданами. А эта причина, обусловившая появление первых богачей, должна, когда они разорятся благодаря роскоши, произвести новых бога-

ж-й; если бы была уничтожена причина неравномерного распределения богатства, тогда вместе с ней исчезла бы и роскошь. В странах, где состояния граждан мало разнятся, не существует того, что называется роскошью. К спазанному прибавлю, что, раз устанавлилось это неравномерное распределение богатств, сама роскошь является отчасти причиной постоянного возникновения роскоши. В самом деле, всякий человек, разоряющийся на роскошь, передает большую часть своих денег в руки производителей предметов роскоши; последние, обогатившись за счет многочисленных расточителей, становятся, в свою очередь, богачами и разоряются тем же способом. Только небольшая часть из обломков этих богатств попадает в деревню, так как продукты земли, предназначенные для всеобщего употребления, не могут никогда превысить известной стоимости.

Нельзя сказать того же об этих самых продуктах, когда они пройдут через фабрики и будут обработаны промышленностью; тогда фантазия может им сообщить какую угодно стоимость; цена на них становится чрезмерной. Следовательно, роскошь должна всегда удерживать деньги в руках промышленников; благодаря ей деньги вращаются всегда в одном и том же классе людей, и, таким образом, неравенство в распределении богатств среди граждан сохраняется.

² Обыкновенно думают, что деревню разоряет барщина, налоги и, особенно, подати (*des tailles*); охотно соглашаюсь, что они очень тягостны, но не следует воображать, что однажды уничтожение их сделает положение крестьян счастливыми. В некоторых провинциях рабочий день оплачивается восемью су (в 1758 г.). Если вычесть дни, в которые церковь запрещает работать, т. е., приблизительно девяносто праздников и воскресений, и, пожалуй, еще дней тридцать, когда рабочий недорог, или не имеет работы, или отбывает барщину, и распределить заработок на эти дни, то получится по шести су в день; пока рабочий холост, — согласен, — шесть су ему хватает на все необходимые расходы: на пищу, одежду, жилище; но когда он женится, этих шести су уже станет недостаточно, ибо в первые годы брака жена всецело занята нянчаньем и кормлением детей и не может ничего заработать; предположим, что его тогда совершенно освободят от подати, составляющей пять или шесть франков, это составит приблизительно лиард в день прибавки; но этот лиард не изменит ничего в его положении. Что же надо сделать, чтобы улучшить его? — Значительно увеличить поденную плату. А для этого надо, чтобы землевладельцы постоянно жили в своих поместьях; по примеру своих отцов они могли бы вознаграждать своих слуг за их услуги, отдавая им в собственность несколько арпанов земли; тогда незаметно возросло бы число земельных собственников, число поденщиков уменьшилось бы, а вследствие этого возросла бы их заработка плата.

³ Не странно ли, что в государствах, наиболее славящихся роскошью и цивилизацией, большая часть людей гораздо несчастнее, чем у диких народов, столь презираемых просвещенными народами. Кто может сомневаться в том, что положение дикаря предпочтительнее положения крестьянина! Дикарю не угрожает, как крестьянину, тюрьма, бремя податей, притеснения барина, самовластие управляющих; ему не приходится быть вечно униженным и сведенным на степень скота постоянным присутствием людей, более богатых и более могущественных, чем он; не имея над собою высших, не состоя в рабстве, более здоровый, чем наш крестьянин, потому что более

счастливый, — он наслаждается счастьем равенства, в особенности же неоценимым благом свободы, которой тщетно добивается большинство народов.

В цивилизованных странах искусство законодательства часто состояло только в том, чтобы заставить большинство людей способствовать счастью меньшинства и для этого притеснять это большинство и нарушать все человеческие права по отношению к нему.

А между тем истинный законодательный ум должен был бы иметь в виду общее счастье. Чтобы доставить всем людям счастье, следовало бы приблизить их жизнь к настоящей жизни; может быть, открытия в области законодательства приведут нас к первоначальному исходному пункту. Я совсем не берусь решать здесь столь тонкий вопрос, который требует более глубокого разбора, но признаюсь: меня удивляет, что столько различных форм правления, принятых, по крайней мере, под предлогом общего блага, что столько законоположений стали у большинства народов только орудием несчастья людей. Возможно, что это несчастье может быть избегнуто только при возвращении к значительно более простым нравам. Охотно признаю, что для этого пришлось бы отказаться от множества удовольствий, расстаться с которыми тяжело, но если эта жертва необходима для общего блага, то она становится обязанностью. Не имеем ли мы право подозревать, что чрезвычайное благополучие нескольких отдельных лиц связано с несчастьем большого числа людей? Эта истина удачно выражена в следующих двух стихах о динарах:

У них все общее, у них все равны;

Так как у них нет дворцов, то нет у них и больниц.

* То, что мною сказано о торговле предметами роскоши, не следует распространять на всякую торговлю. Богатства, которые промышленность и усовершенствованное производство предметов роскоши привлекают в государство, не остаются в нем навсегда и не увеличивают благосостояние отдельных людей. Иное дело богатства, привлекаемые торговлей предметами первой необходимости. Эта торговля предполагает превосходную обработку земли, разделение ее на множество мелких участков, а следовательно, и значительно менее неравномерное распределение богатств. Я очень хорошо знаю, что торговля счастными припасами должна также после некоторого времени вызвать весьма большое имущественное неравенство между гражданами и повлечь за собою роскошь, но, может быть, в этом случае и возможно задержать развитие роскоши. По крайней мере несомненно, что в этом случае скопление богатств в небольшом числе рук происходит медленнее, как потому, что земельные собственники являются одновременно хлебопашцами и купцами, так и потому, что благодаря увеличению числа земельных собственников уменьшается число поденщиков, и поэтому, как мною уже было указано в предыдущем примечании, эти последние могут сами определять и устанавливать свой рабочий день и требовать плату, достаточную для поддержания приличного существования — своего и своей семьи. Таким образом, каждый имеет свою часть в богатствах, доставляемых государству торговлей счастными припасами. Прибавлю еще, что эта торговля не подвержена таким колебаниям, как торговля предметами роскоши: ремесленная или мануфактурная промышленность легко могут перекочевать из одной страны в другую, но сколько времени надо на

то, чтобы победить невежество и лень крестьянина и заставить его заняться культурой нового предмета потребления! Чтобы привить в стране это новое производство, требуется столько труда и столько расходов, что торговля продуктами его будет всегда выгоднее для той страны, в которой данный злак растет естественно и в которой он давно культивируется.

Однако в одном случае, может быть, воображаемом, учреждение мануфактурных предприятий и торговля предметами роскоши могут считаться весьма полезными. Это в том случае, если размер и плодородие страны не соответствуют числу ее жителей, т. е. если государство не в состоянии прокормить всех своих граждан. Тогда народ, которому недоступно будет переселение в страну вроде Америки, может выбрать одно из двух: или послать людей для опустошения соседних стран и для занятия, по примеру некоторых народов, с оружием в руках земель, достаточно плодородных, чтобы прокормить их, или завести фабрики и заставить соседние народы покупать их произведения, а в обмен доставлять продукты земледелия, необходимые и для прокормления известного числа жителей. Из этих двух средств последнее, без сомнения, является более гуманным. Каков бы ни был исход вооруженного столкновения — победа или поражение, — не вся колония, вступающая в страну с оружием в руках, подвергает ее большему опустошению и страданиям, чем может причинить наложение некоторого рода дани, взимаемой не столько насильственно, сколько гуманно.

* Однако это истребление людей так велико, что нельзя без ужаса думать об истреблении их нашей торговлей с Америкой. Гуманность, повелевающая любить всех людей, требует, чтобы в торговле неграми я считал одинаково несчастием как смерть моих соотечественников, так и смерть множества африканцев, которых воодушевляет на битву надежда взять пленных и желание обменять их на наши товары. Если мы подсчитаем людей, погибших как во время битв, так и при переезде по океану из Африки в Америку, если к этому числу прибавим негров, которые, по прибытии по назначению, сделались жертвами каприза, жадности и самодурства своих хозяев, затем присоединим число граждан, погибших от пожара, кораблекрушения или цынги, и, наконец, число матросов, умерших во время стоянки в Сан-Доминго или от болезней, вызванных особым климатом этой страны, или от последствий разврата, весьма опасного в этих странах, — то мы должны будем признать, что Европа не получает ни одного бочонка сахара, не окрашенного человеческой кровью. Найдется ли человек, который при виде стольких несчастий, причиняемых культурой и экспортом этого продукта, не предпочел бы лишиться его и отказаться от удовольствия, купленного слезами и смертью стольких несчастных! Отвернемся от этого мрачного зрелища, представляющего такой ужасный позор для человечества.

* Голландия, Англия и Франция обременены долгами, а Швейцария их не имеет.

* Недостаточно, говорит Греций, чтобы народ был снабжен всем абсолютно необходимым для его существования и для жизни, надо еще, чтобы он обладал вещами, делающими жизнь приятной.

* Потому-то военный дух всегда считается несовместимым с коммерческим духом; это не значит, что их нельзя до некоторой степени примирить, но в политике это один из самых трудных для разрешения вопросов. Те, кто до сего времени писал о торговле, рассматривали ее, как какой-то изо-

лированный вопрос; они недостаточно сильно прониклись тем соображением, что каждый вопрос отражается на всех других, что в государственных делах нет совершенно изолированных проблем, что заслуга автора в этой области заключается в том, чтобы связать все части государственного управления, и, наконец, что государство есть машина, приводимая в движение различными пружинами, силу которых надо увеличивать или уменьшать в зависимости от их взаимодействия и от эффекта, который желают произвести.

⁹ Неважем говорить, что в этом отношении роскошь опаснее для народа, живущего на материке, чем для островитян, корабли которых являются их оплотом, а матросы — их солдатами.

¹⁰ Однажды перед Алкивиадом хвалили спартанцев за их мужество: «Что в этом удивительного, — сказал он; — они ведут такую несчастную жизнь, что ни к чему не должны так стремиться, как к смерти». Это была шутка молодого человека, выросшего в роскоши; Алкивиад ошибался, и Лакедемон не завидовал счастью Афин. Это и заставило одного древнего мужа сказать, что приятнее жить, подобно спартанцам, под сенью хороших законов, чем под сенью рощ, подобно сибаритам...

ГЛАВА IV

О неправильном употреблении слов

Другая причина заблуждений, зависящая также от недостатка знаний, это — неправильное употребление слов и связывание с ними недостаточно ясных представлений. Локк так удачно выяснил этот вопрос, что я позволю себе рассмотреть его лишь для того, чтобы избавить читателя от необходимости цитировать справки, так как не у каждого из них труд этого философа одинаково ясен в памяти.

Декарт сказал уже раньше Локка, что перипатетики, прячущиеся за неясный смысл слова, были очень похожи на слепых, которые, чтобы сделать борьбу равной, завлекли бы зрячего в темную пещеру; если бы этот зрячий, — прибавляет он, — сумелнести свет в эту пещеру и заставить перипатетиков связывать точные представления со словами, которые они употребляют, его победа была бы обеспечена. Вслед за Декартом и Локком я постараюсь доказать, что в метафизике и в вопросах морали неправильное употребление слов и незнание их истинного смысла является, если можно так выражаться, лабиринтом, в котором иногда заблуждались даже величайшие гении. Я возьму для примера несколько таких слов, которые возбуждали длиннейшие и живейшие споры среди философов; таковы, например, в метафизике материя, пространство и бесконечность.

Во все времена посочередно утверждали о материи: то она ощущает, то не ощущает, — и об этом предмете спорили очень долго и туманно. Лишь много позднее догадались спросить себя о предмете спора и связать более точное представление со словом *материя*. Если бы сначала точно установили его значение, то признали

бы, что сами люди, если можно так выразиться, создали материю, что материя не есть какое-то существо, что в природе есть лишь индивиды, которые названы телами, и что под словом *материя* следует понимать лишь совокупность свойств, присущих всем телам. Определив, таким образом, значение этого слова, осталось бы только выяснить, действительно ли протяжение, плотность и проницаемость — единственныесвойства, присущие всем телам, и не заставляет ли открытие, например, такой силы, как притяжение, предполагать, что в телах еще могут быть неизвестные свойства, как способность ощущения, которая, хотя и проявляется лишь в организованных телах животных, не может быть присуща и всем индивидам. Сведя вопрос к этому, поняли бы, что при невозможности точно доказать совершенную бесчувственность тел человек, не просвещенный в этом вопросе откровением, не может его решить иначе, как путем взвешивания и сравнения вероятности этого мнения с вероятностью мнения противоположного.

Чтобы закопчить этот спор, не было, следовательно, надобности строить различные системы мира, теряться в соображениях о возможностях и прилагать такие необычайные усилия ума, которые привели и должны были на самом деле привести лишь к более или менее остроумым заблуждениям. Действительно (позволяю себе заметить это здесь), если необходимо извлечь все возможное из наблюдения, то не следует пользоваться ничем, кроме него, остановиться там, где оно нас покидает, и иметь мужество не знать того, чего знать еще невозможно.

Умудренные горьким опытом наших великих предшественников, мы должны понять, что всей совокупности наших наблюдений едва ли будет достаточно, чтобы образовать несколько частичных систем, заключающихся в общей системе; что лишь из глубин воображения извлекали до сих пор систему мира и что, если мы получаем иногда лишь искаженные сведения об отдаленных от нас странах, то и философы равным образом имеют лишь искаженные сведения о системе мира. При всем своем остроумии и даре комбинирования они могут преподносить лишь сказки, пока время и случай не представят общего факта, с которым могли бы соотноситься все остальные.

То, что я сказал о слове *материя*, я могу сказать и о слове *пространство*; большинство философов сделали из него особое существо, и незнание значения этого слова породило продолжительные споры. Они бы сократили их, если бы связали с этим словом точное представление; они тогда согласились бы, что пространство, взятое отвлеченно, есть чистое ничто; что пространство, рассматриваемое в связи с телами, есть то, что называется протяжением; что мы обязаны идеей пустоты, которая входит в идею пространства, промежутку, замеченному между двумя высокими горами; промежуток этот, заполненный лишь воздухом, т. с. таким теплом, которое на известном расстоянии не производит на нас никакого чувственного впечатления, должен был дать нам идею пустоты, которая есть не что иное, как возможность представить себе отда-

ленные друг от друга горы, при условии, что промежуток, их разделяющий, не заполнен никаким телом.

По отношению к идее бесконечности, заключенной также в идее пространства, скажу, что мы обязаны ею лишь тому, что человек, стоящий посреди равнины, имеет возможность раздвигать ее границы без того, чтобы можно было указать предел, где его воображение должно остановиться; таким образом, *отсутствие границ* есть единственная идея, которую мы можем иметь о бесконечности в любой области. Если бы философы, раньше чем высказывать какое-либо мнение об этом предмете, определили значение слова бесконечность, то, думаю, они были бы вынуждены принять вышеизложенное определение и не потеряли бы время на пустые споры. Ложной философии предыдущих веков следует, главным образом, приписать наше грубое невежество в понимании истинного смысла слов; эта философия состояла почти исключительно из искусства злоупотреблять словами. Это искусство, сопоставлявшее всю науку холастиков, смешивало все идеи, и ирак, которым оно окруживало все выражения, распространялся на все науки и главным образом на науку о нравственности.

Когда знаменитый Ларошфуко сказал, что самолюбие (амур-грогре) есть пружина всех наших действий, скольких людей незнание истинного значения этого слова самолюбие заставило восстать против этого славного автора. Смешали самолюбие с гордостью и тщеславием и вообразили, следовательно, что Ларошфуко видел в пороке источник всех добродетелей. Было, однако, легко понять, что самолюбие, или любовь к себе, не что иное, как запечатленное в нас природой чувство; что это чувство преобразуется в человеке в порок или добродетель в зависимости от вкусов и страстей, его воодушевляющих, и что самолюбие, различно видоизмененное, производит как гордость, так и смиренение.

Понимание этого оградило бы Ларошфуко от неоднократного обвинения его в том, что он слишком дурного мнения о человечестве; он видел человечество таким, как оно есть. Я согласен, что ясно видеть равнодушие к нам почти всех людей огорчительно для нашего тщеславия; но надо брать людей такими, как они есть; раздражаться следствиями их себялюбия значит жаловаться на весенние бури, летние жары, осенние дожди и зимние стужи.

Чтобы любить людей, надо от них мало ожидать; чтобы видеть их недостатки без горечи, надо привыкнуть их прощать и понимать, что снисходительность есть та справедливость, которую слабое человечество вправе требовать от мудрости. Такое глубокое знание человеческого сердца, каким обладал Ларошфуко, лучше всего может способствовать тому, чтобы сделать нас снисходительными, закрыть наши сердца для ненависти и открыть их началам гуманной и мягкой морали; люди наиболее просвещенные почти всегда бывают наиболее снисходительными. Сколько правил человеческобудия можно найти в их творениях! «Жизите, — говорил Платон, — с вашими подчиненными и вашими служами, как с друзьями, лишенными счастья». «Всегда ли буду я сливать, — гово-

рил один индусский философ, — как богачи восклицают: «Господи, изажи всякою, похитившего хоть частицу моего имущества», — тогда как бедняк жалобным голосом и подняв руки к небу восклицает: «Господи, дай мне часть богатства, которое ты расточаешь богачам, и если более бедный, чем я, отнимет у меня часть его, я не буду взывать к тебе о возмездии и буду смотреть на похитителя глазами, которыми смотрят весной, во время посева, на голубей, слетающихся в поле за пищей»¹.

Но если слово *самолюбие*, плохо понятое, восстановило столько мелких умов против Ларошфуко, то сколько споров, еще более серьезных, было возбуждено словом *свобода*. Споры эти легко было прекратить, если бы люди, столь же преданные истине, как Мальбраниш, признали, как этот ученый теолог в своей «La pr^emotion physique», что *свобода есть тайна*. Когда меня заставляют говорить об этом вопросе, — говорил он, — я бываю вынужден немедленно замолкнуть. Это не значит, что нельзя составить ясного представления о слове *свобода*, взятом в обычном смысле. Свободный человек — это человек, который не закован в кандалы, не заперт в тюрьме, не залуган, как раб, страхом наказания; в этом смысле свобода человека состоит в свободном пользовании своими способностями; я говорю — своими способностями, потому что было бы нелепостью назвать *нессвободой* то, что мы не способны полететь под облака, как орел, жить под водой, как кит, и сделаться королем, папой или императором.

Мы имеем, следовательно, ясное представление о слове *свобода*, взятом в обычном смысле. Не так обстоит дело, когда мы применяем слово *свобода* к воле. Что есть тогда свобода? Под этим словом можно было бы понимать только свободную возможность желать или не желать чего-либо; но такая возможность предполагала бы, что можно иметь беспричинные желания и, следовательно, следствие без причины. Выходило бы также, что мы могли бы равно желать себе добра и зла, предположение совершенно невозможное. В данном деле, если стремление к удовольствию есть начало всех ваших мыслей и поступков, если все люди стремятся беспрерывно к своему счастью, действительному или кажущемуся, то все проявления нашей воли суть лишь следствия этого стремления. Но всякое следствие необходимо. В этом смысле нельзя, следовательно, связывать точного представления со словом *свобода*. Но, скажут нам, если мы вынуждены стремиться к счастью всюду, где мы его видим, то, может быть, мы свободны в выборе средств, которые мы употребляем, чтобы доставить себе это счастье². Да, отвечу я, но *свободен* в этом случае означает то же, что синоним *просвещен*, и эти два понятия легко смешивают; в зависимости от того, знаком ли человек более или менее с судебной процедурой и с юридической наукой, руководит ли им более или менее умелый адвокат, — он изберет более или менее удачный способ действий; но, как бы он ни поступал, желание счастья заставит его всегда избрать чуть, наиболее соответствующий его интересам, вкусам, страстям, — всему тому, наконец, что он считает своим счастьем.

Как философски можно было бы объяснить вопрос о свободе? Если, как это доказал Локк, на нас влияют друзья, родные, наше чтение и даже предметы нас окружающие, то все мысли и желания должны быть непосредственным результатом или необходимым следствием полученных нами впечатлений.

Следовательно, невозможно составить идею слова *свобода* в применении к воле³; на нее надо смотреть, как на тайну, воскликать вместе с апостолом Павлом: *O, alteſudo!* призывать, что только теология может рассуждать о таком вопросе и что философский трактат о свободе был бы трактатом о следствиях без причин.

Мы видим, какие семена нескончаемых раздоров и бедствий часто заключает в себе незнание истинного значения слов, не говоря уже о крови, пролитой вследствие религиозных споров, основанных почти всегда на злоупотреблении словами, и вследствие порожденной этими спорами ненависти, и к каким только бедствиям не приводило это незнание и в какие заблуждения не подвергало оно народы!

Эти заблуждения более многочисленны, чем думают. Об одном швейцарце рассказывают следующее: ему была поручена охрана одних ворот Тюильри с запрещением впускать кого бы то ни было. Подходит один мещанин. «Входить нельзя», — говорит ему швейцарец. «Но я и не собираюсь входить», — отвечает мещанин, — я хочу лишь выйти из «Pont Royal». «О, если Вам нужно выйти», — говорит швейцарец, — можете пройти⁴. Кто бы этому поверил? Но эта басня — повторение истории римского парода. Цезарь появляется на площади, выражает желание короноваться здесь, и римляне, не связывавшие точных представлений с понятием о королевской власти, предоставляют ему под именем *Impetrator* — власть, которую они не соглашались за пим признать под именем *Rex*.

То, что я говорю о римлянах, может быть вообще применимо ко всем диванам и советам государей. Среди народов, так же как и среди монархов, нет ни одного, который не был бы когда-либо повержен в грубое заблуждение вследствие злоупотребления словами. Чтобы избежать этой западни, следовало бы, по совету Лейбница, составить философский язык, в котором было бы точно определено значение каждого слова. Люди могли бы тогда понимать друг друга и сообщать друг другу точно свои идеи; бесконечные споры, вызываемые злоупотреблением слов, прекратились бы, и люди во всех научных областях были бы скоро вынуждены признать одни и те же принципы.

Но выполнение такого полезного и желательного проекта, может быть, невозможно. Не философам, а нужде мы обязаны образованием языков; и пужду этого рода нетрудно удовлетворить.

Под влиянием нужды сперва были связаны несколько ложных представлений с некоторыми словами; затем стали комбинировать, сравнивать эти представления и эти слова между собой; каждое новое сочетание создавало новое заблуждение; эти заблуждения умножились и, умножаясь, так осложнились, что теперь было бы невозможно, не проделав колоссальной работы, проследить и от-

крыть их источники. С языком дело обстоит так же, как с алгебраическим вычислением: если сначала вкрадось несколько ошибок, которые остались незамеченными, и если продолжают вычислять, основываясь на этих первых вычислениях, то, переходя от положения к положению, приходят к выводам совершенно нелепым. Бесмысленность вывода сознается, но как найти место, где вкрадлась первая ошибка? Для этого было бы необходимо переделать и проверить большое число выкладок; к несчастью, имеется немного людей, которые могут это предпринять, еще меньше таких, которые захотели бы сделать это, особенно когда такая проверка не соответствует интересам власти имущих.

Я указал на истинные причины наших ложных суждений; я выяснил, что источником всех заблуждений ума являются или страсти или незнание некоторых фактов либо истинного значения некоторых слов. Заблуждение, следовательно, не есть непременное свойство человеческого ума. Наши ложные суждения являются следствием случайных причин, не предполагающих в нас существования способности суждения, отличной от способности ощущения; таким образом, заблуждение есть лишь случайность, отсюда следует, что все люди одарены в сущности правильным умом.

Признав эти положения верными, я могу теперь повторить беспрепятственно, что судить, как я уже доказал, есть, в сущности лишь ощущать⁵.

Общее заключение этого рассуждения сводится к тому, что ум может быть рассматриваем или как способность, производящая наши мысли, и в этом смысле ум есть лишь чувствительность и память; или ум может быть признан лишь следствием самих этих способностей, и в этом последнем значении он есть лишь совокупность мыслей и может подразделяться в каждом человеке на столько частей, сколько у человека идей.

Вот две точки зрения, с которых мы можем рассматривать ум сам по себе; исследуем теперь ум по отношению к обществу.

ПРИМЕЧАНИЕ К ГЛАВЕ IV

¹ Например, спор между Кларком и Лейбницем.

² Некоторые люди считают умственную нерешительность (*Suspension d'esprit*) доказательством свободы; они не понимают, что задержка в суждениях так же необходима, как стремительность; испытав вследствие торопливости какое-нибудь несчастье, мы, затем наученные неудачей и движимые любовью к себе, вынуждены быть нерешительными.

Точно так же ошибаются и относительно значения слова *размышление* (*délibération*): мы полагаем, что мы размышляем, когда нам, например, приходится выбирать между двумя удовольствиями, почти равными, однако мы принимаем тогда за размышление только медленность, с которой при двух почти равных грузах опускается та чашка весов, которая тяжелее.

³ «Свобода, — говорили стоики, — химера. Мы считаем себя свободными только потому, что не знаем мотивов, не умеем собрать все обстоятельства, заставляющие нас действовать так или иначе. Можно ли думать, что человек

действительно обладает способностью самоопределения? Не следует ли скорее предположить, что внешние предметы, скомбинированные на тысячу различных способов, побуждают и определяют его? Разве его воля есть какая-то неопределенная и независимая способность, действующая без выбора и по капризу? Она действует или в результате суждения, в результате акта разума, представляющего ей одну вещь более выгодной для ее интересов, чем всякая другая, или же независимо от этого акта, когда обстоятельства, в которых находится человек, заставляют его повернуться в определенную сторону, а он воображает, что делает это свободно, хотя он и не мог желать повернуться в другую» (*Histoire critique de la Philosophie*).

* Когда видишь канцлера в его длинной мантии, огромном парике и с важным видом, то ничего нет забавнее, говорит Монтескье, как вообразить того же канцлера, исполняющим супружеские обязанности; пожалуй не менее возбуждают смех озабоченный вид и важная серьезность, с которой некоторые визиры являются в совет, чтобы рассуждать и заключать наподобие того швейцарца: «О, если вы хотите только выйти, господин, то вы можете пройти». Поле для применения этого изречения так обширно, что можно довериться в этом отношении наблюдательности читателя и убедить его, что он всюду найдет людей, подобных швейцарцу-часовому.

Не могу удержаться, чтобы не привести еще один забавный случай в этом роде: ответ одного англичанина министру. Нет ничего смешнее, рассказывал один министр придворным, как манера держать себя в совете у некоторых негритянских племен; представьте себе комнату для заседаний, в которой стоят около дюжины огромных кувшинов, наполовину наполненных водой; в эту комнату направляется голыми, но с важным видом, с дюжины членов Совета; каждый прыгает в свой кувшин и погружается в воду по шею, и в этом положении они обсуждают и решают государственные дела. «Отчего же вы не смеетесь?» — обратился министр к стоявшему подле него вельможе. «Потому, что я наблюдаю ежедневно нечто еще более смешное». — «А что же?» — спросил посланник. — «Страну, в которой заседают в совете пустые кувшины».

* Нельзя сказать, что люди не имеют правильного ума, в том смысле, что они видят то, чего они не видят, но в том смысле, что они не видят, как они должны были бы видеть, если бы больше фиксировали свое внимание и если бы они приспособлялись хорошо видеть предметы, прежде чем высказываться о том, что они суть. Таким образом, судить — значит лишь видеть или чувствовать, что данный предмет не есть другой, или чувствовать, что данная вещь не имеет с другой вещью всех отношений, которые отыскиваются или предполагаются.

Р А С С У Ж Д Е Н И Е П

ОБ УМЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБЩЕСТВУ

ГЛАВА I

Общая идея

Наука есть лишь отложение в памяти или фактов, или чужих идей. Ум же, в отличие от науки, есть совокупность каких-либо новых идей.

Это определение ума верно; оно даже весьма поучительно для философа; но оно не может быть принято всеми: людям нужно определение, которое давало бы им возможность сравнивать различные умы между собой и судить об их силе и их обширности. А если бы было допущено определение, данное мною только что, как могли бы люди измерить обширность ума человека? Кто мог бы дать точный список идей данного человека? И как отличить в нем науку от ума?

Предположим, что я претендую на открытие какой-нибудь уже известной идеи; для того чтобы знать, заслуживаю ли я в этом отношении быть признанным вторым изобретателем, людям нужно было бы сперва знать, что я прочел, видел и слышал, а они не имеют ни желания, ни возможности это знать. Помимо этого, допуская невозможное предположение, что люди могли бы точно исчислить количество и род идей какого-нибудь человека, я утверждаю, что вследствие такого исчисления люди часто вынуждены были бы признать гениальными таких людей, которых они не считают возможным назвать даже умными: таковы вообще все художники.

Каким поверхностным ни казалось бы нам какое-либо искусство, оно, тем не менее, скрывает в себе бесконечное число комбинаций. Однажды Марсель, приложив ко лбу руку, с устремленным в одну точку взором, замер в позе глубокого размышления, восхликал при виде своей танцующей ученицы: «Как много кроется в мене!» Несомненно, что этот танцовщик видел в манере сгибать, поднимать и ставить ноги недоступное обыкновенному глазу¹ искусство, и его восхищение кажется пелепым лишь благодаря слишком большому значению, которое было придано маловажному делу. Но если искусство танца заключает в себе очень большое количество идей и сочетаний, то кто знает, не заключает ли искусство деклamationи талантливой артистки столько же идей, сколько употребляет государственный деятель для составления системы управления?

Кто возьмется отрицать, если заглянуть в наши старые романы, что в жестах, одеяниях и заученных речах умелой кокетки не заключается столько же комбинаций и идей, сколько требуется для построения какой-нибудь системы мира, и что — хотя и в очень различных областях — Лекуврер и Нипон де Лапикло не обладали умом, равным уму Аристотеля или Солона?

Я не берусь со всей строгостью доказывать истиность этого положения, но хочу лишь дать понять, что каким бы нелепым оно никазалось, нет, тем не менее, никого, кто бы мог точно решить эту задачу.

Мы слишком часто бываем обмануты недостаточностью наших знаний и видим границы какого-либо искусства там, где их ставит наше незнание; но, предположив, что в этом отношении можно было бы вывести людей из заблуждения, я утверждаю, что и просветив их, мы не изменили бы ничего в их способе суждения: они никогда не станут ценить какое-либо искусство в зависимости лишь от большего или меньшего числа комбинаций, необходимых для преисполнения в нем; во-первых, потому что исчисление этих комбинаций сделать невозможно; во-вторых, потому что люди должны рассматривать ум лишь с той точки зрения, с которой его важно знать, т. е. в его отношении к обществу. А с этой точки зрения ум, утверждаю я, есть лишь совокупность более или менее многочисленных идей, не только новых, но еще и интересных для людей, и что не столько с численностью и тонкостью, сколько с счастливым выбором идей связывают репутацию умного человека.

Действительно, если комбинации шахматной игры неисчислимы и если целью в ней усовершенствоваться, не усвоив большое их число, то отчего же люди не считают выдающихся шахматистов великими умами? Оттого, что их идеи не имеют значения для людей, ни как приятные, ни как поучительные, и, следовательно, нет никакого интереса их уважать, а интерес² управляет всеми нашими суждениями. Если люди всегда придавали мало значения заблуждениям, построение которых требует иногда больше соображения и ума, чем открытие истины, и если они уважают Локка больше, чем Мальбранша, это потому, что они сообразуют всегда свое уважение со своим интересом. И на каких других весах могли бы они взвесить достоинство человеческих идей! Отдельный человек судит о вещах и о лицах по приятным или неприятным впечатлениям, которые он получил от них. Общество есть лишь собрание отдельных лиц и, следовательно, в своих суждениях может руководствоваться только своим интересом.

Эта точка зрения, с которой я исследую ум, есть, я думаю, единственная, с которой его следует рассматривать. Это единственный способ оценить достоинство каждой идеи, установить с точностью неопределенность наших суждений относительно этого и открыть, наконец, причину удивительного разнообразия взглядов людей по вопросу об уме, — разнообразия, исключительно зависящего от различия страстей, идей, предрассудков, чувств, а следовательно, и интересов.

Было бы в самом деле страшно, если бы общий³ интерес, оценивавший различные поступки людей и давший им название добродетельных, порочных или дозволенных в зависимости от того, полезны, вредны или же безразличны они для общества, — было бы страшно, если бы этот самый интерес не явился критерием уважения или презрения, связанных с идеями людей.

Идеи, как и поступки, можно распределить по трем различным группам.

Идеи полезные: я беру это выражение в самом широком смысле и подразумеваю под этим словом всякую идею, способную поучить или позабавить.

Идеи вредные: те, которые производят на нас обратное действие.

Идеи безразличные: именно все те, которые, будучи недостаточно приятными сами по себе, или, став привычными, не производят на нас никакого впечатления. Существование таких идей кратковременно, и, они, так сказать, лишь на мгновение могут быть названы безразличными; их длительность или следование одной за другой, делающее их скучными, заставляет переносить их в группу идей вредных.

Чтобы дать понять, насколько этот способ рассматривать ум плодотворен, я буду применять установленные мною принципы последовательно к поступкам и идеям людей и докажу, что везде, во все времена — как в вопросах нравственности, так и в вопросах ума — суждения отдельных лиц были продиктованы личным интересом, а суждения целых народов — общим интересом и что таким образом всегда как у общества, так и у отдельных лиц, источником похвалы является любовь или благодарность, источником презрения — ненависть или месть.

Чтобы доказать эту истину и показать точное и постоянное сходство способов наших суждений о поступках и мыслях людей, я рассмотрю честность и ум в различных отношениях: во-первых, в отношении к отдельному лицу, во-вторых — к небольшому обществу, в-третьих — к целому народу, в-четвертых — к различным векам и различным странам, в-пятых — к целому миру; в моих изысканиях, опираясь всегда на опыт, я покажу, что с каждой из этих точек зрения интерес есть единственный способ оценки честности и ума.

ПРИМЕЧАНИЕ К ГЛАВЕ I

¹ Похожие и по привычным движениям этот танцор считал возможным узнавать характер человека. Однажды в его зале появился иностранец «Какой вы национальности?» — спросил его Марсель. «Я англичанин»... — «Вы англичанин? — возразил Марсель: — Вы хотите сказать, что вы уроженец острова, где граждане принимают участие в управлении и составляют часть правительства; нет, сударь, этот опущенный лоб, этот робкий взор, эта нерешительная походка раба и выдают титулованного раба какого-нибудь избирателя».

* В обычном употреблении смысл слова *интерес* суживается до значения: любовь к деньгам; просвещенный читатель поймет, что я беру это слово в более широком смысле и что я применяю его вообще ко всему, что может доставить нам удовольствие или избавить нас от страдания.

* Понятно, что я говорю здесь в качестве политика, а не в качестве теолога.

ГЛАВА II

О честности по отношению к отдельному лицу

В этой главе говорится не об истинной честности, т. е. честности с точки зрения общества, но лишь о честности, рассматриваемой по отношению к каждому отдельному лицу.

С этой точки зрения я говорю, что каждое частное лицо называет честностью в другом лице лишь привычку к полезным для него поступкам. Я говорю, *привычку*, потому что единичный честный поступок или одна удачная идея не доставят человеку репутации добродетельного или умного. Известно, что нет ни скрупула, который бы раз в жизни не оказался щедрым, ни человека щедрого, который раз в жизни не поступил бы, как скрупец, ни иегодая, не совершившего хоть одно доброе дело, ни дурака, не обмолвившегося остроумным словом, и, цаконец, нет человека, который, если объединить некоторые из совершенных им в жизни поступков, не оказался бы полным самых противоречивых добродетелей и пороков. Большая последовательность в поведении людей предполагает в них такое непрерывное внимание, на которое они неспособны; они отличаются друг от друга только большей или меньшей последовательностью. Человека безусловно последовательного не существует, и поэтому нет на земле человека совершенного ни в отношении порока, ни в отношении добродетели.

Итак, отдельный человек называет честностью привычку к полезным для него поступкам; я говорю, поступкам, потому что о намерениях мы не судим. И как могли бы мы судить о них? Поступок почти никогда не бывает следствием одного чувства; часто мы сами не знаем мотивов, которые нами движут. Вот состоятельный человек, снабдивший крупной суммой достойного уважения, но бедного человека; он, конечно, поступил хорошо, но продиктован ли этот поступок одним желанием осчастливить человека? Разве жалость, надежда на признательность, даже тицеславие — все эти разнообразные мотивы, взятые отдельно или вместе, не могли бы бессознательно побудить его к этому похвальному поступку? И если, по большей части, сам человек не знает мотивов своего благодеяния, как может их заметить общество? Следовательно, лишь по поступкам людей общество может судить об их добродетели.

Я согласен, что этот способ суждения тоже несовершенен. Предположим, например, что страсть к добродетели достигает в человеке двадцати градусов, по он влюблен; любовь к женщине достигает в нем тридцати градусов, а женщина эта желает сделать из него убийцу: при таком предположении этот человек, несомненно,

более близок к преступлению, чем тот, в котором всего десять градусов добродетели и всего пять градусов любви к этой дурной женщине. Отсюда я заключаю, что иногда из двух людей более честен в своих поступках тот, кто охвачен меньшей страстью к добродетели.

Поэтому все философы признают, что добродетель человека зависит в большей мере от окружающих его обстоятельств. Слишком часто бывает, что добродетельные люди уступают злополучному сплетению необычных обстоятельств. Тот, кто готов поручиться за свою добродетель при всяких обстоятельствах, попросту хвастун или глупец, которому доверять не следует.

Определив идею, которую я связываю со словом честность, с точки зрения отдельного лица, я должен, чтобы удостовериться в справедливости этого определения, прибегнуть к наблюдению; оно нам покажет, что есть люди, которым счастливые природные данные, горячее стремление к славе и уважению внушают такую же любовь к справедливости и добродетели, какую обыкновенно люди питают к величию и богатству. Такие добродетельные люди считают полезными для себя те поступки, которые справедливы и согласны с общим благом, или, по крайней мере, ему не противоречат.

Таких людей так мало, что я упоминаю о них лишь ради чести человечества. Самый многочисленный род людей, составляющий сам по себе почти все человечество, это люди, занятые исключительно своими интересами и никогда не думавшие об общем интересе. Сосредоточенные, так сказать, на собственном благополучии¹, эти люди называют честными лишь те поступки, которые лично им полезны. Судья оправдывает преступника, министр осыпает почестями недостойного подданного: и тот и другой неизменно справедливы в глазах покровительствуемых ими лиц; но пусть судья осудит, а министр откажет: они всегда окажутся несправедливыми в глазах преступника и человека, лишеннего милостей.

Если монахи, которым было поручено описывать жизнь наших королей первой династии, описали жизнь своих благодетелей, и если они другие царствования отмечали лишь словами *nihil fecit* и называли «trois fainéants» весьма достойных уважения государей, то это означает лишь, что и монах-человек, и что всякий человек судит согласно со своим интересом.

Христиане, справедливо называвшие варварством и преступлением жестокость, которую язычники проявляли по отношению к ним, не назвали ли рвением жестокость, которую они, в свою очередь, проявляли по отношению к тем же язычникам? Присматривалась к людям, нельзя не заметить, что нет преступления, которое не возводилось бы в разряд достойных поступков обществами, которым это преступление было полезно, как нет и полезного для людей поступка, который не был бы осужден каким-либо отдельным обществом, которому этот поступок был невыгоден.

Действительно, всякий, кто захочет пожертвовать гордым сознанием своей исключительной добродетели гордому сознанию своей

исключительной правдивости и заглянет с тщательным вниманием во все изгибы своей души, тот убедится, что своими пороками и добродетелями люди обязаны исключительно различным видоизменениям, которым подвергается личный интерес²; что все люди движимы одной и той же силой; что все равно стремятся к счастью; что разнообразие страстей и влечений, из которых одни соответствуют, другие противоречат общественному благу, определяет наши добродетели и наши пороки. Вместо того чтобы презирать порочного человека, следует его пожалеть, поздравить себя с более счастливыми природными данными, возблагодарить небо, не давшее нам влечений и страстей, которые заставили бы нас искать счастья в несчастьи других людей. Действительно всякий, в сущности, всегда стремится к своей выгоде; здесь лежит причина несправедливости всех наших суждений и наименования одного и того же поступка справедливым или несправедливым, в зависимости от выгоды или невыгоды, которую каждый из него извлекает.

Если физический мир подчинен закону движения, то мир духовный не менее подчинен закону интереса. На земле интерес есть, всесильный волшебник, изменяющий в глазах всех существ вид всякого предмета. Не является ли мирный ягненок, пасущийся на поле, предметом страха и ужаса для незаметных насекомых, живущих в травяных былинках? «Бежим, — говорят они, — от этого кровожадного и жестокого зверя, этого чудовища, в пасти которого гибнем мы и наши поселения. Отчего он не подражает тигру или льву? Эти благодетельные животные не разрушают наших жилищ; они не питаются нашей кровью; справедливые мстители за преступления, они наказывают ягненка за жестокость, которую тот проявляет к нам». Вот как различные интересы видоизменяют предметы: лев в наших глазах — жестокое животное, в глазах насекомого таков ягненок. К духовному миру можно поэтому применить то, что Лейбниц сказал о мире физическом: этот непрестанно движущийся мир представляет в каждое мгновение для каждого из своих обитателей новый, отличный от прежнего, феномен.

Этот принцип так согласен с опытом, что, не входя в дальнейшее исследование, я считаю себя вправе заключить, что личный интерес есть единственная и всеобщая мера достоинства человеческих поступков и что честность с точки зрения отдельного лица, согласно с моим определением, есть лишь привычка поступать так, как выгодно этому лицу.

ПРИМЕЧАНИЕ К ГЛАВЕ II

¹ Наша ненависть или наша любовь суть следствия добра или зла, которое нам делают. «В диком состоянии, — говорит Гоббс, — нет злых людей, кроме людей сильных; а среди цивилизованных обществ нет злых людей, кроме людей пользующихся влиянием». Сильный в обоих этих смыслах не злее слабого; Гоббс это знал, но он знал также, что называют злым только того, чья злоба страшна. Над гневом и ударами ребенка смеются; он часто кажется

от этого только милее; раздражаются лишь против сильного; его удары причиняют боль, и его называют грубым.

² Гуманный человек — это человек, для которого вид чужого несчастья невыносим и который, чтобы избавить себя от этого зрелища, так сказать вынужден помочь несчастному. Напротив, безжалостный человек — это человек, для которого вид чужого несчастья приятен: для того чтобы продлить приятное зрелище, он отказывает несчастным в помощи. Но оба эти столь различных человека стремятся к собственному удовольствию, и их приводят в движение один и тот же мотив. Однако, — скажут, — если все делается для себя, то мы не обязаны быть благодарными своим благодетелям? Во всяком случае, — отвечу я, — благодетель не имеет права этого требовать: иначе что был бы договор, а не дар с его стороны. «Германцы, — говорит Тацит, — дают и берут подарки, не требуя и не выражая никаких знаков благодарности». Для блага несчастных и для того чтобы увеличить число благотворителей, общество резонно обязывает пользующихся благодеянием быть благодарными.

ГЛАВА III

Об уме по отношению к отдельному лицу

Применим теперь к идеям принципы, которые я только что приложил к поступкам, и мы будем вынуждены признать, что каждый отдельный человек называет умом привычку к идеям, которые ему полезны или как поучительные, или как приятные; и что и в этом отношении личный интерес есть единственный критерий достоинства человека.

Всякая предъявленная нам идея имеет всегда некоторое отношение к состоянию, в котором мы находимся, к нашим страстям и нашим мнениям. И во всех этих различных случаях мы ценим более всего ту идею, которую считаем для себя наиболее полезной. Моряк, врач и инженер отнесутся с большим уважением к корабельному инженеру, ботанику или механику, чем относятся к этим самым людям книгопродавец, золотых дел мастер или каменщик, которые, конечно, отдадут предпочтение романисту, рисовальщику и архитектору.

Если дело будет касаться идей, находящихся в противоречии с нашими страстями или влечениями, или, напротив, содействующими им, то самыми достойными в наших глазах, без сомнения, будут идеи, способные более всего потворствовать этим самым страстям или влечениям¹. Чувствительной женщине будет более по вкусу роман, чем книга по метафизике; человек, подобный Карлу XII, предпочтет историю Александра всякой другой книге; скучец найдет, разумеется, умными лишь те книги, которые укажут ему способ поместить деньги с наибольшей выгодой.

Относительно мнений приходится сказать то же, что и о страстиах: мы уважаем те идеи, которые мы заинтересованы уважать; замечу, что в этом последнем отношении люди могут быть движимы двумя видами интереса.

Есть люди, одушевленные благородной и просвещенной гордостью, любящие истину, убежденные без упрямства; они сохраняют свой ум в состоянии беспристрастия, оставляющем свободный доступ новым истинам: к таким людям принадлежат некоторые философские умы и люди, слишком юные, чтобы иметь выработанные взгляды и стыдиться их менять; эти два рода людей будут всегда уважать в других верные и ясные идеи, способные удовлетворить их страсть к истине, вызванную в них просвещенной гордостью.

Есть другие люди, и к ним принадлежат почти все одушевленные менее благородным тщеславием; эти могут уважать в других лишь идеи, согласные с их собственными² и оправдывающие свойственное им всем высокое мнение о правильности своих суждений. От этого согласия идей зависит их ненависть или их любовь. Этим объясняется верный и быстрый инстинкт, свойственный почти всем посредственным людям, позволяющий им распознавать и избегать людей достойных³; этим объясняется и непреодолимое влечение друг к другу людей умных, — влечение, заставляющее их сближаться, несмотря на опасность, которую они часто друг для друга представляют благодаря общему их стремлению к славе; этим объясняется и верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и друзей; действительно, у дурака всегда глупые друзья: всякий дружеский союз, если он не основан на соображениях приличия, на любви, покровительстве, склонности, честолюбии или каком-либо другом подобном побуждении, — предполагает всегда у двух людей какое-нибудь средство идей или чувств. Это-то и сближает людей весьма различного положения⁴; поэтому же Августы, Меценаты, Сципионы, Юлии, Ришелье, Конде жили в дружбе с умными людьми, и это же создало пословицу, распространенность которой доказывает ее правильность: *скажи мне, с кем ты близок, я скажу тебе, кто ты.*

Сходство или соответствие идей и взглядов должно, следовательно, быть признано притягивающей или отталкивающей силой, которая отдаляет или сближает людей между собой⁵. Предположим, что некий философ, не просвещенный светом откровения и руководствующийся лишь светом разума, очутился в Константинополе; если этот философ будет отрицать миссию Магомета, видения и мнимые чудеса этого пророка, то можно ли сомневаться в том, что так называемые добрые мусульмане станут избегать этого философа, будут смотреть на него с ужасом и признают его безумным, нечестивым и, может быть, даже бесчестным человеком? Напрасно стал бы он говорить, что в такой религии бессмысленно человеку верить в чудеса, свидетелем которых он не был, и что если всегда более вероятна ложь, чем чудо⁶, то верить в последнее с слишком большой легкостью — значит верить менее в бога, чем в обманщиков; напрасно стал бы он доказывать, что если бы бог пожелал возвестить призвание Магомета, то он не совершил бы этих чудес, нелепых в глазах мало-мальски здравомыслящего человека; какие бы доводы в пользу своего неверия ни приводил этот философ, он не приобрел бы никогда репутации мудрого и добро-

дательного человека у этих добрых мусульман, если бы не оказался достаточно глупым, чтобы поверить бессмысленным вещам или достаточно лживым, чтобы прикинуться верящим в них. Словом люди судят о чужих мнениях лишь по соответству их с их собственными. Поэтому глупца можно убедить лишь глупыми доводами.

Если дикарь Капады предпочитает нас всем другим народам Европы, то потому, что мы более других снисходим к его нравам и образу жизни; именно этой снисходительности мы обязаны великолепной любезностью, которую они думают оказать французу, когда говорят: «*Это такой же человек, как я*».

Итак, что касается правов, взглядов и идей, то в других всегда ценят, повидимому, лишь самого себя; вот почему Цезари, Александр и вообще все великие люди всегда имели в своем распоряжении других великих людей. Какой-нибудь выдающийся государь получает державу; как только он всходит на престол, все места оказываются занятymi талантливыми людьми; государь не создал их; казалось, он выбирал их случайно; но так как он невольно уважает и возвышает лишь людей, ум которых сходен с его умом, он, таким образом, вынужден всегда выбирать удачно. Если, на-против, государь не умен, то вынужденный этой самой причиной приближать к себе людей, похожих на него самого, он почти всегда, по необходимости, выбирает неудачно. Благодаря ряду таких государей самые ответственные должности переходили от дурака к дураку в течение нескольких веков. Поэтому народ, который не может лично знать своих государей, судит о них по способностям людей, которых они к себе приближают, и по тому уважению, которое они оказывают выдающимся людям: *«При глупом монархе, — говорила королева Христина, — весь его двор или глуп, или становится глупым»*.

Но, — скажут мне, — случается, что люди восхищаются в других идеями, которые никогда не пришли бы им на ум и которые притом не имеют ничего сходного с их собственными. Об одном кардинале известно следующее: после избрания папы он подошел к святому отцу и сказал: *«Итак, вы избраны в папы; вы в последний раз услышите правду; всеобщие знаки уважения обольстят вас, и вы станете считать себя великим человеком. Помните, что до возведения в папы вы были лишь невеждой и упрямцем. Прощайте, я стану вам поклоняться»*. Немногие придворные, без сомнения, одарены умом и смелостью, необходимыми, чтобы сказать такую речь; большую частью они походят на те народы, которые то поклоняются своим идолам, то бичуют их и втайне радуются унижению господина, которому они подчинены. Месть внушает им хвалить подобные вещи, а месть есть интерес. Кто не охвачен такого рода интересом, уважает и даже замечает лишь идеи, сходные с его собственными, а волшебная палочка, способная открывать зарождающееся, еще не известное дарование, ис находится ли и не должна ли находиться лишь в руках людей умных, потому что лишь генильщик может угадать достоинства неотшлифованного алмаза и только ум чувствует ум? Только глаз Тюренна мог в молодом Черчиле угадать знаменитого Мальборо.

Всякая идея, чуждая нашему способу видеть и чувствовать, кажется нам всегда нелепой. Один и тот же проект, который, несмотря на грандиозность и смелость, покажется вполне выполнимым способному министру, министром посредственным будет сочтён безумным и бессмыслицей; и этот проект, — употребляю обычное среди глупцов выражение, — будет отослан в республику Платона. Вот причина, почему в некоторых странах, где умы, запуганные предрассудками, ленивы и неспособны к великим начинаниям, люди думают, что они выставляют человека в очень смешном виде, когда говорят о нем: «Это человек, желающий преобразовать государство». А между тем бедность, уменьшение народонаселения в этих странах и, следовательно, необходимость реформы делают смешными в глазах иностранцев самих насмешников. С этими людьми дело обстоит так же, как с глупыми шутниками⁷, которые думают унизить человека, когда говорят о нем с глуповато-хитрым видом: «Это римлянин, это умный человек». Эта насмешка, если раскрыть ее истинный смысл, указывает лишь, что этот человек не похож на них, т. с., что он не глуп и не негодяй. Как часто приходится внимательному человеку слышать среди разговоров такие глупые восклицания и нелепые фразы, которые, если бы раскрыть их настояще значение, очень удивили бы тех, кто их произносит! Поэтому человек выдающийся должен оставаться равнодушным и куважению и к презрению отдельных лиц, похвалы или порицания которых ничего не означают, кроме разве того, что они думают или не думают, так же, как он. Я мог бы привести еще множество других фактов, показывающих, что мы всегда уважаем лишь идеи, сходные с нашими; но чтобы доказать эту истину, надо подтвердить ее доводами теоретического характера.

ПРИМЕЧАНИЕ К ГЛАВЕ III

¹ Желая подшутить над одной очень болтливой, но впрочем, очень умной женщиной, ей представили человека, о котором ей сообщили, что он очень умен. Дама эта приняла его очень любезно; желая поскорее ему понравиться, она начала говорить, задала ему сотню различных вопросов, не замечая, что тот ничего не отвечает. Когда визит был кончен, ее спросили: «Довольны ли вы вашим новым знакомым?» — «Как он очарователен, — ответила она, — как умен!» При этом восклицании все разразились смехом: этот необычайно умный человек был немой.

² Все ограниченные люди стремятся постоянно опозорить людей основательного и широкого ума. Они обвиняют их в том, что те слишком утонченно и отвлеченно мыслят. «Мы никогда не признаем, — говорит Юм, — верным то, что ускользает от нашего слабого понимания». «Различие, — прибавляет этот знаменитый философ, — между обыкновенным человеком и гением состоит главным образом в большей или меньшей глубине принципов, на которых он основывает свои идеи: у большей части людей всякое суждение основано на частном случае; их ум не может охватить положений всеобщего значения; всякая общая идея для них темна».

³ Если бы глупцы имели возможность, они охотно изгнали бы умных людей из своего общества и повторили бы вместе с жителями Эфеса: «Если кто-нибудь среди нас превосходит нас, пусть он идет превосходить в другое место».

⁴ Вельможи при дворе тем более любезны с умными людьми, чем больше ума в них самих.

⁵ Мало таких людей, которые, если бы имели возможность, не прибегли бы к пыткам, чтобы заставить признать свои взгляды. Не видели ли мы и в наши дни безумных и настолько нетерпимых в своей гордыне людей, что они требовали от судей жестокого наказания для писателя, который был иного мнения, чем они, так как предпочитал итальянскую музыку французской? Если обыкновенно доходят до крайностей лишь в спорах религиозного характера то это потому, что другого рода споры не дают ни таких поводов, ни таких средств для проявления жесткости. Только бессилию обязаны мы обыкновенно своей сдержанностью. Человек гуманный и сдержанный — очень редкий человек. Если он встретит человека другой религии, он скажет: это человек, который в этих вопросах придерживается взглядов, отличных от моих, — зачем стану я его преследовать? Евангелие никогда не предписывает применять пытки и тюрьмы для обращения людей. Истинная религия никогда не возводила эшафотов; только ее служители, чтобы удовлетворить свою гордость, оскорбленную противоречащими им взглядами, возбуждали против них глупую доверчивость народов и государей. Немного людей заслужили похвалу, высказавшую египетскими жрецами о царице Нефте в «Сетосе». «Она никогда не возбуждала вражды, раздражения, преследования, нашептываемых плохо понятой набожностью, — говорят они; — она извлекала из религии только правила кротости; она никогда не могла поверить, что можно мучить людей во славу богов».

⁶ Как не заподозрить свидетеля чуда в такого рода религии? «Необходимо, — говорит Фонтенель, — быть очень осторожным, чтобы уметь рассказать о факте, свидетелем которого мы были, точь-в-точь так, как мы его видели, т. е. ничего не прибавляя и не убавляя; поэтому человек, уверяющий, что он в этом отношении никогда не уличал себя в неправде, лжет».

⁷ Болгары буржуа с насмешкой указывают на то, что умный человек часто торчит у порога богатого, богатый же — никогда у порога умного. «Это потому, — говорит поэт Саади, — что умный человек знает цену богатству, богатый же не знает цены ума». К тому же, как может богатство уважать науку? Ученый может понимать невежду, потому что он сам был таковым в детстве; невежда же не может понимать ученого, ибо никогда таковым не был.

ГЛАВА IV

О том, что мы необходимо должны уважать в других только себя самих

К этому нас принуждают две одинаково могущественные причины: тщеславие и леность. Я говорю, тщеславие, потому что стремление к уважению свойственно всем людям; это не исключает того, что некоторые из них связывают с желанием вызывать восхи-

щению презрение к нему и ставят это себе в заслугу; но это презрение неискренне, и поклонник никогда не кажется глупым в глазах того, кому он поклоняется; поэтому, если все люди жаждут уважения и если всякий знает из опыта, что его идеи покажутся другому заслуживающими уважения или презрения постольку, поскольку они согласны с его взглядами или же противоречат им, то каждый человек, движимый тщеславием, невольно уважает в других согласие с своими взглядами, которое гарантирует ему их уважение, и ненавидит в них противоречие своим взглядам, как верное ручательство того, что они к нему чувствуют ненависть или, по крайней мере, презрение, которое следует рассматривать как смягченную форму ненависти.

Но если даже допустить, что человек принес свое тщеславие в жертву любви к истине, то все же я утверждаю, что если этот человек не будет движим сильным стремлением к знанию, склонность позволит ему испытывать к взглядам, противоположным его взглядам, только уважение на-слово. Чтобы объяснить, что я понимаю под *уважением на-слово*, укажу на два вида уважения.

Один вид можно рассматривать как следствие почтения к общественному мнению¹ или же доверия к суждениям некоторых лиц; это я и называю *уважением на-слово*. Таково уважение некоторых людей к весьма посредственным романам, обусловливаемое единственно тем, что они считают авторов их знаменитыми писателями. Таково же преклонение перед Декартами и Ньютонаами, причем у большинства людей это преклонение тем восторженнее, чем оно менее сознательно; оно проистекает или из того, что, составив себе смутную идею о заслугах этих великих гениев, их поклонники уважают в этой идеи работу своего воображения, или из того, что, ставя себя судьями заслуг такого человека, как Ньютоны, они думают, что тем самым приобщаются к расточающим ему похвалам. Этот вид уважения, которое мы весьма часто практикуем вследствие нашего невежества, в силу этого наиболее распространен. Самостоятельное суждение встречается весьма редко.

Второй вид уважения, не зависящий от взглядов других, возникает исключительно из впечатления, которое производят на нас известные идеи; поэтому я называю его *сознательным уважением*; это единственное истинное уважение, и о нем-то и идет здесь речь. Чтобы доказать, что леность позволяет нам оказывать этот род уважения только идеям, сходным с нашими, достаточно указать на то, что, как убедительно доказывает пример геометрии, мы достигаем знания неизвестных нам идей только путем аналогии и скрытой связи, существующей между нами и уже известными нам идеями, и что, только, следуя за прогрессивным развитием этих аналогий, мы достигаем завершения науки. Отсюда следует, что идеи, не имеющие никакой аналогии с нашими, являются для нас идеями непонятными. Но, — возразят мне, — не существует никаких идей, которые не имели бы необходимо какой-либо связи между собой; без этой связи они остались бы никому не известными. Согласен, но эта связь может быть цепосредственной или отда-

лениной; когда она непосредственна, то слабое стремление к знаниям, своеобразное всякому человеку, делает его способным привлечь внимание, необходимое для понимания этих идей. Но если эта связь отдаленная, как это случается почти всегда, когда дело касается взглядов, явившихся в результате большого числа различных идей и чувств, тогда, очевидно, надо быть одушевленным горячим стремлением к просвещению и находиться в положении, способствующем удовлетворению этого желания, для того чтобы лепость позволила нам составить себе и, следовательно, почувствовать *сознательное уважение* к взглядам, противоположным нашим.

Молодой человек, кидающийся во все стороны, чтобы добиться славы, бывает охвачен энтузиазмом при имени людей, прославившихся в той или иной области. Если он, наконец, остановился на предмете своих занятий и своего честолюбия, то он с этих пор испытывает сознательное уважение лишь к тем, в ком он видит образец для себя, отдавая лишь дань уважения на слово к тем, кто избрал иное, чем он поприще. Ум — это звучащая лишь в устах струна.

У немногих людей есть достаточно свободного времени для получения образования. Бедняк, например, не имеет возможности ни размышлять, ни исследовать, и истины и заблуждения он получает готовыми; поглощенный ежедневным трудом, он не может подняться в сферу известных идей, поэтому он предпочитает «Голубую библиотеку» произведениям Сеп-Реаля, Лароффуко и кардинала Реща.

Поэтому-то в дни народных праздников, когда вход в театры бывает даровым, актеры, имея в виду особого рода публику, ставят охотнее «Дом Яфета» и «Пурсоньяка», чем «Гераклия» и «Мизантропа». То, что мною сказано о простом народе, может быть распространено на все классы людей. Светские люди бывают рассеяны вследствие множества дел и развлечений, к тому же философские книги так же мало говорят их уму, как «Мизантроп» — уму простого народа. Поэтому они чтение романа обыкновенно предпочитают чтению Локка. Этим же принципом сходства можно объяснить, почему некоторые ученые, и даже люди просто умные, отдавали предпочтение авторам менее известным. Почему Малерб предпочитал Стиля всем другим поэтам. Почему Гейнзиус² и Корнель ставили Луканца выше Вергилия. Почему Адриан красноречие Катона предпочитал красноречию Цицерона. Почему Скалигер³ считал Гомера и Горация много ниже Вергилия и Ювенала. Все потому, что большая или меньшая степень уважения, питаемая к автору, зависит от большего или меньшего сходства его идей с идеями читателя.

Если поручить десяти умным людям, каждому независимо, отметить в произведении еще не напечатанном и, следовательно, относительно которого еще не составлено никаких предубеждений, то места, которые произвели на них самое сильное впечатление, то и убежден, что каждый из них укажет на различные места и что

затем, если сравнить одобренные места с умом и характером одобравшего их, то увидим, что каждый похвалил то, что сходно с его способом видеть и понимать вещи и что ум, если можно так выражаться, есть струна, звучащая только в унисон.

Уже если ученый аббат де Лопгрю говорил, что он ничего не запомнил из произведений блаженного Августина, кроме того, что Троянский конь был военным орудием, а один известный адвокат находил в романе «Клеопатра» интересным тольконичтожные подробности о браке Элизы и Артабана, — то приходится признать, что единственная в этом отношении разница между учеными или умными людьми и людьми обыкновенными состоит в том, что для первых сфера аналогий обширнее, вследствие того что они облашают большим числом идей. Когда умному человеку приходится иметь дело с видом ума, сильно отличающимся от его ума, то он, подобно всем другим людям, уважает в нем только те идеи, которые сходны с его идеями. Если пригласить Ньютона, Кино и Маккиавели и познакомить их друг с другом, не называя их по имени, — ибо это дало бы им возможность почувствовать друг к другу тот род уважения, который я называю уважением на-слово, — то, несомненно, после того как они тщетно попытаются внушить свои идеи друг другу, Кино покажется Ньютону несносным стихоплетом, Ньютона сочтет Кино за составителя альманахов, и оба примут Маккиавели за политика из Пале-Рояля, а все трое мысленно назовут своих собеседников ограниченными умами и отплатят друг другу за доставленную скуку взаимным презрением.

Словом, если выдающиеся люди, всецело погруженные в свой род занятий, не могут испытывать *сознательного уважения* к уму, слишком от них отличному, то всякий автор, преподносящий публике новые идеи, может рассчитывать на уважение со стороны только двух категорий людей: или молодежи, которая еще не со-ставила себе определенных взглядов и имеет желание и время для получения образования, или тех людей, ум которых, стремящийся к истине и близкий уму автора, уже предчувствовал существование идей, высказанных автором. Но число этих людей всегда пезна-чительно. Вот почему так медленно прогрессирует человеческий ум и каждая истина требует много времени, чтобы открыться взору всех.

Из только что сказанного следует, что большинство людей, подчиняясь лени, воспринимает только идеи, сходные с их собственными, и испытывает *сознательное уважение* только к такого рода идеям; этим объясняется высокое мнение, которое каждый принужден, так сказать, иметь о себе самом, — мнение, которое моралисты, может быть, и не приписали бы гордости, если бы имели более глубокое знание об установленных здесь принципах. Тогда они поняли бы, что святое уважение и глубокое восхищение, ко-торым в уединении человек иногда пропитается к самому себе, есть только результат испытываемой нами необходимости уважать себя преимущественно перед другими.

Как можно не быть о себе высокого мнения! Нет человека, который не изменил бы своих взглядов, считая их ложными. Значит, каждый полагает, что он мыслит правильно и, следовательно, гораздо лучше тех, чьи идеи противоречат его идеям. А так как нет двух людей, идеи которых были бы совершенно одинаковы, то каждый в отдельности необходимо должен считать, что он размышляет лучше всех других⁴. Герцогиня де Лаферте сказала однажды мадам де Сталь: «*Признаюсь, дорогой друг, я нахожусь, что только я одна всегда права*»⁵. Послушаем талантана, бонзу, брамина, гебра, грека, имама, марабута, когда каждый из них проповедует народу свою религию не говорят ли они, подобно герцогине де Лаферте: «*Люди, уверяю вас: только я один всегда прав*». Словом, всякий считает себя умственно выше других, и глупцы в этом отношении не уступают другим людям⁶; это и дало повод к сказке о четырех купцах, которые привезли на рынок, на продажу, красоту, знатность, сан и ум и которые распродали весь товар, за исключением последнего купца, уехавшего даже без почина.

Но, — возразят нам, — встречаются люди, которые признают других умнее себя. Да, — отвечу я, — есть люди, которые в этом признаются, и это признание указывает на их благородство; однако к тем, которых они признают выше себя, они питают лишь *уважение на-слово*, они только отдают общественному мнению предпочтение перед своим собственным и соглашаются, что данные лица более уважаемы, но они не имеют внутреннего убеждения, что они более заслуживают уважения⁷.

Светский человек охотно согласится с тем, что в математике он стоит ниже Фонтена, Даламбера, Клеро, Эйлера, что в поэзии он уступает Мольеру, Расину, Вольтеру, — но я утверждаю, что в то же время этот человек будет придавать тем меньшее значение определенному роду занятий, чем больше он будет находить в нем людей, превосходящих его; что, кроме того, он постарается утешить себя за превосходство, которое он признал за указанными лицами, или мыслью о ничтожестве искусств и наук, или мыслью о разнообразии своих познаний, о своем здравом смысле, о своем знании света или о каком-нибудь ином преимуществе в том же роде, и что, взвесив все, он найдет себя не менее достойным уважения, чем кого бы то ни было⁸.

Но, — возразят мне, — можно ли представить себе, чтобы человек, занимающий, например, маленькую судейскую должность, счел себя равным по уму Корнелю? Конечно, — отвечу я, — он никого не сделает в этом вопросе своим поверенным; однако, если путем тщательного исследования мы откроем, как много чувства гордости мы испытываем ежедневно, сами того не замечая, и сколько мы должны услышать похвал, для того чтобы мы осмелились сознаться самим себе и другим, какое глубокое уважение мы чувствуем к своему уму, — то придется признать, что молчание гордости не доказывает отсутствия гордости. Стало бы продолжать приведенный выше пример и предположим, что при выходе из театра случайно встретились три адвоката и начали говорить

о Корнеле; возможно, что все трое разом будут утверждать, что Корнель — величайший гений, однако, если, желая избавиться от несносного тяжелого чувства уважения к кому-нибудь, один из них прибавит, что хотя Корнель действительно великий человек, но его жанр легкомыслен, то уж наверно, если судить по презрению, которое некоторые люди питают к поэзии, два других адвоката присоединятся к его мнению; далее, становясь все откровеннее и откровеннее, они начнут сравнивать юриспруденцию с поэзией. В процессе судопроизводства, — скажет второй, — имеются свои хитрости, тонкости и комбинации, как и во всяком ином искусстве. Действительно, — ответит третий, — это самое трудное искусство. А так как весьма вероятно, что в этом трудном искусстве каждый из этих адвокатов считает себя самым искусным, то результат этого разговора будет тот, что каждый из них будет считать себя не менее умным, чем Корнель, хотя они и умолчат об этом. Наше тщеславие и особенно наше невежество до такой степени призывают нас уважать самих себя больше, чем кого-либо, что во всяком искусстве самым великим человеком является для всякого артиста тот, кого он считает первым после себя⁹. Во времена Фемистокла гордость отличалась от современной нам гордости только тем, что она была наивнее, и когда после Саламинского сражения все военачальники должны были указать в записках, взятых с жертвенника Нептуна, имена тех, кто больше всех способствовал одержанию победы, то каждый из них, оставив первое место за собой, указал, как на второго после себя, на Фемистокла; народ же присудил первую награду тому, кого каждый из начальников счел самым достойным после себя.

Итак, не подлежит сомнению, что каждый человек имеет необходимым образом самое высокое мнение о себе, и поэтому в других мы уважаем только наш образ и сходство с нами.

Из всего сказанного мною об уме, рассмотренном с точки зрения отдельного лица, я делаю следующее заключение: ум есть собрание идей, интересных для этого отдельного лица или потому, что они поучительны, или потому, что они приятны; откуда следует, что личный интерес есть, в этом случае, единственный критерий достоинства человека, что и требовалось доказать.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ IV

¹ Лафонтен чувствовал только такого рода уважение к философии Платона. Фонтенель рассказывает по этому поводу, что однажды Лафонтен ему сказал: «Сознайтесь, что Платон был великий философ...» — «Но считаете ли вы его идеи вполне ясными?» — возразил Фонтенель. «О, нет, он непроницаемо темен...» — «Не находите ли вы, что он сам себе противоречит?» — «Да, действительно, — отвечал Лафонтен, — он настоящий софист». Затем, забыв только что сделанное признание, продолжал: «Платон так хорошо размещает своих действующих лиц! Сократ был в Нире, когда Аликивиад с венком на голове... О, этот Платон был великий философ!»

² «Лукан, — говорил Гейнзинус, — по сравнению с другими поэтами — то же, что прекрасная и гордо ржущая лошадь, по сравнению со стадом ослов, гиусный прик которых выдает их склонность к рабству».

³ Скалигер говорит о семнадцатой оде IV книги Горация, что она отвратительна. Гейнзинус же находит ее лучшим произведением древней литературы.

⁴ Опыт показывает нам, что человек считает заблуждающимся всякого человека и плохой всякую книгу, которые расходятся с его взглядами, и всякий охотно заставил бы замолчать этого человека и уничтожил бы эту книгу.

Неразумные ортодоксы давали иногда еретикам в руки этот козырь против себя. Если в процессе, — говорят эти последние, — одна из сторон запрещала бы другой печатать для защиты своего дела изложение обстоятельств его, то не указывало ли бы это насилие одной из сторон на неправоту ее дела?

⁵ См. «Мемуары г-жи де Сталь».

⁶ Как самоуверены, — говорят непосредственные люди, — те, кого называют умными людьми. Не воображают ли они себя значительно выше других людей? Но ведь и олень, — ответим мы, — хвалящийся тем, что он бегает быстрее всех оленей, может быть назван тщеславным; однако он может говорить, не греша против скромности, что он бегает быстрее черепахи. Вы и есть черепахи; вы ничего не читали и ни над чем не размышляли, — как же можете вы быть так же умны, как человек, много потрудившийся для приобретения знаний? Вы обвиняете его в самоуверенности; но ведь это вы хотите считать себя равным ему, не проявляя ни знания, ни размышлений. Скажите же, кто из вас двух более самоуверен?

⁷ Фонтенель охотно признал бы на словах, что Корнель гениальнее его как поэт, но это не было бы делом внутреннего убеждения его. Для доказательства предположим, что мы попросили бы этого самого Фонтенеля сообщить нам, что он считает совершенством в поэзии; он, наверное, указал бы на те же тонкие правила, которые он сам соблюдал так же хорошо, как Корнель; следовательно, внутренне он считал бы себя таким же великим поэтом, как всякий другой, а следовательно, признавая себя ниже Корнеля, он приносил бы только свое чувство в жертву общественному мнению. Мало кто имеет мужество признаться, что разновидность уважения, которое я называю *сознательным*, он питает больше всего к себе; но, независимо от того, признаются ли люди в этом чувстве или отрицают его, оно в них существует.

⁸ Люди хвалят всем: одни хвалятся тупоумием, называя это рассудительностью, другие — своей красотой; некоторые хвалят своим богатством, приписывая эти случайные блага своему уму и своей осторожности; женщина, проверяющая по вечерам счета своего повара, считает себя заслуживающей такого же уважения, как и ученый; даже издатель книг *in folio* презирает издателя романов и считает себя настолько же выше его, насколько масса *in folio* больше массы *брююри*.

⁹ Никакое искусство, никакой талант не заслуживает предпочтения перед другим искусством или талантом, если они не оказываются в действительности более полезными либо для того чтобы развлекать, либо для того чтобы наставлять людей. Проводимые насчет них в свете сравнения и расточаемые им исключительные похвалы никогда не приводят к предпочтению, которого желали бы добиться, для них, ибо те, с кем о них говорят и спорят, всегда преисполнены твердой внутренней решимости доказывать предпочтение

Знай тому искусству или таланту, которые более всего льстят интересу их склонности или их тщеславия, а этот интерес не может быть одинаковым у всех людей.

ГЛАВА V

О честности по отношению к отдельному сообществу

С этой точки зрения я утверждаю, что честность есть только более или менее сильная привычка к поступкам, особенно полезным для данного небольшого сообщества. Случается, что некоторые добродетельные сообщества отказываются, повидимому, от собственного интереса и высказывают о поступках людей мнения, согласные с общественным интересом; но в этом случае они удовлетворяют только страсть, которую их просвещенная гордость изображает им как добродетель, и, следовательно, повинуются, как и всякое другое общество, закону личного интереса. Какой иной мотив может побудить человека к великодушным поступкам? Для него так же невозможно любить добро ради добра, как и любить зло ради зла¹.

Брут пожертвовал своим сыном для спасения Рима только потому, что родительская любовь была в нем менее могущественна, чем любовь к родине; он только уступил более сильной страсти; она указала ему, в чем заключается общественный интерес, и он увидел, что единственное средство спасти Рим и помешать ему подпасть под тиранию Тарквииев — это великодушная жертва сыном, которая может оживить любовь к свободе. В том критическом положении, в котором в то время находился Рим, необходим был такой поступок, как основа того огромного могущества, которого он впоследствии достиг благодаря любви к общественному благу и к свободе.

Но так как Брутов и общества, составленных из подобных людей, мало, то я возьму примеры из обычной жизни для доказательства того, что в каждом сообществе частный интерес является единственным источником уважения к поступкам людей.

Чтобы убедиться в этом, представим себе человека, который жертвует всем своим состоянием, чтобы спасти от строгости закона своего родственника, убийцу; конечно, семья будет считать этого человека высоко добродетельным, тогда как в действительности он чрезвычайно несправедлив. Я говорю, несправедлив, ибо если надежда на безнаказанность увеличивает число преступлений, если уверенность, что проступок будет наказан, необходима для того, чтобы поддерживать в государстве порядок, то очевидно, что снисхождение, оказанное преступнику, есть по отношению к обществу несправедливый поступок и сообщником его становится тот, кто добивается этого снисхождения².

Пусть какой-нибудь министр откажется выслушивать просьбы своих родственников и друзей, решив, что он обязан приглашать на высшие места только наилучших людей; этого справедливого министра в его кругу будут, конечно, считать человеком бесполез-

шим, недружелюбным и даже, может быть, непорядочным. Приходится признать, к стыду нашего времени, что человек, занимающий высокое положение, должен делать несправедливости, чтобы наслужить в обществе людей, среди которых он живет, титул доброго друга, хорошего родственника, человека добродетельного и доброжелательного.

Пусть путем интриг отец добьется для своего сына, неспособного командовать, должности военачальника; семья будет считать этого отца порядочным и доброжелательным человеком, а между тем, что может быть отвратительнее такого поступка, который подвергает государство или, по крайней мере, некоторые его привилегии опустошению, всегда следующему за поражением, единственно для того, чтобы удовлетворить честолюбие какой-то семьи?²

Как достойны наказания назойливые ходатайства, от которых государь не в состоянии постоянно себя ограждать! Эти ходатайства, неоднократно повергавшие государства в величайшие злоуполучия, являются неистощимым источником бедствий, и избавить народ от этих бедствий может, пожалуй, только одно средство — это разорвать все узы родства между людьми и объявить всех граждан детьми государства. Это — единственное средство уничтожить пороки, принимающие вид добродетели, помешать народу распасться на бесконечное число семей и мелких сообществ, интересы которых, почти всегда противоположные интересам государственным, могут, в конце концов, заглушить в душах всякую любовь к родине.

Сказанное мною достаточно доказывает, что перед судом небольшого сообщества единственным критерием поступков человека является интерес; и я ничего не прибавил бы к сказанному, если бы единственной целью этого труда не была общественная польза. Но я понимаю, что даже добродетельный человек справедливо может опасаться быть, без своего ведома, сбитым с пути добродетели под влиянием взглядов круга людей, среди которых он живет.

Поэтому, прежде чем покончить с этим вопросом, я укажу на средства, позволяющие избежнуть соблазна и ловушек, которые интересы отдельных сообществ ставят честности самых порядочных людей и в которые люди слишком часто попадают.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ V

¹ Постоянные обличительные речи моралистов против людской злобы показывают, как мало знают они людей. Люди не дуры, а только следуют своим интересам. Вопли моралистов, конечно, ничего не изменят в этой пружине духовного мира. Следует жаловаться не на злобу людей, а на невежество законодателей, которые всегда частный интерес противопоставляли общему. Если скифы были более добродетельны, чем мы, то это потому, что их законы и их образ жизни внушили им больше честности.

² «Я виновен, — говорил, умирая, Хилон, — только в одном преступлении: в том, что, будучи правителем, я спас от строгости закона одного преступника, моего лучшего друга».

Приведу по этому вопросу еще один случай, рассказанный в Гюлистане. Один араб пожаловался султану на то, что в его доме разбойничают два незнакомца. Султан отправился туда, велел потушить все огни, схватить преступников и закутать их головы плащом; затем он велел заколоть их. Когда казнь была совершена, султан велел снова зажечь огни и, осмотрев трупы преступников, поднял руки к небу и возвблагодарил бога. «Какую же милость, — спросил егоvizирь, — получили вы от неба?» — «Vизирь, — отвечал султан, — я думал, что мои сыновья — виновники разбоя, вот почему я приказал затащить огни и покрыть их лица плащом; я боялся, чтобы любовь к детям не понудила меня нарушить правосудие по отношению к моим подданным. Не должен ли я благодарить небо за то, что я соблюл справедливость, не став детоубийцей?».

³ Когда Клеон афинский стал членом правительства, он созвал своих друзей и сказал им, что отказывается от их дружбы, ибо она могла бы послужить для него поводом преиобречь своим долгом и совершил какие-нибудь несправедливости.

ГЛАВА VI

О средствах утвердиться в добродетели

Человек справедлив, когда все его поступки направлены к общему благу. Недостаточно делать добро, чтобы заслужить титул добродетельного человека. Государь располагает тысячью должностей, ему надо их заполнить, поэтому он поневоле делает тысячу людей счастливыми. Следовательно, его добродетель зависит исключительно от справедливости¹ или несправедливости его выбора. Если при назначении на ответственное место он, движимый дружбой, слабостью, ходатайствами или ленью, отдаст преимущество человеку посредственному перед человеком выдающимся, то он должен считать себя несправедливым, какие бы похвалы ни воздавали его честности окружающие его люди.

Если хочешь поступать честно, принимай в расчет и верь только общественному интересу, а не окружающим людям. Личный интерес часто вводит их в заблуждение.

Так, например, при дворах этот интерес не называет ли лживость осторожностью, глупостью — правду, которую считает там по меньшей мере сумасшествием и которую там и не могут иначе рассматривать?

Она там вредна, а вредные добродетели всегда будут считаться недостатками. Благосклонными к истине бывают только гуманные и добрые государи, подобные Людовику XII, Людовику XV, Генриху II. Однажды актеры вывели Людовика XII в смешном виде на подмостках театра; придворные настаивали на том, чтобы он их наказал. «Нет, — отвечал он, — они возвращают мне должное: они считают меня достойным выслушать правду». Этому примеру мягкости последовал впоследствии герцог Орлеанский. Этот герцог должен был обложить податью провинцию Лангедок; одни депутаты штатов этой провинции надоели ему своими уверениями, и

он резко заметил ему: «Какими силами обладаете вы, чтобы противиться моей воле? Что можете вы сделать?» — «Повиноваться и ненавидеть», — отвечал депутат. Благородный ответ, делающий одинаково честь и депутату, и герцогу: последнему выслушать его было почти так же трудно, как первому произнести. Этот же герцог имел любовницу, которую у него отбил один дворянин; герцог был оскорблен, и его фавориты подстрекали его к мести: «Накажите, — говорили они, — дерзкого». — «Я знаю, — отвечал он, — что мне не трудно это сделать; одного моего слова достаточно, чтобы отделаться от соперника, но это-то и мешает мне его произнести».

Такая сдержанность встречается очень редко; обыкновенно государи и вельможи слишком худо принимают правду, чтобы она могла долго гостить при дворе. Как может она жить в стране, где большинство людей, почитаемых добродетельными, привыкли к низости и лести и потому называют и принуждены называть пороки обычаями света! Трудно заметить преступление там, где видна польза. Однако кто сомневается в том, что иногда лесть более опасна и, следовательно, более преступна в глазах государя, любящего славу, чем насеквили на него? Это не значит, что я защищаю насеквили; по лесть может сбить государя, без его ведома, с пути добродетели, тогда как насеквиль может иногда обратить на путь добродетели тирана. Часто случается, что жалобы притесняемых доходят до трона только через посредство памфлета². Но интересы частных придворных кругов всегда будут заслонять от них подобные истины, и, может быть, только вдали от этих кругов можно уберечь себя от соблазнительных иллюзий. Во всяком случае несомненно, что в этих кругах нельзя сохранить добродетель, сильной и чистой, если не иметь постоянно в уме принципа общественной пользы³, если не знать истинных интересов общества и, следовательно, нравственности и государства. Совершенная честность никогда не бывает достоянием глупости: неразумная честность есть в лучшем случае честность намерений, на которую общество может, да в сущности и должно, не обращать никакого внимания: во-первых, потому что оно не является судьей намерений; во-вторых, потому что в своих суждениях оно считается только со своим интересом.

Если общество не подвергает смертной казни того, кто печально убил на охоте своего друга, то не потому, что намерения этого человека были невинны, ибо закон приговаривает к смерти часового, нечаянно уснувшего на своем посту. Общество прощает в первом случае потому, что не хочет прибавлять к потере одного гражданина потерю другого; оно наказывает во втором случае, чтобы предупредить возможность неожиданностей и бедствий, которые может навлечь на него такое отсутствие блитательности.

Поэтому для того, чтобы быть честным, надо присоединить к благородству души просвещенный ум. Тот, в ком соединены эти различные дары природы, всегда руководится компасом общественной пользы. Эта польза есть принцип всех человеческих добродетелей и основание всех законодательств. Она должна вдохновлять

Законодателя и заставлять народы подчиняться законам, и этому принципу следует жертвовать всеми своими чувствами, даже чувством гуманности.

Общественная гуманность бывает иногда безжалостной по отношению к отдельным лицам⁴. Когда корабль застигнут продолжительным штилем и властный голос голода заставляет решить жрецием, кто должен послужить пищей для остальных спутников, тогда несчастную жертву убивают без угрызений совести. Этот корабль может служить эмблемой каждого народа: все, что имеет в виду благо народа, законно и даже добродетельно.

Из сказанного мною следует, что в вопросе о добродетели надо считаться не с теми частными сообществами, в которых мы живем, а только с интересом общества в целом. Тот, кто станет действовать таким образом, будет всегда совершать поступки, или непосредственно полезные обществу в целом, или выгодные частным лицам без вреда для государства. Но подобные поступки всегда полезны для государства.

Человек, который помогает несчастному, заслуживающему эту помощь, бесспорно, подает пример благотворительности, согласной с общим интересом; он уплачивает налог, который добродетель налагает на богатство.

Честная бедность не имеет иного достояния, кроме сокровищ из своих добродетелей.

Тот, кто руководится этим принципом, может сам выдать себе похвальное свидетельство о честности, может доказать себе, что он заслуживает титул честного человека; я говорю, заслуживает, ибо, для того чтобы получить такую репутацию, недостаточно быть добродетельным, надо еще, подобно Кодрам и Регулам, иметь счастье жить в такое время, при таких условиях и занимать такие места, чтобы наши поступки могли оказывать большое влияние на общественное благо. Во всяком ином положении честность гражданина, остающегося неизвестным публике, является, так сказать, качеством честного сообщества и полезна только для тех людей, с которыми он живет.

Честный человек может стать полезным и ценным для своего народа только благодаря своим талантам. Какое дело обществу до честности частного лица!⁵ Эта честность не приносит ему почти никакой пользы⁶. Поэтому о живых оно судит так, как потомство судит о мертвых: оно не спрашивает о том, был ли Ювенал зол, Овидий распутен, Ганибал жесток, Лукреций печестив, Гораций развратен, Август лицемерен, а Цезарь — женой всех мужей; оно выносит суждение только об их талантах.

В связи с этим замечу, что те, кто яростно нападает на житейские пороки знаменитых людей, выражают не столько свою любовь к общественному благу, сколько свою зависть к талантам; эта зависть часто принимает в их глазах вид добродетели, но последняя есть чаще всего замаскированная зависть, потому что обыкновенно они не возмущаются так сильно пороками людей посредственных. Я не предполагаю восхвалять порок, но сколько

добродетельных людей должны были бы покраснеть за те чувства, которыми они кичатся, если бы им раскрыли их источник и их чистоту!

Может быть, общество проявляет слишком большое равнодушие к добродетели; может быть, наши писатели иногда больше тщательности прилагают к исправлению своих сочинений, чем своих нравов, и берут пример с философа Аверроэса, который, как говорят, позволял себе мопеинничать и считал это не только не вредным для своей репутации, но даже полезным: он говорил, что этим способом он обманывает своих соперников, ловко направляя на свой нрав критику, которая в противном случае обрушилась бы на его произведения; а эта критика, без сомнения, сильно повредила бы его славе.

В этой главе я указал средство, как ускользнуть от соблазнов частных сообществ, как сохранить добродетель непоколебимой от влияния тысячи различных частных интересов; это средство заключается в том, чтобы во всех своих поступках принимать в расчет общественный интерес.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ VI

¹ В некоторых странах высокопоставленных людей накрывали ослиной кожей в знак того, что они не обязаны ничего делать из соображений приличия или благосклонности, а только по справедливости.

² «Не робкий голос министров, — говорит поэт Саади, — должен доносить до слуха государей жалобы несчастных, а крик народа должен непосредственно проникать до трона».

³ Согласно с этим принципом Фонтенель определил ложь так: *замалчивание необходимости правды*. При выходе из спальни одной женщины неизвестно встречает ее мужа. «Откуда вы?» — спрашивает этот последний. Что ответить ему? Следует ли сказать ему правду? «Нет, — отвечает Фонтенель, — ибо в этом случае правда никому не полезна». А сама правда подчинена принципу общей пользы. Она должна главенствовать при написании истории, при изучении наук и искусства; она должна являться вельможам и даже срывать занавесу, скрывающую от народа их недостатки; но она не должна открывать тех недостатков, которые вредят только самому человеку. Это значило бы бесполезно причинить ему горе, это значило бы быть злым и грубым, под предлогом быть правдивым, это значило бы не столько любить правду, сколько радоваться унижению другого.

⁴ Этим принципом руководился у арабов знаменитый Зиад, правитель Басры, давая пример строгости. После бесполезных попыток очистить город от убийц, опустошивших его, он увидел себя вынужденным издать приказ, что всякий, кто будет встречен ночью на улице, будет казнен. Поймали иностранца и привели его на суд правителя; иностранец пытался его тронуть словами: «Несчастный иностранец, — сказал ему Зиад, — я должен казаться тебе несправедливым, наказывая тебя за несоблюдение приказа, который ты мог и не знать; но спасение Басры зависит от твоей смерти; я искалечу тебя и все же приговариваю к смерти».

» Общество обязано воздать похвалу добродетели частного человека, но по-настоящему оно любит лишь такого рода добродетель, которая полезна ему. Первая служит примером, и если она не вредна обществу, то является зародышем добродетели, полезной публике, и во всяком случае способствует общей гармонии.

» Позволительно хвалить свое сердце, но не свой ум; это потому, что первое не приводит ни к каким последствиям. Зависть предвидит, что к этой похвале мало кто присоединится.

ГЛАВА VII

Об уме по отношению к отдельным сообществам

То, что мною было сказано об уме по отношению к отдельному лицу, можно сказать и об уме по отношению к отдельным сообществам, поэтому я не буду повторять утомительных подробностей тех же самых доказательств, я только покажу, путем новых применений того же самого принципа, что всякое сообщество, как и всякое частное лицо, уважает или презирает идеи других сообществ только в зависимости от того, согласны или не согласны эти идеи с его страстиами, характером его ума и, наконец, с положением, которое занимают в свете лица, составляющие это сообщество.

Представим себе факира в обществе сибаритов; не будут ли они смотреть на этого факира с презрительной жалостью, которую обыкновенно испытывают люди, привыкшие к чувственной и приятной жизни, к человеку, который отказывается от реальных удовольствий в поисках за воображаемым благом? Пусть завоеватель войдет в убежище философов: можно ли сомневаться в том, что он найдет их самые глубокие размышления пустыми и будет смотреть на них с тем пренебрежительным презрением, которое душа, считающая себя великой, питает к мелким, по его мнению, душам, и которые силапитает к слабости. Но перенесем в свою очередь этого завоевателя в портик: Гордец, — скажет ему оскорбленный стоик, — ты презираешь души, более высокие, чем твоя; узнай, что предмет твоих желаний есть предмет нашего презрения и что никто не кажется великим на земле для того, кто смотрит на нее с возвышенной точки зрения. В дремучем лесу путнику, сидящему у подножия кедров, кажется, что их верхушки касаются небес; с высоты облаков, где парит орел, высокие леса кажутся стелившимся вереском и представляются глазам царя воздушного пространства зеленым ковром, раскинутым на равнинах. Так-то оскорбленная гордость стоика отомстит за презрение честолюбца, и так вообще будут относиться друг к другу люди, одушевленные различными страстиами.

Представим себе женщину, молодую, красивую, имеющую любовников, — такую, словом, какой нам рисует история знаменитую Клеопатру, которая благодаря множеству своих чар, прелести своего ума, разнообразию своих ласк заставляла своего любовника испытывать ежедневно восторги неожиданности и первого обла-

дание которой было, по словам Эшара, только первой милостью, — и вообразим себе ее в обществе неприступных женщин, старость и уродство которых ручаются за их целомудрие; ее очарование и ее таланты встретят там презрение; в безопасности от соблазна под защитой своего безобразия, эти неприступные женщины не ведают, как лестно опьянение любовника, как трудно, будучи красивой, противостоять желанию показать любовнику тысячи тайных прелестей; поэтому они яростно накинутся на эту красивую женщину и возведут ее слабости на степень величайших грехов. Но если, в свою очередь, одна из этих неприступных женщин очутится в кругу кокеток, она не встретит там того бережного отношения, которое молодость и красота должны проявлять к страсти и безобразию. Чтобы отмстить ей за ее неприступность, они ей скажут, что красавица, уступающая любви, и уродливая женщина, противящаяся ей, — обе повинуются одному и тому же принципу щеславия, что первая ищет в любовнике поклонника своих чар, вторая же бежит от разоблачителя своей привлекательности, и что, будучи одушевляемы одними и теми же мотивами, неприступная женщина и женщина, имеющая любовников, отличаются друг от друга только красотой.

Вот как люди с различными страстями оскорбляют друг друга; и вот почему знатный человек, не признающий достоинств в простолюдине, презирающий его и желающий видеть его у своих ног, бывает, в свою очередь, презираем людьми просвещенными. Безумный, — скажут они ему, — чем хвалишься ты, человек лишенный всяких заслуг и даже гордости? Почестями, тебе оказываемыми? Но почитают не твои заслуги, а только твое богатство и твое могущество. Ты не имеешь ничего от себя: если ты блестишь, то этот блеск есть только отражение благосклонности к тебе государя. Посмотри на пары, подымющиеся из болотной типы; паря в воздухе, они превращаются в блестящие облака, они блестят, как ты, но великолепием, заимствованным у солнца; зайдет светило — и исчезнет блеск облака.

Если противоположные страсти вызывают взаимное презрение со стороны тех, кто ими обладает, то противоречие в мыслях производит приблизительно тот же эффект.

Будучи принужденны, как я это доказал в главе IV, воспринимать в других только идеи, сходные с нашими собственными идеями, как можем мы восхищаться людьми, ум которых сильно отличается от нашего собственного ума? Так как изучение какой-нибудь науки или искусства дает нам возможность открывать в них бесконечное множество красот и трудностей, которые остались бы неизвестными нам без этого изучения, то, следовательно, наибольшую степень того уважения, которое я назвал *сознательным*, мы питаем необходимым образом к науке и к искусству, которыми мы занимаемся.

Наше уважение к другим наукам или искусствам всегда пропорционально большей или меньшей связи их с интересующими нас наукой или искусством. Вот почему математик обыкновенно больше

уважает физика, чем поэта, а последний испытывает большее уважение к оратору, чем к математику.

И также вполне чистосердечно люди, прославившиеся в различных областях, мало ценят друг друга. Чтобы убедиться в действительности их взаимного презрения (ибо никакой долг не уплачивается так аккуратно, как презрение), прислушаемся к речам умных людей.

Каждый из них, подобно продавцам тернака, расположившимся на рыночной площади, зазывает к себе почитателей и считает, что он один из заслужил: романист убежден, что именно его вид труда требует наибольшей изобретательности и тонкости ума; метафизик считает себя источником очевидности и поверенным природы; только я один, говорит он, могу обобщать идеи и открывать причину явлений, совершающихся ежедневно в физическом и духовном мире, и только я один могу просветить человека; поэт, считающий метафизиков серьезными сумасшедшими, уверяет их, что, разыскивая истину в колодце, на дне которого она сокрылась, они для черпания из него имеют только ведро Далаид, что открытия их ума сомнительны, тогда как наслаждения, доставляемые его искусством, бесспорны.

Вот такими-то речами эти три человека станут доказывать, что они мало ценят друг друга; и если бы в своем споре они призвали в качестве арбитра государственного деятеля, он сказал бы им всем: «Поверьте, что науки и искусства суть только важные мелочи и трудные пустяки. Ими можно заниматься в детстве для упражнения ума, но голова человека взрослого и умного должна быть занята исключительно изучением интересов народных; всякий иной предмет мелок, а все мелкое достойно презрения». И отсюда он придет к заключению, что он один достоин всеобщего признания.

Приведем еще последний пример и на этом закончим. Предположим, какой-нибудь физик услышал бы последнее заключение: «Ты ошибаешься! — возразил бы он государственному деятелю.— Если измерять величие ума величием исследуемых им предметов, то я один действительно достоин уважения. Одно какое-нибудь мое открытие меняет интересы народов. Я замагничиваю иглу, запираю ее в компас, — в результате открытие Америки, разработка ее минеральных богатств; тысячи кораблей, нагруженных золотом, рассекают моря, направляясь в Европу, и физиономия политического мира меняется. Я всегда занят великими вопросами, и когда я молчу и уединяюсь, то не для того, чтобы исследовать ничтожные революции в государствах, но революции, происходящие во вселенной; не для того, чтобы проникнуть в мелочные тайны дворов, но в тайны Природы; я открываю, каким образом моря образовали горы и разлились по земле, я измеряю силу, движущую светилами, и длину лучезарных кругов, описываемых ими в небесной лазурь; я высчитываю их массу, сравниваю ее с массой земли и краснею за мизерность нашей планеты. И если я так стыжусь улья, судите о презрении, которое я должен испытывать к населяющим его

насекомым: самый великий законодатель в моих глазах есть только царь пчел».

Вот путем каких рассуждений каждый человек убеждается, что он обладает родом ума, наиболее заслуживающим уважения, и вот каким образом умные люди, движимые желанием доказать это другим людям, недооценивают друг друга и не замечают, что каждый из них, будучи окутан презрением, которое он проповедует к себе подобным, становится игрушкой и посмешищем для той самой публики, которая должна была бы им восхищаться.

Впрочем нараспаш было бы стараться умалить благосклонное предубеждение, которое всякий питает к своему уму. Мы смеемся над садоводом, стоящим в неподвижном восторге перед клумбой тюльпанов; он не спускает глаз с их чашечек, он не видит на земле ничего восхитительнее тонкого смешения окраски, которую он, при помощи культуры, заставил природу придать им. Каждый из нас есть такой садовод: последний измеряет ум людей теми познаниями, которые они имеют о цветах; мы точно так же отмеряем им наше уважение, сообразуясь с соответствием их идей с нашими.

Наше уважение до такой степени зависит от этого соответствия идей, что всякий, кто внимательно наблюдает за собой, заметит, что если в различные моменты дня он не в одинаковой степени уважает одного и того же человека, то такое постоянное изменение термометра своего уважения он должен приписать тем тревогам, которые неизбежны при тесном и постоянном сожительстве; поэтому всякий, идеи которого не сходны с идеями общества, всегда бывает им презираем.

Философ, которому придется жить с щеголями, будет почтаться ими за смешного дурака; он будет предметом забавы для самого мелкого шута, самые пошлые и глупые шутки которого будут считаться остроумными словечками; ибо успех шуток зависит не столько от тонкости ума их автора, сколько от того, что его внимание направлено на то, чтобы поднимать на смех идеи, неприятные его обществу. О шутках можно сказать то же, что о работе какой-нибудь партии: они всегда вызывают восторг своей клики.

Несправедливое презрение, питаемое отдельными обществами друг к другу, является, следовательно, подобно презрению друг к другу отдельных лиц, исключительно следствием невежества и гордости, — гордости, несомненно, заслуживающей порицания, но необходимой и присущей человеческой природе. Гордость есть зародыш многих добродетелей и талантов, поэтому не следует надеяться ни истребить ее, ни даже пытаться ослабить ее, а только стараться направить ее на главные предметы. Если я здесь позволяю себе смеяться над гордостью некоторых людей, то я, без сомнения, делаю это тоже под влиянием гордости, но, может быть, в этом случае более благонамеренной, более согласной с общим интересом, ибо справедливость наших суждений и поступков есть всегда только счастливое совпадение наших интересов с интересами общественными¹.

Если уважение, которое различные сообщества испытывают к различным взглядам и наукам, бывает неодинаковым, в зависимости от различия страстей и направления ума лиц, составляющих эти сообщества, то можно ли сомневаться в том, что и различие в положении людей должно производить тот же эффект и что идеи, приятные для людей известного звания, могут быть скучны для людей иного положения. Если военный или пехотинец станут рассуждать перед адвокатами — один об искусстве вести осады, о военных лагерях и маневрах, другой о торговле индиго, шелком, сахаром и какао, то их будут слушать с меньшим удовольствием и жадностью, чем человека, сведущего в интригах судебного сословия, в прерогативах магistratуры, знающего, как вести процесс, когда он заговорит с ними о предметах, которые для них особенно интересны благодаря склонностям их ума и их тщеславию.

Вообще мы презираем в человеке, стоящем ниже нас, все, даже ум. Какие бы заслуги ни числились за буржуза, человек высокопоставленный, но тупой, всегда будет презирать его, «хотя, — как говорит Дома, — между буржуа и вельможей существует только гражданское различие, а между умным человеком и глупым вельможей — естественное».

Следовательно, огромное разнообразие взглядов есть результат личного интереса, видоизменяющегося в зависимости от наших нужд, наших страстей, склонностей нашего ума и условий нашей жизни, сочетающихся на тысячи ладов в различных кругах общества.

Соответственно этому многообразию интересов каждое отдельное сообщество имеет свой особый тон, свою особую манеру судить и своего великого человека, из которого оно охотно сделало бы бога, если бы этому апофеозу не мешал страх перед судом общества в целом.

Вот почему всякий ищет общества себе подобных, и нет такого глупого человека, который при известном старании не мог бы выбрать такого круга людей, в котором он мог бы проводить жизнь приятно, среди похвал, расточаемых искренними почитателями; и точно так же, если умный человек станет расточать свой ум в различных кругах людей, он будет считаться то сумасшедшим, то мудрым, то приятным, то скучным, то тупым, то остроумным.

Общее заключение из всего сказанного таково: во всяком отдельном сообществе личный интерес есть единственный критерий достоинства вещей и личностей. Мне остается только показать, почему люди, наиболее честные в отдельных сообществах, — как, например, в большом свете — люди, знакомства с коими добиваются все члены этих сообществ, не всегда бывают наиболее уважаемы обществом в целом.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ VII

¹ Руководимые личным интересом, мы видим вещи только с тех сторон, которые нам полезно видеть. Когда же мы судим согласно с общим интересом,

что происходит не столько от правильности нашего ума и от врожденной нам справедливости, сколько благодаря тому, что мы случайно находимся в условиях, в которых нам выгодно смотреть так, как смотрят все люди. Тот, кто глубоко исследует свою душу, так часто ловит себя на ошибках, что поневоле становится скромным. Он уже не гордится своею просвещенностью, он не считает себя выше других. Ум подобен здоровью: тот, кто им обладает, его не замечает.

ГЛАВА VIII

О разнице между суждениями народа и суждениями отдельных сообществ

Чтобы раскрыть причину различия между суждениями об одних и тех же людях общества в целом и отдельных кружков, следует иметь в виду, что государство есть совокупность составляющих его граждан, что интерес всякого гражданина связан каким-либо образом со всеобщим интересом и что, подобно звездам, разбросанным в необозримом пространстве и обладающим двумя главными движениями: одним, более медленным¹, общим для всей вселенной, и другим, более быстрым, свойственным каждой звезде в отдельности, — и каждое отдельное общество бывает движимо двумя различными родами интересов.

Первый, более слабый, свойствен не только ему, но и обществу в целом, т. е. народу; второй, более сильный, есть исключительно только его частный интерес. Соответственно этим двум родам интересов два рода идей могут нравиться отдельным сообществам.

Один вид интереса, более связанный с всеобщим интересом, имеет предметом торговлю, политику, войну, законодательство, науки и искусства; этот вид идей, интересных для всех отдельных сообществ, пользуется наиболее широким, но и наиболее слабым уважением в большинстве сообществ. Я говорю, в большинстве, так как существуют общества, — например, академические общества, для которых идеи общеполезные суть в то же время и самые интересные, для которых поэтому личный интерес совпадает с интересом общества в целом.

Другой вид идей непосредственно связан с частным интересом каждого отдельного сообщества, т. е. с его симпатиями и антипатиями, с его стремлениями и удовольствиями. По этой причине названный вид идей, особенно интересный и приятный для данного частного сообщества, обыкновенно не представляет интереса для общества в целом.

Выяснив это различие, мы должны заключить, что человек, приобретший весьма много идей последнего рода, т. е. идей, особенно интересных для общества, в котором он живет, будет считаться этим обществом очень умным: но если этот человек выступит перед публикой — в печатном ли труде или на высоком посту, то он, пожалуй, произведет впечатление человека весьма посредственного. Это голос, весьма приятный в комнате, но слишком слабый для театра.

На против, человечек, занимающийся идеями, представляющими общий интерес, будет менее приятен для того круга, в котором он живет; его идеи покажутся даже скучными и неуместными; но если он выступит перед публикой — в печатном ли труде, или на высоком посту, тогда, явившись во всем блеске своего гения, он заслужит название выдающегося человека. Он подобен колоссальной фигуре, неприятной для глаз в мастерской скульптора, но вызывающей восторг граждан, когда она поставлена на площади.

Но почему нельзя соединить в себе идеи того и другого рода, почему нельзя заслужить одновременно уважения народа и уважения светских людей? Потому, — отвечу я, — что роды занятий, которым нужно посвятить себя, чтобы приобрести идеи, интересные для общества в целом, или идеи, интересные для частных кругов, абсолютно различны.

Чтобы нравиться свету, не надо углубляться в какой-нибудь вопрос, а следует перепархивать с предмета на предмет, иметь весьма разнообразные и, следовательно, весьма поверхностные знания, знать все, не теряя времени на изучение в совершенстве одной какой-нибудь вещи, и, следовательно, расширять свой ум, не углубляя его.

Обществу же совершение не выгодно уважать людей поверхностно универсальных; может быть, даже оно не отдает им законной справедливости и не старается измерить слишком разбросанный ум. Для общества выгодно отдавать дань уважения исключительно только людям, выделяющимся в одном каком-либо предмете, которые тем самым подвигают вперед человеческий дух; поэтому оно мало дорожит светским умом.

Итак, чтобы заслужить общее уважение, следует свой ум углублять, а не расширять, и, подобно фокусу зажигательного стекла, собирать все тепло и все лучи своего ума в одной точке. Можно ли отдаваться одновременно этим двум видам знания, когда они требуют совершенно различного образа жизни? Следовательно, один вид ума совершенно исключает другой.

Чтобы приобрести идеи, интересные для общества в целом, необходимо, как я покажу в следующих главах, сосредоточиться в молчании и единении; напротив, для того чтобы прелодиосить частным сообществам особенно приятные для них идеи, непременно следует броситься в вихрь света. А в нем нельзя жить, не набив голову ложными и пустыми идеями, — ложными потому, что всякий человек, умеющий мыслить только одним способом, необходимо рассматривает свой круг людей как вселенную по преимуществу; он, подобно различным народам в их взаимном презрении к чужим нравам, религиям и даже одеждам, находит смешным все, что противоречит взглядам его круга, и, следовательно, впадает в самые грубые заблуждения. Тот, кто сильно занимается мелкими интересами частных сообществ, необходимо будет придавать значение мелочам и уважать пустяки.

Кто может льстить себя надеждой избегнуть сетей самолюбия, когда мы видим, что каждый адвокат в своем кабинете, каждый

советник в своем бюро, каждый купец в своей конторе, каждый офицер в своем гарнизоне считают, что вся вселенная занята тем, что их интересует? ² Всякий может применить к себе рассказ об одной монахине, которая, услыша спор между настоятельницей и послушницей, спросила первого попавшегося ей в приемной человека: «Знаете ли вы, что мать Цецилия и мать Тереза поссорились? Вас это удивляет? Как, вы в самом деле не знали, что они в ссоре? Откуда же вы пришли?» И все мы более или менее похожи на эту монахиню: интересы нашего частного кружка должны всех занимать; то, что он думает, во что верит и о чем говорит, о том самом думает, говорит и в то верит вся вселенная.

Как может придворный, живущий в свете, в котором говорят только о происках, разных интригах, о том, чье влияние растет, кто впал в немилость, встречающий в своем кругу только лиц, более или менее пропитанных теми же идеями, — как может он не уверить себя, что придворные интриги представляют самые достойные для размышления и вообще самые интересные для человеческого ума предметы? Может ли он представить себе, что в ближайшей от его дома лавке ничего не знают ни о нем, ни о тех, о ком он говорит; что там даже не подозревают существования вещей, которые его так живо интересуют; что в углу его чердака живет философ, для которого интриги и происки, занимающие честолюбца, стремящегося покрыть свою грудь орденами европейских государств, кажутся пустяками, более глупыми, чем говор школьников, желающих стащить коробку с конфетами, — философ, которому честолюбцы представляются старыми детьми, не считающими себя таковыми?

Придворный даже не догадывается о существовании подобных мыслей: если бы в нем возникло подозрение об их существовании, он поступил бы как король государства Пегу, который спросил у венецианцев, как зовут их государя; когда они ему ответили, что у них нет королей, то их ответ показался ему таким забавным, что он покатился со смеху.

Правда, вельможи вообще не склонны к такого рода предположениям; каждый из них полагает, что он занимает большое место на земле; они воображают, что существует только один образ мыслей, который и должен быть законом для всех людей, и этот образ мыслей есть принадлежность их круга. Если время от времени им приходится слышать, что существуют мнения, отличные от их взглядов, то они представляются им далекими и смутными, и им кажется, что эти взгляды свойственны только небольшому числу безрассудных людей. В этом отношении они так же безумны, как тот китайский географ, который под влиянием тщеславной любви к родине нарисовал карту земли, на которой почти вся поверхность была занята Китайской империей и только по краям помещались Азия, Африка, Европа и Америка. Каждый считает себя центром вселенной, а других — ничтожеством.

Итак, мы видим, что те люди, которые желают быть приятными в частных кругах, вынуждены вращаться в свете, заниматься

мелкими интересами, сживаться с множеством предрассудков; поэтому им приходится позаметно наполнять свою голову бесконечным множеством идей, нелепых и смешных в глазах общества в целом.

Впрочем я должен предупредить, что под светскими людьми я не подразумеваю исключительно придворных людей; Тюренни, Ришелье, Люксембурги, Ларошфуко, Рецы и некоторые люди того же калибра доказывают, что легкомыслие не есть неизбежное достояние высокого сана и что под светскими людьми следует подразумевать только тех, кто живет в вихре света.

Этих людей общество совершенно основательно считает абсолютно лишенными здравого смысла. В доказательство этого я приведу их нелепые и односторонние требования относительно *хорошего тона* и *светского обращения* (*bon ton et bel usage*). Я тем охотнее выбираю пример, что молодые люди, обманутые светским жаргоном, часто принимают болтовню на нем за ум, а здравый смысл за глупость.

ПРИМЕЧАНИЕ К ГЛАВЕ VIII

¹ Система древних философов.

² Найдется ли такой сутяга, который не пришел бы в восторг при чтении своего прошения и который не считал бы его более серьезным и более важным, чем труды Фонтенеля и всех философов, писавших о поэзании человеческого сердца и ума? Труды этих последних, — скажет он, — занимательны, но легкомыслены и не заслуживают быть предметом изучения. Чтобы еще лучше доказать, какое значение каждый человек придает своим занятиям, я приведу несколько строк из книги, озаглавленной «Трактат о соловье». Автор книги говорит:

«Я употребил двадцать лет на составление этого труда; люди, здраво рассуждающие, всегда находили, что самое большое и чистое удовольствие, которое можно испытать в этом мире, это то, которое мы испытываем, делая дело, полезное для общества; этой точки зрения следует держаться во всех своих поступках; человек, который не отдает себя, насколько возможно, на общую пользу, повидимому, не знает, что он рожден столько же для блага других, сколько и для своего собственного. Вот побуждения, заставившие меня предложить публике этот «Трактат о соловье»... Затем автор прибавляет: «Любовь к общему благу, побудившая меня составить эту книгу, не позволила мне забыть о том, что она должна быть написана откровению и искренне».

ГЛАВА IX

О хорошем тоне и о светском обращении

Всякое общество, отличающееся от другого интересами и вкусами, обвиняет его и подвергается обвинениям с его стороны в *дурном тоне*; тон молодых людей не нравится старикам, тон человека страстного не нравится человеку холодному, а тон отшельника — человеку светскому.

Если подразумевать под *хорошим тоном* такой, который может однапако нравиться всем кругам общества, то в этом смысле вообще не существует человека *хорошего тона*.

Чтобы быть таковым, надо, чтобы человек обладал всеми знаниями, всеми видами ума, и может быть, знал бы даже все различные жаргоны, а это совершенно невозможно. Следовательно, под *хорошим тоном* следует подразумевать такого рода разговор, содержание и способ выражения которого может нравиться наибольшему числу людей. Но *хороший тон* в этом смысле не свойствен никакому классу людей в частности, а только тем людям, которые занимаются важными идеями, почерпнутыми из искусств и наук, каковы метафизика, военное дело, этика, торговля, политика; эти идеи всегда дают уму предметы, интересные для всего человечества. Этот род разговора, представляющий, бессспорно, наиболее общий интерес, не является, как я уже указывал, самым приятным для каждого частного сообщества. Каждое из них считает свой тон превосходнее тона людей ума (*gens d'esprit*), хотя признает тон этих последних превосходнее всякого другого тона.

В этом отношении частные сообщества похожи на крестьян различных провинций, которые охотнее говорят на наречии своего округа, чем на своем национальном языке, по которым национальный язык предпочитают наречиям всех остальных провинций. *Хороший тон* есть тот, который всякое частное сообщество считает наилучшим после своего; а это и есть тон людей ума.

Однако я признаю преимущество светских людей в том отношении, что если уж выбирать из различных классов людей тот, тону которого следует отдать предпочтение, то, без сомнения, это будет придворный круг, не потому, чтобы у буржуа было меньше мыслей в голове, чем у светского человека: оба, если смею так выразиться, часто говорят бессодержательно и в смысле идей не имеют никакого преимущества друг перед другом; но светский человек, благодаря занимаемому им положению, занят мыслями, представляющими более общий интерес.

В самом деле, так как нравы, склонности, предубеждения и характер государей сильно влияют на счастье и несчастье народа, так как всякое сведение о них интересно, то разговор человека, который принадлежит ко двору и который не может говорить о том, что его интересует, не касаясь часто своих господ, необходимо менее бессодержателен, чем разговор буржуа. К тому же светские люди вообще не испытывают материальной нужды; им не приходится заботиться об удовлетворении иных потребностей, кроме потребностей в удовольствиях, и это отражается благоприятно на их разговоре; вот почему придворные дамы обыкновенно превосходят других женщин грацией, остроумием, умом, привлекательностью; поэтому же и круг умных женщин состоит почти исключительно из светских женщин.

Однако, хотя придворный тон и превосходит буржуазный, все же разговор вельмож не может сводиться только к анекдотам из частной жизни государей, а обыкновенно должен вращаться около

преимуществ их должностей и рождения, вокруг их галантных похождений, их насмешек друг над другом за ужином. Такие разговоры должны непременно казаться пошлыми большинству обществ. Поэтому для них светские люди стоят на уровне людей, всецело поглощенных каким-нибудь ремеслом, которое является единственным и постоянным предметом их разговора, вследствие этого их называют людьми *дурного тона*; ибо человек, испытывающий скуку, всегда мстит человеку, нагоняющему скуку, давая ему презрительное прозвище.

Может быть, мне возразят, что никакое общество не обвиняет светских людей в *дурном тоне*. Если большинство сообществ не высказывает этого мнения, то только потому, что знатность и сан импонируют им, мешают им высказывать свои чувства, и часто они не признаются в них даже самим себе. Чтобы убедиться в этом, достаточно спросить мнение здравомыслящего человека. Светский тон, — скажет он, — состоит по большей части в нелепом высмеивании друг друга. Этот тон, принятый при дворе, введен, без сомнения, каким-нибудь интриганом, который желая замаскировать свои прописки, предпочитал говорить ничего не высказывая; те, которым нечего было скрывать, последовали его примеру и, обманутые этой болтовней, переняли его жаргон, думая, что они что-то говорят, когда в действительности они только произносят слова, довольно гармонично сгруппированные. Чтобы отвлечь вельмож от серьезных дел и сделать их неспособными к ним, люди власть имущие, стали поощрять этот тон, позволили называть его *остроумным* и первые дали ему это название. Но если, желая оценить по достоинству все эти остроты, вызывающие такое восхищение в веселой компании, мы переведем их на другой язык, то перевод нарушит очарование и большинство этих острот окажется лишеным смысла. Поэтому, — прибавит он, — многие люди испытывают сильное отвращение к так называемым блестящим людям и нередко повторяют следующий стих из комедии:

«Когда появляется хороший тон, то здравый смысл исчезает».

Следовательно, истинный *хороший тон* принадлежит людям ума, какое бы положение они не занимали.

Я готов допустить, — скажет кто-нибудь, — что светские люди привязанные к очень мелким идеям, в этом отношении ниже людей ума, но они зато превосходят их в умении выражать эти идеи. Притязания их с этой стороны представляются, несомненно, более основательными. Хотя слова сами по себе не бывают ни благородными, ни низкими, и в стране, где парод пользуется значением, как, например, в Англии, не следует делать и не делают этого различия, по в монархическом государстве, где не имеют никакого уважения к пароду, слова необходимо должны быть благородными или низкими, в зависимости от того, приняты они при дворе или нет, и поэтому манера выражаться у людей света должна быть всегда элегантной, — и такова она в действительности. Но так как большинство придворных говорит только о пустяках, то словарь благородного языка в силу этого весьма ограничен и его не-

хватает даже для написания романа, и если бы светский человек захотел написать таковой, он нередко оказывался бы ниже литератора¹.

Что же касается предметов, считаемых серьезными и связанными с искусствами и философией, то опыт показывает нам, что о такого рода предметах люди света едва-едва могут лепетать²; отсюда следует, что и в выражении мыслей они не превосходят людей ума и что и в этом отношении они превосходят обыкновенных людей только в легкомысленных сюжетах, в которых они весьма хорошо наутиражнялись, из которых они сделали предмет изучения и, так сказать, предмет особенно искусства; но и это превосходство еще сомнительно и почти всеми преувеличено вследствие механического уважения, питаемого к знатности и высокому положению.

Впрочем, как ни смехотворны притязания светских людей на исключительное обладание *хорошим тоном*, это, однако, относится не столько к людям их положения, сколько к человечеству вообще. Может ли гордость не убедить вельмож, что они и люди их породы одарены умом наиболее способным нравиться в разговоре, когда та же гордость убедила всех людей вообще, что природа зажгла солнце только для того, чтобы оплодотворить маленькую точку, называемую Землей, и что она усеяла небо звездами для того, чтобы освещать ее ночью.

Мы бываем тщеславными, заносчивыми и, следовательно, несправедливыми всегда, когда представляется возможным делать это безнаказанно. Поэтому каждый человек воображает, что пет части света, в этой части света — государства, в этом государстве — провинции, в этой провинции — города, в этом городе — общества, равного его обществу, и что он в этом своем обществе — наилучший человек, а в конце концов он поймет себя на признании, что он первый человек во вселенной³. Итак, какими бы нелепыми ни казались исключительные притязания на *хороший тон* и какими бы насмешками ни паделяла публика светских людей, снисходительная и здравая философия не только должна простить им это, но и избавить их от горечи бесполезных лекарств.

Если живое существо, заключенное в раковину и из всей вселенной знающее только скалу, к которой оно прикреплено, не может судить об ее обширности, то как светский человек, живущий в тесном кругу, постоянно окруженный одними и теми же предметами и знающий только одну точку зрения, может судить о достоинстве вещей?

Истина замечается и порождается только при брожении противоположных мнений. Мы познаем вселенную только из того мира, в котором мы вращаемся. Тот, кто замыкается в тесный круг, невольно усваивает его предрассудки, особенно когда они льстят его тщеславию.

Кто может отказаться от заблуждения, когда тщеславие, со-общник незнания, привязывает его к нему и делает его для него добротом?

То же тщеславие заставляет людей света считать себя единственными обладателями *светского обращения*, которое они считают главным достоинством и без которого все остальные не имеют значения. Они не видят, что это обращение, которое они считают необходимым для всего света, есть только обращение, свойственное их свету. В самом деле, в Мономотапе, где принято, чтобы вслед за королем чихали все придворные, за двором начинает чихать город, за городом — все провинции, и где, наконец, все государство кажется страдающим насморком, наверное, существуют придворные, которые гордятся тем, что чихают более благородным способом, чем все остальные люди, которые считают себя в этом отношении единственными обладателями хороших манер и которые считают неблаговоспитанными и грубыми всех людей и все народы, чихание которых кажется им менее гармоничным.

Жители Марианских островов станут утверждать, что вежливое обращение заключается в том, чтобы взять ногу того, с кем здороваяешься, и слегка потереть ею свое лицо и чтобы никогда не плевать в присутствии своего начальника.

Киригвани согласятся, что нужно иметь штаны, но что хорошие манеры заключаются в том, чтобы их носить под мышкой, как мы носим шляпы.

Жители Филиппинских островов будут утверждать, что не дело мужа дать испытать жене первые наслаждения любви, что он может возложить этот труд на другого, заплатив ему. Они еще прибавят, что девица, оставшаяся невинной до замужества, достойна не уважения, а только презрения.

В Пегу находят, что хорошие манеры и благопристойность требуют, чтобы король цоявлялся в приемной зале с веером в руках и чтобы ему предшествовали четыре самых красивых при дворе юноши, которые, будучи предназначены для его специальных удовольствий, являются в то же время выразителями и глашатаями его воли.

Если бы я обозрел все государства, я всюду нашел бы своеобразные обычай⁴, каждый народ считает себя необходимым образом обладателем наилучших обычаем. Даже в глазах светских людей нет ничего смешнее подобных притязаний, и если бы они посмотрели на себя, то увидели бы, что, хотя и под другими названиями, они смеются, в сущности, над самими собою.

Чтобы доказать, что так называемое *светское обращение* не только не одобряется всем светом, а, напротив, должно большинству людей не нравиться, перенесем в Китай, затем в Голландию и в Англию щеголя, лучше всех изучившего ту смесь жестов, удачных словечек и манер, которая называется *светским обращением*, и здравомыслящего человека, которого щеголь считает в этом отношении тупоумным и неблаговоспитанным: несомненно, что эти различные народы сочтут последнего более знакомым с истинным *светским обращением*, чем первого.

Чем же вызвано это суждение? Тем, что разум, не зависящий от моды обычаем страны, нигде не кажется чуждым и смешным.

Напротив, кажется странным и смешным тот, кто соблюдает обычай своей страны в чужой стране, и он будет казаться тем смешнее, чем он в нем опытнее и искуснее.

Наши молодые люди часто играют роль преувеличенно легко-мысленных людей, чтобы не казаться патинутыми и педантичными, ибо это неприятно в хорошем обществе; неудивительно, что в глазах англичан, немцев и испанцев наши щеголи кажутся тем более смешными, чем более старательно они выполняют правила того, что они считают *светским обращением*.

Итак, если судить по приему, оказываемому нашим францам в чужих странах, то несомненно, что то, что они называют *светским обращением*, не только не пользуется всеобщим успехом, но, напротив, не нравится большинству, и что это обращение так же отлично от истинного *светского обращения*, всегда разумного, как простая учтивость отлична от истинной вежливости.

Для первой необходимости только знание манер, для второй — тонкое, деликатное и постоянное чувство расположения к людям.

Впрочем, хотя и нет ничего смешнее исключительных притязаний на хороший тон и *светское обращение*, однако трудно, как я уже указывал выше, жить в большом свете, не усваивая некоторые из его заблуждений, так что даже люди ума, наиболее осторожные в этом отношении, не могут всегда избегнуть этого. Поэтому только большое накопление этих заблуждений заставляет народ считать щеголей фальшивыми и мелкими умами; я говорю, мелкими, ибо ум не велик и не ограничен сам по себе и заслуживает то или другое название в зависимости от величия или мелочности предметов, которыми он занимается; люди же света могут интересоваться только мелочами.

Из сказанного в двух последних главах явствует, что общественный интерес почти всегда отличен от интереса частных кругов, и поэтому люди, наиболее уважаемые в этих кругах, не всегда пользуются таким же уважением в глазах общества в целом.

А теперь я собираюсь показать, что образ и мысли людей, заслуживающих наибольшее уважение со стороны общества в целом, должен часто быть неприятен для частных сообществ.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ IX

1. Что особенно предрасполагает в пользу светских людей, это их непринужденная манера, жесты, которыми они сопровождают свою речь, — результат самоуверенности, сообщаемой высоким положением; в этом отношении они обыкновенно значительно превосходят писателей. Выразительная речь есть, по словам Аристотеля, главная строка в красноречии; поэтому в легких разговорах они должны превосходить писателей; но они лишаются этого преимущества, когда им приходится писать, и не только потому, что тогда их не поддерживают чары декламации, но и потому, что в письме они сохраняют разговорный стиль, а тот, кто пишет так, как говорит, пишет почти всегда дурно.

2 В этой главе я говорю только о тех светских людях, ум которых не развит.

3 См. «Le pedant joué» комедия Сирано де Бержерака.

4 Жители королевства Жюда (Iuida) при встрече спрыгивают со своих гамаков, становятся друг перед другом на колени, целуют землю, бьют в ладости, кланяются друг другу и затем встают; щеголи этой страны, наверно, думают, что их манера здороваться — самая вежливая:

Жители Манильских островов говорят, что вежливость требует делать, здороваясь, низкий поклон, прикладывать обе руки к щекам и поднимать одну ногу при согнутых коленях.

Дикарь из Нового Орлеана находит, что мы недостаточно вежливы по отношению к нашим государям. «Когда я приближаюсь, — говорит он, — к великому воюю, я приветствую его рычанием, затем я вхожу в его хижину, не бросая ни единого взгляда направо, где сидит начальник. Я повторяю приветствие, поднимая руки над головой и издавая троекратное рычание. Начальник легким вздохом приглашает меня сесть; я благодарю его новым рычанием. Прежде, чем ответить на вопрос начальника, я каждый раз рычу, и я прощаюсь с ним, рыча до тех пор, пока не выйду от него».

ГЛАВА X

Почему человек, которым восхищается народ, не всегда бывает уважаем светскими людьми

Чтобы нравиться частным сообществам, не требуется, чтобы горизонт наших идей был обширен, но надо знать так называемый свет, бывать в нем и изучать его; напротив, чтобы стать известным в искусстве или науке и тем заслужить уважение народа, следует, как я уже указывал выше, посвятить себя совершенно другого рода занятиям.

Предположим, что несколько человек хотят изучить науку о нравственности. Только с помощью истории и на крыльях размышлений они смогут подняться — в зависимости от первенства их умственных способностей — на различные высоты, с которых один открывает города, другой — народы, иной — какую-нибудь часть света, а кто-нибудь — и всю вселенную. Только с этой точки зрения и с такой высоты земля представится взорам философа сведенной к небольшому пространству, чем-то вроде местечка, населенного несколькими семьями, носящими название китайца, англичанина, француза, итальянца, — словом, именами, даваемыми различным народам. Созерцая с этой высоты зрелище различных нравов, законов, обычая, религий и страстей, человек становится почти нечувствительным и к похвалам, и к критике народов и, разорвав все нутры предубеждений, может беспристрастно исследовать всю противоположность людских взглядов, переходить, не испытывая удивления, от гарема к монастырю, с удовольствием созерцать всю необъятность людской глупости, взирать с одинаковым чувством на Алкивиада, обрезающего хвост собаке с целью посмеяться над

югкомыслием афинян, и на Магомета, уединяющегося в пещере, чтобы вызвать всеобщее поклонение.

Но подобного рода мысли приходят только в тишине и уединении. Если музы, по словам поэтов, любят леса, луга, источники, то потому, что там можно наслаждаться тишиной, которой нет в городах, и потому что размышления о самом себе, возникающие в человеке, оторвавшемся от мелких интересов общества, распространенные на всех людей вообще, припадлежат и правятся всему человечеству. И можно ли в этом уединении, когда человека невольно приводят к занятию искусством и наукой, интересоваться бесчисленными мелкими фактами и событиями, составляющими ежедневное содержание разговора светских людей?

Поэтому-то наши Корнели и Лафонтены казались иногда плоскими на ужинах в обществе людей хорошего тона; даже их доброту не способствовало этому. Могут ли люди света различить под покровом простоты знаменитого человека? Мало людей, понимающих истинное достоинство! По словам Тацита, большинство римлян, обманутые мягкостью и простотою Агриколы, не умели найти великого человека под его скромной внешностью; неудивительно, что великий человек, особенно если он скромен, радуется уже и тому, что ему удается избегнуть презрения частных сообществ, и не может ожидать сознательного уважения от большинства из них. Поэтому у него желание им нравиться весьма слабо. Он смутно понимает, что уважение этих сообществ доказало бы только сходство их идей с его идеями, а это сходство редко лестно для него; единственным желательным и достойным зависти может быть для него только общественное уважение, потому что оно есть дар всеобщей признательности и, следовательно, доказательство истинной заслуги. Поэтому-то великий человек, не способный ни на какое усилие, необходимое, чтобы понравиться частным сообществам, готов на все, чтобы заслужить всеобщее уважение. Как гордое сознание власти над государствами вознаграждало римлян за супортусть военной дисциплины, так благородная радость, доставляемая уважением, утешает людей даже в несправедливостях судьбы. Когда им удается достигнуть этого уважения, они считают себя обладателями самого желанного блага. Действительно, как бы мы ни напускали на себя равнодушные к общественному мнению, всякий из нас желает уважать самого себя и считает себя тем более заслуживающим уважения, чем больше он пользуется общим уважением.

Если бы житейские потребности, страсти и особенно лень не заглушали в нас эту жажду уважения, не было бы человека, который не употреблял бы усилий для достижения его и который не сделал бы общественного признания справедливости всякого мнения, которое он о себе имеет. Поэтому презрение к известности — пожертвование якобы ею ради богатства и положения всегда имеет вызвано сознанием невозможности достигнуть известности.

Мы вынуждены хвалить то, что имеем, и презирать то, чего не имеем. Это необходимое следствие гордости; мы возмущались бы против нее, если бы не были ею одурочены. В этом случае жестоко

объяснять человеку истинные причины обнаруживаемого им презрения, и порядочный человек никогда не позволит себе такого варварства. Всякий человек (позволю себе это попутное замечание), недурной от рождения, когда страсти не затмляют его рассудок, будет тем снисходительнее, чем более он просвещен. Это истина, которую я отказываюсь доказывать, тем более что, отдавая в этом отношении справедливость порядочному человеку, я в самих мотивах его снисхождения могу ясно указать причину, почему он придает мало значения уважению отдельных сообществ и, следовательно, почему он не пользуется у них успехом.

Если великий человек всегда снисходителен, если он считает благодеянием, когда люди не причиняют ему зла, и принимает как дар все, что ему оставляет их несправедливость; если он не торопится замечать чужие недостатки и проливает на них смягчающий бальзам жалости, — то это потому, что его возвышенный ум не позволяет ему останавливаться на пороках и смешных сторонах частных лиц, а только на пороках людей вообще. Не злобными и несправедливыми глазами зависти смотрит он на их недостатки, но ясным взором, каким могли бы рассматривать друг друга два человека, стремящихся познать человеческое сердце и ум как два предмета поучения и два живых курса по опытной нравственности; совсем иначе относятся люди посредственного ума, жадно стремящиеся к известности, которая от них убегает, пожираемые ядом зависти, постоянно подстерегающие чужие недостатки; эти люди лишились бы всякой возможности выдвинуться, если бы люди вообще перестали быть смешными. Не эти люди обладают знанием человеческой души. Они существуют для того, чтобы распространять известность талантов благодаря усилиям, которые они делают, чтобы заглушить их. Заслуга подобца пороху: взрыв его тем сильнее, чем плотнее он скжат. Впрочем, хотя эти завистники и вызывают чувство омерзения, все же их следует больше жалеть, чем порицать. Присутствие достойного человека им неприятно, они злятся и нападают на него, как на врага, потому что они несчастны; в таланте они преследуют оскорбление, наносимое заслугой их тщеславию; их преступления проистекают из чувства мести.

Другая причина снисходительного отношения достойного уважения человека есть знание человеческого ума. Он так часто испытывал его слабость, столько раз среди аплодисментов ареопага ему хотелось, подобно Фокиону, обернуться к своему другу и спросить его, не сказал ли он большой глупости, что он знает, как надо быть настороже, чтобы не впасть в тщеславие, и охотно извиняет в других заблуждения, в которые иногда впадал и сам. Он понимает, что никого не называли бы «умным человеком», если бы не существовало множество глупцов, и что в благодарность за это он должен без неудовольствия выслушать брань, расточаемую ему посредственными людьми. Когда эти последние хвалятся исподтишка, что они подымают насмех достойных людей, что они презирают ум, что они подходят на бахвалистующих безбожников, которые богохульствуют, а сами дрожат.

Последняя причина снисходительности человека, заслуживающего уважения, та, что он ясно видит необходимость человеческих суждений. Он знает, что наши идеи столь необходимо вытекают из того, в каком обществе мы живем, что читаем, какими предметами мы окружены, что верховный разум мог бы отгадать наши мысли, зная, чем мы были окружены, и, зная наши мысли, догадаться, какого рода и сколько предметов доставил нам случай.

Умный человек знает, что люди таковы, какими они должны быть, что всякая ненависть к ним несправедлива, что дурак делает глупости, подобно тому как дикое дерево приносит горькие плоды; нападать на него — все равно, что упрекать дуб за то, что он дает ягоды, а не оливки, и если посредственный человек кажется ему глупцом, то сам он кажется тому сумасшедшим. Итак, просвещение всегда ведет к снисходительности, если только не вмешиваются страсти. Но эта снисходительность, основанная главным образом на высоких чувствах души, вдохновленной любовью к славе, делает просвещенного человека равнодушным к уважению частных сообществ. А это равнодушие — в связи с тем, что образы жизни и занятий, необходимые для того, чтобы нравиться так называемому хорошему обществу, различны, — приведет к тому, что человек, достойный уважения, будет неприятен для светских людей.

Общий вывод из сказанного мною об уме, с точки зрения отдельных сообществ, тот, что всякое общество, руководясь исключительно своими частными интересами, измеряет масштабом этих интересов степень уважения, оказываемого им различным видам идей и умов. О небольших сообществах можно сказать то же, что о частном человеке: если этот последний ведет довольно важный процесс, он будет принимать своего адвоката с большей радостью, оказывать ему больше почтения и уважения, чем если бы ему пришлось принимать Декарта, Локка или Корнеля; но когда процесс благополучно закончен, он станет этим последним оказывать больше уважения. Различие в его положении будет влиять на различие и его приеме.

Заканчивая эту главу, я хотел бы сказать несколько успокаивающих слов тому небольшому числу скромных людей, которые, будучи заняты делами или заботой о своем благосостоянии, не могли проявить больших талантов и поэтому, на основании выше изложенных принципов, не могут знать, достойны ли они уважения как люди умные. Как ни желал бы я воздать должное их уму, я должен признать, что человек, объявляющий себя весьма умным, но не проявивший никакого таланта, подобен человеку, утверждающему свое благородное происхождение, не имея документов, доказывающих это. Общество признает и уважает только те достоинства, которые доказаны на деле. Когда ему приходится судить о людях различного положения, оно спрашивает у военного: какую вы одержали победу? У высокопоставленного человека: чем вы облегчили нужды народа? У частного лица: какое из ваших сочинений послужило к просвещению человечества? Того, кому нечего ответить на эти вопросы, общество не знает и не уважает.

Я знаю, что многие люди, прельщенные обаянием власти, окружающей ее роскошью, надеждой на милости, которые высокопоставленные люди могут раздавать, машинально признают высокое достоинство там, где они видят большое могущество. Но их похвалы, такие же преходящие, как и влияние тех, кому они их расточают, не импонируют здравой части общества. Общество, защищенное от всякого соблазна, чуждое какой-либо выгоде, судит, как иностранец, который считает достойным уважения только человека, выдающегося своими талантами; только его он усердно ищет, и это усердие особенно лестно тому, на кого оно обращено¹; если при этом человек не имеет никакого сана, то это верный знак подлинной заслуги.

Кто хочет точно знать, чего он стоит, может узнать это только от народа и, следовательно, должен отдать себя на его суд. Известно, что часто возбуждают насмешки те авторы, которые претендуют на уважение своего народа; но эти насмешки не производят никакого впечатления на человека, заслуживающего уважения; он видит в них результат зависти мелких умов, которые, воображая, что если бы никто не представлял доказательств своей заслуги, то они могли бы претендовать на нее, как и всякий другой, — не выносят, когда кто-либо указывает на подобного рода свидетельства. Однако без этих доказательств никто не заслуживает и не получает уважения общества.

Присмотримся к великим умам, столь превозносимым в частных кружках, и мы увидим, что общество считает их посредственностью и что репутацией умных людей, которой их награждают некоторые люди, они обязаны только своей неспособности проявить свою глупость хотя бы в плохих произведениях. Поэтому даже наиболее обещающие среди этих кружковых гениев (*merveilleux*) являются в умственном отношении, осмелюсь сказать, только *возможностями*.

Как ни несомненна эта истина и как ии правы скромные люди, не признающие заслуги за тем, кто не прошел через горнило общественного мнения, тем не менее в некоторых случаях человек может считать себя в умственном отношении действительно достойным всеобщего уважения: во-первых, когда его больше всего привлекают самые уважаемые его народом и иностранными народами люди; во-вторых, если его хвалит², как говорит Цицерон, человек, уже заслуживший похвалу; в-третьих, когда, наконец он заслужил уважение людей, проявивших в своих печатных трудах или на высоких постах большой талант; уважение их к нему указывает на большое сходство между их идеями и его собственными, а это сходство дает если и не полную уверенность, то во всяком случае большую вероятность, что если бы он представал, подобно им, перед публикой, то заслужил бы, как и они, ее уважение.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ X

¹ Никакая похвала не была так лестна для Фонтемеля, как вопрос одного шведа, который, приехав в Париж, спросил служащих парижской заставы,

где живет г. де Фонтенель. Когда же они не сумели ему ответить, то он воскликнул: «Как? Вы, французы, не знаете, где живет один из ваших знаменитейших граждан? Вы недостойны такого человека!»

² Степень ума, необходимая, чтобы нам понравиться, является довольно точной мерой степени нашего собственного ума.

ГЛАВА XI

О честности по отношению к народу

В этой главе речь идет не о честности по отношению к частному лицу или небольшому обществу, но об истинной честности по отношению к народу. Этот вид честности — единственный, заслуживающий это название и получающий его от всех. Только рассматривая честность с этой точки зрения, можно составить ясные идеи и порядочности и найти путь к добродетели.

И в этом случае суждения народа, подобно суждениям частных сообществ, определяются исключительно соображениями выгоды: только полезные для него действия он называет добродетельными, великими и героическими, степень своего уважения за тот или иной поступок он измеряет не степенью силы, мужества и благородства, необходимых для его совершения, но степенью важности этого поступка и извлекаемой им из него выгоды.

В самом деле, предположим, что человек, поощряемый присутствием армии, борется один против трех раненых людей; это поступок, без сомнения, заслуживающий уважения, но на него способны тысячи из наших гренадеров, и из-за него их имя не попадет в историю; но если от успеха этой борьбы зависит судьба империи, которая должна покорить весь мир, тогда Гораций становится героем: его имя становится знаменитым, и о Горации и о восхищении, которое его поступок возбудил в его согражданах, узнают самые отдаленные века.

Предположим, что два человека бросились в пропасть, как поступили Сафо и Курций: первая — чтобы избавиться от любовных страданий, второй — чтобы спасти Рим; Сафо называют безумной, а Курция героем. Тщетно некоторые философы будут называть оба эти поступка безумными; народ лучше их понимающий собственные выгоды, никогда не назовет безумными тех людей, которые к его выгоде поступают, как безумные.

ГЛАВА XII

Об уме по отношению к народу

Применим к уму сказанное мною о добродетели; мы увидим, что народ неизменен в своих суждениях и считается только со своей выгодой; его уважение к различным видам проявления ума не пропорционально неодинаковым затруднениям, которые приходится преодолевать, т. е. числу и тонкости идей, необходимых для успеха,

а пропорционально только большей или меньшей выгода, из него вытекающей.

Если невежественный полководец выигрывает три сражения у еще более невежественного полководца, он будет пользоваться, по крайней мере в продолжение своей жизни, такой славой, какой не дождется величайший в мире художник. А между тем этот последний заслужил звание великого художника только благодаря своему превосходству над рядом талантливых людей и благодаря тому, что он отличился в искусстве, хотя и менее необходимом, но, пожалуй, более трудном, чем военное. Я говорю — более трудном — потому, что на пороге истории мы встречаем очень много людей, вроде Эпаминонда, Лукулла, Александра, Магомета, Спинозы,⁷ Кромвеля, Карла XII, заслуживших репутацию великих полководцев в тот самый день, когда они командовали армиями и выиграли сражение; но нет ни одного художника, как бы он ни был одарен от природы, который бы был признан знаменитым живописцем, раньше чем он посвятит десять или двенадцать лет своей жизни на предварительное изучение своего искусства. Почему же невежественного генерала почитают более, чем искусственного живописца?

Это неравномерное распределение славы, столь, повидимому, несправедливое, зависит от того, что неоднакова выгода, доставляемая этими двумя родами людей народу. Можно также спросить: почему народ считает талантливого дипломата выдающимся умом человека, ловко ведущего переговоры с иностранными государствами, и отказывает в этом звании знаменитому адвокату? Разве важность дел, поручаемых первому, доказывает превосходство его ума над вторым? Разве для того, чтобы разобраться в тяжбе между двумя соседними сеньерами и закончить ее, требуется меньше силы и тонкости ума, чем для того, чтобы примирить два народа? Почему же народ столь склонное уважение к адвокату проявляет так щедро по отношению к дипломату? Потому, что народ, если только он не ослеплен какими-нибудь предрассудками или суевериями, способен, сам того не подозревая, делать весьма тонкие заключения о том, что для него полезно. Истинный, побуждающий его судить обо всем с точки зрения своей выгоды, подобен эфиру, незаметно проникающему во все тела. Народ меньше нуждается в выдающихся художниках и адвокатах, чем в искусных полководцах и политиках, поэтому таланты этих последних он будет окружать настолько большим уважением, чтобы оно служило побудительной причиной для граждан приобретать их.

Куда бы мы ни кинули взгляд, мы всегда увидим, что народ в оказываемом им уважении всегда руководится собственным интересом.

Если голландцы воздвигают памятник Вильгельму Букельсту (Backelst), открывшему способ соления и упаковки сельдей, то их к этому побуждает не гениальность, необходимая для этого открытия, но важность самого открытия и те выгоды, которые оно принесло народу.

Во всех открытиях эта выгода представляется настолько важной, что она удесятеряет заслугу даже в глазах людей благородных.

Когда августинцы послали в Рим депутацию, чтобы испросить у папы разрешение стричь бороду, то кто знает, не выказал ли отец Евстахий в этих переговорах большее толкости и ума, чем президент Жаннен в своих переговорах с Голландией? Никто этого не знает. Чему же приписать, с одной стороны, насмешки, с другой — уважение, возбуждаемые этими двумя депутациями, если не различию предметов их переговоров. За крупными следствиями мы всегда предполагаем крупные причины. Некто занимает высокое положение; благодаря этому он руководит большими делами при малом уме: толпа будет считать его более умным, чем человека, который на более низком посту и при менее благоприятных условиях может при большом уме делать только незначительные дела. Этих людей можно уподобить двум неравным грузам, подвешенным к разным точкам длинного рычага, причем более легкая гиря, подвешенная на одном конце его, перевешивает вдвадцатеро более тяжелую, подвешенную недалеко от точки опоры.

Итак, если народ, как я доказал, судит, руководясь только своим интересом, и равнодушен ко всякого рода другим соображениям, то этот же самый народ, восторженно восхищающийся полезными для него искусствами, не должен требовать от художников, занимающихся ими, той высокой степени совершенства, которую он категорически требует от тех, кто занимается менее полезными искусствами, в которых часто труднее бывает достигнуть успеха. Поэтому людей, посвящающих себя более или менее полезным искусствам, можно сравнить или с грубыми инструментами, или с ювелирными вещицами; от первых требуется только, чтобы сталь была хорошо закалена; вторые тем более ценные, чем они совершилнее. Поэтому наше тщеславие втайне чувствует себя тем более польщенным успехом, чем менее полезен для народа тот жанр, в котором этот успех достигнут, чем труднее было достигнуть одобрения публики, наконец, чем больше ума и личных качеств этот успех предполагает.

В самом деле, как различны требования публики, когда она судит о заслугах автора или о заслугах полководца! Когда она судит о первом, она сравнивает его со всеми людьми, достигшими превосходства в данном жанре, и награждает его уважением, только если он превосходит или, по крайней мере, равняется своим предшественникам. Когда же она судит о полководце, она, высказывая ему похвалу, не спрашивает, так же ли он искусен, как Сципион, Цезарь или Серторий. Если драматический писатель напишет хорошую трагедию по плану, уже известному, то скажут: это гнусный плагиат; но, если полководец при ведении кампании пользуется планом и стратегемами другого генерала, то его за это часто еще больше уважают.

Пусть автор получит премию, из-за которой конкурировали шестьдесят писателей, но если публика не признает за остальными

никакого достоинства или если их произведения слабы, то автор и его успех будут скоро забыты.

Но когда полководец одерживает победу, публика чувствует его, не справляясь об искусстве и мужестве побежденных. Потребует ли она от полководца того тонкого и деликатного чувства славы, которое заставило Монтекукули отказаться от командования армиями, когда умер Тюренн? «Мне уже не могут, — сказал он, — противопоставить врага, достойного меня».

Итак, народ взвешивает на весьма различных весах заслуги писателя и полководца. Почему же он в первом презирает посредственность, которой он часто восхищается во втором? Потому что он не извлекает никакой пользы из посредственного писателя, а из посредственного полководца, одерживающего иногда, несмотря на свое невежество, победу, он может извлечь большую выгоду. Поэтому он заинтересован хвалить в одном то, что он презирает в другом.

К тому же, так как народное благополучие зависит от достоинства людей, занимающих высокое положение, а такое редко бывает занято великими людьми, то для того чтобы заставить людей посредственных проявлять в своей деятельности всю осторожность и активность, на которые они способны, необходимо льстить им надеждой на большую славу. Только эта надежда может поднять до степени посредственности людей, которые никогда не достигли бы ее, если бы публика явилась слишком строгим ценителем их заслуг и отвратила бы их от стремления заслужить ее уважение, обставив достижение его большими трудностями.

Вот причина скрытой снисходительности, с которой публика судит о высокопоставленных людях, — снисходительности, иногда слепой в народе, но сознательной у умного человека. Он знает, что людей воспитывают окружающие их предметы, что все воспитание вельмож проходит под знаком непрестанной лести; поэтому от них несправедливо требовать столько же таланта и добродетели, как от частных лиц.

Если просвещенный зритель освистывает во французском театре то, чему он аплодирует в итальянском, если в красивой женщине и миловидном ребенке нам все кажется грациозным, умным и мылым, то почему же не проявлять такую же снисходительность к вельможам? В них справедливо можно восхищаться талантами, которые обычно свойственны частным лицам низшего сословия, ибо им труднее их приобретать. Избалованные льстецами, подобно тому, как хорошеные женщины избалованы поклонниками, к тому же занятые тысячами развлечений, раздираемые множеством забот, они не имеют досуга для размышлений, как то имеют философы; не имеют свободного времени на то, чтобы приобретать множество идей¹ и раздвигать границы ума своего и ума человеческого. Не вельможам обязаны мы открытиями в области искусств и наук, не их рука начертала планы земли и неба, построила корабли, воздвигла дворцы, выковала лемех у плуга, даже не они написали первые законы; это философы вывели человеческие общества из

дикого состояния и довели их до того состояния совершенства, в котором они теперь, повидимому, находятся. Если бы нас поддерживал на этом пути только ум людей власть имущих, мы не имели бы ни хлеба для пропитания, ни ножниц, чтобы стричь ногти.

Превосходство ума, как я это докажу в следующем рассуждении, зависит главным образом от известного стечения обстоятельств, которое редко выпадает на долю людей низшего сословия и почти никогда на долю вельмож. Поэтому вельмож следует судить снисходительно и помнить, что на высоком посту даже посредственный человек весьма редок.

Поэтому-то публика, особенно во времена тяжелых бедствий, расточает им бесконечно много похвал. Сколько похвал выпало на долю Варрона за то, что он не потерял надежды на спасение республики! В тех условиях, в каких в то время находились римляне, истинно доблестный человек кажется богом.

Если бы Камилл предупредил несчастия, последствия которых он затем пресек, если бы этот герой, избранный в полководцы в битве при Аллии, разбил галлов тогда же, а не у подножия Капитолия, то он, подобно сотне других полководцев, не получил бы титула второго основателя Рима. Если бы выигранное де Вилларом сражение при Денене произошло во время благоденствия Франции, а не в то время, когда она была открыта для нашествия врага, то его победа была бы не так важна, благодарность народа менее чистка и слава этого полководца менее велика.

Вывод из всего этого тот, что общество судит, соображаясь с своим интересом; если потерять из виду этот интерес, не остается ясной идеи ни о добродетели, ни об уме.

Если народы, находящиеся под игом деспотической власти, заслуживают презрение других народов, если в государствах Могола и Марокко встречается мало выдающихся людей, то это происходит потому, что ум, как я выше указывал, не будучи сам по себе ни великим, ни малым, заимствует то или другое из этих наименований от величия или ничтожества наблюдаемых им вещей. А в большинстве неограниченных монархий граждане не могут, не возбуждая неудовольствия деспота, заниматься изучением естественного права, гражданского права, изучением нравственности и политики; они не смеют ни доходить до первых принципов этих наук, ни восходить до великих идей: поэтому они не могут заслужить наименования великих умов. Но, — скажут мне, — если все суждения народа подчиняются закону его заинтересованности, то в этом же самом принципе общего интереса должна заключаться и причина всех противоречий, наблюдавшихся, повидимому, в этом отношении во взглядах народа. Чтобы ответить на это, я буду продолжать начатую мною параллель между полководцем и писателем и поставлю себе следующий вопрос: если военное искусство есть самое полезное из всех искусств, то почему же память о многих полководцах, слава которых при жизни превосходила славу людей, знаменитых в иных областях, и об их делах погребена в одной могиле

с ними самими, тогда как слава писателей, их современников, сохранилась и по сие время? Ответ на этот вопрос таков: потому что, за исключением полководцев, действительно усовершенствовавших военное искусство, вроде Пирра, Ганнибала, Густава-Адольфа, Конде, Тюренна, которые должны быть поставлены в ряды образцов и изобретателей в этом искусстве, остальные, менее искусные полководцы перестают по своей смерти быть полезными своему народу и поэтому не имеют уже права на его признательность, а, следовательно, и на его уважение. Напротив, писатели и после смерти не перестают быть полезными народу; они оставляют в его руках произведения, заслужившие его уважение. А так как благодарность должна существовать до тех пор, пока сохраняется благодеяние, то их слава может померкнуть только в тот момент, когда их произведения перестанут быть полезными для их родины. Следовательно, исключительно только тому, что писатель и полководец являются после смерти неодинаково и различным образом полезными для своего народа, следует приписать это чередование превосходства их славы и то, что в различное время они пользуются то большим, то меньшим уважением.

По той же причине многие государи, которым поклонялись, как богам, пока они царствовали, были забыты немедленно после их смерти, а имена знаменитых писателей, которые при жизни весьма редко ставились наряду с именами государей, после их смерти часто ставились наряду с именами самых великих государей; поэтому же имя Конфуция более известно и почитаемо в Европе, чем имя какого-либо из китайских императоров, а имена Горация и Вергилия цитируются наравне с именем Августа.

Применим к расстоянию в пространстве то, что я сказал относительно расстояния во времени: спросим себя, почему знаменитый ученый менее уважаем в своем государстве, чем искусственный министр, и почему Рони, более почитаемый у нас, чем Декарт, за границей пользуется меньшей славой? Поэтому, — отвечу я, — что великий министр полезен только в своем отечестве, Декарт же, усовершенствовавший орудие, необходимое для процветания искусства и наук, приучивший человеческий ум к большему порядку и правильности, полезен всему миру и, следовательно, должен быть более уважаем всем миром.

Но, — скажут мне, — если во всех своих суждениях народы принимают во внимание только свой интерес, почему же они меньше уважают землемельца и винодела, которые полезнее математика и поэта?

Потому, что народ смутно чувствует, что уважение является в его руках воображаемым сокровищем, которое имеет реальную ценность только тогда, когда раздается умно и бережливо; поэтому он не должен воздавать дань уважения трудам, к которым способны все люди. В этом случае уважение, сделавшись очень ординарным, потеряло бы, так сказать, всю свою ценность; оно перестало бы оплодотворять зародыши ума и добродетелей, заключенные в каждой душе, и не дало бы во всех отраслях выдающихся людей, кото-

рых одушевляет стремление к славе и трудность достигнуть ее. Народ понимает, что он должен почитать само искусство земледелия, а не его артиста, и что, если некогда под именем Цереры и Вакха были обоготворены первый хлебопашец и первый винодел, то эта честь, столь справедливо оказанная изобретателям агркультуры, не должна распространяться на чернорабочих.

Во всех странах, где крестьянин не слишком обременен налогами, достаточно надежды на прибыль, связанную с жатвой, чтобы побудить его к обработке земли: отсюда я заключаю, что в некоторых случаях, как это прекрасно показал уже знаменитый Люкло², интерес народов должен заставить их согласовать степень своего уважения не только с полезностью какого-нибудь искусства, но также и с его трудностью.

Несомненно, собрание фактов, заключающееся в «Bibliothque orientale», так же поучительно, приятно для чтения, а следовательно, полезно, как и какая-нибудь прекрасная трагедия. Почему же публика больше почитает автора трагедий, чем ученого компилятора? Потому что публика, видя, что много имеется драматических писателей и что лишь немногие из них пользуются успехом, пришла к убеждению в трудности этого искусства и понимает, что для того чтобы создать Корнелей, Расинов, Кребильонов и Вольтеров, она должна окружать их успех гораздо большей славой, и что, напротив, достаточно и слабой степени уважения, чтобы получить в избытке компилятивные труды, на которые способны все люди и которые являются в сущности только делом времени и терпения.

Те ученые, которые совершенно лишены философских дарований и умеют в своих сборниках только собирать факты, разбросанные в том, что осталось от древности, относятся к духовно одаренным людям так, как рабочие из каменоломни к архитектору: они снабжают материалом для зданий, без них архитектор был бы бесполезен; если мало людей, способных стать хорошими архитекторами, то все могут добывать камень, поэтому в интересах публики оказывать первым уважение, пропорциональное трудности их искусства. По той же причине, а также потому, что способность к изобретательности и систематичности приобретается только путем долгих и тяжелых размышлений, такого рода способности ценятся выше всех других; наконец, при почти равной полезности различных отраслей творчества публика сообразует степень своего уважения с неодинаковой трудностью их.

Я говорю — при почти равной полезности, ибо если бы можно было представить себе какие-нибудь абсолютно бесполезные умственные способности, то, как ни трудно было бы выдвинуться в этой области, публика не выказала бы ни малейшего уважения к такого рода таланту; она отнеслась бы к человеку, приобретшему его, так, как Александр отнесся к человеку, который с поразительной ловкостью метал семена проса сквозь игольное ушко и которого этот государь наградил мерой проса.

Итак, противоречие, наблюдаемое иногда между интересами и суждениями публики, всегда только кажущееся. Общественный

интерес является единственным критерием уважения, оказываемого различным видам умственной деятельности, что я и предполагал доказать.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XII

¹ Это, вероятно, и заставило Николя утверждать, что бог одарил умом людей из простонародья, «чтобы вознаградить их, говорит он, за те преимущества, которыми пользуются вельможи». Чтобы ни говорил Николь, я не думаю, чтобы бог осудил вельмож на посредственность. Если большинство их мало просвещены, то лишь потому, что они по собственному желанию остаются невежественными и не приобретают привычки к размышлению. Прибавлю к этому, что совсем не в интересах низших классов, чтобы высшее сословие оставалось непросвещенным.

² См. его прекрасный труд, озаглавленный «*Considérations sur les moeurs de ce siècle*».

ГЛАВА XIII

О честности в различные эпохи и у различных народов

Всегда и всюду честность есть только привычка к поступкам, полезным для государства. Хотя это утверждение вполне бесспорно, я все же постараюсь дать ясные и точные представления о добродетели, чтобы сделать большей очевидностью истинность этого утверждения.

Для этого я изложу два мнения по этому предмету, которые до сего времени разделяют моралистов.

Одни из них утверждают, что мы имеем о добродетели абсолютную идею, не зависимую от времени и от различных форм правления, что добродетель всегда едина и неизменна. Другие, на против, утверждают, что каждый народ представляет ее себе различно.

В доказательство своего мнения первые приводят оструумные, но малопонятные фантазии платонизма. Добродетель, по их мнению, есть не что иное, как сама идея порядка, гармонии и самой сущности красоты; но эта красота есть тайна, о которой они не могут дать точной идеи, поэтому они и не основывают своей системы на знании человеческого сердца и ума, почерпаемом из истории.

Вторые, и среди них Монтень, оспаривая мнение первых, пользуются более закаленным орудием, чем рассуждения, а именно — фактами; они указывают на то, что некоторые поступки считаются добродетельными на севере и преступными на юге, из чего они заключают, что идея добродетели вполне произвольна.

Таковы взгляды этих двух групп философов: первые блуждают в лабиринте словесной метафизики, потому что не опираются на историю, вторые, недостаточно глубоко исследуя исторические факты, думают, что человек поступает хорошо или дурно, руководствуясь только капризом. Оба эти философских направления одинаково впадают в ошибку; но они избегли бы ее, если бы внимательно вникли в мировую историю. Тогда они поняли бы, что

время необходимо приводит, как в физическом, так и в духовном мире к революциям, изменяющим лик государств; что при крупных потрясениях интересы народа всегда сильно изменяются; что одни и те же поступки могут быть для него то полезными, то вредными, и поэтому называться то добродетельными, то порочными.

Поэтому, если бы они захотели составить о добродетели чисто отвлеченную и независимую от практики идею, они должны были бы признать, что под словом «добродетель» следует понимать только стремление к всеобщему счастью, что, следовательно, предмет добродетели есть общественное благо и что предписываемые ею поступки суть средства для достижения этой цели; что поэтому идея добродетели не есть нечто произвольное и что всегда и всюду все люди, — по крайней мере те, которые живут обществами, — должны были составить себе одинаковую идею о добродетели, и, наконец, что если народы представляли себе ее в различных формах, то это потому, что они принимали за добродетель различные средства, которыми они пользуются для достижения своей цели.

Я думаю, что это определение добродетели дает о ней ясную и простую идею, согласную с опытом, а только это согласие и подтверждает истинность какого-нибудь взгляда.

Пирамида Венеры-Урании, вершина которой терялась в облаках, а основание опиралось на землю, есть эмблема всякой системы, которая должна рухнуть во время постройки, если не будет под нею несокрушимого основания из фактов и опыта. И я тоже для доказательства своей теории обращаюсь к фактам, именно к безрассудству и причудливости различных законов и обычая, не нашедших до сих пор объяснения.

Какими бы глупыми ни считать народы, несомненно, что, руководимые своей выгодой, они не могли без достаточных оснований усвоить нелепые обычаи, которые мы встречаем у некоторых из них, своеобразие этих обычаев зависит от разнообразия интересов различных народов. В самом деле, если люди всегда смутно понимали под добродетелью стремление к общественному счастью, если поэтому добродетельными они называли поступки, полезные для отечества, и если идея полезности всегда втайне соединялась с идеей добродетели, то можно утверждать, что самые нелепые и даже самые жестокие обычаи, как я это докажу на нескольких примерах, всегда основывались на действительной или мнимой пользе их для общественного блага.

В Спарте было дозволено воровство: там уличенного вора паказывали только за его неловкость¹, — разве это не странный обычай? Однако, если мы вспомним законы Ликурга и презрение, которое питали в этой республике к золоту и серебру, и если мы вспомним, что там закон допускал к обращению только монеты из тяжелого и хрупкого железа, то станет понятно, что воровать там можно было только кур и овощи. Эти кражи, совершаемые всегда с большой ловкостью² и часто отрицаемые с большой твердостью, приучали лакедемонян к храбрости и бдительности; следовательно, закон, позволявший кражу, мог быть очень полезен.

народу, которому приходилось опасаться и изменения илотов, и властолюбия персов, и который мог противопоставить покушениям первых и громадным армиям вторых только оplot этих двух добродетелей. Таким образом, несомненно, что воровство, вредное для богатого народа, но полезное в Спарте, должно было пользоваться там уважением.

В конце зимы, когда недостаток продовольствия заставляет дикарей покидать хижины и голод гонит их на охоту за новыми припасами, некоторые дикие племена перед отправлением собираются и заставляют своих стариков взбираться на дубы, которые они затем сильно трясут; большинство стариков падает с деревьев и их немедленно убивают. Факт этот известен; названный обычай кажется на первый взгляд отвратительным: однако, добираясь до источника его, мы с удивлением убеждаемся, что дикарь считает, что падение этих несчастных старцев доказывает их неспособность перенести все тяготы охоты. Следует ли их оставлять в хижинах или в лесах в добычу голода и диких зверей? Дикарь предпочитает избавить их от долгих и мучительных страданий и посредством быстрого и необходимого убийства избавляет своего отца от медленной и слишком жестокой смерти. Вот причина этого отвратительного обычая, вот каким образом бродячий народ, которого охота и недостаток жизненных припасов заставляет полгода проводить в необозримых лесах, приходит, так сказать, к необходимости совершить это варварство, вот почему отцеубийство совершается в этих странах на основании того же принципа человечности, который заставляет нас смотреть на него с ужасом³.

Но, не прибегая к примеру диких народов, бросим взгляд на такую цивилизованную страну, как, например, Китай, — спрашивается, почему там отцы имеют право жизни и смерти над детьми. Оказывается, что поля этого государства, несмотря на всю их обширность, только с трудом могут удовлетворять нужды его многочисленных жителей. А так как слишком большое несоответствие между многочисленностью населения и плодородием земли необходимо должно бы вызвать войны, гибельные для этого государства, а может быть, даже и для всего мира, то становится понятным, что в минуту угрозы голодом, для того чтобы предупредить множество бесполезных убийств и несчастий, китайский народ, человечный в своих намерениях, но варварский в выборе средств, движимый чувством мало просвещенной гуманности, мог счесть эти жестокости необходимыми для спокойствия мира. «Я жертвую, решил он, несколькими несчастными жизнями, которые, находясь в младенчестве и неведении, не сознают ужаса смерти, т. е. того, что, может быть, самое в ней страшное»⁴.

Без сомнения, желанию воспрепятствовать слишком большому размножению людей, т. е. следовательно, той же причине, следует приписать нелепое почитание у некоторых племен Африки отшельников, не позволяющих себе сношений с женщинами, но позволяющих себе сношения с животными.

Тот же мотив общественного интереса и желание охранить цело-

мудренную красоту от шокущей невоздержности заставили церкви не только дозволилось, но и вменялось в обязанность иметь сожительницу⁵.

На Коромандельском берегу, где женщины с помощью яда отделялись от невыносимого брачного ига, тот же самый мотив заставил законодателя прибегнуть к средству не менее гнусному, чем и само зло, и обеспечить жизнь мужей, приказав сжигать жен на могилах их мужей⁶.

Все приведенные мною факты доказывают в согласии с моей теорией, что даже самые жестокие и перазумные обычаи имеют своим источником желание действительной или, по крайней мере, мнимой общественной пользы.

Но, возразят мне, эти обычаи, тем не менее, отвратительны и нелепы. — Да, потому что мы не знаем, почему они установлены, и потому что эти обычаи, освященные стариной или суеверием, сохранились вследствие небрежности или же слабости правительства долгое время после того, как причины их установления исчезли.

Можно ли сомневаться в том, что когда Франция представляла один обширный лес, пожалование монашеским орденам необработанных земель было дозволительно, но что продолжение этого пожалования в настоящее время настолько же пелено и вредно для государства, насколько оно было разумно и полезно в то время, когда земли Франции были еще невозделаны. Все обычаи, приносящие только временные выгоды, подобны лесам, которые следует снимать, когда дворцы отстроены.

Чрезвычайно умно поступил основатель государства иников, объявив перувианцам, что он сын солнца и убедив их, что он принес законы, продиктованные солнцем, его отцом. Эта ложь внушила дикарям большое уважение к его законам, и она была слишком полезна для возникающего государства, чтобы не признать ее добродетельной. Но, заложив основы прочного законодательства, обеспечив самой формой правления точное соблюдение законов, этот законодатель, если бы он был менее честолюбив и более просвещен, должен был бы предвидеть те перемены, которые должны были произойти в нравах и интересах его народов, и те изменения, которые вследствие этого следовало сделать в его законах; он должен был бы раскрыть этим народам, сам или через своих преемников, полезную и необходимую ложь, к которой ему пришлось прибегнуть для того, чтобы сделать их счастливыми; он должен был бы этим признанием снять со своих законов характер божественности, который, делая их священными и ненарушимыми, препятствовал всякой реформе и который, может быть, со временем сделал бы эти законы вредными для государства, если бы, вследствие нашествия европеизцев, это государство не было уничтожено вскоре после того, как оно образовалось.

Интересы государств, как и все человеческое, подвержены множеству изменений. Одни и те же законы и обычаи могут быть то полезными, то вредными одному и тому же народу; отсюда я заклю-

Чаю, что эти законы должны быть то принимаемы, то отвергаемы, и что одни и те же поступки могут быть называемы то добродетельными, то порочными, — предположение, которое нельзя опровергнуть иначе, как допустив, что существуют поступки добродетельные и в то же время вредные для государства, а это значило бы подрывать основы всякого законодательства и всякой общественной жизни.

Общее заключение из всего мною сказанного то, что добродетель есть не что иное, как только желание счастья людям, и что поэтому честность, которую я рассматривала как осуществленную добродетель, является у всех народов и при различных формах правления не чем иным, как привычкой к полезным для своего государства поступкам⁷.

Хотя это заключение вполне очевидно, но так как нет народа, который не знал бы и не смешивал бы два рода добродетели — один, который я назову добродетелью, основанной на предрассудке, а другой — истинной добродетелью, — то я считаю себя обязанным, для того чтобы ничего не упустить по этому предмету, рассмотреть эти два различных вида добродетели.

ПРИМЕЧАНИЕ К ГЛАВЕ ХИ

¹ В королевстве Конго воровство также в чести, но оно не должно быть совершаемо тайком от владельца похищаемой вещи; следует всегда похищать насильно; этот обычай, говорят там, поддерживает мужество в людях. У скифов, напротив, самым большим преступлением считалось воровство; и их образ жизни требовал, чтобы оно было строго наказуемо: их стада паслись без призыва по степям; как легко было их похищать, и какой был бы беспорядок, если бы эти кражи были терпимы. Поэтому, говорит Аристотель, у них закон был поставлен на страже стад.

² Всем известен рассказ о молодом лакедемонянине, который, не желая сознаться в краже, дал, без единого крика, изгрызть свой живот молодой лисице, которую он украл и спрятал под платьем.

³ В королевстве Жюда в Африке не подают никакой помощи больным: их предоставляют самим себе, а когда они выздоравливают, они продолжают жить попрежнему дружно с теми, кто их покинул во время болезни.

Жители Конго убивают тех больных, которые, по их мнению, не могут выздороветь: это для того, говорят они, чтобы избавить их от мучительной агонии.

На острове Формоза опасно больному накидывают на шею веревку и душат его, чтобы избавить его от мучений.

⁴ В католических странах чтобы отделаться от девушек, их принуждают к пострижению, благодаря чему многие из них ведут несчастную жизнь, полную отчаяния. Может быть, наш обычай отделяться от них — более варварский, чем обычай китайцев.

⁵ В своем послании к швейцарским кантонам Цвингли напоминает им составленный их предками указ, вменявший в обязанность каждому священнику иметь сожительницу, из боязни, чтобы он не совершил покушения на целомудрие своего ближнего (Fra Paolo. Hist du Conc. de Trente, lib. I).

В 17-м правиле Толедского собора сказано: «Тот, кто довольствуется одной женщиной, как супругой или сожительницей, по собственному выбору, не будет отлучен от причастия». Церковь относилась терпимо к сожительницам очевидно, для того, чтобы предохранить замужних женщин от посягательства на них.

⁶ Женщины племени Мезурадо сжигают вместе с их мужьями. Они сами требуют этой участи, но в то же время делают все возможное, чтобы ее избежать.

⁷ Полагаю, что нет необходимости указывать, что я здесь говорю о добродетели гражданской, а не религиозной, которая ставит себе иные цели, предписывает себе иные обязанности и стремится к более возвышенным предметам.

ГЛАВА XIV

Добродетели, основанные на предрассудке, и истинные добродетели.

Я называю добродетелями, основанными на предрассудке, те, строгое выполнение которых никаким образом не способствует общественному благу; таковы, например целомудрие весталок, умерщвление илоти безрассудными факирами, населяющими Индию; эти добродетели, будучи ненужными, а часто даже вредными для государства, являются пыткой для тех, кто их соблюдает. Но у большинства народов эти ложные добродетели в большем почете, чем истинные, а люди, практикующие их, пользуются большим уважением, чем хорошие граждане.

Никого так не уважают в Индостане, как браминов ¹, поклоняются даже их половым частям ²; там почитают также эпитимии, которые они на себя налагают, а эти эпитимии действительно ужасны ³: одни всю свою жизнь проводят привязанными к дереву, другие раскачиваются над огнем; иные носят страшно тяжелые цепи; иные пытаются лишь жидкой пищею; другие запирают себе рот висячим замком, а иные привязывают колокольчик к препутию, и благочестивые женщины ходят целовать этот колокольчик; а отцы считают за честь, чтобы факиры имели сношения с их дочерьми.

Но несомненно, что самый нелепый из действий или обычая, суеверно почитаемых священными, это обычай, практикуемый среди жуйбус, жриц на острове Формоза. «Чтобы священник действовать достойным образом и заслужить народное уважение, они должны после проповедей, конвульсий и рычаний закричать, что они видят своих богов, и начать кататься по земле; потом они взбираются на кровлю пагоды, обнажают свои половые части, бьют себя по ягодицам, испускают мочу, спускаются головами вниз и омываются в присутствии всего собрания» ⁴.

Но еще счастливы те народы, у которых добродетели, основанные на предрассудке, только нелепы, ибо они часто бывают и жестокими ⁵: в столице Кохина выращивают крокодилов, и тот, кто подвергает себя ярости этих животных и дает им пожрать себя, считается избранником. В королевстве Мартембан считается добродетельным поступком, броситься под колеса колесницы идола, когда

его возят по улицам, или перерезать себе горло в то время, когда он проезжает мимо: тот, кто подвергает себя этой смерти, почитается святым, и его имя вписывается в особую книгу.

Однако существуют не только добродетели, но и преступления, основанные на предрассудке: так, для брамина считается преступлением жеваться на девственнице. На острове Формоза мужчины обязаны три месяца в году ходить голыми, а если в это время кто-нибудь покроется хотя бы куском материи, про него будут говорить, что он посит украшение, не подобающее для мужчины. На этом же острове считается преступлением, если женщина родит ребенка до тридцати пяти летнего возраста; в случае беременности она прощается у ног жрицы, которая во исполнение закона до тех пор топчет ее, пока она не выкинет.

В Шегу жрецы и маги предсказывают выздоровление или смерть больного⁶, и там считается преступлением, если приговоренный к смерти больной выздоравливает. Когда он поправляется, все бегут от него и поносят его. Если бы он был хороший человек, говорят жрецы, бог принял бы его к себе.

Может быть, нет страны, в которой некоторые из преступлений, основанных на предрассудке, не вызывали бы большего отвращения, чем самые жестокие и самые вредные преступления против общества.

У людоедов жиагов, пожирающих побежденных врагов, дозволено, говорит о. Кавацци, истолочь собственного ребенка в ступке и, сварив его с кореньями, маслом и листьями, сделать мазь, которой натирают тело, чтобы сделать его неуязвимым; но там считается ужасным кощунством не убить в марте месяце ударом топора в присутствии королевы юношу или девушку. Когда хлеба созревают, королева, окруженная своими придворными, выходит из дворца, убивает всех, попадающихся ей на пути, и угощает ими свою свиту; эти жертвы, говорит она, необходимы для успокоения душ ее усопших предков, которым неприятно видеть, что простолюдины наслаждаются жизнью, которой они лишены; только такое слабое утешение может побудить их благословить жатву.

В государствах Конго, Ангола и Матамба не позорно для мужа продать свою жену, для отца продать сына, для сына продать отца; в этих странах известно только одно преступление⁷: это — не дать первых плодов жатвы читомбу⁸, главному жрецу. Эти народы, говорит о. Лаба, лишенные всяких истинных добродетелей, очень строго соблюдают названный обычай. Понятно, что читомб, исключительно занятый увеличением своих доходов, этого только от них и требует; он совсем не желает, чтобы эти негры стали более просвещенными; он даже опасался бы, чтобы более здоровые представления о добродетели не ослабили их суеверия и не уменьшили дани, которую он с них собирает.

Сказанного мною о преступлениях и добродетелях, основанных на предрассудке, достаточно, чтобы понять разницу между этими добродетелями и истинными добродетелями, т.е. такими, которые непрестанно увеличивают народное благодеяние и без которых общества не могут существовать.

Соответственно этим двум родам добродетели я буду различать два различных вида испорченности нравов: первый я назову *религиозной разверащенностью*, второй — *политической разверащенностью*⁹. Но, раньше чем перейти к этому исследованию, я заявляю, что пишу это исследование в качестве философа, а не теолога; поэтому в данной и следующих главах я буду говорить только о чисто человеческих добродетелях. Сделав эту оговорку, переходя к делу: я утверждаю, что с *нравственной точки зрения* религиозной разверащенностью называют всякого рода распутство, и главным образом распутство между мужчиной и женщиной. Этот род разврата, который я совсем не оправдываю и который, без сомнения, преступен, так как он есть грех перед богом, совместим, однако, с благоденствием страны. Многие народы полагали и сейчас еще полагают, что разврат этого рода не есть преступление; однако он есть преступление во Франции, ибо нарушает законы этой страны; но он был бы меньшим преступлением, если бы существовала общность женщин, а дети были бы детьми государства; тогда это преступление не представляло бы опасности для государства. В самом деле, на земле встречаются и такие народы, у которых распутство не только не считается безнравственным, но даже дозволено законом и освящено религией.

Так, на Востоке гаремы находятся под покровительством закона, а в Тонкине, где почитается плодородие, закон предписывает бесплодным женщинам выискивать для своих мужей девушек, которые бы им понравились. Поэтому тонкинцы смеются над тем, что у европейцев полагается иметь только одну жену; они не понимают, каким образом у нас благоразумные люди полагают, что делают угодное богу, принося обет безбрачия; они считают, что одинаково преступно не дать жизни, когда можешь это сделать, как и отнять ее у того, кто ее имеет¹⁰.

Точно так же сиамки прогуливаются под покровительством закона в паланкинах по улицам города с полуоткрытыми грудью и бедрами и в самых сладострастных позах. Этот закон был издан королевой, по имени Тирада, которая, желая отвлечь мужчин от более непристойной любви, решила прибегнуть к могуществу красоты. Это, говорят сиамки, ей удалось. К тому же, прибавляют они, это весьма мудрый закон: мужчинам приятно испытывать желания, а женщинам возбуждать их. Это доставляет счастье обоим полам, это единственная отрада, которую небо примешало к посыпаемым нам страданиям, и неужели найдется такая жестокая душа, которая пожелает лишить нас ее¹¹.

В королевстве Батимена¹² закон предписывает, под угрозой смертной казни, всякой женщине, к какому бы сословию она ни принадлежала, отдавать свою любовь всякому, кто ее пожелает; ее отказ равносителен для нее смертному приговору.

Я никогда не кончил бы, если бы пожелал привести список всех народов, имеющих иное, чем мы, представление об этом виде испорченности нравов; ограничусь тем, что, назвав страны, в которых закон позволяет разврат, я укажу на некоторые из тех, в которых разврат составляет часть религиозного культа.

У народов острова Формоза пьянство и разврат суть религиозные акты. Наслаждения, говорят эти народы, суть дочери неба, дары его благостины; наслаждаться ими значит почитать божество, пользоваться его благами. Можно ли сомневаться в том, что зрелище расточаемых ласк, любовных наслаждений должно нравиться богам? Боги добры, и наши удовольствия являются самым приятным для них приношением нашей благодарности. Исходя из этого рассуждения, они публично предаются всякого рода половым сношениям¹³.

Точно так же королева жиагов, чтобы заслужить благосклонность богов, призывает к себе перед объявлением войны самых красивых женщин и воинов, которые в различных позах предаются в ее присутствии наслаждениям любви. Сколько есть стран, говорит Цицерон, в которых разврату посвящены храмы! Сколько алтарей, возведенных проституткам!¹⁴ Не говоря уже о древних культурах Венеры и Котитто, вспомним банианцев, поклоняющихся под именем богини Баниани одной из своих королев, которая, по свидетельству Джемелли Каррери, услаждала двор видом всех своих прелестей и расточала ласки нескольким любовникам по очереди, а иногда и двум сразу.

Приведу еще только один факт, рассказанный Юлием Фирмиком Матерном, отцом церкви II века, в трактате, озаглавленном «De errore profa pagum religionum». «Ассирия, а также часть Африки, — говорит этот отец церкви, — обоготворяет воздух под именем Юноны или Венеры девственницы. Эта богиня повелевает стихиями; в честь ее построены храмы; в этих храмах служат жрецы, одетые и наряженные как женщины; они читают молитвы женственным и томным голосом, возбуждая у мужчин желания, которые они удовлетворяют, похваляясь своим распутством, а после этих предварительных наслаждений они громко призывают богиню, играют на инструментах, говорят, что на них сошел божественный дух, и пророчествуют».

Итак, существует множество стран, в которых развращенность нравов, которую я называю *религиозной*, дозволена законом или освящена религией.

Сколько бедствий, скажут многие, связано с этой развращенностью! Но нельзя ли па это возразить так, что разврат представляет государственную опасность только тогда, когда он противоречит законам страны, или когда он связан с каким-нибудь иным пороком в управлении? Напрасно стали бы указывать на то, что народы, среди которых царит распутство, презираемые всем миром. Не говоря уже о народах Востока и в диких и воинственных племенах, которые предаваясь всякого рода разврату, счастливы внутри страны и грозы вне ее, какой народ пользовался большей славой, чем греки? Они и до сих пор возбуждают удивление, восторг и уважение человечества. До Пелопонесской войны, эпохи роковой для их добродетели, они дали великих и доблестных людей больше, чем какое-либо другое государство или какой-либо другой народ. Однако известна склонность греков к извращенной любви. Этот порок

был так распространен, что даже Аристид, прозванный справедливым, — Аристид, похвалы которому, говорили афиняне, им надоело слушать, предавался ему и имел сношения с Фемистоклом. Красота молодого Стезиля с острова Кеоса, внесшая в их душу другую страсть, зажгла среди них пламя ненависти. Платон был развратником. Даже Сократ, которого оракул Аполлона признал самым мудрым из людей, имел сношения с Алкивиадом и Архелем; у него было две жены, и он жил со всеми куртизанками. Несомненно, что если судить о нравственности с точки зрения теперешних европейских взглядов, то самые добродетельные греки показались бы развратными людьми. А так как этот род испорченности нравов достиг в Греции наивысшей степени как раз в то время, когда это государство давало великих людей во всех отраслях, когда перед ним дрожала Персия, когда оно достигло наибольшего блеска, то можно думать, что та нравственная развращенность, которую я называют *религиозной*, вполне совместима с величием и благодеянием государства.

Но существует иного рода испорченность нравов, подготовляющая падение государства и предвещающая его погибель; ее я называю *политической развращенностью*.

Народ заражен ею, если большая часть лиц, составляющих его, отделяет свои интересы от общественных интересов. Этот род развращенности, который часто присоединяется к первому, дал повод некоторым моралистам смешивать их. Если принимать во внимание только интересы государства, то этот последний вид развращенности, пожалуй, самый опасный. Если народ, обладающий самыми чистыми нравами, заражен этого рода развращенностью, то он непременно несчастлив во внутренней политике, и его мало страшатся внешние враги. Существование такого государства зависит только от случая, который ускоряет или замедляет его падение.

Чтобы выяснить, насколько эта анархия всеобщих интересов опасна для государства, рассмотрим, какое зло может принести противопоставление интересов отдельного сословия интересам государства. Предположим, что бонзы, талапуаны обладают всеми добродетелями наших святых. Если интересы сословия бонз не связаны с государственными интересами; если, например, доверие к бонзе основано на слепоте народа, то бонза непременно будет врагом народа, который его кормит, и будет по отношению к нему тем, чем римляне были по отношению ко всему миру: добродетельными между собой, грабителями по отношению к вселенной. Если бы каждый из бонз в отдельности и не стремился особенно к величию, то их сословие от этого не стало бы менее честолюбиво; все его члены будут, сами того не сознавая, работать для его усиления, подвигнутые на то добродетельным стремлением¹⁵. Поэтому наиболее опасно для государства сословие, интересы которого не связаны с общим интересом.

Если языческие жрецы умертили Сократа и преследовали почти всех великих людей, то лишь потому, что их частное благополучие находилось в противоречии с общественным благом; действительность

в интересах служителей ложной религии обманывать народ и поэтому преследовать всех, кто может его просветить; этому примеру следуют иногда и служители истинной религии, которые, не имея того же основания, часто прибегали к жестокостям, преследовали и угнетали великих людей, прославляли посредственные сочинения и критиковали хорошие, и от которых, наконец, отреклись более просвещенные теологи¹⁶.

Не смешно ли, например, что в некоторых государствах запрещен «Дух законов» — сочинение, которое многие государи заставляют своих сыновей читать и перечитывать? Не следует ли поэтому поводу вспомнить слова одного умного человека, сказавшего, что монахи, добившиеся этого запрещения, поступили подобно тому, как скифы поступали со своими невольниками: они вырывали у них глаза, для того чтобы они были менее рассеяны при верчении жернова.

Итак, счастье или несчастье народа зависит, повидимому, исключительно от соответствия или несоответствия интересов частных лиц с интересами общественными, и религиозная развращенность, нравов, как то показывает история, может часто ити рука об руку с благородством и величием души, с мудростью, с талантами и вообще всеми качествами, образующими великого человека.

Нельзя отрицать, что часто граждане, зараженные этого рода безнравственностью, оказывали отечеству более важные услуги, чем самые строгие анахореты. Как много мы обязаны легкомысленной черкешенке, которая, желая сохранить свою красоту или красоту своих дочерей, первая решилась привить себе осину! Скольких детей осеннирование вырвало из когтей смерти! Может быть, нет ни одной основательницы монашеского ордена, которая оказала бы миру столь же великое благодеяние и тем самым заслужила бы его благодарность.

Впрочем, заканчивая эту главу, я должен еще раз повторить, что я совсем не выступаю защитником разврата. Я только хотел дать ясное представление об этих двух видах нравственной извращенности, которые часто смешивали и представление о которых, повидимому, было довольно смутное. Лучше ознакомившись с настоящим положением вопроса, можно правильнее судить о его важности, о степени презрения, которое следует чувствовать к этим двум видам развращенности, и понять, что существует два различных вида дурных поступков: одни преступны при всякой форме правления, другие же — вредны и, следовательно, преступны только тогда, когда они противоречат законам страны.

Лучшее познание зла должно сделать моралистов более искусными в излечении его. Они смогут рассматривать правственность с новой точки зрения и сделать из беспутной науки науку, полезную для мира.

ПРИМЕЧАНИЕ К ГЛАВЕ XIV

¹ Брамины пользуются исключительной привилегией просить милостыню; они убеждают других давать ее, но сами ее не дают.

² «Ночему, — говорят брамини, — мы будем стыдиться ходить нагими, ставши мужами, тогда как мы, не стыдясь, вышли голыми из лона матери?»

Карибы так же стыдятся одежды, как мы стыдимся наготы. Если большинство дикарей закрывают известные части своего тела, то это не из прирожденной скромности, но вследствие большей нежности и чувствительности некоторых частей тела и боязни поранить себя при переходе через леса и кустарники.

³ В королевстве Пегу существуют анахореты, по имени сантоны; они никогда ни о чем не просят, хотя бы умирали с голода? Буквально все их желания предупреждаются. Тот, кто исповедуется им, не может быть наказан, какое бы преступление он ни совершил. Эти сантоны живут за городом в дуплах деревьев; по смерти им поклоняются как богам.

⁴ «Voyage de la Compagnie des Indes Hollandaises».

⁵ Мадагаскарские женщины верят в счастливые и несчастные часы и дни. Если они произвели ребенка на свет в несчастный день или час, то их религия требует, чтобы они либо бросили его на съедение диким зверям, либо закопали или задушили его.

В одном из храмов государства Пегу воспитываются девушки. Ежегодно в день, посвященный их идолу, приносится в жертву одна из этих несчастных. Жрец в священническом облачении раздевает ее, душит, вырывает ее сердце и бросает его в лицо идолу. По окончании жертвоприношения жрец наряжается в страшный наряд и пляшет перед народом. В других храмах того же государства приносят в жертву только мужчин. Для этого покупают красивого и хорошо сложенного невольника. Три дня его по утрам моют, затем одевают в белую одежду и показывают народу. На сороковой день жрецы вспарывают ему живот, вырывают сердце, обмазывают идола его кровью и едят его мясо, как священное. Невинная кровь, говорят жрецы, должна течь в искупление за грехи народа, — надо, чтобы кто-нибудь отправился к великому богу напомнить ему о его народе. Нелишне напомнить, что жрецы никогда не берут это поручение на себя.

⁶ Когда умрет какой-нибудь жиаг, его спрашивают, почему он покинул жизнь. Жрец, подражая голосу умершего, отвечает, что это потому, что он не приносил достаточно жертв своим предкам. Эти жертвоприношения составляют значительную часть доходов жрецов.

⁷ В государстве Лао жрецы или талапуэны могут быть судимы только самим государем. Они исповедуются ежемесячно; соблюдая этот устав, они могут безнаказанно совершать тысячи преступлений. Они до такой степени умело морочат государей, что один талапузэн, уличенный в изготовлении фальшивых денег, был отпущен государем без наказания. «Миряне, — сказал он, — должны были бы делать ему более щедрые подарки». Самые знатные люди этой страны считают за честь оказывать талапуэнам услуги самого низменного сорта. Ни один из них не наденет платья, которого не носил бы некоторое время талапузэн.

⁸ Этот читомб поддерживает днем и ночью священный огонь, уголья от которого он продает за очень дорогую цену. Тот, кто покупает их, считает себя гарантированным от всякого несчастного случая. Этот великий жрец не признает никакого судьи. Когда он отлучается для обезвреживания подвластных ему, то все обязаны под страхом смертной казни строго блюсти воздержание. Пегры убеждены, что если бы он умер естественной смертью, то вся вселенная

погибла бы. Поэтому назначенный ему преемник убивает его, как только он заболеет.

9 Это различие для меня важно: 1) потому что я рассматриваю добродетель с философской точки зрения, независимо от отношений между религией и обществом, и я прошу читателя не терять этого из виду на протяжении всей книги; 2) чтобы избежать постоянного смешения между религиозными принципами и принципами государственными и нравственными, как это встречается у языческого народа.

10 Когда жиаги замечают у девушки признаки беременности они устраивают праздник; если эти признаки исчезают, женщину убивают, как недостойную жизни, которую она не смогла дать.

11 Один умный человек говорил по этому поводу, что бесспорно людям должно быть запрещено всякое удовольствие, противное общественному благу. «Люди, — прибавлял он, — так несчастны, что лишнее удовольствие, конечно, стоит того, чтобы приложить усилие для очищения его от всего того, чем оно может быть вредно государству; может быть, было бы нетрудно достигнуть этого, если бы пересмотреть с этой целью законодательства тех государств, где эти удовольствия дозволены».

12 «Christianisme des Indes», s. IV, p. 308.

13 В тибетском государстве девушки посят на шею дары, полученные за нарушение целомудрия, — именно, кольца любовников, и чем их больше у девушки, тем торжественнее справляется ее свадьба.

14 В Вавилоне все женщины должны были для искупления своих грехов раз в жизни проституировать себя. Для этого они, расположившись лагерем у храма Венеры, обязаны были удовлетворить желание первого попавшегося чужестранца, пожелавшего очистить их душу при помощи телесных наслаждений. Легко предвидеть, что красивые и миловидные быстро кончили свой искус, но некрасивым приходилось иногда долго ждать сострадательного чужеземца, через которого они могли бы получить отпущение.

Монастыри бонз полны языческими монахинями, их там принимают в качестве наложниц. Когда они надоедят, их выгоняют и заменяют другими. Ворота этих монастырей осаждаются монахинями, которые приносят бонзам подарки, чтобы они их приняли, а бонзы считают, что оказывают им тем большую милость.

В государстве Кохине брамины, желая первыми посвящать молодых супруг в наслаждения любви, виншают королям и народу, что следует им поручать эту святую обязанность. Когда они кого-нибудь посещают, отцы и мужья предоставляют им своих дочерей и жен.

15 Даже в истинной религии существовали священники, которые, пользуясь невежеством народа, злоупотребляли его благочестием и посягали на права государя.

16 Вот что говорит по поводу Монтескье иезуит отец Милло в своем рассуждении, премированном Дижонской академией и рассматривавшей вопрос: «Что полезнее изучать: людей или книги?» «Не глубокому ли изучению людей обязаны мы теми правилами поведения, теми наставлениями правителям, которые должны были бы быть выгравированными на тронах государей и в сердцах всех облеченных властью? Об этом свидетельствует этот славный гражданин, этот орган и судия законов, могилу которого поливают слезами Франция и вся Европа, но гений которого будет всегда просвещать народы

и указывать путь к общему счастью; этот бессмертный писатель, который все расчленял, потому что все видел, и который хотел заставить нас мыслить, ибо мы в этом имеем больше нужды, чем в чтении. С каким рвением, с какой проницательностью он изучал человеческий род! Путешествуя подобно Солону, совершая подобно Пифагору, беседуя подобно Платону, читая подобно Цицерону, изображая подобно Тациту, — и всегда имея предметом человека, он изучал людей, и он их знал. Уже начинают произрастать плодотворные семена, которые он посеял в умах, руководящих народами и государствами. О, пожилем же с благодарностью эти плоды и т. д.». О. Милло прибавляет и примечания: «Если автор, добродетель которого всеми признана, если сильный, мыслитель, всегда выражавший то, что он думает, говорит: «Христианская религия, которая, повидимому, имеет целью только блаженство в будущей жизни, дает нам счастье и в этой», если, опровергая опасный парадокс Бэйля, он прибавляет: «Принципы христианства, глубоко запечатленные в сердце, были бы бесконечно сильней ложной чести монархий, человеческих добродетелей республик и рабского страха despoticских государств», т. е. сильнее трех принципов государственного управления, установленных в «Духе законов», то может ли тот, кто прочел труд этого автора, обвинять его в желании нанести смертельный удар христианству?»

ГЛАВА XV

Какую пользу может принести этике знание принципов, установленных в предыдущих главах

Если до сих пор этика мало способствовала счастью человечества, то не потому, чтобы многие моралисты не соединяли с удачными выражениями, изяществом и ясностью изложения также и глубину ума и возвышенность души, но потому, что как ни были талантливы эти моралисты, они надо сознаться, недостаточно часто рассматривали различные пороки народов как необходимые следствия различных форм их правления, а этика может стать действительно полезной людям только тогда, когда она будет рассмотрена с этой точки зрения. Какой результат имели до сих пор самые прекрасные предписания этики? Они исправили нескольких отдельных лиц от недостатков, в которых они, может быть, себя упрекали, но в нравах наций они не произвели никакого изменения. Какая тому причина? Та, что пороки народа всегда скрыты, если смею так выразиться, в основе его законов: там надо искать корень его пороков и вырвать его. Кто не имеет ни достаточно ума, ни достаточно мужества для этого предприятия, тот не принесет в этом отношении почти никакой пользы миру. Стремиться уничтожить пороки, связанные с законами народа, не произведя никаких изменений в этих законах, значит браться за невозможное дело, значит отвергать следствия, правильно вытекающие из допущенных принципов.

Чего можно ожидать от громких слов о фальшивости женщин, — если этот порок есть необходимое следствие противоречия между естественными желаниями и теми чувствами, которые женщины

должны выказывать под давлением закона и приличия? Если в Малабаре или на Мадагаскаре все женщины искренни, то потому, что они там могут удовлетворять все свои прихоти, не вызывая скандала, потому что они имеют множество любовников и выбирают супруга после многих опытов. То же относится и к дикарям Нового Орleana, к тем народам, у которых родственницы великого Солнца, принцессы крови, могут прогнать мужа, который им надоел, и взять другого супруга. В этих странах не существует лживых женщин, потому что им незачем быть таковыми.

Я совсем не предполагаю вывести из этих примеров, что и у нас следует ввести такие же нравы. Я только хочу сказать, что неблагородно упрекать женщин за лживость, которую им навязывают приличие и законы, и что нельзя изменить следствия, не изменения причин их.

Возьмем злословие, как второй пример. Несомненно, что злословие есть порок, но это порок неизбежный, потому что во всех государствах, где граждане не принимают участия в ведении государственных дел, эти граждане, не заинтересованные в том, чтобы приобретать знания, должны коснуться в позорной лени. Но если в таком государстве принято часто бывать в свете и хороший тон требует быть разговорчивым, то человек невежественный, не будучи в состоянии говорить о вещах, необходимо должен говорить о лицах. Всякий панегирик скучен, а сатира занимательна; следовательно, чтобы не быть скучным, певежда принужден злословить. Нельзя истребить этот порок иначе, как уничтожив его причину, т. е. вырвав граждан из условий лени, следовательно, изменив форму правления.

Почему человек, занятый духовными интересами, менее придирчив к частным лицам, чем светский человек? Потому что первый, занятый важными вещами, говорит о людях только постольку, поскольку они, как, например, великие люди, имеют непосредственное отношение к важным вещам; потому что человек, занятый духовными интересами, злословит только в отместку, и, значит, очень редко; напротив, человек светский принужден злословить, чтобы иметь предмет для разговора.

Сказанное мною о злословии относится и к распутству, против которого всегда так сильно восстают моралисты. Всеми уже признано, что распутство есть необходимое следствие роскоши, и поэтому я не буду останавливаться на доказательстве этого. А если роскошь — чего я не думаю, хотя это мнение весьма распространено, — очень полезна для государства, если, как это легко доказать, трудно подавить стремление к ней и заставить граждан соблюдать законы о роскоши, не меняя формы правления, то только после некоторых реформ в этой области можно надеяться подавить любовь к разврату.

Всякие высокие рассуждения по этому вопросу, хороши с теологической, но не с государственной точки зрения. Цель, которую преследуют политика и законодательство, это земное величие и благодеяние народов; имея это в виду, я и говорю, что если ро-

скопь действительно полезна Франции, то было бы смешно стремиться ввести в ней строгость нравов, несовместимую с любовью к роскоши. Преимущества, которые торговля и роскошь доставляют государству в той форме, в которой оно сейчас находится (преимущества, от которых придется отказаться, чтобы изгнать из него разират), совершенно непропорциональны с чрезвычайно малым вредом, причиняемым любовью к женщинам. Это значит жаловаться на то, что в богатой руде к золотой жиле примешано несколько несчинок меди. Смотреть на волокитство как на смертный грех в стратах, где роскошь признается необходимой, есть политические непоследовательность; а если уж за ним хотят сохранить название порока, то следует признать, что в известные времена и в известных странах существуют полезные пороки и что Египет обязан своим плодородием нильской грязи.

Действительно, рассмотрев с государственной точки зрения поступки женщин легкого поведения, мы увидим, что хотя они и заслуживают порицания в некоторых отношениях, но в других они весьма полезны для общества; так, например, свои деньги они употребляют с большей пользой для государства, чем самые благоразумные женщины. Желание нравиться приводит женщину легкого поведения к торговцу лентами, материями и модными вещами и тем заставляет ее не только вырывать массу рабочих из нищеты, в которую их ввергло соблюдение законов о роскоши, но внушиает ей акты самого просвещенного милосердия. Если допустить, что роскошь полезна для государства, то разве не женщины легкого поведения, поощряя изготовление предметов роскоши, делают мастера все более и более полезными для государства? Благоразумные женщины, подающие милостыню нищим и преступникам, следуя советам своих духовников, поступают менее хорошо, чем женщины легкого поведения, направляемые желанием нравиться; последние дают пропитание полезным гражданам, первые же бесполезным или даже вредным для государства.

Из сказанного следует, что только тогда можно надеяться изменить взгляды народа, когда будет изменено его законодательство, и что реформу нравов следует начать с реформы законов; при существующей форме правления громкие слова, громящие полезный порок, были бы вредны для государства, если бы они не были тщетны; но таковыми они останутся всегда, ибо народная масса двигается только силой закона. К тому же позволю себе заметить мимоходом: очень немногие моралисты умеют пользоваться нашими страстями, вооружая их друг против друга и тем заставляя нас согласиться с их взглядами; большая же часть их советов слишком оскорбительна. А они должны были бы понять, что оскорблении не могут успешно бороться с чувствами; что только страсть может победить страсть. Например, для того чтобы побудить легкомысленную женщину быть более сдержанной и стыдливой, надо ее качеству противопоставить ее тщеславие, внушить ей, что стыдливость изобретена любовью и утонченным сладострастием¹; что свет обязан большей частью своих наслаждений той дымке, кото-

рою стыдливость прикрывают женские красоты; что в Малабаре, где молодые прелестницы показываются в сбояниях полуобнаженными, что в некоторых местностях Америки, где молодые женщины показываются мужчинам без всякого покрываля, желания благодаря этому теряют в силе, сообщаемой любопытством; что в этих странах униженная красота служит только для удовлетворения потребности, между тем как у народов, где стыдливость протягивает покрываю между желаниями и наготой, это таинственное покрываю является талисманом, удерживающим любовника у ног его возлюбленной; и что, наконец, стыдливость вкладывает в слабые руки красоты скрипетр, посредством которого она управляет силой. Знайте еще, скажут они легкомысленной женщине, что несчастных людей очень много, что несчастные люди — прирожденные враги счастливого человека и ставят ему его счастье в преступление, что они ненавидят его за то, что он счастлив независимо от них, что следует удалять с их глаз зрелище ваших развлечений и что не-пристойность, выдавая тайну ваших наслаждений, подвергает вас стрелам их мести.

Заменяя таким образом брань указаниями на собственный интерес, моралисты могли бы заставить принять свои правила. Я не буду дольше останавливаться на этом вопросе; возвращаясь к своему предмету, я утверждаю, что все люди стремятся только к счастью, что невозможно отклонить их от этого стремления, что было бы бесполезно嘗аться это сделать и было бы опасно достигнуть этого и что, следовательно, сделать их добродетельными можно только объединяя личную выгоду с общей. Установив этот принцип, мы ясно видим, что этика есть пустая наука, если она не сливаются с политикой и законодательством; из этого я заключаю, что, для того чтобы быть полезными для мира, философы должны рассматривать предметы с той точки зрения, с которой на них смотрят законодатели. И, не будучи вооружены той же властью, они должны быть воодушевлены тем же духом. Дело моралиста указать законы, исполнение которых обеспечивает законодатель, налагая на них печать своей власти.

Правда, мало таких моралистов, в которых эта истина была бы сильно запечатлена; даже среди тех, ум которых способен возвыситься до великих идей, многие при изучении этики и при изображении пороков руководятся личными интересами и личными антипатиями. Поэтому они нападают только на пороки, неудобные в обществе, и их ум, замыкаясь мало-помалу в тесном кругу их интересов, теряет силу, необходимую, чтобы подняться до великих идей. В этике часто возвышенность ума зависит от возвышенности души. Чтобы схватить в этой области истины, действительно полезные людям, надо, чтобы сердце было согрето стремлением к общему благу, а, к сожалению, в этике, как в религии, много лицемеров.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XV

¹ Рассматривая стыдливость именно с этой точки зрения, можно ответить на аргумент стоиков и киников, которые утверждали, что добродетель-

ный человек не должен делать ничего у себя дома, чего бы он не мог делать публично, и которые поэтому считали возможным предаваться публично любовным наслаждениям. Им можно ответить, что если большинство законодателей осудило эти принципы киников и включило стыдливость в число добродетелей, то потому, что они боялись, как бы частое зрелище наслаждений не вызвало отвращения к ним, а между тем с ними связано сохранение человеческого рода и мира. К тому же они поняли, что одежда, прикрывая некоторые из женских прелестей, наряжает женщину во всю ту красоту, какую только может придумать живое воображение, что одежда привлекает любопытство, делает ласки более упоительными, а благосклонность более лестной и, наконец, увеличивает радости несчастного человеческого рода. Если Ликург из Спарты некоторый вид стыдливости, так что там допускалась борьба обнаженных молодых девушек с юношами, то потому, что он хотел подобного рода упражнениями создать более сильных матерей, которые дали бы государству более сильных детей. Он знал, что хотя привычка видеть женщин обнаженными ослабляет желание узнать скрытые прелести их, но это желание не может совсем потухнуть, особенно в стране, где мужья пользовались ласками жен только тайно и украдкой. К тому же Ликург, который считал любовь главной пружиной законодательства, желал, чтобы она была наградой, а не времяпрепровождением спартанцев.

ГЛАВА XVI

О лицемерных моралистах

Лицемером я называю того, кто при изучении морали не опирается на желание счастья человечеству, а слишком занят самим собой. Таких людей много, их можно узнать с одной стороны по равнодушию, с которым они относятся к порокам, пагубным для государства, с другой — по тому, как горячо они нападают на частные пороки. Напрасно эти люди уверяют, что ими руководит стремление к общественному благу. Им можно ответить: если бы вас действительно воодушевляло это стремление, ваша ненависть к какому-либо пороку была бы пропорциональна злу, которое этот порок приносит обществу, и если вас возмущает зрелище недостатков, даже мало вредных для государства, то как должны вы относиться к незнанию средств, необходимых для образования доблестных, бескорыстных и великодушных граждан? Как должны вы печалиться, видя недостатки в законодательстве и в распределении налогов, открывая их в военной дисциплине, решающей часто исход сражений и опустошение многих провинций? Глубоко растроганные этим видом, вы, по примеру Нервы, должны были бы проклясть день, делающий вас свидетелем страданий вашего отечества, и самим порвать жизнь или, по крайней мере, последовать примеру того добродетельного китайца, который, справедливо возмущенный притеснениями вельмож, предстал перед императором и принес ему свои жалобы: «Я пришел, — заявил он, — отдать себя на казнь, которой были преданы шестьсот моих сограждан за такого рода уверящания, и предупреждаю тебя, чтобы ты приготовился к новым казням»;

в Китае осталось еще 18 тысяч сороких патриотов, которые будут приходить к тебе по очереди и требовать от тебя такой же платы за то же дело». Сказавши это, он замолчал, и император, пораженный его твердостью, пожаловал ему награду, самую лестную для добродетельного человека: наказание виновных и уничтожение патологов.

Вот как проявляется любовь к народному благу. Если вы, скажу я этим критикам, действительно одушевлены такой любовью, ваша ненависть ко всякому пороку будет пропорциональна злу, которое оно приносит государству; но если вас живо трогают только недостатки, приносящие вам вред, тогда вы не имеете права на имя моралистов, — вы только эгоисты.

Итак, моралист может стать полезным отечеству только путем полного отказа от личных интересов и глубокого изучения науки законодательства. Лишь тогда он в состоянии взвешивать выгоды или невыгоды какого-либо закона или обычая и судить о том, должны ли он быть сохранен или уничтожен; ибо мы очень часто бываем вынуждены мириться с злоупотреблениями и даже с варварскими обычаями. Если в Европе так долго терпели дуэли, то потому, что в государствах, где не существует такой горячей любви к отечеству, какая была в Риме, где мужество не развивается постоянными войнами, моралисты не могли, пожалуй, придумать лучшего средства, чтобы поддержать в гражданах храбрость и снабдить государство мужественными защитниками; этой терпимостью они рассчитывали купить большое благо за счет малого, зла. В этом частном случае они ошиблись, но есть тысяча случаев, когда люди бывают принуждены к такому выбору. Часто только по выбору из двух зол можно узнати гениального человека. Нам не нужны все эти педанты, влюбленные в ложную идею совершенства. Ничего нет опаснее для государства, чем эти высокопарные и лишенные ума моралисты, сосредоточившиеся на небольшом круге идей и повторяющие слова своих любовниц; они постоянно проповедуют умеренность в желаниях и хотят искоренить страсти из всех сердец; они не понимают, что их предписания, полезные для некоторых частных лиц, поставленных в особые условия, были бы гибелью для государства, принялших их.

В самом деле, если, как учит нас история, сильные страсти, подобно гордости и патриотизму греков и римлян, фанатизму у арабов, алчности у флибустьеров, всегда порождают грозных воинов, то всякий человек, который поведет против таких солдат людей, лишенных страсти, противопоставит яростным волкам робких ягнят. Поэтому-то мудрая природа снабдила сердца людей предохранительным против рассуждений этих философов средством. Поэтому государства, готовые мысленно подчиниться их предписаниям, в действительности постоянно их нарушают. Без этого нарушения народ, добросовестно следующий этим предписаниям, сделался бы предметом презрения у других народов и их рабом.

Чтобы определить, до какого пункта следует возбуждать или умерять пламя страстей человек должен обладать обширным умом,

способным обнять все части управления государством. Тот, кто им одарен, предназначен как бы самой природой для исполнения при законодателе должности министра-мыслителя¹ и может оправдать слова Цицерона: «умный человек никогда не бывает простым гражданином, но всегда настоящим государственным мужем».

Прежде чем перейти к изложению выгод, которые принесли бы миру более широкие и более здоровые нравственные идеи, замечу мимоходом, что эти же самые идеи могли бы быть очень полезны для всех наук и особенно для истории, успехи которой суть одновременно причина и следствие успехов этики.

Писатели были бы тогда лучше осведомлены об истинном предмете истории и, описывая частную жизнь государей, сообщали бы только подробности, способные осветить их характер; они не стали бы так тщательно изображать их нравы, их домашние пороки и добродетели: они поняли бы, что народ требует от государя отчета в его указах, а не в его ужинах, что народу интересно познать человека в своем государстве лишь шостольку, поскольку человек участвует в решениях государя; и что, для того, чтобы поучать и нравиться, они должны заменить пустые анекдоты радостной или горестной картиной народного благодеяния или пишеты и описанием причин, их вызвавших. Простое описание этой картины навело бы на множество полезных размышлений и реформ.

Сказанное об истории я распространяю на метафизику и на юриспруденцию. Мало существует наук, которые не имели бы отношения к этике. Цепь, связывающая их между собой, обширнее, чем мы думаем: во вселенной все между собой связано.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XVI

¹ В Китае различают два типа министров: одни — министры *подписывающие*, они принимают просителей и подписывают бумаги; другие называются министрами-мыслителями; на их обязанности лежит составлять проекты, рассматривать те, которые им представляют, и предлагать изменения в администрации, требуемые обстоятельствами и временем.

ГЛАВА XVII

О преимуществах, вытекающих из установленных выше принципов

Я только вкратце остановлюсь на преимуществах, которые могут из них извлечь частные лица; они будут заключаться в том, что люди получат ясные идеи о той самой этике, предписания которой были до сих пор двусмысленны и противоречивы, что позволяло самым безрассудным людям всегда находить в ее правилах оправдание для своего безумного поведения.

К тому же, лучше узнав свои обязанности, каждый отдельный человек будет более независим от мнения своих друзей; он не будет совершать несправедливостей, которые часто без его ведома заставляет готовить общество, где он вращается, и в то же время он будет

свободен от детского опасения показаться смешным; это опасение разлетается, как призрак в присутствии разума, но возбуждает страх в робких и непросвещенных душах, готовых пожертвовать своими вкусами, покоем и удовольствиями, а иногда и добродетелью, прихоти и капризы желчных меланхоликов, критики которых не может избежать тот, кто имел несчастье познакомиться с ними.

Подчиняясь исключительно разуму и добродетели, частный человек сможет тогда относиться с презрением к этим предрассудкам и развить в себе мужественные и смелые чувства, составляющие отличительную черту характера добродетельного человека, — чувства, желательные в каждом гражданине и обязательные для высокопоставленных лиц. Как может человек, поставленный на высокий пост, преодолеть все препятствия, которыми некоторые предрассудки загромождают путь к общему благу; как сможет он сопротивляться угрозам и интригам людей, власть имущих, часто заинтересованных в том, чтобы народ бедствовал, если его душа не будет недоступна для всякого рода приставаний, опасений и предрассудков!

Итак, мне кажется, что знание вышеустановленных принципов доставляет частному лицу, по крайней мере, следующее преимущество: оно дает ему ясную и определенную идею о добродетели, освобождает его в этом отношении от всякого беспокойства, дает покой его совести и, следовательно, доставляет ему внутренние и тайные радости, связанные с добродетельным поведением.

Выгоды же, которые может из этого знания извлечь общество, несомненно, более значительны. В согласии с этими принципами можно было бы, если смею так выразиться, составить катехизис добродетельного поведения, простые, верные и общедоступные правила которого показали бы людям, что добродетель неизвестна по ставимой ею себе цели, но не по средствам, способствующим достижению ее; что поэтому следует считать поступки безразличными сами по себе, понимать, что нужды государства определяют, какие из них заслуживают уважения, а какие презрения, и, наконец, что дело законодателя, обязанного знать, что для народа полезно, определять момент, когда данное поведение перестает быть добродетельным и становится порочным.

Раз эти принципы будут приняты, то легко будет законодателю погасить факелы фанатизма и суеверия, уничтожить злоупотребления, преобразовать варварские обычаи, которые, может быть, и были полезны сначала, но затем стали гибельны для человечества, — обычаи, которые продолжают держаться только потому, что люди боятся, как бы уничтожение их не вызвало возмущения в народах, привыкших принимать выполнение некоторых поступков за самую добродетель, как бы оно не привело к жестоким и продолжительным войнам, не вызвало мятежей, которые всегда опасны для людей обыкновенных и которые могут быть предвидены и усмирены только людьми с твердым характером и обширным умом.

Следовательно, ослаблением тупого благоговения людей перед старыми законами и обычаями дается возможность государям

очистить землю от большей части прискорбных бедствий и предста-
вляются им средства к упрочению государства.

Теперь, когда интересы государства изменились и законы, бывшие полезными при его образовании, сделались вредными, эти самые законы, вследствие уважения, которым они продолжают пользоваться, должны неизбежно привести государство к гибели. Кто сомневается в том, что падение римской республики было последствием нелепого уважения к старым законам и что это слепое уважение выковало цепи, которыми Цезарь сковал свою родину? Когда Рим после разрушения Карфагена находился на вершине своего величия, римляне должны были понять, что их государству грозит революция вследствие противоречия между их интересами, обычаями и законами; они должны были понять, что для спасения государства вся республика должна поторопиться произвести в законах и управлении преобразования, требуемые временем и обстоятельствами, и особенно поспешить предупредить изменения, которые желало внести в него личное честолюбие, — этот самый опасный законодатель. Римляне и прибегли бы к этому средству, если бы у них были ясные представления об этике. Наученные историей других народов, они увидели бы, что те самые законы, которые привели их на вершину величия, не могли их удержать там; они попали бы, что государство подобно кораблю, который известные ветры вынесли на простор, где он встречает иные ветры, грозящие ему гибелью, если опытный и искусный кормчий не изменит быстро курса. Эта государственная истина была известна Локку, который, когда его законы вводились в Каролипе, пожелал, чтобы срок их действия был ограничен одним столетием и чтобы по истечении этого срока они были уничтожены, если не будут пересмотрены и вновь утверждены народом; он понимал, что управление государством воинственным требует иных законов, чем управление государством торговым, и что его законы, полезные для развития торговли и промышленности, могут оказаться гибельными для этой колонии, если ее соседи станут воинственными и обстоятельства потребуют, чтобы жители Каролины стали народом более воинственным, чем торговым.

Применим эти идеи Локка к ложным религиям — и мы быстро убедимся в глупости их изобретателей и их последователей. В самом деле, всякий, кто захочет исследовать религии (которые все, за исключением нашей, дело рук человеческих), увидит, что ни одна из них не является плодом работы великого и обширного ума законодателя, но все — плодом узкого ума частного лица; поэтому ни одна из этих ложных религий не была основана на законах и на принципе общественной пользы, этом вечно неизменном принципе, способном применяться к различным положениям, в которых может последовательно находиться какой-нибудь народ, — единственном принципе, который должны признавать те, кто хочет, по примеру Анастасиев, Риппердов, Томас-Кули-ханов и Дженигиров, основать новую религию, полезную для людей. Если бы при образовании ложных религий всегда следовали этому принципу, то сохранили бы

за ними все, что в них есть полезного; ни Тартар, ни Елисейские поля не были бы уничтожены, так как законодатель мог бы делать из них более или менее приятные или страшные картины, соответственно большей или меньшей силе своего воображения. Если бы эти религии были освобождены от всего, что есть в них вредного, они не подчиняли бы умы постыдному игу глупого легковерия, а тогда сколько преступлений, сколько суеверий исчезло бы с земли! Тогда жители Большой Явы¹, думающие при малейшем заболевании, что наступил час смерти, не стали бы торопиться ити к богу своих отцов, молить о смерти и быть готовыми умереть; тогда жрецы напрасно старались бы вырвать у них согласие умереть, чтобы задушить их собственными руками и съедать их. Персия не стала бы поддерживать ужасную секту дервишней, с оружием в руках трёбующих милостыни, безнаказанно убивающих всякого несогласного с их принципами, поднявших руку даже на шаха и воинивших меч в грудь Амурада. Мужество римлян, таких же суеверных, как негры², не стало бы зависеть от аппетита священных цыплят. Наконец, на Востоке религии не явились бы источником продолжительных и жестоких войн³ сарацинов с христианами, а затем, под знаменами Омара и Али, сарацинов между собой, — войн, заставивших, вероятно, сочинить басню, которой воспользовался один индостанский князь для обуздания неблагоразумного рвения одного имама. «Подчинись, — говорил ему имам, — воле всевышнего! Земля получит его святой закон, победа всюду предшествует Омару. Ты видишь, что Аравия, Персия, Сирия, вся Азия покорены, что римский орел повержен в прах правоверным и меч ужаса вручен калифу. По этим несомненным знакам признай истинность моей религии и еще более превосходство Корана, простоту его догматов и милосердие нашего закона: наш бог — не жестокий бог, он гордится нашими радостями. Душа моя, — говорит Магомет, — сильнее загорается и быстрее подымается к небу, когда я вдыхаю благоухание ароматов и отдаюсь сладострастным любовным ласкам. Венценосный червь, долго ли ты будешь еще противиться своему богу? Открой глаза, узри суеверия и пороки, которыми заражен твой народ; неужели ты все еще будешь лишать его просвещения, даруемого Алкораном?»

«Имам, — отвечал этот государь, — некогда в республике бобров, подобно тому как в моем государстве, стали жаловаться на ограбление нескольких кладовых и даже на убийства. Для предупреждения этих преступлений достаточно было открыть несколько общественных кладовых, расширить большие тракты и назначить несколько полицейских отрядов. Сенат бобровой республики уже был это сделать, когда вдруг один из заседавших в сенат воскликнул, взглянув на небесную лазурь: «Возьмем пример с человека; он думает, что этот воздушный дворец выстроен, обитает и управляем более могущественным, чем он, существом, по названию Мишапур. Введем этот догмат, и пусть народ подчинится ему. Убедим его, что по повелению этого бога каждую планету сторожит некий гений, который видит наши поступки и награждает

добрых, а злых наказывает; когда эта вера будет принята, мы освободимся от преступлений». Он замолчал; начали совещаться и обсуждать, его идея понравилась своей новизной и была принята; и вот эта религия была введена, и обитатели республик бобров стали жить по-братьски. Но вскоре возник крупный спор: одни утверждали, что песчинки, из которых Мишапур сделал землю, ему поднесла выдра, а другие — что мускусная крыса. Спор разгорелся, народ разделился, сначала стали осыпать друг друга оскорблениеми, потом перешли к драке, фанатизм разгорелся во всю. До учреждения этой религии случались отдельные кражи и убийства, а теперь возгорелась гражданская война, и половина народа была истреблена. Пусть эта басня, — прибавил индийский князь, — послужит тебе уроком, жестокий имам, и не надейся доказать мне истинность и пользу религии, опустошающей мир».

Из этой главы следует, чтобы если бы законодатель имел право, согласно с изложенными принципами, делать в законах, обычаях и ложных религиях все изменения, требуемые временем и обстоятельствами, он мог бы устранить причину множества бедствий и, без сомнения, обеспечить покой народу и упрочить государство.

К тому же, какую массу света эти самые принципы могли бы пролить на этику, выяснив нам неизбежную зависимость между нравами страны и ее законами, указав нам, что наука о нравственности есть не что иное, как наука о законодательстве. Несомненно, что тогда моралисты прилежнее занимались бы этой наукой и в состоянии были бы поднять этику до такой степени совершенства, которую теперь рассудительные люди могут представить себе только смутно и о которой даже и не воображают, что она может быть когда-нибудь достигнута⁴.

Если почти во всех государствах законы не связаны между собой и кажутся чем-то чисто случайным, то лишь потому, что создатели их, руководимые различными взглядами и интересами, мало заботились о согласовании их. Возникновение целого свода законов похоже на образование некоторых островов: крестьяне желают очистить свои поля от хвороста, ненужных трав и грязи; для этого они их бросают в реку, течение спносит этот материал, который, скопляясь вокруг кучки камышей, постепенно укрепляется и образует здесь, наконец, твердую землю.

А между тем достоинство законов зависит от единства взглядов законодателя, от взаимной зависимости законов. Но для того, чтобы установить эту зависимость, надо иметь возможность относить их все к одному простому принципу, каковым является общественная польза, т. е. польза наибольшего числа людей, подчиненных одной и той же форме правления, принципу, всю обширность и плодотворность которого никто не подозревает; принципу, который обнимает всю этику и законоведение, который многие повторяют, не понимая его, и о котором сами законодатели имеют только поверхностное представление, по крайней мере, если о том судить по злополучию почти всех народов земли⁵.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XVII

¹ К востоку от Суматры.

² Если воины Конго, выступившие против неприятеля, встретят на пути зайца, ворону или какого-либо иного пугливого зверя, то они говорят, что это гений их врага предупреждает их о его страхе, тогда они бесстрашно идут в бой. Но если они услышат пение петуха в необычный час, то они говорят, что это пение предсказывает им несомненное поражение, и тогда они не рискуют выступать. Если пение петуха бывает услышано одновременно в обоих лагерях, тогда оба войска теряют всякое мужество и обращаются в беспорядочное бегство. Для дикаря Нового Орлеана, бесстрашно выступившего против своего врага, достаточно бывает какого-нибудь сновидения или лая собаки, чтобы заставить его вернуться обратно.

³ Человеческие страсти иногда вожигали подобные войны в недрах самого христианства, но они совершенно противоречат его духу бескорыстия и мира, его морали, полной мягкости и снисходительности, его правилам, предписывающим благотворительность и милосердие, духовности предметов, которых оно касается, возвышенности его побудительных причин, наконец, величию и природе наград, которые сулит христианство.

⁴ Напрасно было бы указывать, что великое дело идеального законодательства недоступно человеческой мудрости, что это несбыточная ватяя. Я готов признать, что слепой и длинный ряд событий, зависящих друг от друга, зародыш которых появился вместе с началом мира, является всеобщей причиной всего, что было, есть и будет: признав этот принцип, спрашивается: раз в этой длинной цепи событий необходимо содержаться мудрецы и безумцы, трусы и герои, правившие миром, то почему же в ней не будет заключаться и открытие истинных принципов законодательства, которым последнее будет обязано своим совершенством, а мир своим счастьем?

⁵ Большинство восточных государств не имеет даже представления о государственном и международном праве. Всякий, кто пожелал бы просветить по этому вопросу народ, почти неизбежно подверг бы себя гневу тиранов, опустошающих эти несчастные страны. Для того чтобы иметь возможность, безнаказанно попирать человеческие права, они стремятся к тому, чтобы их подданные не знали, чего они, как люди, вправе ожидать от своего государя, не знали, что государя связывает с его народом молчаливый договор. Как бы ни оправдывали в этом отношении государи свое поведение, оно всегда осно-вывается на извращенном желании тиранить своих подданных.

ГЛАВА XVIII

Об уме, рассматриваемом по отношению к различным векам и странам

Я доказал, что одни и те же поступки, то полезные, то вредные, в зависимости от времени и страны, были то почитаемы, то презирались. То же самое относится и к идеям. Различие в интересах народов и изменения, вносимые в эти интересы временем, производят перемены во вкусах, вызывают внезапное появление и внезапное же и полное исчезновение некоторых видов ума и обуслов-

ливают незаслуженное или справедливое, но всегда взаимное, презрение, которое питают друг к другу в вопросах ума различные эпохи и страны.

В двух следующих главах я докажу на примерах справедливость этого положения.

ГЛАВА XIX

Уважение к различным видам ума во все времена пропорционально связанной с ними выгоде

Чтобы заставить признать чрезвычайную справедливость этого положения, возьмем сначала для примера романы. Начиная с Амадиса и кончая современными романами, этот жанр пережил множество изменений. Какая же тому причина? Страшится, почему романы, особенно ценные триста лет тому назад, теперь кажутся скучными и смешными? Потому что достоинство большинства этих произведений зависит главным образом от точности, с которой в них изображены пороки, добродетели, страсти, нравы и смешные стороны какого-нибудь народа.

Но нравы какого-нибудь народа часто в данном веке уже не те, что были в предшествовавшем; это изменение должно вызывать изменение в жанре романов данного народа и в его вкусах; поэтому народ в интересах своего развлечения почти всегда принужден презирать в данном веке то, чем он восхищался в предшествовавшем¹. Сказанное о романе может быть распространено почти на все литературные произведения. Но для того чтобы лучше убедиться в этой истине, следует сравнить ум, каким он был в века невежества, с умом нашего времени. Остановимся на минуту на этом сравнении.

Так как в те времена умели писать только духовные лица, то я могу брать примеры только из их трудов и проповедей. Тот, кто их прочтет, заметит не меньшую разницу между проповедями Мено² и проповедями о. Бурдалу, чем между «Le chevalier du Soleil» и «La princesse de Clèves». Так как наши нравы изменились и наши знания расширились, то мы теперь смеемся над тем, чем восхищались раньше. Всякий станет теперь смеяться над проповедью того священника из Бордо, который, желая доказать признательность усопших тем, кто молится за них Богу и, следовательно, дает монахам деньги, серьезно говорил с кафедры, что *при одном звуке монет, падающих в кружку или в чашку со звоном тен-тен-тен, все души в чистилище начинают смеяться: ха-ха-ха, хи-хи-хи*³.

В века наивного невежества вещи представляются в совсем ином виде, чем в века просвещения. Театральные изображения страстей христовых, назидательные для наших предков, кажутся нам теперь неприличными. То же можно сказать обо всех хитроумных вопросах, рассматривавшихся в те времена в богословских школах. Какими неприличными должны нам показаться теперь диспуты о том, является ли Бог в святых дарах одетым или

нагим; имеет ли бог, будучи всемогущим, силу грешить; может ли бог принимать природу женщины, дьявола, осла, скалы, тыквы, и другие столь же странные вопросы⁴.

В эти невежественные времена все, вплоть до чудес, носило печать дурного вкуса этой эпохи⁵.

Из числа множества мнимых чудес, приводимых в «Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres»⁶, приведу одно, совершенное над одним монахом. «Этот монах возвращался из одного дома, в который он забирался каждую ночь. Ему надо было по дороге переплыть реку. Сатана перевернул лодку — и монах попал ко дну в ту минуту, когда он начал читать утренние молитвы к святой деве. Два черта схватили его душу, но их остановили два ангела, которые потребовали ее как христианскую душу. «Господа ангелы, — сказали черти, — правда, что бог умер за своих друзей — и это не выдумка, — по этот монах был в числе врагов бога, и так как мы его нашли в греховной нечистоте, то мы бросим его в адскую пучину, за то и нас хорошо вознаградят наши начальники». После долгих прореканий ангелы предложили перенести спорный вопрос на суд богородицы. Черти ответили, что они согласны взять судьей бога, ибо он судит по законам, но от богородицы, сказали они, мы не можем ждать справедливости: она скорей взломает все врата ада, чем оставит в нем хотя бы на один день того, кто при жизни оказывал сколько-нибудь почтения ее образу. Бог ей ни в чем не противоречит: она может утверждать, что сорока черпа и что мутная вода прозрачна, — он ей ни в чем не отказывает; мы уж и не знаем, чего нам держаться: из двойки при игре в кости она делает тройку, из двойной двойки пяток, в ее руках кости и удача; день, в который бог сделал ее своей матерью, был роковым для нас».

Такое чудо, без сомнения, найдут мало назидательным; смешным также покажется и другое чудо, которое описано в «Lettres édifiantes et curieuses sur la visite de l'Évêque d'Halicarnasse» и которое так забавно, что я не могу удержаться, чтобы не привести его здесь.

Чтобы доказать превосходство крещения, автор рассказывает следующее: «Некогда в Армянском государстве был король, питавший сильную ненависть к христианам; поэтому он жестоко преследовал эту веру. Он заслуживал, чтобы бог его за это наказал; но бог, который бесконечно добр и который коснулся сердца св. Павла в то время, как тот преследовал верных, коснулся и сердца этого государя, чтобы он познал святую веру. И вот случилось, что когда государь держал со своими мандаринами совет, как совершиенно уничтожить христианскую веру в своем государстве, они вдруг все превратились в свиней. Все сбежались на крик этих свиней, не понимая, как случилась такая необыкновенная вещь. Тогда один прибежавший на шум христианин, по имени Григорий, который накануне был подвергнут пытке, стал упрекать государя за его жестокость к христианской вере. Во время речи Григория свиньи перестали кричать и, подняв рыла кверху, стали слушать Григория, который обратился к ним с таким вопросом: «Решили ли вы с этого времени исправиться?» На этот вопрос все свиньи

кинули головой и закричали: «*оин, оин, оин*», как будто они сказали «да». Тогда Григорий продолжал: «Если вы решили исправиться, если вы раскаиваетесь в своих грехах и если вы хотите креститься, чтобы вполне соблюсти веру, господь будет к вам милосерд, иначе вы будете несчастны и в этом мире, и в будущем». Все свиньи закивали головой, поклонились и закричали: «*оин, оин, оин*», как будто хотели сказать, что они согласны с этим. Григорий, увидя, что, таким образом, свиньи смирились, взял святой воды и крестил всех свиней; в тот же миг совершилось великое чудо: каждая свинья, которую он крестил, превращалась в человека, более красивого, чем он был раньше».

Эти чудеса, эти проповеди, эти трагедии и эти теологические вопросы, которые теперь нам кажутся смешными, приводили и должны были приводить в восторг людей во времена невежества, потому что они соответствовали духу времени и потому, что люди всегда восхищаются идеями, близкими к их идеям. Грубое тупонумие большинства из них мешало познать святость и величие истинной религии; для всех почти людей религия была только суеверием и идолопоклонством. В пользу философии можно сказать, что ее идеи были более возвышенны. Как бы ни были несправедливы к науке, как бы ни упрекали ее в том, что она развращает нравы, однако несомненно, если полагаться на историю и на старых проповедников, что нравы нашего духовенства в настоящее время так же чисты, как раньше они были испорчены. Самые знаменитые из этих проповедников, Мальяр и Мено, имели постоянно на устах *Sacerdotes, Religiosi, Concubinarii*. «Проклятые, подлые, — воскликнул Мальяр, — имена коих вписаны в списках дьявола; мошенники, воры, как говорит св. Бернар, неужели вы думаете, что основатели ваших бенефiciй дали вам их для того, чтобы вы жили с девочками и играли в кости? А вы, господа толстые аббаты, употребляющие церковные доходы на то, чтобы откармливать лошадей, собак и девок, спросите св. Стефана, потому ли он попал в рай, что вел подобную жизнь, — объедался, посещал пиры и банкеты, раздавал достояние церкви и креста распутным женщинам?» ⁷.

Я не буду дольше останавливаться на этих грубых вехах, когда все славные, но суеверные люди интересовались только сказками о монахах и о рыцарских похождениях. Невежество и искависть всегда однообразны; до обновления философии различные авторы, принадлежавшие даже к различным векам, писали все в одном духе. Так называемый вкус предполагает образование. У варварских народов нельзя говорить ни о вкусе, ни, следовательно, о переменах вкуса; во всяком случае значительные перемены наблюдаются только в просвещенные века. Но такого рода переменам всегда предшествовали некоторые изменения в форме правления, в нравах, законах и положении народа. Следовательно, существует скрытая зависимость между вкусами народа и его интересами.

Чтобы иллюстрировать этот принцип на примере некоторых применений его, спросим себя, почему трагическое изображение самых знаменитых актов мщения, как, например, месть Атридов,

не возбуждает в нас такого восторга, какой оно некогда возбуждало в греках; легко убедиться, что это различие во впечатлительности зависит от того, что у нас иная религия, иное государственное устройство, чем у греков.

Древние воздвигали храмы богине мести; эта страсть, которую мы теперь считаем пороком, считалась тогда добродетелью; она поощрялась государством. В век слишком воинственный, чтобы не быть несколько свирепым, единственное средство сдерживать проявление гнева заключалось в том, чтобы считать бесчестным забвение оскорблений, чтобы всегда рядом с образом оскорблений стоял образ отмщения; таким путем в сердцах граждан поддерживался спасительный взаимный страх, возмущавший недостаток полицейского надзора. Изображение этой страсти так соответствовало потребности и предрассудкам народов древности, что должно было доставлять удовольствие.

Но в наш век, когда полицейский аппарат в этом отношении весьма усовершенствовался, когда к тому же мы не подчиняемся тем же предрассудкам, очевидно, что с точки зрения наших интересов мы должны оставаться равнодушными к изображению страсти, которая не только беспособна поддерживать мир и гармонию в обществе, а, напротив, может вызывать только беспорядок и ненужную жестокость. Почему трагедии, полные сильных и мужественных чувств, внушаемых любовью к родине, производят на нас теперь только поверхностное впечатление? Потому что весьма редко в народах соединяется известный вид мужества и доблести с чрезвычайной покорностью; потому что римляне стали пизкими и подлыми, как только они получили господина, и, наконец, потому, что как говорит Гомер:

«Тягостный жребий печального рабства избрал человеку,
Лучшую доблестей в нем половину Зевс истребляет».

Отсюда я заключаю, что только в века свободы, когда появляются великие люди и великие страсти, народы действительно восхищаются благородными и смелыми чувствами.

Почему при жизни Корнеля жанр этого знаменитого поэта правился, больше чем теперь? Потому что тогда только что закончилась смутная эпоха лиги и фронды, и умы, еще разгоряченные огнем мятежа, были более отважны, более честолюбивы, более ценили смелость; следовательно, характеры героев Корнеля и их поступки более соответствовали духу того времени, чем настоящего, когда встречается мало героев⁸, граждан и людей, одушевленных стремлением к славе, когда вслед за грозами наступил счастливый покой и вулканы мятежа потухли всюду.

Может ли ремесленник, привыкший стоять под бременем нищеты и презрения, может ли богач и даже вельможа, привыкший ползать перед человеком высокоопоставленным и смотреть на него с таким же благоговением, как египтянин на своих богов, как негр на своего фетиша, могут ли они быть глубоко тронуты таким стихом Корнеля:

«Pour être plus qu'un Roi, tu te crois quelque chose?»
«Считаешь ли ты себя чем-то, чтобы быть выше короля?»

Подобные чувства должны им казаться безрассудными и преувеличеными; они не могут восхищаться их возвышенностью, не краснея в то же время за свою низость. Поэтому, если исключить небольшое число людей с возвышенным умом и характером, питающих еще к Корнелю разумное и сознательное уважение, остальные поклонники этого великого поэта восхищаются им, движимые не столько чувством, сколько предрассудками и доверием к чужому мнению.

Всякое изменение в форме правления или в нравах народа необходимо должно вести за собой переворот в его вкусах. В различные эпохи одни и те же предметы производят различное впечатление на людей в зависимости от одушевляющих их страстей.

С чувствами людей дело обстоит так же, как с их идеями. Подобно тому как мы понимаем чужие идеи, только если они сходны с нашими, так и трогать нас, как говорит Саллюстий, могут только страсти, которые мы сами сильно испытываем⁹.

Только тогда можно быть тронутым изображением какой-либо страсти, когда сам был игралищем ее.

Представим себе, что встретились бы пастух Тирзис и Катилина и поверили бы друг другу обуревающие их чувства любви и честолюбия; они, наверное, не смогли бы передать друг другу различные впечатления от различных одушевляющих их страстей. Первый не понял бы, что может быть привлекательного в верховной власти, а второй — что лестного в победе над женщиной. Применяя этот принцип к различным жанрам трагедии, я утверждаю, что во всех странах, жители которых не участвуют в управлении государственными делами, где редко слышны слова *отечество и гражданин*, публике нравится в театре только изображение страстей, присущих частным людям, как например, любви. Я не хочу сказать, что все люди так чувствуют; несомненно, что гордых и смелых людей, честолюбцев, политических деятелей, скупцов, стариков или деловых людей мало трогает изображение этой страсти; вот почему полный успех театральные пьесы имеют только в республиканских государствах, где народное уважение концентрируется на ненависти к тиранам, на любви к отечеству и к свободе.

При всех других формах правления граждане не объединены общим интересом, различие же личных интересов необходимо должно препятствовать дружным аллодисментам. Рассчитывать на более или менее общий успех в этих странах можно, только изображая страсти, представляющие более или менее общий интерес для частных лиц. А несомненно, что из всех этого рода страстей наибольее широко распространена любовь, покоящаяся отчасти на природной потребности. Поэтому в настоящее время во Франции Расина предпочитают Корнелю, который в другое время и в другой стране, как, например, в Англии, наверное, получил бы предпочтение.

Некоторого рода слабость характера, явившаяся необходимым последствием роскоши и перемены в наших нравах, лишает нас

всякой силы и душевной возвышенности и тем самым заставляет нас предпочитать комедии трагедиям, сводя последние к комедиям высокого стиля, в которых действие развивается в дворцах королей.

Счастливое усиление власти государя, разоружившее мятеж и принизившее буржуа, почти совершенно изгнало их с комической сцены; на ней остались только благовоспитанные и великосветские люди, которые занимают на ней место, принадлежавшее прежде людям простого звания, и которые в сущности суть современные буржуа.

Итак, мы видим, что в различные времена известные виды ума производят весьма различное впечатление, и всегда, однако, про-процональное выгода, связанной с признанием их. А эта общественная выгода весьма различна в различные эпохи и поэтому вызывает, как я это докажу, впечатление и исчезновение некоторых родов идей и произведений; таковы все религиозно-полемические произведения, пользовавшиеся в свое время известностью и успехом, а в настоящее время позабытые.

В самом деле, в эпоху, когда люди, разделенные различием верований, были проникнуты фанатическим духом, когда каждое вероисповедование, пылая желанием поддержать свои догматы, стремилось, при помощи оружия или доказательств, их распространить, доказать и заставить весь мир принять их, тогда полемические сочинения представляли общий интерес уже одним своим сюжетом и потому были всеми ценимы; к тому же некоторые из них были написаны еретиками с чрезвычайным искусством и умом. Действительно, для того чтобы убедить своих читателей в истинности сказок вроде Ослиной шкуры или Сибелей бороды, на которые похожи некоторые ереси¹⁰, еретики должны были применять в своих произведениях всю изворотливость, силу и ресурсы логики; эти сочинения должны быть образцом умственной изощренности и, может быть, максимальным усилием человеческого ума в этом жанре. Таким образом, ясно, что как по важности сюжета, так и по способу его обработки полемисты должны были считаться в то время самыми уважаемыми писателями.

Но в век, когда дух фанатизма почти совсем исчез, когда пароды и государи, наученные пережитыми бедствиями, уже не занимаются больше теологическими диспутами, когда к тому же принципы истинной религии с каждым днем все более укрепляются, те же самые писатели уже не производят прежнего впечатления на умы. Поэтому светский человек будет их читать с тем же отвращением, с каким он стал бы читать перувианскую религиозно-политическую статью, в которой разбиралось бы, есть ли Манко-Капак сын солнца или нет.

Чтобы подтвердить сказанное наглядным примером, вспомним, с каким фанатизмом спорили о превосходстве современных писателей над древними. Этот фанатизм привнес славу многим посредственным сочинениям, трактовавшим этот сюжет; а равнодушие, с которым стали относиться к этому спору, заставило затем позабыть сочинения знаменитого де Ламонта и ученого аббата Террассона;

между тем эти сочинения, справедливо считавшиеся шедеврами и образцами этого рода литературы, теперь известны почти только одним ученым.

Этих примеров достаточно, чтобы доказать, что появлением и исчезновением известных родов идей и сочинений мы обязаны общественному интересу, изменяющемуся с течением времени.

Мне остается только показать, каким образом вследствие того же общественного интереса может сохраниться за некоторыми видами сочинений постоянное уважение во все времена, несмотря на изменения, ежедневно совершающиеся в народных правах, страстиах и вкусах.

Для этого надо вспомнить, что вид ума, наиболее уважаемый в известную эпоху и в известной стране, часто бывает презираем в другом веке и в другой стране; что, следовательно, ум есть собственно то, что условлено называть умом. Из этих условных соглашений одни преходящи, другие постоянны. Поэтому все различные виды умов можно свести к двум: кратковременная польза одних зависит от изменений, произошедших в торговле, форме правления, в страстиах, занятиях и предрассудках народа, — этот вид есть, так сказать, *модный ум*¹¹; вечная, неизменная, независимая от правов и различных форм правления польза других зависит от самой природы человека; следовательно, этот вид ума неизменен, его можно считать истинным умом, т. е. наиболее желательным видом ума.

Сведя таким образом все виды ума к двум видам, я буду различать и два рода литературных произведений.

Одни предназначены для того, чтобы иметь блестящий и быстрый успех, другие имеют успех прочный и продолжительный. Например, сатирический роман, в котором верно и зло будут описаны смешные стороны вельмож, несомненно, будет читаться всеми людьми низшего класса. Природа, которая запечатлела во всех сердцах чувство первоначального равенства, заложила вечный зародыш ненависти между знатными и незнатными людьми; поэтому эти последние схватывают с большим удовольствием и ироциательностью самые тонкие черты смешных картин, на которых эти знатные люди изображены не заслуживающими своего привилегированного положения. Поэтому такого рода книги пользуются быстрым и блестящим успехом; но он не широк и не продолжителен: не широк потому, что он неизбежно ограничен страной, в которой эти смешные стороны существуют; не продолжителен потому, что мода, замеляющая непрестанно одну смешную манеру другую, изглаживает из памяти людей старые смешные манеры и описавших их авторов; и, наконец, потому, что злоба простонародья устает от созерцания одних и тех же смешных сторон и ищет в новых недостатках новых мотивов для оправдания своего презрения к знатным людям. Проявляемое им в этом отношении нетерпение ускоряет упадок интереса к этого рода произведениям, известность которых часто скоротечнее тех смешных недостатков, которые они описывают.

Таков успех, выпадающий на долю сатирических романов. Их успех не может сравниться с успехом сочинения по этике или метафизике; желание научиться всегда более редко и менее живо, чем желание критиковать, и не может дать ни такого большого числа читателей, ни таких страстных читателей. К тому же, как бы ясно ни были изложены принципы этих наук, они требуют от читателя некоторого внимания, что также значительно снижает число читателей.

Но хотя достоинство сочинения по этике или по метафизике сознается не так скоро, как достоинство сатирического произведения, зато оно пользуется более широким признанием; ибо такие трактаты, как произведения Локка или Николя, в которых не говорится ни об итальянце, ни о французе, ни об англичанине, но о человеке вообще, непременно находят читателей среди всех народов мира и сохраняют их во все времена. Книга, достоинство которой заключается в тонкости наблюдений над природой человека и вещей, никогда не может перестать нравиться.

Сказанного мною достаточно, чтобы показать истинную причину различного рода оценки различных видов ума; если еще остаются какие-нибудь сомнения по этому вопросу, то можно сделать еще новые применения установленных здесь принципов и получить новые доказательства их истинности.

Допустим, например, что мы желаем узнать, сколь различен будет успех двух писателей, из которых один выделяется исключительно силой и глубиною своих мыслей, а другой умеет их удачно выражать. Согласно со сказанным мною, успех первого будет медленнее, ибо существует гораздо больше ценителей тонкости, прелести, приятности выражения или оборота мысли и вообще всех красот стиля, чем ценителей красоты идей. Следовательно, такой изящный писатель, как Малерб, должен иметь успех более быстрый, чем широкий, и более блестящий, чем продолжительный. Тому есть два основания: во-первых, всякое сочинение теряет при переводе на другой язык свежесть и силу своего колорита и, следовательно, появившееся за границей, лишается тех достоинств стиля, которые, по моему предположению, составляли его главную прелесть; во-вторых, язык незаметно стареет, самые удачные обороты становятся, в конце концов, обычными, и книга, лишившаясь даже в той стране, где она была написана, красот, делавших ее приятной, доставляет своему автору только уважение по традиции.

Чтобы достигнуть полного успеха, необходимо, чтобы к красоте стиля присоединились выдающиеся идеи. Без этого литературное произведение не может выдержать испытания времени, особенно же испытания перевода, которые можно рассматривать как орнило, наиболее способное отделить чистое золото от мишуры. Этому недостатку идей, свойственному многим из наших старых поэтов, и следует приписать презрение, которое несправедливо питают к поэзии некоторые умные люди.

К сказанному мною прибавлю еще одно: среди произведений, пользующихся известностью во все времена и в различных странах,

есть такие, которые представляют более живой и общий интерес для человечества и поэтому должны иметь более быстрый и больший успех. Чтобы убедиться в этом достаточно вспомнить, что мало людей, которые не испытали бы какой-нибудь страсти; что большинство из них меньше бывает поражено глубиной идеи, чем красотой описания страсти; что почти все из них больше чувствовали, чем видели, но больше видели, чем размышляли¹²; что поэтому описание страстей должно быть вообще приятнее, чем описание предметов природы, а поэтическое описание этих предметов должно найти больше поклонников, чем философские сочинения. Что же касается последних, то так как люди вообще менее интересуются сведениями по ботанике, географии и изящным искусствам, чем сведениями о человеческом сердце, то философы, отличающиеся знанием человеческого сердца, должны быть вообще более известны и почитаемы, чем ботаники, географы и великие критики. Так, де Ламот (да позволят мне еще раз воспользоваться им как примером) бесспорно был бы более почитаем, если бы он принял ту же тонкость, элегантность и ясность, которые он проявил в своих рассуждениях об оде, басне и трагедии, к более интересным сюжетам.

Публика восхищается лучшими произведениями великих поэтов, она не ценит великих критиков; их сочинения читают, обсуждают и целят только люди, занимающиеся искусством, — им они полезны. Вот почему слава де Ламота не пропорциональна его заслугам.

Теперь посмотрим, каковы должны быть произведения, которые с быстрым и блестящим успехом соединяют широкий и прочный успех.

Этот двойной успех имеют только те произведения, в которых, согласно моим принципам, автор сумел соединить мгновенную пользу с длительной; таковы некоторые виды поэм, романов, драматических произведений и нравственных и политических трактатов; относительно этих произведений следует заметить, что они вскоре утрачивают красоты, зависящие от нравов, предрассудков, времени и страны, в которой они написаны, и сохраняют в глазах потомков только ту единственную красоту, которая свойственна всем временам и странам; поэтому и Гомер должен казаться нам не таким привлекательным, каким он был для современных ему греков. Величина этой потери, и, если смею сказать, этой утечки достоинства произведения, зависит от того, насколько вечные красоты, которые входят в него и к которым обыкновенно примешиваются в разной пропорции временные красоты, берут более или менее верх над этими последними. Почему «Les Femmes savantes» Мольера ценятся уже меньше, чем его «L'Avare», «Tartuffe» и «Le Misanthrope»? Никто не подсчитывал числа идей, заключающихся в каждой из этих пьес; никто, следовательно, не определил степени заслуживающего ими уважения; но все чувствовали, что такая комедия, как L'Avare, успех которой основан на описании порока, вечно существующего и всегда вредного для людей, необходимо содержит в своих подробностях бесконечное множество красот, таких же вечных, как и удачно выбранный сюжет; напротив, такая комедия,

как «Les Femmes savantes», успех которой поконится на преходящем смешном явлении, которая блещет только мгновенными красотами, более свойственными природе сюжета и, может быть, более способными произвести сильное впечатление на публику, не может сделать это впечатление столь же продолжительным. Поэтому-то у различных народов только пьесы, изображающие характеры, пользуются большим успехом на сцене.

Заключение из этой главы таково, что уважение, оказываемое различным видам ума во все времена, пропорционально выгоде, связанной с этим уважением.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XIX

¹ Это не значит, что эти старые романы не доставляют еще удовольствия некоторым философам, которые считают их верной историей нравов народа в определенную эпоху и при известной форме правления. Эти философы убеждены, что существует большая разница между двумя романами, из которых один написан жителем Сибариса, а другой уроженцем Кротона, и судят о характере и духе народа по роду нравящегося ему романа. Этого рода суждения обыкновенно довольно справедливы: опытный политик мог бы с их помощью довольно точно определить, что можно и чего нельзя предпринять против какого-либо народа. Но обыкновенные люди, читающие романы не столько для поучения, сколько для удовольствия, не смотрят на них с этой точки зрения и потому не могут вынести такого рода суждения.

² В одной из своих проповедей этот Мено говорит об обещании пришествия Мессии: «Бог, — говорит он — предрекил предвечно воплощение и спасение рода человеческого, но он хотел, чтобы его об этом просили такие великие люди, как святые отцы. Адам, Энох, Мафусайл, Лемех, Ной тщетно просили его об этом и решили послать к нему послов. Первым был Моисей, вторым Давид, третьим Исаия и последним Церковь. Так как эти послы имели столь же мало успеха, как и сами патриархи, то решили послать женщин. Первой явилась г-жа Ева, которой бог ответил: «Ева, ты согрешила, ты недостойна моего сына». Потом пришла г-жа Сарра, которая сказала: «О боже! Помоги нам». Бог ей ответил: «Ты стала недостойна этого благодаря недоверию, которое ты выказала, когда я тебе сказал, что ты будешь матерью Исаака». Третьей была г-жа Ревекка. Бог ей сказал: «Ты ради Иакова была несправедлива к Иасаву». Четвертой была г-жа Юдифь, которой бог сказал: «Ты убила». Пятой — г-жа Эсфири, которой он сказал: «Ты была слишком нокетлива; ты слишком долго наряжалась, чтобы понравиться Ассури». Наконец была послана четырнадцатилетняя служанка, которая, опустив голову, смиренно стала на колени и сказала: «Пусть мой возлюбленный придет в мой сад, чтобы вкусить плоды его яблонь», а садом было девственное чрево. Эти слова услыхал сын и сказал отцу: «Отец мой, я полюбил ее с моей юности, и я хочу иметь ее своей матерью». Тотчас же бог позвал Гавриила и сказал ему: «О, Гавриил, отправляйся быстро в Назарет к Марии и передай ей от меня эти письма»; а сын прибавил: «Скажи ей от меня, что я ее избрал в матери». «Уверь ее, — прибавил святой дух, — что я буду обитать в ней, что она будет моим храмом, и вручи ей эти письма от меня». Все остальные проповеди Мено в том же роде.

³ Как велико было в эти времена невежество, показывает следующий случай: один священник, ведший процесс со своими прихожанами по поводу того, на чей счет следует вымочить церковь, привел следующий стих из Иеремии, когда судья готов был его присудить: *Paveant illi, et ego non paveam*. Не зная, что ответить на эту цитату, судья приказал, чтобы церковь была вымочена на средства прихожан.

Было время, когда церковь, считала науку и умение писать слишком светскими вещами, недостойными христианина. Говорили даже по этому поводу, что ангелы высекли св. Иеремию за то, что он хотел подражать стилю Цицерона. Но аббат Карто утверждает, что за то, что он плохо ему подражал.

⁴ *Utrum Deus potuerit suppositare mulierem, vel diabolum, vel asinum, vel silicem, vel cucurbitam: et, si suppositasset cucurbitam, quemadmodum fuerit concionatura, editura miracula et quoniammodo fuisse fixa cruci* (Apologet., р. Неродот, т. III, р. 127).

⁵ Что бы ни говорили в пользу веков невежества, никогда нельзя будет доказать, что они были благоприятны для религии; таковыми они были только для суеверия. Поэтому очень смешны нападки на философов или на провинциальные академии. Их члены, говорят эти люди, не могут просветить землю, поэтому пусть лучше они ее обрабатывают. Эти люди, ответим мы, не в состоянии обрабатывать землю. К тому же желать, в интересах земледелия, навязать им роль землепашцев, когда мы содержим столько нищих, солдат, мастеров предметов роскоши и домашней прислуги, все равно, что желать исправить государственные финансы, сберегая огарки. Прибавлю, что если даже допустить, что эти провинциальные академии делают мало открытый, их все же можно рассматривать как каналы, по которым столичные знания распространяются по провинциям, а что может быть полезнее просвещения людей? «Свет, вносимый философией, — говорит аббат де Флери, — никогда не может вредить». Только усовершенствуя человеческий разум, прибавляет Юм, государства могут надеяться на исправление своих форм правления, своих законов и своей администрации. Дух подобен огню, он распространяется по всем направлениям, и в стране, где нет людей, выдающихся в науках и литературе, бывает мало великих государственных деятелей и полководцев. Как можно представить себе, чтобы народ, не умеющий ни писать, ни рассуждать, способен был создать хорошие законы и освободиться от прискорбного ига суеверия веков невежества? Солон, Линург и Пифагор, выrostивший стольких законодателей, доказывают, как успехи разума способствуют общему счастью. Поэтому следует считать эти провинциальные академии весьма полезными. Более того, скажу, что если даже рассматривать ученых как купцов и сопоставить те сто тысяч ливров, которые король выдает академиям и писателям, с тем, что получается от продажи наших книг за границей, то несомненно, что этого рода торговля приносит государству более тысячи процентов.

⁶ «*Histoire de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres*, т. XVIII.

⁷ Этот Мальяр, так бравивший духовенство, сам не был свободен от пороков, в которых он упрекал своих собратьев. Его называли содомским доктором. На него была написана следующая эпиграмма, которая мне кажется весьма удачной для своего времени.

«Наш знаток Мальяр всюду сует свой нос, он идет то к королю, то к королеве; он все делает, все знает и на все способен; он великий оратор, один из

лучших поэтов, такой добрый судья, что многих приговорил к сожжению на костре; софист такой острый, как ягоды монаха. Но несмотря на то, что он только каноник, он так зол, что сравнительно с ним дьявол и грешники кажутся святыми. Но, если он гордится тем, что всюду пролезает, почему же он не присутствует на диспуте в Пуасси? Он утверждает, что он очень об этом жалеет, так как он победил бы Бева, такой он ловкий человек. Так отчего же он не там? Потому что он очень занят тем, что закладывает фундамент нового Содома».

* Гражданские войны суть несчастья, которым мы часто обязаны великими людьми.

* В рассказе о каком-либо героическом поступке читатель верит только тому, на что он сам способен, остальное он отбрасывает как выдумку.

¹⁰ См. св. Епифаний — «L'Histoire des hérésies».

¹¹ Под этим выражением я подразумеваю все, что не принадлежит к природе человека и вещей; следовательно, я подразумеваю под ним также многие вещи, которые нам кажутся весьма прочными, таковы — ложные религии, которые последовательно заменяют одна другую и которые под углом зрения веков должны считаться произведениями моды.

¹² Вот почему в Греции, в Риме и почти во всех странах век поэтов всегда возвещал и предшествовал веку философов.

ГЛАВА XX

Об уме, рассматриваемом по отношению к различным странам

Сказанное мною о различных веках я применяю и к различным странам и доказываю, что уважение или презрение, оказываемые различными народами одним и тем же видам ума, всегда является результатом их различной формы правления и, следовательно, следствием того что их интересы не одинаковы.

Почему республиканцы так целят красноречие? Потому что при этой форме правления красноречие открывает путь к карьере и богатству. А любовь и уважение, питаемые людьми к богатству и положению в обществе, должны непременно отражаться на способах их достижения. Вот почему в республиках почитают не только красноречие, но и все науки, которые способствуют образованию ораторов, как то: политика, законоведение, этика, поэзия и философия.

Напротив, в деспотических государствах красноречие не в почете, потому что оно не ведет к богатству; ведь в этих государствах оно не нужно, так как незачем стараться убедить, когда можно приказать.

Почему лакедемоняне проявили столько презрения к уму, направленному на усовершенствование предметов роскоши? Потому что бедная маленькая республика, которая могла противопоставить страшному могуществу персов только собственные добродетели и мужество, должна была презирать все способные ослабить мужество искусства, которые, может быть, стали бы боготворить — и совершенно основательно — в Тире и Сидоне.

Почему в Англии меньше ценят военное искусство, чем в свое время его почитали в Риме и Греции? Потому что англичане, ближе поддающиеся к карфагенянам, чем к римлянам, по своей форме правления и географическому положению, мешают нуждаются в великих полководцах, чем в искусственных негощантах; потому что торговый дух, необходимый ведущий за собой любовь к роскоши и изненожности, должен с каждым днем увеличивать в их глазах цену денег и индустрии, должен с каждым днем уменьшать их уважение к военному искусству и даже к храбрости — добродетели, которая в свободном народе долго поддерживает национальную гордость, но которая уменьшается с течением времени и является, может быть, отдаленной причиной падения и порабощения этого народа. Напротив, если до сих пор в Англии знаменитые писатели, — как то доказывает пример таких авторов, как Локк и Адиссон, — были более уважаемы, чем во всех других государствах, то потому, что в государстве, где каждый подданный участвует в управлении общими делами, где каждый умный человек может просвещать народ относительно его интересов, такого рода заслуги необходимо должны высоко цениться. Именно поэтому мы встречаем в Лондоне так много образованных людей, которых во Франции труднее встретить, а не потому, как полагали, что климат Англии более благоприятствует развитию ума, чем наш; наш список людей, отличившихся в военном деле, в политике, в науках и в искусствах, может быть, длиннее, чем их. Если английские дворяне более образованы, чем наши, то потому, что они вынуждены к этому; потому что в компенсацию за те преимущества, которые дает нам наша форма правления, они превосходят нас в образовании, и это превосходство они сохранят до тех пор, пока роскошь не испортит окончательно принципа их правления, не покорит их незаметно под игом рабства и не научит их ставить богатство выше таланта. Пока же в Лондоне стремление получить образование считается заслугой, а в Париже над ним смеются. Этот факт достаточно оправдывает ответ одного иностранца на вопрос регента, герцога Орлеанского, о характере и складе ума различных европейских народов: «Единственный способ ответить на вопрос вашего королевского высочества, — сказал он, — это привести вопросы, задаваемые обыкновенно у различных народов о человеке, появляющемся в свете. В Испании спрашивают: принадлежит ли он к высшему классу дворян?

В Германии: имеет ли он право войти в состав причта?

Во Франции: хорошо ли он принят при дворе? В Голландии: сколько у него денег? В Англии: что это за человек?»

Тот самый общественный интерес, который в республиканских государствах и в государствах со смешанной формой правления служит критерием при распределении уважения, является единственным критерием его и в государствах деспотических. Если в этих государствах не ценят ум, если в Испагани и Константино-поле евнух, придворный паж и паша пользуются большим вниманием, чем выдающийся человек, то потому, что в этих странах нет

никакой выгода уважать великих людей. Это не значит, что великие люди не были там полезны и желательны, но так как никому из частных людей, которые все вместе образуют общество, не выгодно стать таковыми, то понятно, что каждый из них будет питать мало уважения к тому, чем он сам не желал бы быть.

Кто в этих государствах мог бы предложить частному лицу подвергнуть себя трудностям учения и созерцания для усовершенствования своих талантов? Великие таланты всегда кажутся подозрительными неправедным правительствам, и они не дают здесь их обладателю ни положения, ни богатства. А между тем богатство и положение суть единственны доступные людскому глазу блага, единственные, которых почитают истинными благами и которых все желают. Напрасно было бы говорить, что они иногда на доедают своим обладателям.

Их можно, пожалуй, сравнить с декорациями, которые иногда неприятны актеру, но которые всегда покажутся удивительными с той точки зрения, с которой созерцают их зритель. Для достижения их люди делают наибольшие усилия. Поэтому знаменитые люди бывают только в тех странах, где почести и богатства являются наградой за большие таланты; обратно, по той же причине деспотические государства всегда бедны великими людьми. Замечу еще, что деньги теперь так поднялись в глазах всех народов, что даже в очень мудрых и просвещенных государствах обладание ими считается почти всегда высшей заслугой. Сколько богатых людей, возгордившихся вследствие расточаемых им похвал, считают себя выше¹ талантливых людей, с ложью скромным видом радуются тому, что полезное предпочли приятному и что за недостатком ума, как они выражаются, накопили здравый смысл, придавая этому слову значение истинного, подлинного и превосходного ума. Философов эти люди должны всегда считать фантастами, их сочинения действительно легкомысленными, хотя и облеченные в серьезную форму произведениями, а невежество признавать достоинством.

Богатство и положение слишком для всех привлекательны для того, чтобы таланты стали уважать там, где стремление к заслугам исключает стремление к материальным успехам. А чтобы достигнуть последних, умный человек принужден повсюду терять, в приемной покровителя время, которое ему необходимо, если он желает выдвинуться в какой-нибудь области, для упорных и не прерывных занятий. Чтобы заслужить милость вельмож, он должен пойти на лесть и унижения. Если он родился в Турции, ему приходится терпеть презрение от какого-нибудь муфтия или султанши; во Франции — снисходительную благосклонность знатного человека² или высокоопоставленного лица, которые презирают его за ум, слишком отличный от их ума, и считают его человеком бесполезным для государства, не способным к серьезным делам и, самое большое, милым ребенком, запинаящимся остроумными пустяками. К тому же высокодоставленный человек, завидуя втайне репутации достойных уважения людей³ и боясь их критики, принимает их не столько из любви к ним, сколько из чванства, исклю-

чителью чтобы показать, что в его доме есть все. Но можно ли предположить, чтобы человек, одушевляемый любовью к славе, способной оторвать его от приятных удовольствий, мог до такой степени унизиться? Тот, кто родился для того, чтобы прославить свой век, всегда будет настороже против вельмож; во всяком случае он будет близок только с теми из них, ум и характер коих созданы для уважения таланта, кто, скучая в большинстве обществ, ищут и находят в них умных людей, испытывая при этом такое же удовольствие, как два француза, встретившиеся в Китае и с первого взгляда сделавшиеся друзьями.

Таким образом, характер, необходимый для образования знаменитого человека, является причиной того, что он возбуждает ненависть или, по меньшей мере, равнодушие в знатных и высоко-поставленных людях, особенно у восточных народов, отшепевших благодаря своей форме правления и религии, коснеющих в постыдном невежестве и занимающихся, если смсю так выразиться, середину между человеком и животным.

Доказав, что недостаток уважения к заслугам на Востоке основан па том, что эти народы не заинтересованы в уважении талантов, я, чтобы лучше выяснить значение этого интереса, примению этот принцип к более знакомым нам вещам. Рассмотрим, например, почему наше общество, интересы которого развились в зависимости от формы нашего правления, так не любит научных рассуждений, почему они нам кажутся скучными; мы увидим, что научные рассуждения певыносимы и утомительны, что наши граждане, благодаря нашей форме правления, меньше нуждаются в поучении, чем в развлечении, и вообще стремятся только к такому виду ума, который делает их приятными за ужином, что поэтому они должны мало уважать ум, способный к рассуждению, и должны все более или менее походить на того придворного, которому больше надоели, чем привели в замешательство аргументы одного умного человека, доказывавшего свое мнение, и который горячо воскликнул: «О, милостивый государь, я не желаю, чтобы мне доказывали!»

Все должно уступать у нас требованиям лени. Если в разговоре мы употребляем несвязные и гиперболические выражения; если преувеличение считается в нашем веке и в нашей стране признаком красноречия; если мы нисколько не дорожим верностью и точностью идей и выражений, то потому, что мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы их уважать. Так же точно под влиянием лени мы считаем вкус даром природы, своего рода инстинктом, превосходящим всякое рассудочное знание, и, наконец, живым и быстрым чувством добра и зла, освобождающим нас от всякого размышления и сводящим все правила критики к двум словам: прелестно и отвратительно. Лени же мы обязаны некоторыми нашими преимуществами над другими народами. Малая привычка к прилежанию, а в конце концов полная к нему неспособность заставляют нас требовать от книг ясности, которая возмещает эту неспособность к вниманию; мы — дети, желающие, чтобы при чтении нас держали на помочах порядка. Поэтому автор должен те-

перь приложить все старания, чтобы избавить от всякого старания своих читателей; он постоянно должен помнить слова Александра: «О, афиняне, чего мне стоит ваша похвала!» И вот необходимость писать ясно, для того чтобы нас читали, ставит нас в этом отношении выше английских писателей; если последние не заботятся о том, чтобы писать так ясно, то потому, что их читатели не так к этому чувствительны, и потому что ум, более привыкший к напряжению внимания, легче может справиться с недостатками ясности. Вот это и дает нам в такой науке, как метафизика, некоторые преимущества над нашими соседями. Если к этой науке всегда применяли поговорку: «Нет чуда без покрываля», и если туманность ее долгое время вызывала уважение к ней, то теперь наша лень не позволила бы нам проникнуть сквозь нее; мы стали бы презирать ее за ее темноту; мы требуем, чтобы она была очищена от непопятного языка, в который она еще облечена, чтобы ее освободили от окружающего ее таинственного тумана. А это требование, которым мы обязаны лени, есть единственное средство сделать науку о вещах из той самой метафизики, которая до сих пор была лишь наукой о словах. Но, для того чтобы удовлетворить в этом отношении вкус публики, следует, как замечает знаменитый историограф Берлинской академии, «чтобы умы, разорвав узы слишком суеверного уважения, узнали границы, которые навсегда отделяют разум от религии, и чтобы исследователи, безрассудно восстающие против всякого сочинения, основанного на рассуждении, не обрекали впредь народ на легкомыслие».

Сказанного мною, я полагаю, достаточно, чтобы в то же время раскрыть причину нашей любви к рассказам и романам, нашего искусства в этом жанре, нашего превосходства в фривольном искусстве говорить пустяки, довольно однако трудном, и, наконец, предпочтения, оказываемого нами забавному уму перед всяким другим, — предпочтения, приучающего нас смотреть на умного человека, как на забаву, и унижать его, ставя его на одну доску с фигляром, предпочтения, делающего нас самым галантным, самым любезным, но и самым легкомысленным народом в Европе.

При наших нравах мы и должны быть таковыми. Путь к честолюбию закрыт для большинства наших граждан благодаря нашей форме правления; им остается только путь наслаждений. Среди наслаждений самое живое есть любовь; чтобы добиться ее, надо уметь быть приятным женщинам; следовательно, как только является потребность любить, должно загораться в нашей душе желание нравиться. К сожалению, влюбленные подобны крылатым насекомым, принимающим цвет растения, на котором они сидят; только заимствовав сходство от предмета своей любви, влюбленному удается понравиться ему. Но так как женщины, благодаря даваемому им образованию, приобретают больше легкомыслия и очаровательности, чем силы и правильности мысли, то и наш ум сообразуясь с их умом, должен обладать теми же недостатками.

Есть только два способа предохранить себя от этого. Первый — улучшить образование женщин, возвысить их душу, расширить

их ум. Несомненно, что если иметь наставником любовь, то его можно поднять до самых высоких вещей, и что рука красоты может посеять в нашей душе семена ума и добродетели. Второй способ (и не его я, конечно, посоветую) — это освободить женщин от остатков стыдливости, жертва которой дает им право требовать от любовника постоянного поклонения и обожания. Тогда благосклонность женщин станет более обычной и покажется менее ценной; тогда мужчины станут более независимыми и умными и будут проводить с женщинами только часы, предназначенные для любовных наслаждений, и, следовательно, смогут расширить и укрепить свой ум научными занятиями и размышлением. У всех народов и во всех странах, где поклоняются женщинам, следует сделать из них или римлянок, или султанш; наиболее опасна середина.

Все сказанное мною доказывает, что удивительное разнообразие характеров, талантов и вкусов народов следует приписать разнообразию форм правления и, следовательно, разнообразию интересов народов. Если иногда замечаются моменты сближения в общем уважении к чему-нибудь, если, например, военное искусство почитается всеми народами как самое главное, то потому, что великий полководец является почти во всех странах самым полезным человеком, по крайней мере до тех пор, пока не будет установлен всемирный и вечный мир. Когда этот мир будет установлен, тогда, несомненно, люди, прославившиеся в науках, законах, литературе и искусствах, будут предпочтаться самому великому полководцу в мире; отсюда я заключаю, что общий интерес является единственным критерием уважения у всех народов.

В дальнейшем я докажу, что этой же причине следует приписать взаимное презрение народов, справедливое или нет, к чужим правам, обычаям и характерам.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XX

¹ Даже самые посредственные среди богачей, обольщенные собственным тщеславием и расточаемыми им похвалами, считают себя выше по крайней мере, тех, кто не стоит выше всех на своем поприще. Они не понимают, что о людях, посвятивших себя умственным занятиям, можно сказать то же, что о бегунах. Этот человек, говорят они между собой, не умеет бегать. Однако ни слабосильный, ни обыкновенный человек не догонят его на бегу.

Если не говорят об умственной посредственности большинства этих людей, гордящихся своим богатством, то потому, что не приходит даже на ум называть их. Если же о людях молчат, то это плохой знак; это значит, что не приходится мстить им за их превосходство. О тех, кто не заслуживает похвалы, говорят мало худого.

² Они иногда подражают добрым людям; но сквозь их доброту, как сквозь дыры плаща Диогена, просвечивает тщеславие.

³ «Когда я вступил в свет, — сказал однажды Монтескье, — меня представили как умного человека, и я был довольно благосклонно принят высоко-поставленными людьми; но когда благодаря успеху моих *Lettres persanes* ^и, *пожалуй*, доказал, что обладаю умом, и когда я заслужил некоторое ува-

жение общества, уважение людей высокопоставленных остыло, и я испытал много неприятностей. Знайте, — прибавил он, — что оскорбленные в душе тем, что другой пользуется репутацией знаменитого человека, они из мести унижают его, и что надо самому заслужить большие похвалы, для того чтобы терпеливо переносить похвалы другому».

ГЛАВА XXI

Взаимное презрение народов зависит от их тщеславия

О народах можно сказать то же, что и о частных лицах: [по-]добно тому как каждый из нас считает себя непогрешимым, всякое противоречие рассматривает как оскорблениe и в другом уважает и восхищается только своим собственным умом, так и каждый народ уважает в других только идеи, сходные с его собственными; всякое противное мнение является источником презрения.

Бросим беглый взгляд на то, что происходит в мире. Если англичане считают нас легкомысленными людьми, а мы их черствыми, то араб, убежденный в непогрешимости своего калифа, смеется над глупым легковерием татарина, считающего своего ламу бессмертным. В Африке негр, поклоняющийся какому-нибудь корню, ножке краба, рогу какого-нибудь животного и видящий в земле громадное собрание божеств, смеется над тем, что у нас мало богов, тогда как непросвещенный мусульманин упрекает нас в том, что у нас три бога. Со своей стороны, жители горы Бата, убежденные в том, что каждый человек, поевший перед смертью жареную кукушку, становится святым, смеются над индусами: не смешно ли, говорят они, подводить к постели больного корову и воображать, что если эта корова, когда ее дернут за хвост, выпустит мочу и несколько капель ее попадут на умирающего, то этот умирающий делается святым? Что может быть нелепее требования брамина от новообращенных, чтобы в продолжение шести месяцев они питались одним коровьим навозом!¹

Вот на какого рода различии в нравах и обычаях и основывается взаимное презрение народов. По этой же причине² жители Антиохии презирали императора Юлиана за простоту нравов идержанность, которые вызывали у галлов восхищение им. Различие в религии и, следовательно, во взглядах заставило в то же самое время христиан, более фанатичных, чем справедливых, запятнать свою гнусною клеветою память этого государя, который заслужил быть поставленным наряду с величайшими императорами, так как он уменьшил налоги, восстановил военную дисциплину и оживил умиравшую доблесть римлян³.

Куда ни посмотреть, всюду мы встретим эти несправедливые оценки. Каждый народ убежден, что он один обладает мудростью, а все остальные глупы, и походит на того жителя Марианских островов⁴, который был убежден, что во всем мире существует только один язык — его, и отсюда заключал, что остальные люди не умеют говорить.

Если бы с неба сошел мудрец, который в своих поступках руководился бы только светом разума, то этот мудрец был бы сочен сумасшедшем. В глазах других людей, говорит Сократ, он был бы подобен врачу, которого пирожники обвинили бы перед судом детей в том, что он запретил есть пирожные и тартины, и который паверное был бы призван этим судом виновным. Тщетно стал бы он приводить самые веские доказательства своей правоты; все народы отнеслись бы к нему, как, по словам индусских баснописцев, отнеслись люди из страны горбатых к молодому, красивому и стройному богу, вошедшему в их столицу; они окружили его; пораженные его странной внешностью, они стали осыпать его насмешками; его, вероятно, подвергли бы дальнейшим оскорблением, если бы один из жителей, видавший, вероятно, иных людей, кроме горбатых, и желавший спасти его от этой опасности, не воскликнул: «Но, друзья, что вы хотите делать? Не будем обижать этого несчастного урода; небо одарило нас всех красотой, опо украсило наши спины горой мяса; будем благодарны за это бессмертным и пойдем в храм возблагодарить за это богов». В этой басне представлена история человеческого тицеславия. Все народы восхищаются своим недостатками и презирают противоположные достоинства; чтобы иметь успех в каком-нибудь государстве, надо носить на спине горб того народа, среди которого находишься.

Во всяком государстве мало защитников правоты соседних народов, мало людей, признающих в себе смешные стороны, в которых они обвиняют иностранцев, и берущих пример с того татарина, который сумел по этому поводу уличить в несправедливости самого ламу.

Этот татарин объехал Север, посетил страну лапландцев и даже купил у них колдунов ветер⁵. Вернувшись к себе, он стал рассказывать о своих похождениях; их пожелал выслушать сам великий лама, который помирал со смеху, слушая его рассказ. «На какое безумие, — сказал он, — способен ум человеческий! Какие странные обычай! Как легковерны лапландцы! Разве это люди?» — «Да, действительно, — отвечал татарин, — но выслушай нечто еще более странное: эти лапландцы, такие смешные со своими колдунами, также смеются над нашим легковерием, как ты над их!» — «Нечестивец, — отвечал великий лама: — как ты смеешь богохульствовать и сравнивать мою религию с их?» — «Бечный отец, — отвечал татарин, — прежде чем святое возложение твоей руки на мою голову омоет меня от греха, я тебе докажу, что ты не должен своим смехом поощрять своих подданных осквернить свой разум. Если бы подвергнуть строгой критике и сомнению все предметы человеческой веры, то кто знает, оказалась ли бы твоя религия защищенной от насмешек неверующего? Может быть, тогда твоя святая моча и твои святые испражнения⁶, которые ты теперь раздаешь земным государям, показались бы им менее драгоценными; может быть, они не так благосклонно приняли бы их и не стали бы осыпать ими свои рагу и приправлять ими свои соусы? Уже в Китае нечестие дошло до того, что стали отрицать девять вопло-

щений Вишну. Ты, проникающий своим взором прошлое, настоящее и будущее, ты сам нам часто повторял, что обязан своим бессмертием и земным могуществом талисману слепой веры; без полного подчинения твоим догматам ты будешь принужден покинуть эту страну мрака и вернуться на свою родину — небо. Ты знаешь, что ламы, находящиеся под твоей властью, должны со временем воздвигнуть тебе алтари во всех частях света; можешь ли ты быть уверен, что они выполнят этот проект без помощи людского легковерия, а без него критика, которая всегда нечестива, может принять лам за лапландских кудесников, продающих ветер глупцам, желающим его купить. Прости же, о живой Фо, эти слова, продиктованные мне заботой о твоей религии, и да научится от тебя татарин уважать невежество и легковерие, которыми небо, всегда испроницаемое в своих намерениях, повидимому, пользуется, чтобы подчинить тебе землю».

Мало людей следуют этому примеру и указывают своему народу, что он делает себя смешным в глазах разума, когда смеется над собственной глупостью под чужим именем, но еще меньше существует народов, способных воспользоваться подобными указаниями. Все они так связаны интересами своего тщеславия, что во всех странах умными называют только тех людей, которые, по словам Фонтенеля, *глупы общей глупостью*. Каким бы чудесным ни был миф, он всегда найдет веру в каком-нибудь народе, который будет считать сумасшедшими тех, кто откажется в него верить. В государстве Юда, где поклоняются змеям, никто не посмеет сомневаться в сказке, которую рассказывают марабу о свинье, оскорбившей божественную змею и съевшей ее⁷. Святой марабу, рассказывают они, заметил это и пожаловался королю. Тотчас же был объявлен смертный приговор всем свиньям, который стал приводиться в исполнение, и их род был бы совсем уничтожен, если бы народ не стал убеждать государя, что несправедливо за одного виновного наказывать столько невинных; эти убеждения воздействовали на государя; главного марабу успокоили, избиение прекратили, а свиньям был отдан приказ быть впредь почтительнее к божествам. Вот, восклицают марабу, как змея воспламенила гнев короля и отстила нечестивым, чтобы мир признавал на будущее время ее божественность, ее храм, ее жреца, ордес марабу, призванный служить ей, наконец, дев, посвященных на служение ей. Бог-змей, скрытый в глубине своего святилища, незрим даже для короля и принимает моления и отвечает на вопросы только через посредство жрецов, и не дело смертных разбирать эти тайны: их долг верить, поклоняться и обожать.

Напротив, в Азии персы, забрызганные кровью⁸ змей, принесенных в жертву богу добра, бегают в храмы магов похвастать этим актом благочестия; можно ли думать, что если бы кто-нибудь остановил их, чтобы доказать им, как смешно их поведение, то он был бы ими хорошо принят? Чем нелепее какой-нибудь взгляд, тем доблестнее и опаснее доказывать его нелепость.

Поэтому Фонтенель всегда говорил, что если бы все истинны были

зажаты в его руке, он поостерегся бы разжать ее, чтобы показать их людям. Действительно, если открытие одной истины привело Галилея в тюрьмы инквизиции, то к каким пыткам присудили бы того, кто открыл бы их все? ⁹

Среди разумных читателей, смеющихся в эту минуту над человеческой глупостью и возмущающихся тем, как поступили с Галилеем, может быть, нет ни одного, который не потребовал бы его казни, если бы жил в его время. Они были бы тогда иных взглядов, а на какие только жестокости не толкает нас варварская и фанатическая привязанность к своим взглядам! Сколько зла посеяла на земле эта привязанность! и как было бы справедливо, полезно и легко от нее избавиться!

Чтобы научиться сомневаться в своих взглядах достаточно исследовать силу своего ума, рассмотреть список человеческих заблуждений, вспомнить, что только через шестьсот лет после основания университетов из них вышел, наконец, необыкновенный человек ¹⁰, которого его современники преследовали, а затем поместили в ряд полубогов, за то, что он учил людей считать истинными только те принципы, о которых они имеют ясные идеи, — истина, все значение которой понимают немногие: для большинства людей принципы не содержат никаких выводов.

Каково бы ни было тщеславие людей, несомненно, что если бы они чаще вспоминали об этих фактах; если бы они чаще повторяли слова Фонтенеля: «*Никто не избегает заблуждений, неужели я один непогрешим? Может быть, я ошибаюсь именно в тех вещах, в которых я упорствую с наибольшим фанатизмом?*»; если бы они постоянно помнили эту истину, то они были бы более настороже против своего тщеславия, более внимательны к возражениям своих противников, более доступны истине; они были бы кротче, терпимее и, несомненно, были бы не такого высокого мнения о своей мудрости. Сократ часто повторял: «*Я знаю, что я ничего не знаю*». В наше время знают все, кроме того, что знал Сократ. Люди так часто не замечают своих заблуждений, потому что они невежественны, и вообще самая неизлечимая их глупость состоит в том, что они считают себя умными. Это заблуждение, свойственное всем народам и являющееся отчасти следствием их тщеславия, заставляет их не только презирать нравы и обычай, отличные от их, но заставляет их рассматривать как дар природы превосходство, которое некоторые из них имеют над другими, а между тем этим превосходством они обязаны только политическому строю своего государства.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XXI

¹ «*Théâtre de l'Idolâtrie*», par Abraham Roger.

Корова, как сообщает Винцент Леблан, считается в Калькутте священной и святой. Нет вообще существа, которое пользовалось бы репутацией большей святыни; обычай, в виде эпидемии, есть коровий навоз весьма, повидимому, древний на Востоке.

² Один караиб, оскорбленный нашим презрением, сказал: «Я не знаю иных дикарей, кроме европейцев, которые не признают ни одного из моих обычаев» (*De l'orig. et des moeurs des Caraïbes*, par la Borde).

³ На гробнице Юлиана в Тарсе было выгравировано: «Здесь покоится Юлиан, расставшийся с жизнью на берегах Тигра. Он был прекрасным императором и храбрым воином».

⁴ «*Voyages de la Compagnie des Indes Hollandoises*».

⁵ У лапландцев имеются колдуны, продающие путешественникам веревочки с узлом; этот узел при развязывании его на известной высоте вызывает определенный ветер.

⁶ Главного ламу называют «вечным отцом». Князья лакомятся его испражнениями (*Histoire générale des voyages*, t. VII).

⁷ «*Voyages de Guinée et de la Cayenne*», par le père Labat.

⁸ Beausobre, «*Histoire du Manichéisme*».

⁹ Мыслить, говорит Аристипп, значит навлекать на себя непримиримую ненависть невежд, людей слабых, суеверных и испорченных, которые высокомерно заявляют себя противниками всех, стремящихся понять в вещах то, что в них заключено истинного и существенного.

¹⁰ Декарт.

ГЛАВА XXII

Почему народы считают даром природы качества, которыми они обязаны форме правления

И это заблуждение вытекает из тщеславия, и разве найдется народ, который был бы способен восторжествовать над этим заблуждением? Предположим, для примера, что какой-нибудь француз, привыкший говорить довольно свободно и встречать иногда людей, представляющих из себя настоящих граждан, покидает Париж и отправляется в Константинополь; какое представление должен он составить о странах, управляемых despoticески, когда он увидит, в каком унизительном состоянии находится там человечество? когда он заметит повсюду отпечаток рабства? когда он увидит, что тираны заражают своим дыханием зародыши всех талантов и всех добродетелей, вносят отупение, рабскую боязливость и вызывают сокращение народонаселения от Кавказа до Египта, и когда он узнает, что в то время как персы разбивают войска султана и грабят его провинции, он спокойно сидит, запершись в гареме, равнодушный к народным бедствиям, пьет свой шербет, ласкает своих жен, вешает своих пашей и скучает? Пораженный трусостью и раболением этих народов, одушевленный чувством гордости и негодования, почти всякий француз сочтет себя существом высшим, чем турок. Много ли найдется таких, которые понимают, что презирать какую-либо нацию всегда несправедливо? что превосходство одного народа над другим всегда зависит от более или менее удачной формы правления? и что этот турок может возразить так же, как возразил один перс солдату-лакедемонийцу, который упрекал его народ в трусости: «За что ты меня оскор-

блаженш? — сказал он, — цойми, что там, где признают абсолютного монарха, уже нет народа. Государь есть всеобщая душа деспотического государства; его мужество или его трусость заставляют чахнуть или оживляют государство. Если мы были победителями при Кире, а теперь побеждены при Ксерксе, то это потому, что Кир основал трон, а Ксеркс сел на него при рождении; потому, что Кир при рождении был окружён равными себе людьми, а Ксеркс всегда был окружён рабами; и самые низкие из них, как ты знаешь, живут в царских дворцах. Поэтому ты видишь на главных местах подонки нации — морскую пенную, поднявшуюся на поверхность. Признай же, что твое презрение несправедливо. А если ты сомневаешься, то дай нам законы Спарты, а себе возьми властелином Ксеркса, — тогда ты станешь трусом, а я героем».

Вспомним момент, когда военный клич пробудил все европейские народы, когда гром войны пронесся с севера до юга Франции¹: представим себе, что в это время в Париж прибыл республиканец, еще согретый гражданским чувством, и очутился в веселом обществе; как был бы он поражен, услышав, как равнодушно там говорят о политических делах и живо интересуются только модой, любовными приключениями или маленькой собачкой!

Разница в этом отношении между нами и англичанами поражает англичан, и почти каждый из них считает себя поэтому выше нас, считает французов легкомысленными, а Францию — Вавилоном; а он мог бы легко заметить, что его соотечественники обязаны высоким и патриотическим духом, свойственным только свободным государствам, не только форме правления, но также географическому положению Англии.

В самом деле, чтобы убедиться, что свобода, которой так гордятся англичане и которая действительно заключает в себе зародыши многих добродетелей, является не столько результатом их мужества, сколько случайным даром, вспомним, на какое бесчисленное множество партий была прежде разделена Англия, и мы увидим, что если бы моря, омывающие это государство, не делали его недоступным для соседних народов, то последние воспользовались бы внутренними раздорами англичан и либо подчинили бы их себе, либо дали бы их королям средства поработить их, и что, следовательно, их свобода не есть плод их мудрости. Если как они утверждают, они обязаны свободой стойкости и осторожности, свойственным их нации, то не должны ли были бы они извлечь наибольшую выгоду из ужасного преступления, совершившего ими над Карлом I? Могли ли бы они допустить, чтобы этот государь был всепародно признан святым и в честь его совершились богослужения и процесии, в то время как, по словам некоторых из них, в интересах народа было смотреть на него как на жертву, принесенную на алтарь общественного блага, и считать его казнь необходимой для всего света, так как она должна была навсегда внушить страх вся кому, кто вознамерился бы подчинить народ произвольной и тиранической власти? Итак, всякий здравомыслящий англичанин согласится, что географическому положению

своей страны он обязан свободой; что на материке форма правления Англии не могла бы сохраниться такой, как она есть, а должна была бы быть значительно усовершенствованной, и что единственный и законный предмет его гордости сводится к счастью быть уроженцем острова, а не материка.

Отдельные лица, конечно, признают это, но целый народ — никогда. Никогда народ не захочет наложить на свое тщеславие узы разума; большая справедливость в суждениях предполагает такую уравновешенность ума, которая редко встречается у отдельных лиц, тем менее у целого народа.

Итак, всякий народ считает добродетели, которыми он обязан форме своего правления, даром природы. Это в интересах его тщеславия, а кто может устоять перед голосом собственного интереса?

Общее заключение из сказанного мною об уме, рассмотренном по отношению к различным странам, сводится к тому, что интерес есть единственный источник уважения или презрения, которое питают нации к своим различным нравам, обычаям, разновидностям ума.

Единственное возражение против этого заключения таково: если выгода, скажут мне, есть единственный источник уважения, оказываемого различного рода наукам и уму, почему же этика, полезная для всех народов, не пользуется наибольшим уважением? Почему имена Декарта, Ньютона более знамениты, чем имена Николя, Лабрюйера и всех моралистов, проливших в своих сочинениях, может быть, столько же ума? Потому, отвечу я, что великие физики послужили иногда своими открытиями на пользу миру, большинство же моралистов не оказали до сих пор никакой услуги человечеству. Чем толку постоянно повторять, что прекрасно умирать за родину? Сентенции не создают героев. Чтобы заслужить уважение, моралисты должны бы употребить на отыскание средств к образованию храбрых и добродетельных людей время и ум, которые они тратят на сочинение правил о добродетели. В те времена, когда Омар писал сирийцам: «Я посыпаю против вас людей, которые так же жаждут смерти, как вы удовольствий», сарацины, поддавшиеся обаянию честолюбия и суеверия, смотрели на небо как на место награды за доблесьть и победу, и на ад — как на место, уготованное трусости и поражению. Тогда они были одушевлены самым пылким фанатизмом, а храбрыми делают людей страсти, а не правила морали. Моралисты должны были бы это понять и знать, что, подобно тому как скульптор из ствола дерева может сделать бога или скамью, так и законодатель может по желанию образовать героев, гениев и добродетельных людей. Укажу для примера на московитов, которых Петр Великий превратил в людей.

Напрасно народы, безумно влюбленные в свои законы, ищут причину своих несчастий в неисполнении их. Нарушение законов, говорит султан Махмут, всегда доказывает невежество законодателя. Награда, наказание, слава и позор, покорные его воле, — суть четыре вида божеств, с помощью которых он может всегда добиться

народного благосостояния и создать во всех отраслях выдающихся людей.

Все знание моралистов заключается в умении пользоваться этими наградами и наказаниями и извлекать из них средство для связи личного интереса с общим. Эта связь и есть идеал, к которому должна стремиться этика. Если бы граждане не могли достигать личного счастья иначе, как содействуя общему благу, то только сумасшедшие были бы порочными; все люди были бы вынуждены быть добродетельными; тогда благоденствие народов было бы благодетельным даром этики; несомненно, что тогда эта наука была бы бесконечно почитаема, а писателей, выдающихся в этом жанре творчества, поставили бы, — по крайней мере справедливые и благодарные потомки, — наряду с Солоном, Ликургом и Конфуцием.

Но несовершенство этики и ее медленный прогресс, возразят мне, могут быть лишь результатом того, что оказываемое моралистам уважение не пропорционально тем усилиям, которые необходимы для усовершенствования этой науки. Следовательно, добавят они, общий интерес не руководит распределением народного уважения.

Чтобы ответить на это возражение, следует в непреодолимых препятствиях, мешавших до сего времени прогрессу этики, искать причину равнодушия, с которым по сие время смотрят на эту науку, успехи которой всегда влекут за собой успехи в законодательстве и усовершенствовать которую, следовательно, в интересах всех народов.

ГЛАВА XXIII

О причинах, задерживавших до сего времени прогресс этики

Если этика кажется едва вышедшей из колыбели, в то время как поэзия, математика, астрономия и вообще все науки более или менее быстро усовершенствуются, то это потому, что люди, образовав общество, были вынуждены установить законы и нравы и создать систему этики раньше, чем опыт указал им истинные принципы ее. А раз система была образована, люди перестали заниматься наблюдением; поэтому у нас этика — так сказать, из эпохи младенческого состояния человечества. Как же ее усовершенствовать?

Чтобы ускорить прогресс науки, еще недостаточно, чтобы она была полезна для народа; надо, чтобы каждый из граждан, составляющих народ, видел какую-либо выгоду в ее усовершенствовании. Однако при революциях, которые пережили все народы на земле, общественный интерес, т. е. интерес большинства, на который должны всегда опираться принципы здравой этики, оказывался не всегда в соответствии с интересом сильных мира сего; поэтому последние, относясь равнодушно к прогрессу других наук, должны были всеми силами противиться успехам морали.

Действительно, первый честолюбец, возвысившийся над своими согражданами, тиран, попирающий их своими ногами, фанатик, удерживающий их поверженными у своих ног, — все эти бичи человечества, все эти злодеи различного рода, принужденные своей личной выгодой устанавливать законы, противные общему благу, прекрасно понимали, что их могущество основывалось только на невежестве и тупости людской; поэтому они всегда заставляли молчать тех, кто, раскрыв людям истинные принципы этики, тем самым указал бы им на все страдания и все их права и вооружил бы их против несправедливости.

Но, возразят мне, если в первые века мира, когда деспоты держали людей в рабстве под железным скрипетом, в их интересах было скрывать от людей истинные принципы этики, ибо эти принципы могли вызвать в них возмущение против тиранов и заставить каждого гражданина считать месть своим долгом, — то в настоящее время, когда скрипет не добывается ценой преступления, когда он вложен в руки государей с единодушного согласия и охраняется любовью народа, когда слава и счастье нации, отражаясь на государе, усиливают его величие и счастье, — какие враги человечества противятся еще принципам этики?

Это уже не государи, а две группы иного рода могущественных людей. Прежде всего фанатики, которых я не смешиваю с людьми действительно благочестивыми: последние поддерживают правила религии, первые их разрушают; одни — друзья¹ человечества, другие — мягкие снаружи, а жестокие внутри — имеют голос Якова, а руки Иисава; они не стремятся поступать добродетельно и считают себя добродетельными не за то, что они делают, а только за то, во что они веруют; по их мнению, доверчивость людей есть единственная мерка их добродетели². Они, как говорила королева Христина, смертельно ненавидят всякого, кого они не могут одурячить: в этом их интерес. Будучи честолюбивы, лицемерны и скрытны, они понимают, что, для того чтобы поработить людей, следует их ослепить; поэтому они обвиняют в нечестии всякого, кто от рождения предназначен к просвещению народов; всякая новая истина кажется им подозрительной; они похожи на детей, которые пугаются всего в потемках.

Второй вид сильных мира сего, противящихся прогрессу этики, это полу-политики. Среди них есть такие, которые от природы склонны к истине, но становятся врагами новых истин потому, что ленивы и не желают напрягать свое внимание для исследования их. Иных побуждают к этому опасные мотивы, и этих людей следует особенно бояться; это люди, ум которых лишен таланта, а душа — добродетели; которым только не хватает храбрости, чтобы стать крупными злодеями; будучи не способны к возвышенным и новым идеям, они думают, что их значение основывается на глупом или притворном уважении, которое они будто бы питают к общепринятым взглядам и заблуждениям. Всякий человек, желающий поколебать власть этих последних, вызывает в них ярость, и они вооружают против него³ те самые страсти и предрассудки,

которые они презирают, постоянно пугая слабые умы словом «новоиздание».

Точно истина может изгнать с земли добродетель; точно на земле все до такой степени направлено в сторону порока, что нельзя быть добродетельным, не будучи глупым; точно этика это доказала, и потому изучение этой науки гибельно для вселенной, — они требуют, чтобы людей держали поверженными лицом перед предрассудками, как перед священными крокодилами Мемфиса. Если в этике делают какие-нибудь открытия, то эти открытия, говорят они, должны быть сообщены только им, они одни должны быть хранителями их наподобие египетских жрецов; пусть остальное человечество живет в темноте предрассудков, — естественное состояние человека есть слепота.

Они похожи на тех врачей, которые из зависти к открывшим рвотное средство воспользовались легковерием некоторых прелатов, чтобы объявили противным религии средство, приносящее верную и быструю помощь; они тоже злоупотребляют доверчивостью некоторых добродетельных, но ограниченных людей, которых при менее мудром правительстве можно было соблазнить и довести до того, что они способны были бы предать казни просвещенного и добродетельного человека вроде Сократа.

Вот средства, которыми пользовались эти два рода людей, чтобы заставить молчать просвещенные умы. Напрасно было бы им противиться, опираясь на благорасположение народа. Я знаю, что, когда гражданин одушевлен любовью к правде и общему благу, от его труда исходит благоухание добродетели, делающее его приятным для публики, которая становится его защитником; но народная благодарность и уважение не защищают от преследований фанатиков, и среди благородных людей мало таких добродетельных, которые осмелились бы презреть их ярость.

Вот какие непреодолимые препятствия мешали до сего времени прогрессу этики, и вот почему эта наука оставалась почти всегда бесполезной и, согласно с высказанными мною принципами, всегда пользовалась ничтожным уважением.

Но разве нельзя убедить народы, что они могли бы извлечь пользу из совершенной этики? И разве нельзя ускорить развитие этой науки, оказывая большее уважения тем, кто ею занимается? Ввиду важности этого вопроса я сделаю отступление и остановлюсь на нем.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XXIII

¹ Они охотно сказали бы своим гонителям то, что скфи ответили Александру: «Ведь ты не бог, раз ты причиняешь зло людям». Если христиане по поводу человеческих жертв, которые карфагеняне приносили Молоху, неоднократно указывали на то, что жестокость этой религии есть доказательство ее ложности, то и наши священнослужители-фанатики неоднократно давали возможность еретикам применять к ним этот же аргумент. Сколько между нами служителей Молоха!

* Поэтому их очень трудно убедить в добродетели какого-нибудь еретика.

* Выгода есть всегда скрытый мотив преследования; несомненно, что отсутствие веротерпимости есть зло с христианской и государственной точек зрения. Нельзя достаточно сожалеть об отмене Нантского эдикта. Мне возразят, что эти распри опасны. Да, когда в них принимает участие власть, тогда нетерпимость одной стороны заставляет иногда другую прибегнуть к оружию. Пусть только государственная власть перестанет вмешиваться в эти споры; теологи сумеют помириться после того, как переругаются. Это доказывает мир в тех странах, где царит веротерпимость. Но, возразят мне, эта веротерпимость может быть хороша для известных форм правления и гибельна для других; разве турки, религия которых есть религия крови, а форма правления — тирания, не более веротерпимы, чем мы? В Константинополе мы встречаем церкви, но мечетей в Париже нет; турки преследуют греков за их веру, и их терпимость не вызывает войн.

Если рассматривать этот вопрос с христианской точки зрения, то преследование следует признать преступлением. Почти везде евангелие, апостолы и отцы церкви учат кротости и терпимости. Апостол Павел и св. Златоуст учат, что обязанность епископа состоит в том, чтобы привлекать людей убеждением, а не силой; епископы, прибавляют они, управляют только теми, кто этого хочет, в противоположность государям, которые властствуют над теми, кто не хочет им подчиняться.

На Востоке осудили собор, который согласился на сожжение Богомила.

Какой пример умеренности подал в IV в. существования церкви Василий Великий, когда был поднят вопрос о божественности св. духа, — вопрос, вызывавший в то время большое волнение? Этот святой, говорит Григорий Богослов, который был очень привержен к догмату божественности св. духа, согласился на то, чтобы третье лицо св. троицы не было названо богом.

Эта смиренность, столь мудрая по мнению Тильльмана, была осуждена некоторыми ложными ревнителями, обвинявшими Василия Великого в том, что своим молчанием он изменил истине, зато она была одобрена самыми знаменитыми и благочестивыми людьми того времени, в том числе св. Афанасием, которого нельзя было заподозрить в недостатке твердости.

Этот факт описан подробно Тильльмоном в его «Vie de saint Basile», art. 63, 64, 65. Автор прибавляет, что Константинопольский вселенский собор одобрил поведение Василия Великого, последовав его примеру.

Блаж. Августин говорит, что не следует ни осуждать, ни наказывать того, кто не имеет о боже того же представления, что мы, если только это происходит не от ненависти к богу, что невозможно. Св. Афанасий в своих посланиях «Ad Solitarios», т. I, стр. 855, говорит, что преследования ариан доказывают, что они не имеют ни страха, ни любви к богу. Любви, прибавляет он, свойственно убеждать, а не заставлять; следует брать пример со спасителя, который предоставил вся кому свободу следовать за ним. Выше (стр. 830) он говорит, что дьявол, отец лжи, нуждается в топорах и секирах, чтобы навязать свои взгляды, но спаситель есть сама кротость: он стучит, и если ему открывают, он входит, если отказываются открыть, он уходит. Истине надо учить не посредством мечей, копий, темниц и солдат и вообще не с оружием в руках, а словами убеждения.

Действительно, и спасе приходится прибегать только тогда, когда нехватает убеждения. Если кто-нибудь станет отрицать, что сумма углов треугольника равна двум прямым, над ним будут смеяться, но не станут его преследовать. Костер и виселица часто служили доводами для теологов; в этом отношении они оказались ниже еретиков и неверных. Иисус Христос никого не насиливал, он только говорил: «Хотите ли следовать за мной?» Расчет не всегда позволял его служителям подражать ему.

ГЛАВА XXIV

О средствах усовершенствования этики

Для усовершенствования этики достаточно устрашить препятствия, которые ставят ее развитию две указанных мною группы людей. Единственный способ успеть в этом — это разоблачить их, указать, что покровители невежества суть самые ожесточенные враги человечества; следует указать народам, что люди вообще более глупы, чем злы, что, исцеляя их от заблуждений, мы тем самым исцеляем их от большей части пороков и что противиться этому способу их излечения значит совершать преступление оскорблении человечества.

Всякий, изучающий историю народных бедствий, может убедиться, что большую часть несчастий на земле приносит невежество, которое более нагубно, чем расчет. Пораженный этой истиной, он готов воскликнуть: как счастливо государство, граждане которого склонны только к преступлениям, указанным выгодой! Как невежество умножает преступления! Как обагрило оло кровью алтари!¹ А между тем человек создан для того, чтобы быть добродетельным. В самом деле, если сила принадлежит по существу большинству, если справедливость заключается в совершении поступков, полезных этому большинству, то очевидно, что справедливость по своей природе, всегда имеет власть, необходимую для обуздания пороков и для принуждения людей к добродетели.

Если смелое и сильное злодеяние часто сковывает справедливость и добродетель и притесняет народы, то это только при помощи невежества; именно последнее скрывает от каждого народа его истинные интересы, мешает объединению и проявлению его сил и тем самым защищает преступника от меча правосудия.

Какого же презрения заслуживает тот, кто хочет удерживать народы в тьме невежества! До сих пор недостаточно настаивали на этой истине; это не значит, что следует сразу опрокинуть все алтари заблуждения; я знаю, как осторожно надо проводить всякий новый взгляд; я знаю, что, разрушая предрассудки, следует относиться с уважением к ним и что раньше, чем начать нападение на всеми принятое заблуждение, следует послать для обследования несколько истин, подобно голубям ковчега, чтобы убедиться покрывает ли еще поверхность мира поток заблуждений, не начинают ли уже стекать заблуждения, не наблюдаются ли там и сям

во вселенной островки, на которых добродетель и истина могли бы приютиться, чтобы передаться людям.

Но так осторожно следует поступать только с предрассудками, мало опасными. Следует ли щадить людей, которые, стремясь жаждою к власти, держат народы в отупении, чтобы тиранить их? Следует смелой рукой разбить талисман тупости, с которым связано могущество этих злых гениев, раскрыть народам истинные принципы этики; следует внушить им, что так как их невольно влечет к счастью — истинному или мнимому, то удовольствие и страдание суть единственные двигатели духовного мира и что самолюбие есть единственное основание, на котором можно построить фундамент полезной морали.

Как можно льстить себя надеждой скрыть от людей знание этого принципа? Чтобы достигнуть этого, следует запретить им глубоко исследовать свои сердца, разбирать свои поступки, раскрывать исторические книги, в которых они видят как во все времена и во всех странах народы, руководствуясь только жаждой наслаждения, приносили в заклание себе подобных не ради больших выгод, а в угоду своей чувственности и ради забавы. Беру в свидетели рыбы садки, в которые римляне бросали невольников в угоду своему жестокому сластолюбию, кормя ими рыб, чтобы сделать их мясо нежнее; и тот остров на Тибре, куда жестокие господа отвозили больных, дряхлых и старых невольников и оставляли их там умирать с голода; приведу еще в свидетели развалины обширных и великолепных арен, на которых запечатлелась летопись человеческой жестокости, на которых самый цивилизованный в Европе народ приносил тысячи гладиаторов в жертву удовольствию, доставляемому зрелищем поединков, куда толпами сбегались женщины и где этот воспитанный в роскоши, изнеженности и наслаждениях народ, который составляет украшение и прелесть земли и который, казалось, должен был бы стремиться только к наслаждению, доходил до такой степени жестокости, что требовал от раненых гладиаторов, чтобы они умирали в красивых позах. Эти факты и множество других подобных им настолько твердо установлены, что нельзя льстить себя надеждой скрыть от людей действительную их причину.

Всякий знает, что и он таков же, как эти римляне, что только различие в воспитании обуславливает разницу в его чувствах и заставляет его содрогаться при одном рассказе о зрелище, которое, наверное было бы ему привычно и приятно, если бы он родился на берегах Тибра. Напрасно некоторые люди, ленящиеся заглянуть в себя и тщеславно воображающие себя добрыми, думают, что они обязаны преисходству своей природы теми гуманными чувствами, которые это зрелище вызвало бы в них; умный человек признает, что эта природа, как говорит Паскаль² и как подтверждает опыт, есть не что иное, как наша первоначальная привычка. Итак, бессмысленно желать скрывать от людей, какой принцип ими движает.

Но предположим, что это даже удалось бы, — какую выгоду

извлекли бы из этого люди? Несомненно, чувство себялюбия было бы только замаскировано от глаз более грубых людей, но это не помешало бы проявлению этого чувства в них, это не изменило бы его последствий, люди не стали бы иными, чем они суть; следовательно, это незнание не принесло бы им никакой пользы. Более того, оно было бы для них вредно; действительно, знанию принципа себялюбия обязаны общества большей частью тех выгод, которыми они пользуются; это знание, хотя еще и очень несовершенное, заставило народы понять необходимость облечь судей властью, оно заставило законодателя смутно почувствовать необходимость положить в основу принципов добродетельного поведения личный интерес. И действительно, как можно было бы их обосновать иначе? Неужели же на принципах ложных религий, которые, как утверждают, несмотря на свои заблуждения, могут быть полезны для земного счастья людей?³ Но большинство этих религий слишком нелепы, чтобы быть такой поддержкой для добродетели. Нельзя основать добродетельное поведение и на принципах истинной религии — не потому, чтобы ее нравственное учение не было превосходно и ее правила не возносили бы душу до состояния святости и не наполняли бы ее внутренней радостью, этим предвкушением радости небесной, но потому, что ее принципы годятся только для небольшого числа христиан, рассеянных по земле, а философ, который в своих сочинениях обращается ко всей вселенной, должен дать добродетели такой фундамент, на котором могли бы строить одинаково все люди, каковым и является личный интерес. Он должен особенно придерживаться этого принципа потому, что в руках искусного законодателя мотивы земного интереса достаточны, чтобы образовать добродетельных людей. Примером могут служить турки, которые в своей религии допускают догмат фатализма, пагубный для всякой религии, и которых, следовательно, можно считать дестами; материалисты китайцы⁴; садукии, отрицающие бессмертие души и пользовавшиеся среди евреев репутацией людей особенно праведных; наконец, гимнософисты, которых всегда упрекали в атеизме и всегда уважали за их ум и сдержанность и которые самым аккуратным образом исполняли общественные обязанности. Все эти примеры и множество других показывают, что надежда на земные блага и страх перед наказанием настолько же действительны и способны образовать добродетельных людей, как и вечные наказания и награда, которые рассматриваются в перспективе будущего и потому обыкновенно производят слишком слабое впечатление, чтобы пожертвовать для них преступными, но желанными удовольствиями.

Как не предпочесть мотивы земного интереса? Они не подсказывают ни одной из тех благочестивых и святых жестокостей, которые осуждает⁵ наша религия, — этот закон любви и человечности, — и к которым, однако, так часто прибегали ее служители, — жестокостей, которые останутся навсегда позором прошедших веков и будут возбуждать ужас и удивление грядущих.

Действительно, как должны быть поражены и добродетельный

гражданин, и христианин, проникнутый духом милосердия, проповедуемого евангелием, когда они оглядываются на прошлое. Они замечают здесь, как все без исключения религии были проникнуты фанатизмом и удовлетворяли его потоками человеческой крови⁶.

Здесь христиане, имеющие возможность, как доказывает Варбуртон, свободно отправлять свое богослужение, если бы не желали уничтожать идолопоклонство, сами своей нетерпимостью вызывают преследование со стороны язычников.

Здесь различные секты христиан с ожесточением борются друг против друга и раздирают Византийскую империю.

Там, в Аравии, возникает новая религия, повелевающая сарацинам обойти землю с мечом и огнем в руках.

За нашествием этих варваров следует война против неверных под знаменем креста: целые государства покидают Европу и наводняют Азию, производя по дороге ужасные грабежи и погибая в песках Аравии и Египта. Далее, фанатизм вкладывает оружие в руки христианских государей и заставляет католиков избивать еретиков; на земле снова появляются штыки, изобретенные Бузирисами, Фаларидами и Неронами; фашизм воздвигает и зажигает в Испании костры инквизиции, в то время как благочестивые испанцы покидают свои порты и переплывают моря, чтобы водрузить крест и внести опустошение в Америку⁷. Обратим ли мы наши взоры на север, юг, восток и запад земного шара, всюду мы видим священный пожр религии запечатанным над грудью женщин, детей и старцев, и всюду земля, дымящаяся от крови жертв, присвященных ложным богам или высшему существу, представляет обширное, отвратительное и ужасное зрелище жертв нетерпимости. Какой же добродетельный человек и какой христианин, если его нежная душа полна небесной благодати, истекающей из евангельского учения, если она чувствительна к жалобам несчастных, и если он иногда осушал их слезы, не попытает сострадания к человечеству⁸ и не попытается основать добродетельное поведение не на принципах религии, хотя бы и столь достойных уважения, но на принципах, которыми не так легко злоупотреблять, — а таковы мотивы личного интереса?

Не противоречат принципам нашей религии, эти принципы достаточны, чтобы заставить людей быть добродетельными. Бесспорно, религия язычников, населившая Олимп злодеями, была менее, чем наша, пригодна для образования праведных людей, а между тем для всякого несомненно, что первые римляне были добродетельнее нас. Кто станет отрицать, что отряды конно-полицейской стражи обезоружили большее число разбойников, чем религия? что итальянец, хотя и более набожен, чем француз, однако с четками в руках чаще этого последнего прибегает к книжalu и яду? и что во времена, когда набожность усиливается, но полиция менее совершенна, совершается гораздо большие преступления⁹, чем тогда, когда набожность ослабевает, но полиция усовершенствуется?

Следовательно, сделать людей добродетельными можно только посредством хороших законов¹⁰. Все искусство законодателя заключается в том, чтобы заставить людей быть справедливыми друг к другу, опираясь на их любовь к себе самим. А чтобы составить такого рода законы, надо знать сердце человеческое, и прежде всего знать, что люди любят только самих себя и равнодушны к другим, и не рождены ни добрыми, ни злыми, а готовыми стать теми или другими, в зависимости от того, соединяет или разделяет их общий интерес; что чувство предпочтения, которое каждый испытывает к самому себе и с которым связано сохранение рода, неизгладимо запечатлено в нем самой природой¹¹; что физическая чувствительность вызвала в нас любовь к удовольствию и отвращение к страданию; что затем чувства удовольствия и страдания носили и взрастили во всех сердцах семена любви, которые, развиваясь, породили страсти, из коих произтекли все наши пороки и добродетели.

Размышляя над этими предварительными идеями, мы узнаем, почему страсти, остроумным символом которых является, по мнению некоторых раввинов, запрещенное древо, приносят однаждко плоды добра и зла; мы начинаем понимать механизм, которым они пользуются для порождения наших пороков и наших добродетелей, и мы видим, как законодатель находит средство принудить людей к добродетельному поведению, заставляя страсти приносить только плоды добродетели и мудрости.

Но если рассмотрение этих идей, способных сделать людей добродетельными, нам запрещено теми двумя группами власти имущих, о которых было сказано выше, то единственное средство ускорить прогресс этики заключается в том, чтобы, как я указывал раньше, раскрыть, что эти покровители невежества суть жесточайшие враги человечества, и вырвать из их рук скриптур, который был вручен им невежеством и которым они пользуются для власти над отчужденными людьми. Замечу, однако, что это средство, кажущееся простым и легким в теории, очень трудно провести на деле. Не потому, чтобы не было людей, в которых с обширным и светлым умом соединена сильная и добродетельная душа; несомненно, существуют люди, убежденные, что гражданин, лишенный мужества, есть гражданин, лишенный добродетели, и понимающие, что имущество и даже жизнь частного лица представляют в его руках только отложенный на хранение вклад, который он должен быть готов вернуть, когда того потребует общественное благо, — но таких людей всегда слишком мало, чтобы просветить общество; к тому же добродетель становится бессильной, когда правы эпохи делают ее смешной. Поэтому этика и законоведение, которые я рассматриваю как одну и ту же науку, будут делать только незаметные успехи.

Потребуется еще не мало времени, чтобы вернулись счастливые века, века Астрей и Рей, представляющие только остроумные символы совершенства этих двух наук.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XXIV

¹ По свидетельству Джемелли Каррери (G. Carreri, t. VI, p. 56), один мексиканский король по случаю освящения храма принес в продолжение четырех дней в жертву 6 408 человек.

В Индии брамины школы Ниагам воспользовались благосклонностью к ним государей, чтобы добиться казни буддистов в ряде государств; буддисты были атеистами, а брамины — деистами. Больше всех пролил крови князь Бальта; чтобы очиститься от этого преступления, он торжественно сжег себя на берегу Орики. Заметим, что человеческая кровь была пролита деистами. См. «Les lettres du p. Pont, Jésuite».

Священники Мероэ в Эфиопии посыпали, когда им вздумается, посла к королю с приказанием ему убить себя. См. Диодора.

Того, кто убивает короля Суматры, избирают там королем. Путем этого убийства, говорят там, небо возвещает свою волю. Шарден сообщает, что он слышал, как один проповедник, нападавший на роскошь суфииев, говорил, что таких атеистов следует сжигать, что он удивляется, как их оставляют жить, и что убийство суфия есть акт более приятный богу, чем сохранение жизни десяти добродетельным людям. Сколько раз приходилось слышать подобного рода рассуждение среди нас!

Несомненно, что зрелище такого количества крови, пролитой фанатизмом, заставило аббата Лонгрию, большого знатока истории, сказать, что если на чаши весов положить все добро и все зло, принесенное религиями, то зло перевесит добро (t. I, p. 11).

«Не нанимай дома, — говорит по этому поводу персидское изречение, — в квартале, где простой народ невежествен и набожен».

² Еще до него Секст Эмпирик сказал, что наши врожденные принципы суть, может быть, только привитые нам привычкой принципы.

³ Цицерон не придерживался этого взгляда: хотя он и занимал высокое положение, он считал своею обязанностью указывать людям на недостатки языческой религии.

⁴ О. Леконт и большинство иезуитов признают, что все ученые — атеисты. Знаменитый аббат де Лонгрио придерживается того же мнения.

⁵ Когда Бейль говорит, что религия, бывшая в первые века смиренной, терпеливой и благожелательной, сделалась потом честолюбивой и кровожадной, что она заставляет казнить все, что ей сопротивляется, что она призывает налачай, придумывает пытки, рассыпает буллы, подстрекающие народы к восстанию, поддерживает заговоры и, наконец, организует убийства государей, то он принимает дела людей за дела религии, а христиане слишком часто были людьми. Когда их было немного, то на устах их были лишь слова о веротерпимости, а как только они стали многочисленнее и влиятельнее, они начали проповедывать против веротерпимости. Беллармин говорит по этому поводу, что если христиане не извергли Нерона и Диоклетиана, то не потому, что не имели на это права, но потому, что не имели достаточно силы; они ею воспользовались, как только оказались в состоянии. Вооруженной рукой истребляли императоры язычество, боролись с ересями и проповедывали евангелие фризам, саксам и на всем Севере.

Все эти факты указывают на то, что люди слишком часто злоупотребляют принципами святой религии.

Вместо этого примечания в первом издании можно было прочесть следующее: «Язычники первоначально не обвиняли христиан ни в убийствах, ни в пожарах, но, по словам Тацита, они упрекали их в антиобщественности — преступлении, прибавляет этот историк, общем у них с евреями — людьми, которые были упрямо привязаны к своей религии и которые, будучи проникнуты духом фанатизма, питали неискоренимую ненависть к другим народам. О том же свидетельствует и ряд других авторов, цитируемых Грицием. Абдас, епископ Персии, разрушил храм магов, и его фанатизм породил положительное гонение христиан и жестокие войны между римлянами и персами».

* В эпоху младенческого состояния человечества первое употребление, которое человек делает из своего разума, — это создание жестоких богов; пролитием человеческой крови надеется он приобрести их благосклонность, в дымящихся внутренностях побежденных он читает свою судьбу. Германец предает смерти своих врагов, осыпав их предварительно страшными проклятиями, его душа закрыта для сострадания, жалость показалась бы ему святотатством.

Чтобы умилостивить гнев нерейд, цивилизованный народ привязывает Андромеду к скале; чтобы умиротворить Диану и открыть себе путь к Трое, сам Агамемнон влечет Ифигению к жертвенному, где Калхас убивает ее и полагает, что этим воздает честь богам.

? Поэтому в послании, обращенном, как предполагают, к Карлу V, один американец говорит:

«Нет, не мы варвары. Варвары, государь, ваши Кортецы, ваши Пизарры. Они, для утверждения нас в новой религии, направляют против нас священника и палача».

* Вот что говорит по поводу преследований сенатор Фемистий в послании, обращенном к императору Валенту: «Разве преступление думать иначе, чем вы? Если есть разногласие среди христиан, то его не меньше и среди философов. Истина имеет множество сторон, с которых ее можно рассматривать. Бог запечатлев в сердцах всех людей уважение к своим атрибутам, но каждый вправе проявлять это уважение тем способом, который, по его мнению наиболее притен божеству, и никто не имеет права его в этом стеснять».

Св. Григорий Богослов весьма уважал этого Фемистия; он писал ему: «Вы, Фемистий, единственный человек, борющийся с упадком науки; вы стоите во главе просвещенных людей, вы умеете философствовать, занимая самое высокое положение; вы соединяете занятие наукой с властью, высокий сан с наукой».

* Очень немногих людей религия удерживает от дурных поступков. Сколько преступлений совершают даже те люди, которым поручено указывать нам путь к спасению! Доказательством этому служит Варфоломеевская ночь, убийство Генриха III¹⁴, реяня тамплиеров и т. д.

¹⁰ Евсевий в «Ргаерагато evangelica», книга VI, гл. 10, приводит следующий замечательный отрывок из сирийского философа Вардезана: «У народа серов закон запрещает убийство, прелюбодеяние, воровство и всякого рода религиозный культ, так что в этой обширной области мы не встречаем ни храмов, ни прелюбодеяния, ни содомичества, ни проституток, ни воров, ни

отравителей, ни убийце. Это доказывает, что достаточно одних законов, чтобы удержать людей от дурных поступков.

Мы бы никогда не кончили, если бы стали приводить весь список народов, которые, не имея представления о боге, тем не менее живут обществами более или менее счастливо, в зависимости от большего или меньшего искусства своих законодателей. Назову только тех, которые мне прежде всего придут на память.

Жители Марианских островов, пока не началась среди них проповедь евангелия, не имели, по словам иезуита о. Иовиена, ни алтарей, ни храмов, ни жертвоприношений, ни жрецов; у них было только несколько плутов по названию махана, предсказывавших будущее. Однако они верят в ад и в рай: ад — это горнило, в котором дьявол бьет души молотом, подобно тому как в кузнице куют железо; рай — это место, где много коносовых орехов, сахара и женщин. Не преступление и не добродетель приводят в рай или в ад: в ад попадают те, кто умирает насильственной смертью, в рай — остальные.

О. Иовиен прибавляет, что к югу от Марианских островов имеется тридцать два острова, обитаемых народами, которые абсолютно не имеют ни религии, ни представления о божестве и которые заняты только тем, что едят, пьют и т. д.

Караибы, по словам Лаборда, занимавшегося их обращением, не имеют ни жрецов, ни алтарей, ни жертвоприношений, ни представления о божестве. Они требуют, чтобы им хорошо платили за обращение их в христианство. Они верят в то, что первый человек, по имени Лонго, имел большой пуп, из которого и вышли люди. Этот Лонго — первое действующее начало, он создал землю без гор, которые явились результатом потопа. Одним из первых созданий была зависть; она распространяла много зла на земле; она считала себя очень красивой, но, увидя солнце, она спряталась и стала показываться только ночью.

Шириганы (*Lettres édifiantes et curieuses* 24) не признают никакого божества.

Жиаги, по словам о. Кавасси, не признают никакого существа, отличного от материи; на их языке не существует даже выражения для обозначения этой идеи; их единственный культ состоит в культе предков, которые, по их мнению, продолжают жить; они воображают, что их государь распоряжается дождем.

В Индостане, говорит иезуит о. Пон, существует секта браминов, которая полагает, что дух соединяется с материей и запутывается в ней; что мудрость, которая очищает душу и которая есть не что иное, как знание истины, освобождает дух посредством анализа. Дух, учат брамины, освобождается то от формы, то от качества при посредстве следующих трех истин: «Я не пребываю ни в какой вещи, никакая вещь не пребывает во мне, я не существую совсем». Когда дух освободится от всех форм, наступит конец мира. Они прибавляют, что религии не только не помогают духу освободиться от форм, но, напротив, еще теснее связывают путы, в которых он запутался.

11 Солдат и корсар желают войны, и никто не ставит этого им в вину. Все понимают, что в этом отношении их интерес не вполне совпадает с общественным интересом.

ГЛАВА XXV

О честности по отношению ко всему миру

Если бы существовала честность по отношению ко всему миру, то это была бы привычка к поступкам, ноззным для всех народов; однако нет таких поступков, которые могли бы непосредственно влиять на счастье или несчастье всех народов. Самый великодушный поступок производит, как благодетельный пример, не больший эффект на моральный мир, чем камень, брошенный в океан, производит действие на все моря, поверхность которых он необходимо заставляет подняться.

Следовательно, по отношению ко всему миру не существует практической честности. Что же касается честности намерений, которая сводится к постоянному и привычному желанию счастья для всех людей и, следовательно, к простому и смутному пожеланию всемирного благополучия, то этого рода честность я считаю только платонической химерой. В самом деле, если противоположность интересов различных народов держит их в постоянном состоянии войны, если мир, заключаемый ими есть в сущности перемирие, подобное тем, которые после продолжительной битвы заключают два корабля, чтобы произвести починки и затем снова вступить в бой; если государства не могут расширять своих владений и своей торговли иначе, как только в ущерб своим соседям; наконец, если благоустройство и усиление одного народа почти всегда связано с несчастьем и ослаблением другого, то очевидно, что чувство патриотизма, чувство столь желательное, столь доблестное и почтенное в граждане, как это показывает пример греков и римлян, абсолютно не совместимо с любовью ко всему миру.

Чтобы подобного рода честность могла существовать, нужно было бы, чтобы государства посредством законов и взаимных договоров объединились так, как объединяются семьи, составляющие государство; чтобы частный интерес отдельных государств подчинялся более общему интересу и, наконец, чтобы любовь к родине, погасая, зажгла в сердцах людей любовь ко всему миру; но это предположение осуществляется еще очень не скоро. Отсюда я заключаю, что не может быть честности ни на практике, ни даже в намерении по отношению ко всему миру, и именно в этом пункте ум отличается от честности.

В самом деле, если поступки частного лица не могут ни в чем способствовать всемирному счастью и если влияние его благодетели не может заметным образом распространяться за пределы отдельного государства, то не так обстоит дело с его идеями; такие произведения ума, как, например, открытие верного медицинского средства или изобретение машины, вроде ветряной мельницы, могут сделать человека благодетелем всего мира¹.

К тому же по отношению к уму — в отличие от честности — любовь к отечеству совместима с любовью ко всему миру. Народ, приобретая свет знания, не наносит тем ущерба своим соседям.

Напротив, чем государства просвещенное, тем больше они сообщают друг другу идей и тем больше увеличивается сила и деятельность всемирного ума. Отсюда я заключаю, что хотя и не существует честности относительно всего мира, но существуют некоторые виды ума, которые можно рассматривать с этой точки зрения.

ПРИМЕЧАНИЕ К ГЛАВЕ XXV

1 Поэтому ум есть главное преимущество, и он может гораздо больше способствовать счастью людей, чем добродетель частного лица. Уму предложено устанавливать лучшее законодательство и, следовательно, делать людей по возможности счастливыми. Правда, что еще и книга об этом законодательстве не написана и пройдет еще много веков, прежде чем будет осуществлена мечта о нем, но если вооружиться терпением аббата де Сен-Пьера, то можно сказать вместе с ним, что все, что можно вообразить, должно осуществиться.

Должно быть, люди смутно понимают, что ум есть главный дар, ибо знать позволяет всех хвалиться своей честностью, но не своим умом.

ГЛАВА XXVI

Об уме по отношению ко всему миру

Ум, рассмотренный с этой точки зрения, есть, согласно предыдущим определениям, только привычка к идеям, полезным для всех людей или потому, что они поучительны, или потому, что они приятны.

Этот вид ума бесспорно самый желательный. Не было такого времени, когда бы разновидность идей, почитаемая всеми народами за ум, не была бы в действительности достоинства этого названия. Нельзя того же сказать о круге идей, которому один какой-нибудь народ придает иногда название ума. Каждое государство переживает период отупения и падения, во время которого оно не имеет ясного представления об уме; тогда оно называет этим имепем ряд модных идей, кажущихся всегда смешными в глазах потомства; эти времена падения являются обыкновению веками деспотизма. Тогда, говорит поэт, бог отнимает у людей половину их ума, чтобы сделать для них менее тяжелыми страдания и муки рабского состояния.

Среди идей, способных нравиться всем народам, находятся, с одной стороны, поучительные, каковые принадлежат некоторым видам науки и искусства, с другой — приятные; таковы, во-первых, идеи и чувства, восхищающие нас в некоторых местах Гомера, Вергилия, Корнеля, Тассо, Мильтона, в которых, как я уже говорил, эти знаменитые писатели не останавливаются на описании какого-нибудь народа или эпохи в частности, а касаются всего человечества; таковы, во-вторых, великие образы, которыми эти поэты обогатили свои произведения.

Чтобы доказать, что во всяком жанре существуют красоты, которые могут нравиться всему миру, я приведу для примера эти самые образы; я утверждаю, что поэтические образы величия правятся всем¹; я этим не хочу сказать, что они одинаково поражают всех людей; встречаются люди, не чувствительные ни к красотам описания, ни к прелести гармонии, которых и несправедливо, и бесполезно разубеждать; благодаря своей нечувствительности они получили несчастное право отрицать удовольствие, которого они не испытывают, но таких людей не много.

В самом деле, может быть, привычное и нетерпеливое желание счастья заставляет нас хотеть всех этих совершенств как средства увеличения нашего блаженства и делает для нас приятными эти великие сюжеты, созерцание которых как бы расширяет нашу душу, усиливает и возвышает наши идеи; может быть, и сами по себе великие сюжеты производят на наши чувства более сильное, продолжительное и приятное впечатление; может быть, действует здесь и какая-либо иная причина, но мы чувствуем, что наше зрение не выносит ничего стесняющего его; оно чувствует себя неловко в ущелье гор или в месте, огороженном высокими стенами; оно любит, наоборот, обозревать широкие пространства, пребегать по поверхности моря, теряться в далеком горизонте.

Все, что грандиозно, имеет право нравиться взорам и воображению людей; этот род красоты берет верх в описаниях над всеми красотами иного рода, зависящими, например, от правильности пропорций, которая не может чувствоваться так живо всеми, ибо у различных народов неодинаковые представления о пропорциях.

В самом деле, если противопоставить искусственным каскадам, искусственным подземельям и террасам водопады реки св. Лаврентия, пещеры, образовавшиеся в Энне, громадные массы скал, беспорядочно нагроможденные в Альпах, то нельзя не почувствовать, что удовольствие, вызываемое этой расточительностью, этой сурой и грубой пышностью, которую природа вкладывает в свои произведения, бесконечно сильнее удовольствия, вызываемого правильностью пропорций.

Чтобы убедиться в этом, взойдите ночью на гору и посмотрите на небо: в чем заключается очарование этого зрелища? в приятной симметрии, с которой расположены звезды? Но в млечном пути нагромождено беспорядочно бесконечное число солнц, в другом месте мы видим обширные пустыни. В чем же заключается источник удовольствия? В самой бесконечности неба. В самом деле, какое представление можно образовать об этой бесконечности, если пылающие миры представляются нам только блестящими точками, разбросанными там и сям в эфирных равнинах? если более удаленные солнца только с трудом можно различить? Воображение, которое, покинув эти удаленные сферы, устремится, чтобы обозреть все возможные миры, будет поглощено обширными и безмерными небесными глубинами и погрузится в восторженное состояние, вызываемое созерцанием предмета, занимающего всю душу целиком, не утомляя ее. Величие этих картин и заставляет говорить,

что искусство ниже природы, что, собственно, означает только одно, — мы предпочитаем величественные картины ничтожным.

В искусствах, как, например, скульптура, архитектура и поэзия, способных к изображению такого рода красот, такие произведения, как колосс Родосский и Пемфисские пирамиды, занимают место среди чудес мира только благодаря своим размерам. Величие описаний у Мильтона заставляет нас считать его по силе воображения одним из самых крупных и сильных писателей. Его произведение, бедное красотами иного рода, чрезвычайно богато красивыми описаниями. Став благодаря своему сюжету строителем земного рая, он должен был собрать в небольшое пространство райского сада все красоты, разбросанные природой по земле для украшения тысячи различных климатов. Приведенный благодаря выбору самого сюжета на край бесформенной бездны хаоса, он должен был извлечь из него первоматерию, пригодную для образования вселенной, вырыть в земле русла морей, увенчать ее горами, покрыть растительностью, привести в движение солнца, зажечь их, развернуть вокруг них небесный шатер и, наконец, нарисовать красоту первого дня вселенной и ту весеннюю свежесть, которой его яркое воображение украсило только-что распустившуюся природу. Следовательно, он должен был нарисовать нам не только самые грандиозные, но и самые новые и разнообразные картины; а новизна и разнообразие являются для человеческого воображения еще двумя всеобщими причинами удовольствия.

Относительно воображения можно сказать то же, что и относительно ума: поэты и философы достигают совершенства в своих различных областях, в которых одинаково труден и редок успех, только усовершенствуя свое воображение или свой ум путем созерцания и сочетания картин природы или философских идей.

Действительно, всякий человек понимает, что путь человеческого ума должен быть одинаков, к какой бы науке или искусству он ни применялся. Если, чтобы привиться уму, говорит Фонтенель, надо его занимать, не утомляя; если занять его можно, только предлагая ему новые, великие и важные истины, новизна, важность и плодотворность которых сильно привлекают его внимание; если избежать утомления его можно, только предлагая эти идеи в порядке, в соответственных выражениях, причем сюжет их должен быть един, прост и, следовательно, легко воспринимаем, а разнообразие должно быть неразрывно с простотой², то — аналогично — громадное удовольствие, доставляемое воображением, также тесно связано с троичным сочетанием величия, новизны, разнообразия и простоты картин. Если, например, для нас приятны вид или описание большого озера, то вид спокойного и безбрежного моря нам, пожалуй, еще приятнее; его безбрежность является для нас источником большего наслаждения. Однако, как ни прекрасно это зрелище, его однообразие в конце концов надоедает. Вот почему, когда воображение поэта вызовет бурю, которая, окутанная черными тучами, нагрянет с юга на крылья аквилона, гоня перед собою водяные горы, то быстрое, простое и разнооб-

разное чередование страшных картин разбушевавшегося моря, несомненно, даст нашему воображению новые впечатления, заставит нас сосредоточить внимание, займет нас, не утомляя, и, следовательно, более понравится нам. Но если ночь удвоит ужасы бури, и водяные горы, цепь которых обрамляет горизонт, на мгновение осветятся светом молний, сопровождаемых раскатами грома, тогда, несомненно, это темное море, превратившееся вдруг в море огня, представит картину, которая благодаря новизне, связанной с грандиозностью и разнообразием, будет способна поразить наше воображение. Поэтому искусство поэта, если рассматривать исключительно описательную часть, заключается в том, чтобы представлять взору предметы в движении и даже, если возможно, поражать при описаниях одновременно несколько чувств. Описание рева вод, звывания ветра и раскатов грома должно еще усилить тайный ужас, а следовательно и наслаждение, испытываемое нами при созерцании бушующего моря. В начале весны, когда заря спускается на сады Марли и раскрываются чашечки цветов, не увеличивает ли щебетание множества птиц и журчание каскадов очарования этих волшебных рощ? Чувства суть врата, через которые в наши души могут входить приятные впечатления; чем больше их открыто сразу, тем большая доза наслаждения проникает в душу.

Отсюда мы видим, что если существуют идеи, полезные для всех народов вследствие своей поучительности (таковы те, которые неисследовано принадлежат наукам), то существуют и такие, которые всем полезны как приятные, и ум отдельного лица отличается от честности тем, что он может иметь отношение ко всему миру.

Из этого рассуждения мы выводим, что как в деле ума, так и в вопросах этики люди высказывают похвалу, побуждаемые к тому любовью и приятельством, и выражают презрение, побуждаемые ненавистью и мстительностью. Следовательно, интерес есть единственный источник их уважения; а ум, с какой бы точки зрения его ни рассматривать, есть только собрание новых и интересных идей, т. е. идей, полезных для человека своей поучительностью или же приятностью.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XXVI

¹ Если величественные картины не всегда производят на нас сильное впечатление, то это обыкновенно зависит от причин, не связанных с их величиной. Чаще всего потому, что эти картины связаны в нашей памяти с чем-нибудь неприятным. При этом замечу, что мы очень редко при чтении поэтического описания получаем вполне то чистое впечатление, которое должно было бы на нас производить самое созерцание этого образа; все, что связано с предметом, причастно его безобразию и его красоте, — этому и следует приписать большую часть наших несправедливых антипатий и восторгов. Как бы ни была прекрасна поговорка, употребляемая в простонародье, мамона кажется пошлой, потому что она необходимо связана в нашей памяти с образом тех, кто ею пользуется.

Несомненно, что по этой же причине сказки о духах и привидениях усиливают ночью в глазах заблудившегося путника лесные ужасы; по той же причине в Пиренеях, в пустынных местах, среди пропастей и скал, воображению, пораженному картиной, изображающей битву титанов, кажется, что оно различает горы Оссы и Пелиона, и оно с ужасом взирает на поле битвы этих гигантов. Несомненно, что воспоминание о роще, описанной Камоэнсом, в которой нагие нимфы, охваченные пламенным желанием, падают к ногам португальцев, причем любовь светится в их глазах и разливается по их жилам, а слова замирают на устах и слышны только вздохи удовлетворенной любви, — несомненно, говорю я, что это упоительное описание украсило навеки все рощи.

Вот почему трудно выделить из общего наслаждения, получаемого нами от данного предмета, все частные наслаждения, отражаемые, так сказать, предметами, с которыми он связан.

² Следует заметить, что простота сюжета или изображения является совершенством ввиду слабости нашего ума.

Р А С С У Ж Д Е Н И Е III

О Б У М Е

ГЛАВА I

Следует ли считать ум даром природы или же результатом воспитания

В этом рассуждении я предполагаю исследовать, что могут сделать для ума природа и воспитание; для этого я прежде всего должен определить, что следует понимать под словом природа.

Это слово может вызывать в нас смутное представление о некотором существе или силе, одарившей нас всеми чувствами; по чувства суть источники всех наших представлений; отсутствие какого-либо чувства влечет за собою лишение всех тех представлений, которые с ним связаны; так, слепой от рождения не имеет никакого представления о красках; очевидно, что при этом понимании слова «природа» ум следует рассматривать целиком как дар природы.

Но если мы примем это слово в ином значении и если предположим, что людей, хорошо сложенных, обладающих всеми чувствами, людей, в организации которых не замечается никакого недостатка, природа делает столь различными и обладающими такими неодинаковыми умственными способностями, что одни из них оказываются организованными для того, чтобы быть глупыми, другие — чтобы быть умными, — тогда вопрос становится более деликатным.

Признаюсь, что, видя огромное умственное неравенство людей, приходится прежде всего признать, что умы столь же различны, как и тела, из которых одни слабые и нежные, другие сильные и крепкие. Что же, спросят, вызывает в этом отношении различия при единобразном способе действия природы?

Но это рассуждение основывается только на аналогии. Оно походит на рассуждение тех астрономов, которые сделали бы вывод, что луна обитаема потому, что она состоит из того же материала, что и земля. Однако, как ни слабо само по себе это рассуждение, оно должно казаться весьма доказательным; ибо чем же иначе, скажут, объяснить огромное умственное неравенство людей, получивших, повидимому, одинаковое воспитание?

Чтобы ответить на это соображение, следует прежде всего рассмотреть, могут ли различные люди получить в строгом смысле слова одинаковое воспитание, а для этого надо определить смысл, связываемый со словом *воспитание*.

Если под воспитанием подразумевать только то, которое получается в одном и том же месте от одних и тех же учителей, то в этом смысле бесчисленное множество людей получают одинаковое воспитание. Но если придать этому слову истинное и более общирное значение и если под ним подразумевать вообще все, что служит для его наставления, то я утверждаю, что никто не получает одинакового воспитания, ибо наставниками каждого являются, если смею так выразиться, и форма правления, при которой он живет, и его друзья, и его любовницы, и окружающие его люди, и прочитанные им книги, и, наконец, случай, т. е. бесконечное множество событий, причину и сцепление которых мы не можем указать вследствие незнания их. А случай гораздо больше участвует в нашем воспитании, чем обыкновенно думают. Именно случай ставит перед нашими глазами известные предметы, следовательно, вызывает у нас особенно удачные идеи и приводит нас иногда к великим открытиям. Приведу несколько примеров.

Случай привел Галилея в Флорентийские сады в то время, когда садовники пекли в воду; случай подсказал садовникам мысль обратиться к Галилею с вопросом, почему они не могут поднять воду выше, чем на 32 фута, а этот вопрос задел ум и тщеславие философа; и, наконец, тщеславие, приведенное в действие случаем, заставило его сделать этот естественный факт предметом своих размышлений, пока он в принципе тяжести воздуха не открыл разрешения этой проблемы.

В известный момент, когда спокойная душа Ньютона не была занята никаким делом и не была обуреваема никакой страстью, опять-таки случай привел его в яблоновую аллею, сорвал несколько яблок с веток и тем дал философу первоначальную идею его системы; действительно, этот факт заставил его исследовать, не обращается ли луна вокруг земли благодаря той же силе, которая заставляет тела падать на землю. Следовательно, великие гении часто бывали обязаны случаю своими наиболее удачными идеями. Сколько умных людей не подымается над толпой посредственности за отсутствием или душевного спокойствия, или встречи с садовником, или падения яблока!

Я понимаю, что сначала кажется трудным приписать столь важные следствия таким отдаленным и с виду незначительным причинам¹. Однако опыт нас учит, что как в физическом, так и в духовном мире часто величайшие события являются следствием сдвоих заметных причин. Несомненно, что Александр обязал отчасти своей победой над персами организатору македонской фаланги; что левец Ахиллеса, воодушевивший этого государя горячим стремлением к славе, был причастен к разрушению империи Дария, подобно тому как Квинт Курций повлиял на победы Карла XII; что слезы Ветурии, обезоружившие Кориолана, утвердили могущество Рима, чуть было не разрушенное усилиями вольсков, и тем самым были причиной длившегося ряда побед, изменивших вид всей земли, и что, следовательно, слезам этой Ветурии Европа обязана своим настоящим положением. А сколько подобных

фактов можно еще привести! ² Густав, повествует аббат де Верто, в юношеских усилиях облезжал все провинции Швеции; уже год, как он бродил в горах Далекардии; и хотя его красивое лицо, высокий рост и физическая сила и располагали горцев в его пользу, но они не решились бы следовать за ним, если бы в тот самый день, когда этот государь обратился с речью к далекардийцам, старейшины страны не заметили, что ветер все время дует с севера. Это им показалось верным признаком покровительства неба и призванием свыше оказать Густаву вооруженную помощь. Следовательно, северный ветер возложил шведскую корону на голову Густава.

Большая часть событий имеет столь же малые причины. Мы не знаем их, потому что большинство историков также их не знал или же не заметило их. Верно, что в этом отношении ум может исправить это упущение; знание некоторых принципов легко вмещает познание некоторых фактов. Итак, не останавливалась дольше на доказательстве того, что случай играет в этом мире гораздо большую роль, чем мы думаем, я из сказанного делаю вывод, что если понимать под словом воспитание вообще все, что служит нашему поучению, то случай необходимо занимает в нем крупнейшее место, и так как никто не бывает поставлен в совершенно однотиповые условия, то никто и не получает вполне однотипового воспитания.

Установив этот факт, можно ли оспаривать, что различие в воспитании обуславливает умственное различие людей? что люди похожи на деревья одной породы, семена которых, будучи абсолютно одинаковыми, необходимо вырастают в бесконечное множество разнообразных форм, ибо никогда не попадают точь-в-точь в одинаковую землю и не испытывают на себе совершенно одинакового действия ветров, солнца, дождя. Отсюда я мог бы заключить, что различие в уме людей может быть рассматриваемо безразлично как результат природы или как результат воспитания. Но как бы ни было верно это заключение, для того чтобы в нем не осталось ничего смутного и оно не свелось бы к голому «может быть», я считаю нужным рассмотреть этот вопрос с новой точки зрения, обосновать его более точными и определенными принципами. Для этого надо свести этот вопрос к простым положениям, добраться до первоисточника наших идей, рассмотреть развитие ума и не забывать, что человек только ощущает, вспоминает и наблюдает сходства и различия, т. е. отношения между различными предметами, которые представляются его глазам или всплывают в его памяти; поэтому природа может наделять людей большими или меньшими умственными способностями только таким образом, что она одаряет одних преимущественно перед другими большей тонкостью чувств, более обширной памятью или большей способностью внимания.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ I

¹ В «Année littéraire» мы читаем, что Буало, будучи ребенком упал, когда играл на дворе. При падении его курточка поднялась, и индюк клюнул

его несколько раз в очень нежную часть тела. Буало всю жизнь страдал от этого, и, может быть, этим объясняется та строгость нравов, та скудость чувств, которые замечаются в его сочинениях, а также его насмешки над женщинами, его насмешливое отношение к Людмиле, Кипу и ко всей галантной поэзии.

Может быть, его антипатия к индюкам обусловила тайное отвращение, которое он всегда питал к иезуитам, ввезшим их во Францию. Может быть, описанному несчастному случаю мы обязаны его «Сатирой о двусмысленности», его восхищением Арно и его «Посланием о любви к богу», так как несомненно, что часто незаметные причины определяют поведение всей нашей жизни и течение всех наших идей.

* Когда малолетний Людовик XIV готов был удалиться в Бургундию, он, повествует Сент-ЭврEMON, остался в Париже по совету Тюреня, который тем самым спас Францию. Однако, прибавляет этот автор, столь важный совет послужил к славе этого полководца меньше, чем победа над пятьюстами всадников, а все потому, что мы с трудом приписываем великие события причинам, кажущимся нам отдаленными и незначительными.

ГЛАВА II

О тонкости чувств

Лвляется ли большее или меньшее совершенство органов чувств, которое необходимо обшинает и совершенство внутренней организации, — ибо о тонкости чувств я могу судить только по результатам, — причиной неравенства умственных способностей людей?

Чтобы правильно судить об этом вопросе, мы должны исследовать, придает ли уму большая или меньшая тонкость чувств большую обширность или большую правильность суждений, которая, взятая в истинном значении, заключает в себе все качества ума.

Большая или меньшая тонкость чувств нисколько не влияет на правильность суждений ума, раз люди всегда воспринимают одинаковые отношения между предметами, какие бы ощущения от этих предметов они ни получали. Чтобы доказать, что это так, я выберу для примера чувство зрения, так как ему мы обязаны наибольшим числом наших представлений, и я утверждаю, что если для различных глаз одни и те же предметы кажутся более или менее большими или маленькими, блестящими или темными, если туаз в глазах одного человека меньше, снег менее бел и эбеновое дерево менее черно, чем в глазах другого, то тем не менее эти два человека будут всегда замечать одинаковые отношения между всеми предметами; так, в их глазах туаз всегда будет больше фута, снег белее всех других тел, эбеновое дерево чернее всех других деревьев.

А так как правильность суждений ума заключается в ясном представлении об истинных отношениях между предметами, и так как, применив сказанное мною о зрении к другим чувствам, мы придем к тому же результату, то из этого я заключаю, что большее

или меньшее совершенство организации как внешней, так и внутренней поскольку не влияет на правильность наших суждений.

Скажу далее, что если отличать обширность ума от правильности его суждений, то большая или меньшая тонкость чувств не прибавит ничего к этой обширности. Действительно, если возьмем для примера опять чувство зрения, то мы убедимся, что большая или меньшая обширность ума зависит от большего или меньшего числа предметов, которые человек, одаренный очень тонким зрением, может запомнить. Однако существует очень мало таких трудно различимых благодаря своему малому размеру предметов, которые, когда на них смотрят с одинаковым вниманием одинаково молодые и привычные глаза, будут видимы для одних и невидимы для других. Но я могу доказать, что если бы различие, которое налагает природа в этом отношении на людей, которых я называю нормально организованными, т. е. в организации которых нет никакого недостатка¹, было бы и бесконечно большим, чем оно есть, оно все же не произвело бы никакого влияния на обширность ума.

Предположим двух людей, одаренных одинаковой способностью внимания, одинаково обширной памятью; словом двух людей, равных во всем, за исключением тонкости чувств; при этом предположении тот, кто будет обладать более острым зрением, бесспорно сможет запомнить, а затем сравнить между собою многие предметы, малый размер которых делает их недоступными для того человека, зрение которого менее совершенено; но так как мы предположили, что эти два человека обладают одинаково обширной памятью, способной удержать, предположим, две тысячи предметов, то несомненно, что второй может заменить историческими фактами предметы, которые он не в состоянии был увидеть вследствие меньшей остроты зрения и, таким образом, в состоянии будет дойти до двух тысяч предметов, заполняющих память первого. Итак, если тот, зрение которого менее остро, может сложить в своей памяти столько же предметов, сколько и первый, и если к тому же эти два человека равны во всем остальном, то они должны быть способны к одинаковому числу сочетаний и, согласно моему предположению, иметь одинаковый ум; ибо обширность ума измеряется числом идей и сочетаний их. Следовательно, большее или меньшее совершенство органа зрения может только влиять на род их ума, сделать из одного художника или ботаника, из другого — историка или политика, но никак не может влиять на обширность их ума. Поэтому-то мы и не замечаем постоянного превосходства ума ни у тех, кто обладает более тонким зрением или слухом, ни у тех, кто посредством постоянного употребления очков или слуховой трубки достиг бы в этом отношении больших преимуществ сравнительно с другими людьми, чем их полагает сама природа. Отсюда я заключаю, что у людей, которых я называю нормально организованными, умственное превосходство не связано с большим или меньшим превосходством чувств как внешних, так и внутренних и что большое неравенство в умственных способностях необходимо зависит от иной причины.

ПРИМЕЧАНИЕ К ГЛАВЕ II

¹ В этой главе я говорю только о людях, в среднем нормально организованных, обладающих всеми органами чувств, не подверженных ни сумасшествию, ни тупоумию, из которых первое обусловливается обыкновенно разложением памяти, второе — полным отсутствием этой способности.

ГЛАВА III

Об обширности памяти

Заключение, к которому мы пришли в последней главе, без сомнения, побудит нас искать причину неравенства умственных способностей людей в неравной обширности их памяти. Память есть кладовая, в которой складываются ощущения, факты и идеи, различные сочетания которых образуют то, что мы называем умом.

Следовательно, ощущения, факты и идеи надо рассматривать как первичную материю ума. А чем обширнее кладовая памяти, тем больше в ней содержится этой первичной материи и, скажут, тем больше у человека умственных способностей.

Как это кажется обоснованным это рассуждение, но, рассмотрев его глубже, мы, возможно, пайдем его только имеющим видимость истины. Чтобы вполне исчерпать вопрос, следует, во-первых, рассмотреть, действительно ли память нормально организованных людей так различна по объему, как это кажется, а если такое различие действительно существует, нужно ли, во-вторых, рассматривать его как причину неравенства умственных способностей.

Что касается первого пункта, то я утверждаю, что только внимание может запечатлеть в памяти предметы, которые в противном случае производят на нас только незаметное впечатление, подобное приближительно тому, которое производит на читателя каждая из букв, образующих страницу какого-нибудь сочинения. Чтобы судить, зависит ли недостаток памяти в людях от невнимания или же от несовершенства органа памяти, следует, очевидно, прибегнуть к опыту. Он указывает нам, что существует много людей, как, например, блаж. Августин и Монтэнь, которые рассказывают про себя, что, будучи одаренными весьма слабой памятью, они, движимые жаждой знания, достигли, однако, того, что сумели вложить в свою память количество фактов и идей достаточное, чтобы занять место среди людей, одаренных необыкновенной памятью. Но если жажды знания достаточно для того, чтобы, по крайней мере, знать много, то я заключаю, что память почти вполне производна и обширность ее зависит: 1) от ежедневного упражнения ее; 2) от внимания, с каким рассматриваются запечатленные в ней предметы, которые, если относиться к ним без внимания, оставляют, как я уже указывал, только незначительные следы в памяти, очень скоро стирающиеся; 3) от порядка, в котором располагаются наши идеи. Этому порядку мы обязаны всеми чудесными проявлениями памяти, и он заключается в том, чтобы связывать между собой все

свои идеи и, следовательно, обременять память только такими предметами, которые или по своей природе, или по способу рассмотрения сохраняют между собой достаточно связи, чтобы вызывать друг друга в памяти.

Частые воспроизведения в памяти одних и тех же предметов подобны, так сказать, ударам резца, который их запечатлевает тем глубже, чем чаще они воспроизводятся памятью¹. К тому же этот порядок, пригодный для вызова в нашей памяти одних и тех же предметов, может объяснить все явления памяти: так, умственная проницательность, т. е. быстрота, с которой человек познает истину, часто зависит от сходства этой истины с предметами, обыкновенно присутствующими в его памяти; так, медлительность ума есть, напротив, следствие малой аналогии этой самой истины с предметами, занимающими память. Человек не может схватить ее, увидеть все ее отношения, не отбросив все первоначальные идеи, присутствующие в его воспоминании, не перерыв весь запас своей памяти, чтобы найти в ней идеи, находящиеся в связи с этой истиной. Вот почему многие люди глухи к некоторым фактам и истинам, которые, напротив, живо трогают других людей только потому, что эти факты или эти истины потрясают всю цепь их мыслей, будя в их уме большое число их: это — молния, мгновенно освещавшая весь горизонт их идей. Итак, проницательностью ума мы часто обязаны порядку и всегда ему же обширностью памяти; точно так же недостаток порядка, как результат равнодушия к некоторым наукам, совершенство делает беспамятными людей, которые в других областях науки проявляют чрезвычайно обширную память. Вот почему учёный лингвист или историк, который с помощью хронологического порядка запечатлевает и легко сохраняет в своей памяти слова и исторические даты и факты, часто не в состоянии запомнить доказательство нравственной истины, или геометрической теоремы, или пейзаж, на который он долго смотрел; так как этого рода предметы не имеют никакой аналогии с остальными фактами и идеями, заполняющими его память, то они не могут часто в ней воспроизводиться, глубоко в ней запечатлеваться и, следовательно, долго в ней сохраняться.

Такова причина, обуславливающая различные виды памяти, и вот почему больше всего забывают в какой-нибудь области те люди, которые меньше всего с нею знакомы.

Итак, повидимому, хорошая память есть, так сказать, явление порядка, она почти целиком производна; большое неравенство способности памяти, наблюдавшееся между людьми, которых я называю нормально организованными, есть не столько результат неодинакового совершенства этого органа, сколько зависит от неодинакового внимания к его развитию.

Но предположим, что большая или меньшая обширность памяти, наблюдавшаяся у людей, есть полностью дар природы и что это различие действительно так значительно, как кажется; и тогда я утверждаю, что оно не может никаким образом влиять на обширность ума: 1) потому что большой ум, как я это покажу, не связан с хо-

рощей памятью, 2) потому что великий человек одарен памятью достаточной, чтобы подняться на высшие ступени ума.

Прежде чем доказать первое из этих положений, следует заметить, что хотя полное невежество приводит к полному тупоумию, однако умный человек часто кажется лишенным памяти только потому, что мы придаем этому слову слишком узкое значение и сводим память к запоминанию слов, дат, мест и лиц, которыми умные люди часто не интересуются и потому их не запоминают. Но если понимать значение этого слова в смысле запоминания идей, образов, рассуждений, то никто из них не окажется лишенным памяти, откуда следует, что не существует умного человека, лишенного памяти.

После этого замечания посмотрим, какова должна быть память у человека большого ума. Для примера возьмем двух людей, знаменитых в различных областях творчества, а именно Локка и Мильтона, и посмотрим, является ли величие их ума результатом чрезвычайно обширной памяти.

Займемся сначала Локком: если мы предположим, что он нашел в чувствах общее начало всех наших идей благодаря счастливой мысли или чтению Аристотеля, Гассенди или Монтэня, то мы должны признать, что, для того чтобы вывести всю свою систему из этой первоначальной идеи, ему нужна была не столько обширная память, сколько упорное размышление, так как самой небольшой памяти было бы достаточно, чтобы удержать все предметы, из сравнения которых должна была получиться уверенность в правильности его принципов, и чтобы развить их щель и тем заслужить название человека великого ума и быть всеми признанным за такого.

Что касается Мильтона, то если я буду рассматривать его с тех сторон, в которых он, по всеобщему признанию, считается бесконечно выше всех других поэтов, если я буду рассматривать силу, величие, правду и новизну его поэтических образов, то я должен буду признать, что его умственное превосходство в этом отношении также не предполагает обладания очень обширной памятью. Действительно, как ни грандиозна композиция его картин (вроде той, где он соединяя взмет огня с твердостью земной материи и, описывал почву ада, говорит, что она горела твердым огнем, а озеро горело жидким огнем), — как ни величественны, говорю я, его картины, очевидно, что число смелых образов, могущих образовать такие картины, должно быть чрезвычайно ограничено; что, следовательно, грандиозностью своего воображения поэт был обязан не чрезвычайной обширности памяти, а глубокому размышлению, проникновению в свое искусство. Это размышление побуждало его искать источник наслаждения, доставляемого воображением, и открыло ему его и в своеобразном соединении образов, способных образовать величественные, правдивые и правильно соразмеренные картины, и в постоянном выборе сильных выражений, которые являются, так сказать, красками поэзии и посредством которых он сделал свои описания видимыми для глаз воображения.

В качестве последнего примера того, что художественное вообра-

жение может существовать и без обширной памяти, я приведу в примечании перевод одного отрывка из английской поэзии². Этот перевод и предыдущие примеры докажут, я полагаю, тем, кто захочет анализировать произведения великих людей, что большой ум не зависит от большой памяти. Прибавлю даже, что чрезвычайная обширность одной исключает чрезвычайную обширность другого. Если при невежестве ум чахнет за недостатком пищи, то при обширной эрудиции чрезмерное обилие ее часто заглушает ум. Чтобы убедиться в этом, достаточно понаблюдать, какое различное употребление делают из своего времени два человека, желающих отличаться: один — умом, другой — памятью.

Если ум есть только совокупность новых идей и если всякая новая идея есть новое отношение, установленное между данными предметами, то тот, кто хочет отличаться своим умом, необходимо должен употреблять большую часть своего времени на наблюдение различных отношений между предметами и употреблять только небольшую часть его на запоминание фактов и идей. Напротив, тот, кто хочет превосходить всех обширностью памяти, должен, не теряя времени на наблюдение и сравнение предметов, употреблять все свое время на непрестанное накопление в памяти новых предметов. Очевидно, что благодаря такому весьма различному употреблению времени память первого будет значительно ниже памяти второго, но он будет превосходить его в умственном отношении; эту истину, повидимому, и имел в виду Декарт, когда он сказал, что, для того чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять, чем заучивать. Отсюда я заключаю, что не только очень большой ум не предполагает очень большой памяти, но что чрезвычайное развитие первого исключает развитие второй.

Чтобы закончить эту главу и доказать, что различную силу ума нельзя приписать неодинаковой силе памяти, мне остается только показать, что люди, в среднем нормально организованные, одарены памятью в степени достаточной, чтобы подняться до самых высоких идей. Действительно, всякий человек в этом отношении достаточно наделен природой, если его память способна удержать столько фактов и идей, что, сравнивая их между собой, он может всегда заметить новые отношения, постоянно увеличивать число своих идей и, следовательно, непрестанно расширять свой ум. Но если, как доказывает математика, тридцать или сорок предметов могут быть сравниваемы столькими различными способами, что никто в продолжение очень длинной жизни не в состоянии заметить все их отношения и вывести из них все возможные идеи, и если между нормально организованными людьми нет ни одного, память которого могла бы удержать не только все слова одного языка, но еще множество дат, фактов, имен, мест и лиц и, наконец, значительно больше шести или семи тысяч предметов, то отсюда я смело заключаю, что всякий нормально организованный человек одарен памятью значительно большею, чем та, которая ему нужна для увеличения числа своих идей; что более обширная память не вызвала бы более обширного ума и что не только неравенство памяти

не является причиной неравенства ума, то что это последнее неравенство есть исключительно результат большего или меньшего внимания, с которым человек наблюдает отношения между предметами, или же плохого выбора предметов, которыми он обременяет свою память. Если юноши, блестящие пресыпевшие в школе, не всегда становятся выдающимися людьми, то это потому, что уменье пользоваться правилами Депотера, подготавливающее хороших школьников, еще не доказывает, что впоследствии эти молодые люди обратят свое внимание на такие предметы, из сравнения которых вытекают интересные для общества идеи. Поэтому-то редко становится великим человеком тот, кто не имеет мужества пренебречь запашем множества ненужных вещей.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ III

¹ Память, говорит Локк, есть гравировальная доска с буквами, которые время незаметно стирает, если резец не возобновляет их время от времени.

² В нем описывается молодая девушка, которую любовь подымает с постели до зари; она отправляется в небольшую долину, где ждет своего возлюбленного, который должен при восходе солнца принести жертву богам. Ее душа, нежно настроенная в ожидании близкого счастья, отдается наслаждению от созерцания красот природы и восхода светила, которое должно привести к ней предмет ее нежной любви. Она выражается следующим образом:

«Солнце уже золотит вершины этих древних дубов, и воды этих стремительных потоков, с редом мчащихся среди скал, уже позлащены его лучами. Я уже различаю вершины косматых гор, из которых выступают эти своды, едва держащиеся в воздухе и представляющие грозное убежище для приступившего под ними отшельника. Ночь, кончай складывать твой покров. Блуждающие огоньки, сбивающие с пути неуверенного путника, удалитесь в трясины и топи болот; а ты, солнце, бог небес, наполняющий воздух живительным теплом, сеющий жемчуга росы по цветам лугов и возвращающий краски разнообразным красотам природы, прими от меня первой поклонение; ускорь свой бег, твое возвращение возвещает мне возвращение моего возлюбленного. Свободного от благочестивых забот, еще удерживающих его у подножия алтаря, любовь приведет его к моим ногам. Пусть на всем запечатлеется моя радость, пусть все благословляют восход светила, озаряющего нас. Цветы, замкнувшие в своем лоне ароматы, стущенные холодной ночью, раскройте свои чашечки, излейте свое благоухание. Не знаю, сладостное ли опьянение, наполняющее мою душу, так красит все, что видят мои глаза; но ручей, извивающийся в очертаниях тех долин, восхищает меня своим журчанием. Ветерок ласкает меня своим дыханием. Янтарные цветы под моими ногами приносят моему обонянию клубы ароматов. И если счастье иногда благоволит посеять жилища смертных, оно, несомненно, прячется здесь... Но какое тайное смущение волнует меня! Нетерпение уже примешивает свой яд к прелести ожидания, эта долина уже потеряла свою красу. О, неужели радость так кратковременна? Неужели она так же легко уносится, как легкий пух этих растений уносится дуновением ветерка? Тщетно льшу себя надеждой, каждая минута усиливает мою тревогу. Он не при-

ходит. Кто удерживает его вдали от меня? Разве есть обязанность более снити, чем успокоить тревогу возлюбленной? Но что я говорю! Прочь от меня ревнивые подозрения, оскорбляющие его верность, могущие загасить его нежность! Когда ревность растет рядом с любовью, она заглушит ее, если ее не вырвут; илюш обвивается зеленою гирляндой вокруг ствола, но сушит его, свою опору. Я, слишком хорошо знаю своего возлюбленного, чтобы сомневаться в его нежности. Он, подобно мне, искал тихое убежище в деревне, вдали от пышности двора; простота моего сердца и моей красоты пленяли его. Мои сладострастные соперницы напрасно будут стараться вернуть его в свои объятия. Неужели его соблазняют прелести кокетства, от которого тускнеет на щеках снег невинности и румянецстыдливости и которое покрывает их искусственными белилами и румянами бесстыдства? Откуда мне знать? Может быть, его презрение к нам есть только ловушка для меня. Могу ли я забыть предрассудки мужчин и искусные приемы, которыми они соблазняют нас? Воспитанные в презрении к нашему полу, они любят не нас, а свои наслаждения. Они так жестоки. На уровень добродетелей вознесли они и варварские ужасы мщения и исступленную любовь к отечеству и никогда не почитали верность за добродетель. Без всяких укоров совести злоупотребляют они нашей невинностью. Часто тщеславие их с наслаждением созерцает зрелище наших нечаяний. Но нет, прочь от меня пепавистные мысли, мой возлюбленный придет сюда. Уже тысячу раз я испытывала его: как только я замечу его, моя изволнованная душа успокаивается, и я часто забываю слишком справедливые основания к жалобам; возле него я испытываю только счастье... Но если он изменяет мне, если в тот момент, как моя любовь прискивает для него извинения, он в объятиях другой совершают преступление неверности... Тогда пусть, вся природа вооружится для моей мести, пусть он погибнет! Но что говорю я! Природа, будь глуха к моим воплям; земля, не развертай своих глубин, пусть это чудовище бродит указанием ему время по твоему роскошному лону. Пусть он совершает еще новые преступления, пусть заставляет еще проливать слезы слишком доверчивых возлюбленных, и если небо захочет ему отомстить за них и наказать его, то пусть это совершиется в ответ на мольбы другой несчастной...» и т. д.

ГЛАВА IV

О неодинаковой способности внимания

Я уже доказал, что большое неравенство умственных способностей не зависит от большего или меньшего совершенства органов чувств или органа памяти. Следовательно, причину его можно искать только в неравной способности внимания.

Так как внимание более или менее глубоко запечатлевает в памяти предметы, так как оно позволяет более или менее хорошо наблюдать их отношения, образует большую часть наших истинных или ложных суждений, так как внимание, наконец, мы обязаны почти всеми нашими идеями, то, очевидно, скажут мне, от неравной способности внимания зависит у людей неравная сила их ума.

Действительно, если самой слабой степени болезни, которую можно назвать только недомоганием, достаточно, чтобы сделать

большинство людей неспособными к продолжительному вниманию, то, скажут мне, полную неспособность к вниманию, замечаемую у большинства людей, и различие в их умственных способностях следует приписать болезням, так сказать, незаметным и, следовательно, неравенству силы, которой природа одаряет различных людей, а отсюда можно заключить, что ум есть только дар природы.

Но как ни правдоподобно это заключение, оно не подтверждается опытом.

Если мы исключим людей, страдающих обыкновенными болезнями которых боль заставляет сосредоточивать все внимание на своем положении, которые поэтому не могут сосредоточить его на предметах, способных усовершенствовать их ум, и которых, следовательно, нельзя относить к людям, называемым мною нормально организованными, то мы увидим, что все другие люди, даже те, которые обладают слабым и хрупким здоровьем, и должны были бы, согласно предыдущему рассуждению, обладать меньшим умом, чем люди крепкого здоровья, часто кажутся в этом отношении наиболее одаренными природой.

Здоровых и сильных людей, занимающихся наукой или искусством, сила их темперамента, влекущая их к наслаждениям, чаще отвлекает от занятий и размышлений, чем частые легкие недорожья людей деликатного здоровья со слабым темпераментом. Все, что можно утверждать, это — что у людей, приблизительно одинаково одушевленных любовью к знанию, успех, которым измеряется сила ума, зависит, повидимому, вполне и от того, больше или меньше они развлекаются в зависимости от их вкусов, состояния и положения, и от более или менее удачного выбора изучаемого предмета, и от более или менее совершенного метода, которым они пользуются при изложении, и от большей или меньшей привычки к размышлению, от читаемых книг, от людей со вкусом, с которыми они встречаются, и наконец от предметов, которые ежедневно представляют им случай. Повидимому, в стечении обстоятельств, необходимых для образования умного человека, различная способность внимания, обусловливаемая большей или меньшей силой темперамента, не играет никакой роли. Поэтому-то никакими точными наблюдениями не сумели до сих пор определить, какой род темперамента наиболее способствует образованию гениального человека, и мы не знаем, какие люди обладают большими умственными способностями: большие или маленькие, толстые или худые, желчные или сангвиники.

Впрочем, хотя этого общего ответа и достаточно, чтобы отвергнуть рассуждение, основанное только на вероятности, однако, ввиду важности этого вопроса, следует для более точного решения его исследовать, является ли в людях недостаток внимания результатом физической неспособности к прилежанию или слишком слабого желания научиться чему-нибудь.

Все люди, которых я называю нормально организованными, способны к вниманию, так как все научаются читать, знают свой

записи и могут усвоить первые теоремы Евклида. А всякий, способный усвоить первые теоремы, обладает физической способностью понять и все остальные; действительно, большая или меньшая легкость, с которой схватываются математические истины — так же как и истины всякой другой науки, зависит от большего или меньшего числа ранее воспринятых основных положений, которые необходимо иметь в памяти, чтобы усвоить всю науку. А если, как я это доказал в предыдущей главе, каждый нормально организованный человек может поместить в памяти гораздо большее число представлений, чем требует доказательство какой угодно математической теоремы, и если с помощью порядка и частого возобновления одних и тех же представлений можно, как показывает опыт, сделать их весьма привычными и настолько обычными, чтобы без труда вспоминать их, то, следовательно, каждый человек имеет физическую возможность следить за доказательством всякой математической теоремы; идя от теоремы к теореме, от одной аналогичной идеи к другой и достигнув знания, например, девяносто девятой, каждый может усвоить и сотую с такой же легкостью, как вторую, которая настолько же далека от первой, как сотая от девяносто девятой.

Теперь рассмотрим, не достаточно ли той степени внимания, которая необходима для усвоения доказательства истины математической, также и для открытия таких истин, которые делают человека знаменитым. Для этого я попрошу читателя проследить со мною тот путь, которым идет человеческий ум как в том случае, когда он открывает истину, так и в том, когда он просто следит за доказательством ее. Я не буду искать доказательства в математике, знание которой чуждо большинству людей, я возьму его из этики и предложу следующую задачу: *почему несправедливые завоеваний не ложатся таким же позором на государство, каким воровство ложится на частное лицо?*

При решении этой моральной задачи прежде всего мне придут на ум наиболее привычные мне принципы, а именно принципы справедливости; рассматривая их по отношению к частным лицам, я вижу, что воровство, нарушающее и расстраивающее общественный порядок, справедливо считается позорным.

Но как ни казалось бы удобным применить и к государствам принципы справедливости, принятые среди граждан, однако, при виде стольких несправедливых войн, предпринимавшихся во все времена народами, вызывавшими восхищение мира, я начинаю подозревать, что принципы справедливости, принятые среди частных лиц, не применимы к государствам; это подозрение будет первым шагом моего ума на пути к решению предложенной задачи. Чтобы выяснить это подозрение, я прежде всего устранию те принципы справедливости, которые мне наиболее привычны. Я припомню и отброшу множество идей, до тех пор пока не замечу, что, для того чтобы решить этот вопрос, следует прежде всего составить себе ясные и общие идеи о справедливости, а для этого добраться до начала образования обществ, до тех отдаленных времен, когда мы лучше можем рассмотреть их происхождение, когда легче открыть

причину, почему принципы справедливости, припоминаемые в соображение по отношению к гражданам, не применимы к государствам.

Таков будет, если смею так выразиться, второй шаг моего ума. Я представлю себе поэтому людей совершивших лишившими знания законов, искусств, приблизительно такими, какими они были в первые дни мира. Тогда я увижу их рассеянными в лесах подобно другим прожорливым животным, я увижу, что эти первые люди были до изобретения оружия слишком слабы, чтобы противиться диким зверям, и, наученные опасностью, нуждой или страхом, поняли, что в интересах каждого из них образовать общество и составить союз против общих врагов-зверей. Затем я увижу, как эти люди, собравшиеся вместе, скоро стали враждовать между собой вследствие желания обладать одними и теми же вещами и как они должны были вооружаться друг и против друга, чтобы отнимать их друг у друга; что сначала более сильный брал верх над более умным, пока последний не выдумал оружие и не поставил ему ловушек, чтобы отнять у него эти вещи, что, следовательно, вначале сила и ловкость были первыми правами на обладание имуществом, что земля спачала принадлежала более сильному, а затем более смелому, что сначала можно было владеть чем-нибудь только на этих правах; но что затем люди, наученные общим злонуличием, поняли, что их союз не будет для них выгоден и что общества не могут продолжать существовать, если к первым соглашениям они не прибавят новых, по которым каждый в отдельности отказывается от права силы и ловкости, все взаимно гарантируют друг другу сохранение жизни и имущества и обязуются наказывать нарушителя этих соглашений и что, таким образом, из всех интересов частных лиц образовался общий интерес, на основании которого и были даны различным поступкам названия справедливых, дозволенных и несправедливых в зависимости от того, были ли они полезны, безразличны или вредны для общества.

Достигнув этой истины, я уже легко открываю источник человеческих добродетелей; я вижу что если бы люди не были чувствительны к физическим страданиям и наслаждениям, если бы в них не было желаний и страстей, если бы они были ко всему равнодушны, то они не знали бы личной выгоды, а без личной выгоды они не образовали бы обществ и не было бы между ними договоров; тогда не существовало бы и общего интереса и, следовательно, не было бы справедливых и несправедливых поступков; таким образом, физическая чувствительность и личный интерес являются источниками справедливости¹.

Эта истина, опирающаяся на юридическую аксиому: «интерес есть мера человеческих поступков» и подтверждаемая сверх того тысячью фактов, доказывает, что мы, будучи добродетельными или преступными в зависимости от того, соответствуют или не соответствуют нашим личным страсти и вкусы общему интересу, с такой необходимостью стремимся к нашему личному добру, что даже божественный законодатель счел нужным для побуждения людей

к добродетельным поступкам обещать им вечное блаженство взамен временного счастья, которым им иногда приходится жертвовать.

Установив этот принцип, мой ум выводит из него соответствующие следствия, и я нахожу, что всякий договор, в котором личный интерес находится в противоречии с интересом общественным, был бы постоянно нарушаем, если бы законодатели не обещали крупных наград за добродетель и если бы они постоянно не сдерживали естественной склонности всех людей к посягательствам на чужие права угрозой беспечестия и наказания; словом, я нахожу, что наказание и награда суть единственные узы, которыми законодателям удалось связать частный интерес с общим, и отсюда я заключаю, что законы, установленные для счастья всех, не стали бы соблюдаться никем, если бы суды не были облечены властью, необходимой для того, чтобы обеспечить их выполнение. Без этой власти законы постоянно и совершенно справедливо нарушались бы большинством частных лиц; ибо в основе законов лежит только общественная польза, и они теряют свое значение и перестают быть законами, как только вследствие всеобщего нарушения они становятся бесполезными, каждый возвращается к своим первоначальным правам, каждый соображается только со своим личным интересом, который с полным основанием запрещает ему соблюдать законы, приносящие только ущерб тому, кто является их единственным исполнителем. Так, если бы для соблюдения безопасности на больших дорогах было запрещено ходить по ним вооруженными, и если бы за неимением конной полиции на этих дорогах хозяйничали разбойники, и, следовательно, этот закон не достигал бы цели, то, по-моему, не только каждый, кто мог бы путешествовать вооруженным, не поступал бы несправедливо, нарушая этот договор или закон, по было бы даже безумием, если бы он его соблюдал.

После того как мой ум дошел постепенно до образования ясных и общих принципов справедливости, после того как я убедился, что она состоит в точном соблюдении договоров, заключенных на основании общего интереса, т. е. совокупности частных интересов, мне остается только применить эти принципы справедливости к различным нациям. Установленные мною принципы прежде всего указывают мне, что народы не заключили между собой соглашений, которые бы взаимно гарантировали им обладание занимаемой ими территорий и принадлежащими им богатствами. Когда я начну искать причину этого, то, восстанавливая в памяти общую карту земли, я найду, что народы не заключили между собой этого рода договоров потому, что к этому их не принуждала такая насущная потребность, как частных лиц; ведь нации могут существовать и без взаимных договоров, а общества не могут сохраняться без законов. Отсюда я заключаю, что принципы справедливости, принимаемые в соображение нацией по отношению к нации и частным лицам по отношению к частному лицу, должны быть чрезвычайно различны.

Если церковь и государи допускают торговлю неграми; если христианин, проклинающий от имени бога того, кто вносит смуту и раздор в семью, благословляет купца, обезезжающего Золотой

берег и Сенегал для обмена негров на товары, до которых так жадны африканцы; если вследствие этой торговли европейцы поддерживают постоянные войны между этими народами, не чувствуя угрызений совести, — то это потому, что церковь и государи считают, что, за исключением особых, всеми признаваемых договоров и обычаяев, которые принято называть международным правом, нации находятся друг к другу как раз в таком же отношении, в каком находились первые люди до образования обществ, когда они еще не знали иного права, кроме права силы и ловкости, когда еще не существовало никакого договора между ними, никакого закона, никакой собственности, и когда, следовательно, не могло быть ни кражи, ни какой-либо несправедливости. Что касается отдельных договоров, заключаемых нациями между собой, то, так как эти договоры никогда не были гарантированы достаточно большим числом наций, они никогда и не поддерживались достаточной силой, и поэтому они, будучи законами без силы, часто оставались не выполненными.

Теперь когда, применив к нациям общие принципы справедливости, я свел этот вопрос в моем уме к этому заключению, остается только привести на память список всех нарушенных во все времена и у всех народов договоров, чтобы понять, почему один народ, нарушающий свои договоры с другим народом, менее виновен, чем частное лицо, не соблюдающее общественных договоров, и почему люди считают, что несправедливые завоевания менее бесчестят нацию, чем унижают частное лицо кражи; я увижу тогда, что существует постоянно большая вероятность, что всякая нация воспользуется, не обращая внимания на заключенные ею договоры, затруднительным положением и несчастием своих соседей, чтобы начать с ними выгодную для себя войну и покорить их или, по крайней мере, сделать их для себя безвредными. И всякая нация, наученная историей, может считать эту вероятность настолько большой, чтобы быть убежденной, что несоблюдение договора, который ей выгодно нарушить, есть молчаливо подразумевающийся пункт всех договоров, которые в сущности суть только перемирия, и что, следовательно, пользуясь благоприятным случаем для ослабления своих соседей, она только предупреждает их выступление: ведь все народы принуждены выбирать между упреком в несправедливости или порабощением, между тем, чтобы быть рабами или господами.

К тому же, так как сохранение себя в неизменном состоянии почти невозможно ни для одной нации, и так как достижение предела расширения империи должно быть рассматриваемо, как то показывает история Рима, как почти верный признак ее падения, то очевидно, что всякая нация может считать себя тем более вправе на эти называемые несправедливыми завоевания, что, не видя такой же безопасности в гарантии двух наций, например, против третьей какую находит частное лицо в гарантии своей нации по отношению к другому частному лицу, она считает такой договор тем менее связанным, чем выполнение его менее обеспечено.

Только дойдя в своих рассуждениях до этой мысли, я нахожу разрешение предложенной мною нравственной задачи. Тогда мне становится ясным, что нарушение договоров и этот вид разбоя между нациями будут существовать, как показывает прошлое, дающее в этом отпращении ключ к будущему, до тех пор, пока все нации или по крайней мере, большинство их не заключат общих договоров; до тех пор, пока нации, соответственно проекту Генриха IV и аббата де Сен-Пьера, не гарантируют взаимно неприкосновенности своих владений и не обязуются выступать с оружием против всякого народа, пожелавшего поработить другой народ; пока случай не сделает могущество этого союза государств настолько превосходящим могущество каждого государства в отдельности, чтобы эти договоры могли быть поддержаны силой, и пока народы не будут в состоянии установить в своих отношениях такое же положение, какое умный законодатель устанавливает между гражданами, когда, назначая награду за хорошие поступки и наказание за дурные, он приуждает их к добродетели, поддерживая их честность личным интересом.

Итак, очевидно, что в общественном мнении неправедные завоевания, как менее противоречащие законам справедливости и, следовательно, менее преступные, чем частные кражи, не позорят нацию так, как воровство позорят частное лицо.

Если мы обратим внимание на то, каким путем мой ум пришел к разрешению этой моральной проблемы, то мы увидим, что прежде всего я вызвал в памяти наиболее привычные мне идеи и, сравнив их между собою, заметил их соответствия и несоответствия с предметом моего исследования; затем я отбросил их и вспомнил другие и повторял этот прием до тех пор, пока моя память не дала мне предметов для сравнения, из которых я мог вывести искомую мною истину.

А как так путь ума всегда один и тот же, то сказанное относительно открытия одной истины должно быть применимо вообще ко всем истинам. Замечу только по этому поводу, что, для того чтобы сделать открытие, необходимо иметь в памяти предметы, отношения между которыми содержат эту истину.

Если мы вспомним сказанное мною выше до только что приведенного примера и, следовательно, пожелаем узнать, все ли нормально организованные люди одарены действительно вниманием, достаточным, чтобы подняться до самых высоких идей, то для этого мы должны сравнить операции ума, когда он делает открытие или когда он просто следит за доказательством истины, и рассмотреть, который из этих процессов требует больше внимания.

Чтобы следить за доказательством математической теоремы, не требуется вызвать в своей памяти много предметов; учитель в этом случае обязан воспроизвести перед учениками предметы, необходимые для разрешения предложенной им задачи. Но в обоих случаях, — как тогда, когда человек открывает истину, так и тогда, когда он следит за доказательством ее, — он одинаково должен наблюдать отношения, существующие между предметами,

Предъявляемыми ему его памятью или его учителем; но так как невозможно без особо благоприятной случайности воспроизвести в памяти только те идеи, которые необходимы для открытия истины и рассматривать их только со стороны, необходимой для их сравнения, то очевидно, что, для того чтобы сделать какое-нибудь открытие, приходится вызвать в памяти множество идей, чуждых рассматриваемому вопросу, и сделать между ними бесконечное множество ненужных сравнений, масса которых может обескуражить человека. Следовательно, на открытие истины приходится употребить бесконечно большее количество времени, чем на то, чтобы следить за доказательством ее; но открытие истины совершенно не требует большего напряжения внимания, чем то, которое требуется для того, чтобы следить за доказательством.

В этом можно убедиться, наблюдая за человеком, изучающим геометрию; мы увидим, что ему приходится вкладывать тем более внимания в рассматривание геометрических фигур, на которые ему указывает учитель, что эти предметы ему менее знакомы, чем те, которые могла бы воспроизвести его память; поэтому его ум занят вдвое: тем, чтобы ознакомиться с фигурами, и тем, чтобы найти их взаимные отношения, откуда следует, что внимания, необходимого для того, чтобы следить за доказательством геометрической теоремы, достаточно для того, чтобы открыть истину. Правда, в последнем случае напряжение внимания более непрерывно, но эта напряженность его состоит собственно только в повторении одних и тех же актов внимания. К тому же, если все люди способны, как я говорил, выучиться читать и говорить на родном языке, то они все способны не только к напряженному вниманию, но и к непрерывному вниманию, требуемому для открытия истины.

Какое непрерывное внимание требуется для того, чтобы выучиться буквам, соединять их в слоги, из которых образовывать слова; или чтобы собрать в памяти совершенно различные предметы, между которыми существуют только случайные отношения, как, например слова: *дуб, величие, любовь*, не имеющие никакого реального отношения к выражаемой ими идее, образу или чувству! Словом, очевидно, что если все люди с помощью непрерывного внимания, т. е. частого повторения одних и тех же актов внимания, могут постепенно запечатлеть в своей памяти все слова известного языка, то они обладают и достаточной силой и непрерывностью внимания, чтобы возвыситься до великих идей, открытие которых делает их знаменитыми.

Но, возразят мне, хотя все люди и одарены вниманием, необходимым для того, чтобы отличаться в какой-нибудь области, если только они не сделались не способными к этому вследствие потери привычки к вниманию, несомненно, однако, что для одних внимание легче, чем для других. Чему же можно приписать эту большую или меньшую легкость внимания, как не большему или меньшему совершенству организаций?

Прежде чем прямо ответить на это возражение, укажу, что внимание не чуждо природе человека; что вообще, когда нам кажется,

будто тяжело быть внимательными, мы принимаем усталость от скуки и нетерпения за утомление внимания. В действительности же, как нет человека без желаний, так нет человека без внимания. Когда человек привык к вниманию, оно становится для него даже потребностью. Утомительным делает внимание та причина, которая нас к нему побуждает. Если это необходимость, нужда или страх, то внимание становится тягостным. Если же это надежда на удовольствие, то внимание само становится удовольствием.

Пусть одному и тому же человеку дадут для прочтения две неразборчивые рукописи: судебный протокол и письмо его возлюбленной, — можно ли сомневаться в том, что в первом случае напряжение внимания будет так же тягостно, как во втором приятно? Основываясь на этом наблюдении, можно, следовательно, легко объяснить, почему для одних быть внимательными труднее, чем для других. Для этого нет необходимости предполагать у них какое-либо различие в организации; достаточно заметить, что в данном случае утомление внимания будет большим или меньшим соответственно большей или меньшей степени удовольствия, которое каждый ожидает в награду за положенный труд. А так как одни и те же предметы имеют различную цену в глазах различных людей, то очевидно, что если различным людям предлагают в награду один и тот же предмет, то из этого не следует, что им предлагают одинаковую награду, и, следовательно, если им приходится одинаково напрягать внимание, то для одних эти усилия будут более тягостны, чем для других. Значит, можно решить вопрос о причине большей или меньшей легкости внимания, не прибегая к скрытому неравному совершенству органов, управляющих вниманием. Но допустив, даже, что есть в этом отношении некоторое различие в организации людей, все же я утверждаю, что если предположить в них горячее желание познания, доступное всем людям, то не окажется ни одного человека, который не был бы одарен способностью внимания, достаточной, чтобы отличиться в каком-либо искусстве. Действительно, так как желание счастья свойственно всем людям, так как оно в них самое сильное чувство, то очевидно, что, для того чтобы достигнуть этого счастья, всякий всегда сделает все, что только он в состоянии сделать. Но всякий человек, как я только что доказал, способен к степени внимания, достаточной, чтобы достигнуть самых высоких идей; следовательно, он сделает употребление из этой способности внимания, если, согласно законам его страны, его личному вкусу или воспитанию, счастье станет наградой за это внимание. Мне кажется, трудно не согласиться с этим заключением, особенно если для того, чтобы усовершенствоваться в каком-нибудь предмете, нет необходимости, как я берусь, доказать, отдать ему все внимание, на которое человек способен.

Чтобы не осталось никакого сомнения в этой истине, обратимся к данным опыта, расспросим писателей: все они скажут, что лучшими стихами своих поэм, самыми интересными положениями в своих романах, самыми блестящими принципами в своих философских произведениях они обязаны отнюдь не тяжким усилиям впи-

мания. Они сознаются, что ими они обязаны тому, что случайно попались им на глаза или возникли в их памяти некоторые предметы, сравнение которых имело следствием эти прекрасные стихи, эти поразительные положения, эти великие философские идеи, — идеи, которые ум воспринимает тем быстрее и легче, чем они истиннее и общее. А так как во всяком произведении прекрасные идеи, какого бы рода они ни были, являются, так сказать, черты гениальности, а искусство пользования ими есть дело времени и терпения, т. е. так называемой техники, то несомненно, что гений есть случайный дар, а не награда за внимание; случай предоставляет всем людям эти счастливые идеи, но пользуется ими только тот, кто из жажды славы внимательно к ним относится. Почти во всех искусствах случай считается всеми виновником большей части открытий, и если в умозрительных науках роль его не так очевидна, она тем не менее, пожалуй, реальна и так же руководит открытием самых прекрасных идей; поэтому, как я сказал, они не приобретены ценой тяжелых усилий внимания, и бесспорно, что внимание, необходимое для приведения мыслей в порядок, для выражения их, и искусство переходить от одного предмета к другому ² гораздо утомительнее; а наиболее утомительно внимание, требуемое для сравнения предметов, мало нам привычных. Вот почему философ, способный к шести или семи часам самых высоких размышлений, не в состоянии провести, не утомляя в высшей степени своего внимания, шесть или семь часов за разбором судебного акта или за точной и правильной перепиской рукописи, и вот почему первые шаги всякой науки самые трудные. И только благодаря привычке к сравнению некоторых предметов мы производим это сравнение не только легко, но верно и быстро. Вот почему художник с первого взгляда замечает в картине ошибки в рисунке и красках, не заметные для обыкновенного глаза, а пастух, привыкший рассматривать своих овец, открывает в них сходства и различия, позволяющие ему отличать их, и вот почему мы вполне владеем только теми предметами, о которых мы долго размышляли. В зависимости от большего или меньшего постоянства прилежания, с которым мы рассматриваем какой-нибудь предмет, мы имеем о нем глубокое или поверхностное представление. Можно сказать, что произведения, которые долго обдумывались и медленно писались, являются благодаря этому более содержательными и что в произведениях ума, как и в механике, мы приобретаем в силе то, что теряем во времени.

Но, чтобы не удаляться от моего предмета, я только еще раз повторю, что так как самым трудным является внимание, необходимое для сравнения мало знакомых нам предметов, а такое имеющее внимание и требуется при изучении языка, и так как все люди способны изучить родной язык, то, следовательно, все люди обладают силой и напряжением внимания, достаточными, чтобы стать знаменитыми людьми.

Мне остается еще, как последнее доказательство этой истины, указать на то, что заблуждение всегда случайно, как я указывал в своем первом рассуждении, и не составляет прирожденной осо-

бонности известных умов; что все наши ложные суждения суть продукты или наших страстей или нашего невежества, откуда следует, что все люди по природе одарены одинаково правильным умом, и что если их уму преподнести одинаковые предметы, они вынесут о них и одинаковые суждения. А так как понятие «правильный ум», взятое в широком значении слова, заключает в себе все виды ума, то из сказанного мною следует, что все люди, которых я называю нормально организованными, наделены от рождения правильным умом, обладают и физической возможностью достигнуть наивысших идей³.

Но, возразят мне, почему же так мало знаменитых людей? Потому что учение представляет некоторую трудность, потому что для победы над отвращением к науке, надо как я уже указывал, быть воодушевленным страстью.

В раннем детстве достаточно страха наказания, чтобы заставить детей учиться; но в более позднем возрасте, когда человек уже не чувствует над собой власти этого наказания, он способен добровольно переносить утомление от прилежания, только побуждаемый к тому какой-нибудь страстью, как, например, желанием прославиться. Тогда сила нашего внимания пропорциональна силе нашей страсти. Посмотрим на детей: их успехи в изучении родного языка более одинаковы, чем при изучении чужого языка; это происходит потому, что к изучению первого их побуждают почти одинаковые потребности, как то: любовь к лакомствам, любовь к играм, желание сообщить о своих желаниях и нежеланиях, а приблизительно равные потребности должны вызывать и приблизительно равные результаты. Напротив, успехи при изучении иностранных языков зависят и от метода преподавания учителей, и от страха, внушаемого ими ученикам, и от интереса родителей в занятиях детей; понятно, что успехи, зависящие от столь разных причин, действующих и сочетающихся различно, должны быть чрезвычайно неравными. Отсюда я заключаю, что большое неравенство ума людей зависит, может быть, от неодинакового желания их учиться. Но, скажут мне, это желание есть действие страсти, а так как большая или меньшая сила наших страстей зависит от нашей природы, то, следовательно, ум надо рассматривать как дар природы.

К этому действительно трудному и кардинальному пункту и сводится весь разбираемый вопрос. Чтобы решить его, надо знать, что такое страсти и каково их действие, и глубоко и подробно исследовать эту проблему.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ IV

¹ Нельзя отрицать это утверждение, если не предположить существования врожденных идей.

² Tantum series juncturaque pollet. (В такой степени помогает последовательный ряд.)

³ Следует не забывать сказанного мною во втором Рассуждении, а именно, что идеи сами по себе не бывают ни высокими, ни великими, ни малыми;

что часто открытие идеи, считаемой незначительной, предполагает не меньше ума, чем открытие великой идеи; что часто требуется столько же ума, чтобы тонко схватить смешную сторону человека, как и для того, чтобы заметить недостатки формы правления, и что если обыкновенно называют великими открытия последнего рода, то потому, что эпитеты *великие, высокие и незначительные* применяют только к идеям, имеющим более или менее общий интерес.

ГЛАВА V

О силах, действующих на нашу душу

Только опыт может указать нам, каковы эти силы. Он учит нас, что лень пророждена человеку, что внимание его утомляет и опо ему неприятно¹, что он непрестанно устремляется к покоя, как тела к центру, что, будучи непрестанно привлекаем к этому центру, он и остался бы в нем, если бы не был непрестанно отталкиваем двумя силами, уравновешивающими в нем лень и косность, из которых одна возбуждается сильными страстями, другая — отвращением к скуче.

Скука представляет гораздо более общий и могущественный двигатель вселенной, чем это обыкновенно думают. Из всех страданий она, конечно, паменьше, но все же она к ним принадлежит. Движимые желанием счастья, мы всегда будем рассматривать отсутствие удовольствия как зло. Мы желали бы, чтобы неизбежные промежутки между яркими наслаждениями, связанными с удовлетворением физических потребностей, были заполнены какими-нибудь из тех ощущений, которые всегда приятны, если они не болезненны. Мы желали бы, чтобы постоянно новые ощущения напоминали нам о нашем существовании, ибо всякое такое напоминание доставляет нам удовольствие. Вот почему дикарь, как только он удовлетворит свои потребности, бежит на берег ручья, ибо быстрая смена струй, надвигающихся друг на друга, дает ему ежеминутно новые впечатления; вот почему и мы предпочитаем зрелище двигающихся предметов зрелищу предметов неподвижных: вот почему существует поговорка: «огонь составляет нам компанию», т. е. он отвлекает нас от скучи.

Эта потребность в движении и какое-то беспокойство, вызываемое в нашей душе отсутствием впечатлений, и является отчасти началом изменчивости и способности к совершенствованию человеческого ума; она приуждает его бросаться во все стороны, заставляет его путем многовековой работы изобретать и совершенствовать искусства и науки и, наконец, приводит к упадку вкуса².

В самом деле, если впечатления тем приятнее, чем они ярче, и если продолжительность ощущения притупляет его яркость, то мы должны жадно стремиться к новым ощущениям, возбуждающим в нашей душе удовольствие своею неожиданностью: поэтому художники, желающие нравиться нам и возбуждать в нас такого рода ощущения, должны, после того как они отчасти исчерпают красивые сочетания, заменить их оригинальными, которые мы пред-

почитаем красивым, потому что они производят на нас новое и, следовательно, более яркое впечатление. Вот причина упадка вкуса у цивилизованных народов.

Чтобы лучше понять всю силу отвращения к скуке и степень влияния иногда этого начала³, понаблюдаем людей, и мы увидим, что большинство из них работает и думает из страха перед скукой, что люди с чрезвычайным усердием ищут сильных ощущений, даже с риском получить слишком сильные, лишь бы избегнуть скуки; это желание гонит народ на Греческую площадь, а светских людей в театр, и эта же причина побуждает старух искать лекарства от скуки в унылой набожности и даже в суровых эпитетиях, так как бог, стремящийся всеми средствами вернуть к себе грешников, пользуется по отношению к ним обыкновенным средством скуки. Но особенно большую роль скука играет в эпохи, когда страсти бывают обузданы или нравами, или формой правления; тогда скука становится всеобщим двигателем.

При дворах, у трона боязнь скуки, связанная с самой слабой степенью честолюбия, питает в праздных придворных, в мелких честолюбцах мелкие желания, заставляет их заниматься мелкими интригами, мелкими поисками, мелкими преступлениями, чтобы добиться мелких мест, пропорциональных мелочности их страстей; эта боязнь скуки порождает Сеянов, но только не Октавиев, будучи, впрочем, достаточна, чтобы дать возможность достигнуть положения, на котором можно наслаждаться правом быть наглым, но на котором тщетно было бы искать защиты от скуки.

Таковы, если осмелюсь так выразиться, долячительные и инертные силы, воздействующие на нашу душу. Повинуясь этим двум противоположным силам, мы вообще желаем быть в движении, не подвергая себя труду двигаться; по этой же причине мы бы хотели все знать, не давая себе труда учиться; поэтому же люди больше подчиняются мнению, чем рассудку, который во всех случаях требует от нас утомительной проверки, и, вступая в свет, воспринимают безразлично как истишные, так и ложные идеи, навязываемые им⁴; поэтому, наконец, человек, который рабски следует за мнением общества, которого прилив или отлив предрассудков несет то к мудрости, то к глупости, и который случайно бывает то умным, то глупым, является в глазах мудреца одинаково безумным, поддерживает ли он истину или ошибается. Такой человек подобен слепому, называющему наугад цвета преподносимых ему предметов.

Итак, мы видим, что страсти и отвращение к скуке сообщают душе подвижность, отрывают ее от естественного для нее стремления к покою и заставляют ее преодолевать силу инерции, которой она всегда готова подчиниться.

Однако как ни кажется верным это утверждение, по так как в этике, так же как в физике, следует в суждениях опираться на опыт, то в следующих главах я постараюсь доказать на примерах, что только сильные страсти побуждают к совершению тех мужественных поступков и к образованию тех высоких идей, которые во все времена вызывают удивление и восхищение.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ V

¹ Готтентоты не хотят ни рассуждать, ни думать: «Размышление, — говорят они, — это бич жизни». Сколько готтентотов имеется среди нас! Эти люди вполне предаются лености: чтобы избегнуть каких-либо забот и хлопот, они отказывают себе во всем, без чего только можно обойтись. Карабы имеют такое же отвращение к размышлению и труду; они скорей умрут от голода, чем испекут себе хлеб или вскипятят воду. Всю работу производят их жены; сами они работают только через день по два часа, обрабатывая землю; остальное время они мечтают в своих гамаках. Если вы захотите купить у них постель, они дешево продадут вам ее утром, не утруждая себя мыслью о том, что она им понадобится вечером.

² Именно, сравнивая медленную эволюцию человеческого ума с состоянием совершенства, в котором в настоящее время находятся искусства и наука, и можно судить о древности мира. С этой точки зрения можно было бы построить новую хронологическую систему, не менее остроумную, чем имеющиеся; но выполнение этого плана потребовало бы большой тонкости и острыти ума со стороны выполнителя.

³ Правда, скука обыкновенно не очень изобретательна: она не настолько могущественное средство, чтобы побудить нас к великим поступкам, особыню к приобретению больших талантов. Скука не порождает Ликургов, Пелопидов, Гомеров, Архимедов, Мильтонов, и можно быть уверенным, что не из-за недостатка скуки у нас так мало великих людей. Тем не менее она имеет иногда крупные последствия. Ее бывает иногда достаточно, чтобы увлечь государей на военные действия, и если успех благоприятствует им в их первых военных предприятиях, из них могут выйти завоеватели. Война может войти в привычку и стать привычным занятием. Карл XII, единственный герой, который был равнодушен к любовным и гастрономическим наслаждениям, может быть, отчасти побуждаем был этим мотивом. Но если скука и может создать такого рода героя, она никогда не создаст Цезаря или Кромвеля: требовалась сильная страсть чтобы заставить их сделать те усилия ума и таланта, которые были необходимы для преодоления расстояния, отделявшего их от трона.

⁴ Людское легковерие есть отчасти результат лености. Человек привык верить какой-нибудь нелепице; он подозревает ложность ее, но, чтобы увериться в этом вполне, ему пришлось бы подвергнуть себя утомительному исследованию; а он хочет избавить себя от этого и поэтому предпочитает верить, а не исследовать. В этом душевном состоянии всякие доказательства ложности данного мнения кажутся нам неубедительными. Нет таких рассуждений или измышлений, которым бы мы тогда не поверили. Приведу пример, заимствованный из отчета Марини о Тонкине. «Пожелали, — говорит этот автор, — дать тонкинцам религию и остановились на религии философа Рама, прозванного в Тонкине Тик-ка. Вот смешная история его происхождения, которой там верят:

«Однажды мать бога Тик-ка увидела во сне белого слона, который чудесным образом вошел ей в рот и вышел из ее левого бока. Этот сон стал действительностью, и она родила Тик-ка. Как только он появился на свет, он умертвил свою мать; он сделал семь шагов, отмечая небо одним пальцем, а землю другим. Он объявил себя единственным святым на земле и на небе.

Семнадцати лет он женился на трех женщинах, в девятнадцать лет он бросил своих жен и сына и удалился на гору, где два демона Ала-ла и Ка-ла-ла стали его учителями. Затем он явился народу, который принял его не как учителя, а в качестве идола. К нему стеклось восемьдесят тысяч учеников, среди которых он избрал пятьсот; это число он уменьшил затем до ста и, наконец, до десяти, которых он назвал десятью главными». Вот что рассказывают тонкинцам и во что они верят, хотя тайная традиция и предупреждает их, что эти десять учеников были его друзьями и поверенными, единственными, которых он не обманывал, и что, после того, как он проповедывал свое учение сорок восемь лет, он, чувствуя приближение смерти, созвал своих учеников и сказал им: «Я вас все время обманывал, я вам рассказывал не-былицы, единственная истинна, которой я могу вас научить, состоит в том, что все вышло из ничего и должно в него вернуться. Но советую вам сохранить мою тайну и подчиняться внешне моей религии; это единственный способ держать народ в подчинении вам». Эта исповедь Тик-ка на смертном одре довольно известна в Тонкине, и, однако, культ этого обманщика продолжает существовать, ибо люди охотно верят тому, во что они привыкли верить. Ученикам Тик-ка достаточно было прибегнуть к нескольким ходяческим тонкостям, которым лень всегда придает силу доказательств, чтобы набросить туман на это признание и поддерживать тонкинцев в их вере. Эти же самые ученики написали пять тысяч томов о жизни и учении Тик-ка. В них они утверждают, что он совершал чудеса, что после рождения он восемьдесят тысяч раз принимал различные формы и что в последний раз он переселился в белого слона, и этому следует приписать уважение, которым в Индии пользуется это животное. Из всех титулов, даваемых королям, самый уважаемый есть титул белого слона. Сиамский король и называется королем белого слона. Ученики Тик-ка прибавляют, что существуют шесть миров, что мы умираем в одном, чтобы возродиться в другом, что праведник переходит из одного мира в другой и что после того как он пройдет все миры, он возвращается к исходному пункту и снова возрождается в этом мире, из которого он выходит в седьмой раз весьма чистым и совершенным; тогда он становится неизменяемым и обладает качеством наготы или идола. Они признают, как и большинство ложных религий, рай и ад, от которого можно избавиться, уважая бона, одаряя их милостыней и строя монастыри. Они рассказывают о дьяволе, что он однажды вступил в спор с идолом Тонкина о том, кто из них будет господином земли. Дьявол пришел с идолом в соглашение, что все, что этот последний сможет спрятать под свое платье, будет ему принадлежать. Идол заставил сделать себе такое большое платье, что оно покрыло всю землю, и дьявол был принужден скрыться в море, из которого он иногда показывается, но тотчас же убегает, как только завидит этот признак идола.

Неизвестно, имели ли эти люди раньше какое-нибудь сиюмье представление о нашей религии, но один из главных доктринах религии Тик-ка учит, что он есть идол, спасающий людей, полностью берущий на себя их грехи, и что он принял человеческую природу из сострадания к их горю.

По свидетельству Кольбе, некоторые из готтентотов следуют такому же учению и верят, что их бог принял вид самого красивого из них, чтобы стать видимым народу. Но большинство готтентотов считают этот доктрина выдумкой и утверждают, что превращать бога в человека значит

называть ему роль, не достойную его величия. Впрочем они не оказываются ему никакого поклонения; они говорят, что бог добр и не нуждается в наших молитвах.

ГЛАВА VI

О могуществе страстей

В нравственном мире страсти имеют то же значение, какое имеет движение в мире физическом; движение создает, уничтожает, сохраняет, оживляет все, без него все было бы мертвое; страсти оживляют все в мире нравственном. Алчность направляет суда через пустыни океанов; тщеславие заполняет долины, сравнивает горы, пробивает пути сквозь скалы, воздвигает пирамиды Мемфиса, выкашивает Меридово озеро и отливает колонну Родосскую. Любовь, говорят, обточила карандаш первого рисовальщика. Любовь же придумала учение о бессмертии души в стране, куда не проникло откровение, чтобы смягчить горе вдовы, оплакивавшей смерть молодого супруга. Энтузиазм, вызванный благодарностью, возвел на степень богов благодетелей человеческого рода, выдумал ложные религии и суеверия, источником которых не всегда были такие благородные страсти, как любовь и благодарность.

Следовательно, сильным страстям мы обязаны изобретением и чудесами искусств, и их следует считать плодотворным зародышем ума и могущественным двигателем человека на пути великих дел. Но прежде чем идти дальше, я должен определить, что я понимаю под выражением *сильная страсть*. Если большинство людей не могут говориться, то это зависит от неясности значения слов; этой причине¹ следует приписать и продолжение чуда, произшедшего при постройке Вавилонской башни.

Под *сильной страстью* я подразумеваю такую страсть, предмет которой так необходим для нашего счастья, что без обладания им жизнь кажется нам невыносимой. Такое представление имел о страстиах Омар, когда он говорил: «Кто бы ты ни был, но если ты любишь свободу, хочешь быть богатым, не обладая имуществом, могущественным, не имея подданных, подданным, не имея господина, дерзай презирать смерть: цари будут дрожать перед тобой, а ты один не будешь никого бояться».

Действительно, только страсти, достигнувшие этой степени, могут порождать великие дела и пренебрегать опасностью, болью, смертью и даже самим небом.

Дикеарх, полководец Филиппа, возводит на глазах своей армии два алтаря: один — нечестивости, другой — несправедливости, приносит на них жертвы и отправляется на завоевание Цикладских островов.

За несколько дней до убийства Цезаря любовь к мужу, в связи с благородной гордостью, побудила Порцию разрезать себе ногу, показать рану мужу и сказать ему: «Брут, ты замышляешь и скры-

жених, от меня что-то великое. До сих пор я не предложила тебе ни одного нескромного вопроса, хотя я знала, что мой пол, слабый сам по себе, становится сильным в обществе мудрых и добродетельных мужей и что я дочь Катона и жена Брута, но моя робкая любовь заставила меня не опасаться своей слабости. Ты видишь, я подвергла испытанию свое мужество; суди сам, достойна ли я твоего доверия, раз я доказала, что не страшусь боли».

Только страстное чувство чести и философский фанатизм могли заставить пифагореянку Тимиху откусить себе язык, чтобы не выдать во время пыток тайн ее секты.

Когда молодой Катон вошел в сопровождении своего воспитателя во дворец Суллы и увидел окровавленные головы казненных, он спросил, как зовут чудовища, умертвившие стольких римлян. «Сулла», — ответили ему. «Как, Сулла их умертвил и Сулла еще живет?» «Одно имя Суллы, — отвечали ему, — обезоруживает наших граждан». «О, Рим, — воскликнул Катон, — как печальна твоя судьба, если за твоими обширными стенами не нашлось ни одного добродетельного человека и если ты можешь вооружить против тирании только руку слабого ребенка». При этих словах он обратился к своему воспитателю и сказал: «Дай мне твой меч, я спрячу его в своем платье, подкрадусь к Сулле и убью его. Катон живет, Рим еще свободен»².

Где только доблестная любовь к отечеству не побуждала к героическим поступкам! В Китае император, которого победоносно преследовал со своей армией один гражданин, попробовал воспользоваться суеверным уважением, которым в этой стране пользуются приказания матери, чтобы заставить этого гражданина положить оружие. Он послал к его матери своего офицера, который с кинжалом в руках заявил ей, что ей приходится выбирать между смертью и повиновением. «Разве твой господин не знает, — отвечала она с горькой улыбкой, — о молчаливом и тайном договоре, связывающем народ с их государем, по которому народ обязуется повиноваться, а государь заботиться о счастье своих подданных? Он первый нарушил этот договор. Узнай от женщины, подлый исполнитель приказаний тирана, каков в этом случае долг по отношению к родине». При этих словах она вырывает кинжал из рук посланного и закалывает себя со словами: «Раб, если в тебе есть еще сколько-нибудь добродетели, снеси этот окровавленный кинжал моему сыну, скажи ему, чтобы он отомстил за свой народ и наказал тирана. Ему нечего больше бояться за меня, не о чем беспокоиться, он теперь свободно может исполнить свой долг»³.

Если благородная гордость, страстный патриотизм и стремление к славе заставляют граждан поступать так мужественно, какие же упорство и силу должны страсти внушать тем, кто стремится достигнуть известности в науках и искусствах и кого Цицерон называет *мирными героями*. Жажда славы ведет астронома на ледяные вершины Кордильеров, в область снегов и морозов, заставляет ботаника собирать растения на краю пропастей, она же некогда влекла молодых любителей науки в Египет, Эфиопию и даже в Ин-

дию для личного знакомства с знаменитейшими философами и ознакомления с принципами их учения из разговора с ними.

Какую власть эта страсть имела над Демосфеном, который для исправления своего произношения наполнял себе рот камешками на берегу моря и говорил речь мятежным волнам! То же стремление к славе предписывало молодым пифагорейцам трехлетнее молчание, чтобы развить в них привычку к самоуглублению и созерцанию; любовь к славе заставляла Демокрита⁴, во избежание светских развлечений, запираться в гробницах, чтобы там искать точные истины, открытие которых так трудно и так мало ценится людьми; она же обусловила решение Гераклита уступить Эфесский престол, на который он имел права старшинства, младшему брату⁵, чтобы самому вполне отдаваться философии; из-за нее же атлет отказывается от любовных наслаждений, чтобы сохранить все свои силы; она же побуждала в древности некоторых жрецов отказываться от этих наслаждений в надежде заслужить большее уважение, хотя часто, как говорил шутя Буанден, их воздержание не приносило им иной награды, как только постоянное искушение.

Я доказал, что страсти мы обязаны почти всеми предметами на земле, которыми мы восхищаемся, что они заставляют нас пре-небречь опасностями, страданиями, смертью и принимать самые смелые решения.

Теперь я докажу, что в особых случаях они же приходят на помощь великим людям и внушают им, что в данном случае лучше, сказать или сделать.

Вспомним по этому поводу знаменитую краткую речь Ганнибала к солдатам в день битвы при р. Тичино, и мы увидим, что только его ненависть к римлянам и его любовь к славе могли ему ее внушить. «Товарищи, — сказал он, — небо предвещает мне победу. Дрожать придется римлянам, а не вам. Взгляните на это поле битвы: здесь трусам некуда отступить, мы погибнем все, если будем побеждены. Может ли быть более верный залог победы? Может ли быть более ясный знак, что боги нам покровительствуют? Они поставили нас между победой и смертью».

Несомненно, что те же страсти воодушевляли и Суллу при его ответе Крассу, требовавшему конвоя, когда он отправлялся сделать новый набор у племени марсов. «Если ты боишься своих врагов, то я тебе дам для прикрытия твоего отца, твоих братьев, твоих родственников, твоих друзей, убитых тиранами, взывающих о мести и ожидающих ее от тебя».

Когда македоняне, утомленные войной, начали просить Александра отпустить их, гордость и славолюбие продиктовали этому герою такой гордый ответ: «Уходите, неблагодарные; бегите, трусы; я покорю вселенную без вашей помощи, Александр найдет подданных и солдат повсюду, где есть мужи».

Подобного рода речи произносятся всегда людьми, охваченными страстью. Никакой ум не может в этих случаях заменить чувство. Мы не знаем языка для страстей, которых мы не испытываем.

Впрочем не только в искусстве красноречия, но и во всех других областях приходится считать страсти творческим семенем ума; поддерживая постоянное брожение наших идей, они оплодотворяют эти самые идеи, которые в холодных душах остаются бесплодными и подобными семени, брошенному на камень.

Страсти, сосредоточивая наше внимание на предмете нашего желания, заставляют нас рассматривать его с точек зрения, не известных другим людям, и заставляют героев задумывать и выполнять смелые предприятия, которые кажутся и должны казаться толще безумными до тех пор, пока удача не докажет их мудрости.

Вот почему, как говорит кардинал Ришелье, слабая душа считает невозможными самые простые проекты, тогда как самые великие кажутся легкими для сильных душ; перед ними горы опускаются, тогда как для слабых холмики превращаются в горы.

В самом деле, только сильные страсти, более осведомленные, чем здравый смысл, могут научить нас отличать непривычное от невозможного, что почти всегда смешивают люди благоразумные; ибо эти благоразумные люди не будучи одушевлены сильными страстями, всегда бывают посредственностью; это утверждение я предполагаю доказать, чтобы выяснить все превосходство охваченного страстью человека, и доказать, что в действительности только великие страсти могут породить великих людей.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ VI

¹ Так, например, если понимать под словом «красный» все оттенки, начиная с алого до цвета мяса, и если предположить двух людей, из которых один видел только предметы алоого цвета, а другой — только цвета мяса, то первый с полным правом может утверждать, что красный цвет ярок, а второй с таким же правом, — что он, напротив, тусклый. По той же причине два человека могут слово «хотеть» употреблять в совершенно различных смыслах, ибо это слово выражает все степени воли, начиная со слабого хотения и кончая деятельной волей, побеждающей все препятствия. То же относится и к слову «страсть», и к слову «ум»: их смысл меняется в зависимости от того, кто их произносит. Человек, считаемый посредственным в обществе не очень умных людей, несомненно, глуп, но нельзя того же сказать о человеке, считаемом посредственным в обществе исключительно умных людей; самый выбор их общества указывает на превосходство его над обычными людьми. Посредственный ученик старших классов был бы первым учеником во всяком другом классе.

² Это тот, самый Катон, который, удалившись в Утику, отвечал лицам, убеждавшим его спросить совета у оракула Юпитера Аммонского: «Представим оракулов женщинам, трусам и невеждам. Мужественный человек не зависит от богов и умеет жить и умереть добровольно; он одинаково идет навстречу своей судьбе, знает ли он ее, или не знает».

Цезарь, будучи взят пиратами, сохранил мужество и грозил им казнью, к которой и присудил их, достигнув берега.

³ Страсть к долгу одушевляла также мать Абдаллаха. Когда ее сын, покинутый друзьями и осажденный в своем замке, пришел посоветоваться

с нею относительно почетной капитуляции, которую ему предлагали сирийцы, она ответила ему: «Сын мой, когда ты поднял оружие против Смейядов, считал ли ты себя на стороне справедливости и добродетели?...» «Да», — отвечал он. «В таком случае, — возразила она, — о чём же рассуждать? Разве ты не знаешь, что страх есть дело труса? Разве ты хочешь заслужить пренарение Омейядов, хочешь, чтобы о тебе говорили, что когда тебе пришлось выбирать между жизнью и долгом, ты выбрал жизнь?»

Когда римская армия, плохо одетая и мерзлая от холода, готова была разбежаться, та же страсть к славе привела на помощь Септимию Северу философа Антиоха, который, раздевшись на глазах солдат, бросился в снег и этим поступком вернул поколебавшиеся войска к долгому.

Однажды, когда уговаривали Тразея сделать уступки Нерону, он отвечал: «Неужели для того, чтобы на несколько дней продлить свою жизнь, я унизусь до такой степени? Нет, смерть есть долг, и я хочу уплатить его как свободный человек, а не как раб».

Когда Беспасиан в минуту раздражения пригрозил Гельвидию смертью, он получил от него такой ответ: «Разве я тебе говорил, что я бессмертен? Казнив меня, ты выполнишь свое ремесло тирана, а я, бессстрашно приняв смерть, исполню свой гражданский долг».

⁴ Демокрит родился в богатстве, но он считал себя не вправе презирать ум и жить в почетном отчуждении.

⁵ Мизон, сын тирана Шена, также отказался от престола своего отца; свободный от всяких обязанностей, он удалился в пустынные и скалистые места и там в полном молчании предался глубоким размышлениям.

ГЛАВА VII

Об умственном превосходстве людей, охваченных страстью, по сравнению с людьми рассудительными

Люди рассудительные почти всегда считают людей, гениальных в какой бы то ни было области, сумасшедшими, пока они не достигнут успеха; это потому, что первые, будучи неспособны к чему-нибудь великому, не могут даже подозревать существования средств, которыми пользуются великие люди для совершения великих дел.

Вот почему великие люди сначала возбуждают насмешку, а потом уже восхищение. Когда Парменион, на требование Александра высказать свое мнение по поводу мирных предложений Дария, сказал: «Я бы принял их, если бы был Александром», на что Александр ответил: «И я также, если бы был Парменионом», то несомненно, что мнение Пармениона казалось македонянам более разумным, пока победа не оправдала казавшуюся безрассудной смелость Александра. Первое мнение принадлежит человеку обыкновенному и рассудительному, второе — человеку необыкновенному. А людей первого сорта на свете больше, чем второго. И очевидно, что если бы сын Филиппа уже раньше своими великими подвигами не заслужил уважения македонян и не приучил их к необыкновенным предприятиям, то его ответ показался бы им безусловно смешным. Никто не попытался бы найти основание для этого ответа

и том, что Александр сознавал превосходство своего мужества и знания и понимал преимущество, которое это превосходство давало ему над изнеженными и слабыми народами, каковы были персы, а также знал характер македонян и сознавал, какую власть он имеет над их умами, и, следовательно, с какой легкостью он может посредством жестов, речей и взглядов сообщать им одушевляющую его смелость. А между тем эти различные мотивы в соединении с горячей жаждой славы заставляли его считать победу гораздо более возможной, чем она казалась Пармениону, и, следовательно, должны были внушить ему вышеприведенный ответ.

Когда Тамерлан расположил свои войска под стенами Смирны, о которые разбились силы Османской империи, он понимал трудность затеянного предприятия; он прекрасно знал, что христианская Европа может беспрерывно снабжать осаждаемый им город необходимым провиантом; но страсть к славе внушила ему и средства к выполнению задуманного им дела: он засыпал морскую бездну, противопоставил морю и европейскому флоту плотину, водрузил свои победоносные знамена на брешах Смирны и показал удивленному миру, что нет ничего невозможного для великих людей¹.

Когда Ликург вознамерился сделать из Лакедемонии страну героев, он не пошел тем медленным и потому неверным путем незаметных изменений, который считается благородным. Движимый страстью любовью к добродетели, этот великий муж сообразил, что при посредстве обращений к народу и изречений оракулов он может внушить ему воспламнявшие его самого чувства; что, воспользовавшись первой минутой возбуждения, он может изменить государственное устройство и произвести в нравах своего народа внезапную перемену, которой, идя обычным путем осторожности, он смог бы достигнуть только после долгих лет. Он понимал, что страсти подобны вулканам, внезапное извержение которых вдруг изменяет направление русла реки, которое искусственно можно было бы изменить, только вырыв новое русло, на что потребовалось бы бесконечно много времени и труда. Таким образом, ему удалось провести самый смелый проект, какой когда-либо был задуман, — проект, которого не мог бы выполнить никакой рассудительный человек, почитаемый таковым благодаря своей способности испытывать сильные страсти и поэтому не умеющий и внушать их.

Эти-то страсти умеют правильно оценивать средства для возбуждения энтузиазма и часто пользующиеся ими, а люди рассудительные, не понимающие в этом отношении человеческого сердца, часто считают их детскими и смешными, пока они не достигают успеха. Так поступил Перикл, когда, паступая на врага и желая обратить своих солдат в героев, он показал им высаживающую из темного леса и запряженную четырьмя белыми конями колесницу, на которой стоял человек необыкновенно высокого роста, покрытый богатым плащом, в блестящих сандалиях, с сиянием на голове, который быстро проехал мимо войска, крикнув его военачальнику: «Перикл, я обещаю тебе победу».

К такому же средству прибегнул Эпаминонд для возбуждения мужества фивян: он велел унести ночью все оружие, развешанное в храме, и убедил своих солдат, что боги покровители Фив вооружились им, чтобы сражаться против их врагов.

В таком же роде было и завещание Жижжи на смертном одре: движимый жестокой ненавистью к католикам, преследовавшим его, он завещал своим сторонникам немедленно после его смерти снять с него кожу и сделать из нее барабан, обещая им что они будут одерживать победу всякий раз, как выступят против католиков под бой этого барабана, — и это обещание всегда оправдывалось.

Отсюда мы видим, что самые решительные и наиболее способные вызвать крупные последствия средства не приходят на ум так называемым рассудительным людям и возникают только в уме охваченных страстью людей, которые, будучи поставлены в те же условия, в которых находились эти герои, были бы обуреваемы теми же чувствами.

Если бы великий Конде не пользовался таким уважением, то его проект записывать в каждом полку имена солдат, поступки или слова которых заслуживают быть сохраненными для потомства, не был бы признан хорошим средством для возбуждения соревнования. То, что он не был приведен в исполнение, указывает, как мало была понята его польза. Многие ли понимают действие речей на солдат, как это понимал шевалье Фолар? Все ли одинаково чувствуют красоту слов де Вандома, который, видя, как офицеры тщетно пытались остановить бегущих солдат, бросился в середину беглецов и закричал офицерам: «Не удерживайте их, они должны перестроиться не здесь, а там» (указав на дерево, отстоявшее на сотню шагов). Эти слова показывали, что он несколько не сомневается в мужестве солдат, и они вызвали в них страстные чувства стыда и чести, которую они надеялись еще сохранить в его глазах. Это было единственным способом остановить беглецов и повести их в битву и к победе.

Можно ли сомневаться в том, что такого рода речь рисует характер человека и что вообще все средства, которыми пользовались великие люди, чтобы воспламенять души огнем энтузиазма, были внушенны им страстями? Какой рассудительный человек дозволил бы Александру провозгласить себя сыном Юпитера Аммонского, чтобы внушить македонянам больше доверия и уважения к себе? или Нуме, что он находится в тайной связи с нимфой Эгерие? или Замолксису, Залевку, Мневию утверждать, что их вдохновляют Веста, Минерва, Меркурий? или Марию иметь в своей свите предсказательницу? Серторию советоваться со своей козой? и, наконец, графу Дюпюа вооружить деву, чтобы победить англичан?

Мало людей, которые в своих мыслях возвышаются над обыденными мыслями; еще меньше людей, которые смеют² делать и сказать то, что думают. Если бы рассудительные люди и захотели прибегнуть к подобным средствам, то они все равно не сумели бы сделать удачного применения их вследствие недостатка такта и знания

страстей. Они созданы на то, чтобы идти по протореенным дорогам; покидая их, они рисуют заблудиться. Человек благоразумный — это человек, в характере которого преобладает лень; он не обладает той душевной активностью, которая на передовых постах позволяет великим людям придумывать новые способы двигать мир или сеять семена будущих событий. Поэтому книга будущего раскрывает-ся только человеку, охваченному страстью и стремящемуся к славе.

После Марафонского сражения Фемистокл был единственным греком, предвидевшим Саламинское сражение; он стал учить афинян мореплаванию и тем подготовил победу.

Когда цензор Катон, человек более рассудительный, чем пропицательный, подал вместе со всем сенатом голос за разрушение Карфагена, — почему единственным, воспротивившимся этому, был Сципион? Потому что он один прозревал в Карфагене достойного соперника Рима и оплот против потока пороков и разврата, готового залить Италию. Занятый изучением политической истории, привыкший к размышлению, к напряжению внимания, к которому нас делает способными только стремление к славе, он тем самым достиг некоторого рода ясновидения. Поэтому он предвидел все ожидавшие Рим несчастья в то время, когда эта царица мира воздвигала свой трон на обломках всех государств мира; поэтому-то он видел появление отовсюду Мариев и Сулл; поэтому-то он слышал оглашение списков приговоренных к казни, в то время как римляне видели повсюду только торжественные шествия и слышали победные крики. Этот народ был подобен тогда матросам, которые, видя, что море спокойно, что легкий ветерок слабо надувает паруса и вызывает рябь на поверхности моря, предаются неблагоразумной радости, в то время как внимательный кормчий видит, как на краю горизонта подымается крошечное пятно, которое должно вскоре взорвать море.

Римский сенат потому не обратил внимания на совет Сципиона, что мало на свете людей, которым знание прошлого и настоящего раскрывает будущее³; подобно тому как для пасекомых, укрывающихся в тени дуба, незаметны его рост или разрушение, так и большинству людей государства кажутся находящимися в состоянии неподвижности, и они тем охотнее верят в эту минимую неподвижность, что она потворствует их лени, которая считает себя в таком случае избавленной от забот о будущем.

В мире нравственном происходит то же, что и в мире физическом. В то время как народ думает, что моря заключены в постоянные границы, мудрец знает, что они в одном месте открывают обширные полосы земли, в другом заливают их и что корабли бороздят равнины, по которым когда-то проходил плуг. В то время как простому народу кажется, что горы возносят к облакам неизменно высокие главы, мудрец знает, что время непрерывно разрушает их гордые вершины, что они обваливаются в долины и заполняют их своими обломками. Но только люди, привыкшие к размышлению, знают, что как моральный, так и физический мир находятся в по-

стоянном и последовательном разрушении и созидании, и могут заметить отдаленные причины падения государств. Орлиный взор страстей проникает в туманную прошность будущего, равнодушие же слепо и тупо от рождения. Если чисто и воздух прозрачен, то горожанин не предвидит грозы, но взор внимательного и заинтересованного землемельца видит со страхом, как с поверхности земли поднимаются незаметные пары, как они собираются на небе и покрывают его черными тучами, раскрытая утроба коих будет извергать молнии и град, которые опустошают жатву.

Рассмотрим каждую страсть в отдельности: мы увидим, что каждая из них весьма ясно видит предмет своих стремлений, что только они могут иногда проникнуть в причину явлений, которые несчастье приносывает случаю, и только они могут ограничить, а, может быть, впоследствии и вполне уничтожить власть случая, границы которого суживаются при всяком новом открытии.

Если идеи и действия, которые возникают и выполняются по побуждению таких страстей, как склонность и любовь, вообще пользуются малым уважением, то не потому, что эти идеи и действия не требуют много сообразительности и ума, а потому, что и те и другие бесполезны и даже вредны для людей, считающих, как я показал в предыдущем рассуждении, добродетельными и умными только те поступки и идеи, которые им полезны. Но любовь к славе есть единственная из всех страстей, которая всегда внушиает поступки и идеи последнего рода. Она одна вдохновляла того восточного государя, который сказал: «Горе государям, которые властвуют над рабами! Увы, радости заслуженной похвалы, до которой так жадны боги и герои, им неизвестны. О, народы, потерявшие благодаря своей подлости право открыто порицать своих господ, вы потеряли и право их хвалить; похвала рабов подозрительна; несчастный, правящий ими, никогда не знает, заслуживает ли он уважения или презрения. А какое мучение для благородной души жить в этой неизвестности!»

Подобные чувства предполагают всегда пламенную страсть к славе. Эта страсть есть душа талантливых и гениальных людей всякого рода; это желание порождает энтузиазм, с которым они относятся к искусству, представляющему им иногда единственным занятием, достойным ума человеческого; за это их считают безумными люди рассудительные, но не люди просвещенные, которые в их безумии видят причину их талантов и успехов.

Из этой главы вытекает то заключение, что люди рассудительные, эти идолы посредственных людей, — всегда ниже людей, охваченных страстью, и что только сильные страсти, отрывая нас от лени, могут сообщить нам то постоянное напряжение внимания, с которым связано умственное превосходство. Чтобы подтвердить эту истину, мне остается только показать в следующей главе, что те самые люди, которых справедливо причисляют к знаменитым людям, возвращаются в класс самых посредственных людей, как только их не поддерживает огонь страстей.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ VII

* То же самое я утверждаю о Густаве-Адольфе. Когда этот герой, воспользовавшись тем, что зима сделала твердой поверхность воды, перешел во главе своей армии и артиллерии замерзшее море и появился в Зеландии, он так же хорошо, как и его офицеры, знал, что его десанту может быть оказано серьезное сопротивление; но он лучше их знал, что мудрая смелость почти всегда расстраивает предусмотрительность людей обыкновенных, что отвага часто обеспечивает успех предприятию и что во многих случаях высшее дерзновение есть в то же время высшая осторожность.

* Но только эти люди идвигают вперед человеческий ум. Когда дело идет не о государственных делах, в которых малейшая ошибка может повлиять на счастье и несчастье народов, а только о науках, тогда даже ошибки гениальных людей заслуживают похвалы и благодарности людей; ибо в науках требуется, чтобы бесконечно много людей ошибались, для того чтобы остальные не ошибались. К ним можно применить следующий стих Марциала:

Si non errasset, fecerat ille minus.

(Если бы он не ошибался, то сделал бы меньше.)

* Часто бывает достаточно небольшого добра в настоящем, чтобы опьянить народ, который в своем ослеплении считает своим врагом высоко гениального человека, провидящего в этом настоящем небольшом добре большое зло в будущем. Воображают, что когда называют его гнусным именем фрондера, то тем самым добродетель наказывает порок, между тем как в большинстве случаев это глупость смеется над умом.

ГЛАВА VIII

Люди становятся тупыми, когда они перестают быть охваченными страстью

Это положение есть необходимое следствие из предыдущего. Действительно, если человек, воспламененный живейшим желанием достигнуть славы и способный в этом отношении к сильной страсти, поставлен в такое положение, что не может удовлетворить это желание, то оно вскоре перестанет его воодушевлять, ибо желание естественно умирает, когда оно не питается надеждой. И та самая причина, которая потушит в нем страстное желание достигнуть уважения, необходимо должна заглушить в нем и зародыш ума.

Пусть назначат для собирания дорожных пошлин или на какую-нибудь подобного рода должность людей, страстно стремящихся к общественному уважению, каковыми, должно быть, были такие люди, как Тюрень, Конде, Декарт, Кориель и Ришелье; лишенные благодаря своему положению всякой надежды на славу, они тотчас же лишатся ума, необходимого для исполнения возложенных на них обязанностей. Несспособные к изучению ассигновок или тарифов, они не выкажут таланта к делу, которое может возбудить к ним ненависть народа; они будут чувствовать только отвращение к науке, при которой человек, наиболее глубоко изучив-

ший ее и, следовательно, заснувший весьма сведущим и уважаемым в собственных глазах, может проснуться полным невеждой и весьма бесполезным, если начальство сочтет нужным уничтожить или упростить эти пошлины. Эти люди, вполне отдавшись силе империи, вскоре станут неспособными ни к какому применению своих сил.

Вот почему люди, рожденные для великих дел, оказываются при назначении их на мелкие должности часто менее годными, чем люди обыкновенные. Веспасиан, вызывавший восторг римлян на императорском престоле, был предметом презрения, когда занимал место претора¹. Орел, рассекающий облака в своем дерзновенном полете, у поверхности земли летит медленнее ласточки. Уничтожьте в человеке одушевляющую его страсть, и вы в то же время лишите его всякого разумения; волосы Самсона могут, кажется, служить символом страстей: обрежьте их, и Самсон станет обыкновенным человеком.

В подтверждение этой истины приведем еще пример. Посмотрим на восточных узурпаторов, в которых с большой смелостью и осторожностью соединялся большой ум, и спросим себя: почему большинство из них проявили мало ума, будучи на троне? Почему они вообще были гораздо ниже западных узурпаторов и почему, как то видно из истории азиатских государств, ни один из них не заслуживает названия законодателя? Не потому, чтобы они всегда желали зла своим подданным, но потому, что, достигнув трона, они тем самым достигали цели своих желаний: из-за низости, покорности и послушания народа-раба им не приходилось бояться потерять его, поэтому страсть, доставившая им власть, больше не одушевляла их; не будучи руководимы побуждениями, достаточно могущественными, чтобы заставить их переносить утомление вспоминания, необходимого для составления и проведения хороших законов, они, как я указывал выше, оказались в положении тех рассудительных людей, которых не одушевляет никакое сильное желание и у которых поэтому нехватает мужества отказаться от возможности предаваться лени.

Напротив, на Западе многие узурпаторы проявили на троне большие таланты, и если Августы и Кромвели могут быть поставлены в ряды законодателей, то потому, что им приходилось иметь дело с народами, не терпевшими узды, с душами более смелыми и воззванными: постоянный страх потерять предмет своих вожделений, непрестанно разжигал в них, если я осмелюсь так выразиться, страсть честолюбия. Возведенные на престолы, на которых они не могли безнаказанно предаваться сну, они понимали, что нужно заслужить расположение гордого народа, издать законы², полезные в данный момент, обмануть этот народ или, по крайней мере, ввести его в заблуждение призраком преходящего счастья, которое вознаградило бы его за те реальные бедствия, которые узурпация влечет за собой.

Следовательно, превосходством талантов, ставящим их выше большинства узурпаторов Востока, они обязаны были тем опасностям, которые их непрестанно окружали на троне; они находились

в положении всякого талантливого человека, который подвергается постоянной критике и вечно боится за свою репутацию, готовую постоянно изменить ему, и понимает, что не один он горит жаждой честолюбия и что если его страсть заставляет его стремиться заслужить уважение других людей, то таковая же в других должна постоянно отказывать ему в этом, если он постоянными полезными трудами и постоянными усилиями ума не вознаградит их за печальную необходимость расточать ему похвалы. И на троне больше, чем где-либо, эта боязнь поддерживает ум в состоянии плодотворности, а когда эта боязнь прошадает, тогда разрушается главная пружина ума.

Несомненно, что физик вкладывает гораздо большие внимания в изучение какого-нибудь физического явления, часто не имеющего значения для человечества, чем султан в изучение закона, от которого зависит счастье или несчастье множества людей. Если этот последний употребляет меньше времени на обдумывание и составление своих распоряжений и указов, чем остроумный человек на сочинение мадригала или энграммы, то потому, что размышление всегда утомительно и, так сказать, противно нашей натуре³ и что, будучи на троне защищенным от наказания и насмешек, султан лишен побудительных причин, способных заставить его восторжествовать над леню, предаваться которой доставляет удовольствие всем людям.

Итак, деятельность ума зависит, повидимому, от деятельности страстей. Поэтому-то в возрасте страстей, т. е. от двадцати пяти до тридцати пяти — сорока лет, люди особенно способны к большим усилиям в проявлении добродетели и гениальности. В этом возрасте люди, рожденные для великих дел, уже приобрели достаточный запас знаний, причем их страсти еще ничего не потеряли в своей активности; позднее страсти в них ослабевают, и развитие их ума достигает предела; тогда они уже более не приобретают новых идей, и как бы впоследствии ни были значительны их произведения, они в них только применяют и развивают идеи, которые были составлены в период расцвета страстей, но которые не были еще использованы.

Впрочем ослабление страстей следует приписать не исключительно возрасту. Мы перестаем страстно желать какой-нибудь предмет, когда удовольствие, ожидаемое нами от обладания им, не уравновешивает труда, необходимого для его приобретения; человек, влюбленный в славу, жертвуя ей своими вкусами лишь постельку, поскольку он может ожидать, что эта жертва будет вознаграждена уважением, которое он получит. Вот почему многие герои могли освобождаться из сетей чувственных наслаждений только среди лагерной суматохи и победных кликов; вот почему великий Конде справлялся со своим настроением только в день битвы, когда он проявлял величайшее хладнокровие; вот почему — если можно приравнивать к великим вещам то, что принято называть мелкими, — Дюпре, имевший обыкновенно очень пебрежную походку, побеждал эту привычку только на подмостках, когда

апплодисменты и восторг зрителей вознаграждали его за старание им понравиться. Мы побеждаем наши привычки и нашу лень, только когда мы любим славу, а многие знаменитые люди удовлетворяются только самой большой славой. Большинство из них предается постыдной лени, когда они не могут добиться всей полноты уважения. Чрезвычайная гордость и чрезвычайное честолюбие часто имеют следствием равнодушные и скромность. Впрочем к небольшой славе всегда стремятся только мелкие души. Люди, вишмание которых поглощено манерой одеваться, держать себя и разговаривать в обществе, по большей части неспособны ни к чему великому, и не потому только, что они теряют много времени, которое они могли бы употребить на открытие великих идей и на развитие крупных талантов, на приобретение множества мелких талантов и мелких совершенств, но также и потому, что стремление к мелкой славе предполагает, что они обладают очень слабыми и скромными желаниями. Поэтому почти все великие люди неспособны к мелким заботам и мелким эпизодам внимания, необходимым для того, чтобы приобрести уважение; они презирают подобного рода средства. «Не доверяйте, — говорил Сулла о Цезаре, — этому молодому человеку, который ходит так нескромно по улице, я провижу в нем многих Марис».

Кажется, я достаточно доказал, что полное отсутствие страстей, если бы такое было возможно, привело бы к полному отщеплению и что человек тем ближе к этому состоянию, чем он бесстрастнее⁴. Действительно, страсти — это пебесный огонь, оживляющий духовный мир; страстям науки и искусства обязаны открытиями, а душа — благородством. Хотя человечество им же обязано своими пороками и большей частью своих несчастий, однако это не дает права моралистам порицать страсти и считать их безумием. Высшая добродетель и просвещенная мудрость суть два продукта этого безумия, достаточно прекрасных, чтобы сделать его достойным уважения в глазах всех.

Общий вывод из сказанного мною о страстиах сводится к тому, что только их сила может уравновесить в нас силу лени и косности, вырвать нас из состояния покоя и тупости, к которым мы непрестанно склоняемся, и сообщить нам ту непрерывность внимания, с которой связана высокая талантливость.

Мне возразят: разве природа не дала различным людям неодинаковые умственные способности, раз в одних она зажгла более сильные страсти, чем в других? На это я отвечу, что, подобно тому как для преуспеяния в какой-нибудь отрасли нет необходимости, как я доказал выше, прилагать к ней все прилежание, на которое человек способен, точно так же, для того чтобы достигнуть известности в этой самой отрасли, нет необходимости чувствовать очень сильную страсть, а только известную степень страсти, достаточную, чтобы сделать нас внимательными. К тому же не лишне заметить относительно страстей, что люди в этом отношении меньше отличаются друг от друга, чем мы думаем. Чтобы узнать, действительно ли природа так неровно распределила в этом отношении свои дары,

следует разобрать, все ли люди способны испытывать страсти, а для этого начать с их происхождения.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ VIII

¹ Калигула велел наполнить грязью платье Веспасиана за то, что тот не позаботился о чистоте улиц.

² Этим Кромвель заслужил следующую эпитафию:

Здесь поконится разрушитель законной власти,
Которому небеса покровительствовали до последнего дня,
Добродетели которого заслуживали большего,
Чем скипетр, приобретенный преступлением.
Что за судьба, какой странный закон,
Что всем, предназначенным от рождения носить корону,
Именно узурпатор дает
Пример добродетелей, которыми должен обладать государь!

³ Некоторые философы высказали в связи с этим парадоксальное утверждение, что рабы, которым приходится нести самый тяжелый физический труд, находят, может быть, вознаграждение за свои страдания в умственном спокойствии, которым они наслаждаются, и что этот умственный покой часто делает раба таким же счастливым, как и его господина.

⁴ Отсутствие страстей вызывает часто упрямство, в котором упрекают ограниченных людей. Недостаточность их умственного развития заставляет предполагать, что они никогда не стремились к образованию или, по крайней мере, что это желание было всегда очень слабым и подчиненным склонности к лени. А тот, кто не стремится к просвещению, никогда не имеет достаточных мотивов для изменения своих взглядов: чтобы избавить себя от утомительного размышления, он должен не слушать доводов разума, и, таким образом, упрямство является необходимым следствием лени.

ГЛАВА IX

О происхождении страстей

Чтобы узнать это, следует различать два вида страстей.

Некоторыми мы обладаем от природы непосредственно; другими же мы обязаны существованию общества. Чтобы решить, который из этих двух различных видов страстей произвел другой, перенесемся умственно в первые дни мира. Мы увидим, как природа посредством чувств голода, жажды, холода и жары предупреждает человека о его потребностях и связывает бесконечное множество удовольствий или страданий с удовлетворением или неудовлетворением этих потребностей; мы увидим, что уже тогда человек был способен воспринимать впечатления удовольствия и страдания и родился, так сказать, с любовью к первому и ненавистью ко второму. Таким вышел человек из рук природы.

В этом состоянии зависть, гордость, скупость, честолюбие не существовали для человека, который был способен чувствовать

только физические удовольствия и страдания и не знал искусственных радостей и огорчений, доставляемых нам упомянутыми страстями. Следовательно, эти страсти не вложены в нас непосредственно природой, однако существование их, зависящее от существования обществ, заставляет предполагать, что в нас находится скрытый зародыш этих страстей. Поэтому, так как при рождении природа дает нам только потребности, то мы должны искать происхождения этих искусственных страстей в наших первых потребностях и желаниях, ибо эти страсти могут развиться только из способности ощущения.

Повидимому, как в моральном мире, так и в физическом бог вложил во все существующее один единственный принцип: то, что было, есть и будет, есть только необходимое развитие этого принципа.

Он сказал матери: «Я дарю тебе силу». Тотчас же элементы, блуждавшие и беспорядочно перемешанные в пустынях пространства, подчиняясь законам движения, образовали тысячи чудовищных соединений, дали множество различных хаосов, пока не были достигнуты равновесие и физический порядок, в котором, по нашему предположению, находится теперь природа.

Повидимому, подобным же образом он сказал человеку: я дарую тебе чувствительность; посредством нее ты, слепое орудие моей воли, не могущее проникнуть в глубину моих намерений, должен выполнить все мои предназначения. Я помещаю тебя под защиту удовольствия и страдания; они будут охранять твои мысли и твои поступки, породят твои страсти, возбудят твою антипатию, твою дружбу, твою нежность, твой гнев, станут питать твои желания, твои опасения, твои надежды, раскроют тебе истины, погрузят тебя в заблуждения и, заставив тебя предварительно создать множество целевых и различных систем морали и законов, раскроют тебе когда-нибудь простые принципы, с развитием которых связаны порядок и счастье духовного мира.

В самом деле, предположим, что небо одушевило вдруг нескольких людей: первое, чем они займутся, будет удовлетворение своих потребностей; затем они попытаются посредством криков выразить испытываемые ими чувства удовольствия или страдания. Эти первые крики образуют их первый язык, который, судя по бедности языка некоторых диких племен, должен был представляться сначала очень ограниченным и сводиться к нескольким звукам. Но когда люди, размножившись, начнут распространяться по земной поверхности; когда, подобно волнам океана, далеко разливающимся по его берегам и затем снова возвращающимся в его недра, многие поколения появятся на земле и снова исчезнут в бездне, поглощающей все существа; когда семьи станут жить в более близком соседстве, тогда желание обладать одними и теми же вещами, как, например, плодами какого-нибудь дерева или благосклонностью какой-нибудь женщины, вызовут их на ссоры и драки, а отсюда возникнут гнев и метительность. Когда им, опьяненным кровью, надоест жить в постоянном страхе и они согласятся потерять часть той свободы, которой они пользовались в естественном состоянии и которая

показались для них пагубной, тогда они заключат между собой
границы, которые будут их первыми законами. Когда будут уста-
новлены законы, придется назначить лиц для наблюдения за вы-
полнением их; это будут первые власти. Эти первые грубые власти
них пародов будут сначала жить в лесах. Когда люди истребят
значительную часть животных и не в состоянии будут жить про-
ductами охоты, то недостаток в средствах пропитания научит их
искусству скотоводства. Стада дадут им все необходимое, и зверо-
воды превратятся в пастухов. Через несколько столетий, когда
они последние чрезвычайно размножатся и земля уже не в состоя-
нии будет прокормить большое число жителей, если не будет опло-
ществлена людским трудом, тогда вместо людей, занимающихся
скотоводством, появятся земледельцы. Голод, научив их искусству
земледелия, научит их затем искусству измерять и делить землю.
Когда произойдет этот раздел, тогда надо будет позаботиться об
обеспечении за каждым его собственности, а это породит много
наук и законов. Так как различные по природе и обработке участки
земли будут приносить и различные плоды, то люди начнут произ-
водить обмен ими и поймут преимущество общей меновой единицы,
которая будет приниматься в обмен за всякий товар; для этого они
имеют какие-нибудь раковины или какой-нибудь металл. Когда
общества достигнут этой степени совершенства, тогда окончательно
будет нарушено равенство между людьми; они распадутся на вы-
ших и низших; тогда слова «добро» и «зло», созданные для обозна-
чения ощущений физического наслаждения и страдания, получае-
емых нами от внешних предметов, распространятся на все, что мо-
жет вызвать в нас удовольствие или неудовольствие, их усилить
или уменьшить; таковы богатство и бедность; тогда богатство и
почести, благодаря связанным с ними преимуществам, станут
предметом желаний всех людей. Отсюда возникнут, соответственно
различным формам правления, преступные или же добродетельные
страсти, как то: зависть, склонность, тщеславие, честолюбие, любовь
и отечеству, стремление к славе, великодушие и даже любовь, ко-
торая, будучи дана от природы нам только как потребность, станет,
смешавшись с тщеславием, искусственной страстью, представляю-
щей, подобно другим такого же рода страстям, только развитие
физической чувствительности.

Как ни бесспорно это заключение, немногие люди ясно пред-
ставляют себе, из каких идей оно вытекает. Впрочем, даже призна-
вая, что наши страсти имеют первоначальным источником физи-
ческую чувствительность, все же можно думать, что при настоящем
состоянии цивилизованных народов эти страсти существуют
независимо от породившей их причины. Поэтому я постараюсь про-
следить превращение физических страданий и удовольствий в страда-
ния и удовольствия искусственные и доказать, что в таких стра-
стях, как склонность, честолюбие, гордость и дружба, предмет
которых кажется наименее принадлежащим к чувственным удоволь-
ствиям, мы все же всегда избегаем или ищем физическое страдание
или удовольствие.

ГЛАВА X

О скучности

Золото и серебро можно рассматривать как вещи, приятные для зрения. Но если бы обладание ими доставляло нам только удовольствие, вызываемое блеском и красотой этих металлов, то скончцу было бы достаточно любоваться богатыми сокровищами государственной казны. Но так как это зрелище не может насытить его страсть, то следует предположить, что всякий скончец стремится к богатству или потому, что может обменять его на всевозможные удовольствия, или потому, что оно избавляет его от всех страданий, связанных с нищетой.

Установив этот принцип, я утверждаю, что так как человек по природе склонен только к чувственным удовольствиям, то только эти удовольствия и составляют единственный предмет его желаний. Следовательно, страсть к роскоши, к великолепным экипажам, к красивой обстановке, к пиршествам есть страсть искусственная, необходимо вытекающая из физических потребностей в любви или в пище. В самом деле, какое реальное удовольствие могут доставить вся эта роскошь и великоление сластолюбивому скончаге, если он не будет на них смотреть как на средство понравиться женщинам, если он их любит, и добиться их благосклонности или вспушить мужчинам уважение и заставить их, в смутной надежде на награду, отстранять от него всякие неприятности и собирать вокруг него всякие удовольствия?

Следовательно, у этих сластолюбивых сконцов, в сущности не заслуживающих названия сконцов, скучность есть непосредственный результат болезни страдания и стремление к физическому наслаждению. Но, скажут мне, каким образом это стремление к наслаждениям или этот страх перед страданиями могут обуславливать скучность настоящих сконцов, тех несчастных сконцов, которые никогда не обменивают деньги на удовольствия? Если они всю жизнь отказывают себе в необходимом, если они преувеличивают перед самими собою и перед другими удовольствие, связанное с обладанием золотом, то они это делают, чтобы забыть о своем несчастье, за которое никто не жалеет и не должен их жалеть.

Как ни странно противоречие между их поведением и побудительными к нему причинами, тем не менее я постараюсь раскрыть причину, которая, побуждая их непрестанно желать удовольствий, в то же время всегда лишает их таковых.

Прежде всего укажу, что этот род скучности имеет источником преувеличенный и нелепый страх перед нищетой и связанными с нею страданиями. Скучные люди сходны с ипохондриками, которые живут в постоянном страхе, повсюду видят опасности и боятся разбиться от прикосновения к чему-либо.

Этого рода скончцы встречаются обыкновенно среди людей, родившихся в нужде; они испытали на деле страдания, приносимые нищетой, поэтому их безумная скучность более извинительна,

нем в людях, родившихся в довольстве, среди которых встречаются обыкновенно только чванливые и сластолюбивые скучы.

Чтобы показать, как страх перед нуждой заставляет этих людей отказывать себе в необходимом, предположим, что кто-нибудь из них, страдающий под бременем нищеты, решает вырваться из нее. Как только он остановится на этом намерении, надежда тотчас же оживит его душу, изнеможенную бедностью; она вернет ему энергию, заставит его искать покровителей, прикует его к приемной комнате его патропов, заставит его вести интриги у министров, ползать у ног могущественных людей и, одним словом, вести самый жалкий образ жизни, пока он не получит какое-нибудь место, которое обеспечит его от нищеты. Когда он достигнет этого положения, будет ли тогда удовольствие единственной целью его домогательств? Предположим, что у этого человека характер робкий и недоверчивый, тогда яркое воспоминание о пережитых им страданиях должно прежде всего внушить ему желание избавиться от них, а для этого он станет отказывать себе во всем том, к чему он уже привык во время своей бедности. Когда в возрасте тридцати или — сорока лет этот человек не будет знать нужды, а жажда наслаждений, постепенно притупляясь, уже не будет им живо чувствоваться, что тогда он станет делать? Ему уже труднее будет угодить, и если он любит женщин, то он пожелает самых красивых, благосклонность которых стоит дороже, и, следовательно, он пожелает собрать новые богатства, чтобы удовлетворить своим новым искусам; если в тот промежуток времени, который потребуется для приобретения их, неуверенность в себе и робость, которые с годами возрастают и которые можно рассматривать как следствие чувства слабости, покажут ему, что по отношению к богатству «достаточно» никогда не бывает действительно достаточным, и если его жадность будет равносильна его любви к наслаждениям, тогда он будет находиться под влиянием двух различных притягательных сил; чтобы повиноваться обеим, этот человек будет доказывать себе, что он не отказывается от наслаждений, а только откладывает вкушение их до того времени, когда, накопив большие богатства, он в состоянии будет отдаваться всецело наслаждениям, не заботясь о будущем. После нового промежутка времени, который потребуется, чтобы накопить новые сокровища, когда он достигнет возраста, равнодушного к чувственным наслаждениям, изменит ли он свой образ жизни? откажется ли он от привычек, которые ему стали дороги вследствие неспособности образовать новые? Конечно, нет, для него будет довольно созерцания своих сокровищ, мысли о возможности променять их на удовольствия, а чтобы избежать физических страданий, связанных со скучой, он всецело отдастся своим обычным занятиям. К старости он даже сделается еще более скучным, ибо привычка коштить деньги не будет умеряться желанием наслаждаться, а будет еще поддерживаться в нем привычным страхом перед нуждой, свойственной старости.

Из сказанного в этой главе можно заключить, что преувеличенная и нелепая боязнь страданий, связанных с нищетой, есть

причина кажущегося противоречия в поведении некоторых скопцов. Вот почему, хотя они и стремятся всегда к наслаждениям, скопость может всегда их лишить таковых.

ГЛАВА XI

О честолюбии

Влияние, связанное с высоким положением, может, подобно богатству, избавить нас от страданий и доставить нам удовольствия, и поэтому может быть рассматриваемо как меновая монета. Следовательно, к честолюбию можно применить все сказанное о скопости.

У диких народов, предводители или цари которых пользуются единственным преимуществом — пытаться и одеваться от продуктов охоты, производимой за них воинами их племени, честолюбие вытекает из желания иметь все необходимое.

В нарождавшемся римском государстве в награду за великие подвиги давалась полоса земли, которую можно было расчистить и вспахать в один день, и этого было достаточно, чтобы создавать героев.

Сказанное о римском государстве можно применить и ко всем бедным народам: в них честолюбивыми делает людей желание освободиться от забот и труда. Напротив, у народов богатых, у которых все ищащие высокого положения обладают богатствами, достаточными, чтобы не только иметь все необходимое, но и всякие удобства, честолюбие почти всегда порождается любовью к удовольствиям.

Но, возразят мне, пурпур, тиары и вообще все знаки почести не вызывают в нас никакого физического удовольствия, следовательно, честолюбие основывается не на любви к удовольствиям, а на стремлении к уважению и почету; следовательно, оно не результат физической чувствительности.

Если бы стремление к величию воспламенялось желанием уважения и славы, отвечу я, то честолюбцы появлялись бы только в таких республиках, как Рим и Спарта, где высокое положение свидетельствовало обыкновенно о великих добродетелях и талантах. У этих народов занятие высоких должностей могло льстить гордости, ибо оно обеспечивало человеку уважение сограждан, и человек этот, выполнив большие предприятия, мог смотреть на высокое положение, как на средство прославиться и доказать свое превосходство над другими людьми. Однако честолюбец стремится к высоким должностям и в такие эпохи, когда они не пользуются уважением из-за людей, занимающих их, и, следовательно, в такое время, когда обладание ими не может быть лестным. Таким образом, честолюбие не основывается на стремлении к уважению. Напрасно стали бы мне возражать, что честолюбец может сам ошибаться в этом отношении; оказываемые ему знаки внимания ясно показывают, что это уважение оказывается занимаемому им месту, а не ему. Он видит, что уважение, которым он пользуется, не относится

и про личности, что оно испаряется со смертью или немощью его господина, и даже преклонный возраст государя ведет к исчезновению его, и что люди, занимающие высокие места, так же связаны с государем, как связаны с солнцем сопровождающие закат его золотистые облака, яркость которых тускнеет и исчезает, по мере того как светило уходит за горизонт. Он слышал тысячи раз, и сам часто повторял, что заслуга не ведет к почестям, что возведение в высокий сан не является в глазах общества доказательством истинной заслуги, что оно, напротив, почти всегда получается путем интриги, низости и назойливости. Если он в этом сомневается, пусть раскроет книгу истории, особенно истории Византии: он увидит, что человек может быть облеченный всеми государственными почестями и в то же время презираем всеми народами. Но допустим, что честолюбец, смутно жаждущий уважения, воображает, что в высоких должностях он ищет этого уважения, — легко доказать, что не это является истинным, определяющим его мотивом и что он в этом отношении создает себе иллюзию; ибо, как я докажу в главе о гордости, уважения жаждут не ради самого уважения, а ради доставляемых им преимуществ. Следовательно, не жажда почesta — источник стремления к высокому положению.

Чему же приписать то рвение, с которым обыкновенно добиваются высоких должностей? Почему честолюбец, подобно богатым молодым людям, которые любят показываться публике в легких и роскошных экипажах, желает появляться передней украшенным знаками отличия? Потому что он смотрит на эти отличия как на глашатаев его независимости, как на средство, с помощью которого он может сделать многих счастливыми или несчастными, как на то, что связано с интересами людей заслужить его благосклонность, всегда пропорциональную удовольствиям, которые они могут ему доставить.

Но, возразят мне, не дорожит ли честолюбец прежде всего уважением и поклонением людей? Не стремится ли он, действительно, к уважению со стороны людей? Но почему он его желает? В почестях, которыми окружает сановников, им нравятся не сами знаки уважения; если бы им были приятны эти знаки сами по себе, то всякий богатый человек мог бы доставить себе это удовольствие, не выходя из дома и не бегая за высокими должностями. Для этого он мог бы нанять дюжину носильщиков, одеть их в великолепное платье, украшенное всеми европейскими орденскими лентами, и собирать их по утрам в своей приемной, где они воскуряли бы фимиам его тщеславию.

Равнодушие богатых людей к такого рода удовольствию показывает, что мы любим не сами знаки уважения, но признание со стороны людей своей нам подчиненности как залог их благосклонного к нам расположения и их готовности избавить нас от неприятностей и доставить нам удовольствия.

Следовательно, стремление к высокому положению основано на боязни страданий или жажде удовольствий. Если бы это стремление не здесь имело свой источник, как легко было бы образумить

честолюбца. Ты, сказали бы ему, сохнешь от зависти при виде пышности и роскоши сановников; но решись возвыситься до более благородной гордости, и блеск их перестанет имитировать тебе. Вообрази на минуту, что ты настолько выше других людей, насколько насекомые ниже их; тогда в придворных ты увидишь лишь ищел, жужжащих вокруг своей матки, и самый скрипет покажется тебе предметом *мелкого тщеславия*.

Почему люди не внимают подобным речам? Всегда ли они будут относиться без уважения к тем, кто не имеет власти, и всегда ли они будут предпочитать людей сановных людям талантливым? Дело в том, что сановное величие есть своего рода благо, которое может быть, подобно богатству, обменено на множество удовольствий. Поэтому к нему и стремятся с тем большим рвением, чем больше оно может дать власти над людьми и, следовательно, доставить больше преимуществ. Доказательство этой истине то, что если бы пришлось выбирать между троном в Исфагани или в Лондоне, не нашлось бы никого, кто не отдал бы предпочтения железному скрипету Персии перед скрипетом Англии. Однако кто сомневается, что в глазах добродетельного человека последний, несомненно, желательнее и что, если бы добродетельному человеку пришлось выбирать между этими двумя коронами, он выбрал бы то государство, в котором власть государя ограничена и поэтому он не может вредить своим подданным? И если тем не менее почти всякий честолюбивый человек предпочтет властвовать над народом-рабом, каковы персы, чем над свободными англичанами, то потому, что более абсолютная власть заставляет людей более стараться правиться нам; потому что скрытый, но верный инстинкт учит людей, что страх внушает больше уважения, чем любовь, что тираны, по крайней мере при жизни, были более уважаемы, чем добрые государи; что храмы, воздвигаемые в благодарность благодетельным богам, иссущим рог изобилия, менее великолепны¹, чем те, которые страх посвящают жестоким и колоссальным богам, которых изображают несущимися в урагане и буре, окружеными молниями, держащими в руках стрелы; зная это, люди понимают, что они могут ожидать большего от послушания раба, чем от благодарности свободного человека.

Из сказанного в этой главе вытекает, что стремление к высокому положению вытекает из страха перед страданиями и из любви к чувственным удовольствиям, к которым необходимо сводятся все остальные. То наслаждение, которое доставляют власть и уважение, не есть настояще удовольствие; оно так называется только потому, что надежда и средства доставить себе удовольствия суть уже удовольствия — удовольствия, которые, однако, обязаны своим существованием наличию физических удовольствий².

Я знаю, что планы, предприятия, сделки, добродетели и ослепительное великолепие честолюбия заслоняют работу физической чувствительности. Как распознать дщерь честолюбия в этом гордом честолюбии, которое с руками, дымящимися кровью, спускается на поле сражения на груду трупов и в знак победы машет своими

уясленными окровавленными крыльями? Как представить себе, что через все опасности, трудности и тяготы войны мы гонимся за сластолюбием? И, однако, одно оно, скажу я, под именем распутства набирает армии у всех почти народов. Люди любят наслаждения и, следовательно, средства, доставляющие их; они поэтому стремятся к богатству и высокому положению. Более того, они хотели бы разбогатеть в один день. Это желание внушиается им ленью, воина же, обещающая солдатам разграбление городов, а офицерам почести, удовлетворяет и их лень, и их нетерпение. Люди должны поэтому охотнее переносить тяжести войны³, чем земледельческий труд, который обещает им богатство только в отдаленном будущем. Поэтому-то древние германцы, кельты, татары, жители африканского побережья и арабы всегда охотнее занимались грабежом и пиратством, чем обработкой земли.

О войне можно сказать то же, что о крупной игре, которую предпочитают игре по маленькой, даже рискуя разориться, потому что крупная игра возбуждает в нас надежду обогатиться и обещает это сделать в один миг.

Чтобы лишить установленные мною принципы и следа парадоксальности, я в следующей главе изложу единственное возражение, на которое мне остается еще ответить.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XI

¹ Жители города Бантама * жертвуют первые плоды злому духу и не приносят ничего великому богу, ибо он добр, говорят они, и не нуждается в наших приношениях (*Vincent le Blanc*).

Жители Мадагаскара считают, что дьявол гораздо злее бога. Перед едой они приносят дары богу и демону; они начинают с дьявола, бросают направо кусок и говорят: «Вот тебе, господин дьявол». Потом бросают кусок налево и говорят: «Вот тебе, господин бог». Они совсем не молятся ему. См. *Recueil des lettres édifiées*.

² Чтобы доказать, что не физические наслаждения вызывают в нас честолюбие, может быть, скажут, что обыкновенно к нему влечет неопределенное желание счастья. На это я отвечу: а что такое неопределенное желание счастья? Это — желание, не останавливающееся ни на каком предмете в частности; но спрашивается: разве человек, не любящий никакой определенной инициативы, а любящий женщин вообще, не стремится к физическим наслаждениям? Каждый раз, как мы дадим себе труд проанализировать неопределенное желание счастья, мы всегда в основе его найдем физическое наслаждение. С честолюбивым человеком дело обстоит так же, как со скучным, который не был бы жаден до денег, если бы нельзя было обменять их на удовольствия или при их посредстве избавиться от физического страдания; он не покинул бы денег в таком городе, как Лакедемон, где деньги не были в обращении.

³ «Мир, — говорит Тацит, — является для германцев тяжелым состоянием; они постоянно вздыхают о войне; на войне они быстро приобретают известность; они предпочитают сражаться, а не обрабатывать землю».

* На о. Яве.

ГЛАВА XII

Почему удовольствие так часто ускользает от честолюбца, если он ищет высокого положения только для того, чтобы избавиться от страданий, или для того, чтобы наслаждаться физическими удовольствиями

Честолюбцев можно разделить на два вида. Существуют несчастные от рождения люди, которые, относясь враждебно к счастью других людей, стремятся к высокому положению не для того, чтобы наслаждаться предоставляемыми им преимуществами, а для того, чтобы пользоваться единственным доступным им удовольствием — мучить людей и наслаждаться их несчастьем. Характер этих честолюбцев весьма схож с характером ханжей, которые обыкновенно считаются злыми не потому, что исповедуемый ими закон не есть закон любви и милосердия, а потому, что люди, особенно склонные к суровому благочестию¹, суть обыкновенные люди, недовольные этим низменным миром, надеющиеся на счастье только в другом мире и потому, угрюмые, застенчивые, несчастные, они ищут в зрелище чужого несчастья рассеяния от своего собственного. Этот вид честолюбцев немногочислен, в их душе нет ничего великого и благородного, они встречаются только среди тиранов, и по самой природе своего честолюбия они лишены всякого наслаждения.

Существуют честолюбцы другого рода, и к этому виду принадлежат почти все; это те, кто, занимая высокие должности, стремится воспользоваться связанными с ними преимуществами. Среди них находятся, во-первых, те, которые по рождению или по положению получают высокие должности; они иногда способны соединять удовольствия с честолюбивыми помыслами; они, так сказать, уже при самом рождении прошли половину пути², ведущего к их цели. Но нельзя того же сказать о человеке, который, будучи самого низкого положения, хочет, подобно Кромвелю, подняться до самого высокого. Первые шаги на пути честолюбия обыкновенно самые трудные, и человеку приходится сильно интриговать, искать дружбы многих людей, одновременно составлять большие проекты и заботиться о частностях их выполнения. Чтобы понять, каким образом эти люди, жадно стремящиеся ко всякого рода наслаждениям, одушевленные одним этим желанием, в то же время часто бывают лишены наслаждений, предположим, что какой-нибудь человек, жадный до наслаждений, видя, с какой готовностью предупреждаются желания высокопоставленных людей, пожелает подняться до высокого положения; одно из двух: или этот человек родился в стране, где народ раздает эти блага, где народное расположение может быть приобретено только заслугами, оказанными отечеству, где, следовательно, необходимо иметь заслуги, или он родился к каком-нибудь государству с абсолютно деспотическим правлением, вроде государства Могола, в котором почести достигаются интригами, — но и в том и в другом случае, утверждаю я, он может достигнуть высокого положения, только не отдавая

почти ничего из своего времени на удовольствия. Чтобы доказать это, возьму для примера любовные наслаждения — не только потому, что они самые сильные, но и потому, что они составляют почти единственную пружину культурных обществ. Замечу, между прочим, что для каждого народа существует некоторая физическая потребность, которую можно рассматривать как общий двигатель этого народа: у диких народов Севера, часто подвергающихся голодам и постоянно занятых охотой и рыбной ловлей, все идеи порождаются голodom, а не любовью; эта потребность является зародышем всех их мыслей, поэтому вся работа их ума вращается вокруг ухищрений, необходимых при охоте и рыбной ловле, и изысканий средств к предотвращению голода. Напротив, у культурных народов любовь к женщинам является почти единственным двигателем³. В этих странах любовь все изобретает, все производит: пышность, создание предметов роскоши, — все это необходимые последствия любви к женщинам и желания нравиться им; даже желание у мужчин импонировать богатством или высоким положением есть только новое средство для обольщения женщин. Итак, предположим, что человек, бедный от рождения, по каждующий любовных наслаждений, заметил, что женщины тем легче уступают желаниям любовника, чем выше положение этого любовника и чем больше уважение, которым он пользуется, отражается на них; тогда, побуждаемый к честолюбию любовью к женщинам этот человек станет добиваться места полководца или ministra, а чтобы добиться этих мест, он должен целиком посвятить свое время приобретению соответственных талантов или проведению интриг. Но образ жизни, необходимый для выработки из себя ловкого интригана или выдающегося человека, совершенно противоположен тому, при котором можно понравиться женщинам, побуждаями, чтобы за ними усердно ухаживали, что несовместимо с жизнью честолюбца. Ясно, что в молодости и вообще до того времени, пока он не достигнет высокого положения, когда женщины готовы будут обменять свою благосклонность на его влияние, этот человек должен отказаться от всех своих вкусов и почти всегда жертвовать настоящими удовольствиями ради надежды на предстолице удовольствия. Я говорю почти всегда, так как путь честолюбия обыкновенно весьма долг. Уже не говоря о тех людях, честолюбие которых растет по мере удовлетворения и постоянно ставит на место исполнившегося желания новое, — так что министры хотели бы быть государями, государи мечтают, подобно Александру, о всемирной монархии и хотят занимать такой трон, на котором уважение всей вселенной было бы для них залогом того, что о их счаствии заботится весь мир, — не говоря, значит, об этих исключительных людях, а предположив даже умеренное честолюбие, мы видим, что человек, ставший честолюбивым из любви к женщинам, достигнет высокого положения только в возрасте, когда его желания уже погаснут.

Но хотя его желания и охладели, однако, едва этот человек достигнет цели своих честолюбивых стремлений, он поймет, что он

находится на крутой и скользкой скале, что он со всех сторон является добычей для завистников, держащих паготове против него натянутые луки; тогда он с ужасом увидит разверзающуюся перед цим пропасть: он поймет, что в своем падении он будет несчастен, но никто не будет его жалеть, — грустный удел величия; что его будут оскорблять те, которых оскорбляла его гордость, и презирать соперники, что будет для него еще невыносимее, чем оскорблени; что он станет посмешищем для людей, стоящих ниже его, которые перестанут платить ему дань уважения, которое могло иногда быть ему бесносным, но лишение которого для него невыносимо, так как привычка обратила его в потребность. И он увидит, что, лишенный единственного удовольствия, которым он когда-либо наслаждался, и свергнутый с занимаемой им высоты, он уже не будет наслаждаться при созерцании своего величия возможностью всех наслаждений, которые оно может доставить, как это делает скучец при созерцании своего богатства.

Итак, страх перед скучой и страданиями заставит этого честолюбца продолжать ту карьеру, к которой его привела любовь к наслаждениям; за желанием приобретения в его сердце приходит желание сохранить приобретенное. А так как заботы о сохранении высокого положения отнимают почти столько же времени, как заботы о достижении его, то очевидно, что этот человек будет проводить почти все время своего юного и зрелого возраста в том, что будет добиваться или охранять то положение, к которому он стремился единственно как к средству доставить себе удовольствия, в коих он себе постоянно отказывает. И, таким образом, достигнув возраста, когда люди становятся уже способными к изменению своего образа жизни, он отдастся и должен вполне отдаваться своим прежним занятиям, ибо душа, непрестанно волнуемая сильными страхами и надеждами и находящаяся постоянно во власти бурных страстей, всегда предпочтет тревоги, доставляемые честолюбием, пресной безмятежности спокойной жизни. Подобно кораблям, которых волны все еще гонят к южным берегам, когда северный ветер уже перестал их вздымать, люди и в старости следуют направлению, определенному страстями их молодости.

Я указал, каким образом честолюбец, стремясь к высокому положению под влиянием страсти к женщинам, вступает на безрадостный путь. Если он случайно и встретит на нем какие-нибудь удовольствия, то к ним всегда будет примешана горечь: он наслаждается ими только потому, что они весьма редки и разбросаны наподобие деревьев, встречающихся время от времени в Ливийской пустыне, иссохшая зелень которых приятна только обожженному солнцем африканцу, отдыхающему под их тенью.

Следовательно, противоречие, которое мы замечаем между поведением честолюбца и мотивами его, только кажущееся, и честолюбие зажигается в нас только любовью к наслаждениям и страхом перед страданиями. Но, возразят мне, если скучность и честолюбие суть следствия физической чувствительности, то гордость во всяком случае не имеет того же источника.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XII

¹ Опыт показывает, что вообще люди, способные откачивать себе в некоторых удовольствиях и следовать строгим правилам и предписаниям какого-нибудь религиозного культа, обладают обыкновенно несчастным характером. Этим только и можно объяснить, каким образом многие сектанты могли соединить с святостью и кротостью религиозных учений столько злобы и нетерпимости, которая проявилась в стольких злодеяниях. Если обыкновенно молодежь, когда только не противятся ее страсти, более гуманна и великолушна, чем старики, то потому, что болезни и несчастья не успели еще сделать ее черствой. Человек, обладающий счастливым характером, весел и добродушен; только он и может сказать:

«Пусть все здесь будут счастливы мою радостью».

Несчастный же человек зол; Цезарь говорит о Кассии: «Я не доверяю истощенным и худым людям; то ли дело такие люди, как Антоний! Они занимаются исключительно своими удовольствиями, их руки рвут цветы, а не точат книжные перья». Это замечание Цезаря прекрасно и имеет более общее применение, чем это думают.

² В них честолюбие есть скорее результат их положения, чем сильной страсти, которую препятствия только возбуждают и которая торжествует над всем решительно.

³ Это не значит, что иные мотивы не могут зажечь в нас честолюбие. В бедных странах, как я указывал выше, достаточно желания удовлетворить насущные потребности, чтобы вызвать честолюбие. В despотических государствах страх перед мучениями, которым может нас подвергнуть каприз despota, тоже может создавать честолюбцев. У культурных же народов стремление к высокому положению вызывается обыкновенно смутным желанием счастья, которое, как я показал выше, всегда сводится к чувственным наслаждениям. А среди этих наслаждений я, конечно, вправе считать любовь к женщинам самым сильным и самым могущественным. Что нас действительно воодушевляет стремление к этого рода удовольствиям, явствует из того, что мы способны к приобретению крупных талантов и к отчаянным решениям, необходимым иногда для достижения высокого поста, только в ранней молодости, т. е. в возрасте, когда физические потребностичувствуются сильнее всего. Но, возразят мне, многие старики охотно принимали высокие назначения. Да, они их принимают и даже желают, но это желание не заслуживает имени страсти, потому что старики уже не способны к смелым начинаниям и необычайным умственным усилиям, характеризующим страсть. Старик может по привычке подвигаться на поприще, открывшемся ему в молодости; но он уже не будет искать нового поприща.

ГЛАВА XIII

О гордости

Гордость есть истинное или ложное чувство нашего превосходства, вытекающее из выгодного сравнения себя с другими и предполагающее, следовательно, существование других людей и даже обществ.

Следовательно, чувство гордости не врождено нам, подобно чувству удовольствия и страдания. Значит, гордость есть искусственная страсть, предполагающая в нас знание прекрасного и превосходного. А превосходное или прекрасное есть не что иное, как то, что большинство людей считало, исчитало и уважало как таковое. Следовательно, идея уважения предшествовала идеи того, что достойно уважения, хотя, правда, эти две идеи скоро должны были слиться между собой. Поэтому человек, одушевленный благородным и прекрасным желанием нравиться самому себе, довольствующийся собственным уважением и считающий себя равнодушным к общественному мнению, бывает обманут собственной гордостью и принимает свое желание быть уважаемым за желание быть достойным уважения.

Действительно, гордость не может быть ничем иным, как только тайным и замаскированным желанием общественного уважения. Отчего человек, который в лесах Америки гордится ловкостью, силой и проворством своего тела, во Франции будет гордиться этими телесными преимуществами только в том случае, если не обладает более существенными качествами? Потому что сила и ловкость тела не пользуются и не должны пользоваться у француза таким же уважением, как у дикаря.

Чтобы доказать, что гордость есть только скрытое желание быть уважаемым, предположим, что какой-нибудь человек поглощен исключительно желанием убедиться в собственном превосходстве. Тогда наиболее лестным ему должно представляться превосходство наиболее личное, наиболее независимое от случая, и если ему представится выбор между славою ученого и славою военного, он должен предпочесть первую. Посмеет ли он противоречить самому Цезарю? Не согласится ли он с этим героем, что просвещенный папад всегда делит лавры победы между полководцем, солдатами и слугами, а лавры муз, напротив, всегда принадлежат всецело тому, кого они вдохновляют? Не признает ли он, что случай часто возводил на триумфальную колесницу невежество и трусость, но никогда не увенчивал главы глупого автора?

Словом, обращался только к своей гордости, т. е. к желанию быть уверенным в своем превосходстве, он, конечно, первого рода славу сочтет более желательной. То, что предпочтение обыкновенно оказывают великому военачальнику перед глубоким философом, не изменит его мнения; он поймет, что народ только потому оказывает большие уважения военачальнику, чем философу, что таланты первого оказывают более быстрое влияние на народное счастье, чем правила мудреца, которые представляются непосредственно полезными только небольшому числу людей, жаждущих просвещения.

А так как во Франции нет никого, кто бы не предпочел военной славы славе писателя, то я и заключаю, что желание быть достойным уважения вытекает из желания быть уважаемым и что гордость есть именно желание уважения.

Чтобы затем доказать, что гордость или это страстное желание

уважения вытекает из физической чувствительности, следует рассмотреть, стремимся ли мы к уважению ради самого уважения или это стремление вытекает из боязни страданий и из любви к удовольствиям.

Чему другому, действительно, можно приписать то, что люди с таким рвением добиваются общественного уважения? Может быть, внутреннему недоверию к собственным достоинствам и, следовательно, гордости, которая, стремясь к самоуважению и неспособная к самооценке, нуждается в общественном мнении, чтобы подкрепить высокое мнение о себе и чтобы наслаждаться приятным чувством своего превосходства?

Но если бы желание быть уважаемым вытекало только из этого мотива, тогда самое широкое уважение, т. е. такое, которое мы получали бы от наибольшего числа людей, без сомнения, казалось бы нам самым лестным и желательным, так как оно наиболее способно заставить замолчать в нас неприятное чувство недоверия к себе и убедить нас в наших достоинствах. Предположим, что на планетах живут существа, подобные нам; предположим, что какой-нибудь дух извещает нас каждую минуту о том, что там происходит, и что человек может выбирать между уважением в своей стране и уважением во всех этих небесных мирах; не очевидно ли, оставаясь при нашем предположении, что он должен предпочесть самое широкое уважение, т. е. уважение планетных обитателей, уважению своих сограждан? А между тем нет никого, кто бы в этом случае не предпочел уважение своего народа. Следовательно, желание быть уважаемым пристекает не из желания убедиться в своих достоинствах, но из преимуществ, вытекающих из этого уважения.

Чтобы убедиться в этом, подумаем, откуда вытекает то рвение, которым люди, жаждущие, по их словам, общественного уважения, добиваются высоких должностей тогда, когда благодаря интригам и тайным проискам они не могут принести никакой пользы своему государству, и когда, следовательно, они подвергаются насмешкам общества, которое всегда справедливо в своих суждениях и презирает того, кто настолько равнодушен к его уважению, что принимает назначение, которое не может выполнять с достоинством; спросим еще себя, почему нам более лестно уважение государя, чем уважение человека незначительного? Мы увидим, что во всех случаях наше желание быть уважаемым пропорционально тем преимуществам, которые уважение нам сулит.

Мы потому предпочитаем уважению нескольких избранных людей уважение множества невежественных людей, что в этом множестве мы находим больше людей, готовых подчиниться влиянию, которое известность оказывает на души людей; потому, что большое число поклонников чаще возбуждает в нашем уме приятный образ удовольствий, которые они могут нам доставить.

Поэтому же мы равнодушны к восхищению народа, с которым мы не находимся ни в каких отношениях, и мало найдется французов, которые были бы тронуты уважением, оказываемым им жителями великого Тибета. И если и находятся люди, которые желали

бы пользоваться всемирным уважением и которым было бы дорого даже уважение обитателей австралийских земель, то это происходит не из более сильного стремления к уважению, но из привычки связывать идею о большем счастье с идеей о более широком уважении¹.

Последним же и главным доказательством этой истины может служить отсутствие стремления к уважению и недостаток в великих людях² в эпохи, когда высшие награды раздаются не за заслуги. Повидимому, человек, способный приобрести крупные таланты или большие добродетели, заключает молчаливый договор со своим народом, обещая прославиться талантами и действиями, полезными для его сограждан в том случае, если благодарные сограждане будут стараться облегчать его заботы и собирать вокруг него всякого рода удовольствия.

От пренебрежения или же точного исполнения обществом этих молчаливых обязательств и зависит во все времена и во всех странах обилие или бедность выдающихся людей.

Итак, мы любим уважение не само по себе, а за те выгоды, которые оно нам доставляет. Тщетно будут мне указывать на пример Курция как на противоречащий этому заключению факт: случай почти единственный не может служить опровержением принципов, оирающихся на самый разнообразный опыт, особенно когда этот случай может быть приписан иным принципам и естественно объяснен иными причинами.

Для появления Курция достаточно, чтобы человек, утомленный жизнью, испытывал такое же тяжелое физическое состояние, какое побуждает многих англичан к самоубийству, или чтобы в век столь суеверный, каков был век Курция, родился человек более фанатичный и легковерный, чем все остальные, и верящий, что своим самопожертвованием он заслужит место среди богов. В том и в другом случае можно обречь себя смерти или для того, чтобы прекратить свои страдания, или для того, чтобы открыть себе доступ к небесному блаженству.

Из сказанного в этой главе мы заключаем, что люди желают быть достойными уважения только для того, чтобы быть уважаемыми, а быть уважаемыми они желают только для того, чтобы пользоваться удовольствиями, связанными с этим уважением; следовательно, жаждя уважения есть только замаскированная жаждя наслаждений. А существуют только два рода наслаждений: чувственные удовольствия и средства для приобретения этих удовольствий; эти средства мы помещаем в разряд удовольствий только потому, что надежда на удовольствие есть уже начало удовольствия, существующего, впрочем, только тогда, когда эта надежда может быть осуществлена. Следовательно, физическая чувствительность есть зародыш, ощущающий гордость и все другие страсти, к которым я причисляю и дружбу, которая на первый взгляд кажется более независимой от чувственных удовольствий и поэтому заслуживает рассмотрения, чтобы на этом последнем примере подтвердить все сказанное мною о страстиах.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XIII

¹ Люди, благодаря принципам, внущенным им хорошим воспитанием, принципы смешивали идею счастья с идеей уважения. Но в действительности под именем уважения они желают только тех выгод, которые оно доставляет.

² Очень мало стараются приобрести уважение в государствах, где это уважение ничего не приносит; но там, где уважение приносит большие выгоды, люди отправляются, как Леонид, защищать Фермопильский проход с тремястами спартанцев.

ГЛАВА XIV

О дружбе

Любить значит иметь потребность. Нет дружбы без потребности, это было бы следствие без причины. Люди имеют неодинаковые потребности; следовательно, и дружба основывается у них на различных мотивах. Одни нуждаются в удовольствиях и деньгах, другие во влиянии; эти желают разговаривать, те — поверять свои заботы; в результате бывают друзья ради удовольствий, ради денег¹, ради интриг, ради ума и друзья в несчастье. Чрезвычайно полезно рассмотреть дружбу с этой точки зрения и составить о ней ясное представление.

Из дружбы, как из любви, часто делают роман; люди всюду ищут героя ее, каждую минуту думают, что нашли его, хватаются за первого попавшегося и любят его до тех пор, пока его не знают и хотят узнать. А когда любопытство удовлетворено, он перестает интересовать: мы не нашли героя своего романа. Таким образом, люди становятся способными к преувеличенному восхищению, но не способными к дружбе. Поэтому в интересах самой дружбы надо составить о ней ясное представление.

Признаюсь, что если рассматривать ее как взаимную потребность, то нельзя утаить, что очень трудно допустить, чтобы в длинный промежуток времени сохранялась та же потребность и, следовательно, та же дружба² между двумя людьми. Поэтому продолжительная дружба весьма редкое явление³.

Но хотя чувство дружбы, будучи более прочным, чем любовь, все же зарождается, разрастается и гаснет, однако тот, кто это знает, не переходит от теснейшей дружбы к сильнейшей ненависти и не подвергается опасности возненавидеть то, что раньше любил. Если он потеряет друга, он не станет на него сердиться, а только посетует на человеческую природу и напишет со слезами: *мой друг не имеет прежних потребностей*.

Довольно трудно составить себе ясные представления о дружбе. Все нас окружающее старается обмануть нас в этом отношении. Некоторые люди, чтобы сделать себя более достойными уважения в собственных глазах, преувеличивают свои чувства к своим друзьям, представляют себе дружбу в романтической окраске и

убеждают себя в этом, пока случай не раскроет глаза им и их друзьям и не докажет им, что они любили далеко не так сильно, как они предполагали.

Этого сорта люди обыкновенно утверждают, что они имеют сильную потребность любить и быть любимыми. Но так как нас сильно поражают достоинства человека обыкновенно в первые моменты, когда мы его видим; так как привычка делает нас нечувствительными к красоте и уму и даже к душевным качествам и так как нас сильно трогает только неожиданность удовольствия, то прав был один умный человек, который говорил по этому поводу, что те, кто хотят быть сильно любимыми⁴, должны в дружбе, как и в любви, иметь только мимолетные склонности, а не страсти, ибо, прибавляя им, в том и в другом случае моменты начала суть самые сильные и нежные.

Но на одного человека, обмазывающего самого себя относительно дружбы, приходится десять лицемеров, которые выказывают чувства, которых они в действительности не испытывают, и дурачат других, не давая никогда одурачить себя. Они рисуют дружбу яркими, но неверными красками и, соблюдая исключительно свои интересы, только хотят заставить других следовать предлагаемому ими образцу, так как это им выгодно⁵.

Ввиду этого очень трудно составить себе ясное понятие о дружбе. Но, возразят мне, какой вред от некоторого преувеличения силы этого чувства? Зло в том, что люди привыкают требовать от своих друзей совершенств, которых природа не допускает.

Многие люди, от рождения нежные, увлеченные этими описаниями, но проученные в конце концов опытом, утомляются постоянной погоней за этим миражем и начинают чувствовать отвращение к дружбе, к которой они были бы вполне способны, если бы они не составили себе о ней романтической идеи.

Дружба предполагает какую-нибудь потребность; чем настоятельнее эта потребность, тем сильнее дружба; следовательно, потребность есть мерило этого чувства. Предположим, что мужчина и женщина спаслись от крушения на необитаемом острове и что, будучи лишены надежды вернуться на свою родину, они принуждены там оказывать друг другу взаимные услуги для защиты от диких зверей, для поддержания жизни и для того, чтобы не впасть в отчаяние; между этими мужчиной и женщиной возникает самая тесная дружба, а между тем они, может быть, ненавидели бы друг друга, если бы встретились в Париже. Если один из них погибнет, другой действительно лишится половины себя; никакое горе не сравнимся с его горем; только тот, кому пришлось жить на необитаемом острове, может понять всю его силу.

Но если сила дружбы пропорциональна нашим потребностям, то должны существовать формы правления, нравы, условия и, наконец, эпохи, более других благоприятные для дружбы.

Во времена рыцарства, когда выбирали себе товарища по оружию, когда два рыцаря делили славу и опасность, когда трусость одного могла стоить жизни и потери чести другому, тогда люди

ил собственного интереса были внимательнее к выбору друзей и были сильнее к ним привязаны.

Когда место рыцарства заняла мода на дуэли, то люди, ежедневно подвергавшие себя друг за друга опасности быть убитыми, конечно, должны были быть очень дороги друг другу. В то время дружба была очень уважаема и почиталась в числе добродетелей; она во всяком случае предполагала в дуэлистах и рыцарях верность и доблесть; эти добродетели в то время высоко почитались, и так оно и должно было быть, ибо они почти постоянно проявлялись на поле⁶.

Полезно помнить, что одни и те же добродетели в различное время оцениваются различно, в зависимости от неодинаковой полезности их в разные эпохи.

Кто сомневается в том, что во времена смут и революций и при форме правления, благоприятствующей образованию политических партий, дружба бывает сильнее и мужественнее, чем в спокойном государстве? В этом отношении история показывает нам многочисленные примеры героизма. Тогда дружба предполагает в человеке мужество, сдержанность, твердость, знание и осторожность; эти качества, абсолютно необходимые в смутные времена, редко бывают соединены в одном человеке и должны делать его особенно дорогим для его друга.

Если при настоящем состоянии правов мы больше не требуем от наших друзей тех же качеств⁷, то потому, что эти качества нам больше не полезны, так как нет больше необходимости поверять важные тайны, вызывать на поединки, и, следовательно, мы больше не нуждаемся ни в осторожности, ни в знаниях, ни в сдержанности, ни в мужестве наших друзей.

При настоящей форме правления у нас частные лица не связаны никаким общим интересом. Чтобы сделать карьеру, скорее нужны покровители, чем друзья. Роскошь и так называемый общественный дух открыли доступ во все дома и тем самым освободили множество людей от необходимости дружбы. Нет никаких побудительных причин или выгод, которые заставили бы нас теперь выносить действительные или предполагаемые недостатки наших друзей. И нет больше дружбы⁸; со словом «друг» уже не связывают тех представлений, которые связывали раньше; в наше время мы можем, следовательно, воскликнуть вместе с Аристотелем⁹:

О, друзья мои! Нет больше друзей».

Итак, если существуют эпохи, нравы и формы правления, когда мы сильнее нуждаемся в друзьях, и если сила дружбы всегда пропорциональна остроте этой нужды, то должны существовать и условия, когда сердце легче открывается дружбе, а это обыкновенно бывает тогда, когда человек чаще всего нуждается в помощи другого человека.

Несчастные люди бывают обыкновенно самыми нежными друзьями: связанные общим несчастьем, они, сокрушаясь о несчастьях своих друзей, в то же время чувствуют себя растроганными за себя самих, что доставляет им удовольствие.

Сказанное мною об условиях можно сказать и о характерах; есть такие характеры, которые не могут обойтись без друзей. Во-первых, люди слабые и застенчивые, которые решаются на что-нибудь только с помощью и по совету других; во-вторых, люди угрюмые, строгие, деспотические, которые бывают горячими друзьями тех, кого они мучают и несколько похожи на одну из двух жен Сократа, которая, узнав о смерти этого великого человека, проявила больше горя, чем другая: ибо эта последняя, обладая более кротким и милым характером, теряла в Сократе только мужа; первая же теряла в нем человека, которого она могла мучить своими капризами и который один только мог их выносить.

Наконец, есть люди, лишенные всякого честолюбия и каких-либо сильных страстей, которым доставляет наслаждение разговор с людьми образованными. При наших современных нравах люди этого рода, если только они добродетельны, суть самые нежные и постоянные друзья. Их душа, всегда открытая к дружбе, знает ее очарование. Это чувство становится их единственной потребностью, так как они не обладают, согласно предположению, никакой другой страстью, которая могла бы его заменить; поэтому они способны к очень высокой и мужественной дружбе, хотя она и не достигает дружбы греков или скифов.

Напротив, мы тем менее способны к дружбе, чем более независимы от других людей. Так, богатые и могущественные люди обыкновенно менее чувствительны к дружбе, их обыкновенно даже считают черствыми. Действительно, потому ли, что люди всегда проявляют жестокость, когда могут делать это безнаказанно, потому ли, что богатые и влиятельные люди смотрят на бедственное положение другого как на упрек своему благополучию, потому ли, наконец, что они хотели бы избежнуть надоедливых просьб несчастных, — одно несомненно, что они всегда дурно обходятся с несчастливыми¹⁰. Вид несчастного человека производит на большинство людей впечатление головы Медузы; при виде его сердца обращаются в камень.

Существует еще один род людей, равнодушных к дружбе; это те, которые удовлетворяются собой¹¹. Они приучили себя искать и находить счастье в себе самих; к тому же, будучи слишком умны, чтобы наслаждаться еще «удовольствием» быть обманутыми, они не могут сохранить счастливое незнание людской злобы (драгоценное незнание, так крепко в ранней молодости связующее людей); поэтому они мало склонны к очарованию этого чувства, что не значит еще, что они к нему не способны. «Это часто, — как сказала весьма умная женщина, — не столько люди нечувствительные, сколько люди разочарованные».

Из сказанного следует, что сила дружбы всегда пропорциональна потребности, какую люди имеют друг в друге¹², и что эта потребность меняется в зависимости от эпохи, нравов, формы правления, условий и характеров. Но, возразят мне, если дружба и предполагает всегда некоторую потребность, то во всяком случае это не есть потребность физическая. Что такое друг? Избранный

ими родственник. Мы желаем иметь друга, чтобы, так сказать, жить в нем, чтобы изливать нашу душу в его душу и наслаждаться разговором, который доверие делает всегда восхитительным. Следовательно, эта страсть не основывается ни на боязли страданий, ни на любви к физическим удовольствиям. Но, отвечу я, в чем заключается очарование разговора с другом? В удовольствии гордить о себе. Если человек пользуется по милости судьбы достатком, он будет разговаривать со своим другом о способах увеличить свое состояние, о почестях, влиянии и репутации, которыми он пользуется. Если человек находится в стесненном положении, он будет изыскивать со своим другом средства избежать нищеты, и разговор с ним избавляет нас, во всяком случае, от скучи слушать неинтересные для нас речи. Следовательно, с другом говорят всегда или о своих неприятностях, или о своих удовольствиях. А если, как я доказал выше, нет иных истинных удовольствий и истинных страданий, кроме удовольствий и страданий физических, если средства для их доставления суть только удовольствия, вызываемые надеждой, и предполагают существование физических удовольствий, являясь, так сказать, их следствием, то, значит, дружба так же, как и скупость, гордость, честолюбие и другие страсти, есть непосредственный результат физической чувствительности.

В качестве последнего доказательства этой истины я покажу, что посредством этих же самых сущих страданий и удовольствий можно вызвать в нас всякого рода страсти и что, таким образом, чувственные существа и удовольствия суть плодотворные зародыши всякого чувства.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XIV

¹ До сего времени все твердили во всю мочь, что не следует считать своими друзьями тех, чья дружба носит характер занятыости и кто любит нас только за наши деньги. Конечно, такого рода дружба не очень лестна, тем не менее это все же дружба. Например, главного контролера люди любят за то, что он может оказывать одолжения. У большинства из них любовь к нему отожествляется с любовью к деньгам. Отчего же такого рода чувству отказать в назывании дружбы? Никто не любит нас за нас самих, но всегда за что-нибудь, и такая любовь стоит всякой другой. Можно ли сказать о человеке, влюбленном в женщину, что он ее не любит, если он в ней любит исключительно красоту ее глаз или ее цвет лица? Но, скажут мне, значит как только богатый человек впадет в бедность, его перестают любить. Да, конечно, и если осра обезобразит женщину, обыкновенно с ней порвут сношения, что не доказывает, что ее не любили, когда она была красива. Если друг, которому мы особенно доверили и в котором мы уважали душу, ум и характер, вдруг станет слепым и глухонемым, то мы будем жалеть, что потеряли в нем старого друга, мы будем еще уважать его мумию, но в сущности мы его уже не сможем любить, потому что это уже не тот человек, которого мы любили. Если главный контролер получит отставку, его перестанут любить, он будет вполне подобен другу, ставшему вдруг слепым

и глухонемым. Тем не менее человек, жаждый до денег, может питать большую нежность к тому, через кого он может их получить. Тот, кто нуждается в деньгах, — прирожденный друг главного контролера и того, кто занимает это место. Его имя может быть помещено в инвентаре мебели и утвари, принадлежащих его учреждению. Только наше тщеславие заставляет нас отказывать в имени дружбы дружбе, основывающейся на заинтересованности. При этом замечу, что самая прочная и крепкая дружба бывает обыкновенно между добродетельными людьми, однако к ней способны даже негодяи. Если мы принуждены признать, что дружба — не что иное, как чувство, соединяющее двух людей, то утверждать, что не может быть дружбы между дурными людьми, значит отрицать самые достоверные факты. Можно ли, например, сомневаться в том, что два заговорщика могут быть связаны самой живой дружбой? Разве Жаффье не любил капитана Жакка-Пьера? Разве Октавий, который, конечно, не был добродетельным человеком, не любил Мецената, который был просто слабым человеком? Сила дружбы измеряется не добродетелью двух друзей, а силой связывающего их интереса.

² Если известны характеры двух друзей и указаны условия, в которых они находятся, и им предстоит поссориться, то несомненно, что умный человек может предсказать момент, когда эти люди перестанут быть полезными друг другу, и вычислить момент их разрыва с такою же точностью, как астрономический момент затмения.

³ Не следует смешивать с дружбой узы привычки, уважение, которым пользуются признанная дружба, и, наконец, то столь полезное для общества чувство чести, которое заставляет нас продолжать жить с теми, которых мы называем нашими друзьями. Мы оказываем им те же услуги, которые им оказывали, когда мы были полны к ним самых живых чувств, но в действительности их присутствие нам больше не нужно, и мы их больше не любим.

⁴ Дружба не есть, как воображают некоторые люди, постоянное чувство нежности, ибо люди не делают ничего непрерывно. Между самыми нежными друзьями бывают минуты охлаждения; следовательно, дружба есть постоянная смена нежности и холодности, при чем моменты холодности очень редки.

⁵ Может быть, следует иметь мужество и самому быть способным к дружбе, чтобы решиться дать о ней ясную идею. Конечно, можно быть уверенным в том, что против такого человека подымутся лицемеры дружбы; эти люди подобны трусам, которые всегда рассказывают о своих подвигах. Пусть те, кто считает себя способными к дружественным чувствам, прочтут «Токсарис» Лукиана, пусть они спросят себя, способны или они к тем поступкам, на которые дружба побуждала скифов и греков? Если они будут искренни, они признают, что в наше время люди не имеют даже представления о такого рода дружбе. Поэтому у скифов и греков дружба считалась в числе добродетелей. Скиф не мог иметь более двух друзей, но, чтобы притти им на помощь, он был вправе сделать все, что угодно. Дружбу они отчасти смешивали с уважением. Одно чувство дружбы не порождало бы такого мужества у людей.

⁶ Слово *храбрый* (*brave*) было тогда синонимом слова *добродетельный*, и когда теперь говорят «*un brave homme*» для обозначения верного и добродетельного человека, то это остаток прежнего словоупотребления.

⁷ В наше время дружба не требует почти никаких качеств. Множество людей изображают из себя истинных друзей для того только, чтобы играть

которую роль в свете. Одни становятся надоедливыми ходатаями чужих и только для того, чтобы избежать скуки от безделья; другие, оказывая услуги, заставляют платить за них тех, кого они обязывают, скукой или потерей свободы; наконец, некоторые почитают себя весьма достойными друзьями, потому что они будут верными хранителями доверенного им и обладают привилегией пестораемого шкафа.

* Поэтому, по пословице, следует считать многих друзьями, а доверять немногим.

* Всякий повторяет за Аристотелем, что друзей нет совсем, и каждый, в частности, уверяет, что он хороший друг. Возможность выставлять столь противоположные утверждения предполагает, что в дружбе есть много личностей и много людей, не знающих себя самих.

Эти последние, как я уже говорил, будут протестовать против некоторыхтверждений, высказанных в этой главе. Против меня будут их вопли, за меня, к сожалению, будет опыт.

* Его малейшая ошибка будет достаточным поводом, чтобы отказаться ему в помощи: от несчастных требуется совершенство.

* Таких людей мало, и эта способность самодовления, которая считается атрибутом божества и которую люди должны в нем уважать, признается пороком, когда она встречается в людях. Таким образом, мы осуждаем под одним названием то, чем мы восхищаемся под другим. Сколько раз Фонтенеля упрекали в бесчувственности на том основании, что он способен был довольствоваться самим собой, т. е. быть одним из умнейших и счастливейших людей в мире.

Если мадагаскарские вельможи воюют с теми своими соседями, стада которых многочисленнее их стад, если они постоянно повторяют: «Наши враги те, кто богаче и счастливее нас», то следует прибавить, что и большинство людей аналогично воюет с мудрецом. Они ненавидят его за скромность его желаний, которые сводятся к довольству тем, что он имеет, ибо тем самым он подвергает критике их поведение и становится слишком независимым от них. Эту независимость они считают источником всех пороков, ибо они понимают, что в них самих источник гуманности иссяк бы вместе с исчезновением потребности друг в друге.

Но общество должно очень дорожить этими мудрецами. Хотя высшая мудрость и делает их иногда равнодушными к дружбе отдельных лиц, она в то же время заставляет их, как то показывают примеры аббата Сен-Пьера и Фонтенеля, распространять на все человечество то чувство нежности, которое сильные страсти заставляют нас сосредоточивать на одном лице. Только мудрец может быть по-настоящему добр, ибо он знает людей, и этим он отличается от тех людей, которые добры только потому, что они глупы, и доброта коих уменьшается по мере того, как они умнеют. Мудреца не раздражает людская злоба; он, подобно Демокриту, видит в них безумных или детей, на которых было бы смешно сердиться и которых следует скорее жалеть. Он рассматривает их так, как механик работу машины: он не бранит человечество, а находит ее на природу, которая связывает сохранение одного существа с разрушением другого, которая повелевает киршуна для самоохранения ринуться на голубя, а голубю поглотить насекомое, и которая из каждого существа сделала убийцу.

Если только закон является беспристрастным судьей, то мудреца можно

в этом отношении сравнить с законом. Его равнодушие всегда справедливо и беспристрастно; это равнодушие следует считать самой большой добродетелью в занимающих высокое положение людях, которых сильная нужда в друзьях заставляет обыкновенно быть несколько несправедливыми.

Наконец, только мудрец может быть вполне щедр, ибо он независим. Люди, которых связывают узы взаимной пользы, не могут быть щедрыми друг к другу. Дружба дает только в обмен, одна независимость делает дары.

¹² Если бы мы любили друга только ради него самого, мы заботились бы только о его благополучии; мы не упрекали бы его за то, что он нам не пишет или нас не навещает; мы бы говорили: ну, значит, он занят более приятным образом, и радовались бы его счастью.

ГЛАВА XV

О том, что боязнь физических страданий и опасения физических наслаждений могут заажечь в нас всякого рода страсти

Заглянем в летописи истории, и мы увидим, что во всех странах, где известные добродетели поощрялись надеждой на чувственные удовольствия, эти добродетели были самыми распространенными и доставляли наибольшую славу.

Почему жители Крита и Беотии и вообще народы, особенно отдававшиеся любовной страсти, были наиболее мужественными? Потому что в этих странах женщины были благосклонны только к храбрецам; потому что любовные наслаждения, как замечают Плутарх и Платон, наиболее способны возвышать душу народа и являются достойной наградой героев и добродетельных людей.

Вероятно, по этой причине римский сенат, презритель листец Цезаря, предполагал, по сообщению некоторых историков, издать особый закон, дававший Цезарю право наслаждаться всеми римскими женщинами; это же заставило Платона говорить, в соответствии с греческими нравами, что самый прекрасный должен быть по окончании битвы наградой самому доблестному; это же, должно быть, имел в виду и Эпамионд, когда он в сражении при Левктрах поставил любовника рядом с возлюбленным; такой распорядок, по его мнению, способен был всегда обеспечить военный успех. Действительно, какую огромную власть имеют над нами чувственные удовольствия. Они сделали священную дружину фиванцев несокрушимой; они внушили древним народам величайшее мужество, так как победители делили между собой имущество и женщин побежденных; они же образовали характер добродетельных самнитов, у которых совершившей красота была наградой за величайшую добродетель.

Чтобы убедиться в этой истине на более обстоятельном примере, рассмотрим, при помощи каких средств знаменитый Ликург вызвал в сердцах своих сограждан энтузиазм и, так сказать, лихорадочное стремление к добродетели, и мы увидим, что если ни один народ не превзошел лакедемонян в мужестве, то потому, что ни один народ не ценил так добродетель и не награждал лучше за

добрость. Вспомним торжественные празднества, на которых, согласно с законами Ликурга, полунасые, прекрасные молодые лакедемонянки выступали, танцуя, в народном собрании. Там они в присутствии народа оскорбляли насмешками тех, кто проявил некоторую трусость на войне, и прославляли в песнях молодых воинов, отличившихся выдающимися подвигами. Несомненно, что трус, осыпанный перед всем народом горькими насмешками девушек, испытывая стыд и смущение, должен был переживать сильнейшее раскаяние. И, напротив, какое торжество для молодого героя, когда он получал пальму славы из рук красоты, когда он читал на лице старцев уважение, а в глазах молодых девушек любовь и обещание ласк, одна надежда на которые есть уже удовольствие. Можно ли сомневаться в том, что этот молодой воин был опьянен добродетелью? Поэтому-то спартанцы всегда стремились победить и яростно бросались на вражеские полки, и хотя бы их со всех сторон окружала смерть, они видели только славу. В спартанском законодательстве все способствовало тому, чтобы превратить людей в героев. Но, чтобы установить его, надо было, чтобы Ликург, убедившись в том, что удовольствие есть единственный и всеобщий двигатель людей, понял, что женщины, которые всюду казались созданными только для того, чтобы, подобно цветам в красивом саду, быть украшением земли и удовольствием для глаз, должны быть призваны к более благородному делу, — понял, что этот пол, униженный и презираемый почти у всех народов, может быть приобщенным к славе мужчин, разделять с ними лавры, которые Ликург их заставлял срывать, и стать одной из могущественнейших пружин законодательства.

В самом деле, если любовные наслаждения доставляют людям самое сильное наслаждение, то какой плодотворный зародыш мужества должен содержаться в этом удовольствии, и как влечение к женщине может вдохновлять к добродетели¹.

Всякий, кто углубится в свою душу, поймет, что если бы собрания спартанцев были более многочисленны, если бы на них трус был покрыт еще большим позором, если бы там было возможно воздать еще больше почестей и прославления доблести, то в Спарте энтузиазм к добродетели возрос бы еще сильнее.

Для доказательства предположим, что, проникнув, если можно так выражаться, глубже в намерения природы, вообразили бы, что, украсив прекрасных женщин столькими чарами, связав такое огромное наслаждение с обладанием ими, природа пожелала сделать их наградой за самую высокую добродетель; предположим далее, что, по примеру девственниц, посвящавшихся Изиде или Весте, самые прекрасные лакедемонянки предназначались бы для вознаграждения доблести; что они появлялись бы обнаженными на собрания и их уносили бы воины как приз за храбрость; что эти молодые герои одновременно испытывали бы опьянение любви и славы, — как ни странным и далеким от наших нравов показался бы нам этот обычай, но, несомненно, он сделал бы спартанцев еще более добродетельными и мужественными, ибо сила добро-

детеши всегда пропорциональна степени удовольствия, получаемого в награду за нее.

Замечу, что этот обычай, такой, повидимому, странный, существует в государстве Биснагар, столица которого Нарсенг. Чтобы поднять храбрость своих воинов, государь этого царства, по свидетельству путешественников, покупает, кормит и одевает весьма изящно и роскошно очаровательных женщин, пред назначаемых для услаждения особенно отличившихся воинов. Этим способом он внушает своим подданным высочайшую храбрость и привлекает ко двору воинов соседних государств, которым льстит надежда на обладание этими красивыми женщинами; они покидают свою страну и переселяются в Нарсенг, где они пытаются исключительно мясом львов и тигров и пьют кровь этих животных².

Из приведенных примеров явствует, что чувственные страдания могут вдохновить нас на всякого рода страсти, чувства и добродетели. Поэтому, не прибегая к примерам из отдаленных веков и стран, приведу как последний пример, в доказательство этой истины, времена рыцарства, когда женщины преподавали своим ученикам-рыцарям и искусство любви, и катехизис.

Если французы в эти времена, по замечанию Макиавелли, и впоследствии, когда они спустились в Италию, оказались столь храбрыми и страшными потомками римлян, то потому, что они были полны величайшей доблести. И как могло быть иначе? Женщины, прибавляет этот историк, были благосклонны только к самым доблестным из них. В доказательство достоинств своих любовников и их любви они требовали от них или привести с войны пленников, или штурмовать крепость, или захватить вражеский передовой пост; смерть своих любовников они предпочитали их бегству. Рыцарь приужден был тогда сражаться для того, чтобы прославить красоту своей дамы и доказать свою безмерную к ней любовь. Рыцарские похождения были постоянным предметом разговоров и романов. Всюду воспевалась любовь. Поэты требовали, чтобы среди битв и опасностей рыцарь непрестанно имел в памяти образ своей дамы. Они требовали, чтобы на турнирах, прежде чем начать поединок, рыцарь обратил взор к своей даме, как показывает следующая баллада:

Киньте нежный ввор, служители любви,
На помосты, на ангелов рая,
Тогда вы радостно и смело будете ломать копья
И будете почтены и обласканы.

В те времена все проповедывали любовь, и есть ли более могущественное средство воздействовать на душу? Разве походка, взгляд, всякий жест красавицы не представляют очарования для чувств и не опьяняют их? Разве женщины не могут по желанию создавать души и тела в людях слабых умом и телом? Разве фениксы не воздвигали алтарей красоте, под именем Венеры и Астарты?

Эти алтари могли быть низвергнуты только нашей религией. В самом деле, какой предмет может быть более достоин обожания (мы тех, кто не озарен светом веры), чем тот, коему небо поручило принять драгоценное сокровище самого сильного нашего удовольствия, пользование коим только и может заставить нас с радостью переносить тяжелое бремя жизни и утешить нас в том, что мы имеем несчастье существовать.

На сказанного мною относительно происхождения страстей я вынужу общее заключение, что чувственные страдания и удовольствия заставляют людей думать и действовать и являются единственными рычагами,двигающими нравственный мир.

Следовательно, наши страсти суть непосредственное следствие нашей физической чувствительности; все люди способны и восприимчивы к страстям, следовательно, все носят в себе плодотворный зародыш ума. Но, возразят мне, если люди и чувствительны, то не все в одинаковой степени; так, например, мы видим целые народы, равнодушные к славе и добродетели, а если люди не способны к таким сильным страстям, значит не все способны к одинаковой сосредоточенности внимания, а это является причиной большого неравенства их умственных способностей; отсюда следует, что природа не одарила всех людей одинаковыми умственными способностями.

Чтобы ответить на это возражение, нет необходимости исследовать, все ли люди обладают одинаковой физической чувствительностью; этот вопрос, ответить на который труднее, чем можно думать, далек от предмета моего исследования. Моя задача — исследовать, способны ли все люди к страстям, достаточно сильным, чтобы сообщить им то сосредоточенное внимание, с которым связано умственное превосходство.

С этой целью я прежде всего опровергну довод, опирающийся на невосприимчивость некоторых народов к страстям славы и добродетели, — довод, которым думают доказать, что не все люди способны к страстям. Я утверждаю, что невосприимчивость этих народов не может быть приписана природе, а должна быть приписана разным случайным причинам, как, например, особой форме нравления.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XV

¹ На какой страшный риск пошел сам Давид, когда для получения Мелхиседека он взялся принести и принес Саулу препущии двухсот филистимлян!

² У гелонов закон воаллагал на женщины все физические работы; они строили дома и обрабатывали землю, но в награду за их труд тот же закон даровал им приятное право разделять ложе со всяким понравившимся им воином. Женщины очень ценили это право. См. Вардесан, цит. у Евсевия в его «Praeparatio evangelica».

Жители Флориды умели приготовлять очень сильный и приятный напиток, но они прелодносили его только тем из своих воинов, которые проявили особое мужество («Recueil des Lettres Adis.»).

ГЛАВА XVI

Какой причине следует приписать равнодушие некоторых народов к добродетели

Чтобы решить, отчего зависит равнодушие некоторых народов к добродетели: от природы или от особой формы правления, следует прежде всего познать человека, проникнуть в самую глубину человеческого сердца, помнить, что человек рожден чувствительным к боли и наслаждению и потому своими страстями обязан физической чувствительности, а страстям он обязан всеми своими пороками и добродетелями.

Установив эти принципы, следует затем для решения поставленного нами вопроса исследовать, могут ли одни и те же страсти, измененные соответственно различным формам правления, вызывать в нас противооположные пороки и добродетели.

Предположим, что какой-нибудь человек так любит славу, что готов покертовать ей всеми остальными страстями; если форма правления такова, что слава всегда является наградой за добродетельные поступки, тогда, очевидно, этот человек будет всегда побуждаем к добродетели; следовательно, для того чтобы сделать из него Леонида или Горация Коклеса, достаточно, чтобы он попал в соответственное государство и условия.

Но, возразят мне, очень мало людей, способных на такую степень страсти. Поэтому-то, отвечу я, только человек, способный к сильным страстям, может проникнуть в храм добродетели. Не так обстоит дело с людьми, неспособными к сильным страстям, которых называют *порядочными*. Эти последние, будучи далеки от этого храма, все же удерживаются на пути добродетели узами лести, ибо они не имеют даже силы сойти с него.

Только добродетель первого рода есть разумная и деятельная добродетель, но она увеличивается или, по крайней мере, достигает известной степени высоты только в воинственных республиках: ибо только при этой форме правления общественное уважение возвышает нас над другими людьми, привлекает с их стороны наибольшее почтение к нам, наиболее для нас лестно и желательно и наиболее способно вызвать великие поступки.

Добродетель вторых, покоящаяся на лени и вызванная, если можно так выразиться, отсутствием сильных страстей, есть только пассивная добродетель, неразумная и, следовательно, опасная на первых постах, но, впрочем, довольно надежная. Она свойственна всем так называемым *порядочным людям*, которых больше уважают за то, что они не приносят зла, чем за то, что они делают добро.

Что касается приведенных мною первыми людей сильной страсти, то ясно, что то же стремление к славе, которое сделало из них в первые века Римской республики Курциев и Дециев, должно было сделать из них Марииев и Октавиев во времена смуты и революций, когда, как в последние годы республики, слава была связана исключительно с тиранией и силой. Все сказанное мною

относительно страсти к славе я повторяю и относительно любви к уважению, которое есть только меньшая степень славы и предмет желания для тех, кто не может достигнуть знаменитости.

Это желание уважения также вызывает в различные времена различные пороки и добродетели. Когда влияние в обществе имеет перевес над заслугой, это желание делает людей интриганами и пистецами; когда богатство в большем почете, чем добродетель, оно порождает скупцов, которые с таким же рвением гоняются за богатством, с каким первые римляне избегали его, когда было постыдно им обладать; отсюда я заключаю, что при различных пранах и формах правления одно и то же желание должно породить таких людей, как Цициллат, Папирий, Красе и Сеян.

При этом указу мимоходом на различие между честолюбцами, стремящимися к славе, и честолюбцами, стремящимися к власти и богатству. Первые могут быть только великими преступниками, потому что крушные преступления, благодаря требуемому для выполнения их большому таланту и связанный с их успехом большой награде, одни только так импонируют воображению людей, что могут вызывать их восхищение, которое проистекает от внутреннего и тайного желания быть похожими на этих знаменитых преступников. Следовательно, человек, влюбленный в славу, не способен быть мелким преступником. Эта страсть порождает Кромвелей, но никогда Картишей. Отсюда я заключаю, что, за исключением редких и необыкновенных положений, в каких, например, очутились Сулла и Цезарь, эти самые люди по самой природе своих страстей остались бы во всяком другом положении верными добродетели, чем они сильно отличаются от интриганов и скупцов, преступления которых пизки и темны и которые потому имеют ежедневно случай совершать новые.

Показав, каким образом та же самая страсть, которая побуждает нас к любви, к добродетели и к добродетельным поступкам, может в другое время и при иной форме правления вызвать в нас противоположные пороки, постараемся теперь проникнуть глубже в человеческое сердце, раскрыть, почему при всякой форме правления человек всегда не тверд в своем поведении и побуждается своими страстями то к хоропиям, то к дурным поступкам и почему его сердце всегда является открытой арепой для борьбы между пороком и добродетелью.

Чтобы решить эту нравственную проблему, следует поискать причину тех перемежающихся состояний беспокойства и покоя совести, тех смутных и разнообразных душевных движений и, наконец, той внутренней борьбы, которую трагические поэты с таким успехом изображают на сцене именно потому, что зрители сами испытали нечто подобное, — следует спросить себя, что такое эти два «я», которые призывали в пас Наскаль,¹ и некоторые индусские философы.

Чтобы открыть общую причину всех этих явлений, достаточно заметить, что люди не бывают движимы только одного рода чувством, что нет ни одного человека, душевная способность которого

была бы поглощена одной единственной страстью; что в каждом человеке борются различные страсти: одни — согласные с общим интересом, другие — противные ему, и потому человека притягивают две различные силы, из которых одна приводит его к добродетели, а другая к пороку. Я утверждаю это про каждого человека, ибо нет добродетели более всемирно признанной, чем добродетель Катона и Брута, и ни один человек не может считать себя более добродетельным, чем эти два римлянина, и, однако, один под влиянием алчности совершил некоторые несправедливости во время своего правления, а другой уступил просьбам своей дочери и добился от сената для своего зятя милости, в которой он заставил отказать своему другу Цицерону, так как это противоречило интересам республики. Вот причина той смеси порока и добродетели, которую мы находим в сердцах всех людей, и вот почему на земле нет ни чистого порока, ни чистой добродетели.

Теперь, чтобы узнать, почему одного человека называют добродетельным, а другого порочным, следует заметить, что во всяком человеке между одушевляющими его страстями есть всегда одна, которая главным образом направляет все его поведение и берет в его душе верх над всеми другими.

И вот в зависимости от того, более или менее сильно властвует эта последняя и является ли она по своей природе или благодаря обстоятельствам полезной или вредной для государства, человек чаще склоняется к добру или к злу и получает название добродетельного или порочного.

Прибавлю только, что сила его пороков и его добродетелей всегда пропорциональна живости его страстей, сила которых измеряется степенью удовольствия, которое он получает при их удовлетворении. Вот почему в юности, в возрасте, когда люди более склонны к наслаждениям и более способны к сильным страстям, они вообще и более способны к великим деяниям.

Высшая добродетель, как и самый позорный порок являются следствием более или менее сильного удовольствия, какое мы испытываем, отдаваясь им.

Поэтому человек может точно измерить свою добродетельность только после того, как он точно и тщательно исследует, какое число и какую степень страданий может заставить его перенести такая страсть, как любовь к справедливости или к славе. Тот, для которого уважение есть все, а жизнь — ничто, предпочтет, подобно Сократу, умереть, чем трусливо молить о жизни. Тот, кто становится душой республиканского государства, кого гордость и жажда славы делают страстным защитником народного блага, предпочтет, подобно Катону, смерть унижению видеть себя и свое отечество подчиненными самовластию. Но эти поступки вытекают из сильнейшей любви к славе. Этого предела достигают самые сильные страсти, и этот предел положен природой человеческой добродетели.

Напрасно станем мы стараться обмануть самих себя, по мы непременно становимся врагами людей, если мы можем быть сча-

стини только через их несчастье². Только счастливое соответствие между нашей личной выгодой и общественной, вытекающее едва ли не из желания заслужить уважение, вызывает в нас те неистые чувства к людям, в награду за которые мы получаем их расположение. Тот, кому, чтобы быть добродетельным, пришлось бы постоянно бороться со своими склонностями, стал бы непременно порочным человеком. Завоеванная добродетель никогда не бывает надежной добродетелью³. На практике невозможно ежечтвенно сражаться со своими страстью, не теряя при этом многих поражений.

Принужденные постоянно уступать наиболее могущественному интересу, мы, как бы ни жаждали уважения, никогда не жертвуем ради него наслаждениями более сильными, чем те, которые оно может нам доставить. Если в некоторых случаях святые подвергали себя презрению людей, то потому, что они не хотели жертвовать своим спасением своей славе. Если некоторые женщины противятся ухаживаниям какого-нибудь князя, то потому, что они не считают, что эта победа может вознаградить их за потерю их репутации; потому-то немногие из них остаются нечувствительными к любви короля, и почти нет ни одной, которая бы не склонилась на любовь молодого и привлекательного государя, и ни одна не могла бы противиться благодетельным, милым и могущественным существам, какими нам описывают сильфов и гении, которые посредством тысячи очарований могут привести в упоение грезу все чувства смертной женщины.

Эта истина, основывающаяся на чувстве любви к себе, была не только понята, но и признана законодателями.

Законодатели, убежденные, что любовь к жизни есть самая сильная страсть, никогда не считали преступлением убийство, совершенное в состоянии самообороны, или отказ гражданина пожертвовать, подобно Децию, своей жизнью ради спасения отечества.

Следовательно, добродетельный человек не тот, кто жертвует своими привычками и самыми сильными страстью ради общего интереса, — такой человек невозможен⁴, — а тот, чья сильная страсть до такой степени согласуется с общественным интересом, что он почти всегда принужден быть добродетельным. Поэтому человек тем ближе к совершенству и тем более заслуживает название добродетельного, чем соблазняющее его на бесчестный или преступный поступок удовольствие сильнее, а выгода крупнее и более способна зажечь его желание, ибо это предполагает в нем более сильное стремление к добродетели.

Конечно, Цезарь не был одним из самых добродетельных римлян; однако, так как он мог променять титул доброго гражданина только на титул владыки мира, то мы не вправе исключать его из числа порядочных людей. Действительно, среди людей добродетельных и вполне заслуживающих это название много ли найдется таких, которые, будучи поставлены в те же условия, отказались бы от мирового владычества, особенно если бы они, как Це-

зарь, чувствовали в себе высшее таланты, которые являлись бы в их глазах залогом успеха великих предприятий? Обладание меньшими талантами, может быть, сделало бы их лучшими гражданами. Достаточно было бы средней добродетели, поддержанной неуверенностью в успехе, чтобы удержать их от такого смелого предприятия. Иногда недостаток талантливости охраняет от несчастья, и часто этот недостаток обуславливает добродетель.

Напротив, люди тем менее добродетельны, чем меньшие удовольствия побуждают их к преступлению. Таковы, например, некоторые марокканские государи, которые, садясь на коня, отсекают одним ударом сабли голову своего оруженося исключительно для того, чтобы показать свою ловкость.

Вот что отличает самым определенным, ясным и наиболее согласным с опытом образом человека добродетельного от человека порочного; по этому плану следовало бы построить точный термометр, который показывал бы градусы порочности и добродетели каждого гражданина, если бы онущенный в глубину сердец, он мог раскрывать цену, какую добродетель имеет для каждого из них. Невозможность достигнуть этого знания и заставляет нас судить о людях по их поступкам; этот метод весьма неправилен в некоторых частных случаях, но вообще соответствует общественному интересу и почти так же полезен, как если бы он был более правилен.

После того как мы исследовали игру страстей, объяснили причину смешения пороков и добродетелей во всех людях, указали границу людской добродетели и установили, начиная с представление, которое следует связывать со словом добродетельный, мы уже в состоянии судить о том, чему следует приписать равнодушие некоторых народов к добродетели: природе или особенностям их законодательства.

Если наслаждение есть единственный предмет желаний людей, то, чтобы внушить им любовь к добродетели, достаточно подражать природе; удовольствия указывают на ее требования, страдания — на ее запреты, и человек послушно ей повинуется. Неужели законодатель, вооруженный теми же средствами, не сумеет добиться того же эффекта? Если бы люди не обладали страстью, не было бы никакой возможности сделать их хорошими; но любовь к наслаждению, против которой так восставали люди, обладающие честностью скорее почтенней, чем просвещенной, является узкой, посредством которой можно направлять к общему благу страсти отдельных лиц. Отвращение большинства людей к добродетели не есть следствие порочности их натуры, а следствие несовершенства⁵ законодательства. Законы, если можно так выразиться, побуждают нас к порокам тем, что часто соединяют их с наслаждением; великое искусство законодателя и заключается в том, чтобы разъединить их, так чтобы выгода, извлекаемая злодеем из преступления, была совершенно не соразмерна тому страданию, которое ему за это грозит. Если среди богатых людей, которые в большинстве менее добродетельны, чем бедняки, мы реже встречаем во-

роп и убийц, то потому, что выгода от воровства для богатого человека никогда не бывает соразмерна риску наказания. Но так дело обстоит с бедняком: так как для него эта несоразмерность гораздо меньше, то он находится, так сказать, в состоянии равновесия между пороком и добродетелью. Я совсем не желаю этим сказать, что людьми надо управлять с помощью железного прута. При совершенном законодательстве и среди добродетельного народа презрение, делающее человека совершенно одиноким у себя на родине и лишающее его всякого утешения, есть достаточная причина, чтобы образовать добродетельные души. Всякий иной способ наказания делает людей робкими, трусливыми и тупыми. Добротель, порождаемая страхом пытки, мстит за свое происхождение; эта добродетель труслива и непросвещена, или, вернее, страх глушил пороки, но не рождает добродетель. Истинная добродетель вытекает из желания заслужить уважение и славу и из страха перед презрением, которое ужаснее смерти. В качестве примера приведу из «Spectateur anglais» ответ Фарамону солдата-дуэлиста, которого этот принц упрекал за то, что он преступил его приказ: «Как мог я, — отвечал он, — ему подчиниться? Ты наказываешь только смертью тех, кто преступает его, по ты наказываешь позором тех, кто ему повинуется. Знай же, что смерти я боюсь меньше, чем позора».

Из сказанного мною я заключаю, что не от природы, а от различия в государственном устройстве зависит любовь или же равнодушие различных народов к добродетели; но как бы справедливо ни было это заключение, я должен для полного доказательства его осветить этот вопрос и указать в частности, как различные формы правления, свободные и деспотические, порождают эту любовь или это равнодушие к добродетели. Сначала я остановлюсь на деспотизме; а чтобы лучше узнать его сущность, я исследую, какое побуждение вызывает в человеке ту необузданную жажду самовластия, какую мы наблюдаем на Востоке.

Я выбираю для примера Восток, ибо неизменное равнодушие к добродетели постоянно наблюдается в формах правления этого рода. Напрасно некоторые соседние завидующие нам государства упрекают нас в том, что мы находимся уже под игом восточного деспотизма; я утверждаю, что наша религия не позволяет государям присваивать себе такого рода власть, что наше правление — монархическое, а не деспотическое, что поэтому только закон, а не произвол может лишить у нас частных лиц их собственности; что наши государи претендуют на титул монарха, а не деспота; что они признают основные законы королевства, называя себя отцами, а не тиранами своих подданных. К тому же, если бы деспотизм воцарился во Франции, она была бы очень скоро завоевана. Это государство находится не в тех условиях, как Турция или Персия, которые защищены огромными пустынями и благодаря своей обширности могут постоянно возмещать убыль населения, производимую деспотизмом, и всегда доставлять султану армии. В таком стесненном в своих границах государстве, как наше, окруженному

просвещенными и могущественными народами, люди не могут быть унижаемы безнаказанно. Если бы Франция обезлюдела благодаря деспотизму, то она сделалась бы легкой добычей других государств. Государю, которому вздумалось бы наложить оковы на руки своих подданных, подчинить их и сделать из них рабов, самому пришлось бы подпасть под иго соседних государей. Поэтому невозможно, чтобы у него родилось такое намерение.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XVI

¹ В школе веданты брамины этой секты поучают, что существует два принципа: один — положительный: это — я, другой — отрицательный, который они называют *майя*, т. е. *мое*, т. е. *заблуждение*. Мудрость состоит в том, чтобы освободиться от майи, убеждая себя непрестанно и прилежно, что ты существо *единое, вечное и бесконечное*; ключ к освобождению заключается в этих словах: «я есть высшее существо».

² Secundum id quod amplius nos delectat operemur necesse est (необходимо нам поступать согласно тому, что больше забавляет нас), говорит блаж. Августин.

³ Вельможа поручает охрану своих жен в гареме не завоеванной добродетели, а импотенции.

⁴ Если и кажется, что существуют люди, жертвующие своей выгодой во имя общественного интереса, то это потому, что при хорошей форме правления идея добродетели до такой степени связана с идеей счастья, а представление о пороке — с презрением, что человек под влиянием сильного чувства, происхождение которого он не всегда знает, совершает поступки, часто несогласные с его выгодой.

⁵ Если воры так же соблюдают взаимные договоры, как и честные люди, то потому, что соединяющая их общая опасность принуждает их к этому. По этой же причине люди так добросовестно уплачивают карточные долги и в то же время так бесстыдно обзывают себя банкротами в глазах своих кредиторов. А если выгода может заставить негодяев поступать так, как добродетель — людей порядочных, то несомненно, что, искусно пользуясь принципом интереса, просвещенный законодатель может направлять всех людей к добродетели.

ГЛАВА XVII

О стремлении всех людей к деспотизму, о средствах достижения этого и об опасности от деспотизма для государей

Это стремление имеет своим источником любовь к наслаждению и коренится, следовательно, в самой природе человека. Каждый желает достигнуть возможно большего счастья, каждый желает обладать властью, которая принуждает других людей всячески способствовать его благоденствию: отсюда и вытекает желание повелевать.

Но управление народом основывается или на установленных законах и соглашениях, или на произволе. В первом случае власть

государей над народом является менее абсолютной: народ не та принужден угодить им; кроме того, чтобы управлять народом согласно законам, нужно их знать, размышлять над ними, преодолевать все трудности их изучения, — все, от чего старается уклониться леность. Поэтому, чтобы удовлетворить свою лень, каждый стремится к абсолютной власти, которая, избавляя деспота от забот, от изучения законов и от всякого напряжения внимания, в то же время рабски подчиняет людей его воле.

По Аристотелю, деспотическим государством является такое государство, в котором все — рабы, и лишь один человек свободен.

Вот почему каждый стремится стать деспотом. Чтобы достичь этого, необходимо ослабить власть вельмож и народа, а для этого противопоставить друг другу интересы граждан. В долгой смене веков время почти всегда доставляет государствам такую возможность, которой, побуждаемые личным, плохо понятым интересом, они и спешат воспользоваться.

На такой анархии интересов был основан восточный деспотизм, напоминающий описание Мильтоном владычество Хаоса, который, по его словам, простирает свое королевское знамя над бесплодной и опустошенной бездной, где беспорядок поддерживает анархию и вражду стихий, управляя каждым атомом посредством железного складера.

Но после того как среди граждан посеян раздор, становится необходимым для развращения и принижения людей постоянно держать сверкающий меч тирании перед их глазами, низводить добродетель на степень преступления и наказывать за нее как за таковое. До каких жестокостей не доходит в этой области не только деспотизм на Востоке, но даже деспотизм римских императоров! Во времена царствования Домициана, говорит Тацит, добродетель наказывалась, смертным приговором. Рим был переполнен доносчиками; раб был шпионом своего господина, вольноотпущенник — своего патрона, друг — шпионом своего друга. В это бедственное время человек добродетельный хотя и не участвовал в преступлении, тем не менее должен был оказывать ему поддержку. Смелость была бы сочтена преступлением. У развращенных римлян слабость считалась героизмом. В то время подверглись наказанию как государственные преступники Сенеки и Рустик, написавшие панегирики добродетелям Трации и Гельвидия; сочинения этих знаменитых ораторов были сожжены по повелению властей. Знаменитые писатели были обречены, подобно Плинию, на составление учебников по грамматике, потому что всякое произведение более высокого характера являлось подозрительным в глазах тирании и опасным для автора. Те ученые, которые были призваны в Рим Августом, Веспасианом, Антонием и Траяном, были изгнаны Нероном, Калигулой, Домицианом и Каракаллой. Философов изгоняли, науки уничтожали. По словам Тацита, эти тираны хотели искоренить все, посившее на себе отпечаток духовности и добродетели.

Держа таким образом души в постоянном Трепете, тираны унижают их; на Востоке она изобретает мучения и ужасные пытки¹, порой необходимые в этих гнусных странах, где народы побуждаются к преступлениям не только бедственным положением, но и своим султаном, который подает им пример преступности и учит их презирать справедливость.

Таковы мотивы, на которых основана любовь к деспотизму, и таковы средства для его достижения. И вот, безумно стремясь к самовластию, цари неосторожно бросаются на путь, усеянный для них множеством опасностей, и гибнут в них тысячами. Решимся же, для счаствия человечества и самих государей, просветить их на этот счет и указать им на опасность, которой подвергаются они и их народ при таком управления. Пусть отныне они устроят от себя вероломных советников, возбуждающих в них стремление к самовластию, и пусть они поймут, наконец, что наиболее действительным трактатом против деспотизма был бы трактат о благоденствии и о безопасности монархов.

Но, возразят на это, кто же может скрывать от них такую истину? И почему не сравнивают ничтожное число изгнанных из Англии государей с громадным количеством греческих или турецких императоров, задущенных на Константинопольском престоле? На это я мог бы ответить, что если султанов недерживают такие страшные примеры, то потому, что обыкновенно они не всегда помнят о такой возможности, и потому еще, что их всегда побуждают к деспотизму люди, желающие разделить с ними блага самовластия; большинство восточных государей является орудием своих визирей; по слабости характера они уступают их желаниям, не предупреждаемые благородным сопротивлением подданных о своей неправедности.

Стать деспотом легко. Народ редко предвидит бедствия, которые несет за собой окрепшая тирания. Если же он, наконец, замечает их, то уже тогда, когда согбенный под игом, обремененный цепями и бессильный защищаться, он лишь в трепете ожидает казни. Ободряемые слабостью народов, государи становятся деспотами. Они не понимают, что сами над собственной головой вешают меч, который должен их поразить; что для отмены всех законов и для сведения всякой власти к произволу они постоянно должны прибегать к силе и пользоваться оружием солдата. А такие средства или возмущают граждан и побуждают их к мести, или же незаметно приучают их видеть справедливость лишь в силе.

Эта идея распространяется в народе медленно, но, наконец, она все же проникает в него и доходит до солдат. Солдаты, наконец, замечают, что в государстве нет ни одного сословия, которое могло бы оказать им сопротивление; что государь, ненавидимый подданными, им обязан всей своей властью, и вот, незаметно для них самих, их душа раскрывается для смелых замыслов, они желают улучшить свое положение. И если тогда какой-нибудь смелый и бесстрашный человек поддержит их в этой надежде и пообещает отдать им па разграбление несколько больших городов, то этого достаточно, — как свидетельствует о том вся история, — чтобы

вызвать революцию; за первой революцией обыкновенно быстро следует вторая, ибо, как говорит знаменитый президент Монтескье, в деспотических государствах очень часто избивают тиранов, не уничтожая самой тирании. А раз только солдаты почувствовали свою силу, то уже нет возможности удержать их. Как пример, я могу назвать всех тех римских императоров, которые пали жертвой преторианцев и то, что хотели освободить отечество от солдатской тирании и восстановить дисциплину в армии.

Словом, для того, чтобы повелевать рабами, деспот сам вынужден подчиняться военщие, всегда беспокойной и падшей. Этого не случается, если государь создал в стране сильное судейское сословие. Подлеца его суду, народ учится отличать справедливое от несправедливого; и солдаты, набираемые всегда из гражданского сословия, сохраняют в новом своем положении некоторое представление о справедливости; кроме того, солдаты понимают, что все граждане, поднятые государством и судейским сословием и ставшие под знамя закона, окажут сопротивление их дерзким начинаниям и что, какова бы ни была их храбрость, в конце концов они будут раздавлены численным перевесом противника. Словом, идяя справедливости и страх заставляют их выполнять свой долг.

Сильное судейское сословие является, таким образом, необходимой поддержкой для монархов. Это — щит, защищающий как народ, так и государя; одного — от жестокостей тирании, другого — от ужасов восстания.

В связи с этим, желая избежать опасности, со всех сторон окружающей деспотов, халиф Гарун-Аль-Рашид попросил однажды у своего брата, знаменитого Белула, совета о хорошем способе управления. «Сделай так, — сказал тот, — чтобы твои желания были согласованы с законами, а не законами с твоими желаниями. Помни, что люди недостойные требуют многого, великие же люди малого, поэтому противясь просьбам одних и предупреждай просьбы других. Не обременяй своего народа чрезмерными податями: относительно этого вспоминай советы царя Нуширвана справедливого своему сыну Ормузу. «Сын мой, — говорил он ему, — в твоем царстве никто не будет счастливым, если ты будешь думать только о собственных удобствах. Когда, лежа на подушках, ты будешь отходить ко сну, вспомни о тех, кого притеснения заставляют бодрствовать; когда поставят перед тобой роскошную трапезу, подумай о тех, кто погибает в нищете; когда ты будешь прогуливаться по очаровательным рощам своего гарема, помни о тех несчастных, которых тирания держит в оковах». Ко всему, что я сказал, — промолвил Белуль, — мне остается прибавить лишь одно слово: возьми под свое покровительство людей, сведущих в науках; руководись их советами, для того чтобы монархия повиновалась писанному закону, а не закон монархии»².

Фемистий³, которому Сенат поручил обратиться с речью к Иоанну при восшествии его на престол, сказал этому императору приблизительно то же самое: «Помни, — сказал он ему, — что если воины возвысили тебя до власти над империей, то философы

научат тебя хорошо править ею. Первые даровали тебе пурпур цезарей, вторые научат тебя достойно носить его».

Даже у древних персов, наиболее презренных и лизких из всех народов, было позволено⁴ философам, наставлявшим государей при их вступлении на престол, обращаться к ним в день венчания на царство со следующими словами: «Знай, о царь, что власть твоя перестанет быть законной в тот самый день, когда ты перестанешь заботиться о счаствии персов!» Этой истиной был проникнут и Траян, когда при восшествии своем на престол, преподнося, согласно обычаю, меч префекту преторианских войск, он обратился к нему со следующими словами: «Прими от меня этот меч и пользуйся им в мое царствование или для того, чтобы защищать меня как государя справедливого, или же для того, чтобы поразить им меня как тирана».

Тот, кто под предлогом поддержания царской власти хочет сделать ее самовластной, является одновременно плохим отцом семейства, плохим гражданином и плохим подданным; плохим отцом и гражданином, ибо он подвергает свое потомство и свое отечество узам рабства; плохим подданным, потому что, превращая законную власть во власть деспотическую, он поднимает против царя честолюбие и отчаяние. Я приведу в пример восточные монархии, столь часто обагрявшиеся кровью своих государей⁵. В интересах самих султанов не стремиться к подобной власти и не уступать в этом желаниям своих визирей. Государи должны быть глухи к таким советам и постоянно помнить о том, что исключительно в их интересах поддерживать, так сказать, значение своего государства, чтобы сохранить власть для себя и своего потомства. Такой настоящий расчет понятен лишь государям просвещенным; у остальных же кичливое желание повелевать и леность, скрывающая от них все опасности, которыми они окружены, всегда перевесят всякий иной расчет; и всякое правительство, как это показывает история, всегда будет стремиться к деспотизму.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XVII

¹ Пытки, обычные почти на всем Востоке, потому внушают ужас человечеству, что сам деспот, приговаривающий к ним, чувствует себя выше закона. В республиках дело обстоит иначе; законы там всегда мягкие, потому что устанавливающий их сам им подчиняется.

² Chardin, t. V.

³ «Histoire critique de la philosophie» par Mr. Deslandes.

⁴ См. «Histoire critique de la philosophie».

⁵ Несмотря на приверженность китайцев к своим государям, побуждавшую тысячи их убивать себя на могилах своих царей, как много в этой империи совершилось революций, вызванных честолюбием и жаждой абсолютной власти! См. «Histoire des Huns», par M. de Guignes, статья о Китае.

ГЛАВА XVIII

Главные следствия деспотизма

Прежде всего я укажу на два вида деспотизма: один водворяется внезапно силой оружия среди народа добродетельного, нетерпеливо сносящего его. Такой народ можно сравнить с дубом, который сошли с трудом и который, благодаря своей упругости, скоро разрывает связывающие его веревки. Многочисленные примеры этого есть Греция.

Другой вид деспотизма обусловливается временем, роскошью и изнеженностью. Народ, среди которого водворяется деспотизм такого рода, можно сравнить с тем же дубом, который, будучи согнут постепенно, незаметно утрачивает силу сопротивления, необходимую для того, чтобы вырваться. В настоящей главе речь идет об этом последнем виде деспотизма.

У народов, подчиненных подобной форме правления, сановные лица не могут иметь никакого ясного представления о справедливости, находясь в этом отношении в глубочайшем неведении. И, в самом деле, какое представление о справедливости может иметь какой-нибудь визирь? Он не знает, что существует общественное благо; лишенные же такого знания люди блуждают наугад; понятия о правде и неправде, полученные в ранней юности, незаметно затмеваются и, наконец, совершенно исчезают.

Но, спросят меня, кто же может отнять это знание у визирей? На этот вопрос я отвечаю следующее: как же им приобрести это знание в странах деспотических, где граждане не принимают никакого участия в делах общественных? где с неудовольствием смотрят на человека, обращающего внимание на несчастья родины? где плохо понятые интересы султана противоречат интересам его подданных? где служить государю значит изменять народу? Для того, чтобы быть справедливым и добродетельным, нужно знать, в чем состоят обязанности государя и подданных, и изучить взаимные обязательства, связывающие всех членов общества. Справедливость есть не что иное, как основательное знание этих обязательств. Чтобы возвыситься до такого познания, нужно мыслить, а кто же умеет мыслить среди народа, подчиненного произвольной власти? Леность, бездеятельность, непривычка и даже болезнь мыслить быстро влекут за собой бессилие мыслить. В странах, где замалчивают свои мысли, думают мало. Напрасно стали бы говорить, что там молчат из осторожности, но что от этого думают не меньше: факт тот, что думают не больше и что никогда мысли благородные и смелые не зарождаются в умах, подвластных деспотизму.

Такие правительства воодушевлены лишь духом эгоизма и заблуждения, предвозвещающим гибель государств. Все, устремив здесь свое внимание только на интересы личные, не обращают его на интерес общественный. Поэтому подданные этих государств не имеют понятия ни об общественном благе, ни об обязанностях гражданина. И визири, выходящие из этой же самой народной среды,

вступая в должность, не обладают ни административными, ни юридическими принципами. Они ищут высоких должностей для того, чтобы разделить власть государя, но не для того, чтобы делать добро.

Но если бы даже они стремились к добру, то, чтобы делать его, нужно быть просвещенным; у визирей же, поглощенных гаремными интригами, нет для этого времени.

Кроме того, для получения образования нужно подвергнуть себя утомительному изучению и размышлению; а что могло бы побудить их к этому? Ведь они не побуждаются к этому даже боязнью критики¹.

Если позволительно сравнивать малые вещи с большими, пусть представлят себе положение литературы. Если бы из нее изгнали критику, то разве тот же самый автор, который под влиянием благодетельного страха осуждения внимательно совершенствует свой талант, не преподносил бы обществу небрежные и несовершенные труды? Именно таково положение визирей; вот причина, почему они не обращают никакого внимания на управление делами и никогда не чувствуют себя вынужденными обращаться за советом к людям просвещенным².

Сказанное мною о визирах я отношу и к султанам. Государи не могут избежать певожества, общего всему их народу. В этом отношении их положение еще хуже, чем положение их подданных. Лица, воспитывающие или окружающие их, мечтая управлять от их имени³, естественно стремятся лишить разума своих повелителей. Поэтому государи, предназначенные на царство и запертые в гареме до смерти отца, переходят из гарема на престол без всякого понятия о науке управления и ни разу не побывав на заседании Дивана.

Но почему бы визирам не позволить критике напоминать им, хотя бы изредка, о том, что они люди, следуя в этом примеру Филиппа Македонского, который не был ослеплен своим превосходством над другими в мужестве и в знаниях и который платил пажам за то, чтобы они ежедневно повторяли ему: «Помни, Филипп, что ты человек»⁴. Почему польза безнаказанно сомневаться в справедливости их решений и повторять им слова Гроция о том, что *всякое приказание или закон, не подлежащий критике, может быть только несправедливым законом?*

Причина этого в том, что визири — люди. Много ли написось бы авторов, достаточно великодушных для того, чтобы щадить своих критиков, если бы у них была власть наказывать их? Во всяком случае, только люди возвышенные и благородные могли бы, жертвуя своим недовольством на пользу общества, сохранить литературе критиков, столь необходимых для процветания наук и искусства. Но можно ли требовать подобного великодушия от визирей?

«Мало министров, — говорит Бальзак, — достаточно великодушных для того, чтобы предпочтеть похвали своему милосердию, — похвалы, которые будут жить, пока живут народы, — падаждению мести, проходящему столь же быстро, как удар топора, отсекающий голову». Немного визирей достойны похвалы, с кото-

рой жрецы в «Сетоссе» обращаются к царице Нефтэ: «Она простила, как прощают боги, имея полную власть наказать».

Обладающий властью всегда несправедлив и мстителен. По этому поводу Вандом говорил, шутя, что во время переходов армии он неоднократно наблюдал столкновения между мулами и их противниками и что, к стыду человечества, правда была почти всегда на стороне мулов.

Дю Вернэ, который был настолько сведущ в естественной истории, что по одному зубу животного определял, плотоядное оно или травоядное, часто говорил: «Пусть дадут мне зуб какого-нибудь неизвестного животного, — по одному его зубу я могу судить о его правах». По его примеру какой-нибудь философ-моралист мог бы сказать: «Назовите мне степень власти того или иного лица, по этой степени я могу заключить о его справедливости». Напрасно стали бы мы, желая обезоружить жестокость визирей, повторять слова Тацита, что щитки, которым подвергают критиков, являются трубными звуками, возвещающими потомству позор и пороки их наследия; в деспотических государствах мало заботятся о славе и о потомстве, потому что, как я доказал выше, люди ценят уважение не ради чего самого, но только ради доставляемых им выгод и потому что нет такого уважения, которое оказывает заслуге и в котором смеют отказать силе.

Словом, визири не имеют никакого интереса в просвещении и поэтому не выносят критики; вследствие этого они вообще мало образованы⁵. Относительно этого милорд Болинброк говорил, что, будучи еще молодым, он воображал, что правители народов являются людьми выдающегося ума. Но, — прибавлял он, — вскоре опыт показал мне мою ошибку: я присмотрелся к тем лицам, которые держали корнило правления в Англии, и увидел, что вельможи имели довольно большое сходство с теми финикийскими богами, на чьи плечи сажали голову быка в знак их высшей власти, и что вообще люди управляются наиболее глупыми из них среды». Эта истина, которую Болинброк, может быть в досаде, применяя к Англии, несомнена почти для всех империй Востока.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XVII

¹ Поэтому-то английский народ из всех своих привилегий одной из наиболее ценных считает свободу печати.

² Если в английском парламенте ссылались на авторитет президента Монтескье, то потому, что Англия — страна свободная. Что же касается министров и администрации, то царь Петр, спрашивая совета у знаменитого Лейбница, делал это потому, что один великий человек не стыдится обращаться за советом к другому великому человеку и потому что русские, благодаря своему общению с другими народами Европы, могут считаться просвещеннее народов Востока.

³ В одном государстве, весьма отличном от восточных государств, имеющим нас самих, Людовик XIII в одном из своих писем жаловался на маршала д'Ангера. «Он мешает мне прогуливаться по Парижу; он не разрешает мне

ничего, кроме удовольствия охоты и прогулок в Тюильри; моим придворным, равно как и всем моим подданным, запрещено беседовать со мною о важных делах и говорить со мной частным образом». Повидимому, во всех странах стремятся к тому, чтобы сделать государей не достойными престола, к которому они предназначены по рождению.

* На Востоке нельзя встретить человека, подобного герцогу Бургундскому. Этот принц прочитывал все пасквили, написанные на него и на Людовика XIV. Он хотел просветиться таким образом и знал, что только ненависть и недовольство смеют иногда говорить правду монархам.

* Так как граждане весьма мало сведущи в вопросах общественного блага, то почти все составители проектов в этих странах или негодяи, имеющие в виду лишь собственную пользу, или же посредственные умы, которые не могут одним взглядом охватить длинную цепь, связующую между собой все части государства. Поэтому обычно они предлагают проекты, не согласующиеся с остальными частями законодательства страны. И поэтому же они редко осмеливаются излагать их в трудах, предназначенных для публики.

Просвещенный человек понимает, что в этих государствах всякое изменение является новым несчастьем, потому что здесь нельзя следовать никакому плану, ибо все разверточено деспотическим правлением. Здесь возможно только одно полезное дело — незаметным образом изменить форму правления. Не понимая этого, знаменитый царь Петр, может быть, ничего не сделал для счастья своего народа: он должен был предвидеть, что за великим человеком редко следует другой великий человек, что так как он не изменил ничего в устройстве империи, то, благодаря самой форме правления, русские вскоре опять могут власть в варварство, из которого он начал извлекать их.

ГЛАВА XIX

Второе следствие деспотизма: презренное и уничижительное состолние народов поддерживает невежество визирей

Если сами визири не имеют никакой выгоды от просвещения, то, может быть, в интересах общества, чтобы они были просвещеными: каждый народ хочет быть хорошо управляемым. Почему же в этих странах мы не видим граждан, достаточно добродетельных для того, чтобы упрекнуть визирий в их невежестве и в их неправосудии и принудить их сделаться гражданами под страхом презрения? Потому, что самая сущность деспотизма в том, что он развертывает и приижает души.

В государствах, где власть карать и награждать принадлежит только закону, где провинчуются только ему, добродетельный человек, всегда чувствующий себя под его защитой, усваивает ту смелость и твердость души, которая неизбежно ослабевает в странах деспотических, где жизнь, имущество и свобода зависят от прихоти и произвола одного человека¹. В этих странах быть добродетельным так же безумно, как было не быть им на Крите или в Лакедемонии, и мы не находим там никого, кто бы восставал против несправедливости, вместо того чтобы поощрять ее, и кто бы воскликнул, подобно философу Филоксену: «Пусть меня снова соплют в каменоломни».

Как трудно быть добродетельным в этих государствах! Каким
только опасностям не подвергается там активная добродетель!
Нообразим себе человека, влюбленного в добродетель: желать,
чтобы такой человек видел в неправосудии и в неспособности визи-
рий и сатрапов причину народных бедствий и чтобы он в то же время
молчал об этом, — это значит желать вещей противоречивых.
Более того, в этом случае немая добродетель была бы бесполезной.
Чем добродетельнее данное лицо, тем скорее оно поспешит назвать
того, на кого должно пасть народное презрение; я скажу больше:
он должен это сделать. А так как несправедливость и глупость
визира, как я уже сказал выше, всегда облечены достаточной вла-
стью для того, чтобы осудить заслугу на самые страшные пытки,
чем добродетельнее будет этот человек, тем скорее он будет пре-
дан казни.

Как Нерон заставлял в театре зрителей рукоплескать, так визири
еще более жестокие, чем Нерон, требуют похвал от людей, которых
они обременяют податями и которых мучают. Они напоминают
Тиберия, в царствование которого считались мятежными даже крики
и стоны несчастных; ибо все преступно при преступном государе,
как говорит Светоний.

Каждый визир желал бы довести людей до состояния тех
предыдущих персов, которые, жестоко избитые по повелению государя,
олжны были потом явиться перед ним со словами: «Мы пришли
облагодарить тебя за то, что ты удостоил вспомнить о нас».

За благородной смелостью гражданина, достаточно добродетель-
ного для того, чтобы упрекнуть визирей в их невежестве и неспра-
ведливости, быстро последовала бы его казнь ², и понятно, что никто
не идет на это. Но герой, но смельчак? — возразят мне. Да, если
его поддерживает надежда на уважение и славу. Без этой надежды
смелость покидает его. У народа-раба такого благородного гражда-
нина сочли бы мятежником, и его казнь встретили бы одобрением.
Когда низость проникла в нравы страны, то нет такого преступления,
которое не вызвало бы похвал. «Если бы чума, — говорит Гордон, —
раздавала ордена, ленты и пепсии, то, наверное, нашлись бы до-
статочно гнусные теологи и достаточно низкие юристы, чтобы утвер-
ждать, что царство чумы основано на божественном праве и что
клоняться от заразы ею значит совершать величайшее преступле-
ние. Словом, в этих государствах благоразумнее быть соучастником,
нежели обвинителем мошенников: добродетели и таланты всегда
пунктят здесь мишенью для тирании».

Во время завоевания Индии Тамас-Кули-Ханом единственный,
постоянный уважения человек, которого этот государь нашел в им-
перии Могола, был некто Махмут, и этот Махмут был изгнан.

В странах, подвластных деспотизму, любовь, уважение и одо-
брение общества считаются преступлениями, за которые получаю-
щий их подвергается паказанию от государя. После победы над брит-
анским Агрикола, во избежание рукоплесканий народа и ярости До-
мициана, проезжает почью по улицам Рима и входит во дворец
императора: государь холодно целует его. Агрикола удаляется,

и вот победитель Британии в ту же минуту теряется, как говорит Тадит, среди толпы других рабов.

В эти бедственческие времена можно было в Риме воскликнуть вместе с Брутом: «О, добродетель! ты лишь пустой звук!» Как найти ее у народов, живущих в постоянном страхе, чья душа, ослабевшая от боязни, утратила всякую силу? Мы встречаем здесь лишь надменных властелинов и подлых и трусивых рабов. Существует ли зрелище более унизительное для человечества, чем аудиенция у визиря, когда, полный глупой важности и надменности, он подвигается, окруженный толпой клиентов, а они, серьезные, немые, неподвижные, с остановившимися и опущенным взором, в трепете³ ждут милостивого взгляда и напоминают тех браминов, которые, устремив глаза на кончик носа, ожидают существо с неба голубого и божественного огня, появление которого должно возвести их на степень идола.

Когда видишь достойного человека, униженного таким образом перед каким-нибудь глупым визирем или даже низким евнухом, то невольно вспоминаешь, с каким нелепым уважением в Японии относятся к журавлям; перед их именем всегда говорят: «О тури-сама», что значит «милостивейший государь».

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XIX

¹ В Турции не бывает, как например, в Шотландии, что бы закон карал государя за несправедливость по отношению к подданныму. При восшествии Маликорна на шотландский престол один вельможа подал ему грамоту, содержащую его привилегии, прося короля утвердить их. Король взял грамоту и разорвал ее. Тогда вельможа пожаловался парламенту, который приказал, чтобы король, сидя на престоле, в присутствии всего двора зашил иголкой грамоту вельможи.

² Если визирь совершает ошибку в управлении, приносящую вред государству, и если народ протестует, то гордость визиря бывает этим оскорблена. Вместо того чтобы исправить ошибку и постараться лучшим поведением успокоить справедливые жалобы, он занят лишь изысканием средств для того, чтобы заставить граждан замолчать. Подобные насилистственные средства раздражают народ; протесты усиливаются, и визирю остается на выбор одно из двух: или вести государство навстречу революции или же довести деспотизм до той крайности, которая всегда возвещает падение империи; обычно визирь останавливаются на последнем.

³ Сам визирь входит с трепетом в заседание Дивана, если на нем присутствует султан.

ГЛАВА XX

Третье следствие деспотизма: презрение к добродетели и ложное уважение, которое стараются к ней выказать

Если, как я уже доказал это в предыдущих главах, невежественность визирей есть неизбежное следствие деспотической формы правления, то другим подобным следствием является в этих странах насмешливое отношение к добродетели.

Несомненно, что на пышных трапезах персов, на ужинах их избранного общества издевались над умеренностью и грубостью спартанцев и что придворные, привыкшие пресмыкаться в передней свиухов, домогаясь постыдной чести стать их посмешищем, называли бесстыдью ту благородную гордость, которая не позволяла грекам простираясь перед персидским царем.

Рабский народ непременно осмеивает мужество, великодушие, нескорыстие и презрение к жизни, одним словом — все добродетели, основанные на беззаботной любви к родине и к свободе. В Персии должны были считать безумцем и врагом государя всякого добродетельного подданного, который, пораженный героизмом греков, призывал сограждан подражать им и быстрой реформой правления предотвратить близкое падение империи, где добродетель презиралась¹. Чтобы не считать самих себя презренными, персы должны были находить греков смешными. Нас могут поражать лишь те чувства, которые мы сильно переживаем. И великий гражданин, являющийся предметом уважения везде, где есть граждане, прослынет лишь безумным в государстве деспотическом.

Многие великие деяния казались бы безумными европейцам, хотя и более далеким от низости восточных народов, чем от героизма греков, если бы эти деяния не были освящены восхищением всех веков! Без этого восхищения кто бы не счел смешным приказ, полученный царем Агидом накануне битвы при Мантиее от лакедемонского народа: «Не пользуйтесь количественным превосходством; отошлите часть войск; сражайтесь с врагом при равных силах». Таким же безумным был бы сочен ответ, данный Калликратидом, начальником лакедемонского флота, в день битвы при Аргинузских островах Гермону, советовавшему ему не вступать в бой с превосходящим его по силе афинским флотом: «О, Гермон, — сказал он, — я ни за что не последую совету, результаты которого сделались бы злополучными для моей родины! Спарта не будет обесчещена своим полководцем. Здесь, на этом месте, я должен победить или погибнуть вместе с моим войском. Калликратиду ли учить искусству отступления людей, которые доныне никогда не справлялись о чистотности, но лишь о месте нахождения своего врага?» Такой благородный и возвышенный ответ показался бы безумным большинству людей. Чья душа достаточно высока и чье знание политики достаточно глубоко, чтобы почувствовать, как Калликратид, насколько важно было поддержать в спартанцах дерзкое упорство, делавшее их непобедимыми? Этот герой знал, что слишком большая осторожность могла ослабить чувства смелости и честолюбия, которые они в себе постоянно развивали, и что народ не обладает доблестями, если он не относится к ним щепетильно.

Плохие политики, не умеющие обозреть умом достаточно большого периода времени, очень сильно бывают поражены непосредственно находящейся перед ними опасностью. Привыкнув рассматривать все поступки вне соединяющей их цепи и желая освободить народ от избытка добродетели, они большей частью лишают его того талисма *a*, с которым связаны его успехи и слава.

Словом, мы восхищаемся этими деяниями только потому, чими восхищались в древности, да и то это наше восхищение проникнуто лицемерием или основывается на предрассудке. Сознательное восхищение неизбежно привело бы нас к подражанию.

Но кто же, даже из людей, называющих себя влюбленными в славу, станет краснеть за победу, основанную не всецело на его мужестве и искусстве? Много ли Антиохов-Сотеров? Этот государь, поняв, что поражением галатов он обязан тому ужасу, который обуял их при неожиданном появлении его слонов, стал проливать слезы над пальмовыми ветвями своего триумфа и приказал воздвигнуть на поле битвы трофеи слонам.

Прославляют великолупшие Гелона. После поражения бесчисленной карфагенской армии, когда побежденные ожидали для себя наиболее тяжелых условий, этот военачальник потребовал от разбитого Карфагена лишь прекращения варварского обычая приносить собственных детей в жертву Сатурну. Этот победитель воспользовался своей победой лишь для того, чтобы заключить, быть может, единственный договор, сделанный на пользу человечеству. Почему же среди стольких поклонников Гелон не находит себе подражателей? Тысячи героев, один за другим, подчинили себе Азию, но среди них не нашлось ни одного, кто, будучи чувствительным к бедствиям человечества, воспользовался бы своей победой для того, чтобы снять с жителей Востока гнет унижения и несчастий, наложенный на них деспотизмом. Ни один из них не разрушил тех домов скорби и слез, где ревнивцы безжалостно изувечивают несчастных, пред назначенных охранять их наслаждения, и осуждают их на постоянную пытку бессильного желания. Словом, образ действия Гелона пользуется лишь лицемерным или основанным на предрассудке уважением.

Мы чтим мужество, но менее, чем его почитали в Спарте, и при виде укрепленного города мы не испытываем, подобно лакедемонянам, чувства презрения. Некоторые из них, проходя под стенами Коринфа, спросили: «Что за женщины живут в этом городе?» — «Коринфяне», — ответили им. — «Разве же эти низкие и трусливые мужи не знают, что лучшими укрислекиями, недоступными для врага, являются граждане, готовые идти на смерть?» Подобная храбрость и высота души встречаются только в воинственных республиках. Как бы мы ни любили родину, мы не встретим среди пасматери, которая, потеряв в бою сына, упрекнула бы оставшегося ей сына в том, что он пережил поражение. Для нас не пример то добродетельные лакедемонянки, которые после битвы при Левктрах стыдились того, что носили во чреве людей, способных к бегству, и те из них, чьи сыновья избегли смерти, спрятались по домам, облечившись в траур и молчание, тогда как те матери, чьи сыновья пали в битве, увенчали себя цветами и, ликую,шли в храм возблагодарить богов.

Как бы ни были храбры наши солдаты, мы не увидим больше такого зрелища, чтобы отряд из тысячи двухсот человек, как это

было со швейцарцами при Сен-Жак-л'Опиталь², выдерживал написк целой армии из шестидесяти тысяч солдат, заплатившей за свою победу потерей восьми тысяч. Мы не увидим больше, чтобы правительство называло трусами и, как таковых, осудило бы на казнь десятерых солдат, спасшихся в этот день бегством и принесших домой известие об этом славном поражении.

Если даже в самой Европе к подобным дениям и добродетелям относятся лишь с бесплодным изумлением, то как велико к ним презрение народов Востока! И кто бы мог заставить эти народы уважать их? Страны эти населены людьми с низкой и порочной душой, а если в народе недостаточно добродетельных лиц, которые служили бы образцом, то естественно, что будут брать пример с людей испорченных. Эти последние, всегда заинтересованные в том, чтобы высмеивать чувства, которых они не испытывают, заставляют молчать людей добродетельных. К сожалению, немного есть людей, не уступающих требованиям окружающих, настолько смелых, чтобы не бояться народного презрения, и ясно созидающих, что уважение народа, впавшего до известной степени в ничтожество, более обеспечивает, чем льстит.

Могло ли недостаточное внимание, оказанное Ганибалу при дворе Антиоха, обесчестить этого великого человека? Повредила ли славе великого карфагенянина трусость, побуждавшая Прузия выдать его римлянам? Она обесчестила в глазах потомства лишь государя, совет и народ, которые хотели его продать. Из всего сказанного можно я выводу, что в империях деспотических, в сущности, чувствуют лишь презрение к добродетели и почитают только ее наименование. Если к ней и вызывают ежедневно и требуют ее от граждан, то в этом случае с добродетелью дело обстоит, как с истиной, которой требуют при условии благоразумного ее замалчивания.

ПРИМЕЧАНИЕ К ГЛАВЕ XX

¹ В то время как триста спартанцев защищали Фермопилы, аркадские перебежчики рассказали Ксерксу об олимпийских играх. «С какими людьми, — воскликнул некий персидский вельможа, — придется нам сражаться! Равнодушные к выгоде, они алчут только славы».

² В «Истории Людовика XI» Дюкло рассказывает, что швейцарцы в числе 3 000 человек выдерживали написк армии дофина, состоявшей из 14 000 французов и 8 000 англичан. Это сражение происходило при Боттелене, и почти все швейцарцы были убиты.

В битве при Моргартене 1 300 швейцарцев обратили в бегство армию императора Леопольда, состоявшую из 20 000 человек.

Около Вевена, в кантоне Гларис, 350 швейцарцев победили 8 000 австрийцев; на поле битвы ежегодно празднуется их память. Оратор произносит им хвалебную речь и читает лист со списком этих трехсот пятидесяти имен.

ГЛАВА XXI

Четвертое следствие деспотизма: гибель государства, находящихся под неограниченной властью

Равнодущие жителей Востока к истине, невежественность и порочность граждан, как неизбежное следствие их формы правления, делают из них мошенников по отношению друг к другу и трусов по отношению к врагу.

Вот причина той изумительной быстроты, с которой греки и римляне овладели Азией. Действительно, как могли рабы, воспитанные и вскормленные в прихожей властелина, подавить в себе перед мечом римлян привычное чувство страха, которое привил им деспотизм? как могли эти отступившие люди, лишенные душевной высоты, привыкшие попирать слабых и пресмыкаться перед сильными, бороться с великодушием, политикой и храбростью римлян и не проявить своей низости и в совете, и в битве?

Если египтяне, говорит Плутарх, были рабами всех народов поочередно, то потому, что они находились под властью самого сурового деспотизма; поэтому-то они почти всегда вели себя как трусы. Когда изгнанный из Спарты царь Клеомен, скрывшийся в Египте и заключенный в темницу по проискам одного министра, по имени Собизия, убил своих тюремщиков, разбил свои цепи и появился на улицах Александрии, то он напрасно заклинал граждан отомстить за него, наказать неправду и сбросить иго тирании: повсюду он находил, говорит Плутарх, лишь бездейственных почтателей. Этот низкий и трусливый народ был способен лишь на такую смелость, которая позволяет восхищаться великими поступками, но не совершать их.

Мог ли народ рабов сопротивляться свободному и сильному народу? Для того чтобы безнаказанно пользоваться неограниченной властью, деспот вынужден расслаблять дух и мужество своих подданных. То, что делает его сильным внутри государства, делает его слабым извне; вместе со свободой он изгоняет из своей державы все добродетели; они не могут, говорит Аристотель, обитать в рабских душах. Монтескье, которого мы цитировали выше, говорит, что нужно сначала быть плохим гражданином, для того чтобы стать затем хорошим рабом. Поэтому деспот может противопоставить нападениям таких людей, как римляне, лишь совет и полководцев, совершенно не сведущих в политической и военной науке и взятых из того же самого народа, в котором он ослабил мужество и умалил дух; следовательно, он должен быть побежден.

Но, возразят мне, мы видели иногда и в деспотических государствах яркий свет добродетели. Да, когда на престоле один за другим сменялись великие люди. Добротель, замирающая перед лицом тирании, оживает при великом государе, его присутствие подобно присутствию солнца; когда солнечный свет пронизывает и рассеивает тучи, покрывающие небо, то все в природе оживает, равнины наполняются земледельцами, в рощах раздаются воздуш-

ные концерты и крылатые обитатели неба взлетают на вершины дубов, чтобы воспевать возвращение солнца. «О, счастливые времена! — воскликнул Тацит в эпоху царствования Траяна, — когда повинуются лишь законам, когда можно мыслить свободно и так же свободно высказывать свои мысли, когда все сердца устремлены к государю, когда увидеть его есть уже благо!»

Однако блестящее существование таких государств обыкновенно недолговечно. Если порой они достигают вершины могущества и славы и выделяются успехами во всех областях, то эти успехи, зависящие, как я уже сказал, от мудрости государей, а не от самой формы правления, обыкновенно столь же преходящи, сколь блестящи; могущество подобных государств, как бы оно ни было велико, всегда призрачно; это колосс Навуходоносора: ноги его из глины. Такие державы похожи на величественную ель; вершина ее касается небес, животные равнины и воздуха ищут убежища в ее тени; но, имея слишком слабые корни, она опрокидывается первым ураганом. Жизнь этих государств недолговечна, если только они не окружены народами бездеятельными и подчиненными самовластью. Относительная сила подобных государств заключается в таком случае в равновесии их слабости. Если деспотическая империя получает удар и престол может поддержать лишь мужественное и смелое решение, то эта империя гибнет.

Словом, народы, стонущие под игом неограниченной власти, могут иметь лишь кратковременные успехи, только вспышки славы; рапо или поздно они подпадут под власть народа свободного и предпримчивого. Но если даже предположить, что они будут избавлены от этой опасности в силу исключительных обстоятельств и положения, то достаточно уже плохого управления, для того чтобы их разрушить, обезлюdzić и превратить в пустыню. Летаргическая ялость, постепенно охватывающая все члены такого народа, приводит к этому результату. Деспотизму свойственно заглушать страсти; а лишь только души, лишившись страстей, перестанут быть деятельными и как только граждане отступают, так сказать, от опиума роскоши, праздности и изнеженности, как государство начинает хиреть: его кажущееся спокойствие есть в глазах просвещенного человека лишь изнеможение, предшествующее смерти. В государстве страсти необходимы; они составляют его жизнь и душу. И народ — победитель есть в сущности народ с более сильными страстями.

Умеренное волнение страстей благодетельно для государств; в этом отношении их можно сравнить с морями, чьи стоячие воды, загнивая, испускали бы гибельные для мира пары, если бы буря не очищала их.

Но если величие народов, подчиненных неограниченной власти, лишь недолговременно, то иначе обстоит дело с государствами, в которых, как это было в Риме и Греции, власть разделена между народом, вельможами или царями. В таких государствах частные интересы, тесно связанные с интересами общественными, превращают людей в граждан. Здесь народ, успехи которого зависят от его государственного устройства, имеет право надеяться на их

длительность. Необходимость для гражданина заниматься важными делами, свобода мысли и слова усиливают и возвышают его душу; смелость мысли передается его сердцу, порождая в нем замыслы обширные и смелые, помогая ему совершать все более храбрые деяния. Я прибавлю даже, что если частные интересы не вполне отделены от интересов общественных, если нравы народа менее испорчены, чем были нравы римлян во времена Мария и Суллы, то партийный дух, пригуждая граждан ко взаимному наблюдению друг за другом и ко взаимной сдержанности, способствует само-сохранению этих государств. Они поддерживают себя силой равновесия противоположных интересов. Основы, на коих покоятся эти государства, бывают особенно непоколебимыми в те моменты внешнего брожения, когда они кажутся близкими к падению. Так, глубина морей всегда тиха и спокойна, даже когда яростный аквилон вздымаст их поверхность, грозя как будто потрясти их бездну.

После того как я объяснил, как восточный деспотизм является причиной невежественности визирей, равнодушия народа к добродетели и гибели государств, находящихся под этой формой правления, я укажу, как иное государственное устройство ведет к противоположным результатам.

ГЛАВА XXII

О любви некоторых народов к славе и к добродетели

Эта глава является столь необходимым следствием предыдущего, что я мог бы избавить себя от дальнейшего анализа, если бы я не знал, как приятно обществу описание средств, ведущих человека к добродетели, и поскольку подробности в этой области поучительны даже для лиц знающих. Итак, я приступаю к моей теме. Окидывая взглядом республики, наиболее богатые добродетельными людьми, я останавливаюсь на Греции, на Риме и вижу, как рождается там множество героев. Кажется, что их великие деяния забыты собраны историей, для того чтобы распространять аромат добродетели в веках наиболее испорченных и наиболее отдаленных. Они похожи на сосуды с фимиамом, которые, будучи поставлены на алтарь богов, наполняют своим благоуханием все обширное пространство храма.

Если, созерцая в истории этих народов непрерывную цепь доблестных деяний, я захочу открыть их причину, то увижу ее в умении, с которым законодатели этих государств связали частные интересы с интересами общественными¹.

В доказательство истинности моих слов я беру поступок Регула. Я вовсе не предполагаю в этом полководце особого героизма, внушенного ему хотя бы римским воспитанием; но в эпоху правления этого консула некоторые пункты законодательства были настолько усовершенствованы, что, даже имея в виду лишь свой собственный личный интерес, Регул не мог не совершить своего подвига. Зная характер римской дисциплины, помня, что бегство или даже потеря

щита в битве палачивались палочными ударами, от которых виновный обыкновенно умирал, мы понимаем, что побежденный и взятый в плен консул, посланный карфагенянами для переговоров об обмене пленных, не мог предстать перед римлянами, че страшась их презрения, всегда столь унизительного со стороны республиканцев и столь невыносимого для возвышенной души. Единственное, что оставалось ему сделать, это загладить каким-либо героическим поступком позор своего поражения. Он должен был воспротивиться договору об обмене пленных, договору, который сенат уже был готов подписать. Конечно, подавая подобный совет, он подвергал свою жизнь опасности, но эта опасность не была бесспорной, так как было довольно вероятно, что сенат, изумленный его мужеством, поспешит заключить договор, возвращавший ему столь добродетельного гражданина. Кроме того, предполагая даже, что сенат согласится на его совет, было весьма вероятно, что карфагеняне из страха мести или из чувства восхищения перед его доблестью не предадут его казни, которой они ему угрожали. Словом, Регул подвергал себя опасности, которой подверг бы себя не только герой, но и всякий осторожный и разумный человек, для того чтобы избегнуть презрения и вызвать уважение римлян.

Таким образом, существует особое искусство принуждать людей к героическим поступкам; конечно, я не хочу сказать этим, что Регул только повиновался необходимости, и я не хочу умалить его славу. Подвиг Регула был, без сомнения, следствием пылкого энтузиазма, побуждавшего его к добродетели, но подобный энтузиазм мог зажигаться только в Риме.

Пороки и добродетели народа являются всегда неизбежным следствием его законодательства; очевидно, знанием этой истины был продиктован следующий прекрасный закон в Китае: для содействия добродетели там установлено, что мандарины разделяют славу или позор² добродетельных и низких поступков, совершаемых в их областях и, следовательно, получают либо повышение по службе, либо понижение.

Невозможно сомневаться в том, что почти у всех народов добродетель является результатом большей или меньшей мудрости правительства. И если греки и римляне так долго были одушевляемы мужественными добродетелями, которые, по словам Бальзака, «*суть полет души над повседневными обязанностями*», то потому, что добродетели такого рода являются почти всегда достоянием народов, у которых каждый гражданин принимает участие в верховной власти.

Только в таких странах можно встретить граждан вроде Фабриция. Когда Пирр настаивал, чтобы он последовал за ним в Эпир, Фабриций сказал ему: «Пирр, ты, без сомнения, славный государь и великий воин, но народ твой стонет в нищете. Как безрассудно желать взять меня в Эпир! Неужели ты сомневаешься, что под властью моего закона твой народ вскоре предпочтет избавление от налогов твоим тяжким податям и спокойное владение имуществом прежней необеспеченности? Сегодня я твой любимец, завтра я стану

твоим господином». Такую речь мог произнести только римлянин. Только в республиках³ мы с изумлением замечаем, как далеко может зайти смелость и до какой высоты может подняться героизм терпения. Здесь я приведу в пример Фемистокла. Незадолго до Саламинской битвы этот воин, будучи оскорблена в совете одним из лакедемонских вождей, ответил на его угрозы лишь следующими словами: «Бей, но выслушай». К этому присоединю еще пример Тимолеона; когда его обвинили во взяточничестве, и народ готов был растерзать доносчиков, то он остановил его ярость словами: «О, сиракузцы! что вы делаете? вспомните, что каждый из граждан имеет право обвинить меня; страшитесь нарушить из чувства благодарности ту свободу, которую я вернул вам и которая составляет мою гордость».

Если история Греции и Рима полна черт такого героизма и если, пробегая всю историю деспотизма, мы их не встречаем, то потому, что в государствах деспотических интерес личный никогда не связан с интересом общественным; потому, что там, среди всех других качеств, уважают низость, вознаграждают посредственность⁴; ей поручают почти всегда дело государственного управления, от которого устраивают людей умных. Слишком бесцокойные и подвижные, они бы нарушили, говорят там, спокойствие государства, спокойствие, которое можно сравнить с тем моментом затишья, что в природе предшествует буре.

Спокойствие в государстве не всегда свидетельствует о счастии его подданных. В государствах с безответственной властью люди похожи на тех коней, которые, находясь в тисках, не двигаясь, переносят самые жестокие операции; свободный же скакун вздыхается на дыбы при первом ударе. В этих странах летаргия принимается за спокойствие. Только страсть к славе, не знакомая этим народам, может поддерживать в политическом организме то тихое брожение, которое оздоравляет его, делает сильным и развивает в нем всевозможные добродетели и таланты. Поэтому эпохи, наиболее благоприятные для литературы, были всегда наиболее богатыми великими вождями и великими политиками: одно и то же солнце живит кедры и платаны.

Впрочем, эта страсть к славе, обожествленная у язычников и уважаемая во всех республиках, почиталась главным образом в республиках бедных и воинственных.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XXII

¹ Именно в таком сочетании и заключается истинный дух законов.

² Не так обстоит дело в других восточных государствах; обязанность губернаторов заключается там лишь во взимании податей и в недопущении мятежей. Да от них и не требуется, чтобы они занимались благоденствием населения в своих провинциях; в этом отношении их власть весьма ограничена.

³ Из писем кардинала Мазарини видно, что он сознавал все преимущество подобного государственного устройства. Он боялся, что Англия, сделавшись республикой, станет слишком опасной для своих соседей. В письме к де

Темные он говорит: «Дон Луис и я, мы очень хорошо знаем, что Карл II находится вне пределов своего государства; но из всех причин, которые могут побудить монархов, наших владельцев, к восстановлению его на престоле, одна из наиболее действительных — это помешать Англии образовать мощную республику, которая впоследствии заставила бы призадуматься всех своих соседей».

* В этих странах ум и таланты находят почитание только в царствование великих государей или в правление великих министров.

ГЛАВА XXIII

О том, что государства бедные всегда больше любили славу и были богаче великими людьми, чем государства богатые

В республиках торговых герои появляются словно только для того, чтобы уничтожить тиранию и исчезнуть вместе с нею. Именно в самом начале освобождения Голландии Бальзак говорил об ее жителях, что «они заслужили иметь своим королем одного бога, ибо они не желали иметь своим богом короля». Почва, благоприятная для создания великих людей, быстро истощается в такого рода республиках. Это как слава Карфагена, исчезнувшая вместе с Ганибалом. Дух торговли неизбежно уничтожает в них дух силы и храбрости. «Народы богатые, — говорит тот же Бальзак, — руководятся в управлении доводами разума, ведущими их к пользе, но не требованиями морали, имеющей в виду добродетель и мужество».

Добродетельное мужество встречается лишь у бедных народов. Из всех народов скифы, может быть, были единственным, певшим гимны в честь богов, никогда ничего не прося у них при этом, так как они были уверены, что человеку мужественному ничего не нужно. Они подчинялись вождям, чья власть была довольно велика, но они были независимы, потому что переставали повиноваться вождю, как только он сам переставал повиноваться законам. У народов богатых дело обстоит иначе, чем у этих скифов, не желавших ничего, кроме славы. Повсюду, где процветает торговля, богатство предпочитают славе, ибо его можно обменять на всевозможные наслаждения, да и достигать его легче.

Результатом такого предпочтения должен быть сильный недостаток в добродетелях и в талантах. Так как слава присуждается только общественной благодарностью, то приобретение ее всегда омыает наградой за услуги, оказанные отечеству; желание славы предполагает всегда желание быть полезным своему народу.

Иначе обстоит дело с желанием обогатиться. Богатство часто приобретается ценой ажиотажа, низости, шпионства и часто преступления; оно редко бывает уделом людей возвышенных и добродетельных. Таким образом, любовь к богатству не влечет за собой любви к добродетели. В торговых странах больше бывает хороших негоциантов, чем хороших граждан, и больше великих банкиров, чем героев.

Словом, ис па почве роскоши и богатства, а па почве бедности процветают прекрасные добродетели¹; крайне редко можно встретить в богатых государствах души возвышенные²: граждане имеют там слишком много потребностей. Кто умоляет свои потребности, дает тем самым в руки тиранни залог низости и трусости. Только добродетель, довольствующаяся малым, не поддается испорченности. Такая добродетель продиктовала ответ одного уважаемого за свои заслуги вельможи английскому министру. В интересах двора было привлечь его на свою сторону, и г-н Вальполь отправился к нему: «Я прихожу к вам от лица короля, — сказал он, — чтобы уверить вас в его расположении, выразить сожаление, что для вас еще ничего не было сделано, и предложить вам место, более достойное вас». — «Милорд, — ответил ему английский вельможа, — прежде чем ответить на ваше предложение, разрешите, чтобы мне принесли мой ужин в вашем присутствии». Ему немедленно подали рубленую баранину, оставшуюся от обеда. Тогда обратившись к Вальполю, он прибавил: «Милорд, неужели вы думаете, что двору легко привлечь па свою сторону человека, довольствующегося подобной трапезой? Передайте королю то, что вы видели, — вот единственный ответ, который я могу вам дать». Такие слова может произносить только человек, ограничивший свои потребности; а много ли в богатой стране людей, борющихся с постоянным искушением иметь излишнее? Как много бедность дарит своему отечеству добродетельных людей, людей, которых роскошь испортила бы! «О, философы! — воскликнул часто Сократ, — вы, представители богов на земле, умейте, как они, довольствоваться собою, обходиться малым; в особенности же досаждайте, пресмыкаясь перед ними, владельцам и монархам!» «Не было ничего более твердого и более добродетельного, — говорит Цицерон, — чем характер первых греческих мудрецов. Никакая опасность не пугала их, никакое препятствие не обескураживало, никакое соображение не удерживало и не заставляло их жертвовать истиной ради абсолютной воли государя». Но эти философы родились в бедной стране, а последователи их уже не сохранили этих самых добродетелей. Философов Александрии упрекают в том, что они были слишком угодливы по отношению к государям, их благодетелям, и что свои покой и досуг они покупали ценой низости. Плутарх восклицает по этому поводу: «Есть ли более унизительное зрелище для человечества, чем зрелище мудрецов, продающих свои похвалы высокопоставленным лицам? Неужели же дворы монархов так часто являются камнем преткновения для мудрости и добродетели? Неужели высокопоставленные люди не понимают, что все, рассуждающие с ними лишь о вещах суетных, обманывают их?³ Служить им по-настоящему значило бы упрекать их в пороках и заблуждениях, убеждать их в том, что им не подобает проводить дни в забавах. Таков единственный язык, достойный человека добродетельного; ложь и лесть чужды его устам».

Это восклицание Плутарха, без сомнения, прекрасно, но оно свидетельствует больше о любви к добродетели, чем о знании чело-

сека. То же самое относится к восклицанию Пифагора: «Я отказываю, — говорит он, — в звании философа людям, уступающим собственном дворам; этого имени достойны только те, кто готовы перед лицом монарха пожертвовать жизнью, богатством, положением, семьей и даже репутацией. Лишь с подобной любовью к истине, — прибавляет Пифагор, — можно стать причастным божеству и сливаться с ним наименее благородным и тесным образом».

Такие люди не рождаются во всех государствах безразлично; подобная добродетель есть следствие или философского фанатизма, который быстро гаснет, или исключительного воспитания, или же превосходного законодательства. Философы, о которых говорят Плутарх и Пифагор, почти все увидели свет среди народов бедных и страстно любящих славу.

Это не значит, что я смотрю на бедность как на источник добродетели; у всех народов появлением великих людей мы обязаны более или менее мудрому распределению почестей и наград. Но что довольно трудно представить себе, так это то, что добродетели и таланты нигде не награждаются более лестным образом, чем в бедных и воинственных республиках.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XXIII

¹ И счастье, прибавлю я. То, что невозможно сказать о частных лицах, можно сказать о народах; наиболее добродетельные народы суть всегда и наименее счастливые, а наиболее добродетельными являются не наименее богатые и торговые народы.

² Из всех народов Германии, по словам Тация, одни свевы, подобно римлянам, придавали значение богатству и, как они, подчинялись деспотической власти.

³ Конечно, было некогда время, когда люди мудрые пользовались правом беседовать с государем лишь для того, чтобы говорить ему вещи действительно полезные. Поэтому индусские философы выходили из своих убежищ только раз в год, для того чтобы отправиться во дворец царя. Там каждый из них громогласно сообщал свои политические соображения относительно государственного управления и о тех изменениях и преобразованиях, которые нужно было произвести в законах. Те, чьи соображения три раза подряд отвергались как ошибочные или малозначительные, теряли право говорить с царем (*Histoire critique de la philosophie*, t. II).

ГЛАВА XXIV

Доказательство этой истины

Чтобы лишить это утверждение всякой видимости парадокса, достаточно заметить, что из всех людских желаний два являются наименее общими: желание богатства и желание почестей. Из этих двух желаний люди наименее жаждут почестей, когда они раздаются лестным для самолюбия способом.

Жажда почестей делает людей способными на громадные усилия, и тогда они могут совершать чудеса. Нигде почести не воздаются с большей справедливостью, чем у народов, у которых нет иной монеты для оплаты услуг, оказанных отечеству; поэтому бедные республики Греции и Рима дали больше великих людей, чем все обширные и богатые империи Востока.

Народы богатые и подвластные деспотизму мало ценят почести. И правда, если ценность почестей зависит от способа их раздачи и если раздавателями их на Востоке являются султаны, то ясно, что они обесценивают их плохим выбором награждаемых лиц. Поэтому в этих странах почести являются, собственно говоря, только титулами. Они не могут живо льстить гордости, ибо редко связаны со славой; слава же находится не во власти государей, но во власти народа, она не что иное, как выражение народной благодарности. Когда почести обесценены, то и желание получить их уменьшается; оно не побуждает более к высоким поступкам, и почести становятся в государстве лишь бессильным средством, которым справедливо пренебрегают высокопоставленные лица.

В Америке существует племя, в котором, когда какой-нибудь дикарь одержит победу или успешно заключит договор, ему говорят: «Ты мужчина», в присутствии всех членов его племени. Такая похвала побуждает этих дикарей к великим деяниям более, чем все возможные почести, предлагаемые в деспотических странах лицам, выдающимся своими талантами.

Чтобы почувствовать, каким недостойным способом воздавались иногда почести, вспомним злоупотребление ими в царствование Клавдия. При этом императоре, говорит Плиний, некий гражданин убил ворона, известного своей ловкостью; гражданина казнили, а ворону устроили великолепные похороны; перед парадными посыпками, на которых лежал ворон и которые несли два раба, шел флейтист; шествие замыкалось множеством народа обоего пола и всякого возраста. По этому поводу Плиний пишет: «Чтò бы сказали наши предки, если бы в том самом Риме, где без всякой пышности погребали наших первых царей, где не отомстили за смерть разрушителя Карфагена и Нуманции, им пришлось бы присутствовать на похоронах ворона!»

Но, возразят мне, и в деспотических странах почести все же бывают иногда наградой за заслуги. Да, конечно; но чаще они бывают наградой порока и низости. В этих государствах почести можно сравнить с деревьями пустыни: иногда птицы небесные клюют их плоды, но чаще всего они становятся добычей змеи, которая с подножия дерева вползает на его вершину.

Если почести обесценены, то заслуги государству оплачиваются только деньгами. А всякий народ, производящий уплату исключительно деньгами, вскоре начинает страдать от бремени расходов; истощенное государство делается несостоятельным, и тогда уже нет больше награды для добродетели и талантов.

Напрасно станут возражать на это, что наученные опытом государи приуждены будут в подобной крайности расплачиваться

почестями. В бедных республиках, где весь народ в целом распределяет милости, не трудно поднять цену почестей; но в высшей степени трудно сделать это в государстве деспотическом.

Какой добродетелью должен обладать человек, которому поручено заведывать раздачей почестей! Какую нужно иметь силу характера, чтобы противостоять интригам придворных! Какое умение различать людей, чтобы воздавать почести лишь великим талантам и великим добродетелям и постоянно отказывать в них людям посредственным, которые роняли бы их ценность! Какой верный ум, чтобы уловить момент, когда эти почести, сделавшись уже слишком обычными, перестают побуждать граждан к прежним усилиям и когда, следовательно, нужно создавать новые!

С почестями дело обстоит иначе, чем с богатствами. Если общественные интересы запрещают перевоплавку золотой и серебряной монеты, то они требуют этого для монеты почестей, когда последние утратили свою ценность, основанную лишь на людском мнении.

Я прибавлю здесь, что невозможно без удивления наблюдать поведение большинства народов, поручающих множеству людей управление своими финансами и не назначающих никого, чтобы следить за распределением почестей. А есть ли что-нибудь более полезное, чем строгое обсуждение заслуг тех людей, которых хотят возвысить? Почему бы каждому народу не иметь трибунала, который путем открытого и серьезного рассмотрения удостоверялся в подлинности талантов, им награждаемых? Какую ценность придало бы почестям подобное обсуждение! Какое желание заслужить их! Какую счастливую перемену произвело бы в свою очередь это желание и в частном воспитании, и постепенно в воспитании общественном! А от такой перемены зависит, быть может, и все то различие, какое наблюдается между народами.

Если бы среди порочных и трусливых придворных Антиоха были люди, с детства воспитанные в Риме, то разве не очертими бы многие из них, подобно Попилию, вокруг этого монарха круг, из которого он не мог бы выйти, не сделавшись рабом или врагом римлян?

После того как я доказал, что высокие награды создают высокие добродетели и что мудрое управление почестями является наиболее прочной связью, которой законодатели могли бы соединить частный интерес с интересом общим и создать добродетельных граждан, я могу заключить, что любовь или равнодушие многих народов и добродетели есть следствие различных форм правления. Но все, что я сказал о страсти к добродетели, взятой мною как пример, ириложимо и ко всяkim другим страстям. Поэтому ту неравную степень страстей, к которым способны различные народы, не должно приписывать природе самих страстей.

Как на последнее доказательство этой истины, я укажу на то, что сила наших страстей всегда пропорциональна силе средств, употребляемых для возбуждения их.

ГЛАВА XXV

О точном соотношении между силой страсти и размерами ожидаемых наград

Чтобы понять точность такого соотношения, нужно обратиться к истории. Я открываю историю Мексики: я вижу груды золота, представлявшие для алчности испанцев большие богатства, чем могло бы им дать разграбление всей Европы. Воодушевленные желанием овладеть ими, испанцы покидают свои имения, свои семьи и под предводительством Кортеса предпринимают завоевание нового мира. Им приходится бороться и с климатом, и с лишилыми, и с численностью врагов, с их мужеством, и они торжествуют над всем благодаря своей смелости, столь же упорной, сколь и шалкой.

Затем я вижу флибустьеров, еще более жаждущих золота и богатства, чем испанцы, вследствие своей большей бедности; я вижу их плывущими из северных морей в южные; вижу, как они атакуют неизвестные окошки врагов и с горстью людей разбивают многочисленный отряд дисциплинированных солдат; эти же самые флибустьеры, опустошив южное побережье, снова открывают себе проход в северные моря, преодолевая невероятными усилиями, постоянными боями и стойким мужеством все препятствия, которые ставят им на обратном пути природа и люди.

Первые народы, которых я вижу, кидая взгляд на историю Севера, это последователи Одина. Их воодушевляет надежда на награду воображаемую, но и наиболее великую, если вера превращает ее в действительность. Поэтому, поскольку они одушевлены горячей верой, они выказывают мужество, которое, соответствует ожидающим их небесным наградам, еще превосходит мужество флибустьеров. «Наши воины, жаждущие смерти,— говорит один из их поэтов,—щупают ее; пораженные смертельным ударом в яростном бою, они падают и умирают, смеясь». Это подтверждает один из их королей, по имени Лодброг, воскликнувший на поле битвы: «Что за неизведанная радость охватывает меня! Я умираю, я слышу призывающий меня голос Одина; уже открываются врата его дворца; из них выходят полунасажевые девы; они опоясаны голубым шарфом, подчеркивающим белизну их грудей; они приближаются ко мне и подносят мне вкусное пиво в окровавленном черепе моих врагов».

Если с Севера я перехожу на Юг, то вижу там Магомета, основателя религии, подобной религии Одина. Он называет себя посланником небес; возвещает сарацинам, что всевышний даровал им землю, что они внесут ужас и опустошение, но что эту власть над миром нужно достойно заслужить. Чтобы возбудить их храбрость, он учит, что бог перебросил мост над адской бездной. Этот мост уже, чем лезвеи сабли. Храбрый после своего воскресения легко перейдет по нему, чтобы подняться к небесам; трус же будет сброшен с него и попадет в пасть ужасного змея, обитающего в мрачной пещере дымящего чертога. Дабы подтвердить миссию пророка, ученики его прибавляют, что верхом на Альбораке он объехал все семь небес,

видел ангела смерти и белого петуха, который, опираясь ногами на первое небо, прячет свою голову в седьмом; что Магомет разрушил луну надвое, заставил фонтаны забить из своих пальцев; что он одарял животных речью; заставлял леса следовать за ним и горы сдвигаться ему¹; что, будучи другом бога, он принес людям закон, продиктованный ему самим богом. Пораженные этими рассказами сарацины внемлют Магомету тем более доверчиво, что он дает им сладострастные описания того рая, который ждет храбрецов. Я вижу, как они, влекомые чувственностью к этим прекрасным местам, полная верой и вздыхая о гуриях, с яростью бросаются на врагов.

«Воины,— восклицает в битве один из их вождей, по имени Икриах,— я вижу этих прекрасных дев с черными глазами; их всего восемьдесят. Если бы одна из них появилась на земле, то все цари сошли бы со своих престолов, чтобы следовать за нею. Но что я вижу? Одна из них приближается; на ногах у нее золотые котуры; в одной руке она держит платок из зеленого шелка, а в другой топазовый кубок; она кивает мне головой со словами: приди сюда, мой возлюбленный... Подожди меня, божественная гурия; я брошусь в риды неверных, я дам и приму смерть и пойду к тебе».

Пока доверчивые взоры сарацин видели гурий столь ясным образом, страсть к победам, пропорциональная величине ожидаемых наград, воодушевляла их мужеством более сильным, чем может внушать любовь к родине; поэтому оно давало и большие результаты, и мы видим, как меньше чем в столетие они покорили больше народов, чем римляне в продолжение шестисот лет.

Поэтому греки, превосходившие арабов численностью, дисциплиной, вооружением и военными машинами, бежали перед ними, словно голуби при виде ястреба². Союз всех государств не мог бы в эту эпоху им противостоять.

Чтобы противостоять им, нужно было бы воодушевить христиан тем же духом, каким закон Магомета воодушевил мусульман; обещать небо и венец мученика, как это сделал святой Бернар в эпоху крестовых походов, каждому воину, который падет в битве с неверными,— эту идею император Никифор предложил собранию епископов, которые были менее умны, чем святой Бернар, и единогласно отвергли ее³. Они не понимали, что их отказ обескураживал греков, способствовал гибели христианства и успехам сарацин, которым необходимо было противопоставить оплот, равный по силе их фанатизму. Эти епископы продолжали приписывать преступлениям народа все те бедствия, которые опустошали империю; тогда как для просвещенного взгляда причиной этих бедствий следовало считать ослепление прелатов, при данных обстоятельствах явившихся тем бичом, которым бог поражал империю, и той карой, которой он ее казнил.

Изумительные успехи сарацин настолько зависели от силы их страсти, а сила страсти настолько зависела от средств, которые потреблялись для их возбуждения, что те же самые арабы — эти грязные воины, перед которыми земля дрожала, а греческие войска скакали и рассеивались, словно пыль, — сами трепетали перед

одной мусульманской сектой, называемой Саффариадами⁴. Воодушевляемые, как все реформаторы, более свирепой гордостью и более твердой верой, эти сектанты яснее видели перед своими глазами те райские наслаждения, которые надежда рисовала прочим мусульманам в более смутном отдалении. Эти яростные Саффариады хотели очистить землю от заблуждений, просветить или же истребить народы, которые, как они говорили, должны при их приближении быть объяты ужасом или просветлением и отрешиться от своих предрассудков и мнений столь же быстро, как стрела отделяется от лука.

То, что я говорю об арабах и Саффаридах, можно отнести ко всем народам, движимым религиозным энтузиазмом; здесь действует та же степень легковерия, которая у всех народов приводит в равновесие страсть и храбрость.

Что же касается страстей другого рода, то и здесь различная степень их силы обуславливается всегда различиями в форме правления и в положении народов, побуждающими их в одинаковой обстановке к различным поступкам.

Когда Фемистокл с оружием в руках пришел, чтобы собратить значительную дань с богатых союзников республики, то эти союзники, по словам Плутарха, поспешили доставить ее, потому что страх, пропорциональный тем богатствам, которые он мог отнять у них, делал их послушными воле Афин. Но когда этот же самый Фемистокл обратился к народам неимущим; когда, высадившись на Андросе, но с такими же требованиями приступил к этим островитянам и объявил, что он прибыл в сопровождении двух сильных божеств: Необходимости и Силы, за которыми, по его словам, всегда следует Убеждение, то жители Андроса дали ему следующий ответ: «Фемистокл, мы бы подчинились тебе, как и другие союзники, если бы нам тоже не покровительствовали два божества столь же сильных, как и твои: Нищета и Отчаяние, не признающие Силы».

Итак, сила страстей зависит или от средств⁵, употребляемых законодателем, для того чтобы воспламенить их в нас, или же о положении, в какое нас ставит судьба. Чем более пылки наши страсти, тем сильнее их действие. Поэтому, как свидетельствует вся история, успехи сопутствуют всегда народам, одушевляемым сильными страстями. К сожалению, истина эта слишком мало известна, и незнание ее мешает искусству внушения страстей. До сих пор такое искусство было незнакомо даже тем прославленным политикам, которые достаточно хорошо определяют интересы «силы государства», но которые никогда не понимали, что в критические моменты можно извлечь особую пользу из страстей, если только уметь их воспламенить.

Причины этого искусства, столь же достоверные, как принципы геометрии, до сих пор, повидимому, замечались только великими воинами или политиками. В связи с этим я должен заметить, что если доблесть, смелость и, следовательно, те страсти, которыми одушевляют солдат, не менее способствуют выигрышу битвы, чем

порядок расположения войск, то трактат об искусстве впушать страсти был бы не менее полезен для обучения полководцев, чем прекрасный трактат о тактике знаменитого шевалье Фолара⁶.

Известные и упорные защиты Абидоса, Сагунта, Карфагена, Пумакии и Родоса были больше обязаны страстям, соединенным с любовью к свободе и с ненавистью к рабству, чем умелью инженеров.

В искусстве возбуждать страсти Александр превзошел почти всех других великих полководцев. Этому искусству он обязан теми успехами, которые столько раз приписывались так называемыми умными людьми случаю или безумной отваге, ибо они не замечали той почти незаметной пружины, которой пользовался этот герой для совершения стольких чудес.

Заключение данной главы состоит в том, что сила страстей всегда пропорциональна силе средств, употребляемых для их возбуждения. Теперь я должен исследовать, могут ли эти же самые страсти, действуя в людях в среднем нормально организованных, усиливаться настолько, чтобы сообщить им ту непрерывность внимания, с которой связано умственное превосходство.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XXV

¹ Много рассказывают еще о других чудесах Магомета. Один упрямый переблюд, завидев его издали, подошел и, как говорят, упал на колени перед пророком, который погладил его и велел ему исправиться. Рассказывают, что в другой раз этот же самый пророк накормил тридцать тысяч человек одной овечьей печенью. Отец Марачио признает этот факт, но уверяет, что это было делом дьявола. Что же касается чудес еще более удивительных, как то, что он разрубил луну пополам, заставлял плясать горы, говорить языки жареных баранов, то мусульмане уверяют, что он совершал их потому, что столь изумительные чудеса, далеко превосходящие всякую силу и чистоту человеческую, совершенно необходимы для обращения вольнодумцев, обыкновенно не верящих в чудеса.

Персы, по свидетельству Шардена, верят, что Фатима, жена Магомета, была взята живой на небо. Они празднуют ее успение.

² Император Гераклий, удивленный непрекращающимися поражениями своих войск, созвал по этому случаю совет, в котором было больше теологов, чем государственных мужей; когда были изложены бедствия империи, стали искать их причин и, согласно духу того времени, пришли к заключению, что преступления народа прогневили всевышнего и что положить конец стольким бедствиям можно только постом, слезами и молитвой.

Приняв такое решение, император не принял во внимание ни одного из средств, оставшихся у него после стольких неудач. Эти средства должны были бы с самого начала представиться его уму, если бы он знал, что храбрость является всегда результатом страстей и что после разрушения республики, когда римляне не были уже одушевляемы любовью к родине, бросать их бесстрастных людей в бой с фанатиками — то же самое, что выставлять юных ягнят против яростных волнов.

³ Они основывали свой отказ на древнем учении восточной церкви и на

тринадцатом каноне послания святого Василия Великого к Амфилоху. В нем сказано, что всякий солдат, убивший в битве врага, в течение трех лет не имеет приближаться к причастию. Отсюда можно заключить, что если выгодно управление человека просвещенного и добродетельного, то ничто не может быть иногда более опасным, чем управление святого.

* Этих Саффаридов боялись до такой степени, что один известный вождь, по имени Ади, получив приказ атаковать с шестьюстами человеком сто двадцать этих фанатиков, собравшихся во владениях некоего Бен-Марвана, ответил, что каждый из этих сектантов, жаждущих смерти, может сражаться с успехом против двадцати арабов и что так как неравенство в смелости не возмещается в данном случае неравенством в численности, то он не решится на эту битву, столь неравную благодаря отчаянному мужеству этих фанатиков.

* Мелкие средства вызывают всегда и мелкие страсти и дают ничтожные результаты; нужны великие мотивы, чтобы побудить нас к смелым предприятиям. В большей части государств слабость еще более, чем глупость, увековечивает заблуждения. Мы не так глупы, как будем казаться нашим потомкам. Найдется ли, например, хотя бы один человек, не видящий всей нелепости закона, запрещающего гражданам располагать своим имуществом до двадцатипятилетнего возраста, но позволяющего в шестнадцать лет отдавать свою свободу монахам? Всем известно средство против этого зла, но в то же время всякий сознает, как трудно было бы его применить. И правда, сколько выставляется препятствий общему благу ради выгоды некоторых слоев общества! Как много долгих и тягостных усилий, смелости и ума, какого постыдства потребовало бы выполнение подобного проекта! Для такой попытки, быть может, было бы нужно, чтобы высокопоставленное лицо расчитывало на самую большую славу, на то, что общественная благодарность повсюду воздвигнет ему статуи. Нужно всегда помнить, что в морали, так же как в физике и в механике, следствия всегда пропорциональны причинам.

* Дисциплина есть, в сущности говоря, не что иное, как искусство внушать солдатам больше страха перед их офицерами, чем перед врагом. Этот страх часто приводит к тем же результатам, что и храбрость, но он не может противостоять свирепому и упорному мужеству народа, одушевленного фанатизмом или сильной любовью к родине.

ГЛАВА XXVI

К какой степени страсти способны люди

Если для определения этой степени я перенесусь в горы Абиссинии, то увижу, как по повелению халифов люди, не дорожа жизнью, бросаются здесь на острие кинжала и скал или в морскую бездну; однако им не сулят иной награды, как только райские наслаждения, обещанные всем мусульманам; но обладание ими кажется этим людям более достоверным, а потому и желание насладиться ими более сильно в них и более велики усилия для их достижения.

Нигде так, как в Абиссинии, не прилагали столько старания и искусства, дабы укрепить веру этих слепых и усердных исполнителей воли государя. Жертвы, предназначенные для этого, не полу-

чили и нигде не могли бы получить воспитания, более подходящего для создания фанатиков. Уже в самом нежном возрасте их помещали в отдаленном, пустынном и диком углу гарема, окутывали их разум мраком мусульманской веры, рассказывали им о миссии и законе Магомета, сообщали о чудесах, содеянных этим пророком, и учили безграничной преданности воле халифа; здесь же, делая им самые сладострастные описания рая, в них возбуждали страстную жажду небесных наслаждений. Едва достигали они того возраста, когда юноши расточают свою силы, когда в пылких желаниях природа выражает и свое нетерпение, и способность к самым живым наслаждениям, как жрецы, дабы укрепить веру юноши и воспламенить в нем сильнейший фанатизм, подмешивали в его питье усыпительное зелье и во время сна переносили его из его печального жилища в очаровательную рощу, предназначенную для этой цели.

Там, лежа на цветах, окруженный бьющими фонтанами, он отдыхал до тех пор, пока заря, придавая форму и краски земле, не пробудит все живые силы природы и не заставит струиться любовь в жилах юности. Пораженный новизной всего окружающего, юноша оглядывается вокруг себя и замечает прекрасных, женщин, которых его легковерное воображение превращает в гурий. Соучастницы плутовства жрецов, они обучены искусству соблазна. Он видит, как они, танцуя, приближаются к нему; они радуются его изумлению; множеством наивных игр они пробуждают в нем неизведанные желания, прикрываются от его нетерпеливых желаний легким газом притворной стыдливости, раздражая их еще больше, и, наконец, уступают его страсти. Тогда, сменив детские игры пылкими опьяняющими ласками, они погружают его в блаженство, с трудом переносимое человеческой душой. За этим опьянением следует тихое, но сладостное успокоение, вскоре прерываемое новыми наслаждениями; наконец, пресыщенного в своих желаниях юношу эти же самые женщины снова усыпляют во время уединительного пира и во сне переносят в его прежнее жилище. Проснувшись, он ищет очаровавшие его предметы; подобно видению, они скрылись из глаз. Он призывает гурий, но находит возле себя лишь имамов. Он рассказывает им сны, утомившие его. При этом рассказе имамы, потупив чело, восклицают: «О, избранный сосуд! о, сын мой! без сомнения, наш святой пророк похитил тебя на небеса и дал тебе вкусить наслаждения, хранимые для верных, для того чтобы укрепить твою веру и храбрость. Заслужи же подобную честь безусловной преданностью повелениям халифа».

Такого рода воспитанием дервиши укрепляли измаелитов в твердой вере. Так, они заставляли их, если смею так выразиться, ненавидеть жизнь и любить смерть, видеть во вратах смерти враты райским наслаждениям и, наконец, внушали им то решительное мужество, которое на мгновение изумило вселенную.

Я говорю на мгновение, потому что такого рода храбрость исчезает вместе с создающей ее причиной. Из всех страстей фанатизма, который основан на желании райских наслаждений, является наиболее сильной, но в то же время и наименее длительной стра-

стью, ибо он опирается на прельщение и соблазны, которые незаметно подтачиваются силой разума. Потому-то арабы, абиссинцы и вообще все магометанские народы на протяжении одного века утратили свое превосходство в храбрости над другими народами; и в этом отношении они стояли гораздо ниже римлян.

Доблесть этих последних, возбуждаемая патриотизмом и основывающаяся на реальных мирских наградах, всегда оставалась бы одинаковой, если бы в Рим вместе с награбленной в Азии добычей не проникла любовь к роскоши и если бы жажда обогащения не порвала узы, соединяющие личный интерес с интересом общественным, и одновременно не испортила бы у этого народа как нравы, так и форму правления.

По поводу этих двух родов мужества: одного, основанного на религиозном фанатизме, другого — на любви к родине, я не могу не заметить, что последний является единственным родом мужества, которое опытный законодатель должен внушать своим согражданам. Мужество фанатическое быстро слабеет и гаснет. И так как это мужество поконится на ослеплении и предрассудках, то лишь только народ утратит фанатизм, как у него остается лишь глупость; тогда он начинает вызывать презрение к себе всех народов, ниже которых он стоит во всех отношениях.

Именно глупости мусульман христиане обязаны своими многочисленными победами над турками, которые могли бы быть так страшны своей численностью, говорит шевалье Фолар, если бы только они сделали кое-какие изменения в своей боевой организации, в дисциплине и вооружении, если бы они переменили свою саблю на штык и вышли бы наконец из того состояния тупости, в котором держит их суеверие: до такой степени их религия, прибавляет этот знаменитый автор, способна увековечивать глупость и неспособность этого народа.

Я показал, что страсти могут достигать в нас, если можно так выражаться, степени чуда. Эта истина доказана и отчаянной храбростью измаелитов, и размышлениями гимнософистов, искус которых заканчивался лишь после тридцатисемилетнего уединения, изучения и молчания, и варварскими продолжительными истязаниями факиров, и мстительной яростью япоццев¹, и дуэлями европейцев и, наконец, стойкостью гладиаторов, этих случайных людей, которые, получив смертельный удар, падали и умирали на арене с тем же мужеством, с каким они сражались.

Словом все люди, как я желал доказать, способны к степени страсти более чем достаточной для преодоления лени и для создания в себе той непрерывности внимания, с которой связано умственное превосходство.

Наблюдаемое в людях зачарительное умственное неравенство зависит исключительно от различия в их воспитании и от скрытого от нас и многообразного сплетения обстоятельств, в которых они находятся.

Действительно, если все умственные операции сводятся к тому, чтобы сознавать, вспоминать и наблюдать соотношения различных

предмстов между собой или между ними и пами, то очевидно, что так как все люди одарены остротой восприятия, памятью и, наконец, способностью внимания, необходимой для того, чтобы подниматься к самым высоким идеям, то среди лиц, в среднем нормально организованных², нет ни одного, который не смог бы прославить себя величими талантами.

В качестве второго доказательства этой истины я прибавлю, что все ложные суждения (как я уже доказал это в моем первом рассуждении) являются следствием или невежества, или страстей: невежества, когда не удерживают в памяти предметов, из сравнения которых получается искомая истина; страстей, когда они носят такой характер, что в наших интересах видеть вещи иными, чем они есть. Но эти две единственныe и общие причины наших заблуждений суть причины случайные. Во-первых, невежество не является необходимым; оно не вытекает из какого-либо органического недостатка, ибо нет человека, как я уже доказал в начале этого рассуждения, который не был бы одарен памятью, способной удержать в себе бесконечно большее число предметов, чем этого требует открытие наиболее высоких истин. Что же касается страстей, то единственными природными страстями являются физические потребности, а так как они никогда не обманывают, то очевидно, что недостаток ума тоже не вытекает из органического недостатка, что во всех нас есть способность высказывать одинаковые суждения об одинаковых вещах, а способность одинаково видеть предполагает одинаковую способность мыслить. Ясно поэтому, что умственное неравенство, наблюдаемое в людях, в среднем нормально организованных, несколько не зависит от большего или меньшего пре-
восходства их организации³, но от различного воспитания, различных условий, в которые они поставлены, и, наконец, от неприлички думать, следовательно, от ненависти, приобретаемой уже в ранней юности к прилежанию, к которому позже они делаются совершенно неспособными.

Хотя это утверждение весьма правдоподобно, но так как его новизна все еще может поражать читателя, так как трудно избавиться от старых предрассудков и, наконец, так как истинность какой-нибудь теории доказывается объяснением зависящих от нее явлений, то, согласно моим принципам, в следующей главе я покажу, почему мы так мало встречаем гениальных лиц среди людей, обладающих всеми данными, для того, чтобы быть гениальными.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XXVI

¹ Они вспарывают себе живот в присутствии обидчика, который под страхом бесчестия тоже должен вспороть себе живот.

² Т. е. таких, в организации которых не замечается никакого недостатка; склонными являются большинство людей.

³ Я замечу по этому поводу, что если название умного человека, как я писал это во втором Рассуждении, не зависит ни от количества, ни от утонченности, но лишь от удачного выбора идей, предлагаемых им обществу, и

если, как показывает опыт, случай определяет наши — более или менее интересные — занятия и выбирает почти всегда для нас разрабатываемые нами темы, то те люди, которые считают ум даром природы, принуждены все же согласиться, что ум является скорее результатом случая, чем превосходства организации, и что на него нельзя смотреть как на чистый дар природы, если только называть *природой* ту вечную и всеобщую связь, которая соединяет все мировые события и в которую входит и сама идея случая.

ГЛАВА XXVII

Об отношении между фактами и вышеизложенными принципами

Опыт опровергает, повидимому, мои рассуждения, и это кажущееся противоречие может вызвать сомнения в моей теории. Если бы все люди, скажут мне, обладали одинаковыми умственными способностями, почему же тогда в королевстве с населением от пятнадцати до восемнадцати миллионов мы находим мало людей, подобных Тюренну, Рони, Кольберу, Декарту, Корнелю, Мольеру, Кинс-Лебрену и другим, составляющим славу своего века и своей страны?

Для решения этого вопроса пусть подумают, стечеие какого множества обстоятельств необходимо для создания людей, знаменитых в той или иной области. Тогда увидят, что такое благоприятное стечеие обстоятельств бывает крайне редко и что первоклассные гении должны быть действительно редкими.

Предположим, что во Франции шестнадцать миллионов человек одаренных величайшими умственными способностями. Предположим также, что правительство одушевлено живым стремлением развить эти способности; если, как показывает опыт, книги, люди и все средства, необходимые для развития в нас умственных способностей, находятся лишь в богатом городе, то, следовательно, людей, сведущих в различных отраслях науки и искусства, нужно искать среди тех восьмисот тысяч, которые живут или же долго жили в Париже¹. Далее, если из этих восьмисот тысяч отнять половину т. е. женщин, воспитание и жизнь которых ставят препятствия к достижениям в науках и искусствах; если еще вычеркнуть детей стариков, ремесленников, поденщиков, слуг, монахов, солдат, торговцев и вообще всех, кто по своему состоянию, положению, богатству несет какие-то обязанности или же отдаются развлечениям, наполняющим часть их дня; и если, наконец, взять только тех немногих людей, которые с детства пользуются средним достатком, не испытывая иного огорчения, кроме невозможности помочь всем несчастным, и спокойно и вседело могут отдаваться изучению и размышлению, то ясно, что их число не превысит шести тысяч. Из этих шести тысяч едва лишь шестьсот одушевлены стремлением к познанию; из них же едва лишь половина жаждет этого познания настолько сильно, чтобы взрастить в себе великие идеи. Но и из этих найдется едва лишь сто человек, у которых с желанием учиться святыни постоянство и терпение, необходимые для усовершенствования их талантов, и которые, таким образом, соединяют в себе

для качества, почти никогда не соединимые у людей тщеславных, слишком торопящихся выказать себя. И, наконец, из этих ста, может быть, останется только пятьдесят, которые уже в ранней юности старательно изучали определенную отрасль знания, были нечувствительны к любви и нечестолюбивы и не растратили в слишком разнообразных занятиях, или же в наслаждениях, или в интригах времени, потеря которого невознаградима для человека, желающего усовершенствоваться в той или иной отрасли науки или искусства. Если же это число разделить между различными отраслями науки, то останется только по одному или по два человека для каждой, и если я вычту из них лиц, не читавших источников и не живших с людьми, наиболее способными просветить их, и если из этого остатка я вычеркну еще тех, чьи успехи были остановлены смертью, переменной судьбы или иными подобными случайностями, то, утверждаю я, при настоящей форме правления, многообразие обстоятельств, благоприятное совпадение которых совершенно необходимо для образования великих людей, мешает увеличению их числа, и, следовательно, люди гениальные и должны редко встречаться.

Словом, единственно в свойствах прравственного порядка (*le moral*) нужно искать истинную причину умственного неравенства. И чтобы понять недостаток или обилие великих людей в разные века и в разных странах, не нужно более искать причин этого во влиянии воздуха, в различных климатических условиях и тому подобных объяснениях, которые всегда приводились и всегда опровергались опытом и историей.

Если температура различных климатов имеет такое влияние на души и на умы, то почему же римляне², столь великодушные, столь мужественные при республиканском правлении, стали теперь такими слабыми и изнеженными? Почему греки и египтяне, некогда славные своим умом и доблестью и возбуждавшие восхищение всего мира, теперь вызывают его презрение? Почему азиаты, бывшие мужественными, когда они назывались элеамитами, трусливыми и ничтожными при Александре, когда они назывались персами, стали наводить под именем парфия ужас на Рим в тот век, когда римляне еще ничего не потеряли из своей прежней храбрости и дисциплины? Почему лакедемоняне, бывшие наиболее храбрыми и добродетельными из греков, до тех пор, пока они были ревностными последователями законов Ликурга, потеряли эти оба качества, когда после Пелопонесской войны допустили у себя золото и роскошь? Почему древние катты, столь страшные галлам, не сохранили прежнего мужества? Почему евреи, так часто терпевшие поражение, оказали под предводительством Маккавеев храбрость, достойную самых воинственных народов? Почему науки и искусства, то культивируемые, то презираемые у различных народов, постепенно обошли почти все страны?

В одном диалоге Лукиана философия говорит: «Не в Греции была моя первая обитель. Прежде всего я направила свои шаги к Инду, и индус покорно сопел со своего слона, чтобы внимать

ине. Из Индии я направилась в Эфиопию; затем я перешла в Египет; из Египта я перешла в Вавилон; я остановилась в Скифии; я вернулась через Фракию. Я беседовала с Орфеем, и Орфей перенес меня в Грецию».

Почему из Греции философия перешла на Запад, с Запада в Константинополь и в Аравию? И почему, снова переходя из Аравии в Италию, она нашла приют во Франции, в Англии и даже в северной Европе? Почему в Афинах мы не встречаем больше Фокиона, в Фивах — Пелопида и в Риме — Деция? Температура в этих странах не изменилась; чому же приписать переселение искусств и наук, мужества и добродетели, если не причинам духовного порядка?

Этими причинами мы можем объяснить множество тех политических явлений, которые щетко пытаются объяснить причинами физическими. Таковы завоевания, сделанные северными народами, рабство народов восточных, склонность этих же народов к аллегориям, превосходство некоторых народов в известных отраслях науки, превосходство, которое перестанут, мне кажется, приписывать различию климатических условий, после того как я кратко укажу на причину этих главных явлений.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XXVII

¹ Если вы пробежите список великих людей, то увидите, что Мольер, Кино, Кориель, Конде, Паскаль, Фонтенель, Мальбранш и др. для усовершенствования своего ума нуждались в помощи столицы, что таланты сельские всегда осуждены на посредственность и что музы, с таким увлечением стремящиеся в леса, и источникам, в луга, стали бы простыми крестьянками, если бы времена от времени не отправлялись дышать воздухом больших городов.

² Признавая, что современные римляне не похожи на римлян древних, некоторые утверждают, что у них осталось то общее с древними римлянами, что они являются владыками мира. Если древний Рим, говорят они, завоевал мир своими добродетелями и доблостью, то Рим современный вновь завоевал его своей хитростью и политической ловкостью; папа Григорий VII является Цезарем этого второго Рима.

ГЛАВА XXVIII

Завоевание северных народов

Говорят, что физическая причина завоеваний, сделанных северными народами, заключается в том, что природа одарила их большей смелостью и силой, чем южные народы. Это мнение, лестное для самолюбия европейских народов, которые почти все ведут свое происхождение от народов северных, не встречало до сих пор противоречий. Однако, чтобы удостовериться в истинности столь лестного мпения, рассмотрим, действительно ли северяне смелее и храбрее народов южных. Для этого определим прежде всего,

что такое смелость, и выясним те принципы, которые могут бросить свет на один из важнейших вопросов морали и политики.

Смелость животных есть только следствие их потребностей; как только эти потребности удовлетворены, они становятся трусливыми; голодный лев кидается на человека, лев сытый убегает от него. Когда голод животного утолен, стремление всего его организма к самосохранению удаляет его от опасности. Словом, смелость животных является следствием их потребностей. Если мы называем робкими жвачных животных, то потому, что им не приходится сражаться за добывание пищи, им не нужно идти навстречу опасности; если же они испытывают потребность, то появляется и смелость; влюбленный олень столь же яростен, как хищный зверь.

Применим к человеку то, что я сказал о животных. Смерти всегда предшествуют страдания, жизнь всегда сопровождается некоторыми наслаждениями. Поэтому мы привязаны к жизни страхом страданий и любовью к наслаждению; чем счастливее жизнь, тем более мы страшимся потерять ее; отсюда тот ужас, какой в минуту смерти испытывают люди, живущие в довольстве. И наоборот, чем жизнь несчастливее, тем с меньшим сожалением мы покидаем ее; отсюда то спокойствие, с каким крестьянин ожидает смерть.

Но если любовь к существованию основывается в нас на боязни страданий и на любви к наслаждениям, то, значит, желание быть счастливыми сильнее в нас, чем желание жить. Поэтому, чтобы получить предмет, в обладании которым мы видим свое счастье, каждый из нас способен подвергать себя большим или меньшим опасностям, всегда пропорциональным более или менее сильному желанию получить данный предмет¹. Чтобы быть совершенно лишенным смелости, нужно быть совершенно лишенным желаний.

Предметы желаний людей различны; люди одушевлены различными страстями, например склонностью, честолюбием, любовью к родине, любовью к женщинам и т. д. Из этого вытекает, что человек, способный на решения в высшей степени смелые для того чтобы удовлетворить известную страсть, не будет смелым, если дело коснется какой-либо иной страсти. И неоднократно видели флибустьера, одушевленного сверхчеловечной доблестию, когда она поддерживалась надеждой на добычу, но лишенного смелости, чтобы отомстить за оскорбление. Цезарь, которого не страшила никакая опасность, когда он шествовал к славе, дрожал, входя на колесницу, и садился в нее только после того, как трижды произнес некий стих, который, по его мнению, предохранял его от опасности быть опрокинутым². Человек робкий, боящийся всякой опасности, может одушевиться отчаянной храбростью, если дело пойдет о защите жены, возлюбленной или детей. Вот как можно объяснить некоторые явления мужества и то, почему один и тот же человек бывает храбрым или робким, сообразно обстоятельствам.

После того как я доказал, что смелость есть следствие наших потребностей, что она есть сила, сообщаемая нам нашими страстями и развивающаяся от препятствий, ставимых случаем или чужими

интересами нашему счастью, я, дабы предупредить всякое возражение и еще больше осветить столь важный вопрос, должна теперь различить два рода смелости. Есть один род смелости, который я называю истинной смелостью; он заключается в том, чтобы видеть опасность, какова она есть, и ити ей навстречу. Другой род, производящий только впечатление смелости, свойствен почти всем людям и заставляет их презирать опасность, потому что они ее не знают, потому что страсти, сосредоточивая все их внимание на предмете их желаний, скрывают от них хотя бы часть той опасности, которой они их подвергают.

Чтобы получить точную меру истинной смелости этих людей, нужно было бы вычесть из нее всю ту часть опасности, которую закрывают от них страсти или предрассудки, а обыкновенно эта часть весьма значительна. Прообещайте разграбление города солдату, боязливо идущему на приступ: жадность ослепит его, он нетерпеливо будет ожидать атаки, опасность исчезнет для него, и чем он жаднее, тем бесстрашнее он будет. Тысячи других причин производят действие подобное жадности; старый солдат храбр, потому что привычка к опасности, от которой он всегда ускользал, делает опасность ничтожной в его глазах. Солдат победоносный идет на врага храбро, потому что не ожидает сопротивления и надеется на легкую победу. Один храбр, потому что считает себя счастливым в битве, другой потому, что считает себя стойким, третий потому, что считает себя ловким. Словом, храбрость редко основана на истинном презрении к смерти. Поэтому человек, бесстрашный со шпагой в руках, часто может оказаться трусом^в поединке на пистолетах. Перенесите на судно солдата, не боящегося смерти в бою; он будет страшиться ее во время бури, потому что не встречался здесь с нею лицом к лицу.

Словом, храбрость часто является следствием неясного понимания опасности или же ее полного непонимания. Сколько людей приходят в ужас от грома и боятся провести ночь в лесу, удаленном от больших дорог, тогда как нет никого, кто бы побоялся пойти ночью из Парижа в Версаль. Между тем неловкость возницы или встреча на большой дороге с разбойником представляют более обычные явления, и, следовательно, их нужно бояться больше, чем удара грома или встречи с тем же самым разбойником в отдаленном лесу. Почему же страх более обычен в первом случае, чем во втором? Потому что блеск молний и раскаты грома, а также лесной мрак постоянно рисуют воображению картину опасности, которой не пробуждает представление дороги, ведущей из Парижа в Версаль. Но немногие люди способны выносить присутствие опасности: она действует на них так сильно, что бывали случаи, когда, будучи не в силах отомстить за оскорбление, люди убивали себя от стыда за свою трусость. Вид противника заглушал в них голос чести; и чтобы взять ему, им нужно было, оставшись наедине с собою, пробудить в себе этот голос и, воспользовавшись минутой подъема, броситься в объятия смерти, так сказать, не замечая ее. По той же причине, для того, чтобы избегнуть действия, которое

почти на всех людей производит вид смерти, солдат на войне не только выстраивают в порядке, сильно затрудняющем бегство, но ище, как, например, в Азии, их возбуждают опиумом, а в Европе подкож и оглушают или шумом барабана, или их собственными криками³. Таким способом, скрывая от них часть опасности, которой их подвергают, уравновешивают их любовь к родине с их страхом. То, что я говорю о солдатах, можно сказать и о полководцах; немногие из них, даже самые храбрые, встречают спокойно смерть в постели⁴ или на эшафоте. Какую слабость духа смелый в боях маршал Бирон показал перед казнью!

Чтобы смотреть в глаза смерти, нужно быть или пресыщенным жизнью, или снедаемым одной из тех сильных страстей, которые заставили Калана, Катона и Порцию умертвить себя. Люди, одушевляемые подобными сильными страстями, любят жизнь лишь при известных условиях: их страсть не скрывает от них опасности, которой они подвергаются; они видят ее такой, какова она в действительности, и презирают ее. Брут хочет освободить Рим от тиарии: он убивает Цезаря, набирает войско, вступает в сражение с Октавием; побежденный, он убивает себя; жизнь невыносима ему без свободы Рима.

Тот, кто доступен столь сильным страстям, способен на самые великие поступки; он не только презирает смерть, но и страдание. Не так с людьми, убивающими себя от отвращения к жизни; их можно назвать почти столь же мудрыми, как и смелыми; большая часть их не были бы смелыми в случае пытки, в них недостаточно жизни и силы, для того чтобы перенести страдания. Презрение к жизни является в них результатом не сильной страсти, а отсутствия страстей; они доказывают себе посредством простого расчета, что лучше вовсе не существовать, чем быть несчастным. Но такое состояние души делает их неспособными к великим деяниям. Тот, кто пресыщен жизнью, мало занят делами этого мира. Поэтому среди многих римлян, которые добровольно лишили себя жизни, нашлось немного таких, которые убийством тиранов осмелились бы сделать свою смерть полезной для родины. И напрасно стали бы возражать, что стража, со всех сторон окружавшая дворцы тиранов, преграждала им доступ; их обезоруживал страх перед пытками. Подобные люди тосятся, вскрывают себе жилы, но не подвергают себя опасности жестоких пыток; никакая побудительная причина не заставит их решиться на это.

Боязнь страданий объясняет нам все странности такого рода мужества. Если человек, достаточно храбрый для того, чтобы застремиться, не решается поразить себя кинжалом; если он страшится некоторых видов смерти, то этот страх основан на истинной или ложной боязни более сильного страдания.

Установленные здесь принципы дают, мне кажется, решение всех подобных вопросов и доказывают, что храбрость не является, как думают некоторые, результатом различных климатических условий, но результатом страстей и потребностей, общих всем людям. Ограниченность моей темы не позволяет мне коснуться

различных названий, даваемых мужеству, как то: храбрость, доблестъ, бесстрашие и т. д. Все это в сущности различные способы проявления мужества.

Рассмотрев этот вопрос, я перехожу ко второму. Речь идет о том, чтобы узнать, следует ли приписывать завоевания, сделанные северными народами, особенной силе и крепости, которыми природа якобы одарила их.

Напрасно обратились бы мы к опыту, чтобы убедиться в истине этого мнения. Ничто до сих пор не доказывает добросовестному исследователю, что природа севера более могущественна в своих произведениях, чем природа юга. Если на севере водятся белые медведи и зубры, то в Африке есть львы, носороги и слоны. Никогда еще не заставляли сражаться негров с Золотого берега или из Сенегала с равным числом русских или финляндцев; никогда не измеряли различную степень их силы различным весом тяжестей, которые они могли бы поднять. Мы в этом отношении так далеки еще от достоверных данных, что если бы я захотел опровергать один предрассудок при помощи другого, то я противопоставил бы похвалу, расточаемую силе турок, рассказам о силе северных народов. Словом, мнение о силе и мужестве северных народов может опираться только на историю их завоеваний; но в этом случае все народы могут предъявлять такие же притязания, оправдывая их подобными же документами, и считать себя одинаково одаренными природой.

Прочтите историю, и вы увидите гуннов, покидающих Азовское море, чтобы покорить племена, живущие к северу от их страны; вы увидите сарацин, массами выходящих из жгучих песков Аравии, чтобы завоевывать земли, покорять народы, победить Испанию и нести опустошение до самого сердца Франции; вы увидите, как эти же сарацины победоносно сражаются с крестоносцами, а повторные набеги европейских народов терпят в Палестине поражение и позор. Если я обращу взор к другим областям, то опять увижу правильность своего взгляда, подтверждаемого и победами Тамерлана, который с берегов Инда победоносно доходит до ледяных пространств Сибири, и завоеваниями инков, и доблестью египтян, на которых в эпоху Кира смотрели как на самый мужественный народ и которые в битве при Тембре показали себя достойными своей репутации, и, наконец, римлянами, победы которых распространяются до Сарматии и до островов Британии. Но если победа непрерменно переносилась с юга на север и с севера на юг; если все народы были поочередно победителями и побежденными; если, как учит нас история, народы севера⁵ не менее чувствительны к пальящему зною южных стран, чем народы юга к жестоким морозам северных, если они с равной неудачей сражаются в климатах, слишком им чуждых, то ясно, что завоевания северян совершенно независимы от климатических особенностей их страны и что напрасно искать в физических условиях причину того факта, который просто и естественно объясняется условиями духовного порядка.

Если север породил последних завоевателей Европы, то потому,

что свирепые и еще дикие народы⁶, какими были в то время северные племена, бывают, по замечанию шевалье Фолара, гораздо более мужественными и способными к войне, чем народы, выросшие в роскоши в изнеженности и подчиненные самодержавной власти, какими были тогда римляне⁷. При последних императорах римляне уже не были больше тем народом — победителем галлов и германцев, который держал весь юг под властью своих законов; теперь эти владельцы мира оказались покоренными теми же доблестями, которые некогда сделали их победителями вселенной.

Но, скажут мне, для того чтобы покорить Азию, от них потребовалось только принести ей цепи. Быстрота завоевания Азии, отвечающая, еще не доказывает трусости южных народов. Какие северные города защищались с большим упорством, чем Марсель, Нуманция, Сагунт, Родос? А разве в эпоху Красса римляне не встретили в парфиянах достойных себя противников? Словом, быстротой своих успехов римляне обязаны рабству и изнеженности азиатов.

Когда Тацит говорит, что монархия парфян менее страшна римлянам, чем свобода германцев, он приписывает превосходство мужества этих последних форме их правления. И, значит, завоевания, сделанные северными народами, нужно объяснять причинами духовного порядка, а не особенностями их климата.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XXVIII

¹ Поэтому самым мужественным государством бывает то, в котором лучше всего награждается доблесть и сильнее всего наказывается трусость.

² См. «L'Histoire critique de la Philosophie».

³ Маршал саксонский, говоря о пруссаках, одобряет в своих «Размышлениях» их привычку варяжать ружья на ходу. Отвлеченный этим занятием, говорит он, солдат менее замечает опасность битвы. Почему Тацит, рассказывая об одном народе, по имени арии, расписывавшем свое тело, чтобы придать ему страшный вид, указывает на то, что в битве первыми побежденными являются глаза? Потому, что новый предмет более явственно вызывает в памяти солдата образ смерти, который прежде он видел лишь смутно.

⁴ Если молодые люди вообще выказывают больше мужества на смертном одре и больше слабости на эшафоте, чем старики, то потому, что в первом случае молодые люди сохраняют больше надежды, а во втором они несут более тяжкую утрату.

⁵ Тацит говорит, что если северяне лучше переносят голод и холод, чем южане, то последние в свою очередь лучше их переносят жажду и жару. Тот же Тацит говорит в своем сочинении «Нравы германцев», что они не переносят военных лишений.

⁶ Олаус Вормиус в своем сочинении «Древности Дании» признает, что большую часть своих знаний он почерпнул со скал Дании, т. е. из тех надписей, которые вырезаны на них руническими или готическими письменами. Эти скалы представляли ряд исторических и хронологических записей, и в них и заключалась почти вся библиотека Севера.

Чтобы сохранить воспоминания о некоторых событиях, пользовались обделанными камнями огромной величины: некоторые из этих камней

были разбросаны в беспорядке, другим придавали некоторую симметрию. Таких каменных груд много в Англии, на равнине Салисбери. Они служили местом погребения британских вождей и героев, что доказывается множеством извлекаемых из-под них костей и оружия.

Если галлы, говорит Цезарь, некогда более воинственные, чем германцы, уступают им теперь в бранной славе, то потому, что, обученные римлянами торговле, они обогатились и цивилизовались.

Что произошло с галлами, говорит Тацит, то случилось и с бриттами: оба эти народа утратили мужество вместе со свободой.

ГЛАВА XXIX

О рабстве и о способности к аллегориям у восточных народов

Пораженные чудовищным характером восточного деспотизма и трусливым долготерпением народов, подчиненных этому гнусному игу, жители Запада, гордые своей свободой, прибегли к физическим причинам для объяснения этого политического феномена. Они утверждали, что сладострастная Азия могла порождать только бессильных и лишенных добродетели людей, которые предавались грубым наслаждениям и были созданы лишь для рабства. Они прибавляли, что поэтому-то южные страны могли воспринять только чувственную религию.

Их предположения опровергаются опытом и историей: известно, что Азия вскормила очень воинственные народы; что любовь не ослабляет мужества¹; что наиболее любящие наслаждения народы часто оказывались, как замечают Плутарх и Платон, самыми храбрыми и мужественными; что страстное влечение азиатов к женщинам никогда не может служить доказательством слабости их темперамента²; что, наконец, задолго до Магомета, Один установил у самых северных народов религию, совершенно схожую с религией восточного пророка³.

Вынужденные отказаться от этого взгляда и вернуть, если можно так выразиться, душу и тело народам Азии, ученые стали искать причину их рабства в географическом положении; в силу этого Юг начали рассматривать как обширную равнину, размеры которой доставляли тиранам средства держать народы в рабстве. Но такое предположение не подтверждается географией: известно, что весь Юг усеян горами и что, наоборот, Север можно рассматривать как обширную равнину, пустынную и покрытую лесами, какими, по всей вероятности, были покрыты некогда равнинны Азии.

После того как мы напрасно исчерпали физические причины,ща в них основание восточного деспотизма, нам остается прибегнуть к причинам духовного порядка и, следовательно, к истории. Она учит нас, что, делаясь культурнее, нации незаметно утрачивают свое мужество, добродетель и даже любовь к свободе; что каждое общество немедленно после своего образования и соответственно тем обстоятельствам, в которых оно находится, всегда более или менее быстро идет к рабству. А южные народы, которые

Первыми организовались в общество, первые и поддали деспотизму, потому что к такому завершению приходит всякая форма правления, и таким остается каждое государство вплоть до своего окончательного разрушения.

Но каким же образом, возразят мне те, кто считает мир более древним, чем мы думаем, на земле еще существуют республики? Если всякое общество, отвечу им, цивилизаясь стремится к деспотизму, то всякая деспотическая власть влечет за собой уменьшение населения. Страны, подчиненные ей, оставаясь невозделанными и обездыденными, через несколько веков превращаются в пустыни; равнины, по которым были разбросаны громадные города с величественными зданиями, со временем застают лесами, в которых скрываются несколько семейств, дающих мало-помалу начало новым диким народностям; эта смена цивилизаций и сохраняет на земле республики.

К сказанному надо я прибавлю только то, что если южные народы были уже рабами в древнейшие времена и если народы европейские, за исключением московитов, могут считаться свободными, то потому, что эти народы позднее цивилизовались. В эпоху Тацита германцы и галлы были еще подобны дикарям; и если только не заключить силой оружия в оковы целый народ, то тираны должны незаметно, по упорю в течение целого ряда веков подавлять в сердцах людей доблестную и природную любовь к свободе, приижая, таким образом, души, чтобы обратить их в рабство. А однажды, прийдя до такого предела, народ становится неспособным ни к какому благородному деянию⁴. Если народы Азии вызывают презрение Европы, то потому, что время подчилило их деспотизму, не совместимому с душевной высотой. Этот же самый деспотизм, пагубный для ума и талантов, заставляет считать тупоумие некоторых восточных народов следствием недостатка в их организации. Однако не трудно заметить, что внешнее различие, существующее, например, между физиономией китайца и шведа, не может иметь никакого влияния на их ум. И если все наши мысли входят в нас, как это доказал Локк, через внешние чувства, то и северные народы, не имея большего количества внешних чувств, чем народы восточные, обладают в силу своего физического сходства и равными с ними чистыми способностями.

Следовательно, все различие в уме и характере народов следует приписывать различию государственного устройства и, значит, принципам духовного порядка. Так, например, своим талантом к аллегориям, придающим столь своеобразный характер их творчеству, восточные народы обязаны форме своего правления. В странах, где некогда культивировались науки, где еще сохранилось желание писать, но где народ подчинен деспотической власти и где истина, следовательно, должна облекаться в форму символа, авторы, очевидно незаметно, приобретают привычку думать аллегориями. Говорят, чтобы дать почувствовать какому-то тирану несправедливость его притеснений и жестокость его обращения с подданными, а также ту обойдную и необходимую зависимость, которая соединяет

ищет народ с государем, некий индийский философ изобрел игру в шахматы. Он научил тирана этой игре и дал ему понять, что если после потери короля фигуры становились бесполезными, то и король, после взятия фигур лишался возможности защищать себя и что как в том, так и в другом случае игра была проиграна⁵.

Я мог бы привести множество других примеров той аллегорической формы, в какую индузы облекали свои мысли; мне кажется ясным, что та форма правления, которой восточные народы обязаны столькими остроумными аллегориями, является и причиной весьма малого количества у них историков. Действительно, писание истории, требующее от историка ума, предполагает его все же не больше, чем для всякого иного литературного труда. Почему же среди писателей так редки хорошие историки. Потому что для достижения известности в этой области необходимо не только родиться при благоприятном стечении обстоятельств, но также и в стране, где можно безнаказанно быть добродетельным и говорить правду. Деспотизм же противится этому и закрывает уста историкам⁶, если только власть его в этом отношении не скована каким-либо предрассудком, суеверием, или каким-нибудь особым институтом. Таков в Китае институт Исторического трибунала,— трибунала, остающегося доныне глухим как к просьбам, так и к угрозам монархов⁷.

То, что я сказал об истории, я могу сказать и об искусстве красноречия. Если Италия была столь богата ораторами, то вовсе не потому, что почва Рима, как это утверждали в своей ученой глупости некоторые академические педанты, была благоприятнее для создания великих ораторов, чем почва Лиссабона или Константиноополя. Рим одновременно утратил и свое красноречие, и свою свободу, а между тем ничего не произошло с землей, и климат Рима не изменился при императорах. Чему же приписать недостаток в ораторах среди римлян той эпохи, если не причинам нравственного порядка, т. е. тем переменам, которые произошли в форме правления? Можно ли сомневаться в том, что, приуждая ораторов говорить на познавательные темы⁸, деспотизм иссушил источник красноречия? Ведь сила его заключается главным образом в значительности избираемых им тем. Предположим, что для панегирика Траяну требовалось столько же ума, как для сочинения Катилинарий; но и в этом случае Плиний, благодаря выбору темы, будет стоять ниже Цицерона. Этот последний, желая извлечь римлян из того состояния дремотности, в котором хотел их оставить Катилина, должен был пробуждать в них страшную ненависть и жажду мести, говоря на тему, столь интересную для властелинов мира, как мог Цицерон не заслужить пальму красноречия?

Рассмотрите, почему греки, римляне и все европейцы всегда обвиняли в варварстве и тупоумии восточные народы. Вы увидите, что все народы пазывали умом только совокупность полезных им идей, а что деспотизм почти во всей Азии запрещал изучение морали, метафизики, юриспруденции, политики, одним словом — всех наук, полезных для человечества; поэтому восточные народы прослыши варварами и глупцами у просвещенных народов Европы и Си-

Лались навёки презримыми в глазах свободных наций и их потомства.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XXIX

¹ Галлы, по словам Тацита, любили женщин и оказывали им величайшее уважение. Они приписывали женщинам нечто божественное, допускали их на совещания и обсуждали с ними государственные дела. Германцы подобным же образом относились к своим женщинам. Решения женщин считались у них как бы изречениями оракула. При Веспасиане некая Велледа, а до нее Авриния и еще многие другие вызывали подобное почитание. Обществу женщин, говорит Тацит, германцы обязаны своим мужеством в битвах и своей мудростью в совете.

² По свидетельству шевалье де Боже, северяне были всегда очень склонны к любовным наслаждениям. Огелиус в «*Itinere Danico*» говорит то же самое.

³ См. в гл. XXV о тождестве этих двух религий.

⁴ В этих странах великодушие не берет верх над мстительностью. В Турции не может случиться то, что случилось в Англии несколько лет тому назад. Принц Эдуард, преследуемый королевскими отрядами, нашел убежище в доме одного вельможи. Его обвинили в укрывательстве претендента и призвали на суд. Явившись туда, он сказал: «Разрешите мне, прежде чем подвергнуться допросу, спросить, кто из вас был бы настолько подлым и трусливым, чтобы выдать претендента, если бы он укрылся в его доме?» При этом вопросе суд умолк, поднялся и отпустил обвиняемого.

В Турции нельзя найти землевладельца, который заботился бы о благе своих вассалов; турок не заведет у себя фабрик; он не будет с тайным удовольствием переносить дерзость своих подчиненных, ту дерзость, которую всегда выказывают родившиеся в нищете люди, когда они внезапно разбогатеют. От турка нельзя услышать прекрасного ответа, данного в аналогичном случае одним английским вельможей лицам, обвинявшим его в слишком большой доброте: «Я желал бы большего почтения от моих вассалов, но мне известно, как и вам, что смиренный и робкий голос присущ бедности; а я желаю их счастья и благодарю небо за их дерзость, которая убеждает меня в том, что они стали богаче и счастливее».

⁵ Иногда визири подобными же искусствами приемами находили средства давать полезные уроки своим государям. «Некий персидский монарх, разгневавшись на своего великого визиря, отставил его и назначил на его место другого. Тем не менее он был доволен прежними заслугами отставного визиря и повелел ему выбрать любое место в государстве, где бы он мог прожить остаток своих дней вместе со своей семьей и пользоваться приобретенным раньше богатством. Визирь ответил ему: «Мне не надо тех благ, которыми ваше величество осыпало меня; я умоляю взять их обратно, и если ваше величество сохранили ко мне некоторую благосклонность, то я прошу отвести мне для жительства не населенное место, но какую-либо пустынную деревню, которую я мог бы восстановить и заселить с помощью моих людей, моего труда, моих забот и моего трудолюбия». Монарх повелел, чтобы ему нашли просимую деревню. Но после долгих поисков ему объявили, что такой деревни не оказывается. Монарх сообщил об этом отставному визирю, который ответил: «Я прекрасно знал, что во всех областях, вверенных моему попечению, нет ни одного разоренного угла. Я попросил об этом для того,

чтобы ваше величество узнало, в каком состоянии я возвращаю государство его величеству, и пусть ваше величество передаст управление человеку, способному отдать в нем столь же хороший отчет» (*Galland*. «Bons mots des orientaux»).

* Если в этих странах историк не может без опасности для себя называть по именам изменников, которые в прошлых веках предавали родину; если он вынужден, таким образом, жертвовать истиной тщеславию потомков, часто столь же преступных, как их предки, то как же может министр подобного государства заботиться об общественном благе? Сколько препятствий будут ставить ему высокопоставленные лица, гораздо более заинтересованные в продолжении злоупотреблений, чем в репутации своих предков! Возможно ли при таких правительствах требовать добродетели от гражданина и возмущаться людской влобой? Дурны не люди сами по себе, дурными делает их законодательство, наназывающее всякого, кто делает добро и говорит истину.

* Исторический трибунал, говорит Фрере, состоит из двух родов историков. Одним поручено описывать все, что происходит вне дворца, т. е. все, что касается общих дел, другим же — все, что происходит и говорится внутри дворца, т. е. все речи государя, министров и чиновников. Каждый из членов этого трибунала записывает на листе все, что он узнал за день. Затем он подписывает его и, не сообщая его содержания своим товарищам, бросает его в большую урну, поставленную посреди зала собрания. Чтобы дать понять дух этого трибунала, Фрере сообщает, что некий Тзу-и-чонг приказал убить Тчуанг-чонга, генералом которого он был (это убийство было местью за оскорбление, которое ему нанес этот государь, отняв у него жену). Исторический трибунал составил записку об этом случае и положил ее в свой архив. Генерал, узнав об этом, сместил президента трибунала, присудил его к смертной казни, уничтожил записку и назначил другого президента. Но так только этот последний получил место, то сейчас же велел составить новую запись этого происшествия, дабы заменить потерю первой. Генерал, узнав об этой дерзости, уничтожил трибунал и велел умертвить всех его членов. Тотчас же вся империя была паводнена статьями, в которых поведение генерала описывалось самыми черными красками. Испугавшись мятежа, он восстановил Исторический трибунал.

Летописи династии Танг приводят подобный же факт. Та-итсонг, второй император из династии Танг, потребовал, однажды, у президента этого трибунала показать ему мемуары, касающиеся истории его царствования. «Государь, — отвечал ему президент, — подумайте, что мы точно рассказываем о пороках и добродетелях государей и что мы потеряем свободу, если вы будете настаивать на вашем желании...» — «Как! — ответил император, — ты, который мне всем обязан, ты, который был так привязан ко мне, ты бы мог сообщить потомству о моих ошибках, если бы я совершил их?» — «Не в моей власти было бы скрыть их, — ответил президент, — хоть и с прискорбием, но я написал бы о них; и такова моя обязанность, что я должен сообщить потомству о вашем сегодняшнем разговоре со мной».

* Дух свободы, которым дышал Тацит в своей первой молодости, дал силы его душе во время царствования Веспасиана. Он стал, говорит аббат де-ла-Блетри, гениальным человеком; он был бы человеком только умным, если бы родился в царствование Нерона.

ГЛАВА XXX

О превосходстве некоторых народов в различных отраслях науки

Физическое положение Греции осталось неизменным: почему же современные греки так отличаются от прежних? Потому что изменилась форма их правления; потому что, подобно воде, принимающей форму всякого сосуда, в который ее наливают, характер народов восприимчив ко всякой форме правления; в каждой стране правительственный гений создает гений национальный¹. Какая же другая страна кроме Греции могла при республиканской форме правления породить большее число полководцев, политиков, героев? Не говоря уже о государственных людях, как много философов должна была создать страха, где так почитали философию? где победитель Греции, царь Филипп, писал Аристотелю: «Я благодарю богов не за то, что они даровали мне сына, но за то, что он родился еще при твоей жизни. Я поручаю тебе его воспитание и надеюсь, что ты сделаешь его достойным себя и меня». И какое иначе могло быть более лестным для этого философа, чем то, которое властелин мира, Александр, написал ему на развалинах престола Кира: «Я узнал, что ты обнародовал твой эзотерический курс. Какое же преимущество остается у меня перед другими людьми? Высокие науки, которым ты обучил меня, станут теперь общим достоянием; но ведь тебе было известно, что я предпочитаю превосходить людей знанием о высоких предметах, чем могуществом. Прощай!»

Не в одном только Аристотеле чтили философию. Известно, что египетский царь Птоломей относился к Зенону, как к государю, и отправил к нему посольство; что афиняне воздвигли этому философи мавзолей, построенный на общественный счет; что незадолго до смерти Зенона Антигон, царь македонский, писал ему: «Если судьба высоко вознесла меня, если я превосхожу тебя в величине, то признаю, что ты превосходишь меня в познании и в добродетели. Приезжай к моему двору; ты будешь здесь полезным не только великому царю, но и всему македонскому народу. Тебе известно, как действует на людей пример. Они рабски подражают нашим добродетелям, и тот, кто внушает добродетель государям, дарует их и народам. Прощай». Зенон ответил ему: «Приветствую твой благородный пыл; среди великолепия, пышности и наслаждений, окружающих царя, прекрасно стремление к науке и к добродетели. Мой преклонный возраст и слабость здоровья не позволяют мне приехать, но я посыпаю тебе двух моих учеников. Внемли их поучениям; если ты будешь их слушать, они откроют тебе путь к мудрости и к истишому счастью. Прощай».

Впрочем, греки воздавали подобные почести не только философии, но и всем искусствам. Поэты столь ценились в Греции, что Афины запрещали им особым законом и под страхом смерти изображать страшну². Лакедемонян, которых некоторые писатели любят изображать, как людей добродетельных, но скорее грубых,

чем духовно утонченных, были не менее остальных греков³ чувствительны к красотам искусства и наук. Страстно любя поэзию, они привлекли в свою страну Архилоха, Ксенофона, Ксенофрида, Полимnestа, Сакадаса, Периклита, Фриниха, Тимофея⁴. Они так благоговели перед поэзией Терпандра, Спендона и Алкмана, что рабам запрещалось петь их стихи; это было, по их мнению, профанацией божественных вещей. В искусстве рассуждения они были не менее способными, чем в искусстве описывать свои мысли в стихах: «Тот, кто разговаривает с лакедемонянином, — говорит Платон, — хотя бы с последним из них, может сначала найти его грубым, но, углубляясь в тему, он увидит, как этот же самый человек проявляет достоинство, точность и тонкость, сообщающие его словам остроту и проницательность. И рядом с ним всякий другой грек покажется лепечущим младенцем». С ранней юности их учили изяществу и чистоте речи, чтобы к верности мысли они присоединяли красоту и тонкость выражения, чтобы их ответы, всегда краткие и верные, были полны остроумия и приятности. Тех, которые, благодаря торопливости или медлительности ума, отвечали плохо или совсем не отвечали, немедленно наказывали. За плохое рассуждение в Спарте карали, как в других местах карают за плохое поведение. Поэтому ничто не затемняло разум этого народа. Будучи уже с колыбели чужд капризов и детских причуд, лакедемонянин в молодости становился бесстрашным; он чувствовал себя уверенно в одиночестве и во мраке; менее суеверные, чем остальные греки, спартанцы призывали свою религию на суд разума.

Могли ли науки и искусства не сиять полным блеском в стране, подобной Греции, где они пользовались таким всеобщим и постоянным почетом? Я говорю постоянным, чтобы предупредить возражение людей, утверждающих, подобно аббату Дюбо, что в известные века, как, например, в век Августа и Людовика XIV, какой-то ветер приносит великих людей, словно стаи редких птиц. В пользу этого мнения приводят обыкновенно то, что некоторые государи напрасно стремились оживить у себя науки и искусства⁵. Если усилия этих монархов оставались бесплодными, то потому, что они не были постоянными. После нескольких столетий невежественности почва, на которой произрастает искусства и науки, становится иногда столь дикой и запущенной, что не может создать действительно великих людей, пока ее не распашет несколько поколений ученых. Таков был век Людовика XIV, в котором великие люди были обязаны своим превосходством ученым, предшествовавшим им на поприще наук и искусств. На это поприще эти ученые проникли лишь благодаря поддержке наших королей, о чем свидетельствуют и грамота от 10 мая 1543 г., в которой Франциск I строго запрещал понижение и нападки на Аристотеля⁶, и стихи, которые Карл IX послал Ронсару⁷.

К сказанному мною я прибавлю еще только одно: подобно фейерверку, который, быстро взлетая в воздух, на мгновение озаряет горизонт и затем снова гаснет, погружая природу в еще более

глубокую тьму, искусства и науки во множестве различных стран лишь вспыхивают и исчезают, оставляя затем эти страны во мраке невежества. За веками, наиболее богатыми великими людьми, почти всегда следует век, когда науки и искусства культивируются менее успешно. Чтобы понять это, не нужно прибегать к физическим причинам, — здесь достаточно причин духовного порядка. Действительно, если восхищение является всегда следствием удивления, то чем больше среди народа великих людей, тем меньше их почитают; чем меньше возбуждают в них чувство соревнования, тем меньше усилий они делают для своего усовершенствования и тем дальше отстоят от него. После такого века часто нужно уединение многих веков невежества, чтобы снова дать стране урожай великих людей.

Словом, повидимому, только причинам духовного порядка можно приписать превосходство некоторых народов над другими в области наук и искусств; и можно заключить, что нет народов, особенно одаренных добродетелью, умом и мужеством. Природа в этом отношении делила поровну свои дары. Действительно, если бы большая или меньшая сила ума зависела от различия температуры в разных странах, то, принимая во внимание древность мира, должна была бы найтись народность, которая, будучиpostaвленна в наиболее благоприятные условия, достигла бы путем постоянных успехов большего превосходства над другими народами. Но уважение, которое поочередно воздавалось за их ум разным народам, и презрение, которому они, один за другим, подвергались, показывают, как ничтожно влияние климата на ум. Я прибавлю даже, что если бы место рождения определяло силу нашего ума, то причины духовного порядка не могли бы дать нам столь простого и естественного объяснения явления, зависящих от физических причин. Относительно этого я замечу, что так как до сих пор не было ни одного народа, которому бы климатические особенности его страны и вытекающие отсюда небольшие различия в организации давали постоянное преимущество над другими народами, то мы вправе думать, что возможные небольшие различия в организации отдельных лиц, образующих какой-нибудь народ, не имеют заметного влияния на их ум⁸. Все способствует доказательству этой истины. Кажется, что самые сложные проблемы в этой области представляются уму лишь для того, чтобы находить свое решение в применении установленных мною принципов.

Почему люди посредственные упрекают почти всех знаменитых людей в странном поведении? Потому что гений не является даром природы; потому что человек, ведущий образ жизни, сходный с образом жизни других людей, имеет и схожий с ними ум; потому что гениальность предполагает жизнь, полную прилежных занятий, а такая жизнь, отличаясь от обычной, всегда будет казаться смешной. Почему умные люди, спрашивают, встречаются чаще в этом веке, чем в предыдущие, а гениальные люди стали встречаться реже? Почему, как говорит Пифагор, так много людей, берущих тир, и так мало вдохновенных духом бога, носящего его? Потому

что ученые слишком часто бывают вынуждены отрываться от своих занятий и вращаться в свете. Они распространяют в нем просвещение, создают в нем умственные интересы, но неизбежно теряют то время, которое в единении и размышлении они могли бы употребить на развитие своего таланта. Человек науки подобен телу, брошенному в середину других тел; оно утрачивает, сталяясь с ними, свою силу, которую оно отдает им.

Причины нравственного порядка объясняют нам все различные, относящиеся к уму явления и показывают, что, подобно частичкам огня, скрытым в царе и бездеятельным, пока искра не оживит их, ум остается бездействующим, пока страсти не приведут его в движение. Страсти способны превратить глупца в умного человека. И всем, что мы имеем, мы обязаны воспитанию.

Если бы гениальность была, как утверждают, даром природы, то почему же среди людей, исполняющих какую-либо должность, или среди людей, родившихся либо долго живших в провинции, нет ни одного прославившегося в искусствах — в поэзии, в музыке или живописи? Почему гениальность не могла бы заменить у должностных лиц потерю некоторого времени, требуемого для выполнения служебных обязанностей, а у провинциалов — беседы с образованными людьми, которых встречаешь только в столице? Почему великий человек обладает гениальностью лишь в той отрасли, которую он долгое время изучал? Разве не видно из этого, что если он не обладает превосходством в других отраслях, то значит он и не имеет другого преимущества над остальными людьми, кроме привычки к прилежанию и научных методов? Почему, наконец, среди великих людей реже всего встречаются великие министры? Потому что к множеству обстоятельств, необходимых для создания великого героя, нужно еще присоединить такие обстоятельства, которые помогли бы этому гениальному человеку подняться до должности министра. Но комбинация стечения обстоятельств обоего рода, весьма редкая у всех народов, является почти невозможной в странах, где заслуги сами по себе не приводят к высоким местам. Поэтому, если исключить таких людей, как Ксенофонт, Сципион, Конфуций, Цезарь, Ганнибал, Ликург и, может быть, еще каких-нибудь пятьдесят государственных мужей, чей ум мог бы выдержать строгий экзамен, то все остальные — и среди них даже несколько весьма известных в истории и означенавших себя громкими деяниями лиц — все же были, как бы ни восхваляли их ум, людьми весьма обыкновенными. Своей известностью они больше обязаны силе своего характера⁹, чем силе ума. Несовершенные законодательства, посредственные и почти неизвестные сочинения, оставленные такими людьми, как Август, Тиверий, Тит, Антонин, Адриан, Мориц и Карл V, сочинения, написанные к тому же по вопросам, в которых они должны были быть знатоками, только подтверждают это мнение.

Общее заключение этого рассуждения то, что талант есть общее достояние, а условия, благоприятные для его развития, очень редки. Если позволительно сравнивать мирское со священным

то можно сказать, что здесь много званных и мало избранных.

Словом, умственное неравенство людей зависит и от формы правления в их стране, и от более или менее счастливой эпохи, в которую они родились, и от полученного ими воспитания, и от большего или меньшего желания выдвинуться и, наконец, от степени высоты и плодотворности тех идей, которые они сделали предметом своего изучения.

Таким образом, гениальные люди являются продуктом условий, в которых они находились¹⁰. Поэтому все искусство воспитания состоит в том, чтобы ставить молодых людей в условия, способные развить в них зачатки ума и добродетели. Не любовь к парадоксу привела меня к этому выводу, но единственное желание людского счастья. Я понял, насколько хорошее воспитание может распространить просвещение, добродетель и, следовательно, счастье в обществе и насколько уверенность в том, что талант и добродетель суть простые дары природы, мешает успехам науки о воспитании и поощряет леность и небрежность. Исследуя с этой точки зрения власть природы и воспитания над нами, я заметил, что тем, чем мы являемся, мы обязаны воспитанию; на основании этого я решил, что долг гражданина сообщить истину, способную обратить внимание на средства для усовершенствования воспитания. Чтобы еще лучше осветить столь важный вопрос, я постараюсь в следующем Рассуждении точно определить те различные понятия, которые должны соединяться с различными наименованиями ума.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XXX

¹ Нет ничего более нелепого и неверного, чем описания характера различных народов. Некоторые придают своему народу черты своего общества и, соответственно, изображают его печальным, или веселым, или грубым, или остроумным. Мне кажется, что я слышу францисканцев, которые на вопрос о кулинарном вкусе французов отвечают, что во Франции все готовят на прованском масле. Другие списывают то, что до них говорили тысячи других писателей; они никогда не исследовали изменений, совершающихся в характере народа благодаря переменам в государственном управлении и в обычаях. Когда-то о французах было сказано, что у них веселый характер; они будут повторять это вечно. Они не замечают, что превратности времени, принудив государей обременить деревню значительными податями, лишили веселости французский народ; ведь крестьянское сословие, составляющее две трети населения, находится в бедности, а бедность никогда не может быть веселой; что обязанность городских властей оплачивать по праздникам часть расходов на маскарады у «Porte Saint-Antoine» никак не является доказательством веселости ремесленников и буржуа; что шпионаж, может быть, и нужен для безопасности Парижа, но что в слишком большой дозе он, благосоря злоупотреблениям некоторых лиц, вызывает в умах недоверие, совершенно противоположное радости; что молодые люди, отказавшись от посещения кабачков, утратили часть той веселости, которая оживляется вином,

и что, иакопец, дружеские нружки, изгнали из своей среды грубое веселье, изгнали и веселье настоящее. Потому-то большинство иностранцев находят большое различие между действительным характером нашего народа и тем характером, который ему приписывают. Если во Франции можно найти где-либо веселье, то в праздничные дни на бульварах; но публика на них слишком сдержанна для того, чтобы быть веселой. Веселость всегда бывает немнога распущенной. Кроме того веселость предполагает зажиточность; а признаком зажиточности народа является то, что некоторые называют дерзостью. т. е. знание народом прав человека и взаимных человеческих обязательств; подобное знание всегда недоступно робкой и запуганной бедности. Зажиточность защищает свои права, бедность уступает их.

² На Марианских островах на поэта смотрят как на человека чудесного. Уже одно это название вызывает к нему уважение в народе.

³ Правда, они ненавидели всякую поэзию, способную ослабить мужество. Они изгнали из Спарты Архилюха за то, что в своих стихах он сказал, что спастись бегством разумнее, чем погибнуть с оружием в руках. Это изгнание было следствием не их равнодушия к поэзии, но их любви к добродетели. Заботы Ликурга о собрании сочинений Гомера, статуя Смеха, которую он воздвигнул в Спарте, и его законы лакедемонянам показывают, что намерением этого великого человека не было сделать из них народ необразованный.

⁴ Лакедемоняне Кинефон, Дионисодот, Ареи и Хилон, один из семи мудрецов, отличались в искусстве стихосложения. Лакедемонская поэзия, говорит Плутарх, простая, мужественная, энергичная, была полна огня, способного воспламенять в душах пыл и храбрость.

⁵ Государи склонны думать, что одним словом или одним законом они вдруг могут изменить дух целого народа, например, превратить трусивый и ленивый народ в народ деятельный и смелый. Им неизвестно, что те болезни в государстве, которые медленно развиваются, и исчезают медленно и что в политическом организме, так же как в организме человеческом, нетерпение государя или большого часто мешают выздоровлению.

⁶ В эпоху величайшего расцвета церкви некоторые люди возводили сочинения Аристотеля на степень священного писания, а другие ставили его образ рядом с изображением Иисуса Христа; некоторые утверждали в своих диссертациях, что без Аристотеля религия была бы лишена своей главнейшей аргументации. Ему принесли в жертву многих критиков, между прочим Рамуса: когда этот философ напечатал сочинение под заглавием «Критика Аристотеля», то все старые доктора, невежественные по своему положению и упрямые благодаря своему невежеству, почувствовали себя, так сказать, изгнанными из своей вотчины и, устроив заговор против Рамуса, заставили изгнать его.

⁷ Вот стихи, которые этот монарх написал поэту:

Искусство писать стихи, как бы этим ни возмущались,
Должно выше цениться, чем искусство царствовать:
Твоя лира, вызывающая восторг своими нежными аккордами,
Покоряет тебе души, мне же принадлежат только тела;
Она делает тебя их господином, и ты проникаешь туда,
Где не имеет власти самый гордый тиран.

* Если, строго говоря, нельзя доказать, что различие в организации ничуть не влияет на ум людей, которых я называю, в среднем, нормально организованными, то все же можно утверждать, что это влияние столь незначительно, что его можно рассматривать как те малые величины, которые не принимаются в расчет при алгебраических вычислениях. Наконец, то, что до сих пор приписывали причинам физическим и чего не могли объяснить ими, прекрасно объясняется причинами духовного порядка.

* Люди сильного характера, и потому часто несправедливые, более способны в области политики на великие поступки, чем люди, выдающиеся по уму, но лишенные характера. Цезарь говорит, что важнее выполнять смелые начинания, чем обсуждать их. Однако сильные характеры встречаются чаще, чем великие умы. Сильная страсть, достаточная для создания великого характера, может служить только средством для приобретения великого ума. Поэтому среди трехсот или четырехсот министров или королей легко найти великий характер, тогда как среди двух или трех тысяч не всегда можно найти великий ум; я предполагаю в этом случае, что истинными законодательными гениями должно считать лишь Миноса, Конфуция, Ликурга и т. п.

* Это мое мнение утешительно для тщеславия большинства людей и потому должно быть принято ими благосклонно. Согласно моим принципам, они должны приписывать посредственность своего разума не унизительной причине несовершенства своей организации, но воспитанию и обстоятельствам. Всякий посредственный человек, согласно моим принципам, вправе думать, что если бы судьба была к нему благосклоннее, если бы он родился в известную эпоху и в известной стране, то он мог бы походить на тех великих людей, чьим гением он не может не восхищаться. Однако, как ни лестно это мнение для большинства людей при их посредственности, но в общем оно не должно иррадиатися, ибо почти нет человека, который считал бы себя посредственным, и нет глупца, который не благодарили бы ежедневно природу за ее особые заботы об его организации. Почти нет людей, не считающих парадоксами те принципы, которые резко расходятся с их притязаниями. Всякая истина, оскорбляющая гордость, должна долго бороться с этим чувством, прежде чем восторжествовать над ним.

Человек справедлив, когда это в его интересах. Если буржуа менее преувеличивает преимущества знатного рождения, чем вельможа, но больше знает им цену, то не потому, что он умнее. Его подчиненные часто могут пожаловаться на глупое высокомерие, в котором он обвиняет вельмож; верность его суждения есть лишь следствие его тщеславия; в этом случае ему выгодно быть разумным.

К сказанному мною я прибавлю еще, что установленные здесь принципы, если признать их верными, встретят противников во всех тех лицах, которые не могут принять их, не отказавшись от старых предрассудков. Когда мы уже достигли известного возраста, лепость восстанавливает нас против всякой новой идеи и требуемого ею труда исследования. Новое мнение находит сторонников лишь среди тех умных людей, которые, будучи еще молодыми, не остановились в своем умственном развитии, не почувствовали еще жала зависти и жадно ловят истину всюду, где видят ее. Они одни, как я уже сказал, выступают в пользу истины, возвещают ее и утверждают ее в общество; от них одних философ может ожидать похвалы: большинство остальных людей являются судьями, испорченными леностью или завистью.

Р А С С У Ж Д Е Н И Е IV

О РАЗЛИЧНЫХ НАИМЕНОВАНИЯХ УМА

ГЛАВА I.

О гении

О гении писали многие авторы: большая часть из них видела в нем некое божественное пламя, вдохновение, энтузиазм, и такие метафоры принимали за определения.

Как бы ни были туманны такого рода определения, тем не менее та же самая причина, которая заставляет нас утверждать, что огонь горяч, и включить в число его свойств то действие, какое он производит на нас, — та же самая причина заставляет нас называть огнем все идеи и все чувства, способные расшевелить наши страсти и воспламенить их в нас.

Немногие поняли, что эти метафоры, применимые к гению известного рода, как, например, к поэтическому или ораторскому гению, неприменимы к гениям мысли, как то: к Локку, к Ньютону.

Чтобы получить точное определение слова гений и вообще всех наименований, даваемых уму, необходимо подняться до идей более общих, а для этого очень внимательно прислушаться к суждениям общества.

Общество равно ставит в ряды гениев Декарта, Ньютона, Локка, Монтескье, Корнея, Мольера и пр. Название гения, которое оно дает столь различным людям, очевидно предполагает в них некое общее качество, характеризующее гений.

Чтобы распознать это качество, рассмотрим этимологию слова гений, потому что обыкновенно в этимологиях ясно выражаются те идеи, которые общество связывает со словами.

Слово гений происходит от *gignere*, *gigno* (я порождаю, я произвожу); оно всегда предполагает изобретение, и это единственное качество, принадлежащее всем различным гениям.

Изобретения или открытия бывают двоякого рода. Некоторыми из них мы обязаны случаю, как, например, открытием компаса, пороха и почти всеми открытиями в науке.

Существуют другие открытия, которыми мы обязаны гению, тут под словом «открытие» подразумевается новая комбинация, новое соотношение, замеченное между известными предметами или идеями. Название гениядается в том случае, если идеи, вытекающие из этого соотношения, образуют большое целое, богаты исти-

шами и полезны для человечества¹. Темы же для наших размышлений почти всегда выбирает случай. Поэтому ему принадлежит большая доля в успехах великих людей, чем это предполагают, ибо случай доставляет великим людям более или менее интересные темы для их творчества; благодаря ему же они рождаются в тот момент, когда они могут составить эпоху.

Чтобы пояснить слово *эпоха*, нужно заметить, что каждый изобретатель в каком-нибудь искусстве или в какой-нибудь науке, которую он, так сказать, извлекает из колыбели, всегда бывает превзойден другим талантливым человеком, следующим за ним в этой области, а этот второй третьим и т. д., до тех пор пока это искусство достигнет известных успехов. Когда, наконец, это искусство получает последнюю степень совершенства или, по крайней мере, ту степень, которая позволяла бы констатировать это совершенство, тогда человек, возведший его на данную степень, получает название гения, хотя иногда он подвигает вперед данное искусство не так далеко, как его предшественники. Таким образом, вовсе не достаточно обладать гением, для того чтобы получить это название.

Начиная с трагедий страстей господних до поэтов Гарди и Ротру, кончая Марнамой Тристана, французский театр постепенно прошел бесконечные ступени совершенствования. Корнель родился в тот момент, когда степень совершенства, приданная им этому искусству, должна была составить эпоху; Корнель — гений².

Я вовсе не хочу этим замечанием уменьшить славу этого великого поэта, но только показать, что закон непрерывности всегда точно соблюдается и что в природе нет скачков³. И к наукам можно применить замечание, сделанное мною относительно драматического искусства.

Кеплер нашел закон взаимного тяготения тел друг к другу; Ньютон удачным применением остроумных вычислений в области астрономии подтвердил существование этого закона: Ньютон составил эпоху, он причислен к сонму гениев.

Аристотель, Гассенди, Монтэн смутно предчувствовали, что всеми нашими идеями мы обязаны нашим ощущениям; Локк разъяснил и углубил этот принцип, подтвердив его истинность множеством примеров; и вот Локк — гений.

Невозможно, чтобы появление великого человека не предвещалось всегда другим великим человеком⁴. Творения гения подобны тем великим памятникам древности, которые, будучи созданы многими поколениями царей, носят имя царя, закончившего их.

Но если случай, т. е. сцепление следствий, причин которых мы не знаем, играет такую роль в судьбе людей, прославившихся в искусствах и в науках, если он определяет даже тот момент, когда они должны родиться, чтобы составить эпоху и получить название гениев, — то насколько еще большее влияние оказывает случай на репутацию государственных людей!

* Цезарь и Магомет наполнили мир своей славой. Последний

почитается как друг божий целой половиной человечества; другая половина чтит его как великого гения; однако этот Магомет, простой арабский торговец, не получивший ни образования, ни воспитания и бывший сам отчасти жертвой внушенного им другим фанатизма, должен был, чтобы написать посредственное и вздорное сочинение, называемое Алкораном, прибегнуть к помощи греческих монахов. Как же не признать в появлении такого человека дело случая, поместившего его в эпоху и в обстановку, когда должен был произойти переворот, которому этот смелый человек дал в сущности лишь свое имя?

Кто может сомневаться в том, что случай, столь благосклонный к Магомету, способствовал также и славе Цезаря? Я не хочу отнять ни одной из похвал, воздаваемых этому герою; но ведь и Сулла, так же как и он, поработил римлян. Факты военной истории не настолько хорошо известны, чтобы можно было судить, был ли Цезарь действительно выше Сертория или другого подобного ему вождя. Если он был единственным из римлян, которого сравнивали с победителем Дария, то потому, что оба они покорили множество народов. Если слава Цезаря затмила собой славу почти всех великих вождей республики, то потому, что своими победами он положил основание престолу, укрепленному Августом⁵, потому, что его диктатура была эпохой порабощения римлян, и потому, что он произвел в мире переворот, блеск которого увеличил славу его великих талантов.

Но, хотя я придаю большое значение случаю и его влиянию на славу великих людей, все же случай благосклонен лишь к тем, кого одушевляет страстное желание славы.

Такое желание, как я уже сказал, заставляет человека легко переносить труд, связанный с занятиями и размышлением. Оно сообщает человеку постоянство внимания, необходимое, чтобы прославиться в каком-либо искусстве или науке. Этому желанию мы обязаны смелостью гения, призывающего на суд разума взгляды, предрассудки и заблуждения, освященные временем.

В науках или в искусстве только одно это желание возвышает нас до новых истил или же доставляет нам новые развлечения. Наконец, желание славы является душой гениального человека: оно является источником как его смешных сторон⁶, так и его успехов, которыми он обыкновенно обязан только тому упорству, с которым он сосредоточивает свое внимание на одной области. Чтобы заполнить собой все его душевые способности, достаточно какой-нибудь одной науки; поэтому нет и не может быть гения универсального.

Продолжительность времени, посвящаемого размышлению, необходимая для того, чтобы выдвинуться в какой-нибудь отрасли знания, и краткость нашей жизни указывают нам на невозможность отличаться во многих отраслях.

Кроме того, существует лишь один возраст — возраст страстей, когда можно легко преодолевать первые трудности, заграждающие доступ к каждой науке. По миновании этого возраста можно еще

с большей ловкостью пользоваться своим обычным орудием, т. е. лучше развивать свои идеи, ярче освещать их; но уже нельзя больше сделать тех необходимых усилий, которые нужны для возделывания новой почвы.

В каждой области гений является всегда результатом бесконечного множества комбинаций, которые возможны лишь в первой молодости.

Впрочем, под словом *гений* я подразумеваю не только гения, делающего открытия в науках или находящего сюжет и план какого-либо произведения; существует кроме того гениальность выражения. Принципы писательского искусства еще настолько темны и несовершены, в этой области еще так мало данных, что никто еще не получал титула великого писателя, не будучи действительно изобретателем в этой области.

Лафоят и Буало внесли мало изобретательства в сюжеты своих произведений, одпако и тот и другой справедливо причислены к гениям: первый — благодаря паинности, чувствительности и приятности своего изложения; второй — благодаря сжатости, силе и поэтичности стиля в своих творениях. Какие бы упреки ни делать Буало, мы вынуждены признать, что, бесконечно усовершенствовав искусство стихосложения, он действительно заслужил титул изобретателя, творца.

В зависимости от области творчества, бывает более или менее желателен тот или иной вид гениальности. Так, например, в поэзии гениальность выражения является, если можно так сказать, гениальностью необходимой. Эпического поэта, хотя бы наиболее блестящего в придумывании сюжетов, не станут читать, если он лишен гения выражения; и наоборот, написанная хорошими стихами поэма, полная поэтических красот в деталях, хотя бы и лишенная содержания, будет всегда благосклонно принята публикой.

Иначе обстоит дело с сочинениями философскими; на первом месте в них содержание. Чтобы поучать людей, нужно или предложить им новую истину, или показать им соотношение, связующее истину, которые им казались разъединенными. В научной области красота, изящество слова и приятность деталей стоят на втором месте. Поэтому среди современных философов есть много обладающих громкой известностью, хотя их изложение лишено грации, силы и даже ясности выражения. Туманность их писаний может на некоторое время обречь их на забвение, но в конце концов они выходят из него; рано или поздно рождается ясный и проницательный ум, который схватывает истину, содержащуюся в их творениях, освобождает их от туманного покрова и излагает их понятным образом. Такой светлый ум делит с творцом заслугу и славу его открытий. Это земледелец, выкапывающий из земли сокровище и разделяющий с владельцем участка богатство, скрытое в нем.

После того, что я сказал о придумывании содержания и о гениальности изложения, не трудно объяснить, почему уже известный писатель может создавать плохие творения; для этого достаточно, чтобы он писал в той области, где его гений играет, если

Можно так выразиться, лишь второстепенную роль. Вот причина, почему зламечтый поэт может быть плохим философом и превосходный философ посредственным поэтом; почему романист может плохо писать историю, а историк плохо сочинять романы.

Заключение этой главы таково: хотя гений всегда предполагает изобретение, не каждое изобретение предполагает гения. Чтобы получить звание гениального человека, нужно, чтобы это изобретение касалось предметов общих и интересных для человечества; кроме того, нужно родиться в тот момент, когда, благодаря своим талантам и открытиям, человек, занимающийся искусствами или науками, может создать эпоху в научном мире. Словом, гениальный человек до известной степени всегда является делом случая; случай, всегда находящийся в действии, подготавливает открытия, не замечая сближает между собой истины, которые всегда бесполезны, если они слишком разъединены; случай заставляет гениального человека родиться именно в тот момент, когда истины, уже сближенные между собой, дают ему общие и ясные принципы: гений схватывает их, излагает, объясняя тем некоторые стороны из области искусства или науки. Таким образом, случай как бы исполняет около гения роль ветров, которые, будучи рассеяны по четырем сторонам света, насыщаются горючими веществами, входящими в состав метеоров; вещества эти, погась в воздухе, не вызывают никакого действия до тех пор, пока, стремительно горячие друг к другу противными ветрами, они не столкнутся в одной точке, порождая сверкающую молнию, освещающую собою горизонт.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ I

¹ Чтобы заслужить название гения, недостаточно новизны и необычайности идей; для этого нужно, кроме того, чтобы эти новые идеи были или прекрасными, или общими, или особенно интересными. Этим гениальное творение отличается от просто оригинальной работы, характеризуемой главным образом своей необычайностью.

² Я не хочу сказать, что в эпоху Корнеля трагедия не могла совершенствоваться дальше. Расин доказал, что можно писать с большим изяществом, Кребильон — что можно писать с большим пылом, а Вольтер, без сомнения, показал бы, что в трагедию можно вложить больше пышности и сценичности, если бы театр, всегда переполненный зрителями, не воспротивился решительным образом такому роду красоты, хорошо известному грекам.

³ В этой области мы встречаем множество источников заблуждений. Допустим, что кто-нибудь прекрасно знает какой-нибудь иностранный язык, например, испанский. Если предположить, что испанские писатели превосходят нас в области драматического творчества, то французский автор, который воспользуется чтением их произведений и хотя бы лишь немногого превзойдет их образцы, покажется своим невежественным соотечественникам человеком необычайным. Они, без сомнения, подумают, что он возвел драматическое искусство на ту высокую ступень совершенства, которой не мог первоначально достигнуть человеческий ум.

* Я мог бы даже сказать: сопровождается несколькими великими людьми. Тот, кто любит изучать развитие человеческой мысли, может заметить, как в каждом веке пять или шесть мыслителей бывают близки к открытию, совершающему гением. И если честь открытия принадлежит этому последнему, то потому, что в его руках оно становится более плодотворным, чем во всяких других руках; потому, что он излагает эти идеи с большей силой и ясностью, и потому, наконец, что по способу пользования каким-нибудь принципом или открытием всегда можно увидеть, кому этот принцип или это открытие принадлежит.

* Я не хочу этим сказать, что Цезарь не был одним из величайших полководцев; этого не отрицал даже строгий Макиавелли, который вычеркивал из списка знаменитых полководцев все тех, кто с небольшими армиями не совершили великих или новых дел.

«Мы видим, что великие поэты, — прибавляет этот знаменитый автор, — берут для собственного усовершенствования за образец Гомера и спрашивают себя: если бы Гомер думал об этом, так ли бы он выразился в этом случае? Но также нужно, чтобы и великий полководец, поклонник какого-нибудь великого вождя древности, подражал Сципиону и Жизже, из которых один взял себе за образец Кира, а другой — Ганибала».

* Всякий человек, погруженный в глубокие размышления и занятый великими и имеющими общее значение мыслями, живет, забывая о мелочах повседневности и в незнании тех обычаев, которые являются наукой светских людей; поэтому он почти всегда кажется им смешным. Немногие из светских людей понимают, что знание мелких вещей почти всегда предполагает незнание великих; что тот, кто живет, приблизительно, как все, должен мыслить, как все; что он не поднимается над уровнем непосредственности и что, наконец, гений всегда предполагает в человеке жажду славы, которая, делая его восчувственным ко всякого рода желаниям, открывает его душу лишь для страсти и познанию.

Примером может служить Анаксагор. Друзья Анаксагора побуждали его привести в порядок свои дела и пожертвовать этому несколько часов из своего времени. «О, друзья! — ответил он им, — вы требуете от меня невозможного. Как могу я разделить время между моими делами и моими занятиями, когда я предпочитаю каплю мудрости бочкам богатства».

Корнель, несомненно, был одушевлен теми же самыми чувствами, когда некий молодой человек, за которого он просватали свою дочь и положение дел которого поставило его в необходимость отказаться от этого брака, пришел утром к Корнелю, прошел в его кабинет и сказал ему: «Сударь, я прихожу к вам, чтобы взять назад мое слово и изложить вам причину моего поведения». — «Ах, сударь, — возразил Корнель, — не можете ли вы, не мешая мне, поговорить обо всем этом с моей женой? Поднимитесь к ней, я ничего не понимаю во всех этих делах».

Почти о каждом гениальном человеке можно рассказать подобные факты. Так, однажды лакей с испуганным видом вбежал в кабинет ученого Бюда и сказал ему, что в доме пожар. «Ну, хорошо, — ответил тот, — предупредите мою жену; я не вмешиваюсь в хозяйственные дела».

Любовь к занятиям не терпит отвлечения. Эта любовь заставляет знаменитых людей жить в уединении, которому они обязаны своими простыми привычками, неожиданными и наивными ответами, так часто доставляющими

людям посредственным предлогом высмеивать их. Я приведу по этому поводу два примера из жизни знаменитого Лафонтена. Один из его друзей, который жаждал обратить его, дал ему однажды послания апостола Павла. Лафонтен с жадностью прочитал их, но так как он был от природы крайне мягким и человечным, то ему была невыносима кажущаяся суровость писаний этого апостола; он закрыл книгу, отнес ее своему другу и сказал ему: «Я возвращаю вам вашу книгу, этот святой Павел не по моему вкусу». С такой же наивностью, сравнивая однажды блаж. Августина с Раблем, он воскликнул: «Как могут люди со вкусом предпочитать чтение блаж. Августина чтению Раблэ, столь наивного и забавного?»

Каждый человек, сосредоточивающийся на изучении каких-нибудь интересных предметов, живет в мире одиноким. Он всегда остается самим собой и почти никогда не уподобляется другим; поэтому он почти всегда должен казаться людям смешным.

ГЛАВА II

О воображении и о чувстве

Большинство людей, которые до сих пор писали о воображении, или слишком суживали, или слишком расширяли значение этого слова. Чтобы найти точный смысл этого выражения, рассмотрим этимологию слова *воображение* (*imagination*). Оно происходит от латинского *imago* (образ).

Многие смешивали воображение с памятью. Они не понимали, что не существует слов, которые были бы точными синонимами; что память заключается в ясном припомнении объектов, виденных нами, а воображение — в новом сочетании и соединении образов, а также в отношении соответствия между ними и чувством, которое мы хотим возбудить. Если это будет чувство ужаса, то воображение дает бытие сфинксам и фуриям. Если это будет изумление или восхищение, то оно создает сад Гесперид, очарованными остров Армиды и чертог Атланта.

Словом, воображение является изобретателем образов¹, подобно тому как ум является изобретателем идей.

Память, которая есть лишь точное припомнение предметов, настолько же отличается от воображения, насколько портрет Людовика XIV, написанный Лебреном, отличается от картины², изображающей завоевание Фрашковте.

Из этого определения воображения вытекает, что в своем чистом виде оно применяется лишь в описаниях, в картинах и в декорациях. Во всех других случаях воображение может служить лишь покровом для описываемых идей и чувств. Некогда оно играло в мире большую роль; оно одно поясняло почти все явления природы. Так, ручьи, вьющиеся по долинам, текли из урвиц, на которую опиралась наяды; леса и равнины покрывались зеленью благодаря заботам дриад и нимф; отторгнутую от гор скалу скатывали в равнину оркады; духи воздуха, под именем гениев или демонов, выпускали ветры и собирали бури над областями,

которые они желали опустошить. Если в Европе объяснение физических явлений не предоставлено более воображению и если к нему прибегают лишь для того, чтобы придать более ясности и изящества принципам науки, и если лишь от опыта мы ожидаем откровения тайн природы, то не следует, однакож, думать, что все народы одинаково просвещены в этом отношении. Философия в Индии доныне строится на воображении; к нему же обращаются в Тонкине для объяснения того, как образовался жемчуг³; оно же, населив стихии полубогами, создав по своей прихоти демонов, гениев, фей, волшебников для объяснения явлений физического мира, неоднократно смелым взмахом поднималось до его происхождения. Проблуждав долгое время по необыкновенным пустыням пространства и вечности, воображение было вынуждено, наконец, остановиться в какой-то точке; с этой точки начинается время. Темный, густой и насыщенный воздух, который, согласно финикийскому Гермесу, простирался над обширной бездной, почувствовал любовь к своим собственным первоначалам; эта любовь произвела смещение, получившее имя желания; это желание породило *тину*, или водянистую гиль, в которой содержались зародыши вселенной и семена всех творений. Возникли разумные животные, называемые *горгасети*, что значит созерцатели небес; засияло солнце; согретые его лучами, земля и море отразили эти лучи и воспламенили ими воздух; задули ветры, поднялись, стоящие между собой, облака; от этих столкновений вспыхнули молнии и загремел гром; его раскаты пробудили разумных животных, которые, пораженные ужасом, устремились одни в пещеры земли, другие — в бездны океана.

То самое воображение, которое, в соединении с некоторыми принципами ложной философии, создало в Финикии подобное описание образования мира, в других странах сумело объяснить образование мира из хаоса множеством других способов⁴.

В Греции оно вдохновляло Гесиода, когда он писал, полный энтузиазма: «В начале был Хаос, черный Эреб и Тартар. Еще не существовало времени, когда вечная Ночь, пролетевшая на своих распростертых и тяжелых крыльях безграничные равнины пространства, вдруг низверглась на Эреб; она сложила в него яйцо; Эreb принял его в свое лоно, оплодотворил его, из него вышла Любовь. Она взлетела ввысь на золотых крыльях и соединилась с Хаосом; это соединение дало бытие небесам, земле, бессмертным богам, людям и животным. Уже Афродита, зачатая в лоне морей, поднялась на поверхность вод; все живые существа остановились, чтобы любоваться ею; и чувства, которые Любовь смутно напечатлела во всей природе, устремились к красоте. Впервые познала всеменная строй, равновесие и форму».

Вот каким образом воображение в первом веке существования Греции строило мировой чертог. Теперь, умудренное в своих умозрениях, оно достигает познания образования земли путем изучения ее истории. Отныне, наученное бесчисленными заблуждениями, оно подвигается в пояснении явлений природы, лишь следя ука-

заниям опыта; простор себе оно дает только в описаниях и картинах.

И только теперь может оно создать те новые существа и места, которые поэзия, благодаря точности своих оборотов, пышности выражения и особенностям разных слов, делает наглядными для глаз читателей.

Если дело идет о живописи мужественной, смелой, то, благодаря работе воображения, самые большие картины, хотя бы и не вполне удачные, производят особенно сильное впечатление; благодаря воображению, мы предпочитаем краткому и чистому мерцанию лампад, возженных перед алтарями, извержение Этны, смешанное из пламени, пепла и дыма.

Если дело идет о картине сладострастной, то воображение ведет Адониса на картине Альбана в рощу; там нашим взорам предстает Венера, заснувшая на розах; богиня просыпается, алая краска стыда покрывает ее щеки, легкий покров скрывает часть ее прелестей; пламенный Адонис пожирает их взглядом, он схватывает богиню, побеждает ее сопротивление; покров сорван петерпеливой рукой, Венера обнажена, алебастр ее тела предстоит взорам желания. На этом намеренно неясно заканчивается картина, представляя прихотям и капризу любви выбор ласк и поз.

Если нужно передать простой факт при помощи блестящего образа, — возвестить, например, о раздоре среди граждан, то воображение изобразит Мир, который в слезах покидает город, опустив на глаза оливковую ветвь, покрывающую его чело. Так, в поэзии воображение излагает все в кратких образах или в виде аллегорий, являющихся в сущности лишь растянутыми метафорами.

В философии пользование воображением бесконечно более отграничено; оно служит здесь, как я уже сказал выше, лишь для того, чтобы придать более ясности и изящества философским принципам. Я говорю — ясности — потому, что люди, отлично понимающие друг друга, когда они произносят названия чувственно-конкретных предметов, как, например, *дуб*, *океан*, *солнце*, перестают понимать друг друга, произнося слова: *красота*, *справедливость*, *добродетель*, значение которых относится ко множеству идей. Для них почти невозможно связать с одним и тем же словом одну и ту же совокупность идей; отсюда те вечные и жаркие споры, столь часто обагрявшие землю кровью.

Словом, воображение, старающееся всегда облечь в конкретные образы отвлеченные идеи и научные принципы, бесконечно способствует ясности и изяществу философии.

Не менее украшает оно произведения поэзии. С каким искусством украшает Ариосто тот грот, куда он сопровождает Роланда и где его должна встретить Амелика? Здесь повсюду вырезанные любовные надписи, повсюду воздвигнутые наслаждением ложа и газона; журчанье ручейков, свежесть воздуха, аромат цветов — все собрали здесь для возбуждения желаний Роланда. Поэт достигает того, что чем большее наслаждение обещает этот прекрасный грот герою, опьяняя душу его, тем сильнее будет его отчаяние.

когда он узнает об измене Амжелики, и тем больше вызовет эта картина в душе читателя те нежные движения души, с которыми связано наслаждение.

Я закончу это рассуждение о воображении одной восточной басней, быть может не вполне удачной, но остроумной и способной доказать, насколько воображение может порой придать очарования чувству. Дело идет в ней о счастливом любовнике, который под покровом аллегорий остроумно приписывает своей возлюбленной и своей любви к ней те качества, которыми восхищаются в нем самом.

«Я находился однажды в бале: благоуханная земля из любимой руки перешла в мою руку. Я сказал ей: мускус ты или же амбра? Она ответила мне: я лишь простая земля, во я прикоснулась к розе; ее благотворные свойства проникли в меня, без нее я была бы и теперь лишь простой землей»⁵.

Мне кажется, я определил достаточно ясно, что должно подразумевать под *воображением*, и показал, как можно пользоваться им в различных областях. Теперь я перехожу к чувствам.

Мы называем *чувством* тот момент страсти, когда она с наибольшей силой пробуждается в нас. Под *страстью* мы понимаем непрерывное течение однородных чувств. Страсть мужчины к женщине есть лишь длительное течение его желаний и его чувств к этой женщине.

После этого определения, чтобы понять различие между чувствами и ощущениями и узнать, какие различные идеи связываются с этими двумя словами, столь часто употребляемыми одно вместо другого, нужно вспомнить, что существуют страсти двойного рода: одни непосредственно даны нам природой, как то: желания или физические потребности пить, есть и др.; страсти второго рода не даются непосредственно природой и предполагают существование общества; они являются, в сущности, страстями искусственными, — таковы честолюбие, гордость, страсть к роскоши и т. д. В соответствии с этими двумя родами страстей я различаю два рода чувств. Одни имеют отношение к страстям первого рода, т. е. к нашим физическим потребностям, они называются ощущениями; другие относятся к страстям искусственным и известны под именем чувств. В данной главе речь идет о чувствах.

Чтобы составить себе ясное понятие о них, я замечу, что не существует людей без желаний и, следовательно, без чувств, но что эти чувства являются в них или слабыми, или сильными. Люди, имеющие лишь слабые чувства, считаются обыкновенно не имеющими их. Только людям с сильными чувствами приписываются способность чувствовать. Если под влиянием ужаса мы не бросаемся навстречу опасностям большим, чем те, которых мы хотим избежать если наш страх не мешает нам еще рассчитывать и рассуждать, то это слабый страх, и нас никогда не назовут трусливыми. То, что я говорю о чувстве страха, можно сказать и о любви и о честолюбии.

Лишь вполне определенными страстями обижен человек теми бурными душевными движениями и теми порывами, которые называют чувствами.

Человек одушевлен этими страстями, когда в его душе царит лишь единственное желание, властно повелевая другим подчиненным ему желаниям. Человек, полпеременно уступающий различным желаниям, ошибается, считая себя человеком сильных страстей; он принимает за страсти свои склонности.

Словом, страсть характеризуется деспотизмом, если можно так выразиться, какого-нибудь желания, которому подчиняются все прочие. Следовательно, существует немало людей с сильными страстями и способных на сильные чувства.

Нравы народа и государственная конституция нередко препятствуют развитию страстей и чувств. Как много стран, в которых некоторые страсти не могут проявиться, по крайней мере в действиях! Если в деспотическом государстве, которому постоянно грозят перевороты, вельможи почти всегда бывают обуреваемы честолюбием, то иначе обстоит дело в государстве монархическом, где все делается на основе закона. В подобном государстве честолюбцы находятся на привязи, и мы видим там лишь интриганов, недостойных звания честолюбцев. Конечно, и в этих странах существует множество людей, носящих в себе зародыши честолюбия; но без особого стечения обстоятельств эти зародыши умирают в них, не развившись. В этих людях честолюбие подобно подземным огням, имеющимся в недрах земли: они горят там, не взрываясь до того момента, пока туда не проникнут воды, которые, разраженные отъем, поднимают и разрывают горы, сотрясая основы мира.

В тех странах, где зародыши известных страстей и чувств подавлены, общество может уповать и изучать их лишь по изображениям их, даваемых знаменитыми писателями и главным образом поэтами.

Чувства являются душой поэзии и в особенности поэзии драматической. Прежде чем указать на признаки, по которым мы в поэзии узнаем великих художников и людей с сильными чувствами, нужно заметить, что хорошо изобразить страсти и чувства возможно лишь в том случае, если лицо, изображающее их, само к ним восприимчиво. Когда вы ставите героя в положение, способное развить в нем всю силу страсти, то, чтобы создать правдивый образ, нужно испытывать самому те чувства, действия которых вы описываете в своем герое, нужно находить в самом себе его прообраз. Если вы сами не обладаете страстью, то вы никогда не уловите точно той прелельной точки, которой способно достигнуть чувство и за которую оно никогда не переходит⁶: в своем изображении вы всегда будете по ту или по сю сторону сильного характера.

Кроме того, чтобы выдвинуться в поэзии, недостаточно быть вообще восприимчивым к страстям, надо быть одушевленным именно той страстью, которую изображаешь. Знание чувств одного рода не дает нам знакомства с чувствами другого рода. То, что мы

чувствуем слабо, то мы изображаем всегда плохо. Корнель, душа которого была более возвышенной, чем нежной, лучше изображал великих политических деятелей и героев, чем любовников.

Правдивость изображений главным образом и создает в этой области известность. Мне известно, однако, что счастливые положения, блестящие изречения и изящные стихи имели иногда на сцене очень большой успех; но как бы он ни был заслужен, эти заслуги в области драматического искусства являются всегда второстепенными.

Энергичные стихи являются в трагедии стихами, производящими на нас наибольшее впечатление. Кого не поражает сцена в которой Катилина, в ответ на упреки в убийствах, обращенные к нему Лентулом, говорит:

«... поверь, что эти преступления

Вытекают из моей политики, а не из моего сердца...»

«Глава заговора, — прибавляет он, — выпущенный сообразиться с нравами соучастников, необходимо должен уметь принимать различные характеры. Если бы в моей партии были только Лентулы,

И если бы в ней были только люди добродетельные,

Мне было бы нетрудно быть еще более добродетельным, чем они».

Сколько энергии заключено в этих двух стихах! Каким настоящим главой заговорщиков является человек, достаточно владеющий собой для того, чтобы по собственному выбору быть то добродетельным, то порочным! Такое честолюбие предвещает разрушителя Рима.

Подобные стихи бывают всегда вдохновлены страстью. Кто не подвержен ей, тот не может изображать их. Но, спросят меня, по какому же признаку общество, столь мало знакомое с тем, что находится по ту или по сию сторону сильного характера, может узнать великих художников чувства? По способу выражения их, отвечу я. Благодаря размышлению и припоминанию умный человек может более или менее угадать, что должен делать или говорить любовник в данном положении; он может, если я осмелиюсь так выразиться, подменить чувство *прочувствованное* чувством *продуманным*; он подобен живописцу, который хотел бы написать портрет прекрасной женщины, руководствуясь лишь описанием ее и составленным им себе образом ее; возможно, что эта картина будет хороша, но в ней никогда не будет сходства с оригиналом. Ум никогда не может отгадать языка чувства.

Что может быть более плоским для старика, чем разговор двух влюбленных? Человек умный, но лишенный чувства находится в положении такого старца: простой язык чувства кажется ему плоским; он невольно постараётся возвысить его каким-нибудь острумым оборотом, который всегда обнаружит в нем недостаток чувства.

Когда Пелей решается поступать наперекор гневу неба, когда раскаты грома возвещают присутствие бога-соперника и испуган-

ная Фемида, чтобы успокоить подозрения ревнивого любовника, говорит ему:

«Беги, спасайся; показывай тебе свой страх,
Я уже говорю этим, что люблю тебя»?

то мы чувствуем, что опасность, в которой находится Пелей, слишком велика и что Фемида не находится в таком спокойном положении, чтобы уметь придать своим словам такой остроумный оборот. Испуганная приближением бога, который одним словом может уничтожить ее возлюбленного, и торопя его уход, она, в сущности, может только закричать ему, чтобы он спасался и что она его любит.

Всякий замысловатый оборот фразы, свидетельствуя об уме, доказывает недостаток чувства. Человек, взволнованный страстью, всецело охваченный своим чувством, не заботится об оборотах своей речи, он всегда пользуется простейшими выражениями.

Когда Амур, в слезах припав к коленям Венеры, умоляет ее пощадить Психею и богиня смеется над его страданием, то он говорит ей:

«Я бы не жаловался, если бы я мог умереть».

Когда Тит объявляет Веронике, что судьба повелевает им, наконец, расстаться павсегда⁸, Вероника отвечает:

«Навсегда?.. О, как ужасно это слово, когда любишь!»

Когда Пальмира говорит Сеиду, что она напрасно嘗талась тронуть мольбами своего похитителя, то Сеид отвечает:

«Кто же этот смертный, бесчувственный к твоим слезам?»

Эти стихи, как и вообще стихи, изображающие чувство, прости и в оборотах, и в выражениях. Но ум, лишенный чувства, всегда удаляет нас от этой простоты и иногда даже умеет обратить чувство в формулу.

И как не стать в этом отношении жертвой ума? Уму свойственно наблюдать, обобщать свои наблюдения и извлекать из них заключения и формулы. Для умного человека, привыкшего к такому ходу мысли и никогда не испытавшего любви, является почти неизбежным при описании страсти подменить чувства рассудочной формулой. Так, Фонтенель заставляет говорить одного из своих пастухов:

«Не следует любить, когда обладаешь нежным сердцем».

Эта идея встречается также у Кино, который, однако, выражает ее совершенно иначе, когда у него Атис говорит:

«Если, к несчастью, я когда-нибудь полюблю,
То сердце мое — я хорошо знаю его —
Будет слишком сильно чувствовать».

Если Кино не обратил в формулу чувство, волнующее Атиса, то потому, что он знал, что человек, испытывающий сильное чувство, не занимается обобщениями.

С честолюбием дело обстоит в данном отношении плаче, чем с любовью. В честолюбии чувство прекрасно сочетается с умом и с размышлением; причина этого различия заключается в различных объектах этих двух страстей.

Чего желает любовник? Благосклонности той, которую он любит. Обыкновенно эта благосклонность даруется не превосходству его ума, но избытку его нежности. Любовь в слезах и в отчаянии у ног возлюбленной — наиболее красноречивый и способный тронуть ее оратор. Оньиение любовника готовляет и пользуется теми моментами слабости, которые увеличивают его счастье. Ум не участвует в этом торжестве: следовательно, ум чужд любви. Кроме того, избыток страсти у любовника обещает его возлюбленной тысячи наслаждений. Иное дело честолюбец; сила его честолюбия не обещает никаких наслаждений его соучастникам. Если престол является объектом его желаний и если для того, чтобы взойти на него, он должен опереться на сильную партию, то напрасно развернет он перед глазами своих соучастников всю чрезмерность своего честолюбия: они выслушают его равнодушно, если он не назначит каждому из них части в управлении государством и не докажет им, что его возвышение в их интересах.

Наконец, любовник зависит только от любимого существа; один лишь миг делает его блаженным, и размышлению никогда проникнуть в сердце, тем более взволнованное, чем ближе оно к достижению своей цели. Но честолюбец для выполнения своих проектов должен прибегать постоянно к помощи самых разнообразных людей; чтобы успешно пользоваться ими, он должен их знать; кроме того, его успех зависит от искусной комбинации планов, заранее им подготовленных. Как много ума нужно для того, чтобы всегда согласовать обстоятельства с этими планами и точно следовать им! Словом, честолюбие необходимо связано с умом и размышлением.

Таким образом, драматический поэт может верно изобразить характер честолюбца, вкладывая порой в его уста нравоучительные стихи, которые, чтобы произвести сильное впечатление на читателя, должны являться результатом сильного чувства и глубокого размышления. Таковы те стихи, с которыми Катилина, желающая оправдать свое дерзкое появление в сенате, обращается к Пробу, давшему ей в неосторожности:

«Неосторожность не заключается в отваге,
Она заключается в ошибочном и плохо задуманном плане;
Но если точно следовать ему, то иногда дерзость является
осторожностью;
И я знаю, что для того, чтобы смирить наиболее упорных,
Часто нужно не столько искусство, сколько презрение к ним».

То, что я сказал о честолюбии, показывает, в каких различных случаях разум может сочетаться с различными видами страстей.

Я закончу следующим замечанием: так как наши нравы и форма нашего управления не позволяют нам отдаваться сильным страстям, как, например, честолюбию или мстительности, то в качестве при-

меров изображения чувств мы приводим обыкновенно чувство отцовской или сыновней нежности или, паконец, чувство любви, которая по этой причине служит почти исключительной темой французских пьес.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ II

¹ Человеком с воображением можно в действительности называть только того, кто умеет облекать идеи в образы. Правда, в разговоре почти всегда смешивают воображение с измышлением и со страстью. Однако не трудно отличить человека с сильными страстями от человека с воображением, и почти всегда на недостаток воображения указывает тот факт, что талантливый в трагическом или комическом жанре поэт бывает посредственным лирическим или эпическим поэтом.

² Следует помнить, что на этой картине изображен Людовик XIV.

³ Вот рассказ об этом, созданный воображением, опиравшимся на некоторые темные и нелепые традиции: некий тонкинский царь, будучи великим волшебником, выковал себе лук из чистого золота; каждая стрела, пущенная из этого лука, наносила смертельный удар; вооруженный им, царь один мог обратить в бегство целое войско. Случилось, что соседний царь напал на него с многочисленной армией: он испытал на себе могущество лука и, побежденный, заключил договор, по которому в жены своему сыну получил дочь царя-победителя. В опьянении первых ночей супруг стал заклинать жену подменить волшебный лук своего отца другим луком, совершенно схожим с первым. Неосторожная влюбленная женщина дала обещание и выполнила его, не подозревая преступления. Но едва зять получил чудесный лук, как он выступил против своего тестя, победил его и принудил бежать на необитаемое побережье моря. Там тонкинскому царю явился некий демон и открыл ему виновника его несчастия. Возмущенный отец схватил дочь и вынула свою кривую саблю; напрасно уверяла она отца в своей невинности: он был неумолим; тогда она предсказала ему, что капли ее крови превратятся в жемчужины, белизна которых будет свидетельствовать во все века о ее неогрешности и невинности. Она умолкла. Отец поразил ее. Застрелилась кровью, и началось превращение ее. И вот на побережье, запятнанном этим убийством, еще доныне находят прекраснейшие жемчужины.

⁴ Руководясь воображением, в царстве Лао утверждают, что земля и небо существуют от века. Нашему миру подчинены шестнадцать земных миров, и самые высокие суть самые очаровательные. Пламя, каждые тридцать шесть тысяч лет вырывающееся из небесных бездн, охватывает землю, как кора охватывает деревенский ствол, и превращает ее в воду. Природа, приведенная на некоторое время в такое состояние, возрождается гением первого неба. Он спускается, несомый на крыльях ветров, их веянье разгоняет воды, влажная почва осушается, равнины и леса покрываются зеленью, и земля принимает свой прежний вид.

Во время последнего мирового пожара, который предшествовал, по словам жителей Лао, веку Ксака, один мандарин по имени Понтабобами-суам спустился на поверхность вод. Над безбрежной гладью всплыл цветок; мандарин заметил его и разрубил ударом своей кривой сабли. Цветок, отделенный от стебля, превратился в девушку; никогда природа не производила ...

чего более прекрасного. Мандарин, охваченный к ней сильной страстью, стал облясняться ей в любви. Но девственность сделала девушку бесчувственной и слезам влюбленного. Мандарин преклонился перед ее добродетелью, но, не будучи в состоянии совершенно лишиться ее лицезрения, он остановился в некотором расстоянии от нее; отсюда они стали пронзать друг друга пламенными взорами, действие которых было таково, что девушка зачала и родила, не утратив девственности. Чтобы доставить пищу новым обитателям земли, мандарин отвел воды, вырыл долины, воздвиг горы и жил среди людей, пока, наконец, утомленный пребыванием на земле, не вознесся на небо. Но небесные врата были закрыты для него и раскрылись лишь после того, как он совершил на земле долгое и суровое покаяние. Такова в царстве Лао та поэтическая картина происхождения вещей, которую нам рисует воображение; содержание этой картины менялось у различных народов то в великую то в смешную сторону, но всегда исходило из воображения.

⁵ См. Saadi. «Gulistan ou l'Empire des roses».

⁶ В театральных произведениях нет ничего более обычного, чем изображение чувств при помощи ума. Если автор хочет изобразить добродетель, то он заставит своего героя совершать поступки, которые не вытекают из мотивов, ведущих его к добродетели. Немногие драматические писатели свободны от этого недостатка.

⁷ Если в следующем стихе Овидия:

«Pignora certa petis, do pignora certa timendo»,

солице говорит приблизительно то же самое своему сыну Фаэтону, то потому, что Фаэтон еще не взошел на его колесницу и, следовательно, еще вне опасности.

⁸ В английской трагедии «Клеопатра» Октавия приезжает к Антонию; она красива, она снова может понравиться ему, и Клеопатра боится этого; Антоний ее успокаивает: «Какая разница, — говорит он ей, — между Октавией и Клеопатрой!» — «О, воалюбленный, — отвечает она, — насколько же больше разница между ее положением и моим! Октавией ты пренебрегаешь сегодня, но Октавия твоя супруга: В ее душе живет бессмертная надежда, она осушает ее слезы, утешает ее в несчастии. Быть может, завтра же Гименей вернет тебя в ее объятия. Какова, напротив, моя судьба! Если любовь хоть на мгновение замолчит в твоем сердце, мне не останется больше никакой надежды. Я не могу, как она, сокрушаться возле любимого, надеяться смягчить его, ожидать возвращения. Один лишь миг равнодушия, и все для меня погибло. Невграничное пространство и вечность разлучат нас навсегда».

ГЛАВА III

Об уме

Ум есть не что иное, как совокупность новых идей и комбинаций. Если бы в какой-либо области сделали всевозможные комбинации, то в них пельзя было бы больше внести ни изобретений, ни ума, и можно было бы быть ученым в этой области, не будучи умным. Таким образом, очевидно, что если бы ни в какой области не оставалось большие никаких открытий, то все стало бы лишь

наукой, и ум стал бы невозможен; тогда люди достигли бы первопачал всех вещей. Если бы мы добрались до общих и простых принципов, то наука о фактах, приведших нас к ним, сделалась бы непужной, и все библиотеки, в которых заключаются эти факты, стали бы бесполезными. И тогда из всех материалов политики и законодательства, т. е. из всех исторических наук, извлекли бы лишь небольшое количество принципов, которые могли бы поддерживать среди людей максимальное равенство и, следовательно, могли бы породить когда-нибудь наилучшую форму правления. То же самое произошло бы и с физикой и со всеми науками вообще. И тогда человеческий ум, рассеянный теперь в бесконечном разнообразии произведений, был бы собран искусной рукой лишь в небольшом томе сбражия принципов — приблизительно так, как ароматы цветов, покрывающих обширные равнины, искусством химика концентрируются в флаконе духов.

Но в действительности человеческий ум весьма далек в любой области знания от предполагаемого мною предела. Я охотно признаю, что мы не слишком скоро будем приведены к печальной необходимости быть только учеными и что вследствие людского невежества надолго будет позволено обладать умом.

Словом, ум всегда предполагает изобретательность. Но, спросят меня, какое же различие между этой изобретательностью и той, которая дает человеку право на звание гения? Чтобы объяснить это различие, прислушаемся к общественному мнению. В морали и в политике общество называет, например, гениальными Макиавелли и автора «Духа законов»; но Ларошфуко и Лабрюэра оно называет лишь очень умными людьми. Единственное заметное различие между этими двумя родами людей заключается в том, что первые рассуждают о более важных вопросах, связывают между собою большее число истин и создают нечто более целое, чем другие. Соединение же большего числа истин предполагает большее число комбинаций, а, следовательно, ум более редкий. Кроме того, общество любит с высоты какого-либо принципа обозревать все его следствия, поэтому оно и должно награждать высоким званием гения каждого, кто доставляет ему это преимущество, объединяя в одном центре бесчисленное множество истин. Таково в области философии различие между гениальностью и умом.

В искусствах, где словом *талант* выражают то, что в науках обозначают словом *ум*, различие, повидимому, то же самое.

Художник, который подражает своим великим предшественникам, не превосходит их, не написал достаточного количества хороших картин, недостаточно умел комбинировать, не совершил достаточных умственных усилий и не дал достаточно доказательств своей изобретательности, — не заслуживает титула гения. И вот в список талантливых людей попадают Реньяр, Вержье, Каминстрон и Флешье, тогда как Мольера, ЛяФонтена, Корнеля и Боссиюта называют гениями. Замечу в связи с этим, что иногда автору отказывают в эпитете, которым наделяют его произведение. Иногда какая-нибудь сказка или трагедия имеет большой успех. Об эти-

произведениях можно сказать, что они гениальны, не всегда, однажды, решаясь применить этот эпитет к автору их. Для получения его нужно, подобно Лафонтену, дать много маленьких пьес, которые стоили бы одного великого произведения, или же, подобно Корнелю и Расину, сочинить несколько превосходных трагедий.

Эпическая поэма является в поэзии единственным родом творчества, размер которого предполагает силу внимания и изобретательности, достаточную для того, чтобы увенчать автора званием гения.

Заканчивая эту главу, мне остается сделать два замечания. Первое, — что в искусстве людьми умными называют лишь тех, кто, не обладая ни гением, ни талантом в какой-нибудь области, вносит в нее красоты из другой области; таковы, например, комедии Фонтееля: лишенные вдохновения и комического таланта, они блещут некоторыми философскими красотами. Второе замечание состоит в том, что изобретательность так тесно связана с умом, что должна идти к одному из лиц, исполняющих какие-либо полезные дела, не требующие изобретательности, не прилагали эпитетов, применимых к великим умам. Обычай позволяет нам называть *хорошим* судью, финансиста¹ и искусственного счетчика, но *великим* только поэта, законодателя, математика или оратора. Словом, ум всегда предполагает изобретательность. Изобретательность, более исходящая в гении, обнимает и больший кругозор; она предполагает, следовательно, и большее упорство, торжествующее над всеми трудностями, и то дерзновение характера, которое проектирует новые пути.

Таково различие между гением и умом, и такова общая идея, которую должно соединять со словом *ум*.

Установив это различие, я должен заметить, что вследствие бедности языка мы вынуждены принимать это слово в его самых разнообразных значениях, отличающихся друг от друга лишь прилагательными, которые мы присоединяем к слову *ум*. Эти прилагательные всегда даются читателями или зрителями и всегда относятся к тому впечатлению, которое производят на них известный род идей.

Если вопрос этот обсуждался так часто и так, может быть, безуспешно, то потому, что ум не рассматривали с одной и той же точки зрения и принимали за реальные и особенные качества такие эпитеты, как *сильный*, *тонкий*, *светлый* и т. д., связываемые со словом *ум*; наконец, потому, что эти эпитеты не рассматривались, как выражение того разнообразного впечатления, которое производит на нас различные виды идей и различные способы их передачи. Чтобы рассеять связанные с этим вопросом неясности, я постараюсь в следующих главах точно определить различные идеи, которые нужно связывать с прилагательными, часто соединяемыми со словом *ум*.

ПРИМЕЧАНИЕ К ГЛАВЕ III

¹ Я не хочу сказать, что хорошие судьи и хорошие финансисты лишены ума, но я говорю только, что они обладают им не в качестве судей или финансистов, — конечно, если не смешивать звание судьи со званием законодателя.

ГЛАВА IV

Об уме тонком и об уме сильном

В физическом мире тонким называют то, что можно усмотреть с некоторым трудом. В духовном мире, т. е. в области идей и чувств, тонким тоже называют то, что замечают только при некотором усилии ума и некотором внимании.

Скупой Мольера подозревает своего слугу в том, что он его обокрал; он обыскивает его и, не найдя ничего в его карманах, говорит: «Отдай мне без обыска то, что украл у меня». Эти слова Гарпагона тонки; они в характере скупца, но было трудно открыть их в нем.

В опере «Изиса» нимфа Ио, желая успокоить жалобы Иеракса, говорит ему: «Разве я отнюдь не к твоим соперникам лучше, чем к тебе?» Иеракс отвечает ей:

«Страдание моих соперников не равняется моей скорби.
Сладостная иллюзия тщетной надежды
Не свергает их с вершины счастья.
Ни один из них не потерял, как я, твоего сердца.
К твоему суровому нраву, как они,
Я не привык.
Какое мученье перестать нравиться,
Когда однажды вкусили наслаждение быть любимым».

Такое чувство естественно, по оно тонко, оно скрыто в сердце несчастного любовника. И нужны были глаза Кино, чтобы открыть его там.

От тонких чувств перейдем к тонким идеям. Под *тонкой идеей* подразумевается следствие, тонко выведенное из какой-либо общей идеи¹. Я говорю следствие, потому что, как только идея становится обильной истинами, она перестает называться *тонкой идеей* и получает название *принципа*, или *общей идеи*. Обыкновенно говорят *принципы*, а не *тонкие идеи*, Аристотеля, Локка, Декарта и Ньютона. Конечно, чтобы переходить от наблюдений к наблюдениям и подняться до общих идей, этим философам нужно было обладать большой тонкостью ума, т. е. большим вниманием. Внимание (да позволено мне будет сделать мимоходом это замечание) является микроскопом, который, увеличивая предметы, но не искажая их, заставляет нас замечать в них множество сходств и различий, не видимых для невнимательного взора. Ум в любой области есть, собственно говоря, лишь следствие внимания.

Но, не удаляясь от своего предмета, я замечу, что идея и чувство, открытие которых предполагает в авторе и много тонкости,

и много внимания, не получат, однакоже, названия тонких, если это чувство или эта идея представлены на сцене или же изложены простым и естественным образом. Публика не называет *тонким* то, что она понимает без усилия. Прилагательными к слову *ум* она обозначает только впечатления, получаемые ею от представляемых ей идей или чувств.

Установив этот факт, мы можем сказать, что *тонкой идеей* называется такая идея, которая ускользает от проницательности большинства читателей; ускользает же она в тех случаях, когда автор пересекивает через промежуточные идеи, необходимые для понимания предлагаемой идеи.

Таковым является часто повторявшееся Фонтенелем изречение: «Пришлось бы уничтожить почти все религии², если бы исповедующих их заставили любить друг друга». Умный человек легко может найти промежуточные идеи, связующие между собой оба положения данной фразы³; но умных людей мало.

Тонкими идеями называют еще имена, излагаемые темным, загадочным или изысканным образом. Надо сказать, что вообще это название дается скорее способу выражения, чем самому роду идей.

В хвалебной речи кардиналу Дюбуа Фонтенель, говоря об его трудах по воспитанию регента, герцога Орлеанского, сказал, что «этот прелат ежедневно работал над тем, чтобы стать бесполезным»; эта идея обязана своей тонкостью туманности выражения.

В опере «Фетида» богияя, желая отомстить Пелею, которого она считает неверным, говорит:

«Мое сердце отдалось тебе, прельщенное видом
Пылкой любви, которую ты, как будто, ко мне чувствовал;
Но я накажу его за это, возложив на себя муку
Любить другого, а не тебя».

Ясно, что и эта идея, подобно всем идеям подобного рода, получила название *тонкой* лишь благодаря загадочному способу выражения и, следовательно, благодаря некоторому усилию ума, нужному для ее понимания. Но ведь всякий автор пишет для того, чтобы быть понятым. Все, что противоречит ясности, является недостатком стиля; следовательно, всякая тонкая манера выражаться является ложной⁴; поэтому, чем тоньше идея и чем легче она может ускользнуть от проницательности читателя, тем с большим вниманием нужно стремиться передать ее просто и естественно.

Обратимся теперь к тому роду ума, который обозначают эпитетом *сильный*.

Идеей сильной называется идея интересная и способная произвести на нас яркое впечатление. Это впечатление может быть действием или самой идеи или способа выражения ее⁵.

Идея довольно обычная, но ярко или образно выраженная, может произвести на нас сильное впечатление. Так, например, любят Карто, сравнивая Вергилия с Лукианом, говорит следующее: Вергилий является лишь жрецом, воспитанным в лицемерной среде греческого театра; плаксивый, лицемерный и святошеский характер его героя

не делает чести поэту; это вдохновение зажигается, повидимому, лишь от огня лампад, висящих перед алтарем, дерзновенное же вдохновение Лукиана воспламеняется от блеска молний». Словом, мы придаём эпитет сильный тому, что производит на нас яркое впечатление. А так как великое и сильное схожи в том, что производят на нас живое впечатление, то эти два выражения часто смешивают.

Чтобы точно определить различие между великим и сильным, я рассмотрю два эти понятия отдельно: во-первых, по отношению к идеям, во-вторых, по отношению к образам и, в-третьих, по отношению к чувствам.

Великая идея бывает обыкновенно идеей общеподобной. Но идеи такого рода не всегда принадлежат к тем идеям, которые производят на нас особенно яркое впечатление. Аксиомы, привозглашавшиеся некогда в Портике или в Лицее, интересные для всех людей и, следовательно, для афинян, не оказывали на них, однако, того впечатления, которое производили речи Демосфена, когда этот оратор упрекал их в трусости. «Вы спрашиваете друг друга, умер ли Филипп? О, афияне, какое вам дело до того, жив он или мертв? Если бы небо избавило вас от него, вы сами вскоре создали бы себе другого Филиппа». Если речи ораторов производили на афинян большее впечатление, чем открытия их философов, то потому, что Демосфен преподносил им идеи, имеющие большее отношение к их настоящему положению и, следовательно, более непосредственно интересовавшие их. Но люди обыкновенно видят лишь настоящий момент, поэтому на них всегда больше действуют такого рода идеи, чем идеи великие и общие, которые не так непосредственно связаны с их настоящим положением.

Потому-то польза красноречивых произведений, способных возбуждать душу, и речей, действующих тем, что в них обсуждаются текущие интересы государства, менее важна и менее длительна, чем польза открытий философа, и первые не могут, подобно вторым, иметь значение для всех времен и для всех стран. Единственным различием между великим и сильным в области идей является то, что первое пробуждает более общий интерес, а второе более живой⁶.

Когда дело идет о прекрасных изображениях, об описаниях или картинах, действующих на воображение, то здесь сильное и великое сходны в том, что оба должны трактовать о великих сюжетах.

Тамерлан и Картуш — два разбойника, из которых один грабит с помощью четырехсот тысяч людей, а другой — лишь с помощью четырехсот. Первый вызывает наше уважение, второй — наше презрение⁷.

То, что я говорю о духовном мире, применимо и к миру физическому. То, что само по себе мало или становится малым по сравнению с большим предметом, не производит на нас почти никакого впечатления.

Вообразите себе Александра в момент наиболее героический, когда он бросается на врага. Если рядом с этим героям вы пред-

ставите себе одного из тех сынов земли⁸, которые, вырастая в год на локоть в толщину и на три или на четыре локтя в высину, могли нагромоздить Оссу на Пелион, то Александр будет перед ними лишь забавной марионеткой, а гнев его покажется только смешным.

Но если сильное бывает всегда великим, то великое не всегда бывает сильным. Картина, изображающая Храм богини судьбы или Храм небесных празднеств, может быть грандиозной, величественной и даже возвышенной, но она произведет на нас меньшее впечатление, чем картина, изображающая Тартар. Картина, изображающая прославление святых, менее поражает воображение, чем «Страшный суд» Микель-Анджело.

Словом, сильное есть результат сочетания великого со страшным. И если все люди более чувствительны к страданию, чем к удовольствию, если сильное страдание заглушает всякое приятное чувство, а сильное удовольствие не может заглушить в нас чувства острого страдания, то, следовательно, сильное должно действовать на нас живее, и нас должно больше поражать изображение ада, чем Олимпа.

В области наслаждений воображение, возбуждаемое жаждой наибольшего блаженства, всегда изобретательно; Олимпу всегда недостает какого-нибудь украшения.

Но если дело идет об ужасном, то воображению позачем изобретать, и в этом случае оно менее требовательно: ад всегда достаточно страшен.

Таково различие между великим и сильным в картинах и в поэтических описаниях. Посмотрим теперь, не найдем ли мы того же самого различия в картинах драматических и в изображении страстей.

В трагедии мы называем сильными всякую страсть и всякое чувство, которые сильно задевают нас, т. е. все те чувства, жертвой или игрушкой которых может быть зритель.

Никто не может избежать ударов мести или ревности. Поэтому сцена, в которой Атрей предлагает своему брату Фиесту чашу, наполненную кровью его сына; бешенство Радамиста, который, желая скрыть прелести Зенобии от жадных взоров победителя, влечет ее, окровавленную, в Аракс, представляют для зрителя картины более страшные, чем изображение честолюбца, занявшего престол своего властелина.

В этой последней картине зритель не видит ничего опасного для себя. Среди зрителей нет монархов; бедствия революции не настолько неминуемы, чтобы поразить их ужасом, и поэтому они с удовольствием смотрят на это зрелище⁹. Одних это зрелище пленяет, показывая им даже в самых высоких кругах ту непрочность счастья, которая создает известное равенство между всеми положениями и утешает маленьких людей в их низком положении. Другим оно нравится потому, что оно льстит их непостоянству, основанному на желании лучшей доли; чрез бури государственных переворотов их взору всегда светит надежда на лучшее положение и на близкую возможность его. Наконец, большинство людей

восхищено величием этого зрелища, и они охвачены симпатией к достойному и добродетельному герою, которого поэт выводит на сцену. Мы всегда отожествляем себя с героем, так как желание счастья заставляет нас смотреть на уважение как на средство для его достижения. Чем достойнее нам кажется герой, т. е. чем более его идеи и чувства сходны с нашими, тем более мы отожествляем себя с ним и тем живее интересуемся его несчастной или счастливой судьбой. Каждый с удовольствием узнает в герое свои собственные чувства. И это удовольствие тем живее, чем величественнее роль героя на земле, которому приходится, подобно Ганибалу, Сулле, Серторию или Цезарю, подчинять себе народ, чья судьба становится судьбой всего мира. Все предметы действуют на нас всегда пропорционально своему величию. Если вы представите на театральной сцене заговор в Генуе и в Риме, если вы одинаково четко изобразите характеры графа Фисеко и Катилины, одарите их равной силой, мужеством, умом и возвышенностью духа, то я уверен, что отважный Катилина станет почти исключительным предметом нашего восхищения, грандиозность его предприятия сообщится его характеру, возвысит его в наших глазах, и источником этой нашей иллюзии будет наше собственное желание счастья.

Действительно, мы будем считать себя тем счастливее, чем мы будем могущественнее, чем многочисленнее народ, которым мы будем управлять, чем большее число людей будет предупреждать и удовлетворять наши желания, пока, наконец, оставшись единственно свободными на земле, мы не будем окружены целым миром рабов.

Вот главные причины удовольствия, доставляемого нам изображением честолюбия, — страсти, которая называется великой лишь потому, что велики перемены, производимые ею на земле.

Если и любовь порой порождала великие перемены, если она определила исход сражения при Актиуме в пользу Октавия, если в веке более близком она открыла маврам доступ в Испанию и если один за другим она низвергала престолы, то эти великие перевороты не являются все же необходимыми следствиями любви, как они являются необходимыми следствиями честолюбия.

Поэтому жажда величия и любовь к родине, которую можно рассматривать как честолюбие, только более добродетельное, получали всегда предпочтительно перед всеми другими страстями название великих страстей, — название, которое было перенесено на героев, вдохновляемых ими, и позже было дано Корнелю и другим знаменитым поэтам, изображавшим эти страсти. В связи с этим я замечу, что любовную страсть не менее трудно изображать, чем страсть честолюбия. Чтобы изобразить характер Федры с таким искусством, как это сделал Расин, нужно было, конечно, не меньше ума, идей и комбинаций, чем для изображения характера Клеопатры в «Родогуне». Словом, название великого больше относится к выбору сюжета, чем к искусству художника.

Из сказанного мною вытекает, что если люди более чувствительны к страданию, чем к удовольствию, то идеи, картины и

страсти, изображающие чувство страха и ужаса, должны производить на них впечатление более сильное, чем предметы, созданные для общего изумления и восхищения. Словом, великое в любой отрасли есть то, что поражает всех людей, а сильное есть то, что производит менее общее, но более живое впечатление.

Открытие компаса является, без сомнения, более общеполезным для человечества, чем открытие какого-либо заговора, но это последнее открытие бесконечно более интересно для того государства, в котором происходит заговор.

Определив идею сильного, я замечу, что так как люди могут сообщать друг другу свои идеи только словами, то как бы ни была сильна мысль, но если сила выражения не отвечает силе мысли, она всегда покажется слабой, по крайней мере для лица, не одаренного мощью ума, возмещающей слабость выражения.

Но, чтобы сильно передать какую-нибудь мысль, нужно, во-первых, выразить ее ясным и точным образом: всякая идея, выраженная двусмысленно, похожа на предмет, видимый сквозь туман; впечатление от нее недостаточно четко, чтобы быть сильным. Во-вторых, нужно, чтобы эта мысль была, если возможно, облечена в образ и чтобы образ был точным слепком с мысли.

Действительно, если все наши идеи суть следствие наших ощущений, то и передавать эти идеи другим людям мы можем лишь с помощью органов чувств; как я уже сказал в главе о воображении, нужно обращаться к глазам, чтобы быть понятым умом.

Чтобы оказать на нас сильное впечатление, недостаточно даже, чтобы образ был верным и являлся точным слепком с идеей; нужно еще, чтобы он был грандиозным, но не исполинским¹⁰; таков образ, употребленный бессмертным автором «Духа закона», когда он сравнивает деспотов с дикарами, «которые с топором в руке срубают дерево, чтобы срвать его плоды».

Кроме того, нужно, чтобы этот грандиозный образ был новым или, по крайней мере, был облечек в новую форму. Удивление, вызванное новизной, со средоточивает все наше внимание на идее, и этим дает ей возможность произвести на нас более сильное впечатление. Наконец, последняя степень совершенства достигается в этой области, когда образ, в который облечена идея, есть образ движения. Такая картина всегда предпочтительнее изображения предмета неподвижного; она возбуждает в нас больше ощущений и производят, следовательно, более живое впечатление. Нас всегда более поражает буря, чем затишье.

Таким образом, силой изложения автор обязан отчасти воображению; с его помощью он сообщает душе читателя весь жар своих мыслей. Если в этом отношении англичане приписывают себе превосходство над нами, то этим преимуществом они обязаны не только особой силе их языка, сколько особой форме их правления. Така свойственна свободному государству, в котором человек, давший высокую мысль, может с полной силой выразить ее. Иначе обстоит дело в государствах монархических: в этих странах интересы отдельных сословий или немногих отдельных высокопо-

ставленах лиц, а еще чаще ложная и мелочная политика ставят препятствия порывам гения. Тот, кто в этих государствах поднимается до великих идей, часто вынужден молчать о них или, по крайней мере, ослаблять их силу двусмысленностью, загадочностью и бледностью выражения. Поэтому лорд Честерфильд в одном письме, адресованном аббату Гваско, мог сказать об авторе «Духа законов» следующее: «Как жаль, что г-п президент де Монтескье, удержаный, конечно, болезнью перед министерством, не осмелился сказать все, что он хотел. Можно хорошо понять в общем, что он думает относительно некоторых вопросов, но он выражается не достаточно ясно и сильно; мы гораздо лучше знали бы, что он думает, если бы он писал свое сочинение в Лондоне и если бы он родился англичанином».

Этот недостаток силы выражения не является, однакоже, признаком недостатка гениальности у народа. Из всех областей, которые кажутся ничтожными сильным мира сего и потому с презрением предоставлены гению, я могу привести тысячу доказательств этой истины. Так, например, какая сила выражения в некоторых надгробных словах Боссюэта и в некоторых сценах трагедии «Магомет», которая, несмотря ни на какую критику, является, может быть, одним из прекраснейших произведений знаменитого Вольтера!

Я закончу одним отрывком из аббата Карто, отрывком, полным той силы выражения, на которую не считают способным наш язык. Аббат Карто объясняет здесь причину суеверия египтян.

«Мог ли этот народ не быть наиболее суеверным из всех народов? Египет, — говорит он, — был страной волшебного; воображение здесь всегда подстегивалось грандиозным и чудесным, повсюду открывались перспективы для ужаса и восхищения. Царь был предметом изумления и страха. Подобно скрытой в глубине облачков грозе, которая, кажется, гремит в них с большей силой и величественностью, и царь изрекал свою волю из глубины лабиринтов и чертогов. Государи показывались лишь в страшном и грозном облачении власти, еще более усиленной их божественным происхождением. Кончина царей была апофеозом; земля оседала под тяжестью их мавзолеев. Как могущественные боги, они покрыли Египет великолепными обелисками, испещренными чудесными надписями, исполинскими пирамидами, вершины которых терялись в облаках; как благие боги, они вырыли те озера, что гордо ограждают Египет от неожиданностей природы.

Храм и жрецы казались еще страшнее трона и государя и сильнее действовали на воображение египтян. В одном из этих храмов находился колосс Сераписа. Никто из смертных не смел приближаться к нему. Существование мира было связано с существованием этого колосса: тот, кто разбил бы этот талисман, погрузил бы вселенную в первичный хаос. Легковерие было безграничным, все в Египте было загадкой, чудом или тайной. Во всех храмах были оракулы; все пещеры изрыгали ужасный вой; всюду виднелись трясущиеся треножники, беспящиеся пифии, жертвы, жрецы

и маги, которым боги, облекая их своей божественной властью, поручали выполнение своей мести.

Философы, вооружившись против суеверия, восстали против него; но вскоре, углубившись в лабиринт слишком отвлеченной метафизики, они предались спорам, которые внесли среди них раздоры; этим воспользовались корысть и фанатизм, оплодотворив хаос различных философских систем, из которых вышли пышные мистерии Озириса, Изиды и Горуса. Под прикрытием таинственного и великолепного мрака теологии и религии обман остался незнанным. Если некоторые египтяне и заметили его в неясном свете сомнения, то месть, всегда угрожавшая нескромным, проградила их взорам доступ к свету, их устам — доступ к истине. И даже сами цари, которые, желая оградить себя от всяких посягательств, окружили с помощью жрецов свой трон ужасом, суеверием и призраками, — даже сами цари, говорю я, были запуганы. Вскоре они доверили храмам священные особы молодых царевичей; настала роковая эпоха тирании египетских жрецов; с тех пор их могуществу не было препоны. Цари с младенчества становились жертвой предрассудков; из свободных и независимых, какими они были прежде, пока они видели в жрецах только негодяев или подкупленных фанатиков, они сделались их рабами и жертвами. Народ, подражая царям, последовал их примеру, и весь Египет простерся у ног верховного жреца и пред алтарем суеверия».

Мне кажется, что это великолепное описание аббата Карто показывает, что та слабость выражения, в которой нас упрекают и которую можно заметить в некоторых наших произведениях, не может быть приписана недостатку гениальности у народа.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ IV

¹ В произведениях Фонтенеля мы находим тысячи примеров этому.

² То, что может быть верно относительно ложных религий, не применимо к нашей, поучающей любви к ближнему.

³ То же самое можно сказать о следующем изречении Фонтенеля: «Когда я писал, я всегда старался понимать самого себя». Немногие, действительно, понимают это изречение Фонтенеля. Немногие сознают, подобно ему, всю важность правила, которому так трудно следовать. Уже не говоря об умах обыкновенных, как много даже среди таких мыслителей, как Мальбранш, Лейбниц и другие великие философы, людей, которые, не применив к себе изречения Фонтенеля, не стремились к пониманию себя самих, к разложению своих принципов на составные части, к сведению их к простым и всегда ясным положениям, чего нельзя достигнуть, не зная хорошенъко, понимаешь ли самого себя. Они опирались на те принципы, неясность которых всегда подозрительна тому, кто помнит изречение Фонтенеля. Так как они не докопались, если можно так выражаться, до твердого грунта, то все громадное здание их системы оседало, по мере того как они его воздвигали.

⁴ Мне хорошо известно, что тонкие обороты имеют ценителей. Людям кажется, говорят они, что все легко понятное уже приходило в голову всем; поэтому ясность выражения указывает на неумелость автора. Нужно всегда

набрасывать некий облачный покров на свои мысли. Тщеславию многих людей льстит проникнуть за это облако, непроницаемое для среднего читателя, и уловить истину через неясность выражения; они еще и потому так восхваляют подобную манеру писать, что под предлогом похвалы автору они восхваляют свою собственную проницательность. Это бессспорно. Но, по-моему, нужно презирать подобные похвалы и противиться желанию их всплыть. Если какая-нибудь мысль выражена очень тонко, то сначала она бывает плохо понята, но под конец она становится понятной всем. Но как только загадка выражения разгадана, то мысль сводится умными людьми к ее истинной внутренней ценности, а людьми посредственными оценивается даже и много ниже: им теперь стыдно своей недостаточной проницательности, и поэтому своим несправедливым презрением они мстят за оскорблечение, которое тонкость выражения нанесла остроте их ума.

⁶ В Персии эпитетами «художник» или «скульптор» обозначают неравную силу различных поэтов: там поэтому говорят: поэт-художник или поэт-скульптор.

⁶ Иногда какое-нибудь рассуждение называют сильным, но только тогда, когда дело идет об интересующем нас предмете. Поэтому такое название не дают, например, геометрическим доказательствам, хотя из всех рассуждений они, без сомнения, наиболее сильные.

⁷ Все, что лишено силы, становится смешным, и все, что обладает ею, облагораживается. Какая разница между мошенничеством какого-нибудь контрабандиста и Карла VI!

⁸ В глазах такого исполина Цезарь, сказавший *veni, vidi, vici* (пришел, увидел, победил) и совершивший столь быстро свои завоевания, показался бы медлительным, как ползущая морская звезда или улитка.

⁹ Отчасти этим можно объяснить восхищение перед бичами мира, перед воинами, чье мужество низвергало империи и изменяло лицо земли. Мы читаем с удовольствием их историю, но страшились бы быть их современниками. Эти завоеватели подобны черным тучам, изборожденным молниями, которые, вырываясь из их чрева, разбивают в куски деревья и скалы. Вблизи это врелище охватывает ужасом, вдали оно наполняет восхищением.

¹⁰ Чрезмерная величина образа делает его иногда смешным. Когда псаломопевец говорит: «горы сначат подобно баранам», то этот образ производит на нас мало впечатления, потому что немногие люди обладают достаточно сильным воображением, чтобы ясно и живо представить себе горы скачущими, как козлята.

ГЛАВА V

*Об уме светлом, об уме обширном, об уме проницательном
и о вкусе*

Если верить некоторым людям, то гений есть нечто вроде инстинкта, способного даже без ведома того лица, которое он одушевляет, совершать в нем величайшие вещи. Этот инстинкт они ставят гораздо ниже светлого ума, который они принимают за универсальный интеллект. Мнение это, поддерживаемое некоторыми весьма умными людьми, еще не принято, однако, обществом.

Чтобы притти к каким-нибудь результатам по этому вопросу, необходимо, думаю я, дать определение понятия светлый ум.

В физике светом называется то тело, присутствие которого делает предметы видимыми. Светлым умом является, следовательно, ум такого рода, который делает наши идеи видимыми среднему читателю. Его свойство заключается в умении так расположить идеи, необходимые для доказательства истины, что их легко можно охватить. Благодарное общество дает название светлого ума тому лицу, которое просвещает его.

До появления Фонтенеля большая часть ученых, взобравшихся на обрывистую вершину науки, оказалась совершенно изолированной и лишней всякого общения с другими людьми. Они не сравняли научное поприще и не провели к нему дороги для невежества. Фонтенель, которого я не рассматриваю здесь с точки зрения того, что делает его гениальным, был тем не менее одним из первых, построивших мост между наукой и незнанием. Он заметил, что и невежда может получать семена всех истин, но что для этого нужно подготовить его ум, и что новую мысль (пользуясь его выражением), *как и клин, нельзя рубить с широкого конца*. Он стремился к изложению идей с наибольшей ясностью и успел в этом; множество посредственных умов вдруг увидело себя просвещенными, и общественность благодарность преподнесла ему титул светлого ума.

Что же нужно было для совершения такого чуда? Только наблюдать за ходом мышления обыкновенных умов, знать, что все в мире связано и что в области идей незнание всегда вынуждено уступать огромным, хотя и незаметным успехам просвещения, которые можно сравнить с теми тонкими корнями, которые, проникая в расщелины скал, разбухают там и наконец раздробляют их. Нужно было, наконец, сознать, что природа является длинной цепью и что с помощью посредствующих идей можно звено за звеном привести посредственные умы к самым высоким идеям¹.

Словом, светлый ум есть не что иное, как способность сближать мысли между собою, связывать идеи уже известные с идеями менее известными и передавать их в точных и ясных выражениях.

В философии эта способность является тем, чем в поэзии является стихосложение. Искусство стихосложения заключается в сильной и гармонической передаче мыслей поэта; искусство светлых умов заключается в том, чтобы ясно передавать идеи философов.

Оба эти таланта не предполагают ни гениальности, ни изобретательности, хотя и не исключают их. Не все люди столь счастливы, как Декарт, Локк, Гоббс и Бэкон, которые с светлым умом соединили гениальность и изобретательность. Светлый ум служит иногда лишь истолкователем для философского гения и тем органом, посредством которого он сообщает обычным умам идеи, превосходящие способность их понимания.

Если часто смешивали светлый ум с гением, то потому, что и тот и другой просвещают человечество, и потому, что недостаточно ясно сознавали, что гений является центром и очагом, откуда

светлый ум извлекает свои блестящие идеи, которые он затем передает толпе.

В науках гений, подобно смелому мореплавателю, ищет и открывает неизвестные области. Светлым же умам надлежит медленно вести по их следам свой век и косную массу обычных умов.

В искусствах гений опережает светлые умы, и его можно сравнить с превосходным скакуном, который быстрыми скачками углубляется в чащу лесов и перескакивает через заросли и рывины. Постоянно запятые наблюдением над ним и слишком медленные, чтобы следовать за ним в его беге, светлые умы поджидают его, так сказать, на прогалинах, замечают его здесь, отмечают некоторые тропинки, по которым он двигался, но могут всегда отметить лишь самое малое число их.

Действительно, если бы в таких искусствах, как, например, красноречие или поэзия, светлый ум мог давать все те тонкие правила, от соблюдения которых зависит совершенство поэм или речей, то красноречие или поэзия не были бы больше плодами гения; люди становились бы великими поэтами и великими ораторами, как становятся хорошими счетчиками. Одни только гений может охватить все те сложные правила, которые обеспечивают ему успех. Бессилие светлых умов открыть все эти правила является причиной их малого успеха в тех самых искусствах, о которых они часто высказывали столь превосходные суждения. Они могут выполнить кое-какие условия, необходимые для хорошего произведения, но упускают главные.

Фонтенель, на которого я сошлюсь для пояснения этой мысли примером, дал, без сомнения, в своей «Поэтике» превосходные правила. Но так как в этом произведении он не говорит ни о стихосложении, ни об искусстве возбуждать страсти, то вероятно, что, соблюдая предписанные им самим тонкие правила, он мог бы сочинять лишь холодные трагедии.

Из различия, установленного между гением и светлыми умами, вытекает, что человеческий род не обязан этим последним никакими открытиями и что светлые умы не раздвигают границ нашего мышления.

Словом, этот род ума есть не что иное, как талант, как способ ясной передачи своих идей другим людям. Но здесь я должен заметить, что тот, кто сосредоточил бы свое внимание лишь в одной области и с ясностью излагал бы принципы только одного искусства, как, например, музыки или живописи, не мог бы быть причислен к светлым умам.

Чтобы заслужить это название, нужно или внести свет в области исключительно интересную или же осветить много различных вопросов. То, что мы называем светлым умом, всегда предполагает известную обширность знания; поэтому такой ум может производить впечатление даже на людей просвещенных и в разговоре одерживать победу над гением. Введите в собрание людей, знаменных в различных искусствах или науках, человека, обладающего светлым умом. Беседуя о живописи с поэтом, о философии с живо-

иисцем, о скульптуре с философом, он изложит все принципы с большей точностью и разовьет их идеи с большей ясностью, чем эти знаменитые люди сумели бы их развить друг перед другом, и поэтому он заслужит их уважение. Но пусть это же самое лицо совершил неловкость, заговорит о живописи с живописцем, о поэзии с поэтом, о философии с философом, и тогда он покажется им ясным, но ограниченным умом, лишь выразителем общих мест. Есть лишь один случай, когда светлые и обширные умы могут быть поставлены наряду с гениями, именно, когда некоторые науки чрезвычайно разработаны, и этого рода умы указывают на присущие им всем и, следовательно, более общие принципы.

Сказанное мною указывает на значительное различие между умами проницательными и умами светлыми и обширными; последние быстро схватывают множество предметов, первые же, наоборот, касаются лишь немногих вещей, но углубляют их и проходят в глубину то расстояние, которое умы обширные проходят на поверхности. Идея, которую я связываю со словом *проницательный*, отвечает его этимологии. Свойство такого рода ума заключается в проникновении в предмет; когда же он достигает в нем известной глубины, то он лишается своего названия *проницательный* и получает название *глубокий*.

По словам Формея, глубокий ум или научный гений есть не что иное, как умение сводить идеи отчетливые к другим идеям, еще более простым и ясным, пока, цаконец, не достигается последнее возможное решение. Тот, кто мог бы знать, прибавляя Формея, до какой точки каждый человек доводит этот анализ, тот имел бы перед собой шкалу глубины каждого ума.

Из сказанного следует, что краткость жизни не позволяет человеку быть глубоким в нескольких отраслях знания и что чем проницательнее и глубже ум, тем менее он обширен, и что ума универсального не существует.

В связи с вопросом о проницательном уме я замечу, что общество дает это название лишь тем знаменитым людям, которые занимаются науками, более или менее доступными для общества, например, моралью, политикой, метафизикой и т. д. Если же дело идет, например, о живописи или геометрии, то лишь в глазах людей, сведущих в этом искусстве или в науке, можно показаться умом проницательным. Общество, слишком невежественное для того, чтобы оценить проницательность ума в этих различных отраслях, высказывает суждение о произведениях автора, никогда не прилагая к его уму эпитета проницательности; чтобы воздать хвалу автору, оно ждет, чтобы последний разрешением каких-нибудь трудных задач или созданием прекрасных картин заслужил название великого геометра или великого живописца.

Ко всему сказанному я прибавлю еще лишь несколько слов, имея в виду, что острота ума и проницательность являются двумя видами ума одной природы. Человек кажется одаренным очень большой остротой ума, когда, размышляя долгое время и держа постоянно в памяти все те предметы, которых обыкновенно касаются

в разговорах, он быстро их схватывает и проникает в их сущность. Единственное различие между проницательностью и остротой ума заключается в том, что эта последняя предполагает большую быстроту соображения, а также более свежее знание вопросов, в которых эта острота проявляется. Острота ума тем сильнее, чем глубже и чем недавнее мы занимались данной отраслью знания.

Перейдем теперь к вкусу. Это последний вопрос, который я хочу исследовать в этой главе.

Вкус, взятый в своем наиболее обширном значении, есть в применении к произведениям знание того, что заслуживает уважения всех людей. Среди искусств и наук существуют такие, относительно которых общество принимает взгляды людей сведущих, а само не высказывает никакого суждения; таковы: математика, механика и некоторые части физики или живописи. В такого рода искусствах или науках единственными людьми со вкусом являются знатоки, вкус в этих областях является знанием истинно прекрасного.

Иное дело произведения, о которых общество может или считает себя вправе судить; таковы: поэмы, романы, трагедии, моральные и политические рассуждения и т. д. Здесь под словом *вкус* не нужно понимать точное знание прекрасного, способного поразить народы всех времен и всех стран, но более частное знание того, что нравится обществу у данного народа. Существует два способа достигнуть такого знания и, следовательно, два различных вкуса. Один я называю вкусом привычки; таков вкус большинства актеров, которые, благодаря ежедневному изучению идей и чувств способны нравиться публике, делаются очень хорошими судьями театральных произведений, а особенно щес, похожих на те, которые уже ставились. Другой род вкуса есть вкус сознательный (*raisonné*); он основывается на глубоком знании человечества и духа времени. Людям, одаренным этим вкусом, надлежит по преимуществу судить об оригинальных произведениях. У человека, обладающего лишь вкусом привычки, нехватает вкуса, как только ему нехватает объектов для сравнения. Но сознательный вкус, который, без сомнения, превосходит то, что я называю вкусом привычки, приобретается, как я уже сказал, лишь путем долгих изучений вкуса публики и произведений того искусства или науки, в которых мы хотим прослыть людьми со вкусом. Применяя ко вкусу то, что я сказал об уме, я могу заключить, что не существует вкуса универсального.

Единственное замечание, которое мне остается сделать по этому вопросу, — это, что знаменитые люди не всегда являются лучшими судьями даже в той самой области, в которой они имеют наибольший успех. Какова же причина такого литературного явления? Причина в том, что у великих писателей, как и у великих живописцев, у каждого своя манера. Кребильон, например, выражает свои мысли с силой, жаром и энергией, свойственными только ему; Фонтенель изображает их с точностью, правильностью и особенноми, свойственными лишь ему оборотами; Вольтер передает их с неистощимой фантазией, благородством и изяществом. Каждый из этих знаменитых людей, побуждаемый собственным вкусом, считает

свою манеру наилучшей и часто предпочтет человека посредственного, усвоившего его манеру, гению, создавшему свою собственную. Отсюда различие суждения об одном и том же произведении знаменитого писателя и публики, которая, не относясь с почтением к подражателям, желает, чтобы автор был оригинальным.

Поэтому умный человек, который усовершенствовал свой вкус в какой-либо области, не будучи сам сочинителем и не усвоив себе определенной манеры, имеет обыкновенно более верный вкус, чем самые великие писатели. Никакой интерес не вводит его в заблуждение и не мешает ему становиться на ту точку зрения, с которой публика рассматривает и судит художественные произведения.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ V

¹ Не существует ничего, чего люди не могли бы понять. Каким бы сложным ни было данное положение, при помощи анализа всегда возможно разложить его на несколько простых положений; и когда в этих положениях мы облизим да и нет, т. е. когда никто не сможет их отрицать, не впадая в противоречие с самим собой и не утверждая, что одна и та же вещь существует и не существует, то эти положения станут очевидными. Каждую истину можно привести к такому виду, а раз это сделано, то не найдется глаз, которые закрылись бы для света. Но как много времени и наблюдений нужно для такого анализа и для сведения известных истин к столь простым положениям! Это работа всех времен и всех умов. В ученых я вижу лишь людей, постоянно занятых облизжением да и нет, в то время как общество ожидает, что путем такого облизжения идей ученые дадут ему возможность охватить в каждой области предлагаемые ему истины.

ГЛАВА VI

Об остроумии

Прекрасным называется то, что нравится во все времена и во всех странах. Но чтобы составить об этом более точное и ясное представление, может быть, было бы нужно в каждом искусстве и даже в каждой части искусства рассмотреть, что является в нем прекрасным. Такое исследование дало бы возможность легко вывести идею прекрасного, свойственную всем искусствам и всем наукам, а затем создать из этого отвлеченнную и общую идею прекрасного.

Если в слове *остроумие* (*bel esprit*) общество присоединяет эпитет прекрасного (*bel*) к слову *ум*, то тем не менее мы не должны связывать этот эпитет с идеей того истинно прекрасного, которому не дано еще точного определения. Название остроумных дается главным образом тем людям, которые пишут в приятном и занимательном роде. Такой род ума весьма отличается от ума научного. В науке меньше произвола. Важные открытия в физике, химии и геометрии полезны для всех народов одинаково и одинаково ценятся ими. Иначе обстоит дело с остроумием (*bel esprit*): уважение к про-

изведениям такого рода различно у различных народов и изменяется согласно их нравам, форме правления и различному положению в них искусств и наук. Таким образом, со словом *остроумие* каждый народ связывает различные представления. Но так как не существует народа, который бы не сочинял романов, поэм, трагедий, панегириков, исторических повествований¹, одним словом — таких произведений, которые занимают читателя, не утомляя его, то, значит, и не существует народа, где бы под тем или другим именем не было известно то, что мы называем *остроумием*.

Всякий автор, не приобретший у нас в этих различных отраслях названия гения, но соединяющий красоту и изящество стиля с удачным выбором идей, попадает в разряд *beaux-esprits* (*остроумцев*). Об изящном Расине Депрео сказал: «Это только *остроумец*, которого я с трудом научил писать стихи». Я, разумеется, не разделяю мнения Депрео о Расине, но, по моему мнению, из него можно заключить что *bel esprit* заключается главным образом в ясности и колоритности выражения и в умении излагать мысли; ему дают название *bel* — прекрасный, потому что он нравится и должен действительно нравиться самым широким кругам общества.

Действительно, если, как замечает де-Вожла, мы встречаем больше людей, судящих о словах, чем судящих об идеях, и если люди вообще менее чувствительны к справедливости суждений, чем к красоте выражений², то естественно, что с уменьшением красиво говорить соединяется название *bel esprit* (*остроумия*).

На основании этого можно было бы, может быть, заключить, что *остроумие* есть не что иное, как искусство изящно говорить о пустяках. Я отвечаю на это, что произведение, лишившее смысла, было бы лишь соединением гармонических звуков не заслуживающих никакого внимания³, и что общество награждает названием *bel-esprit* (*остроумца*) лишь тех лиц, в чьих произведениях находятся великие, тонкие или интересные идеи. Нет ни одной идеи, которая не годилась бы для *остроумца*, за исключением тех, которые предполагают слишком долгую подготовку и потому недоступны для широких кругов общества.

Этим утверждением я вовсе не хочу умалить славу философии. Философия, без сомнения, предполагает больше изысканий, большую размышлений, больше глубоких идей и даже особый образ жизни. В свете учатся хорошо выражать свои мысли, но лишь в уединении учатся приобретать их. В уединении мы производим множество наблюдений над вещами, тогда как в обществе мы наблюдаем лишь способ изложения их. Словом, в смысле глубины идей философы превосходят *остроумцев*; но от последних требуется так много грации и изящества, что условия, необходимые для того, чтобы заслужить звание философа или *остроумца*, быть может, равно трудно выполнимы. Во всяком случае одинаково редки и знаменитые философы, и знаменитые *остроумцы*. Действительно, какое необходимо знание и языка, и духа времени, чтобы одновременно и поучать, и нравиться! Как много требуется вкуса для постоянного изображения идей в приятной форме! Как много нужно работать для того,

чтобы уметь расположить их таким образом, чтобы они производили наиболее сильное впечатление на душу и на ум читателя! Как много нужно наблюдений для того, чтобы различать положения, требующие пространного изложения, от тех, которые для своего понимания требуют лишь краткого изображения, и, наконец, какое необходимо искусство для того, чтобы всегда соединять разообразие с порядком и ясностью и, как говорит Фонтенель, «чтобы возбуждать любопытство ума, щадить его леность и предупреждать его не-постоянство!»

Трудность успеха в этой области является отчасти причиной того, что люди остроумные обыкновенно относятся пренебрежительно к трудам чисто умозрительного характера. Если ограниченный человек видит в философии лишь собрание пустых и таинственных загадок и ненавидит философов за те усилия, которые нужны для их понимания, то и остроумец относится к ним не благосклоннее. Он также цепавидит в их произведениях сухость и скуку, свойственные поучениям. Слишком занятый отделкой фраз и менее чувствительный к их смыслу⁴, чем к их красоте, он считает удачной мыслью лишь мысль, красиво выраженную. Малейшая неясность коробит его. Он не знает, что глубокая мысль, как бы ясно она ни была выражена, будет всегда непонятной для среднего читателя, если ее цель будет свести к чрезвычайно простым положениям, и что глубокие идеи похожи на те чистые и прозрачные воды, глубина которых затемняет все же их прозрачность.

Кроме того, среди остроумцев существуют тайные враги философии, восстанавливающие против нее мнение людей ограниченных. Являясь жертвой мелкого и смешного тщеславия, они подпадают общему заблуждению и, не цеяя правильности, силы, глубины и новизны мыслей, они как бы забывают, что искусство красиво выражаться предполагает непременно какое-либо содержание и что в конце концов изящного писателя можно сравнять с ювелиром, чье искусство становится бесполезным, если у него нет бриллиантов для оправы.

В противоположность им, ученые и философы, всецело преданные исследованию фактов или идей, часто не понимают красот и трудностей писательского искусства. Поэтому они придают мало значения остроумию, и их несправедливое презрение к такого рода уму основано главным образом на невосприимчивости к идеям остроумных авторов. Почти все они напоминают более или менее того математика, перед которым превозносили трагедию «Ифигения». Эти похвалы задели его любопытство; он попросил дать ему трагедию, получил ее, прочел несколько сцен и возвратил ее со словами: «Я не знал, что особенно хорошего в этом произведении, оно ровно ничего не доказывает».

Ученый аббат де Лонгрю был довольно похож на этого математика: поэзия не имела для него очарования, он равнодушил к величие Корнеля, и изящество Расина; он говорил, что все поэты изгнаны из его библиотеки⁵.

Чтобы ценить одинаково идеи и форму выражения, необходимо,

подобно Платону, Монтэню, Бэкону, Монтескье и некоторым из наших философов, чья скромность мешает мне назвать их, соединять искусство хорошо писать с искусством хорошо мыслить — комбинация редкая и встречающаяся лишь у великих гениев.

Указав причины презрения, испытываемого друг к другу некоторыми учеными и некоторыми остроумцами, я должен объяснить, почему остроумие подвергается и должно постоянно подвергаться презрению в большей степени, чем всякий иной род ума.

Любовью нашего века к философии мы обязаны тем большим количеством многоречивых педантов, которые, будучи тяжелыми, банальными и утомительными, тем не менее полны восхищения перед глубиной собственных суждений. Многие из них выражаются очень плохо; они догадываются об этом, знают, что всякий может судить об изяществе и ясности изложения и что в этом отношении невозможно провести публику; поэтому из тщеславия они вынуждены отказаться от звания остроумцев, удовольствовавшись называнием здравомыслящих (*bon esprit*). И как же им не предпочесть это последнее звание? Они слышали, что здравый ум выражается иногда туманно, и вот они думают, что, ограничив свои притязания так называемым здравомыслием, они всегда смогут оправдать нелепость своих рассуждений неясностью изложения; что это единственное и верное средство избежать обвинения в глупости; поэтому они жадно хватаются за него, скрывая, насколько это возможно, от самих себя тот факт, что недостаток остроумия является у них единственным правом на здравомысление и что писать плохо не значит хорошо мыслить.

Суждения таких людей, хотя бы часто богатых и влиятельных⁶, не производили бы, однако, никакого впечатления на публику, если бы они не поддерживались авторитетом некоторых философов, которые, подобно остроумцам, притязая на исключительное внимание к себе, не понимают, что каждый жанр имеет своих особых поклонников; что всюду имеется больше лавров, чем голов для венца; что пет народа, в распоряжении которого не было бы запаса уважения, достаточного для удовлетворения всех притязаний знаменитых людей, и что, наконец, впущая отвращение к остроумию, они восстанавливают против всех великих писателей презрение людей ограниченных, которые, презирая всякий ум и ничего не понимая в остроумии, включают в число остроумцев и ученьих, и философов, и вообще всех мыслящих людей.

ПРИМЕЧАНИЕ К ГЛАВЕ VI

¹ Я не говорю здесь об истории, написанной научным образом, как, например, «Анналы» Тацита, которые полны глубоких моральных и политических идей и не могут читаться без некоторого усилия внимания и, следовательно, не могут нравиться и восприниматься широким кругом читателей.

² Я приведу по этому поводу одно изречение Малерба. Он находился на смертном одре: желая винуть ему большие рвения и смирения, священник описывал ему райские блаженства, делая это, однако, в выражениях низких и

грубых. Закончив свое описание, он спросил больного: «Ну, как, чувствуете ли вы в себе желание наслаждаться этими небесными радостями?.. — «Ах, — отвечал Малерб, — не говорите мне больше об этом, ваш дурной стиль внушиает мне отвращение к ним».

* В наши дни человек, написавший мадrigал или сонет, еще не получает названия умного человека.

* Нет ничего более печального для человека, чьи выражения не вполне удачны, как быть судимым остроумными или наполовину умными людьми. Его идеи не принимаются во внимание, о нем судят лишь по его выражениям. Хотя бы в действительности он превосходил людей, считающих его глупцом, они не изменят своего мнения о нем.

* «Существует, — говорил тот же самый аббат де Лонгрю, — два сочинения о Гомере, которые стоят больше, чем сам Гомер: Первое — *Antiquitates Homericae*, второе — *Homeri Gnomologia* Дюпорта. Тот, кто прочитал эти две книги, прочитал все, что есть хорошего у Гомера и не испытал скуки от его нудных рассказов».

* Вообще говоря, те люди, которые бесплодно занимались искусствами и науками, становятся, достигнув высокого положения, самыми яростными врагами писателей. Чтобы очернить их, они становятся во главе глупцов; они хотели бы уничтожить ту отрасль знания, в которой они сами не имели успеха. Можно сказать, что в литературе, так же как в религии, отступники становятся злейшими преследователями.

ГЛАВА VII

О светском уме

Этот род ума ни в чем не способствует прогрессу искусств и наук, и я бы не отвел ему места в этом сочинении, если бы он не занимал очень большого места в умах множества людей.

Во всех страшах, где народ находится в пренебрежении, светским умом называют ум людей, задающих тон, т. е. людей светских и придворных.

Человек светский и остроумец выражаются оба изящно и чисто; оба обыкновенно более чувствительны к хорошему выражению, чем к хорошей мысли; однако же они не говорят и не могут говорить одних и тех же вещей¹, потому что они ставят себе различные цели. Остроумец, жаждущий внимания публики, должен либо рисовать ся грандиозные картины, либо предлагать идеи интересные для человечества или, по крайней мере, для данного народа. Наоборот, человек светский, удовлетворяясь одобрением людей хорошего тона, думает лишь о том, чтобы предлагать идеи, приятные так называемому избранному обществу.

В своем втором рассуждении я говорил о том, что в свете можно разговаривать только о вещах и людях и что так называемое избранное общество обыкновенно мало образовано; что в нем занимаются лишь пересудами; что похвала всегда кажется скучной тому, кто не является ее объектом, и заставляет зевать слушателей. Итак, в этих кругах стремятся лишь к тому, чтобы истолковывать в дурную

сторону поступки людей, схватывать их смешные стороны, виз смеиваться им, превращать в шутку самые серьезные вещи, издеваться над всем и, наконец, выставлять в смешном виде все идеи, противоречащие идеям избранного общества. Умение разговаривать считается, таким образом, к таланту приятно злословить, особенно в наш век, когда каждый притязает на ум и приписывает его себе и когда нельзя похвалить какого-нибудь выдающегося человека, не оскорбляя тщеславие всех; когда человека достойного отличают от человека посредственного лишь родом клеветы; когда, так сказать, условились делить народ на два класса: один, более многочисленный, — класс глупцов, другой — класс безумцев, причем в этот последний входят все те лица, которым нельзя отказать в талантах. Впрочем, злословие является теперь единственным средством для похвал самому себе и своему кругу. Ведь каждый хочет хвалить себя; каждый — безразлично: порицая или одобряя, вслух или молча — всегда стремится к прославлению себя; каждый человек является оратором, который своими речами или поступками постоянно произносит себе панегирики. Существует два способа самовосхваления: один — говоря хорошее о себе самом, другой — понося ближнего. Цицерон, Гораций и вообще все древние, более искренние в своих претензиях, открыто произносили себе похвалы, которые им казались заслуженными. Наш век щепетильнее в этом пункте и теперь дозволено хвалить самого себя, лишь говоря дурное о других. Насмехаясь над глупцом, мы косвенным образом восхваляем свой ум. Такой способ самовосхваления является, без сомнения, наиболее явно противоречащим добрым нравам, однако только он теперь в ходу. Человек, высказывающий то хорошее, что он думает о себе, считается гордцем, — все избегают его. И, наоборот, каждый кто восхваляет себя, злословя о другом, кажется очаровательным; он окружен благодарными слушателями; они разделяют с ним его косвенные самовосхваления и рукоплещут остроумным словам, избавляющим их от неприятности хвалить другого. Словом, недоброжелательство светских людей вытекает, кажется, не столько из желания нанести вред, сколько из желания хвалить себя. Поэтому нетрудно быть снисходительным не только к ним, но и к тем ограниченным умам, чьи намерения более низки. Человек, заслуживающий уважения, знает, что если о ком-нибудь не говорят ничего дурного, то обыкновенно о нем нечего сказать и хорошего; что люди не любящих хвалить других, обыкновенно и самих мало хвалили; поэтому достойный человек не жаждет их похвал; он смотрит на глупость как на несчастье, за которое она всегда хочет мстить. Один весьма умный человек говорил: «Пусть, не имея против меня никаких обвинений, говорят обо мне что угодно дурное, — это меня не рассердит: ведь каждый забавляется по-своему». Но если философии прощает недоброжелательство, то все же она не должна его одобрять. И тем, что существует множество злобствующих людей, которым в душе являются иногда прекраснейшими людьми в мире, — мы часто обязаны этим нескромным одобрениям. Этим людям льстят похвалы, расточаемые злословию, им хочется прослыть людьми

умными, и недостаточно уважая в себе свою природную доброту, они желают, чтобы боялись их остроумия. К несчастью, у них достаточно ума, чтобы успеть в этом: сначала они лишь представляются злыми, а потом остаются злыми по привычке.

О, вы, еще не усвоившие этой злополучной привычки, оставайтесь глухими к похвалам, расточаемым насмешкам, которые столь же вредны обществу, сколь и обычны в нем. Рассмотрите ближе те нечистые источники², из которых вытекает злоречие. Помните, что великий человек равнодушен к смешным сторонам частных лиц и занимается лишь великими вещами; что старый клеветник так же смешон, как и старый прелестник, и что тем светским людям, которые созданы для великих дел, быстро надоедает насмешливый тон, неправистный другим народам³. Словом, оставьте злоречие людям ограниченным, для которых оно является потребностью. Будучи природными врагами выдающихся умов и завидуя уважению, в котором им отказывают, они знают, что, подобно сорным травам, растущим лишь на развалинах дворцов, они могут подняться лишь на обломках великих reputаций, поэтому они и заняты их разрушением.

Таких ограниченных людей множество. Некогда вам завидовали только ваши равные; теперь же, когда каждый притязает на ум, почти все люди стали завистниками и читают не для того, чтобы научиться, а для того, чтобы критиковать. И нет ни одного произведения, способного противостоять такому настроению читателей. Большинство их в своих поисках недостатков в каком-нибудь произведении похожи на тех отвратительных животных, которых иногда можно встретить в городах и которые разгуливают там в поисках отбросов. Неужели люди не знают, что нужно не менее ума для того, чтобы заметить красоты, чем для того, чтобы найти недостатки произведения, и что в книгах, как говорил один англичанин, «надо охотиться за идеями и высоко ценить ту книгу, в которой можно найти их».

Все несправедливости этого рода являются необходимым следствием глупости. Какова здесь разница между поведением человека умного и человека ограниченного? Первый извлекает пользу из всего: из уст людей посредственных часто раздаются истины, которые подхватывает мудрёд; зная это, человек умный впитывает без скуки речам людей посредственных; в разговоре он обыкновенно замечает лишь хорошее, а человек посредственный — лишь дурное или смешное.

Умный человек постоянно сознает свое невежество и извлекает поучение почти из всех книг; наоборот, человек ограниченный, слишком невежественный и слишком тщеславный, чтобы чувствовать потребность в просвещении, обыкновенно не находит для себя поучения ни у одного из своих современников, и, желая скромно заявить о своем всезнайстве, он говорит, что книги его ничему не научают⁴; он утверждает даже, что уже все было сказано и продумано, что все авторы повторяют друг друга и что все различие между ними заключается лишь в способе выражения. О, завистник! скажем мы ему, разве древним обязаны мы изобретением книго-

нечатания, часов, стекол и пожарных насосов? Кто же, как не Ньютон, установил в прошлом веке закон тяготения? А электричество не раскрывает ли перед нами ежедневно множество новых явлений? Поэтому нам не остается более никаких открытий? Но разве даже в морали или в политике, где, повидимому, все уже было сказано, сумели определить для каждого государства наиболее выгодный род роскоши и торговли? Установили ли границы им? Открыли ли средство одновременно поддерживать в пароде дух торговый и дух военный? Нашли ли форму правления, наиболее способную сделать людей счастливыми? Написан ли хоть роман о хорошем законодательстве⁵, которое можно было бы испробовать на какой-нибудь колонии на пустынном побережье Америки?

Время в каждую эпоху дарило людям некоторые истины, но у него осталось для нас еще много даров. Поэтому еще возможно приобрести множество новых идей. Утверждение, будто *все сказано и все продумано*, — утверждение ложное, найденное сначала неизвестием; а впоследствии повторенное завистью. Нет средств, которых под видом справедливости не употребил бы завистник, чтобы унизить заслугу. Так, например, известно, что не существует изолированных истин и что всякая новая идея связана с какими-нибудь уже известными идеями, с которыми она необходимо должна иметь какое-нибудь сходство; зависть же исходит из этих пунктов сходства, чтобы ежедневно обвинять в плагиате наших знаменитых современников⁶. Она бичует плагиаторов, говорит она, чтобы наказывать литературных воришек и мстить за публику. Но, можно возразить ей, если бы ты действовала лишь в интересах общества, то твои разглагольствования были бы менее пылкими; ты поняла бы, что эти плагиаторы, без сомнения, менее заслуживающие уважения, чем гениальные люди, тем не менее весьма полезны для публики и что хорошее произведение может получить общую известность, лишь будучи размельчено на множество посредственных трудов.

В самом деле, если отдельные лица, составляющие общество, группируются в различные классы с различным слухом и различным зрением, то ясно, что один и тот же писатель, каким бы он ни был гениальным, не может равно нравиться им всем и что нужны свои авторы для каждого класса⁷: Невиль для проповеди в городе, а Бриден — для проповеди в деревне. В морали, как и в политике, некоторые идеи недоступны всеобщему пониманию; очевидными они становятся лишь тогда, когда с высочайших вершин философии они спускаются к поэзии, а от поэзии до вульгарных песенок, и только в этот момент они становятся достаточно обычными, чтобы стать полезными.

Впрочем зависть, которая столь часто принимает имя спрavedливости и от которой никто вполне не свободен, не является пороком какого-либо сословия. Обыкновенно она бывает активной и опасной лишь в людях ограниченных и тщеславных. Люди выдающиеся имеют слишком мало объектов для зависти, а люди светские — слишком легкомыслены, чтобы долго повиноваться одному чувству; кроме того, они не ненавидят заслуги, особенно заслуги литературы.

ные; часто даже они им покровительствуют. Их единственное притязание быть приятными и блестящими в беседе. В этом притязании и заключается собственно светский ум; поэтому чего только не придумывали в этой области, чтобы избежать упреков в бахальности!

Предположим, что какая-нибудь глупая женщина всецело занята своей собакой; она разговаривает только с ней; это оскорбляет гордость присутствующих, которые начинают обвинять ее в наглости, но они ошибаются. Она знает, что для того, чтобы быть чем-нибудь в обществе, нужно произнести известное количество слов⁸ и сделать известное количество жестов и шума; поэтому возня с собакой является для нее не столько развлечением, сколько средством скрыть свое убожество; в этом случае ее самолюбие оказывается хорошим советником: ведь самолюбие в момент необходимости почти всегда помогает нам извлечь максимум выгоды из нашей глупости.

К сказанному мною о светском уме я прибавлю еще только одно замечание, а именно, что его легко представить себе конкретно-чувственным образом. Для этого пусть поручат какому-нибудь искусному художнику написать, например, аллегорические портреты ума в античной Греции и в нашей стране. Не будет ли он вынужден в первой картине изобразить его в образе мужа, который с неподвижным взором и с душой, погруженной в глубокие размышления, стоит в одной из тех поз, какие приписываются музам? А во второй картине не явится ли необходимым изобразить его с чертами бога насмешки, т. е. в виде человека, глядящего на все с лукавой усмешкой и издевательским взором? Такие два портрета довольно точно изобразили бы нам отличие греческого ума от нашего. Я замечу в связи с этим, что в разные века талантливый художник придал бы уму различную физиономию и что аллегорическая серия таких портретов была бы очень приятной и занятной для потомства, которое одним взглядом могло бы судить о том уважении или презрении, которые каждый век оказывал уму каждого народа.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ VII

¹ Многие мелочи, приятные в разговоре, были бы неинтересны в чтении. «Изатель, — говорит Буало, — желает извлекать пользу из своего развлечения».

² Один злословит потому, что он невежда и человек праздный; другой — потому, что он скучает, потому что он болтлив, плохо настроен, страдает от малейших недостатков; он обыкновенно чувствует себя несчастным. Своими остроумными выходками он более обязан плохому настроению, чем уму: *facit indignatio versum*. Третий рожден с желчным характером, он злословит о людях только потому, что видит в них врагов, а как печально жить всегда в предметом своей ненависти! Для него вопрос самолюбия — не быть обманутым; он видит в людях лишь негодяев или замаскированных мошенников; он высказывает это и часто бывает правым, но все же он иногда ошибается. Я спрашиваю себя, не обманываемся ли мы одинаково, когда принимаем порок за добродетель или же добродетель за порок? Можно назвать счастли-

философа эта идея была в лучшем случае лишь предчувствием грядущего открытия, честь которого всецело принадлежит философу английскому. Одна лишь зависть заставляет нас находить у древних все современные открытия. Достаточно фразы, лишенной смысла, или, по меньшей мере, непонятной до данного открытия, чтобы заставить кричать о плалии. Эти люди не понимают, что заметить в произведении принцип, никем доныне не замеченный, и является, собственно говоря, открытием; что такое открытие предполагает у сделавшего его множество наблюдений, ведущих к этому принципу, и что, наконец, человек, объединяющий большое число идей в одном фокусе, является человеком гениальным и изобретательным.

7 По этому поводу я приведу один довольно забавный факт. Некто явился однажды к чиновнику, отличавшемуся большим умом. «Чем вы занимаетесь?» — спросил его чиновник. — «Я пишу книги», — ответил тот. — «Но ни одна из ваших книг не дошла до меня». — «Охотно этому верю», — ответил автор. — Я ничего не пишу для Парижа. Как только мое произведение выходит из печати, я посыпаю издание в Америку — я сочиняю только для колоний».

8 По этому поводу персы говорят: «Я слышу стук жерновов, но не вижу муки».

ГЛАВА VIII

Об уме правильном¹

Чтобы высказывать всегда верные суждения об идеях и мнениях различных людей, нужно было бы быть самому свободным от всех страстей, которые искают нашу способность суждения; нужно было бы всегда иметь в памяти идеи, знание которых давало бы нам знание всех человеческих истин, а для этого нужно было бы знать все. Но всеведущего человека не существует, и, следовательно, можно обладать правильным умом лишь в некоторых отношениях.

Так, например, в области драматического искусства один является хорошим знатоком гармонии стихов, качества и силы выражения, одним словом — всех красот стиля, но он плохо разбирается в вопросе о верности плана. Другой, наоборот, является знатоком последнего, но его не поражает ни правильность, ни стройность, ни сила чувства, от которых зависит правдивость или фальшивость трагических характеров, т. е. то, что является главным достоинством пьес. Я говорю — главным достоинством — потому, что действительная польза и, следовательно, главная красота драматического искусства заключается в том, чтобы верно изобразить действие на нас сильных страстей.

Словом, верностью ума мы можем обладать лишь в тех областях, которые мы более или менее долго изучали.

Нельзя не сознаться, что верный ум, если не смешивать его с гением и с умом широким и глубоким, является умом ложным в том случае, когда дело идет о сложных положениях, в которых истина оказывается результатом множества комбинаций, в которых, чтобы видеть хорошо, нужно видеть много; в которых верность ума зависит от его широты. Поэтому под умом правильно

подразумевают обыкновенно лишь тот вид ума, который способен извлекать верные и иногда новые следствия из предлагаемых ему истинных или ложных мнений.

Согласно такому определению, правильный ум мало способствует развитию человеческого ума; тем не менее он заслуживает некоторого уважения. Люди, которые, исходя из установленных принципов или мнений, извлекают из них всегда верные и иногда новые заключения, встречаются редко. Вообще люди посредственные уважают их даже больше, чем лиц высокого ума, которые слишком часто призывают людей к исследованию общепринятых принципов и переносят их в неизведанные области, чем утомляют их леность и оскорбляют их гордость.

Но какими бы верными ни были заключения, извлекаемые нами из какого-либо чувства или принципа, тем не менее, если это чувство или принцип окажутся смешными или глупыми, нас не только не назовут правильным умом, но просто глупцом. Один индиец-илюстратор вообразил, что если он станет мочиться, то зальет своей мочой весь Бизлагар. Поэтому сей добродетельный гражданин, предпочитая благо родины своему собственному, постоянно воздерживался от мочеиспускания; он был уже близок к смерти, когда некий умный врач вбежал к нему в комнату с испуганным видом: «Нарзенг² в огне, — сказал он, — и вскоре превратится в груду пепла, поторопись излить твою мочу». При этих словах добрый индиец стал мочиться. Он рассуждал верно, но прослыл сумасшедшим.

Другой человек, одержимый, несомненно, теми же пастроениями, начал сравнивать однажды пичтожное число избранных с чудовищным количеством людей, которых грехи ввергают ежедневно в бездну адова. «Если, — говорил он самому себе. — честолюбие, скопость, сладострастие толкают нас на такое множество преступлений, то почему не совершить таких преступлений, которые, по крайней мере, полезны людям? Почему не убивать детей до наступления возраста греховности? Благодаря этому преступлению я наслюю небо блаженными; несомненно, я вызову гнев всевышнего, я рисую быть ввергнутым в бездну адова, но зато я спасу людей, я буду Курцием, который кидается в пропасть для блага Рима». Прямыми следствием этого рассуждения было убийство нескольких детей.

Если подобных людей обычно считают глупцами, то не только потому, что они опираются в своих рассуждениях на принципы ложные, но на принципы, считающиеся таковыми. Действительно, китайский теолог, доказывающий десять воплощений Вишну, или мусульманин, который согласно Корану утверждает, что земля держится на рогах быка, без сомнения, основываются на столь же пеленых принципах, как принципы моего индийца; однакоже в страце каждого из них на них смотрят как на людей разумных. Почему это так? Потому что они придерживаются общепринятых взглядов. В области религиозных истин рассудок бессилен против двух великих миссионеров: примера и страха. Кроме того, в каж-

дой стране предрассудки сильных мира сего являются законом для мелкого люда. Наш китаец и мусульманин прослышиут мудрыми единственно потому, что они *безумны общим безумием*. То, что я говорю о безумии, я применяю к глупости: лишь тот слышит глупым, кто не заражен общей глупостью.

Рассказывают, будто какие-то крестьяне, построив мост, вырезали на нем следующую надпись: *сей мост построен здесь*; другие, желая вытащить человека из колодца, закинули ему на шею мертвую петлю и вытащили его задушенным. Если глупости такого рода всегда вызывают смех, то как же, скажут мне, можно выслушивать серьезно догматы бонз, браминов и талапуэнов, столь же нелепые, как надпись на мосту? Как можно без смеха видеть государей, народ, министров и даже великих людей, простирающихся порой у ног идолов и выказывающих глубочайшее почтение к нелепым басням? И как не изумляться, читая в описаниях путешествий, что существование колдунов и волшебников так же признается всеми, как существование бога, и считается доказанным у большинства народов? Наконец, почему не производят на нас одинакового впечатления различные, но одинаково смешные нелепости? Потому что каждый охотно смеется над глупостью, от которой считает себя свободным: никто не повторит слов крестьянина: *сей мост построен здесь*, но иное дело, когда речь идет о какой-либо благочестивой нелепости. Никто не считает себя вполне свободным от невежественности, которая ее порождает, и боится в лице других осмеять самого себя.

Словом, название глупости дается не нелепости рассуждения вообще, но лишь нелепости некоторых видов рассуждения, и под словом *глупость* следует разуметь редко встречающееся невежество. Поэтому иногда название глупца дается даже людям, которых считают великими гениями. Знание вещей обычных является знанием людей посредственных, и иногда великий человек бывает в этом отношении грубым невеждой. Сгорая жаждой устремиться к первым принципам своего искусства или науки, чтобы извлечь из них несколько новых, основных и общих истин, из которых вытекает множество второстепенных, он иренебрегает всяkim иным видом знания. Когда же он сходит со светлой тропы, начертанной ему гением, то он впадает во множество заблуждений; таков Ньютон, комментирующий апокалипсис.

Гений освещает некоторое пространство той необъятной ночи, которая окружает посредственные умы, но он не освещает всего. Я сравниваю гения с тем огненным столпом, который шел перед сиреями и который был то темным, то светлым. Великому человеку, всегда выдающемуся в одной области, неизбежно нехватает ума во многих других, если только не понимать здесь под словом *ум* способность к учению, на которую можно смотреть как на начало познания. Благодаря привычке к прилежанию, научным методам и способности различать между полузнанием и полным знанием, великий человек, без сомнения, имеет в этом отношении большое преимущество перед обыкновенными людьми. Эти последние, не

имея привычки к размышлению и не обладая глубоким знанием, всегда считают себя достаточно образованными, имея лишь поверхностное знание о вещах. Невежественность и глупость легко убеждают себя в том, что они все знают; и та и другая всегда тщеславны. Только великий человек может быть скромным.

Если я суживаю власть гения и показываю границы, в которые замыкает его природа, то я делаю это, чтобы показать еще яснее, что правильный ум, стоящий гораздо ниже гения, не способен, как это думают, иметь всегда верные суждения о различных предметах рассуждения. Подобный ум невозможен. Свойство правильного ума заключается в том, что он умеет извлекать точные выводы из общепринятых взглядов, но эти взгляды по большей части ложны, а правильный ум никогда не восходит до рассмотрения их самих; таким образом, правильный ум чаще всего является искусством рассуждать методически ложно. Возможно, что такого рода ум достаточен для создания хорошего судьи, но никогда — для сознания великого человека; человек, одаренный им, обыкновенно не отличается ни в одной области и не приобретает известности никаким талантом. Мне могут сказать, что он часто заслуживает уважения людей посредственных. Это верно, но их уважение,вшая ему слишком высокое представление о самом себе, становится для него источником заблуждений, из которых невозможно его вырвать. Действительно, если зеркало, этот наиболее вежливый и наиболее скромный из всех советников, никогда не может убедить человека, до какой степени он безобразен, то кто же может разуверить человека в слишком высоком мнении о самом себе, особенно если оно опирается на уважение окружающих? Самоуважение, основанное лишь на похвале близких, свидетельствует даже о некоторой скромности. Однако на нем поконится убежденность правильного ума в своей собственной просвещенности и его презрение к великим людям, на которых он часто смотрит как на мечтателей или как на безголовых педантов⁴. О, правильные умы, можно сказать им, если вы называете безголовыми великих людей, выдающихся, по крайней мере, в той области, в которой публика восхищается ими, то что же должна она думать о вас, чей ум не идет дальше нескольких чистотных выводов, которые добыты из какого-нибудь истинного или ложного принципа и открытие которых к тому же не имеет значения? Восхищаясь всегда собственными малыми заслугами, вы говорите, что вы не подвержены заблуждениям великих людей. Да, без сомнения, потому что для того, чтобы упасть, нужно или бежать, или, по крайней мере, ходить. Когда вы хвастаетесь между собою правильностью своего ума, мне кажется, что я слышу безногих калек, похваляющихся тем, что они не спотыкаются. Вы говорите далее, что ваше поведение часто разумнее поведения гениальных людей. Да, потому что в вас нет того жизненного и страстного начала, которое порождает и великие пороки, и великие добродетели, и великие таланты. Но разве поэтому вы заслуживаете большего уважения? Что за дело обществу до плохого или хорошего поведения частного лица? Гений,

обладающий пороками, все же достоин большего уважения, чем вы. Действительно, можно служить родине или добрыми нравами и примерами добродетели, или же распространением в ней просвещения. Из этих двух способов служения родине последний, без сомнения, более свойствен гению, и в то же время он более полезен для общества. Добродетельные примеры, подаваемые частными лицами, полезны лишь для немногих членов общества; напротив, тот новый свет, который это же частное лицо проливает на искусство и науки, является всеобщим благом. Словом, очевидно, гений, даже не очень безупречный в своей нравственности, будет всегда иметь больше права, чем вы, на общественную благодарность.

Велеречивые разглагольствования правильных умов против гениальных людей могут, конечно, на некоторое время повлиять на толпу, и нет ничего легче, как обмануть ее. Если испанцы при виде очков, которые всегда носят на носу некоторые испанские ученые, думают, что они потеряли зрение от чтения и что это люди огромных знаний; если ежедневно мы принимаем живость телодвижений за живость ума и молчаливость за глубокомыслие, то естественно, что важность, присущую верным умам, мы принимаем за результаты их мудрости. Но эта иллюзия исчезает, когда мы вспоминаем, что важность, как говорит г-жа де Скюдери, есть лишь уловка тела, чтобы скрыть недостатки ума⁵. Словом, в конце концов только одни правильные умы больше всех бывают обмануты собственной важностью. Считая себя умными, потому что они серьезны, считая себя справедливыми, когда они чернят гения, руководясь тщеславием и завистью, они подпадают липь общему заблуждению. Такие ошибки чувства повсюду являются столь общими и частыми, что я надеюсь угодить желанию читателя, посвятив рассмотрению их несколько страниц данного произведения.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ VIII

¹ В широком смысле слова правильный ум был бы умом универсальным. Но в этой главе я не говорю о таком уме: я беру слово *правильный ум* в его самом обыденном значении.

² Столица Бизнагара.

³ Несколько лет назад, говорят, в Пруссии произошел аналогичный случай. Два очень набожных человека жили в самой тесной дружбе. По выходе после богослужения из церкви один из них встречает своего друга и говорит ему: «Я верю, насколько только может верить в это христианин, что я нахожусь в состоянии благодати». — «Что же, — отвечает ему его друг, — в этом состоянии вы не боялись бы смерти?» — «Я не думаю, — возражает он, — что я мог бы быть в лучшем для этого расположении». Едва он произнес эти слова, как его друг наносит ему удар и убивает его, и это убийство кажется ему правильным следствием чувства сильной веры и искренней дружбы.

Верные умы могли считать очень хорошим тот древний обычай, когда с помощью оружия решали вопрос о справедливости или несправедливости какого-нибудь дела. Этот обычай казался им правильным выводом из двух следующих положений: *все совершаются по воле божией, и бог не может допустить несправедливости*. «Если начинался спор из-за какого-нибудь

земельного владения или социального положения какого-нибудь лица и если не было ясно, какая сторона права, то, чтобы найти выход, нанимали двух бойцов. Около 968 г. император Оттон запросил ученых о том, возможно ли представительство вместо умершего раньше наследника, при наследовании по прямой линии, и так как они оказались разных мнений, то, чтобы решить этот юридический вопрос, назначили двух бойцов, и когда победил тот, кто поддерживал правомерность такого права наследования, то император приказал руководствоваться впредь этим решением» («Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres», t. XV).

Из записок Академии надписей я мог бы привести еще множество примеров различных испытаний, которые в эти невежественные времена назывались *судами божими*; я ограничусь здесь испытанием холодной водой, которое происходило следующим образом: «После некоторых молитв над испытуемым ему связывали правую руку с левой ногой и левую руку с правой ногой и в таком виде бросали в воду; если он выплывал, то его считали виновным, если же тонул, то объявляли невинным. Конечно, таким образом, виновных оказывалось мало, потому что человек не мог сделать ни одного движения, и так как вес его тела превосходил вес равного объема воды, то он неизбежно шел ко дну. Конечно, всем был известен этот простой принцип статики, основанный на столь обычном опыте, но простодушные люди того времени всегда ожидали чуда, и они не думали, что небо может отказать им в открытии истины» (там же).

* Сказать о человеке, что у него слабая голова, чаще всего означает, что мы бессознательно считаем его умнее себя.

* Осел, говорит по этому поводу Монтень, есть самое серьезное из всех животных.

ГЛАВА IX

Ошибки чувства

Подобно лучу света, который состоит из целого пучка лучей, всякое чувство состоит из множества отдельных чувств, которые способствуют сообща созданию определенного желания в нашей душе и определенного действия в нашем теле. Немногие люди обладают призмой, способной разложить этот пучок чувств; поэтому человек часто считает себя одушевленным или одним исключительным чувством, или же не теми чувствами, которые в действительности его одушевляют. Вот причина стольких ошибок чувства, и вот почему мы никогда почти не знаем истинных мотивов наших действий.

Чтобы лучше показать, насколько трудно избежать этих ошибок чувства, я хочу изобразить некоторые ошибки, в которые повергает нас полное незнание самих себя.

ГЛАВА X

До какой степени мы подвержены ошибкам насчет движущими нами мотивов

Предположим, что мать обожает своего сына. Я люблю его ради него самого, скажет она. Однако можно возразить ей, вы совершиенно

не заботитесь о его воспитании, хотя вам известно, что хорошее воспитание должно способствовать его счастью; почему же по этому вопросу вы не обращаетесь к людям умным, почему не прочтете ни одного из сочинений на эту тему? Потому что, ответит она, помоему, в этой области я знаю столько же, сколько писатели и сколько содержится в их сочинениях. Но откуда же берется у вас это доверие к собственному знанию? Не является ли оно следствием вашего равнодушия? Сильное желание всегда внушает нам некоторое благотворное недоверие к самим себе. Когда мы ведем какое-либо важное судебное дело, то мы обращаемся к прокурорам, советуемся со многими адвокатами, читаем составляемые ими прошения. Когда мы заболеваем одним из тех изнурительных заболеваний, при которых мы беспрестанно окружены тенями и ужасами смерти, то мы обращаемся к докторам, спрашиваем их мнение, читаем медицинские книги и сами становимся немногими врачами. Так мы поступаем, движимые живым интересом. И если в случае, когда дело идет о воспитании детей, вы не испытываете такого же интереса, то, значит, вы не любите их ради них самих. Но, спросит меня эта мать, каковы же мотивы моей любви? Многие отцы и матери, отвечаю я, охвачены манией иметь потомство и в детях своих любят, собственно говоря, носителей своего имени; другие стремятся к власти и в детях любят своих рабов. Животные оставляют своих детенышей, когда последние не нуждаются больше в защите, а родительская любовь гаснет почти во всех сердцах, когда дети благодаря своему возрасту или положению достигают независимости. Тогда, говорит поэт Саади, отец видит в них лишь алчных наследников, и в этом же прибавляет названный поэт, кроется причина чрезвычайной любви деда к своим внукам: он видит в них врагов своих врагов.

Наконец, существуют отцы и матери, видящие в детях лишь игрушку и развлечение. Потеря этой игрушки была бы для них невыносимой, но разве их горечь доказывает, что они любят ребенка ради него самого? Всем известен следующий случай из жизни г-на де Лозена. Он сидел в Бастилии и там, лишенный книг и запятий, томясь от скуки и условий тюремного существования, решил приручить паука. Это было единственным утешением в его несчастье. Начальник Бастилии, по жестокости свойственной людям, привыкшим видеть несчастных¹, раздавил паука. Заключенный испытал от этого острую скорбь, и нет матери, которую смерть сына поразила бы более сильной печалью. Чем же объясняется сходство чувств, испытываемых к столь различным объектам? Тем, что при потере ребенка, как и при потере паука, часто оплакивают лишь ту скуку и безделье, которые придется испытывать. И, если вообще мать кажется более чувствительной к смерти ребенка, чем отец, отвлекаемый делами или увлеченный честолюбием, то не потому, что мать любит своего сына нежнее, но потому, что она несет утрату, которую труднее заменить. Ошибки чувства являются весьма частыми в этой области. Редко любят ребенка ради него самого. Родительская любовь², которую столько людей

выставляют шапоказ и которую, как им кажется, они живо ощущают, чаще всего является в них результатом или мании иметь потомство, или жажды власти, или же страха перед скукой и бездельем.

Такая же ошибка чувства внушает фантастическим святошам мысль о том, что их ненависть к философам и преследование их основываются на их религиозном рвении. Но, можно возразить им, возмущающий вас в произведении философа взгляд является или ложным, или истинным. В первом случае вы можете проявить ту кроткую добродетель, которой учит ваша религия, и философски доказать ложность этого мнения; христианское милосердие вас даже обязывает к этому. «Мы не требуем, — говорит апостол Павел, — слепого послушания; мы поучаем, мы доказываем, мы убеждаем». Во втором случае, т. е. если мнение данного философа истинно, то оно уже не противоречит религии, и думать так было бы богохульством. Две истины не могут быть противоречивыми: истина, как говорит аббат Флери, никогда не может повредить истине. Но это мнение, скажет фанатический святоша, не согласуется с принципами религии. Значит, вы думаете, можно возразить ему, что все то, что недоступно усилиям вашего ума и чего вы не можете согласовать с догматами вашей религии, действительно не совместимо с ними? Разве вы не знаете, как Галилея³ позорно таскали по тюрьмам инквизиции за то, что он утверждал, что солнце стоит неподвижно в центре мира; как сначала его учение скандализовало глупцов и казалось им совершенно противоречащим словам писания: «Солнце, остановись!» Однако же с тех пор ученые теологи согласовали принципы Галилея с принципами религии. Откуда же вы знаете, что не найдется теолога, более счастливого или более просвещенного, чем вы, который уничтожит противоречие, усматриваемое вами между религией и осуждаемым вами мнением? Что же, как неторопливая критика заставляет вас навлекать на религию или, по крайней мере, служителей ее ненависть, вызываемую преследованием? Зачем, постоянно прибегая к помощи силы и террора, желать принудить к молчанию гения и лишить человечество тех полезных знаний, которыми он может его просветить?

Вы скажете, что повинуетесь религии; но она повелевает вам не доверять себе самому и любить ближнего. Если вы не поступаете согласно с этими принципами, то, значит, не дух божий одушевляет вас⁴. Но, спросите вы, какие же божества вдохновляют меня? Леность и гордость. Леность, враг всякого умственного напряжения, восстанавливает вас против тех взглядов, которых вы не можете без изучения и без некоторого усилия внимания связать с принципами, принятыми в школах, но которые, доказанные философски, не могут быть ложными теологически.

А гордость, обыкновенно более сильная в ханже, чем в других людях, заставляет его ненавидеть в гении благодетеля человечества и восстанавливает его против истин, открытие которых его унижает.

Словом, та же самая леность и гордость, которые, принимая в его глазах вид⁵ религиозного рвения⁶, делают из него преследователя людей просвещенных, в Италии, в Испании и в Португалии ковали цепи, строили тюрьмы и воздвигали инквизиционные костры.

Но эта же гордость, столь страшная в фанатиках-святошах и заставляющая их во всех религиях во имя всевышшего преследовать гениев, иногда восстанавливает против них людей высокопоставленных.

По примеру фарисеев, которые считали преступниками людей, не принимавших всех их постановлений, многие визири считают врагами народа всех тех, кто не одобряет слепо их поведения. Побуждаемые к этому ошибкою чувства, свойственною почти всем людям, почти все визири принимают свой личный интерес за государственный интерес и бессознательно держатся того мнения, что всякое унижение их гордости является оскорблением народа и что порицание их поведения, с какой бы осторожностью это ни делалось, равносильно возбуждению смуты в государстве. Вы обманываетесь, возразим мы им: думая так, вы прислушиваетесь к голосу личной гордости, а не к требованию общественного интереса. Разве вы не знаете, что добродетельный гражданин никогда не остается равнодушным к бедствиям, причиняемым дурным управлением? И разве законодательство, которое из всех наук является наиболее полезной, не должно совершенствоваться подобно другим наукам? Исправляя заблуждения Аристотеля, Аверроэса, Авиценны и всех изобретателей в искусствах и науках, мы тем самым усовершенствовали их. Желать скрыть ошибки государственного управления под покровом молчания—значит противиться успехам законодательства и, следовательно, счастью человечества. И опять-таки гордость, принявшая в ваших собственных глазах вид общественного блага, заставляет вас выдвигать аксиому, что если ошибка однажды сделана, то правительство должно всегда ее поддерживать и что власть не должна никогда уступать. Но вам можно возразить, что если общественное благо является целью каждого монарха и каждого правительства, то неужели они должны пользоваться властью, чтобы поддерживать глупость! Словом, выдвигаемая вами аксиома означает лишь следующее: я высказал свое мнение и не хочу, чтобы, указывая монарху на необходимость перемены политики, ему слишком ясно доказали, что я был ему плохим советником.

Немногие избегают такого рода иллюзий. Сколько есть людей, добросовестно лживых вследствие недостатка самонаблюдения! И если существуют такие люди, для которых другие являются, так сказать, прозрачными телами и которые равно свободно читают как в своей душе, так и в душах других, то их число не велико. Для самопознания нужно долгое самонаблюдение, длительное изучение самого себя. Моралисты являются почти единственными лицами, заинтересованными в таком анализе, большая же часть людей не знает самих себя.

Среди всех тех, которые с таким жаром нападают на странности

некоторых мыслителей, сколь многие считают себя воодушевленными исключительно духом справедливости и истины! Но можно сказать им: зачем же так яростно набрасываться на причуды, которые часто никому не вредят? Если человек держит себя странно, посмейтесь над ним; ведь вы наверно так отнеслись бы к человеку, ничем не выдающемуся; почему бы не отнести так же и к мыслителю? Потому что его странности привлекают внимание общества, а занявшихся им, общество забывает о вас, и это оскорбляет вашу гордость. Вот где тайная причина вашего уважения к обычаям и вашей ненависти к необыкновенному.

Вы можете сказать мне: все необычайное поражает, оно увеличивает известность мыслителя; простые и скромные заслуги получают меньше уважения, и, выступая против всего необыкновенного, я мщу этим за несправедливость. Да, но не заставляет ли зависть видеть аффектацию там, где ее нет? Вообще люди выдающиеся мало подвержены ей; человек ленивого и созерцательного характера может быть странным, но он никогда не будет представляться таковым. Поэтому притворство в этом отношении встречается весьма редко.

Какую надо развивать деятельность, чтобы, прослыv странным, поддерживать эту репутацию! Какое злание света нужно иметь, чтобы выбрать именно такую смешную сторону, которая не сделает нас ни презрительными, ни ненавистными в глазах остальных людей, чтобы приспособить смешную сторону к нашему характеру и согласовать ее с нашими заслугами? Действительно, лишь при такой дозе гениальности позволительно быть смешным. Если эта доза имеется в наличии, то смешная сторона не только не вредит нам, но даже идет на пользу. Когда Эней спускался в ад, то, чтобы укротить чудовище, стоявшее на страже у его врат, герой, по совету Сивиллы, запасся пирогом, который он и бросил в пасть Церберу. Кто знает, быть может, для того, чтобы смягчить ненависть современников, люди заслуженные должны бросать в пасть зависти такой пирог смешного? Осторожность призывает к этому, и даже человечность требует этого. Если бы родился совершенный человек, то он должен был бы какими-нибудь глупыми выходками смягчать ненависть своих сограждан. Правда, в этом отношении можно довериться природе, ибо каждого человека она наградила достаточным количеством недостатков, чтобы сделать его выносимым.

Очевидным доказательством того, что именно зависть, под видом справедливости, обрушивается на смешные стороны выдающихся людей, может служить то, что не всякая странность в них оскорбляет нас. Так, например, странность грубая льстит тщеславию посредственного человека тем, что показывает ему в людях, достойных уважения, смешные стороны, от которых он сам свободен, и убеждает его в том, что все они глупцы и что умеет только он один; такая странность всегда способна вызвать его благосклонность к ним. Если, например, выдающийся человек носит странный костюм, то большинство людей, не отличающих ума от глупости и судящих об уме

лишь по размерам парика, будут считать такого человека глупцом; они станут смеяться над ним, но из-за этого они будут и больше любить его. За удовольствие, которое они находят, насмехаясь над ним, они дадут ему право на известность! Нельзя часто смеяться над человеком, не говоря о нем постоянно; и то, что погубило бы глупца, увеличивает репутацию человека достойного. Нельзя насмехаться, не признавая и, быть может, даже преувеличивая его превосходство в той области, в которой он выделяется. Своими преувеличенными насмешками завистник бессознательно способствует славе выдающихся людей. Как должен я быть благодарен тебе, охотно скажет ему выдающийся человек, как много друзей создает мне твоя ненависть! Общество недолго ошибалось относительно мотивов твоей досады: ясно, что тебя оскорбляют не мои страсти, но блеск моей репутации. Если бы ты посмел, ты бы тоже стал разыгрывать чудака, но тебе известно, что притворные странности являются пошлостью в человеке, лишенном ума; твой инстинкт подсказывает тебе, что у тебя нет, или, по крайней мере, что общество не признает за тобой заслуг, необходимых для того, чтобы разыгрывать чудака. Вот в чем истинная причина твоего возмущения странностями². Ты похож на тех безобразных женщин, которые постоянно возмущаются неприличием новых платьев, хорошо обрисовывающих фигуру, и не замечают, что своим преклонением перед старомодным они обязаны своему уродливому сложению.

Наши смешные стороны всегда скрыты от нас, и мы замечаем их лишь в других. По этому поводу я приведу один довольно забавный случай, произшедший, как говорят, в наше время. Герцог Лотарингский давал большой обед. Обед был сервирован в вестибюле, выходившем в цветник. Во время обеда одной даме показалось, что она увидела паука. Она вскрикнула от ужаса, выскоцила из-за стола, побежала в сад и упала на газон. Падая, она услышала, что кто-то упал рядом с ней; это был первый министр герцога. «Ах, сударь, — сказала она ему, — вы меня премного успокоили, я бесконечно благодарна вам, я боялась, что совершила неуместную выходку».

— О, сударыня, кто бы мог выпустить это? — отвечает министр; — цо скажите: она была очень большая?

— Ах, сударь, он был престрашный!

— Пролетела она около меня?

— Что вы хотите этим сказать? как мог паук пролететь?

— Неужели, — возразил он, — вы произвели весь этот шум из-за паука? Ах, сударыня, какая вы безрассудная; я думал, что это была летучая мышь.

Этот случай характерен для всех людей. Мы не можем выносить своих смешных сторон в другом человеке и упрекаем за них друг друга; в этом мире всегда одно тщеславие насмехается над другим. Поэтому всегда хочется воскликнуть вместе с Соломоном: «Все суёта!» И из этой суёты вытекает большая часть ошибок чувств. Но так как эти ошибки более всего проявляются в даваемых нами сове-

так, то, описав некоторые из ошибок, в которые нас повергает полное незнание самих себя, я считаю полезным указать и на те ошибки, в которые это же незнание самих себя повергает других.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ X

¹ Привычка видеть несчастных делает людей жестокими и злыми; напрасно уверяют они, что их суровость подсказывается им долгом и что они вынуждены быть жестокими. Если человек способен, подобно палачу, в интересах правосудия хладнокровно убить себе подобного, то, конечно, он мог бы зарезать его и ради личных целей, не бояся он виселицы.

² То, что я говорю о родительской любви, можно применить к метафизической любви, столь прославленной в наших старых романах. В этой области мы весьма подвержены ошибкам чувства. Когда мы воображаем, например, будто хотим обладать душой женщины, то мы в действительности хотим обладать ее телом. И чтобы удовлетворить это желание и свое любопытство в особенности, мы способны на все. Справедливость этой истины доказывается тем равнодушием, с каким большинство театральной публики относится к нежности двух супругов, тогда как эту же самую публику сильно трогает любовь молодого человека к девушке. Чем могло вызвать это различное отношение, если не различие чувств, которое сами зрители испытали в этих двух положениях? Большая часть зрителей знает, что если для получения благосклонности мы готовы на все, то, добившись благосклонности, мы делаем очень мало для сохранения ее; и что раз наше любовное любопытство удовлетворено, то мы легко утешаемся в потере неверной возлюбленной: любовник тогда легко переносит свое несчастье. Из этого я заключаю, что любовь всегда лишь замаскированное желание наслаждения.

³ Без сомнения, преследователи Галилея считали себя одушевленными религиозным рвением и были жертвой этого заблуждения. Однако же я должен признать, что если бы они добросовестно заглянули в самих себя, то они спросили бы себя, почему церковь оставляет за собой право карать заблуждения человека смертью на костре, давая в то же время преступникам неприкосновенное убежище у алтарей и становясь благодаря этому, так сказать, покровительницей убийц; они спросили бы себя далее, почему эта же самая церковь терпит и даже поощряет преступления отцов, безжалостно уродующих своих детей, отдавая их в церковный хор, в концерты и в театры, где они должны услаждать слух зрителей, причем духовные лица сами поощряют таких бесчеловечных отцов к преступлению, дорого оплачивая услуги этих несчастных жертв в церквях, — они тогда, наконец, убедились бы, что их одушевляет не одно только религиозное рвение. Они поняли бы, что духовенство делает из храма убежище для преступников лишь для того, чтобы этим путем сохранить к себе доверие множества людей, которые чтят в монахах единственных защитников от строгости закона; и что, караг в Галилее открытие новой системы, оно мстило за то невольное оскорблечение, которое наносил ему великий человек; просвещая человечество, он мог показаться более ученым, чем духовенство, и ослабить тем доверие народа к нему. Правда, даже в Италии вспоминают с ужасом об обращении инквизиции с этим философом. В доказательство этой истины я приведу отрывок из поэмы священника Бенедетто Менцини. Эта поэма, напечатанная и открыто продаваемая по

Флоренции, приведена в «Journal étranger». Поэт обращается здесь к инквизиторам, осудившим Галилея: «Какое ослепление овладело вами, — говорит он им, — когда вы столь постыдно посадили в тюрьму этого великого человека? Это ли дух мира, о котором говорит вам святой апостол, скончавшийся в изгнании на Патмосе? Нет, вы всегда оставались глухи к его увещаниям. Будем преследовать ученых — таков ваш лозунг. О, гордые люди, вы, имеющие столь смиренный вид и говорящие кротким голосом, вы, обагряющие руки в крови, какой злополучный демон поселил вас между нами?»

⁴ Если такой фанатик-святоша, искрткий в Китае и жестокий в Лиссабоне, проповедует в различных странах то терпимость, то преследование, смотря по тому, насколько там велика его власть, то как же согласовать столь противоречивый образ действий с духом евангелия? И как не понять, что под видом религии их вдохновляет жажда власти?

⁵ За исключением, быть может, сладострастия, которое из всех грехов наименее вредит человечеству и которое невозможно скрыть от самого себя, мы легко обманываем себя относительно других грехов. Все пороки в наших глазах превращаются в добродетель. Так, честолюбие мы искренно принимаем за душевную высоту, склонность за бережливость, злословие за любовь к истине и дурное настроение за похвальное рвение. Поэтому большинство этих страсти обычно соединяются с ханжеством.

⁶ Теологи, полагавшие, что папы имеют право располагать престолами, тоже считали себя одушевленными чистым религиозным рвением. Они не замечали, что к их благочестивым намерениям примешивался тайный честолюбивый мотив: чтобы иметь возможность повелевать монархам, следовало признать право папы низлагать их за ересь. А так как единственными судьями ереси были духовные лица, то римская курия, по словам аббата де Лонгрю, наставляла обвинять в ереси тех государей, которые ей не нравились.

⁷ Этой же причине можно приписать любовь к добродетели, которую считают нужным афишировать многие глупцы, когда они говорят: мы избегаем общества умных людей: это плохая компания, это люди опасные. Но, можно возразить им, разве среди духовенства, при дворе, в судебном и финансовом ведомствах меньше людей, достойных осуждения, чем Академия? Большая часть писателей и ученых даже неспособна к обману. Кроме того, их желание приобрести уважение всегда связано с любовью к науке, служит им в этом отношении предохранительным средством. Среди писателей и ученых мало лиц, добродетель которых не подтверждалась бы каким-нибудь добродетельным поступком. Но, если даже считать их такими же мошенниками, какими являются глупцы, то все же умственные качества могут возместить в них душевые пороки, тогда как глупец ничем не возмещает своей глупости. Почему же избегают умных людей? Потому, что их присутствие унижает, и потому, что мы принимаем за любовь к добродетели нашу нелюбовь к людям выдающимся.

ГЛАВА XI

О советах

Всякий человек, к советам которого мы прибегаем, всегда думает, что его советы продиктованы дружбой. Так он утверждает; большинство людей верит ему на слово, и их слепое доверие обма-

пываст их достаточно часто. Однако в этом отношении легко избегнуть заблуждения, потому что мы любим немногих людей, а хотим советовать всем. В чем же причина этой мании давать советы? В нашем тщеславии. Почти всем людям свойственно считать себя умными, гораздо умнее своего ближнего, и им приятно все, что поддерживает их в этом мнении. Человек, спрашивающий у нас совета, приятен нам: нам льстит, что он признает себя ниже нас. Кроме того, подавая советы, мы имеем возможность высказать все наши принципы, идеи, чувства, говорить о самих себе, говорить об этом много и говорить хорошо. Поэтому каждый пользуется таким случаем, а так как мы более заняты удовлетворением собственного тщеславия, чем думаем об интересах советующегося с нами, то обыкновенно он оставляет нас почему не научившись, и все наши советы были лишь собственным панегириком. Словом, почти всегда советы даются тщеславием. Мы всегда хотим исправить весь мир. В связи с этим какой-то философ ответил одному из подобных слишком усердных советчиков: «Как могу я исправиться от своих недостатков, если ты сам не исправляешься от желания меня исправлять?» Если бы советы подавала одна лишь дружба, то эта страсть, подобно всякой сильной страсти, просвещала бы нас и показывала бы, когда и как мы должны советовать. Так, в случае цезаньи, совет является, без сомнения, весьма полезным. Адвокат, врач, философ, политик, каждый в своем роде, могут давать превосходные советы; во всех других случаях советы бесполезны и часто даже смешины, потому что обыкновенно мы в них образцами выставляем самих себя. Представим себе, что честолюбец обратился бы за советом к человеку скромному и изложил ему свои взгляды и намерения. Оставьте это, сказал бы ему скромный человек, не подвергайте себя опасностям и бесчисленным неприятностям, предавайтесь более мирным занятиям. Возможно, ответил бы ему честолюбец, что если бы у меня был выбор между различными страстями и характерами, то я последовал бы вашему совету, но при наличии моих страстей, моего характера и привычек речь идет о том, чтобы извлечь из них наилучшие условия для моего счастья, и именно об этом я советуюсь с вами. Но тщетно стал бы он пояснять, что невозможно изменить характер человека и что то, что доставляет удовольствие лицу скромному, показалось бы неинтересным честолюбцу и что впавший в немилость министр умирает от скуки. Какие бы доводы он ни приводил, человек скромный всегда будет повторять ему: «Не следует быть честолюбивым». Мне кажется, что я слышу при этом врача, говорящего своему больному «Сударь, не имейте лихорадки». Подобным же образом рассуждают и старики. Если юноша спросит совета относительно своего поведения, то старик ответит ему: избегайте балов и зрелищ, всяческих сборищ женщин и всех легкомысленных развлечений; думайте только об успехе в жизни, подражайте нам. Но, может ответить ему юноша, я еще слишком склонен к наслаждению. Я страшно люблю женщин, как отказаться мне от этого? Вы же понимаете, что в моем возрасте наслаждение является потребностью. Но что бы

чи ни говорил, старец никогда не побывает, что обладание женщиной может быть так необходимо для счастья мужчины. Мы не признаем чувства, которого мы больше сами не испытываем. Старец уже не ищет наслаждения, и наслаждение не ищет его. Предметы, которые занимали его в молодости, незаметно удалились от его взоров. Человек подобен тогда кораблю, уходящему в открытое море и незаметно теряющему из вида все предметы, привязывавшие его к берегу, который вскоре и сам исчезает из глаз. Если вы обратите внимание на то рвение, с которым каждый предлагает себя за образец, то можно подумать, что видишь па поверхности большого озера пловцов, которых уносят различные течения и которые, поднимая голову из воды, кричат друг другу: следуйте за мной, пристать нужно здесь. А мудрец, прикованный нескорумыми цепями к скале, с которой он наблюдает их безумие, говорит им: разве вы не видите, что, упосимые противными течениями, вы не можете пристать к одному и тому же месту? Советовать человеку сказать то-то или поступить так-то обыкновению ничего не значит, кроме: я поступил бы таким-то образом, я сказал бы то-то. И слова Мольера: «Вы золотых дел мастер, г-н Жоес!», относящиеся к тщеславному желанию выставлять себя за образец, имеют более общее значение, чем это думают. Нет такого глупца, который не хотел бы управлять поведением человека величайшего ума¹. Мне кажется, что я вижу вождя пачесов², который каждое утро па заре выходит из своей хижины и пальцем показывает своему брату-солнцу путь, по которому оно должно следовать.

Но, скажут мне, человек, с которым мы советуемся, конечно, может обманываться относительно самого себя и приписывать дружбе то, что является в нем лишь следствием тщеславия. Однако каким образом его собственная иллюзия передается человеку, спрашивающему совета? неужели его личный интерес не открывает ему правды? Объясняется это тем, что мы склонны думать, будто наши ближние принимают в нас участие, которого на самом деле они не чувствуют; что большинство людей слабы, не могут руководить собственным поведением и требуют, чтобы их направляли; и что этих людей очень легко убедить, как показывает опыт, в нашем собственном превосходстве. Иначе обстоит дело с человеком стойкого ума. Он обращается за советом лишь в случае незнания, и он знает, что во всех других случаях, когда дело идет о его личном счастье, он должен спрашивать только себя самого. Действительно, так как добрый совет зависит в этом случае от точного знания чувства, овладевшего человеком, и степени напряженности этого чувства, то кто же может дать себе лучший совет, чем само заинтересованное лицо? Если живой интерес помогает нам при всех наших исследованиях, то кто же может знать лучше, чем мы сами, что нужно для нашего собственного счастья? И кто знает — быть может, каждый человек, выработав однажды свой характер и привычки, ведет себя наивозможно лучшим образом даже тогда, когда он кажется особенно безрассудным? Всем известен следующий ответ одного знаменитого глазного врача: к нему пришел за советом

крестьянина; врач сидел за столом и аппетитно ел и пил. «Как мне вылечить свои глаза?» — спросил крестьянин. — «Вы должны воздерживаться от вина», — ответил врач. — «Но, — возразил крестьянин, приближаясь к нему, — мне кажется, что ваши глаза не здорнее моих, однакоже вы пьете?» — «Правда, но это потому, что мне больше нравится пить, чем излечиться». Многие люди похожи на этого глазного врача; их счастье связано со страстями, которые приводят их к величайшим бедствиям, но тем не менее с их стороны было бы безумием желать стать умнее! Бывают даже, как показывает опыт³, такие неудачные от рождения люди, которые могут быть счастливыми, лишь совершая поступки, приводящие их на эшафот. Но, возразят мне, бывают также люди, впадающие вследствие отсутствия мудрых советов в самые тяжкие заблуждения, которых они могли бы, конечно, избежать при помощи доброго совета. Но я утверждаю, что они совершили бы еще большие ошибки, если бы без разбора следовали всяким советам. Поведение людей, слепо следующих советам, полно противоречий, более вредных, чем излишество в страстиах.

Отдаваясь склонностям своего характера, мы избавляем себя, по крайней мере, от бесполезных попыток к сопротивлению. Как бы ни была сильна буря, но если ветер попутный, то мы выдержим ее без утомления; если же мы захотим бороться с волнами, подставляя им бока судна, то мы всюду встретим лишь бушующее и изнурающее нас море.

Необдуманные советы повергают нас слишком часто в пучину бедствий. И нам следовало бы часто вспоминать следующие слова Сократа: «О, если бы я мог, — говорил этот философ, — быть всегда на страже против своих друзей и учителей, сохранять душу в спокойном состоянии и всегда доверяться лишь разуму, лучшему из советников!» Человек, принимающий рассудку, не только глух к дурным советам, но взвешивает на весах сомнения даже совет таких людей, которые, будучи почтенного возраста, достойными и заслуженными, тем не менее придают слишком много значения своим занятиям и, подобно герою Сервантеса, имеют некий пунктик, к которому хотят все свести. Польза советов заключается иногда только в том, что человек научается лучше советовать себе самому; разумно спрашивать советов лишь у тех мудрых людей⁴, которым понимают редкость и цену доброго совета и потому всегда бывают и должны быть скучными на них. Действительно, для того, чтобы подать полезный совет, как глубоко нужно знать характер человека! Как хорошо нужно знать его вкусы, склонности, обуревающие его чувства и даже степень последних! Какой нужно обладать проницательностью, чтобы предугадать все ошибки, которые человек может совершить, прежде чем он раскается, предвидеть обстоятельства, в которые судьба может поставить его, и, следовательно, судить о том, не может ли недостаток, от которого мы хотели бы его исправить, измениться в добродетель в возможном для него новом положении? Отпугивающая картина этих трудностей заставляет мудрого человека воздерживаться от подачи сор-

тов. Поэтому за советами следует обращаться к людям, которые никогда не дают их. Всякий иной совет подозителен. Но существует ли какой-нибудь признак, по которому можно распознать советы мудрого человека? Да, конечно, такой признак существует. Все страсти говорят на различном языке, и можно по самому способу выражения совета определить его мотив. У большинства людей, как я сказал уже об этом выше, советы, даваемые ими, диктуются гордостью, и таким советам, всегда унизительным, почти никогда не следуют. Гордость их подает, и гордость им же противится. Это шаковальня, отталкивающая молот. Из всех искусств искусство убедить человека принять совет является, может быть, наименее совершенным, и оно совсем незнакомо гордости. Гордость не рассуждает, и ее советы суть категорические решения, а такие решения доказывают ее невежество. Рассуждают лишь о том, что знают, неизвестное разрубают одним ударом. Смертные, охотно скажет гордец, внемлите мне: пребосходя разумом остальных людей, я говорю; они же пусть исполняют и верят моему уму: возражать мне значит оскорблять меня. Гордец полон глубокого почтения к себе самому и того, кто противится его советам, считает упрямцем, которому нужны льстцы, а не друзья. Гордец, возразят ему, на кого же должны упасть эти ушреши, как не на тебя самого, приходящего в столь яростный гнев против людей, которые, слепо следя твоим решением, не льстят твоему самомнению? Зпай, что твой дурной характер (*le vice de l'humeur*) спасает тебя от порока лести. И что хочешь сказать ты этим упреком в любви к лести, в которой все люди взаимно упрекают друг друга и в которой главным образом обвиняют людей высокопоставленных и монархов? Конечно, каждый ценавидит похвалы, которые он считает лживыми, мы любим льстцов лишь постольку, поскольку считаем их искренними. Такими невозможно не любить их, потому что каждый считает себя достойным похвал и ищет их, и тот, кто презирает похвалы, позволяет, по крайней мере, чтобы его хвалили за это. Если мы ценавидим льстеца, то лишь потому, что признаем его таковым. Словом, в лести нас оскорбляет не сама похвала, а ее неискренность. И если умный человек кажется менее чувствительным к похвалам, то потому, что он чаще замечает их неискренность; но если ловкий льстец упорно восхваляет его, примешивая к своим похвалам несколько порицаний, то и умный человек рано или поздно бывает обманут. Начиная с ремесленника и кончая государем, все любят похвалы, т. е. искусственную лесть. Однако, возразят мне, разве не было государей, с благодарностью принимавших суровые возражения добродетельного советника? Да, конечно, по эти государи стремились к славе, они любили общественное благо, и их характер вынуждал их призывать ко двору людей, воодушевленных подобной же страстью, т. е. таких, которые давали бы им лишь советы, полезные для народа. Подобные советники льстят добродетельному государю, но крайней мере, тем, что хвалят предмет его страсти, хотя и не всегда хвалят средства, которые он избирает для удовлетворения ее: ясно, что подобная вольность не может

оскорбить. Я скажу даже, что иногда жестокая правда может льстить ему: это — укус любовницы.

Предположим, что кто-нибудь подойдет к скунцу и скажет ему: вы глупец, вы плохо помещаете ваши деньги, я укажу вам более полезное употребление для них; скунец не только не обидится на подобную откровенность, но даже будет за нее признателен. Порицая поведение скунца, мы льстим ему в том, что для него является самым дорогим, именно в предмете его страсти. То, что я говорю о скунце, может применяться и к добродетельному монарху.

Что же касается государя, не одушевляемого любовью к славе или к общественному благу, то такой государь может привлекать к своему двору лишь людей, способных просвещать его относительно предметов его желаний сообразно его вкусам, предрассудкам, взглядам, намерениям и наслаждениям; следовательно, он будет окружен лишь теми порочными людьми, которых царод, мстя им, клеймит названием льстецов⁵; от такого государя бегут все люди добродетельные. Требовать, чтобы он окружил ими свой престол, значило бы требовать невозможного и желать следствия, лишненного причины. Мотивы, руководящие выбором друзей, одинаковы и для тиранов и для великих государей; они различаются лишь по одушевляющей их страсти.

Словом, все люди жаждут похвал и лести, но не все жаждут этого одинаковым образом, и лишь в этом они различны между собой. И гордец не свободен от этого желания; лучшим доказательством служит высокомерие, с которым он выносит свои решения, и спешное подчинение, которого он требует для них. Иначе обстоит дело с человеком мудрым: его самолюбие не проявляется оскорбительным образом: давая советы, он не требует, чтобы им следовали. Здравый рассудок всегда боится, что он не со всех сторон рассмотрел данный вопрос; поэтому форма его советов всегда отличается некоторыми выражениями сомнения, отмечающими состояние его души. Таковы, например, следующие фразы: «Я думаю, что вам нужно вести себя таким-то образом; мое мнение таково; вот мотивы, на которых я основываюсь, но не принимайте ничего, не подумав хорошенько» и т. д. По таким советам мы узнаем мудрого человека; он один может нравиться людям умным; если же он не нравится людям посредственным, то потому, что эти последние часто колеблются и желают, чтобы другие, преодолев их перешительность, указывали им их поведение; они более доверяют глупости, твердо разрешающей вопрос, чем мудрости, говорящей нерешительным тоном.

Советы дружбы принимают тон мудрости лишь с тем различием, что дружба соединяет выражение чувства с выражением сомнения. Если же вы сопротивляетесь ее советам, если вы даже пренебрегаете ими, то лишь тогда она проявляется в полном блеске и, сделав все свои возражения, восклицает вместе с Пиладом: «Ну, друг, так похитим Гермиону!»

Словом, каждая страсть имеет свои приемы, свои проявления и свою особую манеру выражения. Если бы нашелся человек, who

собый посредством точного анализа фраз и выражений, к которым прибегают различные страсти, установить признаки, по которым можно было бы их узнать, то такой человек, без сомнения, заслужил бы великую признательность от людей. И тогда было бы возможно в пучке чувств, порождаемых каждым актом нашей воли, различать, по крайней мере, преобладающее чувство. До тех пор люди будут пребывать в незнании самих себя и в области чувств будут подпадать самим грубым заблуждениям.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XI

¹ Человек, незнакомый с искусством верховой езды, не возьмется давать советов, как объезжать лошадей. Но в морали мы бываем менее недоверчивы. Здесь мы всегда считаем себя весьма знающими и способными подавать советы всем людям.

² Дикие народы.

³ Если, как говорит Паскаль, привычка является второй и, может быть, даже первой натурой, то нужно признать, что, однажды усвоив привычку к преступлению, мы будем совершать их всю жизнь.

⁴ В каждый век рождается, может быть, только пять или шесть людей такого рода; но тем не менее в морали, как и в медицине, мы обращаемся за советом к первой попавшейся женщине. Мы забываем, что мораль, как и всякая другая наука, требует серьезного изучения и размышления. Каждый считает, что знает ее, потому что для изучения ее не существует школ.

⁵ Большинство государей, говорит поэт Саади, настолько равнодушны к добрым советам и так редко чувствуют потребность в добродетельных друзьях, что появление при дворе людей добродетельных является обыкновенно знаком народных бедствий. Они призываются лишь в крайности, обыкновенно в тот момент, когда государству неоткуда ждать помощи.

ГЛАВА XII О здравом смысле

Различие между умом и здравым смыслом заключается в различии причин, их порождающих. Первый является следствием сильных страстей, второй — следствием отсутствия их. Человек, обладающий здравым смыслом, обыкновенно не впадает ни в одно из тех заблуждений, в которые нас вовлекают страсти, но за то он лишен и тех просветлений ума, которыми мы обязаны лишь сильным страстям. В обычном течении жизни и в тех вещах, для которых достаточно равнодушного созерцания, чтобы хорошо рассмотреть их, человек здравомыслящий никогда не ошибается. Но если дело идет о вопросах несколько более сложных, для рассмотрения которых нужно некоторое усилие и напряжение внимания, то здесь здравомыслящий человек является слепцом; лишенный страстей, он оказывается лишенным и того мужества, той деятельности души и того непрерывного внимания, которые единственно могли бы просветить его. Словом, здравый смысл не предполагает никакой изо-

бретательности и, следовательно, никакого ума; ум, если можно так выразиться, начинается там, где кончается здравый смысл¹.

Однако из этого не следует заключать, что здравый смысл встречается часто. Люди, лишенные страстей, редки. Верный ум, который из всех видов ума иссомненно является наиболее близким к здравому смыслу, сам не свободен от страстей, да и глупцы не менее подвержены им, чем умные люди. И если все хотят быть здравомыслящими и даже считают себя таковыми, то им нельзя верить на слово. Диафуарус говорит: «По медлительности воображения моего сына я решил, что в будущем у него разовьется здравое суждение». Тот, кто пристендует на здравый смысл только потому, что не обладает большим умом, паверное лицо и здравого смысла.

Если политический организм здоров, то люди здравомыслящие могут быть призваны к высоким должностям и достойно занимать их. Но в случае болезни государства эти же самые здравомыслящие люди становятся весьма опасными. Посредственность сохраняет вещи в том положении, в котором она их находит. Эти люди оставляют все как было, их молчание прикрывает усиление болезни и мешает возможному действенному лечению. Обычно они заявляют о болезни лишь в тот момент, когда она неизлечима. На местах второстепенных, где требуется не воображение, но лишь точность исполнения, они могут быть весьма полезными. Здесь их единственными ошибками являются ошибки по незнанию, которые на познательных местах не могут иметь большого значения. Что же касается их частного поведения, то оно если и не блестяще, зато всегда разумно. Отсутствие страстей, присекая всякую возможность умственного озарения, источником которого являются страсти, помогает этим людям в то же время избегать всех заблуждений, в которые повергают нас страсти. В общем люди здравомыслящие более счастливы, чем люди, преданные сильным страстям; однакоже их равподушие делает их менее счастливыми, чем кроткого, чувствительного от рождения человека, у которого возраст и размышление ослабили эту чувствительность. Его сердце открыто для слабостей других людей; его чувствительность оживает вместе с ними, и, наконец, она начинает доставлять ему радость, не уменьшая его счастья. Будучи приятным для всех окружающих, он оказывается любимым своими согражданами, которые благодарны ему за его слабости².

Каким бы редким ни был здравый смысл, он доставляет преимущества только отдельным лицам и не распространяет их на человечество. Поэтому человек здравомыслящий не может притязать на общественную благодарность и, следовательно, на славу. Но, скажут мне, осторожность, сопутствующая здравомыслию, есть добродетель, уважаемая всеми народами. Я отвечу на это, что столь прославленная осторожность, весьма полезная иногда для частных лиц, не является для целого народа такой желанной добродетелью, как это думают. Из всех даров, какие небо может излить на государство, даром наиболее злополучным, без сомнения, явилась бы

осторожность, если бы пебо одарило ею всех граждан без исключения. Действительно, что такое осторожный человек? Это человек, представляющий себе так ярко отдаленные бедствия, что это уравновешивает в нем наличное наслаждение, могущее стать пагубным. Предположим, что осторожность обуяла бы всех людей, составляющих государство, где же тогда найти людей, которые за пять суток готовы были бы подвергать себя на полях битвы смерти, разным тяготам и болезни? И какая женщина решилась бы предстать перед брачным алтарем, подвергаться тяжести беременности, опасностям родов, дурному настроению и противоречиям супруги и, наконец, скорби от смерти или от плохого поведения своих детей? Какой человек, следующий принципам своей религии, не стал бы презирать мгновенные земные наслаждения и, предавшись заботе о своем спасении, не начал бы в более суровом образе жизни искать средства для увеличения блаженства, обещанного святым? Кто не выбрал бы состояния наиболее совершенного, обеспечивающего ему спасение, не предпочел бы пальму девственности миртам любви и не пошел бы затвориться в монастыре? Итак, потомство обязано своим существованием испоследовательности. Наличие наслаждения, его всемогущество заставляет презирать отдаленные опасности, уничтожает предвидение. Словом, небеса связали сохранение государств и существование мира с неосторожностью и легкомыслием. Таким образом, можно, кажется, думать, что в современных государствах осторожность желательна лишь у очень небольшого числа граждан; что столь прославленный разум, являющийся синонимом слова *здравомыслие*, не заслуживает большого уважения; что приписываемая ему мудрость зависит от его бездеятельности и что его кажущаяся непогрешимость есть чаще всего апатия. Однако я должен признать, что многие люди незаслуженно претендуют на звание здравомыслящих.

Если почти о всех глупцах говорят, что они люди здравомыслящие, то в этом случае к ним относятся, как к некрасивым девушкам, которых всегда называют добрыми. Всегда охотно хвалят людей за качества, которыми они не обладают; их всегда изображают со стороны наиболее привлекательной, а лиц выдающихся — со стороны наиболее неблагоприятной. И поэтому многие расточают самые большие похвалы здравому смыслу, который ставится — и действительно должен ставиться ими — выше ума. Действительно, каждый желает уважать себя преимущественно перед другими, поэтому люди посредственные, чувствуя себя ближе к здальному смыслу, чем к уму, конечно, придают последнему мало значения и смотрят на него как на ничтожный дар; отсюда изречение, так часто повторяемое людьми посредственными: «Здравомыслие дороже ума и гениальности»; этим изречением каждый намекает на то, что в сущности он умнее всех наших знаменитых людей.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XII

¹ Ясно, что я отличаю здесь *ум* от *здравого смысла*, которые смешивают иногда в обычном употреблении.

² Говорят, что когда в Китае рассматривался вопрос о том, разрешить ли миссионерам свободно проповедывать христианскую религию, то ученые, собравшиеся по этому вопросу, не усмотрели в этом опасности. По их словам, религия, в которой безбранье почитается наивысшим состоянием, не может получить большое распространение.

ГЛАВА XIII

Практический ум

Общий предмет желания всех людей есть счастье; поэтому практический ум должен обладать искусством делать себя счастливым. Возможно, что такое представление и создалось бы, если бы счастье не считалось всегда не столько даром ума, сколько следствием мудрости и умеренности нашего характера и наших желаний. Почти всех людей, утомленных бурей страстей или томящихся от однообразия скуки, можно сравнить: первых — с кораблем, носимым северными бурями, вторых — с кораблем, который попал в затишье морей жаркого паяса. Один призывает на помощь тишину, другой — аквилоны. Для благоприятного плавания нужен всегда ровный ветер. Но все, что по этому поводу я мог бы сказать о счастье, не имеет отношения к данной теме.

Доныне под *практическим умом* разумели лишь такой род ума, который способен вести нас к различным желаемым благам.

В республике, подобной римской, так же как во всех государствах, где милости раздаст народ и где почести даются за заслуги, практический ум есть не что иное, как гений или большой талант. Иначе в тех государствах, где милости находятся в руках нескольких лиц, высокое положение которых не связано с общественным благом. В этих странах практический ум есть лишь искусство сделаться полезным или приятным лицам, раздающим милости; и этим преимуществом люди обязаны скорее своему характеру, чем своему уму. Гибкий характер, умеющий приспособляться ко всякого рода людям и обстоятельствам, есть способность наиболее благоприятная и дар наилучше необходимый, чтобы успевать у лиц высокопоставленных. Человек с таким характером может, при благоприятных условиях, разбогатеть, даже если он лишен ума. Но, скажут мне, такие характеры встречаются весьма часто, и, значит, всякий может составить себе состояние и приобрести благосклонность высокопоставленного лица, угодзкая его удовольствиям или став его шпионом. Но тут важен случай, играющий большую роль в судьбе человека. Случай делает человека отцом, супругом, другом продажной красоты, которая правится его покровителю; случай посыпает нас к высокопоставленному лицу в тот момент, когда ему нужен шпион. Регент герцог Орлеанский говорил: «Человек бесчестный и нераздражительный является совершенным придворцом». Согласно такому определению, нужно признать, что в этом отношении совершенство встречается редко лишь в отношении нераздражительности.

Но если крупные удачи являются вообще делом случая и если участие в них человека ограничивается согласием на низость и мешенничество, почти всегда необходимые для успеха, то все же нужно признать, что и ум играет некоторую роль в нашей карьере. Так, например, человек, который первый догадался приобрести себе покровителя путем изысканности, который, эксплуатируя его высокомерие, стал навлекать на себя грубые оскорблении, бесчестящие обидчика, и этим заставил его покровительствовать себе как «близкому», — такой человек внес изобретательность и ум в свое поведение. То же самое можно сказать о человеке, который первый заметил, что в доме людей высокопоставленных ему выгодно сделать себя предметом издевательств и продавать им по высокой цене право презирать себя и издеваться над собой.

Тот, кто пользуется, таким образом, тщеславием ближнего для достижения своих целей, обладает практическим умом. Такой человек всегда соблюдает свои интересы, но делает это всегда под видом защиты интересов ближнего. Его ловкость заключается в том, что для достижения своей цели он выбирает путь, который якобы отдаляет его от нее. Таким средством он усыпляет зависть соперников, которые пробуждаются лишь тогда, когда уже не могут больше помешать его намерениям. Как много умных людей притворялись глупцами, выказывали себя с смешных сторон, представляясь посредственностью перед своими начальниками, которые, увы, слишком легко поддавались обману со стороны людей недостойных, прибегавших к этим низким средствам! И как много таких людей достигло огромного успеха в жизни, и действительно должны были его достичь! В самом деле, люди, не одушевленные исключительной любовью к славе, могут ценить заслуги лишь людей, стоящих ниже их. Источник этого кроется в тщеславии, свойственном всем людям. Каждый жаждет похвал, а из всех похвал наиболее лестными являются, без сомнения, такие, которые с наибольшей очевидностью доказывают наше превосходство. Как благодарны мы людям, открывающим в нас такие недостатки, которые, не вредя нам, только подтверждают наше превосходство! Это самая искусная лесть. Даже при дворе Александра было опасно казаться слишком выдающимся человеком. «Сын мой, умались перед Александром, — говорил Парменион Филоту, — доставляй ему иногда удовольствие порицать тебя и помни, что твоей кажущейся чичтожности ты будешь обязан его дружбой». Как много в этом мире Александров, пытающих тайную привязанность к людям, превосходящим их дарованиями! ¹ Человек посредственный всегда любим. «Сударь, — говорил некий отец своему сыну, — вы имеете успех в свете, и вы вменяете это себе в большую заслугу. Дабы смирить вашу гордость, узнайте, каким качествам вы обязаны этими успехами: вы родились без пороков, без добродетелей, без характера; у вас мало знаний, ваш ум ограничен; как много прав, о мой сын, вы имеете на людскую благосклонность!»

Но какие бы преимущества ни доставляла нам посредственность и какой бы широкий путь к карьере она ни открывала, все же и ум,

как я указал выше, способствует до некоторой степени нашему возвышению; почему же люди совершают не уважают такого рода ум? Потому что людям не известны все подробности образа действия интриганов, и они почти никогда не могут судить о том, обязан ли человек своим возвышением своему практическому уму или чистому случаю. Да и число идей, необходимых для достижения успеха в жизни, вовсе не так велико? Но, скажут мне, как хорошо надо знать людей, чтобы обманывать их! Интриган, отвечу я, прекрасно знает человека, который ему нужен, но он не знает людей вообще. Между интриганом и философом такая же разница, как между почтальоном и географом. Первый знает, может быть, лучше, чем Г-и Данвилль, кратчайший путь до Версала, но поверхность земного шара, конечно, известна ему менее, чем этому географу. Представьте себе, что ловкому интригану надо произнести публичную речь в народном собрании; он окажется там не на своем месте и столь же неловким и молчаливым, каким был бы в присутствии лиц высокопоставленных генералов, который стремится познать людей всех веков и всех стран, но презирает знакомство с отдельными лицами. Словом, интриган не знает людей, да это знание для него и бесполезно. Его цель — нравиться не обществу, а нескольким важным и часто ограниченным лицам, и слишком большой ум только повредил бы в этом случае. Чтобы нравиться людям посредственным, нужно разделять общераспространенные заблуждения, следовать обычаям и походить на всех. Возвышенный ум не может опуститься так низко. Он предпочитает быть плотиной, которая борется с напором волн, хотя бы ей грозило разрушение, а не легковесной веткой, плывущей по течению. Кроме того, человек просвещенный, как бы он искусно ни маскировался, никогда не будет настолько точно походить на глупца, насколько глупец походит на самого себя. Мы гораздо более уверены в самих себе, когда мы действительно принимаем заблуждения за истины, чем когда делаем это притворно.

Словом, число идей, предполагаемых практическим умом, не велико, но если бы их требовалось даже больше, то и тогда, утверждаю я, общество не питало бы никакого уважения к такого рода уму. Интриган считает себя центром мира, он сводит все к своим личным интересам; он ничего не делает для общественного блага; если ему удается занять высокий пост, он пользуется уважением, которое всегда связано с властью и особенно с внушаемым ею страхом; но он никогда не может приобрести той репутации, которая всегда является следствием общественной благодарности. Я прибавлю даже, что тот ум, который помог ему достигнуть высокого положения, здесь внезапно покидает его. Такой человек поднимается до высоких должностей лишь для того, чтобы покрыть себя здешним изором, потому что пронырливый ум, необходимый для того, чтобы занять высокое положение, не имеет ничего общего с обширным, сильным и глубоким умом, необходимым для достойного выполнения связанных с этим положением обязанностей. Кроме того, практический ум всегда идет рука об руку с известной и

ностью характера, делающей интригана презиерным в глазах общества.

Я не хочу сказать, что с большой проницательностью никогда не бывает связана душевная высота. Если, по примеру Кромвеля, человек хочет достичь престола, то власть, блеск короны и удовольствия, связанные с царской властью, конечно, могут в его глазах облагородить низость его происков, подобно тому как они стирают ужас совершенных им преступлений для глаз потомства, ставящего его в ряды великих людей. Но если кто-нибудь путем бесчисленных интриг старается подняться до одной из тех небольших должностей, которые не могут заслужить ему другого названия в истории кроме названия негодяя или мелкого мошенника, то, по моему мнению, такой человек заслужит презрение не только людей добродетельных, но и людей просвещенных. Нужно быть маленьким человеком, чтобы желать маленьких вещей. Тот, кто, не занимая первых мест, ни в чем не нуждается, тот не может иметь иной потребности кроме желания славы, и если он умен, то у него нет другого выбора как быть всегда добродетельным.

Словом, интриган должен отказаться от уважения общества. Но, скажут мне, этот недостаток прекрасно возмещен тем благополучием, которое связано с блестящей карьерой. Я отвечу на это, что люди ошибаются, считая интригана счастливым. Счастье не является уделом высокого положения; оно зависит исключительно от счастливой гармонии между нашим характером и тем положением и обстоятельствами, в которые поставила нас судьба. С отдельным человеком дело обстоит, как с отдельными народами; наиболее счастливыми из последних не всегда являются те, которые играют самую большую роль в мире. Существует ли более счастливый народ, чем швейцарцы? По примеру этого мудрого народа, счастливый человек не волшует мир своими интригами; довольный самим собой, он мало занимается другими и не вступает на путь честолюбия; науки наполняют часть его времени, он живет в неизвестности, и именно эта неизвестность обеспечивает его счастье. Иначе обстоит дело с интригантами: ему приходится дорого расплачиваться за украшающие его титулы. Действительно, чего только не требует покровитель! Единственное, что льстит ему, это постоянное принесение в жертву воли подчиненных. Если бы он смел, то, по примеру Молоха, Сатурна и Тевтата, он требовал бы человеческих жертв. Страдания подчиненных представляют приятное зрелище для покровителя; такое зрелище свидетельствует о его власти и дает ему более высокое представление о себе самом. Поэтому-то у большинства народов уважение выражается неудобными позами. Тот, кто хочет путем интриги открыть себе дорогу к благополучию, должен подвергаться унижениям. Вечно тревожимый беспокойством, он сначала видит свое счастье лишь в перспективе неверного будущего, и только надежда — эта мечта-утешительница людей озабоченных и несчастных — дает ему счастье. Он достигает успеха, испытав предварительно тысячи неприятностей. Он мстит за них, когда, суровый и жестокий к несчастным, отказывает им в помощи,

ставит им в вину их бедность, укоряет их за нее и думает, что такими упреками он заставит смотреть на свою бесчеловечность как на справедливость и на свое благополучие как на нечто заслуженное. В действительности он никого не убеждает. Как поверить тому, что успех в жизни человека есть результат его практического ума, особенно в тех деспотических государствах, где из самого низкого раба делают визиря, где успехи в жизни зависят от воли государя и от его мимолетной прихоти, причину которой он сам не всегда знает? Причины, определяющие в этих случаях решение султана, почти всегда скрыты: историки приводят лишь видимые мотивы, истинные же мотивы остаются им неизвестными; по этому поводу мы можем сказать вместе с Фонтенелем, что «история есть лишь принятая всеми басня».

Хотя Бальзак, сравнивая Цезаря с Помпеем, и говорит о их судьбе, что «один является творцом своей судьбы, а другой — ее творением», все же нужно признать, что Цезарем мало, а в государствах с неограниченной властью случай есть почти единственный творец судьбы. Все зависит там от момента и от стечения обстоятельств. Возможно, что это обусловило на Востоке особое доверие к учению о фатализме. Мусульмане верят, что все в руках рока; рок возводит и низводит царей с престола, наполняет их царствования счастливыми и несчастными событиями и обуславливает блаженство или бедствие всех смертных. Мудрость и глупость, пороки и добродетели человека ничего не изменяют в постановлениях судьбы, вырезанных на огненных скрижалах². Чтобы подтвердить это учение и показать, что самый большой преступник не является всегда и самым несчастным человеком и что один и тот же путь ведет одного человека на казнь, а другого к благополучию, индусы-магометане рассказывают довольно любопытную басню.

Однажды нужда собрала некоторое количество людей в пустынях татарского царства. Один из них сказал: будучи лишены всего, мы имеем право на все. Закон, отнявший у нас необходимое, чтобы обогатить нескольких живших в избытке раджей, есть закон несправедливый. Порвем же с несправедливостью. Договор перестаст существовать, когда выгода не взаимна. Нужно отнять у наших притеснителей то добро, которое они отняли у нас. С этими словами оратор умолк; собрание, бурно рукоплеща ему, начало этот план великолепным и решило выполнить его. Стали рассуждать о средствах. Первыми поднялись самые храбрые. Сила, говорят они, отняла у нас все, и силой же мы отберем все обратно. Если наши раджи своими притеснениями отняли у нас поддашных, работающих на них и жертвующих им плоды своих трудов и даже самую жизнь, все необходимое, то почему же мы станем отказывать своей нужде в том, что тираны разрешают своей неправедности? На границах этой области наши требуют подарков от проходящих караванов; они грабят людей, боящихся их могущества. Мы будем менее несправедливыми и более храбрыми, чем они, и нападем на вооруженных людей; пусть победа будет решена мужеством, и пусть наша добыча будет наградой за доблесть. Мы имеем на это право. Небо

наделяет мужеством людей, которых оно хочет вырвать из оков тирании. Пусть бессильный и трусливый земледелец сеет, пашет, собирает, его жатва будет принадлежать нам.

Итак, пойдем опустошать и грабить государства. Мы все согласны на это, воскликнули те из них, которые, будучи более умными, но менее смелыми, боялись подвергать себя опасности; но лучше достичнуть всего не силой, а обманом. Но подвергая себя опасности, мы получим из рук легковерных людей все, что, может быть, нам и не удалось бы вырвать силою. Воспользуемся именем и одеждой бонз и браминов и отправимся странствовать по свету; вы увидите, как все будут стремиться удовлетворить наши потребности и даже содействовать нашим тайным наслаждениям.

Это предложение показалось гордым и мужественным душам трусливым и низким. Вследствие различия в мнениях собрание разделилось. Часть поселилась в Индии, Тибете и на границах Китая. Их члены были суровы и их тело измождено. Они внушали уважение людям, обучали их, убеждали, вносили раздор в семья, заставляли лишать наследства детей и отбирали у них имущество. Им дарили земельные участки, они строили на них храмы, которые им приносили доход. С помощью сильных мира сего они заставили людей просвещенных покориться игу суеверия. Они, начиная, подчинили себе всех людей, держа свой скриптор тщательно спрятанным под лохмотьями нищеты и под пеплом покаяния.

Между тем их прежние храбрые сотоварищи, удалившись в пустыни, стали подстерегать караваны, нападать на них с оружием в руках, грабить и делить между собой добычу. Однажды, когда бой окончился для них неудачно, один из разбойников был схвачен; его доставили в ближайший город, построили там эшафот и повели его на казнь. Он шел твердыми шагами, как вдруг на своем пути он встретил человека в одежде брамина и узнал в нем одного из прежних товарищей, отделившихся от них в пустыне. Народ с почтением окружал брамина, неся его в храм. Завидев его, разбойник остановился: праведные боги, воскликнул он, мы одинаково преступны, а сколь различна наша судьба! Что я говорю? равны в преступлениях! Не подвергаясь ни страху, ни опасности! не проявляя мужества, он в один день заставил плакать больше вдов и сирот и больше похитил богатств у государства, чем я награбил в течение всей моей жизни. У него было всегда двумя пороками больше, чем у меня: эти пороки — трусость и лицемерие. Тем не менее меня называют преступником, а его почитают как святого; меня влечут на эшафот, а его несут в храм; меня сажают на кол, а ему поклоняются.

Вот каким образом индузы доказывают, что в этом мире существует лишь удача и неудача.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XIII

¹ Всем известен следующий случай с одним придворным Иммануила португальского. Ему было поручено составить депешу, вторую депешу на эту же

тему написал сам государь. Сравнив их, последний пашел депешу придворного лучшей и сказал ему об этом. Придворный ответил лишь глубоким поклоном и побежал проститься со своим лучшим другом: «Я должен покинуть двор,— сказал он ему,— государь знает, что я умнее его».

² Мусульмане верят, что все, что должно случиться до скончания мира, записано на огненных скрижалих, называемых *Лу* (*Luh*), огненным пером, называемым *Калам-азер*; надпись же наворху их называется *Казар*, или *Кадар*, что значит *неизбежное предопределение*.

ГЛАВА XIV

Об исключающих друг друга качествах ума и души

В предыдущих главах моя задача заключалась в том, чтобы дать точные представления о различных названиях ума. В этой главе я хочу рассмотреть, существуют ли таланты, исключающие друг друга. Мне скажут, что этот вопрос разрешается фактами: нельзя одновременно отличаться в различных областях. Так, Ньютона не считается поэтом, а Мильтона — математиком. Стихотворения Лейбница плохи. Нет даже никого, кто отличался бы во всех жанрах хотя бы одной отрасли искусства, как, например, в поэзии или в музыке. Так, Корнель и Расин не создали в комедии ничего равного Мольеру. Микель-Анджело не мог писать таких картин, как Франческо Альбани, Альбани таких, как Джулло Романо. Словом, ум даже самых великих людей заключен, повидимому, в очень тесные граници. Да, конечно, но в чем же, спрошу я, причины этого? Чего нехватает людям для того, чтобы прославиться в различных областях: времени или ума?

Мне скажут, что деятельность человеческого ума должна быть одинакова во всех искусствах и во всех науках; все умственные операции сводятся к познанию сходств и различий между различными предметами. Лишь благодаря наблюдению поднимаемся мы в каждой области до новых и общих идей, свидетельствующих о нашем превосходстве. Таким образом, всякий великий физик или химик мог бы сделаться великим математиком, великим астрономом, великим политиком и вообще первенствовать во всех науках. Установив этот факт, мы должны заключить, что лишь краткость человеческой жизни принуждает выдающиеся умы ограничивать себя, замыкаться в какой-либо одной отрасли знания.

Однако следует признать, что существуют таланты и качества, исключающие собой другие таланты. Некоторые люди бывают охвачены страстью к славе и не воспринимчивы ни к каким другим страстиам: они могут выдвинуться в физике, в юриспруденции, в математике, одним словом — во всех тех науках, которые требуют сравнения идей между собой. Всякая другая страсть могла бы лишь отвлечь их или ввергнуть в заблуждение. Другие люди, охваченные не только страстью к славе, но еще и множеством других страстей, могут приобрести себе имя во всех тех областях, в которых, чтобы иметь успех, необходимо уметь взводиовать.

Таков, например, драматический жанр. Чтобы изображать страсти, нужно, как я уже сказал, живо чувствовать их. Нам неизвестен язык страстей, не испытанных нами, и чувства, которые они вызывают в нас. Поэтому незнание в этой области всегда порождает посредственность. Если бы Фонтенелю пришлось описывать характеры Радамиста, Брута или Катилины, то этот великий человек оказался бы, без сомнения, гораздо ниже посредственности. Установив эти принципы, я заключаю на основании их, что страсть к славе свойственна всем людям, выдающимся в какой-нибудь области; только она одна может заставить нас, как я это доказал выше, переносить утомительный труд мышления. Но эта страсть в зависимости от обстоятельств, в которые нас ставит судьба, может соединяться в нас и с другими страстями. Люди, в которых происходит подобное соединение, никогда не будут иметь очень большого успеха, отдаваясь изучению такой науки, как, например, мораль, где для того, чтобы хорошо видеть, нужно смотреть внимательным, по бесстрастным взором; в этой области бесстрастие держит весы справедливости. В спорах выбирают судьей не пристрастного человека, но лицо бесстрастное. Например, какой человек, способный к страстью любви, мог бы оценить, как Фонтенель, измену? «В то время, — говорит этот философ, — когда я был влюблен самым страстным образом, я вдруг узнал, что моя возлюбленная оставила меня и взяла другого любовника. Узнав это, я пришел в ярость, побежал к ней и стал осыпать ее упреками. Она выслушала меня и ответила, смеясь: «Фонтенель, беря вас, я, конечно, искала наслаждений; я нашла их в большей мере с другим: обязана ли я отдавать предпочтение меньшему наслаждению? Будьте справедливы и отвечайте мне». — «Честное слово, вы правы, — ответил Фонтенель, — и если я не могу быть вашим любовником, то я хочу, по крайней мере, остаться вашим другом». Подобный ответ предполагал у Фонтенеля не очень сильную любовь: страсть не рассуждает так справедливо.

Словом, можно различать два разных рода наук и искусств, из которых первый предполагает душу свободную от всяких страстей, исключая страсти к славе; второй род, напротив, предполагает душу, подверженную множеству страстей. Следовательно, существуют таланты, исключающие друг друга. Незнание этой истины есть источник множества заблуждений. Благодаря этому мы ищем в людях противоположных качеств и требуем от них невозможного: мы хотим, чтобы брошенный вверх камень повис в воздухе и не подчинялся закону тяготения.

Если какой-нибудь человек, например такой, как Фонтенель, без горечи созерцает людскую злобу и смотрит на нее как на необходимое следствие всеобщей связи вещей, если он выступает против преступления без исповести к преступнику, то люди будут хвалить его умеренность, но в то же время обвинять его за недостаточно горячее отношение к дружбе. Они не понимают, что именно это отсутствие страстей, которому он обязан умеренностью, вызы-

вающей похвалы ему, пешбажко должно делать его менее чувствительным к радостям дружбы.

Требование от людей противоположных качеств весьма обычно. Это желание возбуждается в нас слепой каждой счастья: мы хотим быть всегда счастливыми и хотим, поэтому, чтобы одни и те же предметы в каждую данную минуту являлись в наиболее приятном для нас виде. Мы видим различные совершенства, рассеянные в различных предметах, и вот мы хотим их соединить в одном и изведать одновременно тысячу наслаждений. Для этого мы желаем, чтобы один и тот же плод имел блеск бриллианта, аромат розы, сочность персика и свежесть граната. Словом, слепая любовь к счастью, являющаяся источником множества смешных желаний, заставляет нас требовать от людей качеств совершенно несовместимых. Чтобы уничтожить этот зародыш всех несправедливостей, необходимо подробное рассмотрение этого вопроса. Указав — в соответствии с поставленной мною себе целью — на то, какие качества не соединимы в одном человеке и какие соединяются в одном человеке слишком редко, чтобы дать нам право искать их в нем, можно сделать людей одновременно и более просвещенными, и более смиходительными.

Представим себе отца, желающего, чтобы его сын соединил с очень большими талантами очень благоразумное поведение. Разве вы не понимаете, сказал бы я ему, что вы требуете от своего сына качеств почти противоположных? Знайте, что если, благодаря особому стечению обстоятельств, эти качества и соединяются иногда в одном и том же человеке, то все же это бывает очень редко; большие таланты предполагают всегда большие страсти, а большие страсти являются причиной множества отклонений от требований благородства; и, наоборот, то, что мы называем *хорошим поведением*, почти всегда вытекает из отсутствия страстей и, следовательно, является уделом посредственности. Чтобы сделать что-нибудь великое в любой области, нужны сильные страсти. Почему так много стран, бедных величими людьми? Почему множество маленьких Катонов, замечательных в ранней молодости, в зрелом возрасте оказываются посредственными умами? И почему, паконец, мир наполнен мылыми детьми и глупыми мужами? Потому что в большей части государств граждане не воодушевлены сильными страстями. Ну, хорошо, скажет отец, я согласен, чтобы мой сын был воодушевлен ими; я хочу только направлять их деятельность на определенные предметы изучения. Но разве вы не видите, отвечу я, сколь опасно такое желание? Оно равносильно желанию, чтобы человек, обладающий хорошим зрением, замечал лишь те предметы, на которые вы будете ему указывать. Прежде чем составить какой-нибудь план воспитания, вам нужно разобраться в самом себе и узнати, чего больше всего вы хотите от вашего сына — больших ли талантов или благородного поведения. Вы предпочитаете хорошее поведение? Тогда поверьте, что страстный характер будет для вашего сына злополучным даром, особенно среди людей, страсти которых, благодаря государственному устройству, не всегда привлекут к добродетели; поэтому, если возможно, заглушите в нем все

предыши страстей. Но, возразит мие отец, значит, я должен в то же время отказаться от надежды сделать из него выдающегося человека? Разумеется. Если вы не можете решиться на это, то верните ему страсти, стараясь направлять их по честному пути, но ждите от него как великих деяний, так иногда и очень больших проступков. В охваченном страстями человеке нет ничего посредственного; его первыми шагами почти всегда управляет случай. Если и случается, что люди сильных страстей выдаются в искусствах, если науки имеют над ними некоторую власть и если иногда они бывают благоразумного поведения, то иначе обстоит дело с теми страшными людьми, которые в силу своего рождения, характера, сана и богатств бывают призваны на первые места в государстве. Хорошее или плохое поведение этих людей является почти исключительно делом случая: в зависимости от обстоятельств, в которые случай ставит их, и времени их рождения, их качества превращаются в пороки или в добродетели. Случай по своему усмотрению делает из них Аппиев или Дециев. В трагедии Вольтера Цезарь говорит: «Если бы я не был властелином римлян, я был бы мстителем за них».

«Если бы я не был Цезарем, я был бы Брутом».

Одарите сына какого-нибудь бочара умом, смелостью, осторожностью и энергией; в республиканском государстве, где военные доблести открывают путь к почестям, он сделается Фемистоклом или Марием¹; а в Париже из него выйдет только Картуш.

Пусть какой-нибудь смелый, предпринимчивый и способный на отчаянную решимость человек родится в тот момент, когда опустошающее сильными врагами государство находится в безвыходном положении: если успех будет к нему благосклонен, этот человек станет полубогом; во всякий другой момент это лишь бешеный и безумный человек.

К столь различным результатам нас часто приводят одни и те же страсти. Вот опасность, грозящая отцу, дети которого способны к сильным страстям, часто изменяющим лицо земли. В этом случае соответствие их ума и характера с положением, которое они занимают, делает из них то, чем они становятся. Все зависит от такого соответствия. Среди обыкновенных людей, которые не оказали важных услуг, полезных для всего мира, не увеличали себя славой и не могут притязать на всеобщее уважение, нет ни одного, который не мог бы быть полезным своим согражданам и не имел бы права на их признательность, если бы он был поставлен на подходящее место. По этому поводу Лафонтен сказал:

Государь осторожный и мудрый
Из последнего своего подданного извлекает пользу.

Предположим, в виде примера, что освобождается какая-нибудь ответственная должность. Нужно занять ее. Она требует надежного человека. Тот, кого рекомендуют на нее, не умен и даже ленив. Это ничего не значит, сказал бы я тому, кто распоряжается этим местом, дайте ему его. Добросовестный человек часто бывает лени-

вым, и деятельность, не являющаяся следствием любви к славе, всегда подозрительна; мошенник, которого постоянно мучат угрызения совести и опасения, вечно деятелен. Руссо говорит, что деятельность есть добродетель порока.

Вы располагаете должностью, которая требует усидчивости. Предлагаемое лицо угрюмо и скучно в обществе; тем лучше: усидчивость станет добродетелью его угрюмости.

Я не буду больше распиростраяться по этому вопросу; из сказанного выше я могу заключить, что отец, требующий от своих сыновей соединения талантов с благоразумным поведением, хочет, чтобы они носили в себе источник отклонения от хорошего поведения, но чтобы они не осуществляли их.

Не менее, чем такой отец к своим сыновьям, несправедлив к деспотам на Востоке народ, когда он требует от своих султанов и большой добродетели, и большой просвещенности. Может ли быть более несправедливое требование? Неужели вам не известно, сказали бы мы этому народу, что просвещенность приобретается путем долгих научных трудов и размышлений? Наука и размышление есть тяжелый труд, и мы делаем всяческие усилия, чтобы избавиться от него; поэтому мы уступаем лени, если только нас не воодушевляет какое-либо очень сильное побуждение. Что же это может быть за побуждение? Только желание славы. Но, как я уже это доказал в третьем Рассуждении, это желание само основано на стремлении к физическим наслаждениям, которые доставляют нам слава и всеобщее уважение. Но если султан в качестве деспота пользуется всеми наслаждениями, которые может принести другим людям слава, то, следовательно, султан не может иметь желания, ничто не может пробудить в нем жажду славы, и, значит, у него нет достаточных мотивов, чтобы заниматься скучными делами и подвергаться утомлению, неизбежному при получении образования. Требовать просвещенности от султана — это все равно, что требовать, чтобы реки обратились испить или желать следствия без причин. Эта истина подтверждается всей историей. Загляните в историю Китая: вы увидите, как революции быстро смешают там одна другую. У великого человека, завладевшего престолом, наследниками оказываются рожденные в порфире царевичи, которые не имеют побудительных причин к славе, как их отец, и предаются праздности на престоле; и, уже начиная с третьего поколения, большинство из них бывают лишены престола, часто не зная за собой иной вины, кроме лености. Я приведу здесь только один пример². Лян Чинг, человек темного происхождения, восстал с оружием в руках против императора Тконг-чиага и, став во главе недовольных, вошел войско на Пекин, где захватил императора врасплох. Императрица и царицы покончили с собой; император заколол свою dochь, затем он удалился в отдаленный покой дворца и, перед тем как убить себя, написал на поле своей одежды следующие слова: «Я царствовал семнадцать лет; я был низвергнут с престола, и в этом бедствии я вижу лишь кару небес, справедливо разгневанных моей леностью. Однако не я один виноват в этом: вельможи моего двора

иновны еще более, чем я: скрывая от меня государственные дела, они тем самым вырыли ту пропасть, в которую я падаю. Как решусь я предстать перед лицом моих предков? Как мне вынести их упреки? Вы, повергающие меня в столь ужасное состояние, возьмите мое тело, разрежьте его на куски, я согласен на это; но пощадите мой бедный народ: он невинен и уже достаточно несчастлив, так как имел меня так долго своим повелителем». Многочисленные подобные примеры, встречающиеся в истории всех народов, показывают, что почти все те, кто с самого рождения облечены абсолютной властью, становятся вялыми. Воздух, разлитый кругом престолов деспотов и вокруг них самих, кажется наполненным летаргическими испарениями, овладевающими всеми их душевными свойствами. Поэтому великими царями бывают лишь те цари, которые сами проложили себе путь к престолу или же прошли долгую школу бедствий. Своей просвещенностью мы обязаны лишь тому, что она для нас выгодна.

Почему мелкие властелины обыкновенно более талантливы, чем самые могущественные деспоты? Потому что им нужно еще устраивать свою собственную карьеру; потому что с малыми силами они должны сопротивляться силам превосходным; потому что они живут под вечным страхом пизложения и потому что их интересы, более тесно связанные с интересами их подданных, заставляют их знакомиться с различными сторонами законодательства. Поэтому они гораздо больше заботятся о создании армии, о заключении союзов, о заселении и обогащении своих провинций. Следуя моим указаниям, можно было бы составить географо-политические карты заслуг государей различных восточных государств. Их ум — если мерить его степенью их могущества — был бы обратно пропорционален протяженности и силе их государства, трудности проинуть в него и, лакомец, их более или менее абсолютной власти над подданными, т. е. большей или меньшей выгоде для них от просвещения. Подобная таблица, однажды устаповленная и проверенная наблюдениями, дала бы, без сомнения, довольно верные результаты: так, Суфии и Моголы оказались бы в числе наиболее тупых государей, потому что, если нет каких-нибудь исключительных обстоятельств или случайно хорошего воспитания, наиболее могущественные из людей должны быть обыкновенно наименее просвещенными.

Требовать, чтобы восточный деспот заботился о счастье своих народов и чтобы он держал сильной и верной рукой бразды управления, — все равно что требовать от Ганимеда, чтобы он поднял на лицу Геркулеса. Предположим, что какой-нибудь индус стал бы упрекать в связи с этим своего султана. На что ты жалуешься? мог бы ответить султан. Разве, по совести, ты можешь требовать, чтобы я был осведомлен о твоих интересах более, чем ты сам? Когда ты облек меня верховной властью, мог ли ты думать, что я и мои наследники, мы изберем тягостную честь заботиться о твоем благополучии и не предпочтем этому наслаждения и преимущества, связанные с абсолютной властью? Тебе известно, что каждый человек

любит самого себя больше, чем других. Желать, чтобы я заглушил свою леность, свои страсти и пожертвовал ими ради твоих интересов, все равно, что желать перевернуть порядок природы. Как могут выобразить, что, обладая полной властью, я буду желать только справедливого? Ты скажешь, что человек, дорожащий общественным уважением, пользуется властью иным образом. Согласен. Но какое дело мне до общественного уважения и до славы? Существует ли наслаждение, даруемое добродетели и недоступное власти? Кроме того, мало людей, страсти любящих славу, и эта страсть не передается их потомкам. Ты должен был все это предвидеть и знать, что, вручая мне абсолютную власть, ты разрываеть узы взаимной зависимости, связывающие государя с его подданными, и что отныне ты отделяешь мои интересы от своих. Неосторожный человек, давший мне скрипет деспотизма, трус, не смеющий вырвать его у меня, будь же наказан и за свою неосторожность, и за свою трусливость; знай, что если ты еще дышишь, то только потому, что я дозволю тебе дышать; знай, что каждое мгновение твоей жизни зависит от моего усмотрения. Подлый раб, ты рождаешься и живешь для моих прихотей. Согбенный под тяжестью своих оков, пресмыкайся у моих ног, прозябай в нищете, умирай; я запрещаю тебе даже жалобы: такова моя воля.

Сказанное мною о султанах отчасти может быть применено и к их министрам; их просвещенность обыкновенно пропорциональна их выгоде от нее. В странах, где общественное мнение может низлагать их, им необходимо обладать выдающимися талантами. Напротив, там, где голос общества не принимается во внимание, они предаются лени и проявляют только те достоинства, которые необходимы для карьеры при дворе; эти достоинства совершенно несовместимы с большими талантами, вследствие той противоположности, какая существует между интересами придворных и интересами общества. В этом отношении министры похожи на писателей. Стремление последних и к славе, и к пенсиям от двора есть смешное притязание. Приступая к литературному труду, автор необходимо должен выбирать между уважением общества и уважением придворных. Надо помнить, что при большинстве дворов, особенно в восточных государствах, люди с детства завернуты и забинтованы в пеленки предрассудков и условных приличий, что там большинство умов связаны, что там люди не способны ни на что великое и что всякий человек, родившийся и живущий вблизи престола деспота, не может избежать общей заразы и живет лишь мелкими идеями.

Поэтому истинно достойные люди живут вдали от царских палат. Они приближаются к ним лишь во времена бедствий, когда государи вынуждены призывать их. Во всякое другое время только нужда может заставить достойных людей приблизиться ко двору, и тогда лишь немногие из них могут сохранить свою силу и высоту душевную и умственную. Нужда слишком близка к преступлению.

Из всего сказанного мною ясно, что невозможно требовать выдающихся талантов от людей, которые в силу своего состояния и

неложения не могут быть одушевляемы спиральными страстями. Но разве мы не предъявляем ежедневно подобных требований? Мы протестуем против испорченности нравов, требуем добродетели, а в то же время желаем, чтобы граждане, любящие родину, молчаливо созерцали все бедствия, причиняемые ей плохим законодательством. Мы не видим, что это все равно, как если бы требовали от скита, чтобы он не кричал, когда вор похищает у него его инкаптулку. Мы не замечаем того, что в некоторых странах мудрыми могут называться лишь люди, равнодушные к общественному благу и, следовательно, лишенные добродетели. Столь же несправедливо — как я докажу это в следующей главе — мы требуем от людей талантов и качеств, так сказать, несовместимых в силу противоречивых привычек.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XIV

¹ Лю-конг-нанг, основатель династии Ганов, был сначала предводителем шайки воров; овладев одним городом, он поступил на службу к Т-ку, стал главнокомандующим его войск, разбил Т-синов, захватил множество городов, присвоил себе титул царя, победил князей, восставших против империи. Своим милосердием, больше чем своей доблестью, он восстановил спокойствие в Китае и был провозглашен императором. В истории Китая он считается одним из наиболее выдающихся государей.

² См. «Histoire des Huns», par Mr. de Guignes, t. I, p. 174.

ГЛАВА XV

О несправедливых требованиях общества

Мы готовы требовать, чтобы всадник, привыкший направлять носок своего башмака к уху лошади, имел бы такие же изящные манеры, как оперный танцор; или чтобы философ, занятый исключительно высокими и общими идеями, умел писать, как светская женщина, или даже превосходил ее в эпистолярном, например, жанре, который требует умения вести приятную, бесодержательную болтовню. Мы не видим, что такие требования почти исключают друг друга и что в этом искусстве всякая умная женщина, как показывает опыт, далеко оставляет за собой самых известных философов. Столь же несправедливо требовать от человека, никогда ничего не читавшего и не изучавшего, ведшего в течение тридцати лет рассеянный образ жизни, чтобы он внезапно получил способность размышлять и исследовать; между тем нам должно быть известно, что способность к размышлению достигается лишь привычкой и утрачивается, как скоро эта привычка исчезает. Действительно, если бы на человека, хотя бы и привыкшего к труду и к прилежанию, вдруг возложили очень большую часть управления государством, то ему пришлось бы иметь дело с множеством различных вещей, быстро смешивающихся друг друга; он был бы вынужден

Карл V основал академии; поэтому даже гордый Атилла собирая вокруг себя ученых разного рода; калиф Гарун-аль-Рашид состоялся из них свой двор, а Тамерлан учредил академию в Самарканде. А с каким почтением относился к ученым Траян! Во время его правления дозволялось говорить, думать и писать все, что угодно, ибо писатели, пораженные блеском его добродетелей и талантов, могли быть лишь его панегиристами. Напротив, Иерон, Калигула, Домициан пригуждали к молчанию людей просвещенных, которые в своих писаниях могли бы рассказать потомству лишь о позоре и преступлениях этих тиранов.

Я показал на этих примерах, что то самое желание славы, которому великие люди обязаны своим превосходством, часто заставляет их и в сфере ума стремиться к мировому владычеству. Конечно, можно соединять с талантами большие скромности; эти качества по своей природе не исключают друг друга, но в некоторых людях они не совмещаются. Есть люди, у которых нельзя отнять высокое мнение о самих себе без того, чтобы не заглушить в самом зародыше их ум. Это — недостаток, и зависеть пользуется этим, чтобы обесценить заслуги; она старательно разбирает людей, уверенная, что всегда найдет в них какую-нибудь невыгодную сторону, с которой сможет представить их обществу. Мы часто забываем, что о людях следует судить так же, как и о их произведениях; что их следует рассматривать в целом; что на земле нет ничего совершенного и что если бы каждый был обязан носить ленты двух цветов: одного — для обозначения достоинств и другого — для обозначения недостатков его ума и характера, то не было бы человека, который не пострели бы этими двумя цветами. Великие люди похожи на те богатые руды, в которых к золоту всегда более или менее примешан свинец. Хорошо было бы, если бы завистник время от времени говорил себе: если бы мне удалось уронить в глазах людей цену этого золота, то во что стали бы они цепить меня, представляющего сплошной свинец? Но завистники всегда останутся глухими к подобным советам. Как часто завистники, умело подчеркивая малейшие недостатки гениальных людей, упрекали их в том, что их манеры менее приятны, чем манеры светских людей. Они забывают, что большинство гениев, как я уже указывал, проводят свои дни в уединении, подобно животным, живущим в изгнании, и что лишь в безмолвии и одиночестве открываются их взорам истины. Но человек, жизнь которого протекает при особого рода обстановке и который рассматривает мир с новой точки зрения, не может обладать ни качествами, ни недостатками, свойственными обыкновенным людям. Почему француз больше походит на француза, чем на немца, и гораздо больше на немца, чем на китайца? Потому что оба эти народа, благодаря сходному воспитанию и мировоззрению, имеют между собой несравненно большее общего, чем с китайцами. Мы вполне становимся тем, чем делает нас окружающая нас обстановка. Желать, чтобы человек, видящий иные предметы вокруг себя и ведущий образ жизни, отличный от моего, обладал теми же самыми понятиями, что и я, значит желать

чего-то внутренне-противоречивого и требовать от налки, чтобы у нее не было двух концов.

Как много такого рода несправедливостей совершают по отношению к гениальным людям! Как часто их обвиняли в глупости в то самое время, когда они давали доказательства высшей мудрости? Я не хочу сказать, что гениальные люди не ведут себя иногда нелепо. Иногда, например, они придают слишком большое значение³ той отрасли знания, которой они занимаются. Кроме того, большие страсти, связанные с гениальностью, могут иногда сбить их с пути. Но этот источник их заблуждений есть, в то же время источник их талантов. Люди холодные, лишенные страстей и талантов, не так легко сбиваются с пути, как люди сильных страстей. Но не следует думать, будто люди холодные, как это подсказывает им их тицеславие, прежде чем решиться на что-нибудь, вычисляют возможные выгоды или невыгоды: для этого нужно было бы, чтобы в своем поведении они руководствовались лишь размыщлением, а опыт учит нас, что люди руководствуются в своем поведении чувством и что в этом отношении люди холодные — все же люди. Чтобы убедиться в этом, представим себе, что одного из таких людей укусила бешеная собака; его посыпают к морю; там он садится в лодку, чтобы быть затем погруженным в воду. Он знает, что он не подвергается никакой опасности и что в этом случае бояться глупо. Его погружают в воду. Рассуждение больше не действует на него, чувство страха овладевает его душой, и именно этому нелепому страху он обязан своим выздоровлением. Словом, в людях холодных, как и во всех других, размыщение подчищено чувству. И если люди холодные не подвержены столь частым уклонениям, как люди, которыми владеют страсти, то лишь потому, что в них меньше энергии; в действительности своей мудростью они обязаны слабости своих страстей. И, однако, какого они о себе высокого мнения! Они воображают, что общество чувствует к ним большое уважение, а в действительности оно только потому предоставляет им называться в их тесном кругу благоразумными людьми и не прозывает их глупцами, что вообще не занимается ими. И как им не стыдно проводить жизнь, высматривая смешные стороны других людей! Как торжествуют они, когда им удается найти смешную сторону в человеке гениальном или подметить в нем малейшую слабость, например, через скур сильное увлечение какой-нибудь женщиной! В этом случае они считают себя вправе презирать его. Но если им самим приходилось испытать, как страх, охватывавший их в лесу, в уединенных и опасных местах, преувеличивал опасность, то почему же не понимают они, что любовь может преувеличивать наслаждение, подобно тому как страх преувеличивает опасность? Неужели они не знают, что только сам человек может верно оценить испытываемое им наслаждение; и что в глазах людей, одушевленных различными страстями, предметы не могут иметь одинаковую ценность, что чувство всегда должно быть судимо чувством и что желать все подвергать суждению холодного рассудка — то же самое, что желать обсуждать в государстве

ственном собрании вопросы совести? Они должны бы понять, что прежде чем высказывать свое мнение о поступках гениальных людей, им следовало бы, по крайней мере, ознакомиться с побуждающими их мотивами, с силой, толкающей их на тот или иной поступок; а для этого нужно понимать могущество страстей и знать какая степень мужества необходима для сопротивления им. Каждый человек, обративший внимание на это, вскоре замечает, что только страстями можно побеждать страсти и что те благоразумные люди, которые считают себя победителями страстей, дают это на звание своим слабо проявленным склонностям, чтобы доставить себе честь победы. В действительности они вовсе не сопротивляются страстям, но уклоняются от них. Их мудрость является в них следствием не просвещенности, но того безразличия, которое можно сравнить с пустыней, одинаково лишенной как радостей, так и страданий. Поэтому они не могут называться счастливыми. Отсутствие несчастий является их единственным счастьем, и тот род рассудка, который управляет ими на море человеческой жизни помогает им избегать подводных скал, лишь непрестанно отдаляя их от блаженного острова наслаждений. Небеса вооружают холодных людей щитом для отражения ударов, но не мечом для за воеваний.

Пусть разум управляет нами в важных обстоятельствах жизни, но пусть мелочи ее подчиняются нашим вкусам и страстям. Человек, который стал бы обо всем обращаться за советом к своему разуму, был бы все время занят соображениями относительно своих поступков, но сам ничего бы не делал; он постоянно думал бы о всевозможных окружающих его бедствиях. Утомление и ежедневная скука от таких соображений могут быть более страшны, чем те несчастия, от которых они избавляют нас.

Впрочем, каким бы упрекам ни подвергали людей гениальных, как бы ни старались их унизить, открывая в них личные и неизучительные недостатки, которые, по мнению завидующих им людей, должны затмить блеск их славы, они должны оставаться непчувствительными к подобным нападениям и понимать, что это не более как ловушки, подставляемые им завистью, чтобы отвратить их от занятий. Что из того, что их постоянно упрекают в недостатке внимания к окружающим? Талантливые люди должны знать, что большинство маленьких любезностей, столь ценных в обществе, были придуманы людьми праздными, искашившими в них избавления от скуки и безделья, и что для того, чтобы прославиться в искусстве или в науке, требуется очень большое напряжение внимания, которое не должно разбиваться на тысячу мелких и частных проявлений. Кроме того, эта вежливость, которой дают название внимания не приносит никакой пользы государству, и для общества является гораздо более важным, чтобы учесный сделал одним открытием больше, а пятьюдесятью визитами меньше. Я не могу удержаться, чтобы не упомянуть по этому поводу об одном забавном произнесении, случившемся, как говорят, в Париже. У одного писателя был сосед, один из тех праздных людей, которые столь назойливы,

в обществе. Соскучившись в своем собственном обществе, он запел однажды к писателю. Тот оказал ему радушный прием и протомился с ним самым гуманным образом, пока, наконец, наш празднолюбец, устав зевать в одном месте, не отправился скучать в другое место. Он ушел, а писатель принял за свою работу и забыл о празднолюбце. Через несколько дней его стали упрекать в том, что он не отдал визита, и называли певежей; узнав об этом, он в свою очередь отправился к своему скучающему соседу. «Сударь, — сказал он, — я узнал, что вы недовольны мною, однако же вам хорошо известно, что только скуча привела вас ко мне. Я принял вас любезно, хотя сам я и не скучал; следовательно, вы в долгу передо мной, а меня обвиняют в невежливости! Судите же сами о моих поступках и подумайте, не надлежит ли вам положить конец обвинениям, которые ничего не доказывают кроме того, что я не нуждалось, подобно вам, в визитах, не так жесток, чтобы докучать ближнему, а также не так несправедлив, чтобы злословить после того, как я надоел ему». Сколько людей, которым можно дать подобный ответ! Как много празднолюбцев, которые требуют от достойных людей внимания и способностей, несовместимых с их занятиями, и еще удивляются тому, что требуют вещей противоречивых!

Представим себе человека, который всю жизнь посвятил торговым делам; такого рода занятия сделали его недоверчивым. Если этот человек появится в обществе, то было бы странно требовать от него развязности. Другой человек обладает открытым характером, он понравился нам своей откровенностью, и было бы странно требовать от него недоверчивости именно в ту минуту, когда нам хочется этого. Мы всегда хотим невозможного. Правда, существует некая нейтральная соль, которая иногда амальгамирует в одном и том же человеке все его свойства, не находящиеся между собой в полном противоречии; я знаю, что особенное стечание обстоятельств может заставить нас приобрести противоположные привычки; но это чудо, а на чудеса не следует рассчитывать. Вообще можно утверждать, что в характере человека все связано между собой, что качества слиты в нем с недостатками и что даже существуют умственные недостатки, свойственные известным положениям. Представим себе, что некто занимает важный пост и должен ежедневно разбираться во множестве дел; если его решения безапелляционны, если ему никто не противоречит, то через некоторое время он преисполнится гордости и получит глубочайшую уверенность в своем умственном превосходстве. Этого не случится с человеком, мнения которого обсуждаются и разбираются в совете равных ему людей или с ученым, который уже несколько раз опидался в вопросах, внимательно исследованных им, и потому научился быть осторожным в своих суждениях⁴; такая осторожность, основанная на спасительном недоверии к собственному знанию, помогает нам различать те скрытые истины, которые редко усматривает поверхностный взгляд гордеца. Повидимому, познание истины является наградой за мудрое недоверие к самому себе.

Человек, не допускающий сомнений, подвержен множеству ошибок; он сам ставит границы своему уму. Одного персидского мудреца спросили однажды, как он приобрел такое множество знаний. «Постоянно спрашивая о том, чего я не знал», — ответил он. «Вопросив однажды философа, — говорит поэт Саади, — я настаивал, чтобы он ответил мне, от кого приобрел он столько знаний». — «От слепых», — ответил он, — которые не поднимают ноги своей, прежде чем не ощущают палькой почву, на которую они ступают».

Сказанного мною о качествах, исключающих друг друга или по своей природе, или вследствие приобретения несовместимых привычек, достаточно для моей темы. Теперь я хочу показать, в чем польза этого знания. Главная польза состоит в том, чтобы научиться извлекать наибольшую выгоду из своего ума; этому вопросу я и посвящу следующую главу.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ XV

¹ Когда только что состоялось назначение одного министра, один из первых чиновников Версаля, человек весьма умный, сказал ему: «Вы любите добро, отныне в вашей власти делать его. Вам представляют множество проектов, полезных для государства, и вы пожелаете их выполнить; берегитесь, однако, предпринимать что-либо, прежде чем вы не убедитесь, что это потребует небольших затрат, небольших усилий и небольшой добродетели. Если успех данного предприятия требует значительных затрат, то многочисленные нужды, которые впоследствии обнаружатся, не позволят вам вложить в него необходимых денег, и вы потеряете авансированную на это сумму. Если же успех будет зависеть от усердия и добродетели ваших приближенных, то берегитесь, чтобы на ваш выбор не оказывали давления; помните, что вы будете окружены мошенниками, что нужна проницательность, чтобы узнавать их, и что главная и, может быть, самая трудная наука для министра — это наука выбора».

² См. его «Mémoires pour servir à l'Histoire de la Hollande», в главе о Гроции.

³ Они часто испытывают к своему занятию исключительное уважение. Даже среди лиц, занимающихся наиболее легкомысленным видом искусства, есть такие, которые думают, что в их стране хорошо только то, что они делают. Я не могу не упомянуть здесь об одном довольно забавном изречении, которое приписывается Марселью. Один знаменитый английский танцовщик, приехал в Париж, зашел к Марселю и сказал ему: «Я приехал принести вам дань уважения, которое должны чувствовать к вам все представители нашего искусства. Раэрните мне протанцевать перед вами и воспользоваться вашими советами...» — «Охотно», — отвечал ему Марсель. Англичанин тотчас же принялся исполнять трудные па и проделывать множество прыжков. Марсель смотрел на него и вдруг воскликнул: «Сударь, хорошо танцуют только в Париже, в других странах только прыгают, но, увы, лишь это одно у нас умеют делать хорошо. Бедное государство!»

⁴ Было бы, может быть, желательно, чтобы лица, предназначенные для занятия высоких должностей, представляли какое-нибудь сочинение; они

лучше увидели бы тогда всю трудность своей задачи, научились бы не доверять собственным знаниям и, применяя это недоверие к делам, научились бы рассматривать их с большим вниманием.

ГЛАВА XVI

Метод определения того, в какой области занятых мы наиболее способны

Чтобы узнать свои таланты, человек должен исследовать, какого рода предметами случай и воспитание заполнили его память и в какой степени велика его любовь к славе. От комбинации этих двух факторов зависит род занятий, избираемых данным лицом. Нет ни одного человека, который был бы вполне лишен знаний. И смотря по тому, что больше содержится в памяти, факты ли из физики или из истории, образы или чувства, мы являемся более или менее склонными к физике, или к политике, или к поэзии. Если человек отдается этому последнему искусству, то он может стать тем более великим художником в какой-либо одной области, чем больше сокровищница памяти доставит ему предметов, нужных для определенной категории картин. Один поэт рождается в суровом климате Севера, где на быстрых крыльях постоянно проносятся черные ураганы; его взор не блуждает по цветущим долинам, он знает лишь вечную зиму, которая с волосами, поседевшими от инея, царит над бесплодными пустынями; эхо доносит смущенный рев медведей; он видит только снега, только шагоможденные льдины и ели, столь же древние, как сама земля, распространяющие свои мертвые ветви над озерами, омывающими их корни. Другой поэт, наоборот, рождается в счастливом климате Италии, где воздух чист, земля усеяна цветами, где легкое дыхание зефиров колышет вершины благоухающих лесов; он видит здесь ручейки, которые множеством серебристых извилин прорезывают однообразие зеленых лугов; он видит, как искусство соединяется с природой для украшения городов и деревень, — здесь все кажется сотворенным для услаждения взора и для опьянения чувств. Можно ли сомневаться в том, что из этих двух поэтов последний изобразит картины более приятные, а первый более величественные и страшные? Но ни тот, ни другой из этих поэтов не создаст этих картин, если он не будет одушевлен сильною любовью к славе.

Первичным материалом нашего ума являются те предметы, которые случай и воспитание вкладывают в память; но этот материал остается мертвым и бездеятельным до тех пор, пока страсти не приведут его в брожение. И только тогда он производит новое сочетание идей, образов или чувств, которым мы даем наименование гениальности, ума или таланта.

Определив количество и род тех предметов, которые хранятся в складе нашей памяти, мы должны, прежде чем избрать какую-либо отрасль занятий, определить степень нашего стремления к славе. Здесь мы весьма склонны к заблуждению и охотно

называем страстью самые обыкновенные наши склонности; между тем, как я уже сказал, отличить склонность от страсти очень легко. Нами владеет страсть, когда мы одушевлены одним единственным желанием, когда все наши мысли и поступки подчинены ему. Мы имеем только склонность, когда наша душа разделена между многими желаниями, более или менее равными по силе. И чем многочисленнее эти желания, тем умереннее наши склонности, и обратно; чем меньше желаний, чем ближе они к единству, тем сильнее наши склонности и тем легче они переходят в страсти. Словом, страсть характеризуется единым желанием или, по крайней мере, преобладанием одного желания над всеми остальными. Определив наличие страсти, необходимо узнать степень ее силы, а для этого нужно уяснить себе степень восхищения, которое мы испытываем по отношению к великим людям. В ранней молодости это является довольно точной меркой для нашей любви к славе. Я говорю: в ранней молодости, потому что тогда мы более способны к страстям и, следовательно, к энтузиазму. Кроме того, в юности у нас нет причин упирать заслуги и таланты; мы еще падаемся заставить впоследствии уважать себя самих за то, что сейчас мы уважаем в другом. С людьми зрелыми дело обстоит иначе. Человек, достигший известного возраста и не обладающий никакими заслугами, обыкновенно выказывает презрение к талантам других, дабы утешить себя в их отсутствии. Чтобы судить о заслугах другого лица, нужно быть беспристрастным, а следовательно, не испытать еще чувства зависти. В ранней молодости человек еще не завистлив, и поэтому юноши смотрят на великих людей почти теми же глазами, какими видят их потомство. Поэтому следует вообще отказаться от уважения со стороны лиц своего возраста и ожидать его только от молодых. Их похвала может служить некоторой оценкой наших заслуг, а их восхищение великими людьми может служить для оценки их собственных достоинств. Если мы в другом человеке уважаем лишь такие идеи, которые сходны с нашими собственными, то наше уважение к чужому уму всегда пропорционально нашему собственному уму. Человек прославляет великих людей, когда сам чувствует себя созданным для величия. Почему Цезарь плакал перед бюстом Александра? Потому что он был Цезарем. Почему же с тех пор никто уже не плачет перед этим изображением? Потому что больше нет Цезарей.

Словом, степенью нашего почитания великих людей мы можем измерять степень нашей любви к славе и, следовательно, определять выбор своих занятий. Выбор этот всегда бывает удачным, когда в любой отрасли знания сила страсти пропорциональна трудности добиться успеха; успех же достигается тем труднее, чем большее число людей занималось данной отраслью творчества и усовершенствовало ее. Нет ничего более смелого, чем избрать своим поприщем то, на котором прославились Корнель, Расин, Вольтер и Кребильон. Чтобы отличиться на этом поприще, нужно быть способным к чрезвычайным усилиям ума и, следовательно, быть одушевленным сильнейшей любовью к славе. Человек, и-

способный на такую высшую страсть, не должен вступать в соревнование с подобными соперниками, но избрать деятельность, в которой легче добиться успеха. Такие области существуют: так, например, в физике имеются необработанные участки и вопросы, на которые выдающиеся гении, занятые более интересными темами, бросили, так сказать, лишь беглый взгляд. В этой области, так же как и во всех ей подобных, открытия и достижения доступны почти каждому уму, и только на них могут притязать слабые страсти. Тот, кто не опьянен любовью к славе, должен искать ее на окольных тропинках и избегать больших дорог, проложенных выдающимися людьми. Наши заслуги показались бы ничтожными по сравнению с их заслугами, и предубежденное общество отказалось бы нам даже в заслуженном уважении.

Словом, репутация человека, обладающего лишь слабыми страстями, зависит от ловкости, с которой он избегает сравнения себя с людьми, охваченными большей страстью к славе и делающими, следовательно, большие умственные усилия. Благодаря такой ловкости, человек, обладающий лишь слабыми страстями и весьма небольшим умом, может тем не менее приобрести довольно хорошую репутацию, если он с юности научился работать и размышлять. Словом, для наилучшего применения своего ума нужно, повидимому, обратить главное внимание на сравнение степени своей собственной страсти со степенью той страсти, какую предполагает избираемое занятие. Тот, кто в этом отношении способен к точному наблюдению над собой, избегнет множества ошибок, которым подвержены многие выдающиеся люди. Так, например, он не начнет изучения новой области в тот момент, когда возраст умерит в нем силу страстей. Он поймет, что, смевая одну за другой разные области науки или искусства, он во всех них достигнет лишь среднего уровня и что такая универсальность является подводным камнем, о который часто разбивались люди умные, но тщеславные, и, наконец, что только в ранней юности мы обладаем тем неустанным вниманием, которое доискивается до первооснов каждого искусства и каждой науки: это важная истина, незнание которой часто задерживает развитие гения и препятствует успеху наук. Для усвоения этой истины нужно помнить, что любовь к славе, как это доказано мною в третьем Рассуждении, зажжена в нашем сердце любовью к физическим наслаждениям; эта любовь всего сильнее в ранней молодости, и, следовательно, на заре жизни мы способны на самую сильную любовь к славе. В эту пору мы ощущаем в себе пламенные зародыши добродетелей и талантов. Сила и здоровье, текущие по нашим жилам, сообщают нам чувство бессмертия; нам кажется, что годы протекают с медленностью веков; мы знаем, что мы смертны, но не ощущаем этого, и поэтому тем горячее стремимся заслужить уважение потомства. Не то, когда возраст охлаждает страсти. Тогда мы начинаем видеть вдали разрушение, приносимое смертью. Смертные тени, примешиваясь к сиянию славы, омрачают ее блеск. Мир меняется перед нашим взором, он не интересует нас больше; в нем не происходит ничего значительного.

И если мы еще идем по пути, на который толкнула нас любовь к славе, то лишь в силу привычки; привычка укрепляется, когда страсти ослабевают. Кроме того, мы боимся скуки и, чтобы избавиться от нее, продолжаем изучать науку, привычные идеи которой легко связуются в нашем уме. Но мы уже неспособны к напряженному вниманию, которого требует изучение новой области. Если вы уже достигли тридцатилетнего возраста, то из великого математика вы не сделаетесь уже великим поэтом, из великого поэта великим химиком, из великого химика великим политиком. Если в этом возрасте человек получит какое-нибудь высокое назначение и если те идеи, которыми наполнена его голова, не имеют никакого отношения к его новой должности, то или это место не требует ума и талантов, или же этот человек будет плохо исполнять свое дело.

Среди должностных лиц, которые иногда слишком со средоточиваются на рассмотрении частных дел, найдется ли хоть одно, которое могло бы достойно занимать высокие места, если бы оно втайне уже не подготовлялось к этой должности? Человек, пренебрегающий такой подготовкой, может только опозорить себя, получив место. Если он обладает характером цельным и деспотическим, то его начинания будут всегда суровыми, нелепыми и вредными для общественного блага. Если же он кроток и стремится к общественному благу, то он не посмеет ничего предпринять. И как мог бы он решиться на какие-нибудь перемены в управлении? Нельзя итти твердыми шагами по незнакомым дорогам, пересекаемым множеством пропастей. Твердость и смелость ума всегда обусловливаются его широтой. Человек, богатый средствами для исполнения своих проектов, всегда смел в своих замыслах; наоборот, человек, бедный средствами, неизбежно приобретает привычку к рабости, которую глупцы часто принимают за мудрость. Если опасно слишком часто изменять правительенную машину, то, с другой стороны, эта машина иногда останавливается, если в нее не вставлять новых пружин. Невежественный рабочий не смest предпринять это, и машина распадается тогда сама собой. Иначе поступит искусный рабочий: смелой рукой он починит машину и тем самым сохранит ее. Но такая мудрая смелость предполагает глубокое изучение науки управления, изучение утомительное, на которое мы способны только в первой молодости и, может быть, в тех государствах, где общественное уважение обещает нам большие выгоды. Великие таланты не разрастают там, где общественное уважение не доставляет никаких благ. Небольшое число знаменитых людей, которые, благодаря превосходному воспитанию или особому стечению обстоятельств, стремятся к общественному уважению, покидают в таких случаях свою родину. Такое добровольное самоизгнание является предвестником гибели страны: эти изгнанники подобны орлам, чье бегство возвещает близкое падение того древнего дуба, на который они обыкновенно садились.

Сказанного мною на эту тему достаточно. Из установлений в этой главе положений я выведу следующее заключение: то, что мы называем умом, есть продукт всего содержимого нашей памяти

и брожения этого содержимого, производимого в нас любовью к славе. Словом, только комбинируя, как я уже сказал, предметы, вложенные в нашу память случаем и воспитанием, со степенью нашей любви к славе, мы можем действительно познать и силу, и свойства нашего ума. Тот, кто добросовестно наблюдает в этом отношении за собой, напоминает отчасти искусных химиков, которые могут заранее предсказать результат опыта, если знают, какие вещества положены в колбу и как сильно она нагрета. В связи с этим я замечаю, что, если существует искусство возбуждать сильные страсти, если существуют легкие средства, чтобы заполнить память юноши известного рода идеями и предметами, то, следовательно, существуют и верные способы для создания гениев. Такое познание природы ума может быть весьма полезным для лиц, жаждущих известности. Оно может указать им средства к ее достижению; научить их, например, тому, что они не должны разбрасывать свое внимание на множество различных предметов, но всецело сосредоточивать его на идеях и предметах, относящихся к области, в которой они хотят прославиться. Конечно, не нужно заходить чересчур далеко в своем самоограничении: нельзя быть глубоким в одной области, если не совершать пажегов во все другие области, аналогичные нашей. Мы должны даже посвятить некоторое время рассмотрению основных принципов различных наук. Всегда полезно следить за единобразным ходом человеческой мысли в различных областях наук и искусств и рассматривать всеобщую связь, соединяющую между собой все человеческие идеи. Такое изучение обостряет и расширяет ум; но ему можно посвящать лишь некоторое время, главное же внимание следует обращать на разработку своего искусства или науки. Редко достигает славы тот, кто в изучении руководствуется лишь своим нескромным любопытством. Представьте себе ваятеля, равно склонного как к скульптуре, так и к политике и наполняющего свою память совершенно не связанными между собой идеями. Я утверждаю, что этот ваятель окажется, несомненно, менее талантливым и менее прославится в своем искусстве, чем если бы он всегда заполнял свою память предметами, относящимися к его искусству, и не соединял бы в себе, так сказать, двух людей, которые не могут ни делиться мыслями, ни беседовать друг с другом.

Кроме того, знание, что такое ум, полезное для частных лиц, может быть полезным и обществу: это здравие может присваивать лиц высокопоставленных отцовительно выбора служащих и помогать им в каждой области отличать достойных людей. Прежде всего они узнают их по роду их занятий, во-вто^{ых}, по степени их страстью любви к славе; причем, как я уже указал, эта страсть к славе всегда пропорциональна любви к уму и почти всегда она пропорциональна достоинству лиц, составляющих наше общество.

Человек, не любящий и не уважающий тех людей, кото^ы с^о своими поступками или произведениями заслужили общее уважение, есть, без сомнения, человек недостойный. Между глупым и умным человеком слишком мало точек соприкосновения, что делает всякое общение между ними невозможным. Действительно, слишком боль-

шая любовь к обществу людей посредственных всегда налагает на человека печать отвержения.

После того как я со стольких сторон рассмотрел ум, мне следовало бы, может быть, попытаться набросать план хорошего воспитания. Подробный трактат на эту тему должен был бы явиться завершением моего труда. Если я отказываюсь от такой задачи, то лишь потому, что знаю, что если бы даже я был способен указать средства для исправления людей, то при современных правах ими почти невозможно было бы воспользоваться. Я удовольствуюсь тем, что брошу беглый взгляд на так называемое воспитание.

ГЛАВА XVII

О воспитании

В каждой стране искусство формировать людей так тесно связано с формой правления, что какое-либо значительное изменение в общественном воспитании вряд ли возможно без изменений в самом государственном строе.

Искусство воспитания есть не что иное, как знание средств для образования более крепких и сильных тел, более просвещенных умов и более добродетельных душ. Относительно первой задачи воспитания мы должны брать пример с греков, потому что телесные упражнения были у них в почете и эти упражнения являлись даже частью их медицины. Что же касается средств сделать умы более просвещенными и души более сильными и добродетельными, то мне кажется, что, указав на важность выбора предметов, которыми мы заполняем нашу память, и на легкость, с которой можно зажигать в нас сильные страсти и направлять их к общественному благу, я достаточно дал понять просвещенному читателю, какому плану нужно следовать для усовершенствования общественного воспитания.

Мы столь далеки от всякой реформы в деле воспитания, что и не будем входить в подробности, всегда скучные, когда они бесполезны. Я замечу только, что мы не соглашаемся в этой области даже на изменение наиболее грубых и наиболее легко исправимых злоупотреблений. Кто сомневается, например, в том, что для получения всего, что человек в состоянии дать, он должен наилучшим образом распределять свое время? Кто сомневается в том, что успех зависит от части от умелого пользования временем? И кто, убедившись в этой истине, не замечает с первого же взгляда, какие перемены можно было бы совершить в общественном воспитании?

Так, например, необходимо посвятить некоторое время разумному изучению родного языка. Как нелепо терять восемь или десять лет жизни на то, чтобы изучить мертвый язык, который издается сейчас же по окончании школы, потому что он почти совершенству не пригоден в обыденной жизни? Напрасно мне говорят, что если молодых людей так долго держат в гимназиях, не столько для изучения латыни, сколько для того, чтобы внушили им привычку к труду и прилежанию. Разве нельзя было бы у

достижения этой цели предложить им занятие менее неблагодарное и неприятное? Неужели не боятся притупить в них ту природную любознательность, которая одушевляет нас в ранней молодости? Насколько укрепилась бы эта любознательность, если бы бессмысленное изучение слов заменили изучением физики, истории, математики, морали, поэзии и т. д.? Мне могут сказать, что изучение мертвых языков исполняет отчасти эту задачу. Оно требует переводов и пояснений авторов; оно наполняет, следовательно, головы молодых людей идеями, содержащимися в лучших произведениях древности. На это я отвечу, что нет ничего более нелепого, чем посвящать много лет на то, чтобы вложить в память немногие факты или идеи, которые с помощью переводов можно запомнить в два-три месяца.

Следовательно, единственная выгода, получающаяся от восьми или десяти лет занятий, сводится к весьма сомнительному знанию тех тонкостей латинского языка, которые теряются в переводе. Я говорю: весьма сомнительному знанию, потому что, как бы человек ни изучал латинский язык, он никогда не будет его знать лучше родного. Но если среди наших ученых очень мало людей, чувствующих красоту, силу и изящество французского языка, то почему же они лучше почувствуют красоту языка латинского? И нельзя ли предположить, что их знание основано на нашем невежестве, нашей доверчивости и их смелости? Если бы можно было вызвать души Горация, Вергилия и Цицерона, то не показались ли бы им самые блестящие речи наших риторов написанными на почти непонятном наречии? Тем не менее, оставив в стороне эти сомнения, я готов предположить, что по окончании школы молодой человек окажется весьма сведущим в тонкостях латинской речи; но, признав это, я все же должен спросить, нужно ли платить за такое знание восемью или десятью годами труда, и не лучше ли было бы употребить эти годы ранней молодости, когда любознательность не подавляется никакой страстью и когда, следовательно, мы более способны к прилежанию, — не лучше ли было бы эти годы, отданные на изучение слов, употребить на изучение других предметов, особенно относящихся к нашей будущей возможной деятельности? Я не согласен с крайностями лиц, утверждающих, что молодой человек должен ограничиваться исключительно изучением наук, подходящих к его положению. Образование юноши должно дать ему возможность выбирать между различными путями; гений должен быть свободен. Существуют знания, необходимые для каждого гражданина; таково знание принципов морали и законов своего государства. Все мои требования сводятся к тому, чтобы память молодого человека заполнилась идеями и предметами, относящимися к его вероятному поприщу. Крайне нелепо давать совершенно одинаковое образование трем людям, из которых один сделается маленьким чиновником в министерстве финансов, а два других займут высшие посты в армии, в юстиции или в управлении государством. И можно ли смотреть без удивления на то, что они занимаются одними и теми же науками вплоть до шестнадцати или семнадцатилетнего возраста, т. е. до того момента, когда они

вступают в свет и, отдавшись удовольствиям, часто становятся уже неспособными к прилежанию?

Рассмотрев хорошенько идеи, которыми заполняют память молодых людей, и сравнив их воспитание с тем положением, какое им предстоит занять, мы пайдем его столь же нелепым, как нелепым было бы воспитание греков, если бы они учили только игре на флейте тех своих юношей, которых они затем посылали на олимпийские игры для состязания в борьбе или в беге.

Но, скажут мне, если можно сделать гораздо лучшее употребление из времени, посвященного на образование, то почему не пытаются сделать это? Чему приписать такое равнодушие? Почему уже с самого детства в руки будущего живописца вкладывают карандаши? Почему в этом же возрасте будущему музыканту дают скрипку? Почему оба артиста получают в этом случае воспитание, отвечающее их искусству, и в то же время с таким цербражением относятся к воспитанию государей и вельмож и вообще всех лиц, которые призваны занимать высокие должности? Неужели же не известно, какое сильное влияние имеют добродетели и особенно просвещенность высокопоставленных лиц на счастье или несчастье государств? Почему же предоставлять случайностям столь важную для управления сторону? Без сомнения, отвечу я, в школах есть много просвещенных преподавателей, хорошо знакомых как с недостатками воспитания, так и со средствами для их излечения, но что могут сделать они без помощи правительства? Но правительства мало заботятся об общественном воспитании. В этом отношении нельзя сравнивать большие государства с небольшими республиками. В больших государствах редко чувствуется нужда в великих людях, большие государства держатся своей собственной массой. В ином положении такие республики, как, например, Лакедемонская. С горстью граждан она должна была отражать наступление бесчисленных азиатских войск. Спарта была обязана своим спасением тем великим людям, которые рождались один за другим для ее защиты. Правительство было постоянно занято задачей выращивания все новых великих людей, и потому оно главное внимание было обращено на общественное воспитание. Большие государства реже подвергаются таким опасностям и потому не предпринимают подобных мер предосторожности. Более или менее настоятельная потребность в какой-либо вещи всегда является точной мерой усилий ума, делаемых для достижения ее. Но, возразят мне, среди самых сильных государств не пайдется ни одного, которое время от времени не испытывало бы потребности в великих людях. Несомненно, но так как эта потребность не является обычной, то ее и не стремятся удовлетворить. Великие государства не обладают добродетелью предусмотрительности. Высоко поставленные люди здесь слишком заняты, чтобы следить за общественным воспитанием, и потому пренебрегают им. Кроме того, как много препятствий ставят в этих больших государствах личные интересы делу создания гениальных людей! Конечно, здесь возможно создание людей образованных, ничто не мешает молодым

людям уже с ранней юности заполнять память идеями и предметами, имеющими отношение к их будущей должности; но никогда здесь не вырастут гении, ибо все эти идеи и предметы остаются бесплодными, если их не оплодотворяет любовь к славе. Для воспламенения этой любви необходимо, чтобы слава, подобно деньгам, могла обмениваться на множество удовольствий и чтобы за заслуги воздавались почести. Но справедливая раздача почестей не в интересах сильных мира сего: им невыгодно приучать гражданина смотреть на их милости как на обязательную плату за его таланты. Поэтому они редко награждают по заслугам; они понимают, что чем меньше зависящие от них люди достойны благодеяний, тем благодарнее они будут. Словом, несправедливость часто играет решающую роль при раздаче наград, и в связи с этим любовь к славе угасает во всех сердцах.

Вот главные причины, почему в больших государствах ощущается недостаток в великих людях, почему там к ним равнодушны и почему так мало заботятся о народном воспитании. Но как ни велики препятствия, мешающие в этих странах реформе общественного воспитания, все же они не являются непреодолимыми в государствах монархических, т. е. в большинстве европейских государств. Они непреодолимы лишь в государствах абсолютно деспотических, в государствах Востока. Как возможно усовершенствовать воспитание в этих странах? Никакое воспитание невозможно без определенной цели; единственная же цель воспитания, как я уже говорил, это сделать граждан более сильными, более просвещенными и добродетельными и, наконец, более способными работать на благо того общества, среди которого они живут. Но в государствах деспотических деспотам постоянно кажется, что общественные интересы противоречат их личным, и это не позволяет им принять систему воспитания, отвечающую общественной пользе. Словом, в этих странах отсутствует цель воспитания, а следовательно, и само воспитание. Напрасно было бы желать свести его к умению нравиться господарю: разве возможно построить план воспитания на всегда несовершенном знании характера владельца, который может умереть или характер которого может измениться прежде окончания воспитания? В этих странах нужно сначала улучшить воспитание государей, чтобы затем плодотворно работать над воспитанием народа. Но трактату на эту тему нужно было бы предпослать еще более трудное исследование о том, насколько возможно уничтожение крупных препятствий, которые всегда ставятся личными интересами на пути хорошего воспитания монархов. Это этическая проблема, повидимому, неразрешимая в государствах с абсолютной властью, каковыми являются государства Востока. Ревниво оберегая право управлять от имени своего господина, визири всегда будут держать султанов в постыдном и непреодолимом неведении: они всегда будут отстранять от них человека, который мог бы просветить их. Если даже воспитание самих государей предоставлено случаю, то кто же озабочится воспитанием частных лиц? Если какой-нибудь отец желает здесь

возвышения своих сыновей, то, так как он знает, что ни познания, ни таланты, ни добродетели не откроют им дороги к благам жизни, что государи не нуждаются в людях просвещенных и знающих, он не станет и требовать от своих детей ни знаний, ни талантов; более того, он будет смутно понимать, что при таком правительстве нельзя быть безнаказанно добродетельным. Поэтому-то все его этические правила сведутся к нескольким расплывчатым положениям, которые, будучи слабо связанными между собой, не смогут дать его сыновьям ясных идей о добродетели; он будет страшиться слишком строгих и точных правил в этой области. Он понимает, что слишком суровая добродетель может повредить их счастью; и если, как говорит Пифагор, две вещи делают человека подобным богам: жить на благо общества и говорить правду, — то нет сомнения, что человек, который захотел бы подражать богам, был бы преследуем людьми.

Таков источник противоречия между теми моральными принципами, которые даже в странах с деспотическим правлением отцы вынуждены в силу обычая преподавать своим детям, и поведением, которое они им рекомендуют. Отец говорит детям, как общее правило: «Будьте добродетельны». Но он невольно развивает это положение следующим образом: «Не доверяйте добродетели, будьте робкими и осторожными негодяями и имейте добродетели, как говорит Мольер, лишь настолько, чтобы вас не повесили». Как возможно в подобных государствах совершенствовать ту часть воспитания, которая заключается в развитии добродетели? Не существует такого отца, который, не впадая в противоречие с самим собой, мог бы отвечать на настоятельные доводы по этому вопросу своего добродетельного сына.

Чтобы пояснить эту истину на примере, предположим, что некий отец предназначает своего сына к управлению какой-нибудь провинцией, со званием паши, и что, готовый занять это место, сын говорит ему: «Отец, принципы добродетели, приобретенные мною в детстве, возросли в душе моей. Я еду управлять людьми: их благо будет моей единственной заботой. Я не буду выслушивать богача с большей благосклонностью, чем бедняка; оставаясь глухим к угрозам сильного притеснителя, я всегда буду слушать жалобы притесняемых, и справедливость будет руководить мной в моих решениях». — «О, сын мой! как пристал твоей юности энтузиазм добродетели! но возраст и осторожность научат тебя умеренности. Конечно, нужно быть справедливым; но сколько нелепых прошений придется тебе выслушивать! да какое множество мелких несправедливостей придется тебе соглашаться! Если ты будешь вынужден отказывать иногда лицам высокопоставленным, то какими любезностями тебе нужно будет сопровождать твои отказы! И как бы высоко ни стоял ты, одного слова султана достаточно, чтобы снова погрузить тебя в ничтожество и смешать с толпой самых презренных рабов; ненависть любого евнуха может погубить тебя; помни, что ты должен щадить их...» — «Как! чтобы я стала терпеть несправедливость! Нет, отец мой! Блистательный Порт часто налагает на людей слишком тяжелые подати; я не

буду ей помогать в этом. Мне известно, что долг каждого человека по отношению к своему государству пропорциональен его заинтересованности в сохранении этого государства; что бедняки не должны государству ничего и что даже состоятельные люди, которые несут на себе тяжесть налогов, должны давать государству лишь столько, сколько требует мудрая экономия, а не расточительность; я просвещу правительство на этот счет...» — «Откажись от такого намерения, сын мой; твои убеждения будут тщетными, и все равно тебе придется повиноваться...» — «Повиноваться? нет! скорее я откажусь от должности, которой почтил меня султан...» — «О, сын мой! тебя увлекает безумный пыл добродетели; ты только погубишь себя, не принося облегчения людям; на твое место правительство назначит человека менее добросердечного, который будет суворо исполнять его предписания...» — «Да, конечно, несправедливость совершиется; но я не буду ее орудием. Человек добродетельный, на которого возложено управление, или делает добро, или же удаляется; человек, еще более добродетельный и более чувствительный к бедствиям своих сограждан, уходит из городов и бежит в пустыни, леса и даже к дикарям от ужасного вида тирании и печального зрелища несчастий своих близких. Таково поведение добродетели. Ты говоришь, что у меня не будет подражателей; этого я не знаю; тебя убеждает в этом предположение скрытое честолюбие, по моему добродетель заставляет меня сомневаться в этом. Но допустим, что действительно, никто не последует моему примеру; разве тот ревностный мусульманин, который первый возвестил закон божественного пророка и презрел ярость тиранов, обращал внимание, идя на казнь, следуют ли за ним другие мученики? Истина вещала его сердцу; он был обязан засвидетельствовать ее, и он это сделал. Неужели мы больше обязаны перед религией, чем перед человечеством, и неужели догматы священное добродетели? Но теперь позволь мне в свою очередь спросить тебя: если бы я присоединился к арабам, нападающим на наши караваны, не мог ли бы я сказать самому себе: буду ли я жить с этими разбойниками или отделюсь от них, они все равно будут нападать на караваны; живя с арабами, я могу смягчить их нравы; во всяком случае, я не позволю им совершать бесполезных жестокостей над путешественниками. Я буду делать добро, не увеличивая общественных бедствий. Подобно этому рассуждаешь и ты, и если ни мой народ, ни ты сам не можете одобрить это рассуждение, то почему же, как папа, я имею право делать то, что мне запрещается делать как арабу? О, мой отец! у меня, иакопец, открылись глаза; я вижу, что в государствах деспотических нет места добродетели и что в тебе честолюбие заглушает голос справедливости. Я могу достигнуть почестей не иначе, как покрывая справедливость. Моя добродетель уничтожает твои надежды; она становится тебе ненавистной, и твоя обманутая надежда называет ее безрассудством. Но язываю к тебе еще раз; исследуй глубины своей души и ответь мне. Если бы я пожертвовал справедливостью ради своих личных склонностей, ради удовольствий, ради прихода

тей какой-нибудь одалиски, разве не стал бы ты тогда настоятельно напоминать мне о строгих правилах добродетели, которым меня научили в детстве? Почему же твое рвение гаснет, когда эта самая добродетель приносится в жертву приказаниям султана или vizirя? Я решусь сказать тебе, почему: потому что блеск моего величия — недостойная плата за низкое повиновение — должен упасть и на тебя; поэтому-то ты и закрываешь глаза на преступление; если бы ты мог сознать его, то — я взываю к твоей правдивости — ты вменил бы мне справедливость в обязанность».

Ясно, что прижатый к стене такими доводами, всякий отец должен был бы заметить явное противоречие между принципами здравой морали и поведением, которое он рекомендует своему сыну. И он должен будет признать, что, желая возвышения своего сына, он в то же время смутно желал, чтобы, предавшись заботам о своем возвышении, его сын пожертвовал даже справедливостью. В азиатских государствах, где из тиши рабства извлекают раба, чтобы повелевать другими рабами, подобное желание должно быть свойственно каждому отцу. И кто в этих странах стал бы嘅таться составить план добродетельного воспитания, которое все равно никто не даст своим детям? Было бы безумием желать создавать здесь великодушные души, ибо люди в этих странах бывают порочными не в силу врожденной испорченности, а потому, что преступление здесь награждается, а добродетель наказывается. Чего, наконец, ожидать от народа, в котором добродетельными можно назвать лишь людей, готовых сделаться ими при иной форме правления, где никто не одушевлен сильной любовью к общественному благу и потому никто не может быть истинно добродетельным. В государствах деспотических нужно отказаться от надежды создать людей, выдающихся добродетелями или талантами. Иначе в государствах монархических. Здесь, как я уже говорил, можно рискнуть на такое предприятие с некоторой надеждой на успех; но в то же время приходится признать, что успех будет тем сомнительнее, чем больше монархическая форма правления будет приближаться к форме деспотической или чем испорченнее будут нравы.

Я не буду больше распространяться на эту тему и ограничусь тем, что напомню тому усердному гражданину, который захотел бы создавать людей добродетельных и просвещенных, что вся задача совершенного воспитания сводится, во-первых, к тому, чтобы установить, какие идеи и предметы следует вкладывать в память молодых людей, в зависимости от различных положений, в которые ставит их судьба, а, во-вторых, определить наиболее верные средства, чтобы зажечь в них стремление к славе и к общественному уважению.

Когда обе эти задачи будут разрешены, тогда великие люди, бывшие до сих пор результатом слепого стечения обстоятельств, станут результатом деятельности законодателя; тогда, оставив меньше места случаю, совершенное воспитание сумеет бесконечно увеличить в больших государствах число талантливых и добродетельных людей.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

АББАС — епископ в Персии — 137.

АБДАЛЛАХ (ум. в 755 г.) — первый калиф в Дамаске из рода Абасидов, начавший свое правление с уничтожения членов рода Омейядов — 173.

АВГУСТ Кай Юлий Цезарь Октаевиан (30 г. до н. э. — 14 г. н. э.) — первый римский император — 36, 50, 76, 180, 217, 262, 264, 270, 345.

АВГУСТИН Аврелий (354—430) — один из самых крупных христианских богословов. Выдвинул учение о церкви как «вечном граде божьем», спасающем «души» избранных — 42, 130, 150, 274.

АВЕРРОЭС Ибн-Рогид (1125—1198) — крупнейший арабский философ, последователь Аристотеля, защищавший материалистическое учение о вечности материи. Отрицал творения «из ничего», бессмертие души, чудеса и т. п., подвергся за это гонениям — 51, 317.

АВИЦЕНА Ибн-Сина (980—1037) — крупный арабский философ, ортодоксальный последователь и комментатор Аристотеля — 317.

АВРИЦИЯ — римлянка — 259.

АГАМЕМНОН — легендарный микенский царь, один из участников Троянской войны — 137.

АРИС IV (245—241 до н. э.) — спартанский царь, за попытку привести передел земли в пользу мелких землевладельцев задушенный по приговору эфоров — 227.

АГРИКОЛА Гней-Юлий (40—93) — римский государственный деятель и полководец, укрепивший пошатнувшееся владычество римлян в Британии — 67, 225.

АДАМ, ЭНОХ и т. д. — библейские персонажи — 112.

АДИ — один из саффаридов, см. саффариды — 244.

АДИСОН Жозеф (1672—1719) — английский государственный деятель, писатель и критик, оказавший большое влияние на стилистику — 115.

АДОНИС — по греческой мифологии красавец-юноша, возлюбленный богини Афродиты — Венеры — 276.

АДРИАН (117—138) — римский император. Заложил г. Адрианополь во Фракии, соорудил канал от Стимфала до Коринфа и т. п. Адриан высоко ценил греческую литературу, способствовал развитию искусства, поэзии и философии — 41, 264.

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ (356—323 до н. э.) — македонский царь, завоевавший все персидское государство и создавший мировую монархию — 35, 37, 72, 77, 118, 129, 146, 172, 174, 243, 249, 261, 280, 288, 331, 345, 352.

АЛИЙ — зять мусульманского пророка Магомета, которого халиф Омар не допустил к верховной власти — 100.

АЛКИВИАД (451—404 до н. э.) — афинский полководец и государственный деятель, защищавший завоевательную политику. Был ревностным учеником Сократа — 22, 44, 66, 87.

АЛКМАН из Сард в Лидии (VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт, сочинявший на дорическом диалекте хоровые песни, гимны и эротические песни — 262.

АЛЬБАНИ Франческо (1578—1660) — художник болонской школы, с особым искусством рисовал идеальные сцены античных мифов — 276, 336.

АЛЬБОРАК — чудесный конь Магомета, на котором тот, согласно легенде, совершил ночное путешествие на небо — 240.

АМАДИС Гальский — герой знаменитого романа, написанного рядом авторов в XV в. Амадис сделался образцом верного и почтительного любовника — 103.

АМВРОСИЙ Миланский (род. ок. 340 г.) — епископ в Милане, боровшийся за независимость церкви — 9.

АМУР — имя бога любви у римлян — 280.

АМУРАД I (1319—1389) — турецкий султан, покоривший Македонию, Албанию, разбивший болгар, венгров, валахов — 100.

АМФИЛОХ (IV в.) — епископ, писавший против различных «ересей» — 244.

АНАКАГОР (ок. 500—428 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, выдвинувший учение о гомеомериях (частицах одинакового качества), образующих отдельные, качественно отличающиеся друг от друга тела (кости, золото и т. д.) — 272.

АНАСТАСИЙ Синант (между 640 и 700 г.) — один из наиболее известных богословов греко-восточной церкви, пытающийся ввести аллегорическое истолкование истории церкви — 99.

АНДРОМЕДА — по греческому сказанию, дочь эфиопского царя Кефая и Кассиопеи, возбудившая гнев переид, отданная в жертву дракону и спасенная Персием — 137.

АНГР или Кончино Кончили (убит в 1617 г.) — флорентийский барон, авантюрист, фаворит Марии Медичи. Маршал и министр при Людовике XII — 223.

АНТИГОН Гонат — македонский царь (283—239 до н. э.), боровшийся с Птоломеями — 261.

АНТИОХ (ум. в 216 г.) — философ, принадлежавший к школе циников в Сицилии, участвовавший в заговоре против Каракаллы и им казненный — 174.

АНТИОХ-Сотер (281—260 до н. э.) — сирийский царь — 228, 229, 239.

АНТОНИЙ Марк (83—31 до н. э.) — римский полководец, триумвир, перешедший на сторону египетской царицы Клеопатры — 195.

АНТОНИН — римский император (138—161) — 217, 264, 345.

АНПИС — священный бык, почитавшийся в древнем Египте — 12.

АПОЛЛОН — бог света, искусств и поэзии у древних греков и римлян — 87.

АППИЙ Клавдий — в 451 г. до н. э. был избран в денсемвиры, но за стремление к единовластию был посажен в тюрьму и там покончил самоубийством — 339.

АРЕЙ Дидим — философ стоической школы, один из учителей римского императора Августа, славившийся красноречием. Автор «Ерите» — 266.

АРИАНЕ — христиане, последователи учения Ария (IV в.), осужденного на вселенском соборе за отрицание тождественности первого и второго лица троицы — 130.

АРИОСТО Любовико (1474—1533) — крупнейший итальянский поэт эпохи Ренессанса, написавший поэму «Неистовый Ролланд» — 276.

АРИСТИД (540—457 до н. э.) — афинский политический деятель, лидер консервативной, крупноземельной партии — 87.

АРИСТИПП (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ, основатель Киренской (гедонической) школы, считавшей целью жизни наслаждение — 124.

АРИСТОТЕЛЬ (384—322 до н. э.) — один из величайших всеобъемлющих древнегреческих философов, творец логики, но смогший, однако, преодолеть идеалистического дуализма в своем учении о формах и материи, о первообразителе, целевом характере процессов. Аристотель оставил глубокие следы во всех областях знания. (См. о нем отзывы Марисса, Энгельса, Ленина.) — 30, 65, 82, 158, 201, 205, 230, 261, 262, 266, 269, 286, 308, 317.

АРМИДА — властительница волшебных замков в поэме Тассо «Освобожденный Иерусалим» — 274.

АРНО Антуан (1612—1694) — известный французский философ — картезианец и теолог, один из авторов логики Пор-Рояля. Вел борьбу против Мальбраша — 148.

АРТАБАН — герой романа «Клюп-патра» — 42.

АРХЕЛАЙ (V в. до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, ученик Анасанагора — 87.

АРХИЛОХ (VII в. до н. э.) — с о. Пароса знаменитый древнегреческий сатирический поэт, писавший ямбическим стихом. В древности его сравнивали с Гомером — 262, 266.

АРХИМЕД (род. в 287 г. до н. э.) — величайший математик древнего мира, вычисливший объем шара, цилиндра, конуса, отношение окружности к диаметру, основатель механики и изобретатель. Убит римлянами при взятии Сиракуз — 168.

АСТАРТА — богиня плодородия и любви и одновременно войны в древней Сирии — 208.

АСТРЕЯ — в греческой мифологии — богиня справедливости (Дике) — 185.

АТИС — мифический пастух, в казанье за обман превращенный в пень — 280.

АТЛАНТ или **АТЛАС** — в греческой мифологии — титан, превращенный в гору, поддерживающий небесный свод — 274.

АТРЕЙ — микенский царь, который, согласно легенде, мсти своему брату Фигесту, убил его сыновей и велел подать ему на стол приготовленные из них яства — 289.

АТРИДЫ — легендарный род греческих царей, к которому относили Агамемнона, Менелая — 105.

АТИЛЛА (ум. в 453 г.) — вождь гуннов, создавший огромное государство от Волги до Рейна — 346.

АФАНАСИЙ (298—373) — архиепископ в Александрии, возглавлявший борьбу с арианами — 130.

АФРОДИТА — богиня красоты у древних греков — 275.

АХИЛЛЕС — легендарный греческий герой, о котором рассказывается в «Илиаде» Гомера — 146.

Б

БАЛЬЗАК Жан Луи (1594—1654) — известный в свое время французский писатель, оказавший значительное влияние на французскую прозу, особенно своими «Lettres», и положивший основание ораторской прозе во Франции — 222, 233, 235, 334.

БАЛЬТА — индийский князь — 136.

БАНДИ — одна из богинь древнего мира — 86.

БАРДЕЦАНА или **ВАРДЕСАН** (род. в 153 г.) — сирийский философ, объяснявший возникновение греха свободной волей человека — 137, 209.

БЕЗ — очевидно один из первоначальных проповедников — 114.

БЕЛЛЬ Пьер (1647—1706) — крупнейший французский мыслитель-воль-

нодумец, боровшийся против церкви. Оказал влияние на философию «Прощения» XVIII в. См. отзыв Марка в «Святом семействе» — 91, 136.

БЕЛЛАРМИН Роберт (1542—1621) — ученый теолог-полемист, принадлежавший к ордену иезуитов — 136.

БЕЛУЛЬ — брат известного багдадского халифа Гарун-Аль-Рашида — 219.

БЕН-МАРВАН — один из приверженцев Саффаридов — 244.

БЕРНАРД Клервоцкий (1091—1153) — канонизированный римско-католической церковью церковный деятель средневековья, вдохновитель крестового похода 1146 г. — 105, 241.

БИРОН Шарль (1562—1602) — французский маршал, за участие в заговоре против Франции с герцогом Самосским приговорен парламентом к смерти — 253.

БЛЕТТРИ Жан-Филипп (1698—1772) — французский историк и писатель — 260.

БОГОМИЛ — болгарский поп, возглавлявший болгарских «еретиков» — богомилов, распространявших свое учение в X в. в Болгарии. Они учили, что мир был создан не богом, а сатаной — 130.

БОЖО Шевелье — очевидно, путешественник — 259.

БОЛИНБРОК (1678—1751) — известный английский государственный деятель и писатель. Приобрел популярность своей книгой «О пользе изучения истории» — 223.

БОСОВР Исаак (1659—1738) — протестантский теолог, боровшийся с лютеранами — 124.

БОССЮЭТ Жак Бенинь (1627—1704) — французский проповедник, историк и теолог, боровшийся с римским папой за самостоятельность французской церкви — 284, 292.

БРИДЭН Жак (1701—1767) — французский проповедник — 306.

БРУТ Луций Юний (ум. в 508 г. до н. э.) — создатель римской республики, не остановившийся перед казнью своих сыновей, вошедших в заговор против республики — 46.

БРУТ Марк Юний (85—42 до н. э.) — глава республиканских заговорщиков, убивших Юлия Цезаря — 170, 171, 212, 226, 253, 337, 339.

БУАЛО-ДЕПРЕО Николя (1636—1711) — известный французский поэт и критик, приобрел славу своими

«Сатирами» (лучшие: «Sur l'homme» и «A son esprit» и дидактической поэмой «L'Art poétique», своего рода кодексом изящного вкуса, считавшимся обязательным во французской литературе. Сатира Кантемира: «К уму моему» — подражание «A son esprit» — 147, 148, 271, 307.

БУАНДЕН Николя (1675—1751) — французский ученый и писатель — 172.

БУЗИРИС — мифический египетский царь, убивавший всех приезжающих в его государство иностранцев — 134.

БҮКЕЛЬСТ или **Беркельзоон Вильям** (ум. в 1397 г.) — голландский ученый, которому приписывается изобретение способа солить сельдь, что создало богатство страны — 72.

БУРВАЛЭ Поль Пойсон (ум. в 1719 г.) — французский финансист, наживший огромное состояние на откупах. Ему было посвящено много сатирических и памфлетов — 43.

БҮРГҮНДСКИЙ Луи, герцог — внука Людовика XIV и отец Людовика XV — 224.

БҮРДАЛУ Луи (1632—1704) — французский духовный оратор, занимавший кафедру реторики, философии и теологической морали в Буржской академии, проповедник, принадлежавший к ордену иезуитов — 103.

БЭКОН Фрэнсис (1561—1626) — знаменитый английский философ-материалист, родоначальник английского материализма и вообще опытных наук новейшего времени — 295, 302.

БЮДЭ — ученый — 272.

БЮФОН Жорж-Луи-Леклер, граф (1707—1788) — знаменитый французский естествоиспытатель, разъяснявший современное ему естествознание в своей «Histoire naturelle, générale et particulière» в 36 тт. — 8.

B

ВАКХ — древнеримский бог вина — 77.

ВАЛЕНТ — римский император (364—378), побежденный готами — 137.

ВАЛЬПОЛЬ Гораций (1712—1797) — английский государственный деятель и писатель — 236.

ВАНДОМ Луи Жозеф (1654—1712) — французский полководец Людовика XIV, приобретший извест-

ность в войне за «испанское наследство» — 176.

ВАРЕУРТОН — историк — 134.

ВАРРОН (III в. до н. э.) — римский консул, побежденный Ганнибалом в битве при Каннах — 75.

ВАСИЛИЙ Великий (329—378) — один из главных представителей православного богословия — 130, 244.

ВЕЛЕДА — римлянка — 259.

ВЕНЕРА — Урания или «небесная Афродита» — наиболее древний культ Афродиты-Венеры — 79.

ВЕНЕРА — богиня любви у древних римлян — 208.

ВЕРГИЛИЙ Публий В. Марон (70—19 до н. э.) — всемирно известный римский поэт, воспевавший патриархальный сельский труд, пастушескую жизнь, величие древнего Рима в произведениях: «Георгики», «Буколики» и знаменитой «Энеиде» — 41, 67, 140, 287, 357.

ВЕРЖЬЕ Николя Сильвестр (1718—1790) — французский твогол, писавший в частности против Гольбаха, Руссо и получивший резкую отповедь от Вольтера — 284.

ВЕРТО Ренэ (1655—1735) — французский историк, написавший «Histoire des révolutions de Portugal», «Histoire des révolutions des Suede» — 147.

ВЕРСАЛЬ — дворец под Парижем, служивший резиденцией для французских королей — 252.

ВЕСПАСИАН Тит Флавий (9—79) — римский император, с которого началась династия Флавиев — 174, 183, 217, 259, 260.

ВЕСТА — богиня огня в древнем Риме — 176, 207.

ВЕСТАЛКИ — жрицы богини огня Весты у древних римлян — 83.

ВЕТТУРИЯ — мать римского полководца Кордиолана, уговарившая его снять осаду с Рима — 146.

ВИТИНИУ — один из богов индийской религии, брахманизма — 122.

ВИЛЛАР (1653—1734) — французский маршал и дипломат, одержавший ряд военных побед — 75.

ВИЛЬГЕЛЬМ Завоеватель (1027—1087) — английский король, восшедший на престол Англии благодаря завоеванию ее с помощью нормандских вассалов — 10.

ВОЖЛА Клод Фаэр (1585—1650) — французский грамматик, написавший «Remarques sur la langue française», где изложил правила разговорной речи, главным образом придворной.

и великоеветской; не раз был осмеян Мольером за свое грамматическое крохоборство — 300.

ВОЛЬТЕР Франсуа Мари Аруэ (1694—1778) — французский философ-просветитель, драматург и поэт, знаменитый писатель; активный борец с феодализмом и церковью. Драматург и поэт, оставивший колossalное литературное наследство — 43, 77, 272, 292, 298, 339, 352.

ВОРМИУС Слаус (1588—1654) — профессор медицины, физики и греческого языка в копенгагенском университете — 255.

Г

ГАЛИЛЕЙ Галилео (1564—1642) — великий итальянский физик и астроном, один из творцов современного естествознания — 123, 146, 316, 320, 321.

ГАЛЛАНД Антуан (1646—1715) — французский ориенталист и нумизмат — 260.

ГАНИМЕД — в греческой мифологии сын царя Троя, похищенный богами на небо — 341.

ГАННИБАЛ (247—183 до н. э.) — знаменитый карфагенский полководец, разбивший римское войско при Тичино, Требии и Тразименском озере (217) и впоследствии разбитый Сципионом Африканским при Заме (202) — 50, 76, 172, 229, 235, 264, 272, 290, 345.

ГАННОН Великий (III в. до н. э.) — карфагенский полководец — 345.

ГАРДИ Александр (ок. 1580—1631) — французский поэт и драматург — 269.

ГАРНАГОН — главное действующее лицо комедии Мольера «Скупой» — 286.

ГАРУН-Аль-Рашид (786—809) — багдадский халиф, о котором возникло множество легенд, рассказанных в «Тысяча и одной ночи» — 219, 346.

ГАССЕНДИ Пьер (1592—1655) — французский философ-материалист, возродивший атомистику Эпикура — 152, 269.

ГВАСКО — аббат, адресат лорда Честерфильда — 292.

ГЕЙНЗИУС Данциль (1580—1655) — крупный голландский филолог и поэт, проф. греческого языка и истории в Лейдене, заслуживший известность обработкой текстов Ге-

сюда, Аристотеля и Теофраста — 41, 45.

ГЕЛОН — сиракузский тиран (491—478 до н. э.), победивший карфагинян — 228.

ГЕЛОНЫ — народ, живший в древности в восточной Европе — 209.

ГЕЛЬВИДИЙ Приск (I в.) — из Клуции, римский претор, придерживавшийся философии стоицизма, участник оппозиции Веспасиану и им казненный — 174, 217.

ГЕНРИХ II (1547—1559) — французский король, опиравшийся на протестантов — 48.

ГЕНРИХ III (1551—1588) — французский король, который сначала поддерживал католиков, а потом перешел на сторону протестантов — 137.

ГЕНРИХ IV (1589—1610) — французский король, с помощью крестьянства и буржуазии разгромивший феодальную «католическую лигу» — 161.

ГЕРАКЛИЙ (610—641) — византийский император, вел войны за сохранение империи, в частности, с персами — 243.

ГЕРАКЛИТ (VI в. до н. э.) из Эфеса — знаменитый древнегреческий философ, в основном стихийный материалист, основатель диалектического мирообъяснения, рассматривавшего вселенную как непрерывную борьбу противоположностей — 172.

ГЕРКУЛЕС — в греческой мифологии — герой, обладавший сверхчеловеческой силой, совершивший ряд труднейших подвигов — 341.

ГЕРМЕС — в древнегреческой мифологии бог, покровитель торговли — 275.

ГЕРМИОНА — дочь Менелая и Елены, обрученная с Неоптолемом, сыном Ахиллеса — 326.

ГЕРМОН — спартанский военачальник — 227.

ГЕРОДОТ (485—425 до н. э.) — знаменитый древнегреческий историк, получивший название «отца истории» — 113.

ГЕСНОД (VIII—VII в. до н. э.) — знаменитый древнегреческий поэт, написавший поэму «Труды и дни» и «Теогонию» — сказание о богах — 275, 308.

ГИЛАРИЙ (ум. в 367 г.) — один из «отцов церкви» — 9.

ГИМЕНТ — бог брака у древних греков — 283.

ГОББС Томас (1588—1679) — крупнейший английский философ, представитель механистического материализма. Выдвинул теорию государства, создаваемого общественным договором на основе самоограничения индивидуумов — 34, 295.

ГОМЕР — легендарный поэт, которому греки приписывали создание знаменитых поэм — «Илиады» и «Одиссеи» — 41, 106, 111, 140, 168, 266, 272, 303.

ГОРАЦИЙ Публий Коклес (одноглазый) — римлянин патрицианского рода, по преданию один защитивший мост на Тибре против этрусков (507 до н. э.) — 210, 357.

ГОРАЦИЙ Флакк Квинт (65—8 до н. э.) — знаменитый римский поэт, сын вольноотпущенника, проповедник житейской мудрости, ищущей счастья в спокойствии и умеренности желаний. Гл. соч.: «Сатиры», «Оды», «О поэтическом творчестве» — 41, 45, 50, 71, 76, 304.

ГОРДОН Александр (ум. в 1752 г.) — генерал русской службы, родом шотландец, написавший историю Петра I — 225.

ГОРУС — древнеегипетское божество — 293.

ГРИГОРИЙ Богослов (325—390) — один из главных апологетов православного богословия — 130, 137.

ГРИГОРИЙ VII Гильдебранд — наиболее известный римский папа (1073—1085) своими церковными реформами и борьбой с германским императором — 250.

ГРОЦИЙ Гуго (1583—1645) — знаменитый голландский юрист, основатель науки международного права — 21, 222, 350.

ГУСТАВ III Адольф (1611—1632) — шведский король и полководец, воевавший с Польшей, Данией, Россией, участвовавший в тридцатилетней войне — 76, 147, 179.

ГЮЛЕНС Жозеф (1721—1800) — французский синолог, член «Academie des Inscriptions» — 220, 343.

ГЮЛИСТАН — см. Саади — 48.

Д

ДАВИД Мелхолм, Саул — действующие лица одного из библейских преданий — 209.

ДАЛАМБЕР Жан Лерон (1717—1783) — крупный французский математик и философ, один из создателей знаменитой «Энциклопедии» — 43.

ДАМНИЕР (1652—1715) — английский мореплаватель, исследовавший острова Тихого океана — 9.

ДАНАИДЫ — по греческой мифологии были приговорены за убийство мужей наполнять бочку без дна водой в аду — 54.

ДАНВИЛЬ Вильям — французский поэт первой половины XVII в. — 332.

ДАРИЙ III Кодоман (336—330 до н. э.) — последний царь древней Персии, побежденный Александром Македонским — 146, 174, 270.

ДЕКАРТ Ренé (1596—1650) — знаменитый французский философ-дуалист, родоначальник рационалистической философии нового времени — 9, 22, 40, 69, 124, 126, 179, 248, 286, 295.

ДЕЛАНД Андре Франсуа Буро (1690—1757) — французский писатель — 9, 220.

ДЕМОКРИТ (V—IV в. до н. э.) — знаменитый древнегреческий философ-материалист, разработавший систему атомистического материализма. Ученый-энциклопедист, первым сделавший попытку систематизации знания — 172, 205.

ДЕМОСФЕН (383—322 до н. э.) — наиболее крупный из древнегреческих ораторов, боровшийся с Филиппом Македонским — 172, 288.

ДЕПОТЕР Жан (1460—1520) — считался в свое время лучшим грамматиком — 154.

ДЕПРЕО — французский поэт, учитель Расина — 300.

ДЕЦИЙ (340—279) — три римлянина, которые, по преданию, отдали себя богам ада, чтобы вымолить победу для Рима — 210, 213, 250, 339.

ДЖЕНГИР — называемый Гельвецием одним из основателей «Новой религии» — 99.

ДИАФУЛРУС — отец и сын, персонажи комедии Мольера «Мнимый больной», два совершенно невежественных врача — 328.

ДИКЕАРХ — полководец македонского царя Филиппа — 170.

ДИОГЕН (404—323 до н. э.) из Синопы, ученик Антисфена — широко известный древнегреческий философ-цинический, доведший до крайности преисребрение всеми жизненными удобствами — 119.

ДИОДОР Сицилийский (I в. до н. э.) — греческий историк, написавший всемирную историю от доисто-

рического периода до Юлия Цезаря — 136.

ДИОКЛЕТИАН (245—313) — римский император, проявлявший крайний деспотизм — 136.

ДИОНИСЕДОТ (IV в. до н. э.) — греческий историк, написавший историю Греции, начиная завоеваниями Филиппа Македонского — 266.

ДОМА ЖАН (1625—1696) — французский юрист, выдвинувший метод рассмотрения обычая и законов как следствий политической жизни — 56.

ДОМИЦИАН — римский император (81—96), проявивший крайний деспотизм в последний период своего правления — 217, 225, 346.

ДУИЛИЙ КАЙ — римский консул, одержавший первую морскую победу в 260 г. до н. э. над карфагенянами — 17.

ДЮБО — аббат — 262.

ДЮБУА Вильям (1656—1723) — кардинал и министр во время регентства герцога Орлеанского, заключивший союзы с Англией и Голландией — 287.

ДЮВЕРНЭ Жозеф Гюшар (1648—1730) — французский зоолог и анатом — 223.

ДЮГЭ-Труэн-Рено (1673—1736) — генерал-лейтенант морских сил, прославившийся во время войны Людовика XIV — 345.

ДЮКЛО Шарль Пино (1704—1772) — французский историк и моралист. Автор «*Considérations sur les moeurs de ce siècle*» — 229.

ДЮМОРЬЕ — французский историк — 345.

ДЮНУА ЖАН (1403—1468) — французский полководец, сподвижник Жанны д'Арк в войне с англичанами — 176.

ДЮПОРТ Франсуа-Иохим (1715—1759) — французский литератор, писавший по вопросам литературы, искусства, истории — 303.

ДЮПРЕ — французский артист — 181.

E

ЕВКЛИД (306—283) — великий греческий геометр, создатель системы геометрии — 157.

ЕВСЕВИЙ (267—340) — епископ в Цезарии, автор «Церковной истории» — 137, 209.

ЕВСТАХИЙ — церковник-дипломат при папском дворе — 73.

ЕЛИЗАВЕТА (1558—1603) — английская королева, при которой Англия достигла расцвета своего морского могущества — 345.

ЕПИФАНИЙ Кипренский (322—403) — финикиец, ставший епископом на о. Кипре и яростным обличителем «ересей» — 114.

Ж

ЖАК ПЬЕР — 204.

ЖАННЕН — 73.

ЖАФФЬЕ — 204.

ЖИЖКА ЯН (1360—1424) — вождь гусситов — 176, 272.

ЖОСС — один из персонажей Мольера — 323.

З

ЗАЛЕВК (VII в. до н. э.) — знаменитый законодатель эпизефирских локров в Нижней Италии, автор древнейших писанных законов — 176.

ЗАМОЛКСИС — легендарный законодатель древней Фракии, о котором рассказывает Гесиод — 176.

ЗЕНОН (IV—III в. до н. э.) — древнегреческий философ, основатель стоической школы — 261.

ЗИАД — правитель Басры, входивший в состав Багдадского халифата — 51.

ЗЛАТОУСТ Иоанн (347—407) — один из главных представителей православного богословия — 130.

И

ИЕРАКА — персонаж из оперы Люлли «Изис» — 286.

ИЕРЕМИЯ — один из иудейских пророков, которому приписывается сборник песен о разрушении Иерусалима — 113.

ИЗИДА — богиня любви и семейной жизни в древнем Египте — 207.

«ИЗИДА» — опера, написанная известным французским композитором Люлли — 286.

ИКРИМАХ — один из вождей саракинов — 241.

ИММАНУИЛ Иосиф — португальский король с 1750 по 1777 г., при котором фактическим правителем стал первый министр Помбаль — 335.

ИО — нимфа из оперы Люлли «Изис» — 286.

ИОАНН Фессалоникский — один из христианских писателей — 9.

НОВИАН — римский император с 363 по 364 г. — 219.

ИРИНЕЙ (ок. 130—202) — малазиатский грек, ставший епископом в Лионе. Один из главных борцов с «ересиями» — 9.

ИФИГЕНИЯ — легендарная гречанка — 137.

«**ИФИГЕНИЯ**» — трагедия Расина — 301.

K

КАВАССИ Жан-Антуан (ум. в 1692 г.) — итальянский миссионер в Конго — 84, 138.

КАЛАН — индийский гимнософист эпохи завоеваний Александра Македонского, который, чувствуя усталость от жизни, сжег себя на костре — 253.

КАЛИГУЛА Кай (37—41) — римский император, назначивший членом сената своего коня — 217, 346.

КАЛЛИКРАТИД — спартанский военачальник, побежденный и убитый афинянами в морском сражении в 406 г. до н. э. — 227.

КАЛХАС — легендарный греческий жрец, посоветовавший построить деревянного коня, с помощью которого была взята Троя — 137.

КАМИЛЛ (ум. в 365 г. до н. э.) — крупный римский полководец, победивший этрусков, галлов — 75.

КАМОЭНС Луис (1524—1580) — крупнейший португальский поэт, воспевавший в своих «Лузиадах» похождения знаменитого мореплавателя Васко-де-Гама — 144.

КАМПИСТРОН Жан Гальбар (1656—1723) — французский поэт и драматург, подражатель Расина — 284.

КАРАИБЫ — народность, живущая на Антильских островах — 138.

КАРАКАЛЛА Марк — римский император с 211 по 217 г., известный тем, что перебил 20 000 собственных придворных для укрепления своей власти — 217.

КАРЛ I (1625—1649) — английский король, казненный во время английской революции — 125.

КАРЛ II (823—877) — французский король, при котором произошло разделение французской империи Карла Великого — 235.

КАРЛ V (1337—1380) — французский король, отбравший у Англии захваченные французские провин-

ции, проведший реформу финансов — 137, 264, 294, 345.

КАРЛ IX (1560—1574) — французский король, допустивший организацию Варфоломеевской ночи — 262.

КАРЛ XII (1697—1718) — шведский король, разбивший союзное войско Польши, Дании и России, но побежденный затем Петром под Полтавой — 35, 72, 146, 168.

КАРНЕАД Киренский (215—130 до н. э.) — греческий философ-скептик, отрицавший возможность познания; родоначальник Третьей Академии — 10.

КАРРЕРИ Джузеppи (XVIII в.) — итальянский путешественник по Персии, Индии, Китаю, Палестине, Мексике — 86.

КАРТО Матье (ум. в 1609 г.) — французский протестантский теолог — 113, 287, 292, 293.

КАРТУШ Луи-Доминик Бургиньон (1693—1721) — разбойник, оперировавший со своей шайкой в Париже и его округе — 210, 288, 339.

КАССИЙ Гай — (I в. до н. э.) — римский политический деятель, участник заговора против Цезаря — 195.

КАТИЛИНА Люций (108—62 до н. э.) — римский политический деятель, глава неудачного заговора против сената — 107, 258, 279, 337.

КАТИЛИНАРИЙ — четыре знаменитых речи Цицерона против Катилины — 258.

КАТОН Марк Порций Старший (234—149 до н. э.) — римский цензор, требовавший уничтожения Карфагена как главного врага Рима, враг греческой философии и литературы и вообще всего греческого — 41, 171, 173, 177, 212, 253, 338.

КЕППЛЕР Иоганн (1571—1630) — знаменитый немецкий астроном, установивший три основные закона движения планет — 269.

КИНЕФОН с о. Хиоса (VI в. до н. э.) — греческий поэт и рапсод, принесший гомеровские песни в Сиракузы — 266.

КИНИКИ — последователи древнегреческой философской школы, основанной учеником Сократа Антисфеном — 94.

КИНО Филипп (1635—1688) — французский поэт и драматург, прославившийся главным образом своими либретто к операм Лялли — 148, 248, 250, 280, 286.

КИР (558—529 до н. э.) — персидский царь, основавший с помощью завоеваний огромное древне-персидское государство—125, 255, 261, 272.

КЛАВДИЙ I — римский император с 41 по 54 г.—238.

КЛАРК Самуил (1675—1729) — английский философ-моралист, картизианец, отрицавший, однако, вечность и бесконечность материи—27.

КЛЕОМЕН III (вторая половина III в. до н. э.) — спартанский царь, пытавшийся уничтожить рознь между классами, отнять излишек богатства у аристократии в пользу низших классов, произведший переворот в Спарте, в результате которого были уничтожены эфоры и распределена земля между бедными—230.

КЛЕОН Афинский — лидер демократической оппозиции в Афинах, избранный в 427 г. до н. э. в совет старейшин — «буле»—48.

КЛЕОПАТРА (51—30 до н. э.) — последняя египетская царица из династии Птоломеев, боровшаяся с Римом—52.

КЛЕРО Клод-Алексис (1713—1765) — крупнейший французский геометр и астроном, уже 18 лет был избран академиком—43.

КОДР (XI в. до н. э.) — последний афинский царь, который, согласно легенде, выполнив предсказания, убил себя, чтобы спасти Афины от завоевания дорианами—50.

КОЛЬБЕ — один из исследователей жизни диких племен—169.

КОЛЬБЕР Жан Батист (1619—1683) — министр Людовика XIV, способствовавший развитию промышленности Франции—248.

КОМНЕН — наиболее крупным деятелем из византийского рода Комненов был Алексей I — византийский император, защищавшийся от крестоносцев—345.

КОНДЭ Луи (1621—1686) — французский полководец, одержавший ряд побед в тридцатилетней войне, в войне с Испанией—36, 76, 126, 179, 181, 250.

КОНФУЦИЙ (551—478 до н. э.) — китайский мыслитель, основатель религии конфуцианства—76, 127, 264, 267.

КОРИОЛАН (V в. до н. э.) — римский полководец, который, будучи изгнан из Рима, перешел на сторону вольсков и осадил Рим—146.

КОРНЕЛЬ Нель (1606—1684) — основоположник французской классической трагедии—41, 43, 45, 67, 69, 77, 106, 107, 140, 179, 248, 250, 268, 269, 272, 279, 284, 285, 301, 336, 345, 352.

КОРТЕС Эрнандо (1485—1547) — испанский конкистадор, завоевавший Мексику—137, 240.

КОТИРРО — одна из богинь древнего мира—86.

КРАСС Марк Лукиан (115—53 до н. э.) — триумвир (в I триумвирате с Помпеем и Цезарем), подавивший в качестве претора восстание Спартака, известен своим громадным богатством—17, 211, 255.

КРЕВИЛЬОН Проспер Жолю (1674—1762) — французский драматург, автор трагедий, полных злодейств и ужасов, вследствие чего был прозван «le terrible» (ужасный)—72, 272, 298, 352.

КРОМВЕЛЬ Оливер (1599—1658) — один из наиболее крупных деятелей английской революции XVII в. протектор английской республики, соцерточчивший в своих руках диктаторскую власть—72, 180, 183, 192, 211.

КСЕНОДАМ — один из античных поэтов—262.

КСЕНОКРИТ — один из древнегреческих поэтов—262.

КСЕНОФОНТ (430—359 до н. э.) — греческий историк, афинянин, перешедший на сторону спартанцев, ученик Сократа, был сторонником аристократического строя Спарты. Главные произведения: «Анабазис», «Греческая история», «Меморабилии»—264, 345.

КСЕРКС I — персидский царь (486—465 до н. э.), предпринявший завоевание Греции, но разбитый греками — 125, 229.

КУРЦИЙ Марк — легендарный римский юноша из рода патрициев, который во время землетрясения в Риме (362 до н. э.), когда предсказатели объявили, что надо отдать самое дорогое для Рима, по преданию, в полном вооружении, на лошади бросился в трещину, созданную землетрясением—71, 198, 210, 310.

КУРЦИЙ Квинт (I в. н. э.) — римский историк, написавший «Историю Александра Великого» — 146.

Л

ЛАВА Жан Батист (1663—1738) — французский миссионер и путешественник, монах, доминиканец—84.

ЛАВОРД (XVII в.) — французский путешественник, пробывший долгое время на Антильских островах—124, 138.

ЛАБРЮЕР Жан (1645—1696) — известный французский писатель-моралист—126, 284.

ЛАКЕДЕМОН — одно из государств древней Греции—22.

ЛАМОТ де Вайер Франсуа (1588—1678) — французский писатель и ученый, написавший «L'instruction du Dauphin», принятый за это во французскую академию и назначенный воспитателем молодого Людовика XIV. Автор «Considérations sur l'éloquence française»—108, 111.

ЛАРОШФУКО Франсуа (1613—1680) — французский моралист, герцог, участник Фронды. В своих «Размышлениях и максимах» объяснял общественные процессы как результат проявления самолюбия людей, чем оказал большое влияние на Гельвецию—24, 25, 41, 60, 284.

ЛАФЕРТЕ Мария-Тереза (1715—1791) — французская маркиза, писательница. Противница энциклопедистов—43.

ЛАФОНТЕН Жан (1621—1695) — знаменитый французский баснописец, возродивший старинный жанр сатирических басен—67, 271, 274, 284, 285, 339.

ЛЕБЛАН Винсент (1554—1640) — французский путешественник, побывавший в Индии, Персии, Аравии, Палестине—123.

ЛЕБРЕН Шарль (1619—1690) — французский художник, работавший главным образом в области батальной живописи, декорировавший Версаль—248, 274.

ЛЕВКТРЫ — город в древней Беотии, в Греции—206.

ЛЕЙБНИЦ Готфрид Вильгельм (1646—1716) — один из крупнейших немецких философов и ученых — идеалист, создатель учения о нематериальных «монадах»—27, 34, 223, 293, 336.

ЛЕНОНТ Луи (ум. в 1729 г.) — иезуит, французский миссионер в Китае—136.

ЛЕКУВРЕР Адриена (1693—1730) — известная французская актриса—30.

ЛЕНТУЛ (ум. в 63 г.) — римский консул, участник заговора Катилины—279.

ЛЕОНИД (V в. до н. э.) — спартанский царь. В геройской битве с 300 спартанцев против целого персидского войска у Фермопил потерпел поражение благодаря измене предателя Эфиалта—199, 210.

ЛЕОПОЛЬД III (1351—1386) — австрийский эрцгерцог, побежденный и убитый швейцарцами—229.

ЛИКУРГ (IX в. до н. э.) — легендарный законодатель спартанского государства—79, 113, 127, 168, 175, 206, 207, 249, 264, 267.

ЛИТ-ЧИНГ — узурпатор китайского престола—340.

ЛОДБРОГ — один из скандинавских королей—240.

ЛОЗЕН Антуанат (1632—1723) — французский герцог, придворный Людовика XIV—315.

ЛОКК Джон (1632—1704) — знаменитый английский философ-дуалист и психолог, создатель эмпирической и сенсуалистической теории познания—22, 26, 30, 41, 69, 99, 110, 115, 152, 154, 257, 268, 269, 286, 295, 308.

ЛОНГРИЮ Луи де Жур (1651—1733) — французский аббат, автор ряда исторических сочинений—42, 136, 301, 303.

ЛУКИАН (120—180) — древнегреческий писатель-сатирик, высмеявший религию, метафизику—204, 248, 287, 288.

ЛУКРЕЦИЙ Кар Тит (98—55 до н. э.) — знаменитый римский поэт и философ-материалист, последователь учения Эпикура—50.

ЛУКУЛЛ Люций Люциний (106—57 до н. э.) — римский полководец 72.

ЛЮДОВИК XII (1498—1515) — французский король, ведший неудачные войны за овладение Италией 48.

ЛЮДОВИК XIII (1610—1643) — французский король—223.

ЛЮДОВИК XIV (1643—1715) — французский король—148, 224, 261, 274, 282.

ЛЮДОВИК XV (1715—1774) — французский король—48.

ЛЮ-ХОНГ-пань — китайский император из Ханьской династии

Ханьская династия существовала с 206 до н. э. по 25 г. н. э.—343.

ЛЮКСЕМБУРГ Франсуа-Анри (1628—1695) — французский маршал, сражавшийся под начальством Конде и одержавший ряд побед—60.

ЛЮЛЛИ Жан Батист (1633—1687) — крупнейший французский композитор, вместе с поэтом Кино создавший ряд опер по преимуществу на античные сюжеты — 148.

M

МАГОМЕТ (570—632) — основоположник мусульманской религии Ислама, провозглашенный своими последователями «пророком»—10, 72, 100, 240, 241, 243, 245, 269.

«**МАГОМЕТ**» — трагедия Вольтера — 292.

МАЗАРИНИ Джузеппе (1602—1661) — итальянец, сделавшийся фактическим регентом Франции и всеми силами старавшийся сохранить систему абсолютизма — 234.

МАКИАВЕЛЛИ Никколо (1469—1527) — итальянский государственный деятель и писатель, провозгласивший идеалом сильную централизованную государственную власть, для достижения которой допустимы все средства, независимо ни от каких моральных принципов — 42, 208, 272, 284.

МАККАВЕИ — по библейским преданиям, семья иудейских юношей, поднявших восстание и замученных в правление Антиоха-Епифана в 68 г. до н. э. — 249.

МАЛЕРБ Франсуа (1555—1628) — известный французский поэт, реформировавший французское стихосложение — 110, 302.

МАЛЬБОРО или Мальбрук Джон Черчиль (1650—1722) — английский генерал, способствовавший победе Вильгельма Оранского — 37.

МАЛИКОРН — шотландский король — 226.

МАЛЬБРАНШ Николай (1638—1715) — один из французских философов-идеалистов, учивший, что все вещи могут существовать и познаваться только в боже, так как только в нем могут существовать идеи о них — 8, 25, 30, 250, 293.

МАЛЬЯР Оливье (1440—1502) — французский теолог и проповедник — 105, 113.

МАНКО-КАПАК (X в.) — основатель государства Перу в Америке — 108.

МАРАФОНСКОЕ сражение — сражение на Марафонском поле, в котором греки одержали решающую победу над персами (490 г. до н. э.) — 177.

МАРАЧЧИ Луиджи (1612—1700) — итальянский ориенталист — 243.

МАРИЙ Гай (156—86 до н. э.) — римский полководец, одержавший ряд побед над германскими племенами — 176, 182, 210, 232, 339.

МАРИНИ Жан Филипп (1608—1677) — итальянский миссионер-иезуит, посланный в Тонкин — 168.

МАРСЕЛЬ (ум. в 1759 г.) — известный в свое время французский танцов — 29, 31, 350.

МАРЦИАЛ (42—102) — знаменитый римский поэт, в своих «Эпиграммах» (15 кн.) изображавший падение нравов времен разложения древнего Рима — 179.

МАТЕРН Фирмикус (XIV в.) — древнеримский писатель — 86.

МАХМУТ (970—1030) — могущественный мусульманский султан в Азии из династии Газни. Был ревностным распространителем Ислама — 126.

МЕДУЗА — в древнегреческой мифологии женщина-чудовище, у которой волосы были превращены в змей богиней Минервой — 202.

МЕНО Мишель (ум. в 1518 г.) — французский проповедник-францисканец, проф. богословия в Париже; над проповедями его издевался Вольтер — 103, 105.

МЕНЦИНИ Бенедетто (1646—1704) — итальянский поэт, служивший у Христины Шведской. Автор ряда морализующих сатир — 320.

МЕРИДОВО ОЗЕРО — «великое озеро» в древнем Египте, считавшееся одним из чудес света. Оно служило для регулирования наводнений Нила — 170.

МЕРКУРИЙ — бог торговли у древних римлян — 176.

МЕЦЕНАТ Гай Цильний — (ум. в 8 г. до н. э.) — римский общественный деятель, друг императора Августа, покровитель поэтов и художников (Бергиллия, Горация) — 36, 204.

МИЗОН — сын тирана Шена — 174.

МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО *Буонарротти* (1475—1564) — знаменитый итальянский художник и скульптор — 289, 336.

МИЛЛО — иезуит — 90.

МИЛЬТОН *Джон* (1608—1679) — знаменитый английский писатель-пуританин, автор поэм «Потерянный рай» и «Возвращенный рай» — 140, 142, 152, 217, 336.

МИНЕРВА — богиня мудрости у древних римлян — 176.

МИНОС — легендарный законодатель на острове Крите — 267.

МИШАПУР — фантастическое существо — 100—101.

МОГОЛ Великий — титул представителей династии монгольских завоевателей Индии с начала XVII в. до 1738 г. — 75, 192, 341.

МОЛОХ — божество у древних семитических народностей, которому приносились человеческие жертвы — 129.

МОЛЬЕР Жан Батист Поклен (1622—1673) — создатель новой буржуазной комедии, высмеивающей власть, духовенство и политический порядок старой Франции — 43, 111, 248, 250, 268, 284, 286, 336, 360.

МОНТЕКУКУЛИ Раймонд (1808—1881) — австрийский полководец — 74, 345.

МОНТЕСКЬЕ Шарль Луи (1689—1755) — всемирно известный французский политический писатель, давший широкий естественно-исторический анализ общественного законодательства, выдвинувший теорию разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную. Гл. соч. — «Дух законов» — 28, 90, 119, 223, 268, 293, 302.

МОНТЭНЬ Мишель (1533—1592) — крупный французский писатель и философ — умеренный скептик — 78, 150, 152, 269, 302, 314.

МОРИЦ — граф Саксонский (1696—1750) — полководец-авантюрист, начавший с борьбы против Людовика XIV и кончивший получением от него звания маршала — 264—345.

Н

НАВУХОДОНОСОР II (605—562) — вавилонский царь, при котором Вавилон достиг вершины могущества и богатства — 231.

НЕВИЛЬ Пьер Клодт (1692—1775) — французский теолог и проповедник — 306.

НЕПТУН — бог морей у древних римлян — 44.

НЕРВА — римский император с 96 по 98 г. — 96.

НЕРОН Клавдий Цезарь Друз (37—68) — римский император, свергнутый сенатом. «Прославился» своим развратом и жестокостями; убийствами матери, жены, мучениями христиан — 9, 134, 136, 217, 225, 260, 346.

НЕФТЕ — египетская царица — 39, 223.

НИКИФОР III Вотаниат — византийский император, (1078—81) один из самых неспособных, передавший управление своим любимцам — 241.

НИКОЛЬ Пьер (1625—1695) — французский теолог и моралист, написавший известное «Essais de morale et instructions théologiques» и вместе с Арно издавший «L'art de penser» — т. н. порроялевскую логику — 78, 110, 126.

НИНОН де Ланжло (1620—1705) — знатная дама, салон которой посещали все знаменитости эпохи — 30.

НУМА Помпилий — второй римский царь (715—672 до н. э.), который положил начало правовому и религиозному законодательству — 176.

НУШИРВАН — один из царей новоиранцев, из рода Сасанидов — 219.

НЬЮТОН Исаак (1643—1726) — великий английский физик и математик, открывший закон всемирного тяготения — 40, 126, 146, 268, 269, 286, 308, 336.

О

ОВИДИЙ Публий Назон (43 до н. э. — 17 н. э.) — знаменитый римский поэт, мастер легкого и изящного стиха, изобразивший почти всю древнюю мифологию в своих «Метаморфозах» — 50, 283.

ОГЕЛИУС — очевидно, пустыннественик — 259.

ОДИН — главный бог древних скандинавов — 240.

ОЗИРИС — главный бог древнего Египта — 293.

ОКТАВИЙ — имя, которое носил римский император Август до полу-

чения верховной власти — 167, 204, 210, 253, 290.

ОМАР-Ибн-Хаттаб (из дома Адиев) — мусульманский халиф с 634 по 644 г., при котором были захвачены Египет, Сирия, Месопотамия, Вавилон, половина Персии и т. д. — 100.

ОМЕЙЯДЫ — династия мусульманских калифов (VII—XI вв.) — 174.

ОРИГЕН (185—254) — христианский богослов, находившийся под влиянием гностицизма и осужденный как «еретик» — 9.

ОРЛЕАНСКИЙ Филипп II герцог (1674—1723) — регент во Франции во время несовершеннолетия Людовика XV — 48, 115, 330.

ОРМУЗ — сын Нуширвана. См. Нуширван — 219.

ОРФЕЙ — в греческой мифологии несравненный музыкант, очаровавший своей игрой даже диких зверей и божества — 250.

ОТТОН I — римско-германский император с 962 по 973 г. возглавивший т. н. священную Римскую империю — 314.

II

ПАЛОЮ — один из христианских писателей — 82.

ПАПИРИЙ Курсор — участвовал в последней самнитской войне, в 293 г. до н. э. разбил самнитов при Аквилонии — 211.

ПАРМЕНИОН — македонский полководец из аристократического рода, убитый в Мидии за участие в заговоре против Александра Македонского — 174, 175, 331.

ПАСКАЛЬ Блез (1623—1662) — известный французский математик и философ религиозно-идеалистического направления — 211, 250, 327.

ПЕЛЕЙ — в греческой мифологии отец Ахиллеса — 279, 287.

ПЕЛОПИД (ум. в. 364 г. до н. э.) — фиванский полководец, способствовавший изгнанию спартанцев из Фив в 378 г. до н. э. — 168, 250.

ПЕЛОННЕССКАЯ ВОЙНА — война между Афинами и Спартой (431—404 до н. э.), приведшая к упадку и разложению Афинской демократии — 86.

ПЕРИКЛ (490—429 до н. э.) — афинский государственный деятель, при котором афинская рабовладель-

ческая демократия достигла высшего расцвета («периклов века») — 175.

ПЕРИКЛИТ — один из древнегреческих поэтов — 262.

ПЕРИПАТЕТИКИ — ученики Аристотеля — 22.

ПЕТР I Великий (1672—1725) — первый всероссийский император — 126, 223, 224.

ПИГАЛЬ Жан Батист (1714—1785) — французский скульптор.

ПИЗАРРО Франиско (1478—1541) — испанский конкистадор, завоевавший Перу — 137.

ПИЛАД — в греческой мифологии друг Ореста, сын сестры царя Агамемнона — 326.

ПИРР — царь Эпира с 306 до 273 г. до н. э., победивший римлян, но с такими потерями, которые совершенно лишили его сил и привели затем к поражению — 76, 232.

ПИФАГОР с о. Самоса (VI в. до н. э.) — древнегреческий философ и математик. Основал аристократический религиозно-философский союз, боровшийся с демократией — 91, 113, 237, 263, 360.

ПЛАТОН (427—349 до н. э.) — философ-идеалист античного мира — 38, 44, 91, 206, 256, 302.

ПЛИНИЙ Старший Гай Секций (23—79 до н. э.) — знаменитый римский учений-энциклопедист, написавший «Естественную историю» — 217, 238, 258.

ПЛУТАРХ (40—120 до н. э.) — известный греческий писатель, из Хоронеи в Беотии, написавший биографии знаменитых людей древнего времени — 206, 230, 236, 237, 256.

ПОЛИМНЕСТ из Колофона — древнегреческий мастер игры на флейте — 262.

ПОМПЕЙ Гней (I в. до н. э.) — римский полководец, вел борьбу против цезаря, участник первого триумвирата — 334.

ПОНС де-Леоне (1528—1591) — один из лучших мастеров национальной прозы, монах и профессор саламаннского университета — 136, 139.

ПОНИЛЛИЙ Лонат — римский консул (172 до н. э.), наместник Лигурии, участвовал в войне с Персесом — 238.

ПОРТА — старое название сultской Турции — 361.

ПОРЦИЯ — дочь М. Катона Утического, жена М. Брута, покончила

СУЛЛА Луций Корнелий (138—78 до н. э.) — римский полководец, разбивший Митридата и захвативший диктаторскую власть над Римом — 171, 172, 177, 182, 211, 232, 270, 290.

СУФИЙ — персидский мудрец-аскет — 341.

СЦИПИОН Африканский Публий Корнелий (257—183 до н. э.) — римский полководец, разбивший Ганнибала — 36, 73, 177, 264, 272.

Т

ТАМЕРЛАН Тимур (1338—1405) — один из крупнейших мировых завоевателей, создавший огромную среднеазиатскую империю — 175, 254, 288, 346.

ТАМПЛИЕРЫ или **ТЕМПЛИЕРЫ** (храмовники) — духовно-рыцарский орден, организованный во время крестовых походов в XII веке — 137.

ТАРКВИНИЙ — два римских царя, правивших с 534 по 494 г. до н. э. — 46.

ТАССО Торквато (1544—1595) — всемирно известный итальянский поэт, автор рыцарской поэмы «Освобожденный Иерусалим» — 142.

ТАЦИТ Корнелий (55—120) — крупнейший римский историк из аристократического рода; основой исторического процесса считал борьбу человеческих страстей, соперничество, а также случайность. В своих произведениях: «История», «Анналы», «Агрикола» — дал критическую картину императорского правления. Его «Германия» — первое сочинение, посвященное германцам. Гельвеций по своим взглядам на исторический процесс близок к Тациту — 35, 67, 91, 137, 191, 217, 231, 255, 256, 257, 259, 260, 02.

ТЕЛЛЬБЕ Мишель (ум. в 1685) — фаворит Мазарини, назначенный секретарем военного министерства, затем канцлером — 235.

ТЕРАССОН Андрей (1669—1723) — французский проповедник — 108.

ТЕРПАНДР (VIII в. до н. э.) с о. Лесбоса — древнегреческий поэт, основатель классической музыки и лирической поэзии, эонийской и дорийской, усовершенствовавший лиру прибавлением к четырем ее струнам еще трех; ему приписывается введение новых, своеобразной хоровой лирики — 262.

ТЕРТУЛИАН Квинт Септимий (160—230) — христианский богослов, боровшийся со всяkim рациональным знанием — 9.

ТИБЕРИЙ Клавдий (14—37) — римский император — 225, 264.

ТИЛЛЕМОН Себастьян (1637—1698) — французский историк — 130.

ТИМИХА — легендарная пифагореянка — 171.

ТИМОЛЕОН (411—336) — греческий полководец и государственный деятель, низвергший тиранию и введший демократию в Сиракузах — 234.

ТИМОФЕЙ (446—357 до н. э.) — древнегреческий поэт и музыкант, автор лирических стихов и дифирамбов, считался одним из замечательных исполнителей на кифаре, усовершенствование которой приписывается ему — 262.

ТИРАДА — сиамская королева — 85.

ТИРЗИС — один из пастухов в «Эклогах» римского поэта Вергилия — 107.

ТИТ — римский император с 79 по 81 г. до н. э., разрушитель Иерусалима — 264.

ТКОНГ-ЧИНГ — китайский император — 340.

ТОМАС Кули Хан или **ТАХМАС** или **Надир-Шах**, **Надир-Кулы** (1688—1747) — известный персидский завоеватель, покоривший Афганистан и Индостан и создавший новое большое царство — 99, 225.

ТРАЗЕЙ (ум. в 65 г. до н. э.) — римский сенатор, приговоренный Нероном к смерти за участие в заговоре — 174, 217.

ТРАЯН (98—117 н. э.) — римский император, осуществивший ряд завоеваний и расширявший границы Римской Империи — 217, 220, 231, 258, 345, 346.

ТРИСТАН Л'Эрмит Франсуа (1601—1655) — французский поэт и драматург, автор нескольких трагедий: «Мариамна», «Смерть Сенеки» и др. — 269.

ТЮРЕНН Анри де ла Тур Д'Овернь (1611—1675) — крупный французский полководец, маршал, участник тридцатилетней войны и Фронды — 37, 60, 74, 76, 148, 179.

Ф

ФАЕРИЦИЙ — римский консул в 282 г. до н. э., славившийся своей

простотой и неподкупностью — 233.

ФАЛАРИД — тиран в Агригенте (вторая пол. VII в. до н. э.), прославившийся необыкновенной жестокостью, сжигавший людей в металлическом быке — 134.

ФАРАМОН — долго считался первым королем меровингов, хотя для этого нет достаточных исторических данных — 215.

ФАТИМА — жена Магомета — 243.

ФАЭТОН — по греческой мифологии сын бога солнца Гелиоса — 283.

ФЕМИДА — в древнегреческой мифологии дочь Урана и Геи — богиня правосудия и предсказаний, хранительница нравственности и всего строя жизни, изображалась с весами и завязанными глазами — 280.

ФЕМИСТИЙ (317—390 н. э.) — из Пафлагонии — философ-неоплатоник — 137, 219.

ФЕМИСТОКЛ (527—460 до н. э.) — один из наиболее крупных древнегреческих государственных деятелей, победитель при Саламине (480 г.), создал союз 35 греческих городогосударств, окружил Афины стенами, в 471 г. изгнан, обвиненный в измене и приговорен к смерти — 44, 177, 234, 242, 339.

ФИЕСКО Джуゼппо (1524—1547) — вождь неудавшегося заговора народной партии в Генуе — 290.

ФИЛИПП II (род. в 382 г. до н. э.) — Македонский царь, победитель афинян — 222, 261, 288.

ФИЛОКСЕН (435—380 до н. э.) — древнегреческий поэт и мыслитель, живший при дворце Сиракузского тирана — 224.

ФИЛОТ — сын Пармениона. См. Парменион — 331.

ФЛЕРИ Клодт (1640—1723) — историк церкви и член французской академии — 113.

ФЛЕШЬЕ Эспри (1632—1710) — французский проповедник и писатель, славившийся красноречием — 284.

ФОКИОН (400—317 до н. э.) — афинский полководец, противник демократии. После Ламийской войны был обвинен в измене и, приговоренный к смерти, выпил яд — 68, 250.

ФОЛАР Жан Шарль (1669—1752) — французский военный теоретик, работы которого считались в XVIII в.

классическими — 16, 176, 243, 246.

ФОНТЕН де Бертен Алексис (1705—1771) — французский математик — 43.

ФОНТЕНЕЛЬ Бернар (1652—1757) — известный французский писатель, популяризатор научных представлений, автор трагедий, комедий, басен и пр. Главные произведения «Dialogues des morts», «Разговоры о множестве миров» (пер. Кантемира) — 1, 2, 39, 44, 45, 60, 70, 71, 122, 123, 205, 250, 280, 285, 287, 295, 296, 298, 334, 337.

ФОРМЕЙ Жан-Анри Самюэль (1711—1797) — писатель, пастор и профессор богословия в Берлине, секретарь Берлинской академии наук; популяризовала лейбницианскую философию — 297.

ФРАНЦИСК I (1494—1547) — французский король — 262.

ФРЕРЕ Николай (1688—1749) — французский ученый — 260.

ФРИНИХ (VI — V до н. э.) — афинянин, один из древнейших греческих трагиков после Фесписа — 262.

X

ХИЛОН — один из семи греческих мудрецов — 47, 266.

ХРИСТИНА (1625—1689) — шведская королева, покровительствовавшая ученым и в частности Декарту — 37.

Ц

ЦВИНГЛИ Ульрих (1484—1531) — руководитель реформации в Швейцарии — 82.

ЦЕЗАРЬ Кай Юлий (102—44 до н. э.) — знаменитый римский полководец и государственный деятель, прославившийся своими многочисленными военными походами и победами. После победы над помпейянцами получил пожизненную диктаторскую власть, консульство на 10 лет и титул императора. Ввел юлианский календарь. Был убит республиканцами — 10, 36, 37, 50, 73, 99, 170, 182, 195, 196, 206, 211, 250, 251, 253, 256, 264, 267, 269, 270, 290, 294, 334, 339, 345, 352.

ЦЕРБЕР — в греческой мифологии многоголовый пес с хвостом и гривой из змей; охранял выход из Тартара — 318.

ЦЕРЕРА — в древнем Риме богиня плодородия, земледелия и брачной жизни, соответствующая Деметре у древних греков — 77.

ЦИНЦИНАТ Луций Квинкций — славившийся простотой и строгостью права; в 458 г. до н. э. был избран диктатором, освободил Рим от нападения эквов. Избран был вторично диктатором в 439 г.; подавлял восстание плебеев — 211.

ЦИЦЕРОН Марк Туллий (род. ок. 107 — ум. 43 до н. э.) — крупный римский государственный деятель, сенатор, консул, оратор и философ, оставил богатое литературное наследство — 70, 86, 91, 97, 113, 136, 171, 212, 236, 258, 272, 304, 345, 357.

Ч

ЧЕСТЕРФИЛЬД Филипп — английский лорд, крупный государственный деятель, состоявший в сношениях с Монтескье, Вольтером, Фонтенелем — 292.

III

ШАРДЕН (1643—1718) — французский путешественник — 136, 220.

Э

ЭГЕРИЯ — одна из нимф античной мифологии — 176.

ЭДУАРД Ланкастерский (1453—1471) — сын английского короля Эдуарда IV, убитый при попытке свергнуть отца с престола — 259.

ЭЙЛЕР Леонард (1707—1783) — знаменитый математик и физик — 43.

ЭЛИЗА — героиня романа «Кисопатра» — 42.

ЭНЕЙ — легендарный герой Троянской войны, считавшийся родоначальником римского народа — 318.

ЭПАМИНОНД (418—362 до н. э.) — фиванский полководец, освободил фиванцев от владычества лакедемония, разбив последних при Левктрах в 371 г. — 70, 176, 206.

ЭШАР Шарль — французский ученик конца XVII в. — 53.

Ю

ЮВЕНАЛ Децим Юний (60—140) — знаменитый римский поэт-сатирик — 41, 50.

ЮЛИАН Отступник (361—363) — римский император, пытавшийся противопоставить христианству культа солнца и античную культуру — 120, 124.

ЮМ Давид (1711—1776) — известный английский философ-идеалист, агностик и скептик — 15, 38, 113.

ЮНОНА — у древних римлян богиня — покровительница женщин и брака — 86.

ЮПИТЕР — главный бог-громовержец у древних римлян — 173, 176.

ЮСТИН (ум. ок. 165 г.) — христианский «святой», написавший «Апологию христианской религии» — 9.

Я

ЯКОВ и ИСАВ — по Библии, Исаев продал Якову первородство за чечевичную похлебку — 128.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Б

Бесконечность как отсутствие границ и принцип всего существующего — 24.

Богатство и знатность — 116.

Богатство и таланты — 116.

В

Вкус привычный — 298.

Вкус сознательный — 298.

Вкус верный — 299.

Внимание как создатель суждений — 154.

Внимание и ум — 155.

Все люди способны к вниманию — 156.

Все люди обладают вниманием достаточным, чтобы стать знаменитыми — 164.

Сила внимания пропорциональна силе страсти — 165.

Напряженность внимания в ранней юности — 354.

Воображение: значение величия, новизны, разнообразия и простоты для воображения — 142.

Независимость воображения от памяти — 152.

Воображение как создающее новое сочетание образов — 274.

Подчинение воображения опыту — 275—276.

Воспитание, невозможность одинакового воспитания — 146.

Отсутствие одинаковых условий воспитания — 147.

Всеобщее значение воспитания — 265.

Искусство воспитания — 356.

Воспитание обычных людей и гения — 357.

Общественное воспитание и правительство — 358.

Воспитание в монархических государствах — 359.

Задача совершенного воспитания — 362.

Вселенная: во вселенной все между собой связано — 97.

Г

Гений не является даром природы — 263.

Гениальные люди как продукт окружающих условий — 265.

Гений предполагает изобретение — 268.

Нет и не может быть гения универсального — 270.

Гений и интерес — 272.

Несправедливое отношение к гению — 345.

Гордость как зародыш добродетелей и талантов — 101.

Гордость как желание общественного уважения — 196.

Физическая чувствительность как основа гордости — 197—198.

Государство: страсти как «жизнь и душа» государства — 231.

Д

Деспотизм, необходимость трактата против деспотизма — 218.

Деспотизм и военщина — 219.

Самовласть царей есть деспотизм — 220.

Деспотизм разрушает представление о справедливости — 221.

Сущность деспотизма в разращении и пригнании душ — 224.

Презрение деспотизма и добродетели — 229.

Гибель деспотических государств империи — 230.

Деспотизму свойственно заглушать страсти — 231.

Деспотизм разъединяет интерес личный с интересом общественным — 234.

Деспотизм не может создать людей, выдающихся добродетелями или талантами — 362.

Добротель: нет совершенной добродетели — 32.

Зависимость добродетели от общего блага — 33.

Зависимость добродетели от интереса общества в целом — 50.

Добротель как стремление к всеобщему счастью — 79.

Добротели, основанные на предрассудке — 83.

Истинные добродетели — 84.

Добротель с философской точки зрения — 94.

Цели и средства добродетели — 98.

Религии не могут быть поддержкой для добродетели — 133.

Для добродетели фундаментом является личный интерес — 133.

Добротель и нравы эпохи — 135.

Добротель и чувственные удовольствия — 206.

Добротельный человек тот, чья сильная страсть согласуется с общественным интересом — 213.

Добротель как результат мудрости правительства — 233.

Бедность как создатель прекрасных добродетелей — 236.

От различия в государственном устройстве зависит любовь к добродетели — 239.

Дружба: нет дружбы без потребности — 199.

Дружба как непосредственный результат физической чувствительности — 203.

Ж

Желание есть действие страсти — 165.

Зависимость желания от надежды — 179.

Желание счастья — 453.

Желание богатства и желание почетей — 237.

Животные: физическая чувственность и память у животных — 3.

Различия физического строения человека и животного — 7—8.

Чувственность и память у животных — 8.

Смелость животных как следствие их потребностей — 251.

З

Заблуждение как незнание — 13.

Источник заблуждения страсти или незнание — 49.

Закон: относительная ценность закона — 81.

Реформы закона — 93.

Уничтожение старых законов — 99.

Личное честолюбие самый опасный законодатель — 99.

Надо относить все законы к общественной пользе — 101.

Договоры — первые законы — 185.

Знание: знание ума — 1, 350.

Знание необходимое — 357.

И

Идеи: Идеи полезные — 31.

Идеи вредные и безразличные — 31.

Идеи и страсти — 35.

Сходство и соответствие идей — 36.

Большинство людей испытывает сознательное уважение только к идеям, сходным с их собственными — 42.

Учение Декарта об идеях — 123.

Идеи поучительные и приятные — 43.

Еще возможно приобрести множество новых идей — 306.

Новое сочетание идей — 351.

Интерес как критерий уважения и презрения — 31.

Интерес есть единственный способ оценки честности и ума — 31.

Интерес относится ко всему, что может доставить удовольствие или избавить от страдания — 32.

Интерес изменяет вид всякого предмета — 34.

Для небольшого сообщества единственным критерием поступков человека является интерес — 47.

Всеобщий интерес — 57.

Частный интерес — 57.

Общественный интерес почти всегда отличен от интереса частных кругов — 65.

Мудрое управление почестями как средство объединения частных интересов — 239.

Искусство ниже природы — 142.

Истина полезна людям — 1.

Полезность истины для всех народов — 2.

Одни просвещенные люди знают всю цену истины — 2.

Истина есть нечто неделимое — 10.

Истина как вероятность — 10.

Истины замечаются и порождаются только при брожении противоположных мнений — 63.

Гонения за открытие истины — 122.

Открытие истины совершенно не требует большого напряжения внимания — 162.

Познание истины и мудрое недоверие к самому себе — 349.

M

Материя: под словом материей следует понимать лишь совокупность свойств, присущих всем телам — 23.

Метафизика: неправильное употребление слов и незнание их смысла как суть метафизики — 22.

Метод — есть средство для достижения поставленной себе цели — 6.

Мораль как наука — 4.

Правила морали и интерес — 94.

Законы, указываемые моралью — 94.

Мораль опирается на желание счастья человечества — 95.

Самолюбие как фундамент полезной морали — 132.

N

Наблюдение: не следует пользоваться ничем, кроме наблюдения — 23.

Ограниченнность наблюдения — 23.

Народ: зависимость превосходства народа от формы правления — 124.

Всякий народ считает добродетель даром природы — 126.

Для каждого народа существует некоторая физическая потребность — 193.

Народы, стонущие под игом неограниченной власти, могут иметь лишь кратковременные успехи — 231.

Народ-победитель есть народ с более сильными страстями — 231.

Пороки и добродетели народа как следствие законодательства — 233.

Нет народов, особенно одаренных добродетелью, умом и мужеством — 263.

Наука как сохранение в памяти фактов или чужих идей — 29.

Уважение к науке — 53.

Одна наука заполняет все душевые способности — 270.

Два разных рода науки, зависящие от их отношения к страстям — 337.

Нация, разделяется на два класса, из которых один утопает в излишествах, а другой нуждается в необходимом — 14.

Презирать какую-либо нацию всегда несправедливо — 124.

Нации могут существовать по взаимным договорам — 159.

Нации находятся в таком же отношении, в каком находились первые люди до образования общества — 160.

Сохранение себя в неизменном состоянии почти невозможно ни для одной нации — 160.

Нарушение договоров и вид разборок между нациями — 161.

Нравственность — нравственности и религия — 4.

Религиозная развращенность — 86.

Политическая развращенность — 87.

Наука о нравственности как наука о законодательстве — 101.

O

Общество есть лишь собрание отдельных лиц и в своих суждениях может руководиться только своим интересом — 30.

Общество признает и уважает только те достоинства, которые доказаны на деле — 69, 125.

Общества не могут сохраняться без законов — 159.

Так называемое избранное общество обычно малообразовано — 303.

Отдельные лица, составляющие общество, группируются в различные классы — 306.

P

Память есть не что иное, как длящееся, но ослабленное ощущение — 3.

Без внешней организации память была бы бесплодной способностью — 3—4.

Память есть лишь один из органов физической чувствительности — 4.

Только внимание может запечатлеть в памяти предметы — 150.

Память почти вполне производна — 150.

Большое неравенство способности памяти зависит от неодинакового внимания к развитию этого органа — 151.

Память как запоминание идей — 152.

Ум и память — 153.

Всякий нормально организованный человек одарен памятью с избытком — 153.

Природа как бытие, одарившее нас чувствами — 145.

Причинность: восхождение от фактов к причинам — 4.

Часто величайшие события — следствия едва заметных причин — 146.

Следствия всегда пропорциональны причинам — 244.

Просвещение: просвещение выгодно — 341.

Пространство, взятое отвлеченно, есть чистое ничто... рассматриваемое в теле есть то, что называется про-тяже-нием — 23.

R

Равенство и свобода как цель народов — 20.

Нарушение равенства — 185.

Революция: при революциях, которые пережили все народы на земле, общественный интерес оказывался не всегда в соответствии с интересом сильных мира сего — 127.

Религия является плодом узкого ума частного лица — 99.

Религия как суеверие и идолопоклонство — 105.

Религия и догмат фатализма — 133.

Гордость, заставляющая во всех религиях преследовать гениев — 317.

Роскошь как все ис безусловно необходимое — 13.

Вредность роскоши, основывающейся на неравномерном распределении богатства — 14.

Роскошь как создающая несчастье народ — 15.

Эпоха усиленной роскоши предшествует обыкновению эпохи падения и унижения — 16.

Роскошь делает народ жертвой деспотизма — 17.

Роскошь и деньги — 18.

Торговля предметами роскоши не увеличивает благосостояние — 20.

Один случай полезности роскоши — 21.

C

Самолюбие как присущее нам от природы чувство — 24.

Самолюбие, различно видоизмененное, производит как гордость, так и смиренение — 24.

Свобода человека состоит в свободном пользовании своими способностями — 25.

Философский трактат о свободе (воли) был бы трактатом о следствиях без причин — 26.

Свобода у англичан — случайный дар — 125.

Сила: сила и убеждения — 130.

Сила принадлежит большинству — 131.

Сила как соединение великого и страшного — 289.

Скука как общий двигатель — 166.

Скука как стимул для работы и мышления — 167.

Скупость как страх перед нищетой — 186.

Слава: почитание славы в бедных и воинственных республиках — 234.

Желание славы предполагает всегда желание быть полезным своему народу — 235.

Слава — выражение народной благодарности — 238.

Случай: случай, т. е. бесконечное множество событий, причину и сцепление которых мы не можем указать — 146.

Случай гораздо больше участвует в нашем воспитании, чем обычно думают — 146.

Случай как повод возникновения идей — 164.

Смелость как следствие потребностей, страстей — 251.

Справедливость: общий интерес и справедливость — 158.

Физическая чувствительность и личный интерес являются источником справедливости — 158.

Принципы справедливости — 159.

Законы справедливости и завоевания — 161.

Страдание: люди более чувствительны к страданию, чем к удовольствию — 290.

Страсти как источник заблуждений — 11.

Страсти двигатели просвещения — 12.

Страсти источник вражды — 53.

Страсти и ум — 96.

Страсти как стимулы творчества — 170.

Мы не знаем языка для страстей, которых мы не испытываем — 172.

Страсть к славе есть душа талантливых и гениальных людей — 178.

Страстные люди особенно способны к большим усилиям в произведении добродетели и гениальности — 181.

Только сила страсти сообщает на ту непрерывность внимания, с которой связана высокая талантливость — 182.

Некоторыми страстями мы отдаляем от природы, другими же же-

обязаны существованию обществ — 183.

Страсти существуют независимо от породившей их физической чувствительности — 185.

Сила страсти пропорциональна силе средств, употребляемых для возбуждения их — 239.

Полезность трактата об искусстве внушать страсть — 243.

Страсти могут достигать в нас степени чуда — 246.

Страсти способны превратить глупца в умного человека — 264.

Под страстью мы понимаем непрерывное течение однородных чувств — 277.

Страсть как подчинение одному желанию всех остальных — 278.

Наши нравы и форма нашего управления не позволяют нам отдаваться сильным страстям — 281.

Суждение есть усмотрение сходства и различия ощущений и идей — 5.

Суждение есть то же, что ощущение — 5.

Нет такого ложного суждения, которое не было бы следствием наших страстей или нашего невежества — 7.

Ложные суждения являются следствием случайных причин — 27.

Задержка в суждениях так же необходима, как стремительность — 27, 51.

Зависимость суждений от эмоций — 30.

Суждения частных лиц продиктованы личным интересом, а суждения целых народов — общим интересом — 31.

Правильность суждения ума заключается в ясном представлении об истинных отношениях между предметами — 148.

Счастье: истинный законодательный ум должен иметь в виду общее счастье — 20.

Желание счастья — самое сильное чувство, и оно свойственно всем людям — 163.

В основе желания счастья лежит физическое наслаждение — 191.

Счастье зависит исключительно от счастливой гармонии между нашим характером и обстоятельствами — 333.

T

Талант: исключающие друг друга таланты — 336—337.

Тела: невозможно точно доказать, что все тела совершенно бесчувственны — 23.

Тщеславие: люди связаны интересами своего тщеславия — 122.

Почти всегда советы даются тщеславием — 322.

У

Ум как самая способность мыслить — 3.

Все операции ума заключаются в способности замечать сходства и различия — 4.

Все люди одарены в сущности здравым, верным умом — 27.

Ум есть лишь совокупность мыслей — 27.

Ум, в отличие от науки, есть совокупность каких-либо новых идей — 29.

Люди должны рассматривать ум лишь... в его отношении к обществу — 30.

Ум как совокупность идей, интересных людям — 30.

Ум как привычка к полезным идеям — 35.

Ум в состоянии беспристрастия — 39.

Зависимость взаимного уважения от характера ума — 52.

Следует свой ум углублять, а не расширять — 58.

Знание человеческого ума как основа синхроничности — 68.

Декарт, приучивший человеческий ум к большому порядку и правильности — 76.

Презрение в вопросах ума различных эпох и стран — 103.

Ум модный — 109.

Ум истинный зависит от самой природы человека — 109.

Зависимость уважения к уму от различной формы правления — 114.

Просвещение увеличивает силу и деятельность всемирного ума — 140.

Разновидность идей, почитаемая всеми народами за ум — 140.

Умы столь же различны, как и тела — 145.

Умственное превосходство не связано с превосходством чувств — 149.

Начало изменчивости человеческого ума — 166.

Умственное неравенство зависит исключительно от различия в воспитании и от скрытого от нас и многообразного сплетения обстоятельств — 246.

Ум всегда предполагает изобретательность — 284.

Ум тонкий — 286.

Ум сильный — 291.

Светлый ум — 533, 535.

Глубокий ум есть свойство проницательного ума — 297.

Острота ума — 298.

Остроумие как занимательность — 300.

Остроумие и умозрение — 301.

Светский ум людей светских и придворных — 303.

Конкретно-чувственный образ светского ума — 307.

Ограниченност правильного ума — 309.

Правильный ум мало способствует развитию человеческого ума — 310.

Самообман правильных умов — 312.

Самолюбие мудрого человека — 326.

Различие ума и здравого смысла — 327.

Люди посредственные чувствуют себя ближе к здравому смыслу, чем к уму — 329.

Практический ум — 330.

Число идей, предполагаемых практическим умом, не велико — 332.

Связь практического ума с низостью характера — 332—333.

Лишь краткость человеческой жизни ограничивает ум — 336.

Требование от человека высокопоставленного живого и проницательного ума — 344.

Первичный материал нашего ума — 351.

Наилучшее применение ума — 355.

Ф

Философия: философы должны рассматривать предметы подобно законодателям — 94.

Ее идеи более возвышенны, чем религия — 105.

До обновления философии различные авторы писали невежественно и наивно — 105.

Смешны нападки на философов — 413.

Ограниченный человек видит в философии лишь собрание пустых и таинственных загадок — 301.

Х

Характер: в характере человека все связано между собой — 349.

Слабость характера следствие рожки — 107.

Ч

Честность как привычка к полезным поступкам — 32.

Иногда из двух людей более честен в своих поступках тот, кто охвачен меньшей страстью к добродетели — 33.

Честность определяется общественным интересом — 46, 48.

Неразумная честность есть честность намерений — 49.

Суждения (о честности) народа определяются исключительно соображениями выгоды — 71.

Честность я рассматриваю как осуществленную добродетель — 82.

Не может быть честности с точки зрения всего мира — 139.

Страх перед скучной и страданиями как стимул честности — 194.

Честолюбие: стремление к высокому положению основано на боязни страданий или жажде удовольствий — 189.

Чувствительность физическая есть способность получать различные впечатления, производимые на нас внешними предметами — 3.

Без внешней организации чувствительность была бы бесплодной способностью — 4.

Физическая чувствительность производит все наши представления — 4.

Тонкость чувств несколько не влияет на правильность суждений ума — 148.

Чувство как страсть наибольшей силы — 277.

Определенные страсти, образующие чувство — 277.

Всякое чувство состоит из множества отдельных чувств — 314.

Ошибки в отношении чувства — 314.

Источник ошибок чувства — 314.

Э

Этика должна рассматривать различные пороки как необходимые следствия различных форм привлечения — 91.

Этика должна слияться с политикой и законодательством — 94.

Соотношение ума и души в этике — 94.

Этика и науки — 97.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От издательства	III
Предисловие	4
РАССУЖДЕНИЕ I	
Об уме самом по себе	

В этом рассуждении доказывается, что *физическая чувствительность и память являются причинами, производящими все наши представления, а все наши ложные суждения являются следствиями наших страстей или нашего невежества.*

Глава I. Изложение принципов	3
Глава II. О заблуждениях, вызываемых страстями	11
Глава III. О недостаточном знании	12
В этой главе доказывается, что второй источник наших ошибок — незнание фактов, от сравнения которых зависит в любой области правильность наших решений.	
Глава IV. О неправильном употреблении слов	22
Несколько примеров ошибок, вызванных незнанием истинного значения слов.	
Из этого рассуждения явствует, что <i>стремления и невежество являются источниками наших заблуждений, что все наши ложные суждения являются следствиями случайных причин, и для их объяснения незачем предполагать в уме существования способности суждения, отличной от способности ощущения.</i>	

РАССУЖДЕНИЕ II

Об уме по отношению к обществу

В этом рассуждении автор ставит себе целью доказать, что *интерес, влияющий на наши суждения о поступках и заставляющий считать их добродетельными, порочными или дозволенными, в зависимости от того, полезны, вредны или безразличны они для людей, влияет и на наши суждения об идеях; таким образом, как в вопросах морали так и в вопросах ума нашими суждениями руководит только интерес; оценить все значение этой истины можно, только рассмотрев добродетель и ум с точки зрения: во-первых, *отдельного лица*; во-вторых, *небольшого сообщества*; в-третьих, *народа*; в-четвертых, *различных веков* и *различных стран*; в-пятых, *вселенной*.*

Глава I. Общая идея	29
Глава II. О честности по отношению к отдельному лицу	32
Глава III. Об уме по отношению к отдельному лицу	35
Здесь доказывается на основании фактов, что в других людях мы уважаем только те идеи, уважать которые в наших интересах.	
Глава IV. О том, что мы необходимо должны уважать в других только себя самих	39
В этой главе доказывается, что личность и тщеславие заставляют нас соразмерять уважение, которое мы оказываем идеям других людей, с тем, насколько эти идеи сходны с нашими и соответствуют им.	

Г л а в а V. <i>О честности по отношению к отдельному сообществу</i>	46
Задача этой главы — доказать, что отдельные сообщества называют добродетельными только те поступки, которые им полезны, а так как интерес этих сообществ часто противоположен общему интересу, то они часто называют добродетельными поступки, вредные для общества; хвалил такие поступки, они часто сворачивают самых порядочных людей с пути добродетели.	
Г л а в а VI. <i>О средствах утвердиться в добродетели</i>	48
В этой главе указывается, каким способом можно отражать внушиения отдельных сообществ, противиться их соблазнам и сохранять добродетель непоколебимой от влияния тысячи частных интересов.	
Г л а в а VII. <i>Об уме по отношению к отдельным сообществам</i>	52
Общества взвешивают на одних и тех же весах идеи и поступки людей. А так как интерес этих сообществ не всегда согласуется с общим интересом, то понятно, что они должны высказывать об одних и тех же предметах суждения весьма отличные от суждений общества.	
Г л а в а VIII. <i>О разнице между суждениями народа и суждениями отдельных сообществ</i>	57
Соответственно различию, существующему между суждениями общества в целом и суждениями отдельных сообществ, это последние, как доказывается в настоящей главе, должны чувствовать большее уважение к так называемому <i>хорошему тону и светскому обращению</i> .	
Г л а в а IX. <i>О хорошем тоне и о светском обращении</i>	60
Народ не может чувствовать к хорошему тону и светскому обращению такое же уважение, как частные сообщества.	
Г л а в а X. <i>Почему человек, которым восхищается народ, не всегда бывает уважаем светскими людьми</i>	66
Доказывается, что в этом отношении различие между суждениями общества в целом и частных сообщества зависит от различия их интересов.	
Г л а в а XI. <i>О честности по отношению к народу</i>	71
Из изложенных выше принципов следует, что общий интерес руководит суждениями общества в целом о поступках людей.	
Г л а в а XII. <i>Об уме по отношению к народу</i>	71
В этой главе доказывается, что уважение общества в целом к идеям людей всегда пропорционально тому, насколько ему выгодно их уважать.	
Г л а в а XIII. <i>О честности в различные эпохи и у различных народов</i>	78
В этой главе доказывается, что различные народы во все эпохи и во всех странах называли добродетельными только те поступки, которые были полезны им или которые они считали таковыми. Чтобы лучше осветить этот вопрос, в этой главе различаются два вида добродетелей.	
Г л а в а XIV. <i>Добротели, основанные на предрассудке, и истинные добродетели</i>	83
Под добродетелями, основанными на предрассудке, подразумеваются такие добродетели, точное соблюдение которых никаким образом не способствует общественному благу, а под истинными добродетелями — такие, которые обеспечивают счастье народа. Соответственно этим двум различным видам добродетели различаются в этой главе	

и два вида *развертывания нравов; религиозный разврат и моралистический разврат*; понимание этого может пролить новый свет на науку о нравственности.

Г л а в а XV. Какую пользу может принести этике знание принципов, установленных в предыдущих главах	91
В этой главе доказывается, что пороки и добродетели людей зависят от больших или меньших достоинств законодательства и что большинство моралистов, описывавших пороки, кажется, больше вдохновлялось личными интересами и ненавистью, чем любовью к общественному благу.	
Г л а в а XVI. О лицемерных моралистах	95
Развитие установленных выше принципов.	
Г л а в а XVII. О преимуществах, вытекающих из установленных выше принципов	97
Эти принципы дают частным лицам, народам и даже законодателям более ясные идеи о добродетели, облегчают реформы законов, учат нас тому, что наука о нравственности есть не что иное, как наука о законодательстве, и, наконец, указывают нам средства сделать народы более счастливыми, а государства более прочными.	
Г л а в а XVIII. Об уме, рассматриваемом по отношению к различным векам и странам	102
Указание того, что будет рассмотрено в следующих главах.	
Г л а в а XIX. Уважение к различным видам ума во все времена пропорционально связанной с ними выгоде	108
Г л а в а XX. Об уме, рассматриваемом по отношению к различным странам	114
Согласно плану настоящего рассуждения, следует доказать, что у всех народов интерес определяет степень уважения, оказываемого идеям людей, и что народы, следя за всегда интересам своего тщеславия, уважают в других народах только идеи, сходные с их собственными идеями.	
Г л а в а XXI. Взаимное презрение народов зависит от их тщеславия	120
Сначала доказывается, что народы презирают в других народах нравы и обычай, отличные от их собственных; далее доказывается, что тщеславие заставляет их рассматривать как дар природы пре восходство некоторых из них над другими народами, которым в действительности они обязаны своему государственному устройству.	
Г л а в а XXII. Почему народы считают даром природы качества, которыми они обязаны форме правления	124
В этой главе доказывается, что тщеславие так же руководит народами, как и отдельными людьми; что все повинуются закону интереса и что если послушны этому интересу народы не питаются к науке о нравственности того уважения, которое они должны были бы к ней питать, то потому, что она еще только рождается и поэтому кажется совсем бесполезной для человечества.	
Г л а в а XXIII. О причинах, задерживающих до сего времени прогресс этики	127
Г л а в а XXIV. О средствах усовершенствования этики	131
Г л а в а XXV. О честности по отношению ко всему миру	139
Г л а в а XXVI. Об уме по отношению ко всему миру	140
В этой главе доказывается, что существуют идеи, полезные для всего мира, и это единственные идеи, которые могут заслужить уважение всех народов.	

Вывод из этого рассуждения тот, что интерес есть единственный источник уважения и презрения, оказываемых поступкам и идеям людей.

РАССУЖДЕНИЕ III

Об уме

Следует ли считать ум даром природы или же результатом воспитания?

Чтобы ответить на этот вопрос, в этом рассуждении исследуется, одарила ли природа людей одинаковыми умственными способностями или же она была в этом отношении более благосклонна к одним, чем к другим; затем рассматривается, имеют ли все, в среднем нормально организованные люди, физическую возможность подняться до самых высоких идей, если ими руководят мотивы, достаточные для того, чтобы превозмочь утомительность прилежания.

Г л а в а I. 445

В этой главе доказывается, что если природа одарила различных людей не одинаковыми умственными способностями, то только в том отношении, что она дала некоторым более тонкие чувства, более обширную память и большую способность к вниманию, чем другим. После такого упрощения вопроса в следующих главах рассматривается, какое влияние оказывает на ум людей различие, какое природа могла положить между ними в этом отношении.

Г л а в а II. *О тонкости чувства* 448

Г л а в а III. *Об обширности памяти* 450

Г л а в а IV. *О неодинаковой способности внимания*. 455

В этой главе доказывается, что природа одарила всех людей, в среднем нормально организованных, степенью внимания достаточной, чтобы подняться до самых высоких идей; далее указывается, что внимание — утомительный труд, от которого люди всегда стараются избавиться, если их не одушевляет страсть, превращающая этот труд в удовольствие; что, следовательно, вопрос сводится к тому: все ли люди способны от природы к страсти настолько сильным, чтобы проявлять ту степень внимания, с которой связано умственное превосходство? Чтобы ответить на этот вопрос, в следующей главе рассматривается, какие силы движут нами.

Г л а в а V. *О силах, воздействующих на нашу душу* 466

Эти силы сводятся к двум: одну нам сообщают сильные страсти, другую — отвращение к скуче. В данной главе рассматривается действие этой последней силы.

Г л а в а VI. *О могуществе страсти* 470

Здесь доказывается, что страсти внушают нам героические поступки и самые высокие идеи.

Г л а в а VII. *Об умственном превосходстве людей, охваченных страстью, по сравнению с людьми рассудительными*. 474

Г л а в а VIII. *Люди становятся тупыми, когда они перестают быть охваченными страстью* 479

После того как было доказано, что страсти вырывают нас из состояния лени и апатии и сообщают нам ту непрерывность внимания, какая необходима для достижения самых высоких идей, остается рассмотреть, все ли люди способны к страсти вообще и к той степени страсти, которая нам сообщает эту непрерывность внимания. Чтобы выяснить это, следует рассмотреть происхождение страстей.

Г л а в а IX. *О происхождении страстей* 483

В этой главе доказывается, что все страсти происходят из любви к удовольствию и страха перед страданием и, следовательно, из фи-

зической чувствительности. Для примера разбираются страсти, наиболее, повидимому, не зависимые от этой чувствительности, а именно: склонность, честолюбие, гордость и дружба.

Глава X. О склонности 186

Доказывается, что эта страсть основывается на любви к удовольствиям и на страхе перед страданием, и указывается, каким образом склонность, разжигая в нас жажду наслаждений, в то же время постоянно лишает нас их.

Глава XI. О честолюбии 188

Применение тех же принципов, доказывающих, что те же мотивы, которые побуждают нас стремиться к богатству, заставляют нас добиваться и высокого положения.

Глава XII. Почему удовольствие так часто ускользает от честолюбца, если он ищет высокого положения только для того, чтобы избавиться от страданий, или для того, чтобы наслаждаться физическими удовольствиями . . . 192

Дается ответ на это возражение и доказывается, что с честолюбием дело обстоит так же, как и со склонностью.

Глава XIII. О гордости 195

В этой главе доказывается, что мы желаем быть достойными уважения только для того, чтобы быть уважаемыми, а этого последнего мы желаем только для того, чтобы пользоваться теми выгодами, которые нам доставляет уважение и которые всегда сводятся к физическим наслаждениям.

Глава XIV. О дружбе 199

Дальнейшее применение тех же принципов.

Глава XV. О том, что боязнь физических страданий и эгоизма физических наслаждений могут заискачать в нас всякого рода страсти 206

Чтобы подтвердить доказанную в предыдущих главах истину, — что все наши страсти имеют источником физическую чувствительность, — в этой главе доказывается, что законодатели могут, прибегая к помощи физических наслаждений, вожигать в сердцах людей всякого рода страсти. Однако, соглашаясь даже с тем, что все люди способны к страсти, можно было бы предположить, что они могут быть неспособны к той степени страсти, которая необходима, чтобы подняться до самых высоких идей; это мнение можно было бы подтвердить ссылкой на пример нечувствительности некоторых народов к страсти славы и добродетели; поэтому здесь доказывается, что равнодушные некоторых народов к этим страсти зависят от случайных причин, как, например, от особой формы правления.

Глава XVI. Какой причине следует приписать равнодушие некоторых народов к добродетели 210

Чтобы ответить на этот вопрос, автор исследует смещение в каждом человеческом пороков и добродетелей, механизм его страстей, какое понятие следует связывать со словом добродетельный; при этом оказывается, что равнодушие некоторых народов к добродетели следует приписать не природе, а особенностям их законодательства. Чтобы пролить больше света на этот вопрос, автор разбирает, в частности, деспотическую форму правления, свободные государства и, наконец, различные следствия, вытекающие из различных форм государственного устройства. Он начинает с деспотизма и, чтобы лучше понять природу его, рассматривает, под влиянием какого мотива в человеке занимается необузданное стремление к самовластию.

Г л а в а XVII. О стремлении всех людей к деспотизму, о средствах достижения этого и об опасности от деспотизма для государей	216
Г л а в а XVIII. Главные следствия деспотизма	221
В этой главе доказывается, что визири не имеют никакого интереса к просвещению и поэтому не выносят критики, что эти визири, взятые из среды граждан, не имеют при вступлении в должность никаких принципов справедливости и управления и не могут составить себе ясных представлений о добродетели.	
Г л а в а XIX. Второе следствие деспотизма: презренное и уничижительное состояние народов поддерживает невежество визирий	224
Г л а в а XX. Третье следствие деспотизма: презрение к добродетели и ложное уважение, которое стараются к ней выражать	226
Здесь доказывается, что в деспотических государствах добродетель в сущности презирают, а уважают только ее название.	
Г л а в а XXI. Четвертое следствие деспотизма: гибель государства, находящихся под неограниченной властью	230
После того как было доказано, что отступление и подлость большинства народов, подчиненных деспотической власти, являются причиной гибели деспотических государств, приходится заключить, что равнодушие некоторых народов к добродетели зависит исключительно от их особой формы правления, а чтобы ничего не осталось невыясненным в этом вопросе, автор рассматривает в следующих главах факторы, приводящие к противоположным результатам.	
Г л а в а XXII. О любви некоторых народов к славе и к добродетели	232
В этой главе показывается, что во всех государствах любовь к славе и к добродетели зависит от умения законодателя связать общие интересы с частными, причем в одних государствах это легче сделать, чем в других.	
Г л а в а XXIII. О том, что государства бедные всегда больше любили славу и были богаче великими людьми, чем государства богатые	235
В этой главе доказывается, что появление великих людей во всех государствах есть необходимое следствие наград, которыми в них поощряют крупные таланты и великие добродетели; таланты же и добродетели нигде не вознаграждаются так хорошо, как в бедных и воинственных республиках.	
Г л а в а XXIV. Доказательство этой истины	237
В этой главе дается только доказательство положения, высказанного в предыдущей главе. Из него можно сделать следующее заключение: то, что в этой главе говорится о любви или о равнодушии некоторых народов к славе и к добродетели, может быть применено ко всякою рода страстям, откуда следует заключить, что неодинаковую степень склонности к страстям у различных народов нельзя приписать природе. Эта истина подтверждается в следующих главах, где доказывается, что сила страстей в людях всегда пропорциональна силе средств, употребляемых для возбуждения их.	
Г л а в а XXV. О точном соотношении между силой страстей и размерами ожидаемых наград	246
• Указав на точность этого соотношения, автор рассматривает, до какой степени силы может быть доведен энтузиазм страстей.	

Глава XXVI. К какой степени страсти способны люди

В этой главе доказывается, что страсти могут быть искушены до невероятной степени и что, следовательно, все люди способны к степени страсти достаточной, чтобы побороть их леность и дать им ту непрерывность внимания, с которой связано умственное преисходство; таким образом, замечаемое в людях значительное умственное неравенство зависит от различия в их воспитании и от скрытого от нас и многообразного сплетения обстоятельств, в которых они находятся. В следующих главах рассматривается, соответствуют ли факты этим принципам.

Глава XXVII. Об отношении между фактами и высказанными принципами

Прежде всего в этой главе указывается, что многочисленные условия, стечание которых абсолютно необходимо для создания знаменитого человека, так редко встречаются все вместе, что даже при предположении, что все люди обладают одинаковыми умственными способностями, первоклассные гении должны быть действительно редкими. Далее доказывается, что истинную причину умственного неравенства следует искать в свойствах нравственного порядка и совершенно напрасно приписывать ее влиянию температуры различных климатов и стараться объяснить физическими причинами множество политических явлений, легко объясняемых причинами нравственного порядка. Таковы, например, завоевания, сделанные северными народами, рабство народов восточных, склонность этих же народов к аллегориям и, наконец, превосходство некоторых народов в известных отраслях науки и искусства.

Глава XXVIII. Завоевание северных народов

В этой главе показывается, что завоевания, сделанные северными народами, следует приписать исключительно причинам нравственного порядка.

Глава XXIX. О рабстве и о способности к аллегориям у восточных народов

Применение тех же принципов.

Глава XXX. О превосходстве некоторых народов в различных отраслях науки

Наиболее прославились в искусствах и науке те народы, у которых эти науки и искусства были наиболее уважаемы; следовательно, причину умственного неравенства следует искать не в различии температуры разных климатов, а в условиях нравственного порядка.

Общий вывод из этого рассуждения тот, что все в среднем нормально организованные люди обладают физической возможностью достигать самых высоких идей; замечаемые же в людях умственные различия зависят от различных обстоятельств, в которые они поставлены, и от того, что они получают различное воспитание. Этот вывод указывает на огромное значение воспитания.

РАССУЖДЕНИЕ IV**О различных наименованиях ума**

Чтобы дать точное представление об уме и его природе, автор предполагает в этом рассуждении связать с различными наименованиями ума точные идеи.

Глава I. О зени*** Глава II. О воображении и о чувствах**

<i>Глава III. Об уме</i>	283
<i>Глава IV. Об уме тонком и об уме сильном</i>	286
<i>Глава V. Об уме светлом, об уме обширном, об уме проницательном и о вкусе</i>	294
<i>Глава VI. Об остроумии</i>	299
<i>Глава VII. О светском уме</i>	303
<i>Глава VIII. Об уме правильном</i>	309
В этой главе доказывается, что для решения сложных вопросов недостаточно иметь правильный ум; надо, чтобы он был, кроме того, обширный; что вообще люди склонны гордиться правильностью своего ума и отдавать ей преимущество перед гениальностью; что вследствие этого они считают себя выше людей талантливых и думают, что, признавая это, они отдают себе только должное, а не замечают, что впадают в это заблуждение вследствие ошибки чувства, которая свойственна почти всем людям и причины которой полезно указать.	
<i>Глава IX. Ошибки чувства.</i>	314
В этой главе намечается содержание двух следующих глав. Здесь только указывается, как трудно познать самого себя.	
<i>Глава X. До какой степени мы подвержены ошибкам на счет движущих нами мотивов</i>	314
Развитие сказанного в предыдущей главе.	
<i>Глава XI. О советах</i>	321
В этой главе рассматривается, почему люди так любят давать советы и так слепы относительно мотивов, побуждающих нас их давать, а также в какие заблуждения может иногда повергать людей незнание самих себя. В конце главы указываются некоторые средства, способные облегчить нам познание самих себя.	
<i>Глава XII. О здравом смысле</i>	327
<i>Глава XIII. Практический ум</i>	330
<i>Глава XIV. Об исключающих друг друга качествах ума и души</i>	336
После того как мы попытались в предыдущих главах связать ясные представления с большей частью названий, даваемых уму, полезно узнать, какие умственные качества исключают друг друга по природе и какие несовместимы вследствие противоположности связанных с ними привычек. Этот вопрос разбирается в данной главе и в следующей, в которой главным образом указывается, как несправедлива в этом отношении публика к гениальным людям.	
<i>Глава XV. О несправедливых требованиях общества</i>	343
В этой главе автор останавливается на рассмотрении свойств, взаимно исключающих друг друга, только для того, чтобы указать людям, каким образом они могут извлечь наибольшую выгоду из своего ума.	
<i>Глава XVI. Метод определения того, к какой области занятий мы наиболее способны</i>	351
После того, как этот метод указан, казалось бы, необходимым выводом из этого труда должно быть указание плана совершенного воспитания; но, хотя этот план воспитания было бы, может быть, и нетрудно начертать, выполнить его, как показано в следующей главе, было бы очень трудно.	
<i>Глава XVII. О воспитании</i>	356
В этой главе доказывается, что, конечно, было бы очень полезно улучшить народное воспитание, но что это чрезвычайно трудно, так	

как наши современные нравы противятся в этом отношении какой-либо реформе; что в обширных и могущественных государствах не всегда ощущается безотлагательная потребность в великих людях и что поэтому правительство не может долго останавливаться на этой части управления. Однако автор указывает, что в таких монархических государствах, как наше, возможно было бы указать план совершенного воспитания; но эта попытка была бы совершенно тщетной в государствах с деспотической властью, каковы государства Востока.

Именной указатель	363
Предметный указатель	381
Оглавление	382

Редактор *Л. Кузьмин.*

Тех. редактор *Е. Раецкая.*

Корректоры: *А. Ильина и З. Имшенецкая.*

Сдано в набор 15/IX 1937 г. Подписано к печати 8 V—16/IX 1938 г.
Огиз № 1971. Тираж 10 000. Упаковка Главлит № Б-33380. Зак. № 1798.
Формат бумаги 60×92 $\frac{1}{16}$. Объем книги 2 $\frac{1}{4}$, печ. л. и сб. 1 $\frac{1}{4}$.
Уч.-авт. л. 30,274. Колич. знак. в 1 печ. листе 40 000.

Серия классиков философии.

Цена книги без переплета 7 р.

Цена переплета 2 р.

2-я типография ОГИЗа РСФСР треста «Полиграф книга» «Печатный
Двор» им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.

ОПЕЧАТКИ

<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует читать</i>
21	7 снизу	Греций	Гроций
65	16 сверху	необходимы подходят	необходимо походят
68	2 снизу	Каваци	Кавасси
84	23 сверху	Котитто	Котирро
86	16 сверху	Абдас	Аббас
137	8 сверху	о. Пон	о. Понс
138	13 снизу	македонянам	македонянам
174	9 снизу	все тех	всех тех
273	12 сверху	г-н Жоес	г-н Жосс
323	19 сверху	Витану	Винну
366	15 сн. 2 кол.	39, 51, 283, 315,	39
376	21 сн. 2 кол.	327, 350 340	39, 51, 283, 315, 327, 350
376	13 сн. 2 кол.	(578—534 до н. э.)	(193—211)
377	14 сн. 1 кол.	македониян	спартанцев
380	8—9 сн. 2 кол.		

Гельведенай, •06 у же•, Зак. № 1708